



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

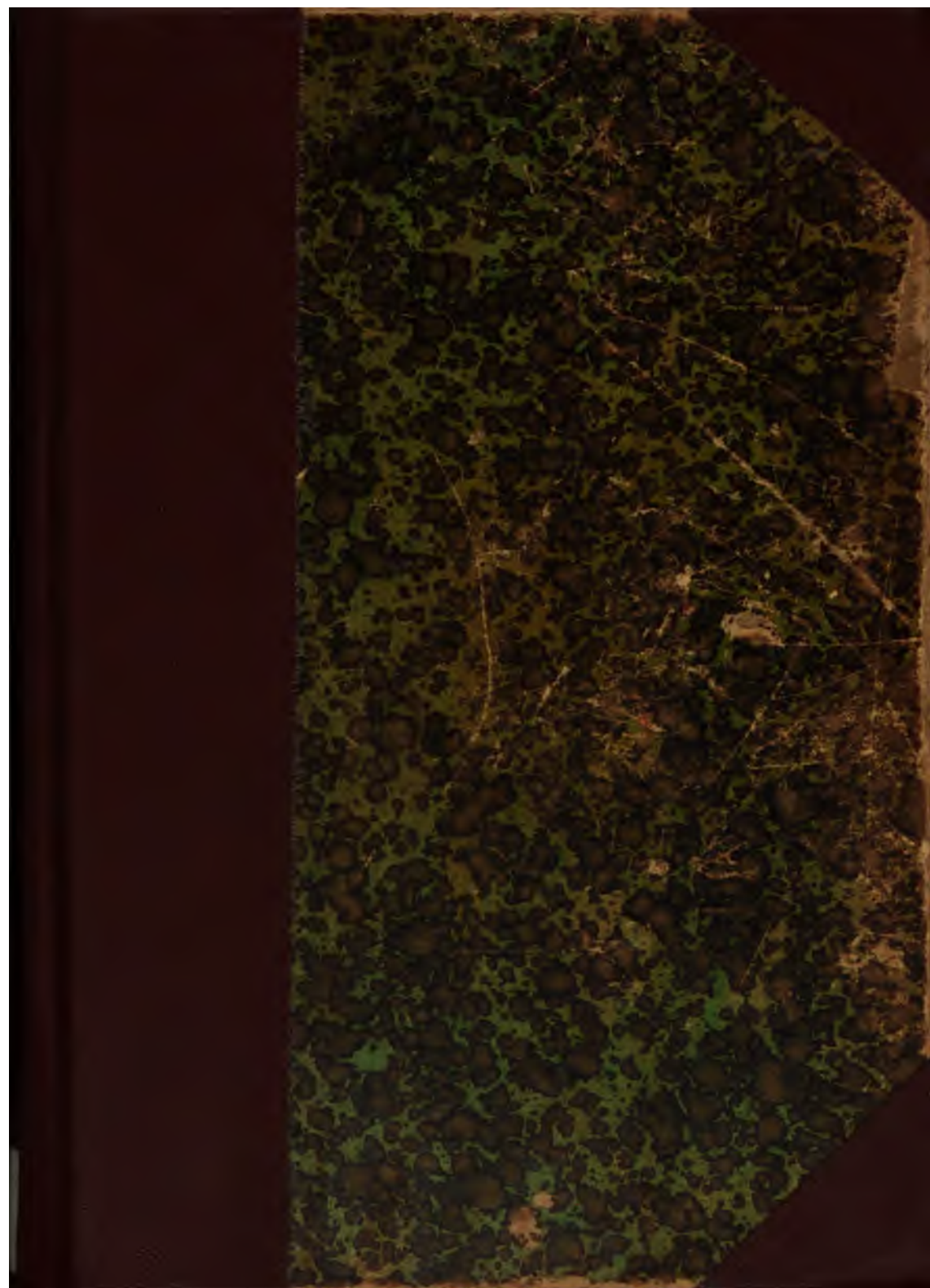
Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические записи.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические записи.
Не отправляйте в систему Google автоматические записи любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

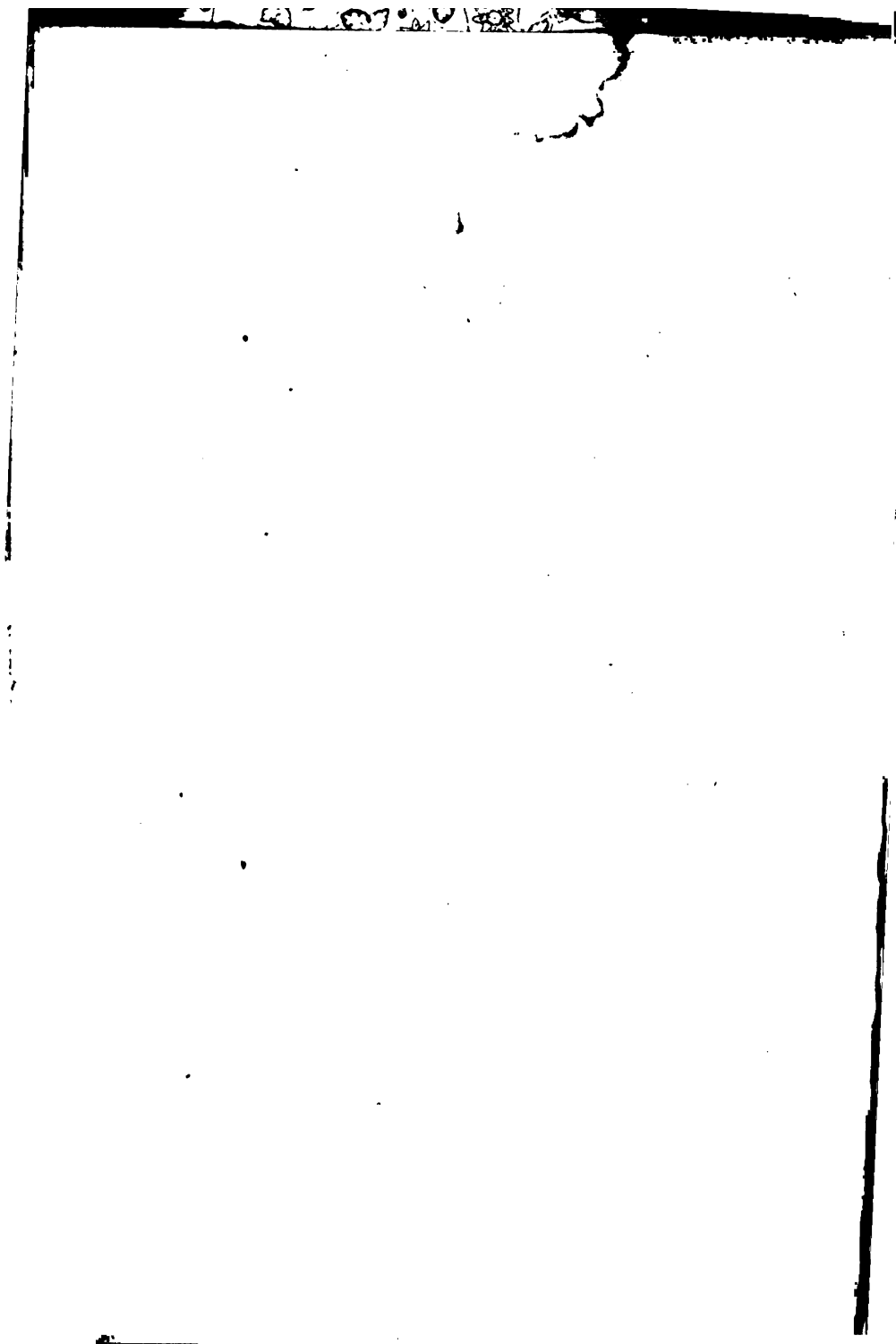
Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>





10/2

OX
ANSO



506. 1
Вс. С. СОЛОВЬЕВЪ. *Д/10*

НАВОЖДЕНІЕ.

РОМАНЪ.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
ИЗДАНИЕ Н. О. МЕРТЦА.
1904.

Издание ценное. С.-Петербург 10 августа 1904 года.

Печатня Т-ва «Народная Польза». Спб., Коллонтайская 35, стр. 4.

Н А В О Ж Д Е Н І Е.

Р о м а н ъ.

I.

И вотъ я опять здѣсь, въ Лозаннѣ, въ томъ-же самомъ домикѣ... Все на своемъ мѣстѣ, какъ было тогда,—каждый стулъ, каждая вещица... И если-бы кто зналъ только какъ это мучительно, что все неизмѣнно и на своемъ мѣстѣ!..

Я пріѣхалъ сюда прямо изъ Парижа—зачѣмъ? Самъ не знаю, только мнѣ показалось и продолжаетъ казаться, что нужно было ѣхать именно сюда и здѣсь дожидаться... пока все не кончится... И въ первую-же минуту, какъ я вчера вошелъ въ эти комнаты, я понялъ, что скоро конецъ... Да, скоро—я чувствую, я знаю навѣрное, что скоро!

Но, прежде чѣмъ кончится, я еще разъ долженъ все вспомнить, все повторить—весь этотъ ужасъ, эти сны на яву... все, что было... Вѣдь, пройдутъ еще дни, недѣли, а время стало такъ отвратительно тянуться!.. Мнѣ лишь-бы только забыться. Стану писать, можетъ быть уйду назадъ; мнѣ непременно нужно отойти отъ себя, отъ этого ожиданія, чтобы та минута подкралась незамѣтно и сразу овладѣла мною.

Вотъ проснулось опять все, живое, въ мельчайшихъ подробностяхъ...

Этому около десяти лѣтъ. Мы тогда жили еще въ Москвѣ, всѣ вмѣстѣ, въ своемъ домѣ близъ Каретнаго Ряда. Домъ нашъ былъ старый, большой, одноэтажный, съ мезониномъ... Дворъ, на которомъ лѣтомъ выростала густая трава. Изъ столовой дверь на балконъ, а тамъ садъ съ цвѣтникомъ, тепличками, бесѣдками. Комнатъ въ домѣ Богъ знаетъ сколько, и у каждой свое, иногда совсѣмъ неизвѣстно почему данное ей, названіе—«уголь-томъ XII.

ная», «диванная», «средняя», «вторая»... Была и «бабушкина» комната, и «тети Сашина», хотя и бабушка и тетя Саша прожили въ нихъ недѣли съ двѣ какъ-то проѣздомъ, лѣтъ двадцать тому назадъ.

Домъ нашъ далеко не отличался чистотою. Закоптѣлые потолки, потрескавшійся паркетъ, тусклые и мѣстами облупившіяся рамы темныхъ картинъ, полинялыя портьеры. Мебель была старинная, тяжелая, обитая совсѣмъ даже и неизвѣстною теперь матеріей. Ничего не прикупалось, не передѣлывалось, не обновлялось, и все стояло такъ, какъ было устроено къ бабушкиной свадьбѣ. Да что я—къ бабушкиной! Было много и прабабушкиной мебели, напримѣръ, цѣлая большая комната изъ желтой карельской березы. Удивительная комната, моя любимая! Кресла съ мѣста не сдвинуть, а про столы ужъ и говорить нечего. Подзеркальный столъ представлялъ собою цѣлый замокъ, только съ плоскою крышей. Тутъ были и башенки, и ворота, и лѣстницы, и даже часовни. Въ маленькихъ нишахъ стояли бронзовыя статуэтки, а у главнаго входа, то-есть по срединѣ стола, лежали два бронзовыхъ сфинкса, въ полъ-аршина величиною. Такими-же сфинксами оканчивались ручки креселъ и дивановъ, а ножки были сдѣланы въ видѣ косматыхъ звѣриныхъ лапъ съ когтями. По всѣмъ комнатамъ была наставлена бронза стиля Louis XVI и Empire, вазы, фигурки, старинный фарфоръ. Но, Боже, въ какомъ все это было видѣ! Пыль сметалась, собственно говоря, только два раза въ годъ, къ Рождеству и къ Пасхѣ, а прислуга и мы, дѣти, испортили и перебили все, что только можно было перебить и испортить. Къ тому-же и до насъ уже многое было перебито...

Прислуги въ послѣдніе годы, конечно, значительно убавилось, но все-же въ передней безсмѣнно торчало два несовсѣмъ опрятныхъ лакея и совсѣмъ уже грязный мальчишка; въ буфетѣ вѣчно возился старый и пьяный Семень и колотилъ посуду, а по безчисленнымъ коридорамъ съ утра до вечера сновали горничныя и няньки.

Дѣтей и подростковъ жило въ домѣ никогда не меньше дюжины, а взрослыхъ, не считая отца и матери, набиралось человѣкъ до пятнадцати. Только въ послѣднее время, когда ужъ наши переселились въ деревню, все старое разбелось въ разныя стороны, да и самый домъ нашъ проданъ—я сообразилъ и понялъ, какое это было безобразіе, но тогда мнѣ казалось, что всѣ такъ живутъ и что иначе и жить невозможно. У отца всегда было пропасть дѣлъ и хлопотъ, онъ уѣзжалъ иной разъ изъ Москвы на нѣсколько мѣсяцевъ и, вообще, считался у насъ гостемъ. Мама всю жизнь свою была и естъ воплощеніе доброты,

беспорядочности и широкаго неизмѣннаго радушія. И чего-чего не вынесла она изъ-за этого радушія. Дяденьки, тетеньки и кузины; да, вѣдь, какіе еще!—пятиуродные, шестиуродные, откуда-то пріѣзжали прямо къ намъ, выбирали себѣ комнату, поселялись и спокойно жили у насъ цѣлые годы. Другіе привозили въ Москву своихъ дѣтей, помѣщали въ учебныя заведенія и поручали мамѣ заботиться объ нихъ и брать къ себѣ на праздникъ. По воскресеньямъ, на Рождество и на Святую у насъ всегда набиралось столько разныхъ кузеновъ и кузинъ, что, несмотря на безчисленность нашихъ комнатъ, приходилось стлать постели даже въ гостиныхъ. Можно себѣ представить, какая поднималась возня и какія иной разъ выходили исторіи! Между нами разыгрывались водевили, комедіи и драмы; мы дружились, ссорились, враждовали, а по мѣрѣ того, какъ нѣкоторые изъ насъ вырастали, являлась и нѣжность, и поцѣлуи въ уголкахъ, и планы будущихъ супружествъ. Конечно, все выходило на свѣжую воду, раздувалось, дополнялось всевозможными сплетнями нянекъ и тетенокъ. Начинались слѣдствія и сообразные съ обстоятельствами дѣла приговоры. Бѣдная мама иной разъ доходила до полного изнеможенія, надсаживала себѣ грудь въ роли верховнаго судьи и съ отчаянными фразами запиралась въ свою комнату.

Въ такой-то Ноевъ ковчегъ суждено было попасть и Зинѣ. Ея мать была большимъ другомъ мамы и передъ смертью написала ей письмо, въ которомъ поручала «ея золотому сердцу» свою бѣдную дѣвочку. Отца Зина и не помнила—онъ умеръ чуть-ли не въ самый день ея рожденія, а опекуны были очень рады пристроить ее въ нашемъ семействѣ.

Это было раннею осенью, мы только что вернулись съ дачи. Я, помню, сидѣлъ въ своей комнатѣ весь запачканный красками передъ начатымъ мною пейзажемъ, когда ко мнѣ влетѣла сестра Катя.

— Пойдемъ, пойдемъ скорѣе!—едва выговорила она, переводя духъ.—Знаешь, Зину привезли, она тамъ съ мамой въ гостиной...

— Ты ее видѣла?

— Да, видѣла, она хорошенькая... вся въ черномъ... только не плачетъ... Пойдемъ-же скорѣе.

— Я-то зачѣмъ пойду? Слава Богу, еще успѣю разглядѣть... Видишь—рисую... и пожалуйста не мѣшай мнѣ до обѣда...

— Что это ты? Кажется, интересничать вздумалъ... ну, такъ сиди... Ты думаешь, ты такой важный баринъ, что къ тебѣ въ комнату ее приведутъ представляться... какъ-же! Жди!

И Катя убѣжала.

Я нисколько не «интересничалъ», по крайней мѣрѣ, вовсе не думалъ интересничать. Я зналъ, что этой Зинѣ всего лѣтъ тринадцать, самое большее четырнадцать, и ея появленіе у насъ въ домѣ нисколько меня не занимало. Я тогда только что начиналъ считать себя взрослымъ молодымъ человѣкомъ, я уже заѣзжалъ къ Огюсту брить воображаемые усы и заказалъ себѣ новый фракъ у Циммермана. Я былъ влюбленъ въ молоденькую танцовщицу, съ которой меня даже общали познакомить—и какое-же мнѣ дѣло было до какой-нибудь маленькой дѣвочки!..

Я преспокойно остался предъ мольбертомъ и продолжалъ работать. Но чрезъ нѣсколько минутъ, недалеко въ корридорѣ, послышались голоса, двери распахнулись, и ко мнѣ вошла Катя, ведя подъ руку нашу новую гостью, а за ними вся ватага дѣтей.

— Вотъ это нашъ старшій братъ, André, который теперь что-то очень заважничалъ и считаетъ себя большимъ человѣкомъ... Только мы не очень-то его боимся!—объявила Катя, смѣясь и дѣлая мнѣ гримасы.

За нею и дѣти разразились хохотомъ и принялись прыгать кругомъ меня и бить въ ладоши.

Въ первую секунду я хотѣлъ было раскричаться и пугнуть ихъ хорошенько; но сразу при этой Зинѣ все-же было неловко, да и сама она меня неожиданно поразила. Я почему-то ожидалъ увидѣть какую-нибудь маленькую дикарку, а между тѣмъ предо мной стояла и глядѣла на меня большими темными глазами изящная высокая дѣвочка, съ удивительно нѣжнымъ и блѣднымъ лицомъ, еще болѣе нѣжнымъ и блѣднымъ отъ чернаго траурнаго платья.

Я даже сконфузился и смущенно поднялся со стула. Она мнѣ присѣла, внимательно меня разглядывая.

— Pardon, ne vous saluez pas?—чувствуя, что краснѣю, сказалъ я и протянулъ ей руку.

— Ну вотъ, ну вотъ! Ну какъ-же не важничаетъ!.. Даже извиняется... Сейчасъ онъ тебя назоветъ «Mademoiselle» и начнетъ говорить комплименты... а ты, знаешь что?..

Катя нагнулась къ Зинѣ и прошептала ей на ухо, но такъ, что я все слышалъ.

— Ты прямо возьми его за вихоръ, да и поцѣлуй!..

Зина покраснѣла и улыбнулась, но совѣту Кати не послѣдовала.

Я рѣшительно не зналъ, какъ мнѣ держать себя, не зналъ о чемъ говорить, и вдругъ бросился вынимать и показывать Зинѣ мои эскизы и рисунки. Она внимательно ихъ разсматривала и все повторяла:

— Ахъ, какъ вы хорошо рисуете!.. Какъ это мило!..

Показалъ я ей и сдѣланный мною портретъ Кати.

— Очень, очень похоже!.. А вотъ у меня совсѣмъ нѣтъ моего портрета, мама никогда не хотѣла снять, какъ я ни просила... Правда, у нея былъ одинъ, когда я была совсѣмъ маленькой дѣвочкой, тоже красками, съ какою-то собачкой, которой на самомъ дѣлѣ никогда и не было... только такой противный портретъ, совсѣмъ не похожъ!.. Я его терпѣть не могла и сейчасъ послѣ маминой смерти разрѣзала на кусочки... Вы снимете съ меня портретъ? Да? Скажите!..

— Хорошо, сниму,—отвѣтилъ я, всматриваясь въ ея нѣжное, красивое лицо. Теперь оно оживилось, хоть на щекахъ все-же не было никакого признака румянца. Только глаза свѣтились и съ умильною, ласковой улыбкой она твердила:

— Пожалуйста-же снимите!.. Непремѣнно... Я сколько хотите буду сидѣть и не шевелиться... только чтобы было похоже...

Послѣ обѣда мама обняла Зину и увела ее въ свою спальню. Я тоже пошелъ за ними. Спальня мамы была небольшая комната съ такою-же старою мебелью, какъ и во всемъ домѣ. Въ углу стоялъ высокій кіотъ, гдѣ неугасимая лампадка освѣщала массивныя ризы старинныхъ иконъ, переходившихъ отъ поколѣнія къ поколѣнію. По стѣнамъ были развѣшаны семейные портреты.

Мама усадила Зину на свой маленькій диванчикъ, когда-то прежде стоявшій въ гостиной и замѣчательный тѣмъ, что на немъ папа сдѣлалъ предложеніе. Объ этомъ я узналъ еще въ дѣтствѣ и съ тѣхъ поръ меня очень часто преслѣдовалъ вопросъ: какъ это папа дѣлалъ предложеніе и отчего именно на этомъ диванчикѣ? Мнѣ почему-то тогда казалось, что онъ непременно встрѣтилъ маму посрединѣ залы, взялъ ее за руку, провелъ ее во вторую гостиную, посадилъ на этотъ диванчикъ и сдѣлалъ ей предложеніе. Но какимъ образомъ, въ какихъ выраженіяхъ онъ его дѣлалъ—этого я никогда не могъ себѣ представить.

Ну, такъ вотъ на этотъ-то самый, изученный мною до мельчайшихъ подробностей диванчикъ мама и усадила Зину рядомъ съ собою, обняла ее и стала разспрашивать объ ея покойной матери. Я сѣлъ въ углу на большое кресло и закурилъ папиросу (тогда мнѣ только что было официально разрѣшено куренье послѣ долгихъ упрековъ и колебаній).

Зина рассказывала очень охотно. Она подробно говорила о послѣднихъ дняхъ своей матери, о томъ, какъ она ужасно стра-

дала, о томъ, какъ бредила, чего желала и о чемъ просила предъ смертью.

Мама едва успѣвала вытирать слезы и, наконецъ, не выдержавъ, закрыла лицо платкомъ и тихо, горько зарыдала. Зина опустила глаза, но ея лицо оставалось совершенно спокойнымъ. Вообще, во все продолженіе ея разсказа, я съ удивленіемъ замѣтилъ, что она передавала самыя тяжелыя подробности, какъ будто простыя и нисколько не касавшіяся до нея вещи.

— Я любила твою мать какъ сестру родную и тебя буду любить какъ дочь,—проговорила мама прерывающимся голосомъ.—А ты, Зина, скажи... ты молишься объ ней?..

Зина молчала.

— Ты никогда не должна забывать ее... Вѣдь, ты любила ее? Да? Любила?

— Нѣтъ, я ее никогда особенно не любила,—тихо и спокойно отвѣтила Зина.

Мама была поражена. Она изумленно и испуганно взглянула на нее своими прекрасными, глубокими и теперь покраснѣвшими отъ слезъ глазами.

— Боже мой! Да что-же?.. Она была такая добрая... ты была единственное дитя ея...

— Не знаю... Просто не любила.

Бѣдная мама не нашлась что и возразить на это. Она только опята заплакала и сквозь слезы прошептала:

— Не думала я, Зина, что ты такъ огорчишь меня...

— Я совсѣмъ не хотѣла огорчать васъ... мнѣ показалось что хуже будетъ, если я солгу и скажу не то, что въ самомъ дѣлѣ было...

И тутъ она сама зарыдала.

Мама привлекла ее къ себѣ, а я вышелъ изъ комнаты.

II.

Мѣсяца черезъ два Зина уже окончательно освоилась у насъ въ домѣ. Она вошла въ нашу жизнь и наши интересы, узнала всѣ наши воспоминанія, исторіи, отношенія къ старшимъ и другъ къ другу. Она раздѣляла съ нами нашу ненависть и вражду къ старой дѣвѣ—шестиродной тетущкѣ Софѣ Ивановнѣ и старшей нянѣ, прозванной нами «Бобелиной»...

Рѣшено было, что Зину въ институтъ не отдадутъ, какъ это сначала предполагалось, а будетъ она жить у насъ и учиться съ сестрами и двумя кузинами. Всѣ наши, разумѣется, кромѣ Софьи Ивановны и Бобелины, ее сразу полюбили. Она оказалась далеко

не шалуньей, не затѣвала крику и визгу, ни съ кѣмъ не ссорилась и была довольно послушна. Сдружилась съ Катей, очень мило пѣла всевозможные романсы и малороссійскія пѣсни. Одно, что ей окончательно не удавалось—это ученье. Бывало битыхъ два часа ходитъ по залѣ и учитъ географію... только и слышно: «Испаганъ, Тегеранъ... Тегеранъ, Испаганъ»... и все-таки никогда не знала урока. Никакой памяти и удивительная разсѣянность. Она ни за что не могла углубиться въ книгу и понять смыслъ того, что учила. Вотъ раздался звонокъ въ передней — она заглядываетъ кто позвонилъ, вотъ подошла къ окошку и смотритъ на улицу, вотъ идетъ изъ угла въ уголъ и глядитъ себѣ подъ ноги—считаетъ квадратики паркета, прислушивается къ бою часовъ, къ жужжанію мухи за стекломъ, дуетъ передъ собою пушинку... а губы совсѣмъ безсознательно шепчутъ: «Испаганъ, Тегеранъ... Тегеранъ, Испаганъ»...

Ко мнѣ она привязалась съ первыхъ-же дней и кажется черезъ недѣлю по ея пріѣздѣ мы были уже на «ты» и искали глазами другъ друга. Я вдругъ разлюбилъ мою танцовщицу, отказался даже отъ знакомства съ нею и все больше сидѣлъ дома. Тогда я готовился къ университетскому экзамену, бралъ уроки у приходящихъ учителей, а въ свободное время занимался живописью. Окончивъ свой пейзажъ, я принялся за Зининъ портретъ. Мама противъ этого ничего не имѣла и Зина каждый день, въ назначенный мною часъ, являлась ко мнѣ въ комнату. Она садилась передо мною въ кресло, принимала граціозную позу и начинала, не отрываясь, глядѣть на меня своими черными, не мигавшими глазами.

Мнѣ иногда даже какъ-то жутко становилось отъ этого взгляда. У нея были странные глаза — они всегда молчали. Ея ротъ говорилъ, улыбался, выражалъ ласку, боль, нетерпѣніе, радость и страхъ, а глаза оставались неподвижными, безучастными. Они умѣли только пристально, загадочно смотрѣть съ какимъ-то смущающимъ вопросомъ. Если изрѣдка и вспыхивало въ нихъ какое-нибудь чувство, то всегда только мгновенно; едва успѣешь уловить его, какъ глаза уже молчатъ по-прежнему.

Зина произвела на меня сразу, съ первой-же минуты неотразимое впечатлѣніе. Я началъ смотрѣть на нее не какъ на четырнадцатилѣтнюю дѣвочку, а какъ на существо совсѣмъ особенное. И странное дѣло, я наблюдалъ за нею и подмѣчалъ въ ней многое дурное, чего никто не видѣлъ, и въ томъ числѣ какую-то непонятную, отвратительную жестокость. Ея любимымъ занятіемъ было всячески мучить жившихъ у насъ собакъ и кошекъ, и я никакъ не могъ ее отучить отъ этого. Конечно, я

возмущался всё́мъ этимъ, но не надолго. Стоило ей ласково взглянуть на меня, и все забывалось. Гдѣ-бы я ни былъ и что-бы ни дѣлалъ, меня тянуло къ ней неудержимо.

Я старался скрывать это ото всѣхъ, и отъ нея самой, и своимъ отношеніямъ съ нею придавалъ оттѣнокъ покровительственнаго вниманія и шаловливой снисходительности. «Андрюшинъ капризъ», вотъ какое названіе для Зины придумала Катя и оно, какъ и всѣ наши прозвища, принялось очень скоро.

А между тѣмъ, этотъ «капризъ» не проходилъ, а съ каждымъ днемъ забиралъ надо мною все больше и больше власти. Я самъ замѣтилъ, какъ совершилась полная перемѣна въ моей жизни. Знакомые, товарищи, танцы, театръ для меня ужъ больше не существовали. Мои учителя удивлялись отчего я такъ разсѣянъ; если-бы они знали, что я едва заглядываю въ книги предъ ихъ приходомъ, то стали-бы удивляться только моей, дѣйствительно, въ то время огромной памяти.

Одно, чѣмъ я занимался съ наслажденіемъ, былъ Зининъ портретъ. Я проводилъ надъ нимъ цѣлые часы, и всѣ увѣряли, что онъ становится очень похожимъ. Но самому мнѣ онъ казался ужаснымъ; я хотѣлъ, чтобъ это вышло живое лицо и долженъ былъ справляться съ такими трудностями, какія мнѣ тогда были не подъ силу. Наконецъ, я какъ-то вдругъ отыскалъ на стоящее сочетаніе красокъ — нѣсколько штриховъ, тѣней, и вдругъ лицо оживилось, съ полотна глянула на меня Зина съ ея странной бѣлизной, съ молчащими неподвижными глазами.

Я весь дрожалъ, я задыхался отъ восторга, я чувствовалъ въ себѣ наитіе новой силы и боялся, что вотъ-вотъ она сейчасъ исчезнетъ, а я не успѣю ничего сдѣлать. Но мнѣ нуженъ былъ оригиналъ для продолженія работы. Я выбѣжалъ изъ комнаты и сталъ звать Зину.

Ея нигдѣ не было и никто даже не могъ сказать мнѣ куда это она пропала. Я подумалъ, что она нарочно отъ меня прячется, поручилъ дѣтямъ искать ее, и самъ обѣгалъ всѣ углы и закоулки.

— Зина! Зина!—раздалось по всему дому.

— Ну, чего кричите, не услышитъ, въ кухню она пробѣжала... Видно чистыхъ комнатъ мало показалось...

Это говорила, высунувшись изъ дѣвичьей, наша грубая Бобелина.

Я бросился чрезъ длинный темный корридоръ въ кухню.

Кухня у насъ была величины необъятной и перегородками раздѣлялась на нѣсколько комнатъ. Тутъ жилъ поваръ съ по-

варенкомъ, кухарка и прачки, кромѣ того, вѣчно проживалъ какой-то пришлый людъ, какіе-то кумовья и сваты нашей прислуги, находящіеся безъ мѣста и пристанища. Я убѣжденъ, что между ними не разъ попадались и безпаспортные. Никто изъ господъ никогда въ кухню не заглядывалъ, и тамъ могло происходить всякое безобразіе, особенно при системѣ взаимнаго укрывательства. Я псмню, что одинъ разъ въ теченіе полугода нашъ поваръ непробудно съ утра пьянствовалъ, а за него готовилъ какой-то его братъ, получавшій за это даровое помѣщеніе, харчи, по вечерамъ и водку.

Обо всемъ этомъ мамѣ донесли только тогда, когда ужъ оба брата впали въ запой, было перепорчено нѣсколько обѣдовъ и мама рѣшилась взять новаго повара.

Въ кухнѣ носился чадъ и невыносимый запахъ махорки. Сквозь этотъ чадъ я едва разглядѣлъ Зину. Она стояла у окошка и что-то внимательно разсматривала. Поваръ, возившійся у плиты, замѣтилъ меня и снялъ свой колпакъ, вѣроятно, въ знакъ особенной почтительности.

— Ну, полноте, барышня, что вы тутъ... оставьте...—забасиль онъ, обращаясь къ Зинѣ: — только ручки запачкаете... вотъ и Андрей Николаевичъ идутъ за вами!..

— Зина, что ты тутъ дѣлаешь?—удивленно спросилъ я, подходя къ ней.

— Погоди, я сейчасъ, сейчасъ... Я только хочу посмотрѣть, что съ нимъ теперь будетъ!..

Она на мгновеніе обернула въ мою сторону оживленное лицо, блеснула глазами, а затѣмъ опять нагнулась къ окошку.

На окнѣ лежалъ черный, живой ракъ и медленно поводилъ клещами. Я не зналъ, что и подумать, не понималъ, что она особеннаго видитъ въ этомъ ракѣ. Поваръ поспѣшилъ объяснить мнѣ.

— Да вотъ-съ играютъ... танцовать его заставляютъ, а не слушается, такъ онъ у него лапку-съ за это выдернули... Правильно-съ... вотъ и лапка.

— Зина! Au nom du Ciel!.. Comment n'as tu pas honte... et quelle cruauté!—смущенно проговорилъ я, стараясь за руку отвести ее отъ окошка.

Но она упиралась, она не могла оторваться отъ рака.

— Нѣтъ, каково, каково! Онъ хотѣлъ ущипнуть меня за палецъ!.. Ну, такъ постой, постой, будешь-же ты у меня танцовать... тра-та-та, тра-та-та!..

Она схватила рака за клещи, подняла, стала вертѣть его во всѣ стороны и шлепать имъ по окну. Ракъ судорожно поджималъ хвостъ и вздрагивалъ лапами.

— Ай! Онъ опять ущипнулъ меня!.. Вотъ-же тебѣ, вотъ!..

Что-то хрустнуло и оторванный клещъ упалъ на полъ.

— Ну, вотъ видишь, вотъ и наказанье!.. Ахъ, какой онъ смѣшной теперъ!.. Бѣдненькій инвалидъ... Ну, ничего, ничего, дай я тебя поглажу... или нѣтъ... такъ право некрасиво...

Я не успѣлъ оттащить ее отъ окошка, какъ ужъ въ ея рукѣ оказался и другой клещъ. Она смѣялась, она глубоко дышала въ какомъ-то лихорадочномъ возбужденіи...

Я почти силой увелъ ее изъ кухни. Я сжималъ ея руку еще сильнѣе и сильнѣе. Она ничего не говорила и послушно шла въ мою комнату, наконецъ, у самой двери шепнула:

— Ты совсѣмъ раздавишь мнѣ пальцы!

— Слѣдовало-бы!—задыхаясь отвѣтилъ я, почти бросая ее въ кресло предъ мольбертомъ.

Я чувствовалъ, что уже не могу рисовать, что мое настроеніе, моя сила исчезли. Я со злобой смотрѣлъ на блѣдную Зину. Вдругъ она прыгнула съ кресла, кинулась ко мнѣ и обвила меня своими тонкими руками.

— Ну, не сердись, Андрюшечка, душечка... ну, не сердись на меня, пожалуйста.

Она стала меня цѣловать, а глаза ея все также молчаливо и жутко блестѣли.

Я не оттолкнулъ Зину и ничѣмъ больше не выразилъ ей негодованія, возбужденнаго во мнѣ ея отвратительною жестокостію. Я даже совсѣмъ позабылъ и объ ея поступкѣ, и о своемъ негодованіи.

— Да ну, поцѣлуй-же меня... не дуйся... Я такъ люблю тебя, Андрюша...

Она откинула назадъ свои черные волосы, взяла обѣими руками мою голову и тихонько прижала ко мнѣ губы.

Я хотѣлъ подняться, хотѣлъ убѣжать, но обнялъ ее и отвѣтилъ крѣпкимъ поцѣлуемъ.

Что-то мгновенное, что-то злое и въ то-же время торжествующее блеснуло въ глазахъ ея и вдругъ она осторожно встала съ колѣнъ моихъ и спокойно, оправляя платье, сѣла предо мною въ свое кресло. Лицо ея было блѣдно и глаза ничего не выражали.

— Что-же, ты сегодня будешь рисовать или мнѣ уйти можно?—проговорила она скучающимъ голосомъ.

Я глядѣлъ на нее изумленный, растерянный.

— Зина, что съ тобою! Отчего ты вдругъ такая?.. Развѣ я тебя чѣмъ-нибудь обидѣлъ?

— Что такое? Ничего со мною... только скучно — позвать меня, а самъ не рисуетъ!.. И вотъ рука болитъ, вы мнѣ чуть пальцы не сломали... Оставьте меня въ покоѣ.

Она зло и презрительно сжала губы и отвернулась.

Нежданная, никогда еще неиспытанная мною тоска схватила меня за сердце и самъ не знаю какъ я бросился предъ нею на колѣни, поймалъ ея руку, ту самую руку, за которую велъ ее по корридору, и покрылъ ее поцѣлуями.

— Пожалуйста... пожалуйста!.. Вотъ еще какія нѣжности, цѣловать руку у такой дѣвчонки, какъ я!.. Оставь меня, оставь!..

Она вырвалась и убѣжала, хлопнувъ дверью.

Я остался одинъ на полу предъ кресломъ. Я вскочилъ и не знаю для чего, хотѣлъ кинуться за нею; но вдругъ остановился и долго стоялъ неподвижно, безо всякой мысли, только сердце громко стучало.

Я помню, мнѣ сдѣлалось тяжело, неловко, стыдно. Я смутно сознавалъ, что унизилъ себя, опозорилъ. Она злая, капризная, жестокая дѣвчонка и ничего больше, а я вмѣсто того, чтобы строго отнестись къ ея поступку, я цѣловалъ ея руку, я сталъ предъ нею на колѣни, и она-же еще, доведя меня до этого, разыграла обиженную и разсерженную... «Она дѣвчонка, дѣвчонка, дѣвчонка!»—бѣшено повторялъ я себѣ и въ то-же время безумно хотѣлось, чтобы она снова вошла ко мнѣ, чтобы опять сказала: «да ну, поцѣлуй-же меня... не дуйся... Я такъ люблю тебя, Андрюша...»

А еслибъ она вошла опять съ презрительною и злою миною, я снова-бы, пожалуй, сталъ на колѣни и умолялъ-бы ее не сердиться... Но, вѣдь, это невозможно, невозможно! Я не хочу, я не долженъ допускать себя до этого... да и что скажетъ мама, если узнаетъ про все, что сейчасъ было!

Однако я рѣшилъ внутренно и почти безсознательно, что мама ничего не узнаетъ... только этого ужъ никогда больше не будетъ, я стану держать себя совсѣмъ иначе...

Мною овладѣла неизмѣнная рѣшимость и я скоро успокоился.

— Обѣдать, обѣдать! — кричали дѣти, пробѣгая мимо моей комнаты.

Когда я вошелъ въ столовую, всѣ уже были въ сборѣ. Отца второй мѣсяцъ не было въ Москвѣ, а потому нашъ Ноевъ ковчегъ чувствовалъ себя очень свободно. Мама, съ разливательною ложкой въ рукѣ, сидѣла предъ огромною миской супу и безуспѣшно призывала всѣхъ занять мѣста и успокоиться. Наконцъ, кое-какъ размѣстились. Няньки подвязали дѣтямъ салфетки

и остались за ихъ стульями. Мнѣ ужасно не хотѣлось садиться на свое мѣсто, рядомъ съ Зиной, но я боялся обратить на себя вниманіе, а потому сѣлъ какъ ни въ чемъ не бывало. Я только старался не замѣчать ея присутствія.

Между тѣмъ все шло своимъ порядкомъ. Дѣти шалили и капризничали. Катя опрокинула на скатерть цѣлый стаканъ съ квасомъ и стала по обыкновенію размазывать пальцемъ лужу. Никто не обращалъ на это вниманія, и обѣдъ мирно продолжался.

Мнѣ было неловко. Я старался не смотрѣть на Зину, но все-же чувствовалъ ее возлѣ себя, слышалъ ея дыханіе и замѣчалъ, что она время отъ времени на меня посматриваетъ. Мнѣ казалось, что Катя тоже замѣтила что-то происшедшее между нами, да и тетушки какъ будто косились.

Однако, я рѣшилъ, во что-бы то ни стало, не заговаривать съ Зиной, я нарочно началъ болтать всякій вздоръ, обращался ко всѣмъ, только не къ ней.

Обѣдъ уже подходилъ къ концу, когда Зина меня толкнула ногой; я смолчалъ. Но вотъ она еще разъ и еще разъ толкнула. Я отодвинулъ ногу. Прошло минуты двѣ и опять толчокъ. Это меня раздражило. Вдругъ Зина обернулась въ мою сторону и громко на весь столъ сказала:

— André, зачѣмъ ты толкаешься?

Всѣ взглянули на насъ. Мама изумленно пожала плечами. Я вспыхнулъ. Я никакъ не ожидалъ ничего подобнаго.

— Какъ! Ты меня сама все толкаешь, а говоришь, что это я тебя,—прошепталъ я наконецъ, опять-таки несмотря на нее.

— Чтò-же это вы, точно маленькія дѣти!—замѣтила мама:— что за глупости такія, André... Право, васъ скоро разсадить придется!

Конецъ обѣда прошелъ для меня въ большемъ волненіи. Мнѣ очевидно было, что Зина не намѣрена оставить меня въ покоѣ, и съ другой стороны я чувствовалъ, что самъ не буду въ силахъ забыть про нее и заняться своимъ дѣломъ.

Сейчасъ-же послѣ обѣда я ушелъ къ себѣ и заперся. Я обдумывалъ свое положеніе: мнѣ хотѣлось идти къ мамѣ, рассказать всю утреннюю сцену, рассказать все, что со мной происходитъ, просить ея совѣта, хотѣлось просто поплакать предъ нею, потому что, не знаю съ чего, меня душили слезы.

Но я тотчасъ-же и оставилъ это намѣреніе и опять, какъ и предъ обѣдомъ, рѣшилъ, что ничего не скажу мамѣ, что она ничего не узнаетъ.

Я боялся, что она не пойметъ меня, что она обратитъ въ глупость и вздоръ такое дѣло, которое для меня было чрезъ-

чуръ важнымъ. Но что-же мнѣ дѣлать? Какъ обращаться теперь съ Зиной? Какъ уничтожить все, что уже сдѣлано?

Я думалъ, думалъ и не находилъ отвѣта, а между тѣмъ я слышалъ, какъ ручка моей двери нѣсколько разъ повернулась. Я не сомнѣвался, что это была Зина, но она не сказала ни слова и отошла отъ двери.

Я прсбовалъ заняться, сталъ читать, но ничего не выходило. Незамѣтно подошло время и вечерняго чая. Мнѣ хотѣлось сказать больнымъ и не выходить къ чаю, но я подумалъ, что это будетъ малодушіе, что мнѣ нужно не избѣгать Зины, не бояться ея, а, напротивъ того, заставить ее уважать себя, смотрѣть на меня, какъ на старшаго.

Я пошелъ въ столовую, но самоваръ еще не подали. Дѣти бѣгали по комнатамъ, какъ всегда это бываетъ у насъ передъ чаемъ. Катя что-то брнчала на рояли, Зины не было видно. Я прошелъ въ залу и остановился возлѣ Кати. Она обернулась ко мнѣ и сказала:

— Что это у васъ произошло съ Зиной?

— Ничего,—отвѣтилъ я.

— Какъ ничего? Посмотри, она сидитъ въ классной и плачетъ; молчить, ни слова отъ нея невозможно добиться и ни за что идти сюда не хочетъ. Если ты обидѣлъ ее чѣмъ-нибудь, такъ поди, успокой... нехорошо.

Я ужасно изумился: Зина плачетъ... Мнѣ вдругъ стало ее жалко и я пошелъ въ классную, гдѣ дѣйствительно, въ уголкѣ, на старомъ креслѣ, сидѣла Зина и, дѣйствительно, плакала.

При моемъ входѣ она закрыла лицо платкомъ, и плечи ея поднимались отъ сдавливаемыхъ рыданій. Была секунда, когда я подумалъ, что она притворяется, но, подойдя къ ней ближе, убѣдился, что ошибаюсь: платокъ, который она держала у лица, былъ совсѣмъ мокрый.

— Зина, что съ тобой,—спросилъ я:—о чемъ ты плачешь?

Она ничего не отвѣтила, наклонила голову почти къ колѣнямъ и громко уже зарыдала.

Я остановился предъ нею, не зная что дѣлать, и стоялъ молча, прислушиваясь къ ея рыданіямъ!

Вотъ она наконецъ подняла голову, опустила руки съ платкомъ и, при свѣтѣ лампы, горѣвшей на рабочемъ дѣтскомъ столѣ, я увидѣлъ совершенно раскраснѣвшееся лицо ея, съ опухшими отъ слезъ глазами.

Она глядѣла на меня такимъ жалкимъ, несчастнымъ и обиженнымъ ребенкомъ, такъ горько и совсѣмъ по-дѣтски двигались кончики ея губъ, что мнѣ стало еще больнѣе. Я наклонился къ ней, взялъ ее за руку и поцѣловалъ.

— Зина, скажи мнѣ, отчего ты плачешь? Прошу тебя, скажи...

Она обвила одною рукой мою шею, прижала ко мнѣ свое мокрое лицо и прерывающимся отъ рыданій голосомъ шептала:

— Я гадкая, я виновата... Я тебя обидѣла, André...

Боже мой! Какъ вдругъ мнѣ стало хорошо и даже весело. Такъ она сама все понимаетъ! Она сознается, она не то, чѣмъ была весь этотъ день... Что-же это такое, что все это значить?

А Зина плакала, и ея крупныя, неудержимыя слезы мочили мою щеку.

— Прости меня!—сквозь рыданія снова шептала она надъ самымъ моимъ ухомъ.

Я могъ отвѣтить ей опять-таки одними поцѣлуями.

— Ну, а теперь пойдемъ пить чай,—сказалъ я:—вытри глаза, умойся; успокойся, пожалуйста, а то мама замѣтитъ.

— Хорошо, — покорно отвѣтила она, и я вышелъ изъ классной.

III.

Когда она появилась въ столовой и сѣла за столъ уже спокойная и блѣдная по обыкновенію, я смотрѣлъ на нее съ восторгомъ. Она снова казалась мнѣ тою Зиной, какою была въ первыя минуты своего пріѣзда, такою-же загадочною и волшебною, какъ я самъ себѣ тогда ее назвалъ, и я зналъ, наконецъ, что у нея есть сердце. Одно только испортило за чаемъ мое настроеніе — косые взгляды и перешептыванья шестиюродной тетушки Софьи Ивановны съ Катиной гувернанткой. Я чувствовалъ и понималъ, что онѣ шепчутся про Зину и про меня, конечно, и зналъ, что ничего путнаго изъ этого шептанья не можетъ выйти.

Я весь вечеръ не подходилъ къ Зинѣ, не говорилъ съ нею и только смотрѣлъ на нее, и съ меня этого было совершенно довольно. Но, вернувшись къ себѣ, я опять остался съ моимъ нерѣшеннымъ вопросомъ: чего я такъ обрадовался? Развѣ и прежде не бывало подобнаго, развѣ я не видалъ, какъ Зина плачетъ, просить прощенья и сейчасъ-же принимается за старое? Можно-ли ей вѣрить? И какъ быть съ нею?...

Такъ я и заснулъ, ничего не рѣшивъ и въ сильномъ раздраженіи. Я хорошо помню эту ночь, потому что тогда мнѣ приснился одинъ изъ тѣхъ странныхъ сновъ, которые потомъ не разъ повторялись.

Сонъ... но мнѣ странно назвать сномъ то, что было со мною, такъ оно было ярко, такъ походило на дѣйствительность... Я спалъ и вдругъ проснулся и увидѣлъ всю свою комнату и различалъ каждый предметъ. Я сѣлъ на кровати, и почему-то вдругъ явилось у меня сознаніе, что мнѣ нужно куда-то идти, но куда—я еще не зналъ. И я всталъ и пошелъ, и вдругъ очутился въ такомъ мѣстѣ, которое хорошо мнѣ было знакомо. Недалеко отъ Москвы, въ двухъ, трехъ верстахъ отъ нашего Петровскаго есть прекрасное, забытое и запущенное имѣніе, принадлежавшее одной старинной русской фамиліи и, кажется, по какому-то чуду до сихъ поръ не перешедшее въ ку печескія руки. Въ этомъ имѣніи густой, запущенный садъ, полуразрушенныя оранжереи, большой домъ старинной постройки и съ безчисленнымъ количествомъ комнатъ. Мы часто ѣздили туда всѣмъ семействомъ гулять и завтракать. Намъ отпирали домъ, и я любилъ бродить по лабиринту пустыхъ его комнатъ. Очевидно, владѣльцы покинули его давно уже, и все мало-помалу приходило въ ветхость. Но обстановка дома была прекрасна: дорогая старинная мебель, всѣ стѣны увѣшаны семейными портретами, прекрасными картинами, а главное—комнатъ такъ много, такъ много, что заблудиться въ нихъ можно...

Этотъ домъ съ дѣтства производилъ на меня впечатлѣніе сказочнаго замка, и я ужасно всегда фантазировалъ въ его пустыхъ комнатахъ. Здѣсь разыгрывались въ моемъ воображеніи самыя удивительныя исторіи изъ прошедшаго времени и изъ будущаго. Я рѣшилъ однажды и твердо вѣрилъ, что такъ оно и будетъ, что этотъ домъ когда-нибудь станетъ моимъ домомъ, что я буду жить здѣсь въ волшебномъ счастьи...

Ну, такъ вотъ и теперь, въ моемъ снѣ, я вдругъ очутился среди этой знакомой обстановки. Все было такъ ясно, такъ поразительно живо, и я до сихъ поръ помню всякую мельчайшую подробность... Мнѣ грезилось какъ будто славное лѣтнее утро, раннее утро, такъ что въ открытыя окна вливалась душистая свѣжесть. Я шелъ черезъ длинную залу кому-то на встрѣчу, и этотъ кто-то уже былъ близко, это была Зина. Вотъ я уже ее вижу, она спѣшитъ ко мнѣ вся въ бѣлой, почти воздушной одеждѣ, сіяющая и свѣжая, она протягиваетъ мнѣ руки, я ее обнимаю, и мы выходимъ изъ залы. Вотъ балконъ. Мы спускаемся въ садъ, идемъ по старой липовой аллеѣ къ пруду.

Я еще полонъ впечатлѣніями вчерашняго дня, знаю, что нѣсколько минутъ тому назадъ былъ въ своей комнатѣ на кровати; но въ то-же время чувствую, что не сплю, что все это творится наяву со мною, и это нисколько меня не удивляетъ. Необычайное, никогда еще неизвѣданное мною счастье охваты-

ваетъ меня; я скорѣй лечу чѣмъ иду, и Зина летитъ со мною, и мы ясно слышимъ и видимъ все, что кругомъ насъ творится. Вотъ запѣли птицы; вотъ пчелы жужжать гдѣ-то вдалекѣ въ синевѣ небесной, а солнце поднимается выше и выше, и мало-по-малу сохнутъ росинки на листьяхъ. Я гляжу на Зину и вижу, что это какая-то новая Зина. Это Зина, которой я вѣрю, которая ничѣмъ меня не смущаетъ, не задаетъ душѣ моей никакихъ вопросовъ: въ ней все чисто и ясно, она вся открыта предо мною. И вдругъ я вспоминаю вчерашнюю Зину, вдругъ вспоминаю ея жестокость — и изумляюсь. Я спрашиваю ее, что это значитъ, какъ могла она съ наслажденіемъ мучить несчастное животное, а потомъ и меня? Она качаетъ головой и, глядя мнѣ въ глаза уже не загадочными, не молчащими своими глазами, а добрыми и свѣтлыми, говоритъ мнѣ:

— Развѣ ты не понялъ? Какой ты смѣшной, право!

Но я все-же ничего не понимаю.

— Это такъ нужно было, — шепчетъ она: — для тебя нужно, и не я въ этомъ виновата... Вѣдь, я заколдована... Уничтожь это колдовство, если можешь, тогда я всегда буду такая какъ теперь...

И я проснулся.

Съ этого дня и съ этой ночи жизнь моя совсѣмъ стала запутываться. Сонъ произвелъ на меня необыкновенное впечатлѣніе, и я долго находился подлѣ его обаяніемъ.

Предо мною очутились двѣ Зины, и въ Зинѣ настоящей я искалъ жадно и постоянно Зину моего сна, которую я такъ хорошо помнилъ, которая давала мнѣ такое счастье. Но поиски мои были тщетны. Зинины слезы и ея разскажаніе не оставили въ ней и слѣда на другое утро. Она какъ будто совсѣмъ забыла о вчерашнемъ, встрѣтила меня смѣхомъ и сейчасъ-же спросила:

— Что-же, будешь ты рисовать сегодня?

— Да, приходи, — сказалъ я.

Она пришла. Я жадно принялся за работу. Я не потерялъ своего открытія и портретъ начиналъ удаваться. Зашедшая ко мнѣ мама долго стояла передъ нимъ, смотрѣла, и вдругъ крѣпко обняла меня, а на глазахъ ея показались слезы. Она такъ радовалась всегда моимъ успѣхамъ, и, навѣрно, выйдя отъ меня, уже представляла себѣ своего сына великимъ художникомъ. Я самъ былъ радъ, рисовалъ съ восторгомъ и трепетомъ, даже совсѣмъ забылъ о живомъ моемъ оригиналѣ. Но Зина скоро о себѣ напомнила.

— Ты знаешь, я сегодня не спала почти всю ночь,—сказала она мнѣ:—все о тебѣ думала. Какой ты странный, изъ-за чего ты такъ на меня вчера разсердился?

— Оставь, не говори пожалуйста!—почти закричалъ я.

Она засмѣялась.

— А я спалъ и тебя во снѣ видѣлъ, — продолжалъ я: — но совсѣмъ не такую, какая ты есть на самомъ дѣлѣ.

— Какою-же ты меня видѣлъ:—хуже, лучше?

— Гораздо лучше...

— Я думала, что я для тебя и такая хороша, что ты меня такую любишь, какъ я есть.

— Нѣтъ, я не люблю тебя такую, да и къ тому-же я тебя совсѣмъ не знаю.

— Ты меня не знаешь? Вотъ пустяки! Я самая простая... я даже глупая... Вѣдь, я ужъ слышала, что говорятъ это...

Мнѣ сдѣлалось тяжело, опять тоска захватила меня, хотя я и самъ не зналъ ея настоящей причины. Я грустно смотрѣлъ на Зину. Она встала, подошла ко мнѣ и, глядя мнѣ прямо въ глаза, сказала:

— Какой ты странный! Ты иногда такъ на меня смотришь, что мнѣ становится страшно... мнѣ кажется, что или ты когда-нибудь убьешь меня, или я убью тебя.

На лицѣ ея дѣйствительно скользнуло выраженіе испуга. Она слабо вскрикнула и выбѣжала изъ комнаты.

«Сумасшедшая!»—подумалъ я. И вдругъ весь вздрогнулъ и похолодѣлъ; ея безумный страхъ сообщился и мнѣ на мгновеніе, я хорошо это помню.

Время шло, я совсѣмъ позабылъ о своихъ занятіяхъ, забывалъ о томъ, что скоро должны начаться мои университетскіе экзамены. Я весь уходилъ въ свою фантастическую жизнь и строилъ самые нелѣпые планы и работалъ надъ портретомъ. Пришелъ май, начались экзамены. Я понялъ, наконецъ, что рѣшается для меня серьезный вопросъ, и сдѣлалъ надъ собою послѣднее усиліе: не спалъ ночей, сидѣлъ за книгами, и первые экзамены прошли удачно. Я только усталъ ужасно.

Какъ-то поздно вечеромъ, часу уже въ первомъ, работалъ я въ своей комнатѣ. Всѣ наши спали. Кругомъ было совершенно тихо. На завтра предстоялъ трудный экзаменъ, я погрузился въ работу и ничего не слышалъ. Вдругъ кто-то дотронулся до моего плеча. Я обернулся—Зина. Она была полураздѣта, съ распущенными волосами.

— Что тебѣ нужно? Зачѣмъ ты пришла?—спросилъ я.

— Я хотѣла посмотреть, что ты дѣлаешь; все учишься, какъ тебѣ не надоѣло...

— Такъ зачѣмъ-же ты приходишь мѣшать мнѣ? И потомъ развѣ это возможно. Ты почему знала, что я еще не раздѣтъ? Тебѣ только непріятности будутъ, да и мнѣ тоже.

— Никто не видѣлъ, какъ я пришла: всѣ спятъ, — отвѣтила Зина.

— Тѣмъ хуже, — сказалъ я: — ради Бога, уходи скорѣй!

Но она не уходила.

Я пришелъ въ ужасъ, я совершенно понимаю всю невозможность и неприличность ея появленія и, главное, не видѣлъ никакой ему причины. Да и сама она не могла сказать, зачѣмъ пришла ко мнѣ. Я почти насильно вывелъ ее изъ комнаты. Она упиралась, подвигалась къ двери шагъ за шагомъ и все время смотрѣла на меня, но такъ смотрѣла, что мнѣ становилось жутко.

— Я не понимаю, зачѣмъ ты меня гонишь, — сказала она уже у самой двери: — если всѣ заснули такъ рано, то развѣ я виновата, что мнѣ спать не хочется, и неужели я не могу на пять минутъ зайти къ тебѣ?

Но я ужъ заперъ за нею дверь и вернулся къ своей работѣ.

Минуты шли за минутами, а я никакъ не могъ сѣобразить того, что читаю. Наконецъ, я увидѣлъ, что и продолжать бесполезно: все равно ничего не буду помнить.

Проспавъ всего часа три-четыре, я проснулся съ тяжелою головой и во время экзамена мнѣ чуть не сдѣлалось дурно. Однако, все сошло благополучно, и я возвращался домой въ хорошемъ настроеніи духа. По обыкновенію, сейчасъ-же я кинулся къ мамѣ, которая каждый разъ со страхомъ и трепетомъ дожидалась моего возвращенія.

Объявивъ ей о «пятеркѣ» и обнявъ ее, я вдругъ замѣтилъ, что она какъ-то странно на меня смотритъ. Она какъ-будто даже совсѣмъ не обрадовалась и тотчасъ-же вышла изъ комнаты, сказавъ, что ей некогда. Встрѣтившаяся мнѣ въ корридорѣ Софья Ивановна тоже весьма странно на меня взглянула. Мнѣ стало вдругъ неловко, какъ провинившемуся, хотя я не зналъ вины за собою. Я начиналъ смутно догадываться въ чемъ дѣло. Вывести какую-нибудь сплетню и поднять исторію было величайшимъ наслажденіемъ для большей части нашихъ домохозяекъ. Вѣроятно, кто-нибудь видѣлъ Зину возлѣ моей комнаты, да я даже почти и зналъ кто ее видѣлъ — конечно, Бобелина — и вотъ теперь началось у насъ Богъ знаетъ что.

Разъясненіе дѣла явилось очень скоро. Предъ обѣдомъ мама вошла ко мнѣ, заперла за собою дверь и сѣла на диванъ съ грустнымъ и озабоченнымъ лицомъ, со знакомою мнѣ миной, которая обыкновенно являлась у нея во время различныхъ домашнихъ непріятностей.

— Скажи мнѣ, пожалуйста, André,—не глядя на меня, спросила она:—вчера, поздно вечеромъ, не приходила къ тебѣ Зина?

— Да, приходила,—отвѣтилъ я, и съ ужасомъ почувствовалъ, что краснѣю.

«Мама сейчасъ замѣтитъ эту краску и что она обо мнѣ подумаетъ!» пришло мнѣ въ голову, и я покраснѣлъ еще сильнѣе.

— Зачѣмъ-же она къ тебѣ приходила?

— А спроси ее! Я самъ удивился и сейчасъ-же ее вывелъ и заперъ двери.

Мама недовѣрчиво на меня взглянула.

Да, я не вообразилъ себѣ, а дѣйствительно замѣтилъ недовѣрчивость въ ея взглядѣ. Мнѣ стало обидно и больно.

— Мама! Отчего ты такъ странно глядишь на меня? Я говорю тебѣ, что сразу счелъ совершенно неприличною эту Зинину выходку и строго ей выговорилъ. Неужели ты въ самомъ дѣлѣ думаешь, что это я позвалъ ее, когда всѣ спали, да и она сама была почти раздѣта? Неужели ты считаешь меня или такимъ еще ребенкомъ, что я не понимаю, что прилично и что неприлично, или ужъ я и не знаю, кѣмъ ты меня считаешь!..

Мама глядѣла на меня не отрываясь, очевидно желая увидѣть изъ лица моего, правду-ли я говорю ей, или что-нибудь скрываю.

— Ну, если это такъ,—наконецъ проговорила она:—то я тебѣ, конечно, вѣрю; но меня не могло не поразить, когда Софья Ивановна рассказала мнѣ...

— А, такъ это Софья Ивановна! И, конечно, съ прикрасами и съ прибавленіями!.. Радъ опять были сдѣлать исторію, а ты и разстроилась. Что-жъ, спрашивала ты Зину?

— Нѣтъ, я ей ничего не сказала, я хотѣла прежде поговорить съ тобою... Не обижайся, André, я тебѣ вѣрю, я знаю, мой милый, что ты не ребенокъ и все понимаешь, но давно я ужъ хотѣла сказать тебѣ, чтобы ты былъ осторожнѣе съ Зиной.

— Развѣ ты находишь что-нибудь неприличное въ моемъ поведеніи?—спросилъ я, опять краснѣя.

— Нѣтъ, ничего, я увѣрена, что ты смотришь на Зину какъ на сестру; но, вѣдь, ты знаешь, какъ подозрительны люди. Я ужасно боюсь, чтобы чего-нибудь не выдумали. Вспомни, голубчикъ, что Зину беречь надо; она бѣдная сиротка, безъ отца и матери, поручена мнѣ, и я должна отвѣчать за нее предъ Богомъ...

На глазахъ мамы навернулись слезы.

— Зачѣмъ-же ты говоришь мнѣ все это?—въ волненіи и смущеніи прошепталъ я:—развѣ я самъ не знаю. И въ твоихъ словахъ я вижу опять ко мнѣ недовѣріе, такъ говори лучше прямо!

— Нѣтъ, я тебѣ вѣрю, вѣрю,—поспѣшно отвѣтила мама и, наконецъ, я узналъ отъ нея въ чемъ все дѣло.

Оказалось, что утромъ Софья Ивановна, со словъ Бобелины, рассказала ей цѣлую длинную исторію. Бобелина увѣряла, что я и Зина ведемъ себя совсѣмъ неприлично, что она давно уже замѣчаетъ за нами и даже подсмотрѣла одинъ разъ въ щелку, какъ я во время сеанса за портретомъ стоялъ передъ Зиной на колѣняхъ и цѣловалъ ея руки; что Зина уже не въ первый разъ вечеромъ бродитъ по корридору и приходитъ въ мою комнату.

При этомъ разсказѣ мнѣ сдѣлалось душно и скверно. Бобелина лгала, но далеко не все... Я терялся и запутывался больше и больше. Моя совѣсть была совершенно чиста, а между тѣмъ отвергать многія подробности этого разсказа я не былъ въ состояніи. Дѣйствительно, я слишкомъ часто встрѣчался съ Зиной и всюду искалъ ее; дѣйствительно, вѣдь, одинъ разъ, въ тотъ памятный день, я стоялъ предъ ней на колѣняхъ и цѣловалъ ея руки. Я былъ увѣренъ, что Бобелина не видала этого, что она выдумала, но въ то-же, время она сказала правду, она угадала.

Теперь, именно теперь мнѣ нужно все разсказать мамѣ, открыть ей всю душу! Но опять-таки меня что-то останавливало. Къ тому-же изъ нѣкоторыхъ ея словъ я ясно видѣлъ, что она не пойметъ меня; то, что было моимъ мученіемъ и моимъ несчастіемъ, то, въ чемъ я не былъ виноватъ, она поставитъ мнѣ въ вину. Невыносимое, измучившее меня чувство сейчасъ-же явится въ невозможной уродливой оболочкѣ, и я зналъ, что не вынесу этого и что выйдетъ еще хуже.

Я такъ-таки ничего и не сказалъ мама и она ушла отъ меня. И я понималъ, несмотря на всѣ ея увѣренія въ томъ, что она мнѣ вѣритъ, я понималъ, что она подозреваетъ меня въ чемъ-то дурномъ и мучается этими подозрѣніями.

IV.

Наконецъ мои экзамены благополучно окончились. Еще недавно я съ замираніемъ сердца думалъ о томъ времени, когда сдѣлаюсь студентомъ. Теперь наступило это время, а я не чувствовалъ никакой радости,—не тѣмъ совсѣмъ былъ занятъ. Наши переѣхали, по обыкновенію, на дачу, а меня отецъ отпустилъ немного попутешествовать. Я былъ этимъ очень доволенъ, съ жадностью ухватился за поѣздку и возлагалъ на нее большія надежды. Наединѣ съ самимъ собою, далеко отъ Зины, отъ всей этой измучившей меня жизни я, можетъ быть, сумѣю отрезвиться,

лучше понять себя, и вернусь другимъ человѣкомъ; а это мнѣ такъ было нужно.

Я уѣхалъ, какъ-то необыкновенно торопясь, стараясь думать о предстоящей дорогѣ. Сначала располагалъ я ѣхать за границу, но потомъ передумалъ и отправился по Волгѣ. Нашлись и попутчики, два молодыхъ человѣка, наши старые знакомые.

Путешествіе началось очень весело, но уже перебравшись на пароходъ въ Нижнемъ-Новгородѣ я чувствовалъ припадокъ тоски: мнѣ хотѣлось вернуться назадъ, и предстоявшая поѣздка потеряла для меня въ одинъ мигъ всю прежнюю прелесть.

Однако, я старался преодолѣть себя, старался развлекаться окружающимъ. Иногда мнѣ это удавалось, но не надолго. Мы ѣхали медленно, останавливаясь гдѣ только возможно, осматривая все хоть чѣмъ-нибудь достойное примѣчанія. Подъѣзжая къ Самарѣ я ужъ совсѣмъ не зналъ, что дѣлать отъ тоски и, сойдя на берегъ, какъ сумасшедшій кинулся на почту, надѣясь, что тамъ дожидается меня письмо изъ дома.

Письмо дѣйствительно дожидалось и даже не одно, а два. Писала мнѣ и Зина. Она писала, по своему обыкновенію, очень безграмотно, жаловалась на скуку, говорила, что тоскуетъ обо мнѣ и просила вернуться какъ можно скорѣе.

Если я до сихъ поръ еще кое-какъ крѣпился, то теперь, по прочтеніи этого письма, меня охватило полное безсиліе: я чувствовалъ, что дальше ѣхать не могу и рѣшилъ, пробывъ два дня въ Самарѣ, вернуться обратно. Никакихъ вопросовъ я не рѣшилъ, ни отъ чего не избавился и возвращался домой такимъ-же, какимъ и уѣхалъ.

Съ замирающимъ сердцемъ подъѣзжалъ я къ Петровскому. Меня не ожидали такъ скоро. Былъ вечеръ, и всѣ наши гуляли въ это время. Я утомился съ дороги и сѣлъ на балконъ, поджидая ихъ; мнѣ сказали, что должны всѣ сейчасъ вернуться. Прошло нѣсколько минутъ. Я уже хотѣлъ идти разыскивать Зину; но въ это время скрипнула калитка сада, и я увидѣлъ ее, бѣгущую къ балкону. Мнѣ показалось, что она еще выросла и похорошѣла въ этотъ мѣсяцъ; она уже носила почти длинныя платья и казалась совсѣмъ взрослою.

Зина очень изумилась, увидя меня на балконѣ. Она крикнула и радостно бросилась ко мнѣ на шею. Ея глаза блестѣли, она смѣялась, цѣловала меня, кричала, звала всѣхъ скорѣе, и я видѣлъ только одно, что никто мнѣ такъ не обрадовался, и что эта радость была искренняя. Я сдѣлался глупо счастливъ и забылъ все, что меня мучило. Послѣ чаю мы пошли гулять, и я шелъ подъ руку съ Зиной.

— Ну, что вы тутъ безъ меня подѣлывали?—спросилъ я ее.

— Да ничего, все шло своимъ порядкомъ, какъ одинъ день, такъ и другой. Противная Софья Ивановна все косится на меня и дуется, все на меня наговариваетъ. Ахъ, да! — вдругъ оживленно вскрикнула она: — мы познакомились съ сосѣдами и иногда очень веселимся. Ты знаешь, къ нимъ пріѣхалъ сынъ изъ Петербурга, лицеистъ, очень хорошенькій, очень хорошенькій, monsieur Jean, и такой славный, я съ нимъ уже подружилась.

Я почувствовалъ, что блѣднѣю. Я сознавалъ, какъ это глупо, сердился на себя, но ничего не могъ съ собою подѣлать. Я никогда не слыхалъ объ этомъ monsieur Jean, но теперь, съ первой-же минуты, его возненавидѣлъ.

Зина пристально на меня смотрѣла, и это смущало меня еще больше. Я не хотѣлъ подать ей, конечно, вида, что обратилъ особенное вниманіе на слова ея, а между тѣмъ для меня очевидно было, что она меня понимаетъ.

— И часто видаетесь вы съ сосѣдами? — спросилъ я, стараясь сдѣлать этотъ вопросъ какъ можно спокойнѣе.

— Да, часто, особенно я. Катя, ты знаешь, ужасная домо-сѣдка: ее никакъ не вытащишь; такъ я одна къ нимъ бѣгаю; иногда гуляю съ monsieur Jean. Онъ такой добрый и всячески меня забавляетъ...

Она, конечно, говорила все это нарочно, чтобы дразнить меня и достигала своей цѣли. Я понималъ, что ничего не сдѣлаю съ отвратительнымъ родившимся во мнѣ чувствомъ.

А она продолжала пристально глядѣть на меня и, крѣпко опираясь мнѣ на руку, болтала:

— Да, и представь, третьяго дня я гуляла съ нимъ въ паркѣ, и вдругъ, какая глупость! Вдругъ онъ мнѣ признался въ любви?

— Какой вздоръ ты говоришь, — прошепталъ я.

— Разумѣется вздоръ, только это правда.

— Ну, и что-же ты отвѣтила ему?

— А можетъ быть я тебѣ вовсе не хочу сказать, что я ему отвѣчала...

— Сдѣлай одолженіе, не говори, да и совсѣмъ мнѣ не говори этихъ глупостей.

— Ай, ай, ай! — засмѣялась она: — вотъ ты ужъ и старымъ дѣдушкой становишься; для тебя ужъ это глупости... Ну, а я тебѣ все-таки-же скажу, какъ было дѣло. Видишь вонъ ту скамейку, вонъ тамъ все и случилось, — только нѣтъ, нѣтъ, я ни за что тебѣ не расскажу, ни за что въ мірѣ!.. А теперь можешь пойти къ мамѣ и пожаловаться ей на меня, что я занимаюсь такими глупостями!

Она выдернула свою руку и убѣжала.

Я сѣлъ на скамейку, и мнѣ показалось, что со мной случилось громадное несчастье: Я не зналъ: вѣрить мнѣ Зинѣ или нѣтъ. Можетъ быть, она и солгала все, а, можетъ, быть сказала и правду; но если даже и солгала, такъ, вѣдь, уже и ложь эта мучительна и ужасна! Значить, если и не было, такъ могло быть, можетъ быть, пожалуй, будетъ! Мнѣ опять вдругъ стыдно стало за себя. Я ненавиждѣлъ Зину; а еслибъ этотъ Jean попался мнѣ теперь, то я, кажется, уложилъ-бы его на мѣстѣ!

И вотъ мнѣ припомнилась Зина моего сна. То свѣтлое, отрадное чувство, которое она во мнѣ возбудила, и я готовъ былъ бѣжать за этимъ чувствомъ на край свѣта, а тутъ на яву былъ такой мракъ, такое мученье.

Я началъ бродить въ паркѣ, не замѣчая дороги, и скоро встрѣтился съ нашими. Тутъ были и сосѣди.

Я еще издали увидѣлъ длинную, тонкую фигуру лицеиста. Рядомъ съ нимъ шла Зина. Мнѣ хотѣлось убѣжать, я Богъ знаетъ, что далъ-бы, чтобы не встрѣтиться теперь съ этимъ monsieur Jean, а между тѣмъ бѣгство было невозможно: меня уже замѣтили. Черезъ минуту я долженъ былъ протягивать руку лицеисту, съ нимъ знакомиться. Я собралъ всѣ силы, чтобы сдѣлать это по возможности любезно, и въ то-же время сознавалъ, что веду себя глупо. Мнѣ казалось, что всѣ видятъ и понимаютъ отлично мое душевное состояніе и смѣются надо мной.

Monsieur Jean былъ вовсе не такъ красивъ, какъ описывала его Зина, но мнѣ онъ тогда показался удивительнымъ красавцемъ. Онъ велъ себя непринужденно, съ апломбомъ маленькаго фата, и я сразу замѣтилъ, что онъ ухаживаетъ за Зиной. Мы шли съ нимъ рядомъ, и онъ что-то говорилъ мнѣ, чего я почти не слышалъ. Вдругъ къ нему подошла Зина и взяла его подъ руку. Она улыбалась ему, а онъ таялъ отъ этой улыбки.

Еще минута, и я навѣрно сдѣлалъ-бы какую-нибудь глупость. Впрочемъ, я ужъ и теперь сдѣлалъ глупости! Я вдругъ, не говоря ни слова, свернулъ въ сторону, на первую попавшуюся дорожку и ушелъ отъ нихъ, почти убѣжалъ, и въ безсильной злобѣ на нѣсколько кусковъ сломалъ свою трость и готовъ былъ рыдать на весь паркъ и кусать деревья. Никогда еще не испытывалъ я такого бѣшенства и такой внутренней боли.

Вернулся я домой раньше нашихъ и забрался наверхъ, къ себѣ.

Вотъ въ открытыя окна слышны голоса: наши возвращаются. Вотъ дѣти съ шумомъ и гамомъ бѣгутъ по лѣстницѣ. Моя дверь скрипнула и тихонько, на цыпочкахъ, вошла Зина. Она осторожно заперла за собою дверь, подошла ко мнѣ и сѣла на диванъ, рядомъ со мною.

— André, зачѣмъ ты ушелъ? Я потомъ побѣжала за тобою, но не могла догнать тебя: и мнѣ тебя очень нужно было... André, послушай, я должна сказать тебѣ одну вещь, только поклянись мнѣ, что ты никогда и никому объ этомъ не скажешь, поклянись!..

Я не отвѣтилъ ей ни слова и сидѣлъ неподвижно.

— Такъ ты не хочешь? Ради Бога, умоляю тебя, поклянись мнѣ, милый, голубчикъ!

— Ну, клянусь. Что тебѣ?

— Такъ слушай,—тихо шепнула Зина;—слушай! Скажи мнѣ, отчего ты такъ скоро вернулся? Ты получилъ мое письмо?

— Да, получилъ.

— Ты оттого вернулся, что я звала тебя? Вѣдь, да; вѣдь, правда; вѣдь, я угадала?

Я молчалъ, но ей вѣрно и не нужно было моего отвѣта; ея лицо вдругъ измѣнилось: съ него ушло все, что было въ немъ дѣтскаго; я въ первый разъ увидѣлъ передъ собою въ ней взрослую дѣвушку. Она взяла мои руки и крѣпко ихъ сжала. Она спрятала свое лицо на плечѣ моемъ и, задыхаясь и волнуясь, быстро шепнула:

— André, если-бы ты зналъ какъ я ждала тебя; я думала о тебѣ каждую минуту. André, я люблю тебя, понимаешь... я влюблена въ тебя... Я безъ тебя не могу жить, я на всю жизнь люблю тебя!..

Мнѣ казалось, что я сошелъ съ ума, что все это сонъ, и вотъ я сейчасъ проснусь, и все будетъ совсѣмъ другое.

Но Зина продолжала шептать и повторяла:

— Я люблю тебя, André, не смѣйся надо мною; вѣдь, я ужъ не маленькая, я не виновата, что люблю тебя... Что-же ты мнѣ ничего не отвѣчаешь? Развѣ ты самъ меня не любишь?.. Зачѣмъ ты молчишь? Чего ты боишься? Говори, говори, ради Бога!..

Она повернула къ себѣ мое лицо, ея руки дрожали на плечахъ моихъ; на глазахъ блистали слезы. Лицо было какое-то вдохновенное, какое-то до того странное, что она сама на себя не была похожа.

Я хотѣлъ говорить и не могъ. Моя голова кружилась, въ виски стучало, и вдругъ я зарыдалъ...

Всю эту ночь я не сомкнулъ глазъ и пролежалъ въ лихорадкѣ, ловя обрывки мыслей, приходившихъ мнѣ въ голову, разбираясь въ нахлынувшихъ на меня ощущеніяхъ.

Никогда не могъ я ожидать ничего подобного. Конечно, ужъ давно я понималъ, что люблю Зину особенно, но все-же не опре-

дѣлать этой любви, не придавалъ ей извѣстную форму. Мнѣ кажется, что я скажу совершенно искренно, что самъ никогда не допустилъ-бы этого признанія: до самой послѣдней секунды я не зналъ, что такое скажетъ мнѣ Зина, и то, что она мнѣ сказала, поразило меня необычайно. «Развѣ это можетъ быть? Развѣ это есть?»—повторялъ я себѣ и ужасался, и радовался. Но что-же будетъ дальше—страшно подумать! Я только что поступилъ въ университетъ, мнѣ восемнадцатый годъ, а ей нѣтъ еще и пятнадцати.

Я понималъ, что если до сихъ поръ еще могъ скрывать свое чувство отъ постороннихъ, то теперь, послѣ Зининаго признанія, мы не сумѣемъ скрыться. И къ тому-же, несмотря на все счастье, охватившее меня, я не могъ отвязаться отъ сознанія, что есть во всемъ этомъ что-то темное, что-то смущающее совѣсть. Вѣдь, еслибъ этого не было, я-бы давно признался во всемъ мамѣ, а теперь не могу и ни за что не признаюсь. Мое чувство, какъ мнѣ казалось, было высоко, было свято само по себѣ, но что-то дурное заключалось именно въ томъ, что предметомъ этого чувства была Зина; однимъ словомъ, тутъ являлось какое-то неразрѣшимое противорѣчіе. Была минута, когда я подумалъ, что узналъ, какъ мнѣ надо поступить, и что именно такъ и поступлю непремѣнно. Я рѣшилъ, что завтра-же переговорю съ Зиной, скажу ей, что мы можемъ продолжать любить другъ друга, но не должны никогда говорить объ этомъ, должны теперь какъ можно дальше держаться другъ отъ друга, какъ будто мы въ разлукѣ. А потомъ, чрезъ нѣсколько лѣтъ, когда будетъ можно, все начнется снова, и что только такъ намъ и возможно быть теперь.

Я рѣшилъ это, но чрезъ минуту самъ хорошо понялъ, что ничего этого не будетъ и быть не можетъ. Я понялъ, что самъ первый нарушу свое обѣщаніе.

— Ты совсѣмъ боленъ, на тебѣ лица нѣтъ; ты вѣрно простудился дорогой!—замѣтила мнѣ утромъ мама.

— Нѣтъ, ничего, я здоровъ,—отвѣтилъ я, не смотря на нее и прошелъ въ садъ: я зналъ, что тамъ Зина.

Какъ встрѣчусь я съ нею?

Зина тихо ходила по садовой дорожкѣ съ книгой въ рукахъ; она учила какой-то урокъ. Я пошелъ рядомъ съ нею. Сначала она дѣлала видъ, что продолжаетъ учиться, но скоро положила книгу свою на попавшуюся скамейку и взяла меня за руку.

Я взглянулъ на нее и изумился: опять это была не прежняя Зина. Ея молчащіе глаза, ея блѣдное лицо и странная улыбка говорили, что это совсѣмъ не ребенокъ, и мнѣ почему-то становилось страшно. Мнѣ хотѣлось-бы, чтобъ у нея было другое

лицо, мнѣ хотѣлось-бы, чтобъ она была настоящимъ ребенкомъ, какъ были тѣ хорошенькія дѣвочки въ бѣлыхъ и розовыхъ платьяхъ, съ которыми я танцевалъ на нашихъ маленькихъ верхахъ и которымъ признавался въ любви,нося еще курточку, и которыя сами отвѣчали мнѣ, что очень меня любятъ. Мнѣ хотѣлось-бы, чтобы вся наша исторія была только дѣтской исторіей,—милою, смѣшною и мимолетною, оставляющею на всю жизнь смѣшное и милое воспоминаніе. Но я хорошо зналъ, что наша исторія не дѣтская, не смѣшная и не мимолетная. Я предчувствовалъ, что это что-то совсѣмъ новое и опять-таки страшное.

— Зина, зачѣмъ это было все, что вчера случилось. Зачѣмъ ты мнѣ сказала!—невольно выговорилъ я, грустно смотря на нее, Она изумилась.

— Развѣ-бы лучше было, если-бъ я молчала? Если хочешь, я буду молчать; я скажу тебѣ, что солгала, да, вѣдь, ты мнѣ самъ теперь не повѣришь.

— А monsieur Jean?—спросилъ я.

Она засмѣялась на весь садъ, стала кругомъ меня прыгать и бить въ ладоши.

— Ахъ, Андрюшечка - душечка, какой ты вчера былъ забавный! какой глупенькій! Развѣ можно было такъ смотрѣть на monsieur Jean? Вѣдь, онъ навѣрно тебя теперь дурачкомъ считаетъ!

— Зачѣмъ-же ты меня дразнила?

— Потому что это было очень весело.

— Такъ ты все сочинила, ничего не было?

— Нѣтъ, было, но, вѣдь, это безъ тебя, такъ какое тебѣ дѣло? Теперь ты со мною! А я со вчерашняго вечера и забыла совсѣмъ, что есть на свѣтѣ monsieur Jean, ты мнѣ только теперь напомнилъ. Ахъ, какая досада, что этотъ урокъ у меня противный, ну, да ничего, чрезъ часъ я буду свободна и пойдемъ, пожалуйста, гулять вмѣстѣ.

Она опять взяла свою книгу и стала учиться.

Я сѣлъ на скамейку, смотрѣлъ, какъ она ходитъ, какъ она закрываетъ глаза и что-то шепчетъ, очевидно, учить наизусть, какъ будто можно было что-нибудь теперь выучить.

Черезъ часъ Зина подбѣжала ко мнѣ въ шляпкѣ и немного принаряженная, взяла меня подъ руку, и мы вышли изъ нашего сада.

Я хотѣлъ идти въ паркъ ближнею дорогою черезъ огороды, но она повела меня улицей,, мимо дачи, гдѣ жилъ лицеистъ. Я

сообразилъ это тогда только, когда увидѣлъ его длинную фигуру у калитки.

Зина нѣжно оперлась на мою руку и начала болтать мнѣ всякій вздоръ, кокетливо ко мнѣ наклонялась и не обращала никакого вниманія на лицеиста. Онъ поклонился; она едва кивнула ему головой и сейчасъ-же опять мнѣ заговорила.

Въ другое время, можетъ быть, мнѣ и пріятно было-бы все это, особенно послѣ глупой роли, которую я сыгралъ наканунѣ, но теперь мнѣ вовсе было не до самолюбія. Напротивъ, я смутился, мнѣ стало тяжело.

— Зачѣмъ ты меня повела мимо этой дачи?—сказалъ я Зинѣ.

— Ахъ, я право не обратила вниманія, какъ мы идемъ,—отвѣтила она.

— Нѣтъ, ты лжешь, ты повела нарочно, ты хотѣла, чтобы насъ съ тобой увидалъ этотъ твой лицеистъ. Какъ вчера меня имъ дразнила, такъ теперь его мною дразнишь: я это навѣрное знаю и вижу.

— Совсѣмъ нѣтъ; и это глупости,—проговорила она, пожавъ плечами.

Но я зналъ, что правъ, и меня это раздражало.

Наканунѣ вечеромъ, во время этого неожиданнаго и волшебнаго объясненія, потомъ, въ долгіе часы моей безсонной ночи, Зина для меня опять была свѣтлою Зиной моего сна, а вотъ теперь этотъ сонъ снова разлетѣлся. Опять та-же вѣчная, мучительная, невозможная Зина: вотъ она идетъ и лжетъ. Теперь лицеистъ насъ не видитъ, она говоритъ иначе, совершенно иначе себя держитъ, не кокетничаетъ. А если-бъ онъ показался гдѣ-нибудь, если-бъ онъ могъ насъ видѣть, она опять начала-бы гримасничать.

Это было для меня такъ ужасно, что я готовъ былъ ее ненавидѣть. На минуту она стала мнѣ противна. Я шелъ понуря голову, и хотѣлось мнѣ, чтобы какая-нибудь невѣдомая сила навсегда раздѣлила насъ, чтобы никогда не видать мнѣ ея, чтобы не знать о ней и не думать.

Мы вошли въ паркъ, забрались въ самую глубь его, свернули съ дорожки. Зина стала искать землянику, а я безцѣльно бродилъ между деревьями. Она принесла мнѣ спѣлыя большія ягоды на вѣточкахъ, она наколола на мою шляпу какіе-то цвѣты и наконецъ объявила, что ей хочется отдохнуть, что мы можемъ отлично посидѣть подъ этими деревьями. Было жарко, я снялъ шляпу и прилегъ на мягкой травѣ подъ огромной сосной, надъ которою медленно плыли легкія облака. Со всѣхъ сторонъ дышала лѣтняя жизнь, раздавались тысячи тихихъ лѣсныхъ звуковъ. Зина тоже сняла свою шляпку и положила голову ко мнѣ

на колѣни. Я забылъ свою ненависть, свое негодованіе; я опять любить ее безумно и мучительно, и не могъ на нее наглядѣться...

Потомъ, много разъ сидѣли мы съ нею подъ деревьями этого парка, много разъ ея голова лежала на моихъ колѣнахъ; ея тонкія руки обнимали меня, а я разбиралъ и гладилъ ея волосы, и каждый разъ то-же мучительное, невыносимое чувство овла-дѣвало мною. Это были минуты величайшей силы моей любви, но самая-то любовь заключала въ себѣ столько тоски и мученья! Несмотря на нѣжность Зины и ея признаніе, я съ перваго дня любилъ ее *безнадежно*, безо всякой вѣры въ настоящее и будущее.

Если вспомнить день за день все, что было со мною въ это лѣто, то вышелъ-бы однообразный разсказъ о постоянно возра-ставшемъ моемъ мученьи, да и развѣ можно разсказать все это? Рѣдкій день проходилъ безъ того, чтобы Зина не довела меня до отчаянія. Она играла и забавлялась мною, я сознавалъ это и проклиналъ ее, ненавидѣлъ, а при первой ея ласкѣ снова къ ней возвращался, снова какъ-то ладилъ съ собою. Если мнѣ прежде казалось, что та жизнь, какую я велъ до моей поѣздки по Волгѣ, не могла продолжаться, то теперешняя уже дѣйстви-тельно становилась невозможною, и я предчувствовалъ, что скоро настанетъ всему конецъ, что все это порвется, такъ или иначе.

И конецъ пришелъ скоро, даже скорѣй чѣмъ я думалъ.

Наши прогулки, наши волненія замѣчались всѣми. Мама была очень занята это лѣто своими дѣлами по имѣнію, постоянно вела серьезную и непріятную переписку, часто уѣзжала въ го-родъ и долго ни о чемъ не догадывалась. Что-же касается до разныхъ тетушекъ и Бобелинъ, онѣ слѣдили за нами по пятамъ, очевидно, желая собрать побольше матеріала и доложить мамѣ длинную и по возможности грязную исторію. Конечно, всего проще-бы было запретить наши уединенныя прогулки, строго внушить Зинѣ, чтобъ она держала себя иначе и отъ меня отда-лялась; но никто этого не рѣшился сдѣлать. Мое положеніе было совсѣмъ особенное въ домѣ. Я считался любимцемъ родителей и пользовался всеобщею если не ненавистью, то по крайней мѣрѣ нелюбовью домочадцевъ. Тетушки хорошо знали, что если я захочу чего-нибудь, такъ поставлю на своемъ, могу надѣлать имъ много непріятностей, могу въ крайнемъ случаѣ вредно для нихъ повліять на маму, а потому всѣ онѣ боялись мнѣ перечить и только меня *ловили*.

Уже прошелъ августъ; недѣли черезъ двѣ мы должны были перебраться въ Москву. Я былъ почти какъ помѣшанный. Зина меня совершенно замучила своими выходками. Въ теченіе пер-

ваго мѣсяца она какъ будто забыла думать о лицеистѣ, но вотъ онъ опять ей понадобился какъ вѣрное средство дразнить меня. Она стала съ нимъ кокетничать, и когда я пенялъ ей, самымъ безсовѣстнымъ образомъ клялась, что все это мнѣ только кажется, что все я выдумываю. Между нами часто происходили бурныя объясненія. Зина способна была довести меня до страшной злобы, до изступленія. Мысли мои подъ конецъ совсѣмъ спутались, я уже не боролся съ собою и жилъ только настоящею минутой. Наконецъ, я даже пересталъ сдерживаться предъ домашними.

Не объясняя никому причины моего гнѣва на Зину, я сердился на нее при всѣхъ открыто. Зажмуривъ глаза, заткнувъ уши, я какъ будто летѣлъ въ какую-то пропасть и находилъ мучительное наслажденіе въ этомъ отчаянномъ полетѣ.

Вдругъ Зина выдумала новость: она стала отъ меня отдаляться, она отказывалась гулять со мною, и когда я съ ней заговаривалъ, иногда просто мнѣ ничего не отвѣчала. Я раздражался этимъ, требовалъ у нея отвѣта, что все это значитъ, и, не получая его, окончательно выходилъ изъ себя, бѣсновался, рвалъ на себѣ волосы. Мои невозможныя отношенія къ Зинѣ превратились просто въ какіе-то болѣзненные припадки.

Какъ-то разъ, въ первыхъ числахъ августа, она промучила меня все утро. Я убѣждалъ въ садъ, въ бесѣдку, и лежалъ тамъ съ горящею головою, ни о чемъ не думая и ничего не понимая. Потомъ вдругъ мои мысли какъ будто просвѣтлѣли; я нѣсколько очнулся, я понялъ, наконецъ, все свое безуміе. Зина была безнадеежна! Мой сонъ оставался сномъ и ушелъ далеко, и никогда ему на яву не повториться. Тотъ свѣтлый и чистый образъ снова сталъ предо мной. Я зналъ, что мнѣ нужно, наконецъ, бѣжать отъ живой Зины, я не могъ любить ее, потому что такая любовь была только позоромъ, а между тѣмъ я все-же любилъ ее до сумасшествія...

Вотъ вошла она въ бесѣдку и обняла меня. Я поднялся въ негодованіи и оттолкнулъ ее.

— Уйди отъ меня и не прикасайся ко мнѣ!—закричалъ я.— Я ненавижу тебя; ты дьяволъ, ты только хочешь меня измучить и уморить! Ты только умѣешь лгать, притворяться!.. Уйди отъ меня и не смѣй мнѣ говорить ни слова, я не хочу тебя знать, не хочу тебя видѣть...

Она потянулась было опять ко мнѣ, и я опять оттолкнулъ ее такъ, что она зашаталась. Она прислонилась къ стѣнкѣ бесѣдки и громко зарыдала. Я никогда не могъ выносить ея слезъ и рыданій. Я кинулся къ ней, но въ эту самую минуту въ бесѣдку вошла мама. Она остановилась предъ нами съ по-

блѣднѣвшимъ лицомъ; ея добрые глаза взглянули на меня съ невыносимымъ упрекомъ, даже какъ будто съ презрѣніемъ.

— Зина,—тихо проговорила она:—уйди отсюда; успокойся, пожалуйста, и иди въ свою комнату.

Зина вышла. Мама стояла предо мной все такая-же блѣдная и также невыносимо на меня глядѣла.

— Я никакого объясненія не прошу у тебя,—сказала она мнѣ.—Я не знаю и знать не хочу, что тутъ у васъ, но все это такъ дико, такъ невозможно, что я должна положить этому предѣлъ. Стыдно тебѣ, André, я считала тебя за порядочнаго юношу!

Слезы брызнули изъ ея глазъ и она, удерживая рыданія, быстро вышла изъ бесѣдки...

Я не знаю, какъ это устроили, но только въ тотъ день я не видѣлъ Зины, да и никого не видѣлъ.

На слѣдующее утро, когда я сошелъ внизъ, не было ни мамы, ни Зины. Катя мнѣ сказала, что Зину увезли въ Москву, что ее отдають въ институтъ. Я убѣждалъ къ себѣ, я рыдалъ, хохоталъ, бился головой объ стѣну, ломалъ все, что попадалось подъ руку и, наконецъ, упалъ на кровать въ полномъ изнеможеніи.

V.

Я написалъ все это не вставая съ мѣста, писалъ весь вчерашній день, всю ночь. Madame Brochet принесла мнѣ обѣдъ въ комнату; но я до него и не дотронулся, вотъ онъ такъ и стоитъ въ углу на столѣ. Я не замѣтилъ, какъ прошли сутки—я жилъ опять прежнюю жизнью, и какое это было счастье чувствовать себя такъ далеко отъ того ужаса, который теперь меня окружаетъ.

Я очнулся, когда солнце было уже высоко и заглянуло въ мои открытыя окна, ударило мнѣ прямо въ глаза, разогнало всѣ яркіе, будто снова только сейчасъ пережитые годы.

Я подошелъ къ окошку: на меня пахнуло свѣжестью и ароматомъ ясное весеннее утро. Кругомъ знакомыя горы, а впереди синева озера. И вотъ явственно и звонко прошепталъ надо мной Зининъ голосъ. Я закрылъ глаза и увидѣлъ ее, но уже не дѣвочкой, а такою, какой она была нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ здѣсь, въ этой-же комнатѣ, у этого открытаго окошка.

Тоска давить стала; но утомленіе взяло верхъ и надъ тою-токой, я упалъ въ кресло и заснулъ, не раздѣваясь.

Только сейчасъ стукъ въ дверь разбудилъ меня. Это madame

Brochet спрашиваетъ, что со мной, и предлагаетъ завтракъ. Нужно поскорѣе куда-нибудь спрятать вчерашній обѣдъ: madame Brochet такъ подозрительно на меня смотритъ съ тѣхъ поръ, какъ я къ ней вернулся, боюсь—а вдругъ какъ она возьметъ да и попроситъ меня подъ какимъ-нибудь предлогомъ выѣхать изъ ея домика.

Нѣтъ, во что-бы то ни стало нужно разогнать ея подозрѣнія. Спрячу обѣдъ, выйду къ ней и буду веселъ...

Все сошло благополучно, я опять могу приняться за работу.

Зина исчезла изъ нашего дома: она была въ институтѣ. Я далъ слово не стараться видѣть ее и сдержалъ свое обѣщаніе. Мало-по-малу я пришелъ въ себя: и Зина, и вся эта безумная исторія стали мнѣ казаться далекимъ бредомъ. Я ни разу не былъ въ институтѣ, а Зину къ намъ не привозили; къ тому же чрезъ годъ въ ея жизни произошла перемѣна: изъ-за границы пріѣхала ея тетка, и мама ей передала всѣ права надъ нею. Она взяла Зину изъ института, такъ какъ та ничему тамъ не училась, и увезла ее съ собою. Зина пріѣзжала къ намъ прощаться; но меня не было дома, да я и не грустилъ объ этомъ...

Прошло шесть лѣтъ, и прошли эти года невѣроятно скоро. А теперь такъ я совсѣмъ даже не могу ихъ вспомнить; мнѣ кажется, что совсѣмъ ихъ и не было. Наши продали московскій домъ и переселились въ деревню; я окончилъ курсъ, жилъ въ Петербургѣ одинъ, писалъ свою магистерскую диссертацию и собирался жениться.

Да, жениться. У меня была невѣста, Лиза Горицкая, наша сосѣдка по имѣнію. Мама давно уже презила объ этой свадьбѣ, и въ послѣднюю поѣздку въ деревню я сдѣлалъ Лизѣ предложеніе. Мнѣ помнится, что я тогда былъ счастливъ, мнѣ казалось, что я любилъ Лизу. Она была слабая и хорошенькая дѣвушка, вѣчно розовая и счастливая, заражавшая всякаго своимъ смѣхомъ и весельемъ. Она была единственная дочь у матери-вдовы, которая ее боготворила. По пріѣздѣ въ деревню я сталъ къ нимъ забираться, благо близко это было, чуть не каждый день, и, наконецъ, замѣтилъ, что мнѣ безъ Лизы просто скучно. Между тѣмъ недѣли черезъ двѣ мнѣ предстояло возвратиться въ Петербургъ. Сначала это меня очень мало тревожило; но вотъ, какъ-то вернувшись домой отъ Горицкихъ, я вдругъ чрезвычайно смутился при мысли о томъ, что какъ-же это я останусь одинъ, что какъ-же это все опять кончится—не будетъ предо мною ни свѣтлаго лица Лизы, ни смѣшной, добродушной

фигуры ея матери, Софьи Николаевны, ни всѣхъ этихъ прошивочекъ, скляночекъ, шкатулочекъ, которыми такъ любила заниматься Лиза. Понялъ я, что какъ хорошо было-бы, если-бы все это со мной осталось.

На слѣдующій день мы гуляли съ Лизой въ лѣсу. Вечеръ былъ удивительный, да и мѣстность прелестная. Мы шли и долго молчали, и я съ каждою минутой убѣждался, что все это такъ хорошо, такъ мило для меня только потому, что идетъ со мной Лиза и что непременно нужно, чтобы Лиза всегда шла со мною.

— О чемъ вы думаете?—спросила она меня.

Я такъ прямо и сказалъ ей о чемъ думаю. Если-бы зналъ только кто, какъ растерялась бѣдная Лиза. Она остановилась, раскрыла на меня свои сѣрые глаза, но не отняла у меня руку.

— Андрей Николаевичъ, что-же это вы такое сказали?—растерянно прошептала она:—развѣ можно говорить такія вещи!?

— Конечно, нельзя, если ихъ не думаешь. Но, вѣдь, вы спросили меня что я думаю, и я откровенно сказалъ вамъ, и теперь опять это повторяю и хочу чтобы и вы такъ-же откровенно сказали мнѣ то, что вы думаете.

Быстро, быстро разгораясь, залилъ румянецъ все лицо Лизы. Я смотрѣлъ, не отрываясь, на это лицо; я видѣлъ эти быстрыя измѣненія въ его выраженіи; я замѣчалъ какъ безконечно хорошеетъ Лиза съ каждою новою секундой.

— Ахъ,—невольнo сорвалось у нея:—что-же это такое?! Ну, да что-жъ, я не стану лгать, Андрей Николаевичъ: эти два мѣсяца мнѣ показались не то минутой, не то двумя годами... Мнѣ кажется, что я всегда васъ знала и никогда я не была такъ счастлива, какъ въ это время. Еще сейчасъ я не знала что такъ счастлива, и теперь, только сію минуту поняла это,—вотъ что я могу вамъ сказать...

На ея глазахъ блестѣли слезы.

Я крѣпко сжалъ ей руки, молча смотрѣлъ на нее. Невольное движеніе влекло меня обнять и прижать къ своей груди эту милую, раскраснѣвшуюся, такъ дѣтски и въ то-же время серьезно смотрящую на меня дѣвушку; но я удержался.

Мы пошли дальше и во все время молчали. Мы не знали, какъ въшли изъ лѣсу, не помнили, какъ вернулись домой, къ Софьѣ Николаевнѣ.

Она сидѣла на обросшемъ плюшемъ балконѣ и хотѣла что-то сказать намъ, но вдругъ взглянула на Лизу и остановилась.

— Матушка, что съ тобой, что это у тебя за лицо?—проговорила она на конецъ.

Лиза бросилась къ ней на шею и заплакала.

— Да что такое, что?—повторяла Софья Николаевна, тоже вся вспыхивая и нѣсколько лукаво смотря на меня.

— Нѣтъ, я не могу, не могу. Его спроси, пусть онъ скажетъ,—захлебываясь слезами, шептала Лиза.

Я хотѣлъ говорить, но у меня пересохло въ горлѣ, и слова не давались.

— Да не нужно, не нужно, поняла я васъ!—тихо сказала Софья Николаевна, протягивая мнѣ руку...

Вотъ этотъ вечеръ я вижу ясно предъ собою, а потомъ все опять въ туманѣ. Скоро я уѣхалъ въ Петербургъ работать надъ диссертацией. Свадьбу, по настоянію Софьи Николаевны, отложили до весны. Къ Рождеству ждали меня въ деревню...

По утрамъ я часто ходилъ въ Эрмитажъ и проводилъ тамъ нѣсколько часовъ предъ своими любимыми картинами. Какъ-то, въ срединѣ декабря, стоялъ я у тиціановской Магдалины и вдругъ замѣтилъ въ ней одно поразившее меня сходство, не въ чертахъ лица, нѣтъ, но что-то въ выраженіи напомнило мнѣ Зину въ инныя ея минуты.

Измученная, вдохновенная, раскаивающаяся, облитая слезами женщина, созданная Тиціаномъ, и Зина! Кажется, что могло быть общаго?.. А между тѣмъ сходство дѣйствительно поражало. Точно съ такимъ-же выраженіемъ я помню Зину въ двѣ-три минуты, когда она блѣдная, вся въ слезахъ, являлась предо мною и оплакивала свои проступки и раскаивалась, и просила у меня прощенья.

Въ подобныя минуты она была всегда искренна и совѣмъ не походила на ребенка. Теперь я очень рѣдко думаю о Зинѣ, но это внезапно найденное мною сходство вернуло къ ней мои мысли, и я сталъ о ней думать. Мнѣ хотѣлось увидѣть ее, такъ, мелькомъ, чтобы только посмотреть, что съ ней теперь случилось...

И вдругъ я ее увидѣлъ.

Высокая, стройная женщина подошла ко мнѣ и положила мнѣ на плечо свою руку. Я съ изумленіемъ обернулся, растерянно взглянулъ на нее и сразу узналъ въ ней Зину.

Она очень мало измѣнилась; пятнадцатилѣтняя дѣвочка была не похожа на ребенка; а теперь, въ двадцать одинъ, она осталась такою-же. Еще за минуту передъ тѣмъ, когда я уже о ней думалъ и во всѣхъ подробностяхъ вспоминалъ лицо ея, мнѣ не было ни страшно, ни больно отъ этихъ воспоминаній: я оставался спокойнымъ; все это такъ давно прошло и ничего общаго не могло быть между тѣмъ временемъ и моею теперешнею

жизнью. А тутъ, только что живая Зина подошла ко мнѣ, только что взглянула она на меня и я взялъ ее за руку, какъ разомъ уничтожилось все пространство времени въ шесть лѣтъ, прошедшее съ послѣдняго нашего свиданія. Прежде еще, чѣмъ я сознавалъ это, я уже былъ тѣмъ-же самымъ несчастнымъ человѣкомъ, какимъ бывалъ всегда въ ея присутствіи. Она опять владѣла мною; прежній воздухъ дохнулъ на меня и я опять мучился.

— Ты знаешь, André,—заговорила Зина, прежде чѣмъ я могъ произнести слово: — я здѣсь не случайно, я была у тебя. Мнѣ сказали, что ты въ Эрмитажѣ и я отправилась искать тебя. Ты мало измѣнился; ну, а я какъ.

— Да и ты мало измѣнилась. Скажи, какъ ты здѣсь, на долго-ли? Что ты дѣлаешь, что съ тобою? Все скорѣе расскажи мнѣ.

И она стала мнѣ рассказывать. Ея тетка умерла, она опять одна съ очень маленькими средствами. Она еще не знаетъ что будетъ дѣлать, гдѣ будетъ жить. А теперь остановилась въ домѣ своего бывшего опекуна, одного стараго генерала.

— Можно къ тебѣ?—спросилъ я.

— Конечно, разумѣется, пойдемъ сейчасъ! Ты увидишь моего генерала, отличный старикашка, страшно богатъ и влюбленъ въ меня.

Мы поѣхали.

Генералъ былъ дома. Зина меня сейчасъ представила какъ родственника и стараго друга дѣтства. Впрочемъ, онъ зналъ мою мать и встрѣтилъ меня необыкновенно любезно.

Зина пріѣхала въ Петербургъ два дня тому назадъ, прямо къ генералу, съ которымъ заранѣе списалась.

Кажется, тутъ не было ничего страннаго и непонятнаго: пожилой человѣкъ, товарищъ и даже родственникъ ея отца, ея бывший опекунъ, конечно, она имѣла полное основаніе у него остановиться; но мнѣ сразу показалось въ домѣ этомъ что-то странное. Самъ генералъ не представлялъ ничего интереснаго: ему на видъ казалось лѣтъ за пятьдесятъ пять, когда-то, вѣрно, онъ былъ очень красивъ, и теперь еще на его старомъ лицѣ оставались слѣды этой красоты. Къ тому-же онъ тщательно собою занимался. Его сѣдые порѣдѣвшіе волосы были необыкновенно аккуратно расчесаны, усы надушены, одежда изысканна.

Онъ называлъ Зину своей дорогой дѣвочкой и обращался съ нею какъ нѣжный отецъ; она-же относилась къ нему довольно презрительно и почти въ глаза надъ нимъ смѣялась.

Я узналъ, что генералъ еще прежде, раза два, проводилъ лѣто у Зининой тетки. Зина сказала мнѣ, что онъ влюбленъ въ

нее, и черезъ четверть часа я уже отлично понялъ, что она сказала правду: подъ отеческой нѣжностью старика видно было другое чувство.

Мнѣ все это показалось очень безобразно, мнѣ захотѣлось, чтобы Зина поскорѣй куда-нибудь уѣхала — все равно куда, только подальше-бы отъ этого генерала.

Наконецъ, мы остались съ ней вдвоемъ.

— Ну, какъ тебѣ понравился старикашка? — спросила она меня.

— Что-же въ немъ особеннаго? Ничего... только это, кажется, правду ты сказала, что онъ влюбленъ въ тебя, и это мнѣ очень не нравится.

Она засмѣялась.

— Что-же тутъ такого? Совершенно въ порядкѣ вещей! Еще-бы онъ въ меня не влюбился!.. Давно ужъ вздыхаетъ! Еще третьяго года, лѣтомъ, въ деревнѣ... И если-бы ты зналъ какъ все это смѣшно!.. У меня, вѣдь, тамъ, что ни день, то новый женихъ являлся, и старикъ ко всякому ревновалъ меня. Если-бы не онъ, такъ я, кажется, умерла-бы отъ скуки!

— Такъ у тебя много было жениховъ,—сказалъ я:—отчего-же ты до сихъ поръ не вышла замужъ?

Она взглянула на меня и лицо ея вдругъ стало серьезно.

— Да сама не знаю,—проговорила она.

— Неужели тебѣ никто не нравился?

— Какъ не нравился, многіе нравились, даже влюблялась. Одинъ разъ совсѣмъ была готова выйти замужъ, но только что этотъ господинъ сдѣлалъ мнѣ предложеніе, какъ вдругъ, въ одну минуту, онъ мнѣ опротивѣлъ. Просто тошно было мнѣ смотрѣть на него! Да если-бы тогда и вышла замужъ, такъ, можетъ быть, единственно только для того, чтобы подразнить генерала.

Это была прежняя, не измѣнившаяся Зина.

Намъ было о чемъ поговорить съ ней, и мы говорили много, но оба тщательно избѣгали возвращаться къ нашимъ собственнымъ воспоминаніямъ. Кромѣ Зининаго признанія объ ея отношеніяхъ къ женихамъ, между нами не было сказано ни одного настоящаго, искренняго слова. Говорили обо всемъ, но не говорили о самомъ важномъ.

— А знаешь, вѣдь, мнѣ сказали, что ты собираешься жениться, правда-ли это?—спросила Зина.

— Кто-же тебѣ могъ сказать?

— Это все равно, только сказали. Правда-ли это?

— Нѣтъ, не правда, — отвѣтилъ я и отвѣтилъ искренно: я теперь знаю что не женюсь, я знаю, что моя жизнь опять разрушена и опять началось новое.

— А я такъ, можетъ быть, очень скоро выйду замужъ, — шепнула Зина, прощаясь со мною.

— За кого? — спросилъ я.

— За генерала.

Она смѣялась, но какимъ-то неестественнымъ смѣхомъ, отъ котораго у меня прошелъ морозъ по кожѣ.

Я вышелъ отъ нея опять въ туманѣ, опять измученный и недоумѣвающий.

VI.

Прошло два дня и эти два дня я не выходилъ изъ дома. Я бродилъ по цѣлымъ часамъ изъ угла въ уголъ въ совершенномъ отчужденіи, не зная даже, думалъ-ли я что-нибудь. Я только понималъ, что снова началась старая болѣзнь и все, чѣмъ жилъ я до сихъ поръ, чѣмъ жилъ еще нѣсколько часовъ тому назадъ, ушло отъ меня, потеряло для меня всякій смыслъ.

Я не могъ дотронуться до моей диссертации, не могъ никого видѣть: предо мной была только Зина.

Но я не шелъ къ ней, я чувствовалъ что мнѣ до новаго свиданія съ нею предстоитъ еще одно тяжелое дѣло. Мнѣ страшно было приступить къ этому дѣлу, и не зная я, какъ приступить къ нему, и тянулъ часъ за часомъ.

Но на второй день вечеромъ я вдругъ и неожиданно для самого себя написалъ письмо моей невѣстѣ. Не помню, что именно писалъ я ей, только она, конечно, не могла обмануться въ значеніи письма этого: я навсегда прощался съ нею.

Какъ въ туманѣ вышелъ я изъ дома, самъ опустилъ письмо въ ящикъ и потомъ долго бродилъ по улицамъ, не зная куда дѣваться отъ тоски, которая меня душила...

Что такое я сдѣлалъ? Развѣ возможенъ подобный поступокъ и развѣ нуженъ онъ? Можетъ быть, все это и ни что иное, какъ безуміе минуты, и вотъ минута пройдетъ, я очнусь, вернусь къ дѣйствительной жизни, а между тѣмъ все ужъ будетъ кончено.

Было даже мгновеніе, когда я хотѣлъ писать Лизѣ другое письмо, умолять ее простить бредъ мой, но сейчасъ-же, и уже сознательно, понималъ я, что все между нами кончено. Предо мной выросли и освѣтились двѣ фигуры: какъ живыя стояли онѣ — и Лиза и Зина, и ясно и отчетливо я видѣлъ всю разницу между ними; я понималъ до какой степени чище и прекраснѣе Лиза. Я увидѣлъ все то зло, весь тотъ мракъ и ужасъ, которые дышали отъ другого образа, стоявшаго предо мною. И между тѣмъ

этотъ образъ, едва появившись, ужъ увлекалъ меня, отрывалъ отъ того, въ чемъ я могъ-бы найти свое счастье.

Лиза и Зина! Боже мой!.. Но дѣло въ томъ, что я бѣжалъ не къ Зинѣ, а къ призраку моего воображенія, почему-то связанному съ Зиной.

И снова безумно любилъ я этотъ призракъ, сила любви моей была такова, что скоро заставила меня замолчать совѣсть и выгнала изъ меня тихое, счастливое чувство, которымъ жилъ я въ послѣдніе мѣсяцы...

Все больше и больше запутывающійся въ своихъ мысляхъ и чувствахъ, незамѣтно заснулъ я, но и во снѣ со мной была опять Зина, только ужъ не двоилась: она была одна—та самая, какою я видѣлъ ее въ давно прошедшіе годы. Опять мы были съ нею въ старомъ волшебномъ домѣ, опять выходили въ садъ, залитый солнечнымъ свѣтомъ и опять радость разливалась въ душѣ моей, и опять понималъ я это прекрасное созданіе, которое было рядомъ со мною. Мы снова неслись впередъ, среди ликующей природы, подъятые одной мыслью, однимъ чувствомъ. Мы не задавали другъ другу никакихъ вопросовъ, и всякій вопросъ, становившійся предъ нами, разрѣшали на мѣстѣ: и какое наслаждение было въ этой общей работѣ!

Я помню, что снова явилось въ мельчайшихъ подробностяхъ все, что когда-либо волновало меня въ жизни, что неясно жило во мнѣ: и все это было понятно сразу моей спутницѣ. На все она откликнулась, и въ ней самой, въ ея недоговоренныхъ мысляхъ, невыраженныхъ чувствахъ я тоже все понялъ и разъяснилъ ей...

Проснулся я безъ тоски и страха. Меня уже не страшили трудности: я долженъ найти все; я долженъ сорвать съ души ея эту уродливую оболочку, въ которую она прячется; я долженъ разбить колдовство и чары, долженъ освободить изъ неволи, вырвать изъ грязи эту прекрасную душу. Тяжелая, трудная задача! Но награда, которую получу я, награда, показанная мнѣ въ чудныхъ пророческихъ снахъ, такъ высока, что было-бы безумствомъ отказаться отъ этой задачи; да и развѣ это возможно?..

Итакъ, я былъ снова свободенъ; мнѣ казалось, что новая жизнь началась. Я отправился къ Зинѣ. «А вдругъ даже и борьбы никакой не надо,—безумно думалось мнѣ:—вдругъ это волшебное счастье уже готово и ждетъ меня? И я не разглядѣлъ его при встрѣчѣ съ нею только потому, что помнилъ страшное, больное время моей юности».

Зина была одна въ квартирѣ генерала. Она встрѣтила меня какъ любимаго брата, сказала мнѣ, что давно ждетъ меня и что еслибъ я не пришелъ, она сама ко мнѣ отправилась-бы. Я смотрѣлъ на нее и съ каждою минутой росла во мнѣ увѣренность, что сонъ мой начинаетъ сбываться. Я забылъ о генералѣ, о дикой ея фразѣ, да и какъ было не забыть мнѣ. Зина не напоминала.

Я разглядѣлъ ее теперь хорошенько. Я увидѣлъ ее скромною, ласковою дѣвушкой. Во мнѣ осталось отъ нея впечатлѣніе чего-то ужаснаго, мучительнаго, а вотъ она предо мною, и столько въ ней простоты и искренности! На этотъ разъ она много говорила: рассказывала мнѣ всю свою жизнь за эти шесть лѣтъ, вспомнила свою тетку. На глазахъ ея показались слезы, когда она говорила объ ея смерти. Она тоже разспрашивала меня про нашихъ, съ такою любовью припоминала маму, Катю, всѣ свѣтлые дни въ нашемъ домѣ.

Еслибъ я могъ забыть прошлое, еслибы могъ забыть весь тотъ мракъ и ужасъ, я былъ-бы вполне счастливъ. Но, вѣдь, я не могъ забыть этого. Это воспоминаніе отравляло всю прелесть нашего свиданія; съ нимъ нужно было покончить. Мнѣ было тяжело начать, но я рѣшился.

— Зина,—сказалъ я:—мы вспоминаемъ все хорошее; но, вѣдь, столько было дурного. Забыть его невозможно. Я не забылъ, и ты, вѣдь, не забыла?

Зина подняла на меня свои молчащіе и теперь совсѣмъ тихіе глаза и протянула мнѣ руки.

— Его можно забыть, André, и должно. Это была дѣтская и глупая исторія.

И мнѣ показалось, что дѣйствительно, это была дѣтская и глупая исторія, что такъ на нее и смотрѣть нужно и что только я, одинъ я, виноватъ въ ней. Должно быть, я тогда просто выдумалъ эту страшную Зину, напрасно измучилъ себя и ее, омрачилъ ея дѣтскіе дни и безобразно былъ виноватъ предъ нею.

Я искренно и горячо сталъ просить у ней прощенья.

— Если ты виноватъ предо мною, то я давно, давно ужъ тебя простила, — сказала мнѣ Зина. — Еслибъ я не простила тебя, развѣ-бы такъ встрѣтилась я съ тобою? Я помню только одно хорошее, я помню моего милаго Андрюшу. Поди ко мнѣ, поцѣлуй меня, будь моимъ другомъ; мнѣ очень нужно друзей, у меня ихъ нѣтъ...

Она наклонилась ко мнѣ, она обняла меня и спрятала свою голову на груди моей. Отъ нея вѣяло грустью и тихою лаской.

«Вотъ какъ все это разрѣшилось,—радостно думалъ я:—ка-

кимъ-же былъ я всегда безумцемъ и какое безконечное счастье, что она теперь прѣхала».

Но, странное дѣло, мысль о томъ, что можетъ быть, эта настоящая, новая Зина, Зина души моей, меня не любитъ и не полюбить такъ, какъ я ее, не приходила мнѣ въ голову.

Мы говорили съ нею какъ братъ съ сестрой, мы признавали ту старую, страшную исторію прошедшею и оконченною. Все придетъ, все теперь сбудется, все ужъ близко, чувствовалъ я, и все уходило въ настоящую минуту.

— Такъ ты не женишься?—вдругъ спросила Зина.

— Нѣтъ,—спокойно отвѣчалъ я.

— Однако это странно! Я все знаю изъ вѣрнаго источника, изъ писемъ твоей сестры Кати къ одной моей пріятельницѣ. Расскажи-же мнѣ все.

Я сказалъ ей, что точно былъ женихомъ, но что дѣло разстроилось.

— Давно?

— Недавно.

— Можетъ быть, вчера?

— Можетъ быть, и вчера,—опять спокойно повторилъ я.

Въ это время я сидѣлъ въ креслѣ, а Зина ходила по комнатѣ. Она сзади подошла ко мнѣ, старымъ, памятнымъ мнѣ движеніемъ спутала мои волосы и, наклонившись, прижалась къ моему лбу влажными, горячими губами.

Я быстро поднялъ голову. Надо мной мелькнула знакомая, злая, мучительная улыбка, но я подумалъ, что мнѣ она почувдлась только, тѣмъ болѣе, что въ лицѣ Зины чрезъ секунду ужъ ничего не оставалось отъ этой улыбки.

— Обѣдай сегодня со мною,—сказала мнѣ Зина:—я одна весь день, генералъ въ своемъ клубѣ. Отъ многого я его ужъ отучила, но отъ клуба отучить никакъ не могу, даже меня одну сегодня рѣшился оставить, а это для него много.

— Что-жъ, когда-же твоя свадьба съ генераломъ?—смѣясь спросилъ я (я искренно смѣялся).

— Когда тебѣ угодно,—тоже засмѣялась Зина.

— Такъ это вздоръ!

— Господи, конечно, вздоръ, и не будемъ пожалуйста говорить объ этихъ глупостяхъ!

— Зачѣмъ-же ты тогда мнѣ сказала? Знаешь, вѣдь, ты меня испугала...

— Вольно-же тебѣ пугаться. Мали-ли что я болтаю. Если будешь вѣрить всякому моему слову, такъ я, пожалуй, запугаю тебя до смерти...

Весь день мнѣ пришлось знакомиться съ Зиной; все въ ней было ново, поражало меня и радовало.

Когда мы рѣшили, что я остаюсь обѣдать, она повела меня въ свои комнаты, которые были почти ужъ устроены. Она показала мнѣ всѣ свои работы и, наконецъ, развернула предо мною большой альбомъ съ рисунками.

— Кто это рисовалъ?—спросилъ я.

— Я,—улыбаясь отвѣтила она.—Видишь, кое-что хорошее осталось отъ того времени. Это ты заставилъ меня полюбить живопись. Таланта Богъ мнѣ не далъ особеннаго, но посмотри, увидишь, что все, что могла я сдѣлать—сдѣлала.

Я жадно принялся разсматривать рисунки. Если-бы я могъ быть тогда хладнокровнымъ, то замѣтилъ-бы, что она далеко не сдѣлала всего, что могла сдѣлать, потому что рѣдкій рисунокъ былъ оконченъ. Иной разъ отдѣльныя части были не только что не дорисованы, но даже перерисованы, а остальное совсѣмъ брошено. Вообще, это была коллекція самыхъ безалаберныхъ рисунковъ; но тогда я не могъ этого замѣтить. Я разсматривалъ ихъ съ большимъ удовольствіемъ. Вотъ бросился мнѣ въ глаза между ними набросокъ мужской головы, въ которой я нашелъ сходство съ собою.

— Это ты меня?—спросилъ я.

— А ты узналъ? Вотъ лучшая похвала мнѣ!.. Только нѣтъ, не смотри, ужасно плохо... Знаешь, я часто вспоминала, но рѣдко могла хорошенько вспомнить лицо твое. Одинъ только разъ оно представилось мнѣ во всѣхъ подробностяхъ, и вотъ тогда принялась я за этотъ рисунокъ...

Послѣ альбома я подошелъ къ этажеркѣ съ книгами. Бывшая лѣнивая, никогда не учившаяся и ничѣмъ не интересовавшаяся, Зина привезла съ собою лучшія произведенія художественной литературы, серьезныя историческія сочиненія, нѣсколько книгъ по естественнымъ наукамъ.

— И ты прочла все это?—спросилъ я.

— Даже не разъ,—отвѣтила она совершенно просто:—это все мои любимыя книги.

— Такъ ты любишь ученіе?

— Ужасно. Только училась я мало, такъ какъ-то вся жизнь до сихъ поръ безалаберно вышла. Ну, да теперь, если останусь здѣсь, ты мнѣ во многомъ поможешь. Ахъ, какъ много мнѣ еще нужно! Но что-же говорить обо мнѣ, еще наговоримся; ты про себя мало говоришь, а мнѣ такъ интересно знать твои планы.

Я сталъ ей рассказывать; она жадно меня слушала, она интересовалась всѣмъ, каждою моею мыслью. Заговорила она и о своей живописи: оказалось, что она провела нѣсколько мѣся-

цевъ въ Италиі, осмотрѣла тамъ все достойное вниманія. Съ жаромъ говорила она о многихъ видѣнныхъ ею картинахъ. Потомъ рассказала, какъ тайкомъ уѣхала отъ тетки изъ Мюнхена въ Дрезденъ, чтобы только взглянуть на Сикстинскую Мадонну.

— И знаешь, я три дня прожила предъ этою картиной. Приходила рано утромъ и уходила когда запирали галерею. И сначала она мнѣ не понравилась, ничего я не нашла въ ней, но зато потомъ ужъ не могла оторваться. Это были чудные дни какой-то новой жизни, я неслась куда-то... Вѣдь, помнишь... знаешь, она на воздухъ вверхъ несется и поднимаетъ съ собою всякаго, кто умѣетъ смотрѣть на нее и понимать ее. Но, чтобы понять, нужно превратиться въ ребенка; я такъ и сдѣлала, и можетъ быть никогда я не была такимъ ребенкомъ, какъ тогда, когда смотрѣла на эту картину!

Она стала подробно передавать мнѣ свои ощущенія, и я жадно ловилъ ихъ и наслаждался тѣмъ, что она повторяла мои собственные мысли.

И это говорила она, та самая Зина, которую когда-то называли глупенькою. Она поняла тайну прекраснаго и высокаго, поняла, что для того, чтобы восхититься Мадонной и постичь ее, нужно превратиться въ ребенка, то-есть, очиститься сердцемъ.

Я не замѣчалъ, какъ шло время. Я пробылъ у нея до поздняго вечера.

Генералъ вернулся, звалъ насъ въ театръ съ собою, но мы отказались, и онъ отправился одинъ. Я сталъ было искать въ немъ, въ выраженіи лица его неудовольствія, ревности, но ничего не замѣтилъ. На этотъ разъ это былъ только добродушный старикъ. Значитъ, все мнѣ пригрѣзилось, и только сегодня я проснулся. Зина ни однимъ словомъ, ни одною миной не нарушала моего впечатлѣнія, и я наконецъ ушелъ отъ нея совсѣмъ успокоенный, ни въ чемъ не сомнѣвающийся. На душѣ у меня было свѣтло и весело; мнѣ казалось, что все кругомъ меня прекрасно, даже сѣрый петербургскій вечеръ съ грязью и оттепелью.

VII.

Madame Brochet рѣшительно меня преслѣдуетъ.

Я не могъ спокойно прожить нѣсколько часовъ за моею работою.

Едва забудусь, едва уйду въ свои воспоминанія, едва замолчить эта невыносимая тоска, тоска ожиданія, какъ уже раздается стукъ въ двери и вкрадчивый голосъ шепчетъ:

— Monsieur, que faites vous toujours dans votre chambre? L'air

est si doux ce soir... allez donc, faites une promenade dans les montagnes...

И я чувствую въ то-же время, что зоркій глазъ наблюдаетъ за мною въ замочную скважину.

Я залѣпилъ скважину воскомъ, и это не помогаетъ. Madame Brochet стала подсматривать за мною чрезъ окна. Теперь цѣлый день у меня спущены занавѣски, такъ она пустилась на новую хитрость,—подослала ко мнѣ свою Алису. Вотъ она только что ушла отъ меня.

Она явилась такая свѣженькая, хорошенькая, въ только что выглаженномъ платицѣ, съ вѣчною черною бархаткой на шеѣ.

Она принесла мнѣ букетъ первыхъ цвѣтовъ, и я не въ силахъ былъ отъ нея отдѣлаться...

Мнѣ еще невыносимѣе стало при взглядѣ на Алису: эта свѣжесть, здоровый румянецъ, эта жизнь, полудѣтскія улыбки... здѣсь, рядомъ со мною, въ этой комнатѣ, гдѣ все... смерти!.. Я совсѣмъ растерялся.

Алиса сейчасъ-же стала допытываться: чѣмъ я такимъ занятъ, что такое пишу...

Я отвѣтилъ ей, что пишу романъ и тороплюсь ужасно. Она посмотрѣла мою рукопись, выразила сожалѣніе, что не понимаетъ по-русски и кажется удовлетворилась моимъ объясненіемъ. Я уже думалъ, что все сошло благополучно, но мнѣ предстояло большое испытаніе: Алиса вдругъ пристально посмотрѣла на меня, вся вспыхнула и залпомъ проговорила:

— Et que fait madame? Où est elle maintenant?.. Est ce que nous ne reverrons pas madame?..

Вотъ къ чему клонился букетъ первыхъ цвѣтовъ! При словѣ «madame» я невольно вздрогнулъ и не могъ справиться съ собою. А хитрая дѣвочка такъ и впиалась въ меня глазами.

— Madame est à Paris... je viens de la quitter, — прошепталъ я, едва ворочая сухимъ языкомъ.

Вѣрно Алиса поняла, что больше отъ меня ничего не добьется, или испугалась что-ли моего лица, только не стала меня мучить и удалилась... Боже мой, что-жъ тутъ такого, что меня про нее спросили?! А вотъ будто новый страшный ударъ разразился надо мною... Скорѣе, скорѣе опять за работу!..

Счастливый и безумный, не имѣвшій даже времени думать и мечтать о будущемъ въ этомъ нахлынувшемъ на меня счастьи, я бросилъ мои работы и проводилъ почти всѣ дни съ Зиной и у Зины. Ея генералъ пересталъ смущать меня; я теперь началъ

находить его очень милым стариком и необыкновенно радушным хозяиномъ.

Но мое счастье было непродолжительно. Какъ-то на святкахъ, придя къ Зинѣ, я засталъ у нея нѣсколько новыхъ лицъ, присутствіе которыхъ сразу отравило мою радость.

Это были именно такіе люди, которыхъ мнѣ невыносимо было видѣть рядомъ съ Зиной. Во-первыхъ, бывшая Сашенька, теперь Александра Александровна, одна изъ воспитанницъ мамы, существо пустоты необыкновенной, приобрѣтшее себѣ въ Петербургѣ самую плохую репутацію и самого непристойнаго мужа. Потомъ, эти такъ-называемые Коко и Мими, два моихъ университетскихъ товарища, не кончившіе курса студенты, изнашившіеся и истрепавшіеся шалопаи. Они оба были въ какомъ-то дальнемъ родствѣ съ генераломъ.

Но хуже и отвратительнѣе всего было то, что за ними, изъ полутемнаго угла Зининаго будуара, на меня глянуло слишкомъ знакомое лицо съ гладко причесанными черными волосами, вылѣзшими бакенбардами и зеленоватыми кошачьими глазами, прячущимися подъ блестящими стеклами *pince-nez*.

Это былъ Рамзаевъ.

Рамзаевъ!.. Нѣтъ, я во что-бы то ни стало долженъ успокоиться, долженъ хладнокровно припомнить этого человѣка съ самаго начала. Вѣдь, онъ прошелъ чрезъ всю жизнь мою...

Появленіе Вани Рамзаева въ нашемъ домѣ—одно изъ самыхъ первыхъ воспоминаній моего дѣтства.

Я помню, его привезли въ Москву изъ какой-то деревенской глуши, привезла мать, заплывшая жиромъ женщина, въ чепцѣ съ удивительными лентами. Она приходилась мамѣ какою-то кумой, была мелкопомѣстная дворянка, получала послѣ смерти мужа маленькую пенсію и имѣла нѣсколько человѣкъ дѣтей. Старшихъ дочерей пристроила по сосѣдству, а вотъ Ваню, своего единственнаго сына, намѣревалась отдать въ столичное учебное заведеніе. Явилась она тогда къ намъ, по давнему обычаю всѣхъ нашихъ отдаленныхъ родственниковъ и деревенскихъ сосѣдей, совершенно неожиданно, не освѣдомившись, согласна-ли будетъ мама принять подъ свое покровительство ея сына. Впрочемъ, къ чему ей было освѣдомляться объ этомъ: всѣ знали маму, знали, что еще никогда, никому въ жизни она ни въ чемъ не отказывала. Помню, этой неожиданной гостьѣ немедленно-же отвели комнату въ нашемъ домѣ, приставили къ ней горничную; помню, какъ въ тотъ-же день мама куда-то уѣхала и вернулась со всевозможными покупками для приѣз-

жихъ. Въ дѣвичьей стали шить и кроить всякое бѣлье и костюм-
чики для Вани.

Ему тогда было лѣтъ ужъ двѣнадцать, а мнѣ лѣтъ пять. Я
его очень не взлюбилъ въ первое время: онъ ужасно сопѣлъ,
и это почему-то особенно мнѣ въ немъ не нравилось. Отлично
я помню это сопѣнье, но затѣмъ на нѣсколько лѣтъ воспоми-
нанія мои какъ-то прекращаются. Я помню его опять ужъ
гимназистомъ старшихъ классовъ. Онъ былъ пансіонеромъ,
являлся къ намъ по праздникамъ и часто все лѣто проживалъ
у насъ въ Петровскомъ: не ѣздилъ въ далекую деревню къ
матери.

Онъ ужъ больше не сопѣлъ, и мой взглядъ на него совер-
шенно измѣнился. Теперь онъ мнѣ казался самымъ лучшимъ,
самымъ привлекательнымъ существомъ во всемъ мірѣ. Я считалъ
его своимъ закадычнымъ другомъ, и эта дружба мнѣ необыкно-
венно льстила, такъ какъ я все-же былъ еще маленькимъ маль-
чишкой, носилъ еще широкіе панталончики, обшитые кружевами,
а онъ былъ длинненькимъ, тоненькимъ юношей въ гимназиче-
скомъ мундирѣ съ краснымъ воротникомъ.

Его появленіе каждую субботу производило восторгъ не въ
одномъ мнѣ; и все остальное дѣтское населеніе нашего дома
встрѣчало его съ распростертыми объятіями. Съ субботы и до
понедѣльника, благодаря ему, у насъ обыкновенно начиналось
самое волшебное времяпровожденіе. Онъ каждый разъ прино-
силъ съ собою какія-нибудь вещицы необыкновенной важности,
какъ мнѣ тогда казалось: то хитро сдѣланную коробочку, то
чудесно разрисованную картинку, то резинку, доведенную до
такого состоянія, что она, будучи какъ-то особенно сложена и
затѣмъ надавлена, очень громко шелкала. Всѣ эти удивитель-
ныя вещи приносились имъ мнѣ въ даръ и въ концѣ концовъ
составляли въ моемъ шкапу огромный складъ.

Бывало, насладившись новою принесенною имъ вещью, мы
ожидали отъ него какой-нибудь игры или забавы, и онъ всегда
удовлетворялъ нашимъ требованіямъ: то дѣлалъ намъ изъ фольги
ордена и звѣзды, мастерилъ изъ чего попало военные костюмы,
ставилъ насъ въ шеренги, начиналъ нами командовать, и мы
бѣгали по залѣ, хоромъ распѣвая.

Какъ-то разъ передъ толпою
Соплеменныхъ горъ...

Особенный азартъ и восторгъ начинался со словъ:

Вѣютъ бѣлые султаны
Какъ степной ковыль;
Мчатся пестрые уланы,
Поднимая пыль.

И мы мчались и мчались изъ комнаты въ комнату, поднимая такой гвалтъ и пыль, что подъ конецъ даже долготерпѣливая мама заставляла насъ переимѣнить игру.

Я начиналъ, конечно, возражать, а дѣвочки начинали плакать, но Ваня всегда умѣлъ подслужиться и намъ, и мамѣ. Онъ объявилъ, что дѣйствительно нужно кончить и что онъ придумаетъ что-нибудь новое и еще болѣе интересное. Мы ему вѣрили, снимали съ себя бранные доспѣхи и ждали, что такое будетъ.

— Хотите я вамъ разскажу сказку?—спрашивалъ онъ.

— Хорошо, хорошо!

Мы усаживались вокругъ него въ диванной на широкихъ подушкахъ, облѣпляли его со всѣхъ сторонъ и жадно принимались слушать.

Зимніе сумерки незамѣтно надвигались; по большимъ нашимъ комнатамъ стояла тишина; только издали, въ столовой, слышались приготовленія къ обѣду: тамъ стучали ножами и вилками, тамъ непремѣнно летѣла на полъ и разбивалась тарелка. Но мы не обращали ни на что вниманія и только слушали нашего друга.

Ваня разсказывалъ намъ удивительныя сказки; онъ въ то время прочелъ всю Шехеразаду и бралъ свои сюжеты обыкновенно изъ *Тысячи и одной ночи*. Подъ конецъ онъ всегда начиналъ черезчуръ увлекаться, вдавался въ подробности имъ самимъ выдуманныя и иногда до того ни съ чѣмъ несообразныя, что я долженъ былъ его останавливать и требовать всякихъ объясненій. Эти остановки нарушали гармонию въ нашемъ кружкѣ: дѣвочки на меня накидывались и обвиняли въ томъ, что я только мѣшаю.

Онъ больше любилъ самый процессъ разсказа, страшныя сцены, и имъ не было равно никакого дѣла до послѣдовательности; онъ умѣлъ слушать, особенно Катя, съ разинутымъ ртомъ, съ остановившимися и впившимися въ разсказчика глазами; онъ никогда не прерывалъ и только по временамъ вздыхалъ и даже вздрагивалъ отъ полноты чувства.

Я тоже слушалъ очень внимательно и, можетъ быть, тоже съ разинутымъ ртомъ, я всецѣло уходилъ въ фантастическій міръ, изображаемый краснорѣчивымъ Ваней, но могъ оставаться въ этомъ мірѣ и находиться подъ его обаяніемъ только тогда, когда въ разсказѣ не было никакихъ несообразностей. Малѣйшая фальшивая нота меня выводила изъ очарованія, я возмущался и, конечно, молчать не могъ.

Какъ-бы то ни было, съ перерывами или безъ перерывовъ, но сказка продолжалась. Вотъ сумерки совсѣмъ уже сгустились,

Вотъ въ гостиной и залѣ раздаются шаги скрипящихъ сапогъ; лакеи зажигаютъ лампы. Вотъ буфетчикъ входитъ, наконецъ, въ нашу диванную и охрипшимъ отъ вѣчнаго пьянства голосомъ объявляетъ:

— Пожалуйте въ столовую, кушать подано!

— Сейчасъ, сейчасъ!—отвѣчаемъ мы въ одинъ голосъ и начинаемъ упрашивать Ваню докончить поскорѣй. Мы знаемъ, что минутъ пять, а, можетъ быть, даже и десять въ нашемъ распоряженіи, что можно дожидаться вторичнаго зова. Мы въ такомъ возбужденіи, мы такъ хотимъ узнать скорѣй конецъ! Но Ваня вамъ не внемлетъ: онъ пуще всего боится получить выговоръ.

— Послѣ обѣда доскажу, а теперь ни за что!—твердо отвѣчаетъ онъ намъ на всѣ наши умаливанія и направляется въ столовую.

Мы поневолѣ слѣдуемъ за нимъ, и долго, сидя ужъ за тарелками супа, не можемъ еще придти въ себя, и даже тетушка Софья Ивановна представляется намъ нѣсколько похожею на какого-нибудь Синдбада-морехода.

Вотъ этими-то сказками, играми, всевозможнѣйшими забавами Ваня и заполонилъ наши сердца. Мы всѣ, какъ одинъ человекъ, были за него горой, были окончательно увѣрены въ его необыкновенной любви къ намъ и дружбѣ, въ его баснословныхъ достоинствахъ.

И долго находились мы подъ этимъ обаяніемъ, и никогда бы изъ него, можетъ быть, не вышли, еслибы, наконецъ, я не сталъ замѣчать, что онъ вовсе не такой ужъ намъ другъ, какимъ мы его считали. Роста и начиная наблюдать окружающее, я замѣчалъ, что каждый разъ, послѣ удаленія Вани въ гимназію, у насъ непременно выходили какія-нибудь исторіи, открывались какія-нибудь шалости, кого-нибудь наказывали и наказывали обыкновенно, за то, что было совершенно шито и крыто и чего нельзя было узнать никакимъ способомъ,—это знали только мы и одинъ Ваня. Но долго я еще не могъ подозрѣвать его, пока наконецъ одинъ разъ, совершенно невольно, я подслушалъ, какъ онъ тихонько и съ таинственнымъ видомъ передавалъ, да еще со всевозможными прибавленіями, одну нашу исторію тетускѣ Софьѣ Ивановнѣ.

Какъ теперь помню я эту минуту. Это была чуть-ли не первая минута разочарованія въ моей жизни, и она поразила меня необычайно. Я до такой степени растерялся, что машинально пошелъ на верхъ, забился за сундукъ, въ углу верхней дѣвичьей,

и принялся плакать. А тогда мнѣ было уже двѣнадцать лѣтъ, и я вообще былъ не изъ плаксивыхъ. И долго я сидѣлъ за сундукомъ и плакалъ. Я слышалъ какъ внизу кричали мое имя, очевидно меня искали, но я не могъ выйти изъ своей засады.

Я вовсе не боялся того, что наша исторія открыта, да и исторія-то была самая пустая. Эта исторія заключалась въ томъ, что я написалъ маленькій рассказъ по поводу гувернантки, которую мы всѣ ненавидѣли и которая была ужаснымъ уродомъ. Рассказъ этотъ назывался: «Происхождение Авдотьи Петровны» и весь состоялъ изъ нѣсколькихъ строчекъ, которыя я и теперь наизусть даже помню:

... «Маленькій чортъ провинился предъ большимъ чортомъ, да такъ провинился, что его рѣшено было повѣсить. Черти уже приготовили висѣлицу и подвели къ ней осужденнаго. Тогда бѣдный чертенокъ началъ громко кричать и плакать, и такъ кричалъ и плакалъ, что разжалобилъ большого чорта.—«Хорошо, сказалъ ему: большой чортъ:—я тебя прощу, но только съ однимъ уговоромъ: ступай ты теперь на землю, или куда хочешь, и не показывайся мнѣ на глаза до тѣхъ поръ, пока не придумаешь такой радости, которой еще никогда не бывало на всемъ свѣтѣ». Маленькій чертенокъ отправился на землю, сѣлъ въ помойную яму и сталъ думать. Три года думалъ онъ и, наконецъ, придумалъ Авдотью Петровну. Придумавъ ее, онъ самъ догадался, что за такую выдумку непременно получить прощенье, помчался къ большому чорту, показалъ ему Авдотью Петровну. Весь адъ сталъ хлопать въ ладоши, а маленький чертенокъ не только что получилъ прощенье, но даже былъ повышенъ въ чинѣ».

... Вотъ этотъ-то рассказъ я написалъ и передалъ Катѣ. Онъ немедленно обошелъ всю нашу компанію, былъ переписанъ въ нѣсколькихъ экземплярахъ и произвелъ фуроръ необычайный. Конечно, въ первую-же субботу мы его прочли Ванѣ. Ваня смѣялся вмѣстѣ съ нами, а черезъ два часа обо всемъ этомъ донесъ Софѣ Ивановнѣ и представилъ ей экземпляръ моего рассказа.

Ну, такъ вотъ я очень хорошо зналъ, что ничего особенно дурнаго выйти не можетъ; конечно, меня станутъ сильно бранить, можетъ быть накажутъ, но я никогда не боялся наказаній. Мнѣ было тяжело и страшно совѣсть отъ другого: я не зналъ какъ теперь встрѣчусь съ Ваней и какъ взгляну на него. Мысль о томъ, что я непременно долженъ его встрѣтить и взглянуть на него—была мнѣ невыносима. Я и сидѣлъ за сундукомъ. Наконецъ, меня отыскали! И кто-же отыскалъ? Самъ Ваня.

— А, такъ вотъ ты гдѣ! А тебя по всему дому ищутъ, мама тебя спрашиваетъ,—сказалъ онъ мнѣ спокойнымъ голосомъ, наклоняясь въ полутьмѣ надо мною.

Я вышелъ изъ-за сундука и остановился предъ Ваней. Въ это время въ верхней дѣвичьей никого не было. Въ углу на швейномъ столѣ горѣла заплывшая сальная свѣчка и неясно освѣщала фигуру Вани. Я стоялъ не шевелясь и не говоря ни слова. Наконецъ, я поднялъ глаза и взглянулъ на него; право мнѣ показалось, что я его не узнаю, что это не онъ. Еще такъ недавно онъ представлялся мнѣ такимъ прекраснымъ, я такъ любилъ его голосъ, его лицо и то ощущеніе, которое находило на меня въ его присутствіи. Теперь нѣтъ, это былъ не онъ: и лицо у него совсѣмъ было другое, и онъ казался такимъ страннымъ, маленькимъ, жалкимъ.

— Что съ тобой? Отчего ты такъ молчишь и такъ дико смотришь?—спросилъ онъ.

Но я опять-таки не отвѣтилъ ему ни слова и пошелъ внизъ къ мамѣ.

Тамъ ужъ исторія была въ полномъ разгарѣ. Катя сидѣла въ спальнѣ у мамы и плакала. Оказалось, что она начала было съ того, что приняла на себя авторство знаменитаго разсказа, но, конечно, ей никто не повѣрилъ. Никто ни на минуту не могъ усомниться, что все это выдумалъ и написалъ я. Тутъ я узналъ, что Ваня не ограничился одною Софьей Ивановной, что онъ поднесъ экземпляръ и Авдотѣ Петровнѣ. Предо мною выстроился цѣлый полкъ обвинителей.

Авдотья Петровна, свирѣпо выкатывая безцвѣтные свои глаза и такъ противно дрожа дряблымъ лицомъ, покрытымъ угрями, объявила мама, что ни минуты не можетъ большѣ оставаться въ нашемъ домѣ, что она нигдѣ не видала такихъ оскорбленій, какія испытала здѣсь отъ меня, двѣнадцатилѣтняго мальчишки, что я самое испорченное и развращенное существо во всей Москвѣ и т. д. Тетушка Софья Ивановна съ наслажденіемъ подтверждала каждый пунктъ этихъ обвиненій.

— Такъ вы отъ насъ уходите, Авдотья Петровна,—обратился я къ гувернанткѣ.

— Я съ вами вовсе не говорю, у меня съ вами ничего не можетъ быть общаго,—отвѣтила «чортова выдумка».

— Такъ вы уходите? Желаю вамъ всякаго счастья,—ужъ прокричалъ я:—только знайте, знайте, Авдотья Петровна, что дѣйствительно васъ чортъ выдумалъ, а не ваши родители!

Я съ нервнымъ хохотомъ выбѣжалъ изъ спальни, прибѣжалъ къ себѣ, зарылся въ постель и весь вечеръ рыдалъ и метался. И опять-таки рыдалъ я вовсе не изъ-за этой исторіи: я забылъ

и свой рассказъ, и Авдотья Петровну, и гнѣвъ мамы, забыть все, я помнилъ только новое лицо Вани, его новую, жалкую, ничтожную фигурку.

Меня не позвали къ чаю; онѣ не принесли чаю въ мою комнату. На другой день мама отдернула свою руку, когда я хотѣлъ поцѣловать ее, но я оставался ко всему безучастнымъ; теперь вся моя цѣль заключалась единственно въ томъ, чтобъ избѣгать встрѣчъ съ Ваней.

Я такъ-таки и не объяснился съ нимъ, ни въ чемъ не упрекнулъ его, только весь волшебный міръ, который до сихъ поръ приносилъ онъ съ собою въ мою дѣтскую жизнь, исчезъ навсегда.

Долго потомъ, цѣлый годъ, меня преслѣдовала его жалкая фигура, и я все грустилъ о прежнемъ Ванѣ, о своемъ дорогомъ другѣ. Но черезъ годъ я съ нимъ помирился, то-есть я забылъ прошлое. Онъ сумѣлъ какъ-то изгладить во всѣхъ насъ это воспоминаніе. Конечно, теперь онъ не былъ больше волшебнымъ Ваней, но все-же былъ нашимъ забавникомъ, нашимъ желаннымъ гостемъ. Онъ ужъ поступилъ въ университетъ и совсѣмъ у насъ поселился, въ комнатѣ наверху.

Поселясь съ поступленіемъ въ университетъ у насъ, Ваня Рамзаевъ оказался большимъ мастеромъ достигать своихъ цѣлей: мама видѣла въ немъ превосходнаго юношу, вдобавокъ еще очень ей полезнаго въ исполненіи разныхъ мелочныхъ порученій. Всѣ наши домочадцы были отъ него безъ ума, даже Софья Ивановна и Бобелина не распространяли на него своей ненависти. Онъ давалъ уроки дѣтямъ, и мама ему хорошо платила. Онъ былъ вѣчно завитымъ, раздушеннымъ франтомъ. Я не разъ встрѣчалъ его развѣзжающимъ на лихацахъ; къ нему являлись франты-товарищи; онъ часто выѣзжалъ куда-то вечеромъ и возвращался очень поздно.

Потомъ оказалось, что онъ кутитъ и играетъ въ карты, и одинъ разъ мамѣ пришлось заплатить за него довольно крупную сумму его проигрыша.

Наконецъ, случилась одна очень странная исторія: у мамы изъ ея спальни пропалъ брилліантовый фермуаръ и портфель съ деньгами. Сначала было поднялся изъ-за этого большой шумъ, но на слѣдующій день мама вдругъ всѣмъ объявила, что ни на кого не имѣетъ подозрѣнія и чтобъ объ этомъ дѣлѣ больше никто не говорилъ у насъ въ домѣ.

— Да что-жъ, развѣ брилліанты нашлись?—спрашивали ее.

— Нѣтъ, не нашлись, но я прошу васъ всѣхъ оставить это: я никого не подозрѣваю.

Это было сказано при мнѣ, и я видѣлъ изъ лица мама, что она совсѣмъ растеряна и чѣмъ-то мучится.

Ваня все это время былъ какъ ни въ чемъ ни бывало, больше остальныхъ волновался и стремился разыскивать вещи: предлагалъ даже съѣздить къ оберъ-полиціймейстеру. Но послѣ словъ мамы вдругъ притихъ и никогда потомъ не заговаривалъ объ этой исторіи.

Меня все это поразило, и главнымъ образомъ поразило то, что мама какъ-то особенно глядѣла на Ваню и весь этотъ день вздрагивала каждый разъ, когда онъ подходилъ къ ней.

Наконецъ, я не утерпѣлъ и, улучивъ удобную минуту, прибѣжалъ къ ней, заперъ за собою дверь и сказалъ:

— Мамочка, ради Бога, признайся мнѣ, отчего ты не велишь говорить о пропавшихъ вещахъ и деньгахъ? Послушай, я все понимаю, скажи мнѣ... Если ты хочешь, я никому ни словомъ однимъ не заикнусь, скажи мнѣ: ты думаешь, что укралъ ихъ Ваня?

Мама вздрогнула и поспѣшно закрыла мнѣ ротъ рукою.

— Молчи, молчи, какъ тебѣ не стыдно выдумывать такіе вздоры! На какомъ основаніи? Развѣ ты самъ что-нибудь видѣлъ, знаешь?..

— Я ничего не видѣлъ и ничего не знаю, я только догадываюсь.

— Такъ, вѣдь, можно догадываться и ужасно ошибаться. Если ты любишь меня, то прошу тебя выбросить все это изъ головы... Понимаешь-ли ты, что такое значитъ обвинить человека въ такой вещи? Можно обвинять только тогда, когда видѣлъ своими глазами. А ты вдругъ обвинишь, вдругъ тебѣ покажется, и потомъ выйдетъ, что ты обманулъ; что-жъ тогда будетъ? Какой ты страшный грѣхъ возьмешь себѣ на душу. Боже мой! Да если такое подозрѣніе приходитъ въ голову, такъ это наказаніе; отъ этого подозрѣнія нужно отдаляться. Ахъ, André, ради Бога не думай, что я подозрѣваю Ваню. Если-бы даже я подозрѣвала, то мнѣ было-бы стыдно за свое подозрѣніе...

— Мама, но что-жъ дѣлать, если есть подозрѣніе? Что-жъ дѣлать, если вотъ явилось такое убѣжденіе? Послушай, я наблюдалъ за нимъ, знаешь, можетъ быть, ты не замѣтила, вѣдь, онъ какъ-то теперь не глядитъ тебѣ въ глаза, какъ будто не смѣетъ взглянуть,—замѣтила-ли ты это?

Мама вздохнула и поспѣшно прошептала:

— А ты развѣ замѣтилъ?

— Да, я замѣтилъ, я теперь невольно за нимъ наблюдаю.

— Ахъ, оставь это, оставь это, мой милый! Если-бы даже... если-бы даже это было... такъ я не хочу ничего знать, мнѣ не нужно доказательствъ, это было-бы такъ ужасно!..

Она отвернулась отъ меня, быстро прошла по комнатѣ и затѣмъ опять, подойдя ко мнѣ, прижала къ себѣ и проговорила:

— Умоляю тебя, ради меня, молчи обо всемъ этомъ и никогда никому не говори ни слова.

— Если ты хочешь, хорошо,—отвѣтилъ я и вышелъ отъ нея.

Но все-же я не могъ выпустить Ваню изъ вида и все наблюдалъ за нимъ. И я видѣлъ потомъ, въ теченіе нѣсколькихъ недѣль, какъ онъ избѣгалъ взглядовъ мамы, какъ онъ жался все въ ея присутствіи, хоть и глядѣлъ на всѣхъ самымъ веселымъ, даже черезчуръ веселымъ взглядомъ.

Дѣло было къ лѣту. Черезъ мѣсяцъ по окончаніи экзаменовъ онъ уѣхалъ въ деревню къ своей матери, а затѣмъ перебрался почему-то въ петербургскій университетъ и ужъ къ намъ не показывался.

Я снова съ нимъ встрѣтился въ Петербургѣ по окончаніи курса.

Конечно, я самъ его не разыскивалъ и не желалъ возобновленія нашихъ сношеній; но онъ ко мнѣ явился какъ къ старому другу, съ пламенными объятіями, съ восторженными фразами о томъ, какъ онъ радъ, что у него теперь будетъ близкій человѣкъ въ Петербургѣ. Онъ сразу заговорилъ меня, не умолкая, рассказывалъ мнѣ о своей жизни, о томъ, какъ онъ служить, какія у него благородныя побужденія, какъ онъ борется со зломъ, какъ его ненавидятъ дрянные людишки и всюду стараются подставить ему ногу, но какъ онъ не унываетъ и идетъ впередъ, къ достиженію высокой цѣли: занять видное положеніе въ служебномъ мірѣ и пользоваться этимъ положеніемъ для блага отечества.

Я совершенно одурѣлъ отъ этой трескотни и былъ очень радъ, когда онъ, наконецъ, выложилъ все предо мною и удалился. Я думалъ теперь о томъ, что поставленъ въ затруднительное положеніе. Что мнѣ дѣлать? Продолжать съ нимъ сношенія мнѣ не хотѣлось, а съ другой стороны я отлично понималъ, что отдѣлаться отъ него мнѣ будетъ весьма трудно. Къ тому-же я связанъ былъ даннымъ мною мамѣ общаніемъ никогда и никому не рассказывать прошлаго и остерегаться вредить ему.

«Я вовсе не требую,—говорила мнѣ мама предъ моимъ отъѣздомъ въ Петербургъ.—чтобы ты љылъ его другимъ, чтобы ты искалъ съ нимъ сближенія; но если ты съ нимъ встрѣтишься, если онъ начнетъ бывать у тебя, то не отвертывайся отъ него, не оскорбляй его. Во всякомъ случаѣ, если то и было (а она отлично знала, что «то» дѣйствительно было—потомъ явились этому сильныя доказательства), если даже то и было, то, лѣдъ, онъ могъ съ тѣхъ поръ совершенно измѣниться, могъ раскаяться и загладить свою вину. А не согрѣшишь—не спасешься!»

И вотъ я постарался побѣдить въ себѣ отвращеніе, которое къ нему невольно чувствовалъ, постарался проникнуться взглядомъ мамы и смотрѣть на него какъ на человѣка, спасающагося раскаяніемъ.

Я возвратилъ ему визитъ и засталъ его въ очень комфортабельной обстановкѣ. Онъ дѣйствительно прекрасно устроился на службѣ, искусно обдѣлывалъ свои дѣлишки и жилъ припѣваючи. Онъ, повидимому, обрадовался моему посѣщенію и затѣмъ сталъ ко мнѣ весьма часто являться; постоянно старался о томъ, чтобы веселить меня, расширять кругъ моихъ знакомствъ; чуть не насильно возилъ меня къ своимъ знакомымъ и каждый разъ обстоятельно рассказывалъ мнѣ какимъ образомъ и чѣмъ эти люди могутъ мнѣ пригодиться въ жизни.

Теперь я понимаю, зачѣмъ я ему былъ нуженъ. Во-первыхъ, ему хотѣлось предъ мною и предъ мамой показать, что у него чиста совѣсть, что онъ меня не избѣгаетъ и ничего не боится, а потомъ ему еще и другое нужно было. Онъ въ душѣ меня ненавидѣлъ, ненавидѣлъ съ того самаго времени, съ той самой минуты, какъ онъ превратился для меня изъ прекраснаго, волшебнаго Вани въ маленькое, жалкое существо. Этой минуты никогда онъ не проститъ мнѣ, но еще больше, конечно, не могъ простить того, что я зналъ исторію пропавшихъ брилліантовъ и портфеля, а что я зналъ все это, онъ не могъ не догадываться. И вотъ ему нужно было такъ или иначе отмстить мнѣ, а средства мести у подобнаго человѣка какія-же могли быть, какъ не самыя мелкія и грязныя. Да, потомъ я все понялъ и узналъ. Онъ вводилъ меня въ какой-нибудь домъ только затѣмъ, чтобы при удобномъ случаѣ очернить въ этомъ домѣ, чтобы разстроить каждое мое отношеніе къ людямъ.

О, я долго не зналъ, какого врага въ немъ имѣю, но все-же кое о чемъ уже могъ догадываться. Къ тому-же сразу увидѣлъ, какой это дѣятель на пользу ближняго: я узналъ изъ самыхъ вѣрныхъ источниковъ о его службѣ—конечно, это былъ мелкій интриганъ и ничего больше.

Его частыя посѣщенія и вѣчное спутничество мнѣ изрядно

надѣдали. Я началъ всячески избѣгать его. Думалъ, что у Зины не стану съ нимъ встрѣчаться, а между тѣмъ вотъ онъ ужъ здѣсь, и чувствуетъ себя какъ дома...

VIII.

Зачѣмъ они всѣ здѣсь? Что за друзья такіе, откуда эта дружба?!. Рамзаева Зина ужъ у насъ не застала и познакоми-лась съ нимъ потомъ, случайно, гдѣ-то на югѣ Россіи. Александра Александровна, которая въ Зинино время оканчивала курсъ въ пансіонѣ, являлась къ намъ только по праздникамъ и на Зину не обращала никакого вниманія, какъ на дѣвочку, а теперь вдругъ оказалась большимъ ея другомъ...

Зачѣмъ эти люди нужны были Зинѣ, я понять не могъ, но мнѣ сразу показалось, что именно они ей нужны и что ихъ постоянное присутствіе не простая случайность. Конечно, если-бы Зина захотѣла, она-бы могла удалить ихъ всѣхъ, могла-бы на-строить генерала; но она не хотѣла этого, и сама была съ ними чрезвычайно любезна, и генераль встрѣчалъ ихъ самымъ радуш-нымъ образомъ.

Когда-бы я ни пришелъ, я всегда могъ быть увѣренъ, что найду компанію въ полномъ сборѣ. День за днемъ могъ я наблю-дать ихъ времяпровожденіе, и мнѣ становилось невыносимо отъ этихъ наблюденій.

Александра Александровна, когда была пансіонеркой, всѣмъ намъ казалось добренькою и хорошенькою барышней; теперь-же она превратилась Богъ знаетъ во что. Она, несмотря на то, что ей еще не было и тридцати лѣтъ, ужъ начала бѣлиться и ру-мяниться, необыкновенно себѣ взбивала волосы, носила самые кричащіе туалеты, казалось, вся цѣль ея жизни состояла только въ томъ, чтобы лежать на диванѣ или кушеткѣ, болтать ножкой и обмахиваться вѣеромъ. Изъ этого положенія она выходила только для ѣды и карточного стола; въ карты могла играть по двѣнадцати часовъ сряду.

Мужъ ея представлялъ собою нѣчто совсѣмъ отвратительное. Во-первыхъ, никто иначе и не могъ его себѣ представить, какъ «мужемъ Александры Александровны». Право, откровенно говоря, я и теперь не знаю навѣрное, какъ его звали: Николай Филип-повичъ или Филиппъ Николаевичъ. Хотя у него на перстняхъ и брелокахъ и были вырѣзаны фамильные гербы, но я сильно по-дозрѣваю его происхожденіе; по крайней мѣрѣ, лицо у него было совершенно жидовское: толстое, обрюзглое, съ черными, масля-ными и заспанными глазами. Вѣчно примазанный, онъ умѣлъ

только улыбаться и какъ-то мычать, тряся головой. Какую печальную роль онъ игралъ относительно жены, это сразу бросалось въ глаза каждому: онъ былъ у нея на посылкахъ и жилъ на ея счетъ.

Какъ-то мнѣ пришлось, по порученію Зины, заѣхать къ нимъ; я увидѣлъ обстановку очень безвкусную, но съ большими претензіями на роскошь. Откуда-же взялось все это? Я зналъ, что у Александры Александровны очень маленькія средства и что мужъ ея не служитъ и ровно ничего не дѣлаетъ. Но тутъ былъ «Мими», которому родители оставили тысячъ около двадцати годового дохода, и этотъ Мими всюду и неотступно слѣдовалъ за Александрой Александровной. На его-то деньги и была создана и поддерживалась вся эта обстановка.

Потомъ я даже подмѣчалъ, какъ мужъ Александры Александровны иногда что-то шепталъ ему. Тогда Мими дѣлалъ кислую гримасу, но тѣмъ не менѣе отходилъ въ уголъ, вынималъ что-то изъ кармана и передавалъ «мужу». Тотъ самодовольно мычалъ и затѣмъ возвращался къ обществу съ полнымъ сознаніемъ своего достоинства.

Обо всемъ этомъ безобразіи я какъ-то говорилъ съ Зиной. Я замѣтилъ, что ей вовсе не слѣдовало-бы принимать подобныхъ людей, но она только засмѣялась.

— Мнѣ-то какое дѣло! Развѣ это ко мнѣ относится? Напротивъ, все это только смѣшно, и смѣшнѣ всего то, что навѣрно они воображаютъ, будто никто ничего не замѣчаетъ. Ахъ, это ужасно смѣшно! Помнишь, когда я пріѣхала, Мими явился ко мнѣ, былъ у меня два раза одинъ, а затѣмъ вдругъ послѣдовало появленіе Александры Александровны съ супругомъ. И теперь, какъ только Мими здѣсь, такъ и они непремѣнно! Понимаешь, что это значить? Она ужасно боится, что я отниму у нея Мими, — ну и, конечно, должна быть тутъ и слѣдить за нимъ по пятамъ. И какъ она меня ненавидитъ, какъ ненавидитъ — это прелесты! Право, я иногда развлекаюсь не мало!..

— Ну, а Коко, а Рамзаевъ зачѣмъ тебѣ нужны?

— Коко мнѣ нуженъ за его глупость. Знаешь-ли, что я люблю такихъ глупыхъ людей: это не простая глупость, простой глупости много на свѣтѣ, она ходитъ себѣ тихонько, и самая она скучная вещь, какая только можетъ существовать. Но это глупость другого рода, эта глупость съ трескомъ, съ апломбомъ, глупость самонадѣянная, думающая, что все ей по плечу и по карману... Коко за мной ухаживаетъ,—я не знаю, чего онъ хочетъ: жениться на мнѣ что-ли, или такъ просто, это уже его дѣло, только онъ ухаживаетъ отчаянно...

— Зачѣмъ-же ты его не прогонишь?

— Вотъ вздоръ какой — прогонять! Я бы его прогнала, конечно, еслибъ онъ на меня не обратилъ никакого вниманія, потому что тогда-бы онъ былъ скученъ, но теперь онъ забавенъ. Я могу дѣлать изъ него, что хочу, я могу подвинуть его на всевозможнѣйшія нелѣпости! Знаешь-ли, вчера мы съ Александрой Александровной и съ генераломъ сдѣлали ему визитъ—посмотрѣть какъ онъ живетъ, а главное—посмотрѣть его собакъ, у него три бульдога, необычайной свирѣпости; такъ вотъ пріѣхала я къ нему. Все у него очень мило! Прелестная холостая квартирѣ. И начинаю я на все дѣлать гримасы. Чтобы онъ ни показалъ мнѣ, — онъ все показываетъ и всѣмъ восхищается и обозначаетъ всему цѣну,—я гримасничаю, все мнѣ не нравится. Я ему и говорю: «Никогда въ жизни не видала я такой противной обстановки; у васъ нѣтъ никакого вкуса, все это никуда не годится». «Господи, говорить, да что-же нужно? Какую-же нужно обстановку? Что-же нужно перемѣнить по вашему мнѣнію?» Я ему и начала объяснять, что нужно перемѣнить, то-есть все. «Давайте бумаги, я вамъ запишу» и записала. «Да, но если мнѣ теперь все это сдѣлать, такъ, вѣдь, для такой обстановки моихъ средствъ не хватитъ», печально замѣтилъ Коко (знаешь-ли, онъ, вѣдь, ужасно скупъ, хотъ и скрываетъ это)! «Конечно, говорю, каждый долженъ жить по средствамъ, только я вамъ скажу одно: никогда больше вы меня не увидите ни подъ какимъ предлогомъ въ этой вашей скверной квартирѣ. Хотъ-бы весь Петербургъ собрался у васъ, а меня не будетъ. А вотъ, если-бы вы сдѣлали все такъ, какъ я вамъ говорю, то я-бы у васъ была на новосельи и обѣдала-бы даже у васъ...» Что-жъ-бы ты думалъ: сегодня пріѣзжаетъ и объявляетъ, что на-дняхъ продаетъ всѣ свои вещи и все дѣлаетъ по моему! Сколько онъ долженъ былъ выстрадать до тѣхъ поръ, пока рѣшился, и сколько ему предстоитъ страданій! Ну, развѣ это не весело?

Отъ этого разговора мнѣ сдѣлалось грустно. Въ это послѣднее время хотя у Зины и прорывались иногда смущающія меня фразы, но все-же я еще полонъ былъ обаянія нашей встрѣчи, а теперь, что-жъ, развѣ это не прежняя Зина?

— Чего ты нахмурился, André? — вдругъ спросила она, подходя ко мнѣ.

— Есть чего хмуриться; тутъ, я замѣчаю, на тебя повѣяло какимъ-то старымъ, сквернымъ воздухомъ. Ты измѣнилась, ты не та была когда пріѣхала.

— А, ты хочешь сказать, что опять во мнѣ обманулся; ты хочешь сказать, что я опять прежняя Зина,—та, ваша, московская?! Да, пожалуй, что такъ, я не скрываюсь, такая какъ есть, вся тутъ, предъ тобою. Нравится тебѣ — очень рада, не нра-

вится—что-жъ мнѣ дѣлать, не могу я измѣниться! Прошу тебя объ одномъ только: пожалуйста не фантазируй, не придавай каждому моему слогу важнаго значенія. Право, это гораздо проще, чѣмъ ты думаешь: не всегда-же жить только внутри себя, не всегда-же искать одного только хорошаго и свѣтлаго; нужно и къ жизни возвратиться!

— Къ жизни; да, да, непременно,— перебилъ я:— но развѣ это жизнь?

— А то что-жъ? Это-то, голубчикъ, и есть настоящая жизнь; вся наша теперешняя жизнь такая: вездѣ тутъ, а можетъ быть и на всемъ свѣтѣ, только и есть что Мими да Коко, да Александры Александровны, только подъ разными именами, да съ различнымъ внѣшнимъ видомъ, а въ сущности... ахъ, въ сущности одно и то-же!.. Постой, погоди, не перебивай меня, я хочу досказать. Вѣдь, ты меня спрашивалъ еще, зачѣмъ мнѣ Рамзаевъ?.. Но развѣ ты не видишь, что Рамзаевъ-то ужъ не-непременно интереснѣе прочихъ. Въ немъ есть что-то недосказанное, и мнѣ иногда кажется, что отъ него можно ожидать чего-нибудь очень большого, только, конечно, не въ хорошую сторону, а вѣдь такіе люди интересны!

— Отъ такихъ людей нужно подальше, во всякомъ случаѣ,— замѣтилъ я.

Зина встала съ своего мѣста и, покачиваясь, и посмѣиваясь, остановилась предо мною.

— Подальше!.. Тебѣ-бы, конечно, хотѣлось, чтобъ я была подальше отъ всѣхъ, чтобъ я удовольствовалась только однимъ твоимъ обществомъ, и знаешь отчего это? Потому что ты ужасный эгоистъ и деспотъ; ты хочешь всю власть сосредоточить въ рукахъ своихъ... И тебя проучить нужно, проучить нужно для твоего же блага. Да и потомъ, подумай хорошенько, было-ли-бы тебѣ лучше, если-бы я окружила себя людьми серьезными, достойными и т. д. Ну, да, да, ты скажешь, что лучше было-бы, только я тебѣ не повѣрю. И ты самъ ошибаешься: тебѣ было-бы тогда гораздо хуже, я навѣрное это знаю, гораздо хуже-бы тебѣ было! Слѣдовательно, успокойся и не волнуйся, только радоваться можешь, видя кто и что меня окружаетъ!

Она быстро вышла изъ комнаты и присоединилась къ компаніи...

Нѣтъ, она ошибалась: я искренно могу сказать теперь, что мнѣ было-бы несравненно лучше видѣть ее окруженную другимъ обществомъ. Не знаю, впрочемъ, можетъ быть мнѣ и тяжело-бы было уступить ее другимъ людямъ, какъ-бы высоки

мнѣ ни казались эти люди; но уступить ее *этимъ*, дѣлиться ею съ *этимъ* было невыносимо и обидно и за себя и за нее. Къ тому-же я не могъ не видѣть, какое неотвратимое и ужасное вліяніе производитъ на нее каждый новый день, проведенный такимъ образомъ.

Въ первое время я заставлялъ ее обыкновенно то за чтеніемъ, то за игрою на рояли, то за какимъ-нибудь рисункомъ; въ нашихъ разговорахъ съ ея стороны постоянно былъ замѣшанъ какой-нибудь серьезный интересъ; я подмѣчалъ въ ней нѣкоторые болѣе или менѣе глубокіе вопросы, приходившіе ей въ голову безъ меня и которые она каждый разъ старалась рѣшать съ моею помощью. Теперь-же не было уже никакихъ вопросовъ, не удавался ни одинъ интересный разговоръ: она, очевидно, совсѣмъ бросила свои книги, свою рояль; на ея этажеркѣ было всегда много пыли; она весь день слонялась изъ угла въ уголъ, какъ и всѣ слонялись...

И что за жизнь была у генерала въ домѣ! Вотъ я помню особенно одно воскресенье, проведенное мною у нихъ съ утра до вечера.

Генераль утромъ былъ у обѣдни, вернулся и принесъ ей просвѣтку. Къ завтраку собралась вся компанія. Коко описывалъ прелести новой купленной имъ собаки. Его братецъ Мими и Александра Александровна перебранивались изъ-за какой-то глупости. Рамзаевъ длинно-предлинно рассказывалъ генералу о засѣданіи какого-то общества и, конечно, все вралъ, потому-что не былъ на этомъ засѣданіи. Мужъ Александры Александровны только мычалъ и ѣлъ съ необыкновеннымъ аппетитомъ. Сама Зина вставляла то туда, то сюда незначашія слова и перемигивалась со мной на счетъ компаніи.

Послѣ завтрака ушли въ гостиную. Александра Александровна съ мужемъ и генераль сѣли за карты; Мими тоже къ нимъ присоединился. Рамзаевъ сталъ перелистывать альбомъ. Зина бродила или, вѣрнѣе, металась изъ комнаты въ комнату, не зная за что приняться. Коко слѣдовалъ по пятамъ за нею, перебѣгалъ то на одну ея сторону, то на другую, нѣсколько разъ наступая на шлейфъ ея платья. И все это продолжалось вплоть до самаго обѣда. Подъ конецъ уже, предъ обѣдомъ, всѣ зѣвали, но снова оживились, войдя въ столовую и приступивъ къ закускѣ.

За обѣдомъ была опять собака, засѣданіе и т. д., а вечеромъ снова карты, метанье по комнатѣ... Вотъ Зина открываетъ рояль, беретъ нѣсколько аккордовъ и отходитъ. Рамзаевъ подсаживается къ рояли, затягиваетъ фальшивымъ голосомъ шансонетку, но не кончаетъ ея, подходитъ къ Зинѣ и начинаетъ рассказывать

ей какую-то исторію, въ которой вретъ все отъ перваго до послѣдняго слова и которая ни ее, ни его самого никакимъ образомъ интересовать не можетъ... И всѣ курятъ папиросу за папиросой, сигару за сигарой, такъ что наконецъ дымъ начинаетъ ходить по большимъ комнатамъ и всѣ ждутъ ужина.

Но ужина я ужъ не дождался. Я простился часовъ въ одиннадцать и вернулся къ себѣ съ такою головою, какъ будто весь день только и дѣлалъ, что качался на качеляхъ.

Такъ проходилъ день за днемъ, недѣля за недѣлей; прошелъ мѣсяцъ, другой, третій—и сами собою рушились всѣ наши планы съ Зиной. Мы должны были подробно осматривать Эрмитажъ, Публичную Библіотеку, музей—и ровно ничего не осмотрѣли. Каждый разъ, когда я заговаривалъ объ этомъ, оказывалось все неудобно. Иногда я думалъ даже хотъ бы въ театръ ее вытащить, все же лучше, но и въ театръ она рѣдко рѣшалась выѣхать, да и опять-таки если и ѣхала, то въ ложу, съ компаніей. И во время представленія продолжалась та же жизнь: никто ничего не слышалъ и не видѣлъ,—передавались только скандалезныя сплетни о томъ или другомъ изъ бывшихъ въ театрѣ знакомыхъ и полузнакомыхъ... Но, что всего ужаснѣе и отвратительнѣе—это то, что я самъ начиналъ незамѣтно для себя все больше и больше погружаться въ эту тину. Меня тянуло чуть не каждый день къ Зинѣ, а попадалъ туда—мысли останавливались, что-то давило, что-то вертѣлось предо мною и въ конецъ затуманивало мнѣ голову.

Возвращаясь домой, я хотѣлъ было уйти въ свою собственную жизнь и не могъ: все валилось изъ рукъ, все переставало интересоваться,—думалось только о той безобразной жизни. Но изъ этой мучительной мысли не выходило никакого результата. Тутъ нечего было думать, тутъ нужно было дѣйствовать или ждать, когда все это кончится само собою. И вотъ я начиналъ задавать себѣ вопросы: когда оно кончится? и какимъ образомъ кончится? Повидимому, ничто не предвѣщало близкой и благополучной развязки; повидимому, вся компанія вполне наслаждалась, всѣмъ легко дышалось, всѣ благодушевствовали, и особенно благодушевствовалъ генералъ.

Онъ самъ не разъ говорилъ мнѣ, что съ пріѣздомъ Зины освѣтилась его одинокая жизнь, что онъ никогда себя такъ хорошо не чувствовалъ, какъ все это время. Не будь Зины, можетъ быть, онъ говорилъ бы иначе, но все, что творилось въ ея присутствіи, должно было ему казаться превосходнымъ; я знаю, что для нея онъ жилъ даже нѣсколько иначе чѣмъ прежде, и отказался отъ многихъ своихъ привычекъ.

Генералъ былъ человѣкъ совершенно одинокій: у него не было близкихъ родственниковъ, не было ни одного дорогого человѣка. Почти съ дѣтства онъ выброшенъ былъ судьбою изъ семейства: родные его рано умерли, оставивъ ему значительное состояніе. Онъ былъ тогда въ корпусѣ, потомъ вышелъ въ офицеры. Способностями и быстрымъ соображеніемъ природа его не надѣлила, но за то взамѣнъ всего этого дала ему очень красивую, симпатичную наружность и пріятныя манеры. Онъ всегда былъ, что называется, добрымъ малымъ, способнымъ на всякія мелкія услуги ближнему, лишь бы только эти услуги не очень его тревожили. Еще въ корпусѣ товарищи любили его и исполняли за него всѣ работы; они знали, что ихъ трудъ не останется безъ награды: богатый товарищъ всегда радъ былъ угостить ихъ на славу, дѣлать имъ кое-какіе подарочки.

То-же самое продолжалось и по выходѣ изъ корпуса: явились новые товарищи, новые пріатели; явилось знакомство со всевозможными милыми, но легкомысленными дамами. Для того, чтобы получить благосклонность этихъ дамъ и всѣхъ этихъ новыхъ пріателей, опять-таки требовалось только добродушіе и деньги, а того и другого у Алексѣя Петровича, какъ тогда еще звали генерала, было достаточно.

И такимъ образомъ вся жизнь проходила какъ праздникъ. Всюду, гдѣ-бы ни появлялся Алексѣй Петровичъ, его встрѣчали съ распростертыми объятіями. Онъ былъ *удобенъ* во всѣхъ отношеніяхъ: онъ не превозносился, не хвастался, держалъ себя скромно, ничѣмъ не мучилъ ни себя, ни другихъ. Онъ любилъ подчасъ и кутнуть, и поиграть въ карты, но часто мнѣ съ гордостью признавался, что ни разу въ жизни не проигралъ большого куша и не увлекся никакой женщиной до глупости.

«Все должно быть въ мѣру, все понемножку, голубчикъ, говорилъ онъ мнѣ: только такъ и прожить можно хорошо на свѣтѣ».

И всего у него было въ мѣру и понемножку. Главный его принципъ былъ: не тревожить себя и не задавать себѣ трудно рѣшаемыхъ вопросовъ.

Поразмысливъ о томъ, сколько всякихъ несчастій бываетъ въ семействахъ, онъ рѣшилъ, что женитьба создана не для него, потому-что грозитъ вывести его изъ праздничной жизни, которую онъ такъ любилъ, и поэтому онъ никогда не женился. Ему гораздо пріятнѣе было входить въ чужое семейство и самымъ приличнымъ, скромнымъ и незамѣтнымъ образомъ занимать въ немъ, на время, чужое мѣсто. Но я думаю, что онъ дѣлалъ это только въ томъ случаѣ, если видѣлъ, что онъ не особенно разстраиваетъ чужое счастье, что изъ его вмѣшатель-

ства не выйдет никакой семейной драмы. Онъ ставилъ рога мужьямъ только положительно убѣдившись, что они ничуть не прочь отъ этого украшенія и что онъ, во всякомъ случаѣ, можетъ за него вознаградить ихъ тѣмъ или другимъ способомъ.

Затѣмъ у него было весьма практичное правило: никогда не вести интригу слишкомъ долго, иначе опять-таки все это грозило спокойствію. Онъ обыкновенно уходилъ во время и тутъ оказывалъ даже нѣкоторыя особенныя способности: онъ постоянно все умѣлъ устроить такъ, что оставался въ самыхъ дружескихъ отношеніяхъ и со своею прежнею возлюбленной, и съ ея мужемъ.

Что же касается до его службы, то и она шла необыкновенно удачно: за скромность и добродушіе начальники его любили; товарищи видѣли въ немъ добраго и щедраго человѣка, къ которому, въ случаѣ нужды, всегда можно было обратиться, не ожидая отказа; подчиненнымъ нравилось его неизмѣнно ласковое обращеніе. И ровно ничего не понимая въ своемъ дѣлѣ, ни разу не принявъ участія ни въ какой кампаніи, можетъ быть, дѣйствительно не зная какъ пахнетъ порохъ, онъ дослужился до генерала лѣтъ въ сорокъ пять, имѣлъ многочисленныя знаки отличія и со спокойнымъ сердцемъ вышелъ въ отставку для того чтобъ отдохнуть, какъ онъ выражался.

Со времени отставки еще тише, еще безмятежнѣ потекла жизнь его. Если еще прежде, на службѣ, кто-нибудь и могъ ему завидовать, если въ обществѣ кто-нибудь и могъ ревновать къ нему, теперь для этого совсѣмъ не представлялось возможности: онъ былъ въ отставкѣ, онъ былъ пожилымъ человѣкомъ. Онъ не заглядывался больше на чужихъ женъ, довольствовался какою-то таинственною особой, которой нанялъ квартиру на Пескахъ, и къ которой, втихомолку, ѣздилъ въ каретѣ съ опущенными шторами.

Но видно не суждено было генералу безмятежно докончить свою жизнь; видно за все то безоблачное счастье и спокойствіе, которымъ онъ постоянно пользовался, нужно было заплатить дорогою цѣной. Онъ, вѣчно благоразумный и спокойный, умѣвшій во время удаляться отъ непріятностей, умѣвшій сдерживать біеніе своего сердца одною мыслью о томъ, что біеніе можетъ повредить его здоровью, онъ вдругъ попалъ въ страшную драму, которая сначала показалась ему счастіемъ и свѣтомъ.

IX.

Я не могу понять какимъ образомъ Зина такъ сдѣлала, что несмотря на частыя и продолжительныя наши свиданія, на нашу близость, я все еще никакъ не рѣшался прямо говорить съ ней. Но, конечно, она ужъ отлично все понимала и знала навѣрное теперь, что я въ ея рукахъ, что она можетъ дѣлать со мной все что угодно.

И вотъ, мало-по-малу, начала она прежнюю игру. Она начала ее съ прежними уловками: она продолжала выражать мнѣ необыкновенную нѣжность, умѣла каждый разъ довести меня почти до признанія, и тутъ непремѣнно являлось какъ будто само собою такое обстоятельство, которое дѣлало это признаніе невозможнымъ. Я съ каждымъ днемъ все больше погружался въ этотъ старый мракъ и терялъ власть надъ собою...

Бывали минуты, когда я хотѣлъ остановиться: тогда я запирался у себя, жадно принимался за работу, не выходилъ дня два изъ комнаты. Но къ вечеру второго дня всегда являлась или записка отъ Зины, или она сама. Она приходила какъ нѣжный другъ, какъ любящая сестра, съ участіемъ освѣдомлялась что со мною и увлекала меня. Я шелъ за ней безъ силы и безъ воли. Она заставляла меня появляться въ своемъ обществѣ, зная до чего мнѣ не по душѣ это общество. И тутъ каждый день было новое. Иной разъ ей почему-то нужно было показывать мнѣ предпочтеніе предъ исѣми, она нисколько не стѣсняясь тѣмъ, что всѣ это замѣчаютъ, оставляла всѣхъ, занималась исключительно мною. Другой разъ я какъ будто не существовалъ для нея.

Наконецъ я рѣшился было выдержать, не показывался ей два дня и оставилъ безъ отвѣта даже ея записку. Я рѣшилъ, что если она сама пріѣдетъ за мною, то все-таки-же я отговорюсь занятіями и не пойду къ ней.

Она, конечно, явилась, явилась такая взволнованная, обиженная, съ упреками.

— Если ты хочешь совсѣмъ разойтись со мною,—сказала она:—такъ объяви мнѣ это прямо, а такъ невозможно! Понимаешь-ли, что ты здѣсь одинъ у меня другъ, и что я не могу безъ тебя быть! Неужели ты не видишь, что ничего общаго нѣтъ у меня съ этими людьми? Я выношу ихъ присутствіе потому, что такъ нужно, потому, что этого не избѣгнешь; но, вѣдь, должна-же я отдыхать, а отдыхаю я только съ тобою...

— Я не знаю, зачѣмъ ты мнѣ говоришь это,—отвѣтилъ я:—

лицъ выраженіе необыкновеннаго достоинства и грустнымъ голосомъ произнесъ:

— Я право не знаю, André, зачѣмъ тебѣ нужно ее компрометировать! Неужели ты думаешь, что никто ничего не замѣчаетъ и что все это въ порядкѣ вещей и очень прилично? Я право не знаю, что съ тобой? Подумай, мой милый, что все-таки она молодая и неопытная дѣвушка, и одинокая дѣвушка, главное; ее побережь нужно!..

Онъ говорилъ эти слова, когда-то произнесенныя моею матерью, говорилъ ихъ такимъ грустно-благороднымъ тономъ! И эти слова, въ его устахъ, были до такой степени отратительны, что я почувствовалъ тоску и злобу. Я хотѣлъ было отвѣчать ему, но сейчасъ-же раздумалъ, и только съ изумленіемъ взглянулъ на него.

Онъ пожалъ плечами.

Скоро вся компанія была въ каютѣ, за исключеніемъ Зины и Коко. Прошло еще нѣсколько минутъ, и вотъ явился Коко и объявилъ, что Зина меня требуетъ къ себѣ.

Всѣ опять таинственно переглянулись. Я хотѣлъ было остаться, но сейчасъ-же отправился на палубу.

Зина встрѣтила меня нѣжною улыбой, ласкающими глазами, но до самаго Петергофа болтала всякій вздоръ, не давала мнѣ сказать ни слова, и при каждой моей попыткѣ заговорить, только еще усиленнѣе, еще нѣжнѣе мнѣ улыбалась.

Все это утро Зина вела себя совершенно неприлично. Она не обращала ни малѣйшаго вниманія на компанію; на вопросы отвѣчала только «да» или «нѣтъ»; обдавала всѣхъ холодными и презрительными взглядами; не отпускала моей руки и на прогулкѣ увлекала меня подальше ото всѣхъ. И вмѣстѣ съ этимъ все-таки настойчиво противилась всякому объясненію съ моей стороны.

Подъ конецъ я и самъ пересталъ думать о необходимости объясненія; оно показалось мнѣ даже и ненужнымъ теперь: я видѣлъ, что Зина все понимаетъ и своимъ сегодняшнимъ отношеніемъ ко мнѣ она молча отвѣчала мнѣ на всѣ мои вопросы.

Но съ той минуты, какъ мы вернулись въ петергофскій ресторанъ и расположились въ парусинной бесѣдкѣ, у самаго берега моря, обѣдать, все это измѣнилось: вдругъ, въ одно мгновеніе, я исчезъ въ глазахъ Зины.

Она подсѣла къ генералу, по другую сторону помѣстила Рамзаева, улыбалась имъ и кончила тѣмъ, что стала накладывать кушанье на тарелку Коко.

Теперь мнѣ, въ свою очередь, пришлось получать на мои вопросы отвѣты «да» и «нѣтъ» и презрительную усмѣшку.

Къ концу обѣда я ужъ не былъ въ состояніи владѣть собою, а Зина съ каждою минутой разыгрывалась больше и больше. Теперь она сдѣлалась центромъ нашего маленькаго общества: она оживилась, болтала, смѣялась, рассказывала, обращалась ко всѣмъ, за исключеніемъ только меня. Конечно, въ ея расчетѣ было довести эту игру до конца. Я долженъ былъ испить всю чашу. Но я не могъ выносить больше. Я воспользовался первою удобною минутой и исчезъ,—въ это время мы были въ Англійскомъ паркѣ, недалеко отъ станціи желѣзной дороги. Я поспѣлъ какъ разъ къ поѣзду и чрезъ полтора часа былъ ужъ у себя.

Я чувствовалъ себя возмущеннымъ до послѣдней степени. Зина съ презрѣніемъ глядитъ на меня! Но развѣ я не заслуживаю этого презрѣнія, если способенъ играть такую роль? Если нельзя ничего измѣнить, если все такъ опять безобразно и безнадежно, то всегда остается по крайней мѣрѣ одинъ способъ: уѣхать.

И, конечно, я уѣду на этихъ-же дняхъ въ деревню.

Къ концу вечера мнѣ удалось себя достаточно успокоить: рѣшеніе уѣхать было принято неизмѣнно.

Но, какъ всегда это бывало, едва я успокоился, раздался звонокъ, и вошла Зина. Былъ ужъ часъ двѣнадцатый вечера; очевидно, они только что вернулись изъ Петергофа.

— Я тебя убѣдительно прошу сейчасъ-же уѣхать!—сказалъ я ей.—Пожалуйста и не снимай пальто, уѣзжай поскорѣе, потому что это совершенно неприлично.

Она не сняла пальто, но вошла въ кабинетъ, тихо и робко приблизилась ко мнѣ, обняла меня и вдругъ заплакала.

— André, я тебя ужасно измучила сегодня,—сказала она сквозь слезы.—Когда ты убѣждалъ отъ насъ, мнѣ стало такъ больно, что я едва доѣхала. Я-бы не могла ни на одну минуту заснуть этою ночью, не повидавшись съ тобою. Прости меня, и я сейчасъ-же уйду, будь спокоенъ.

Что было мнѣ отвѣчать на это?

— Господи, да кончимъ-же, наконецъ, эту комедію!—проговорилъ я:—вѣдь, ты знаешь какого слова я жду отъ тебя; рѣши-же...

Она порывисто меня поцѣловала и, ничего не отвѣтивъ, почти выбѣжала въ переднюю, гдѣ былъ мой Иванъ и гдѣ мнѣ, конечно, невозможно было требовать отъ нея отвѣта.

— Завтра увидимся,—уже выходя изъ двери, проговорила она.

А завтра было вотъ что.

Вечеромъ, почти въ сумерки, она заѣхала за мною и объявила мнѣ, что генерала нѣтъ дома, что она одна весь вечеръ и что мы можемъ свободно говорить.

Я отправился съ нею. Ее дожидалась наемная карета. Вотъ мы выѣхали на Морскую.

— Отчего ты мнѣ вчера ничего не отвѣтила?—конечно, спросилъ я ее.

— Не будемъ говорить объ этомъ,—тихо произнесла она.

— Какъ не будемъ говорить, да развѣ это возможно? Только объ этомъ мы и можемъ теперь говорить, въ этомъ заключается все, и ты сама отлично это знаешь!

— Но я не могу... не могу!

— Такъ зачѣмъ-же ты зовешь меня къ себѣ? О чемъ намъ говорить о другомъ? Теперь ничто другое не имѣетъ смысла!

— Ахъ, Боже мой, но если я повторяю, что невозможно мнѣ отвѣчать тебѣ.

— Какъ невозможно? Отчего невозможно?

— Невозможно,—упрямо твердила она:—такъ-же невозможно, какъ и для тебя невозможно теперь выпрыгнуть изъ этой кареты...

Очевидно это сравненіе, совершенно нелѣпое, пришло ей въ голову неожиданно, но въ сумеркахъ наступающаго вечера я вдругъ замѣтилъ, какъ она вся вздрогнула.

— Вѣдь, ты теперь ни за что не выпрыгнешь изъ кареты,—медленно прошептала она.

Я молчалъ. На меня нашло просто безуміе, я сразу какъ будто потерялъ голову, я почему-то вообразилъ, что весь вопросъ, дѣйствительно, заключается въ томъ: выпрыгну я изъ кареты или нѣтъ.

Я сказалъ ей, что если она хочетъ, то я непременно выпрыгну.

— Какой вздоръ, конечно, не выпрыгнешь!—продолжала она дразнить меня.

— А вотъ увидишь.

Я отворилъ дверцу. Она быстро обернулась въ мою сторону, затѣмъ еще быстрее спустила переднее окно и крикнула кучеру: «пошелъ скорѣе!» Кучеръ хлестнулъ лошадей; тѣ пустились почти вскачь.

Я распахнулъ дверцу и выпрыгнулъ.

Мы были на Морской, у реформатской церкви. Ъзда была незначительная, но все-же, еслибъ я могъ сообразать, то, конечно, понялъ-бы, что рискую прежде всего попасть подъ какую-нибудь лошадь. Кромѣ того, я нисколько не рассчиталъ

своего прыжка и не принялъ никакихъ предосторожностей. Я просто выбросился изъ кареты и какъ-то сѣлъ на торцы. Никто на меня не наѣхалъ. Черезъ двѣ-три секунды я всталъ на ноги, убѣдился, что совсѣмъ не расшибся, взялъ перваго встрѣчнаго извозчика и поѣхалъ въ квартиру генерала. Издали мелькала карета Зины.

Я пріѣхалъ, можетъ быть, минутами тремя-четырьмя позднѣе Зины. Я засталъ ее въ пустой гостиной. Она сидѣла неподвижно, въ пальто и шляпкѣ; лицо ея показалось мнѣ страшно блѣднымъ. Она взглянула на меня и слабо вскрикнула:

— Ты, это ты, тебя не раздавили? Ты не расшибся?

И вдругъ она захохотала, потомъ заплакала, словомъ съ ней сдѣлался истерическій припадокъ.

Я поспѣшилъ достать ей воды и кое-какъ привелъ ее въ себя.

Она стала жадно слѣдить за моими движеніями, убѣдилась, что я совсѣмъ не хромаю, совсѣмъ цѣлъ, и вотъ, при свѣтѣ лампы, я ясно различилъ на ея лицѣ выраженіе досады. Да, это была досада.

— Такъ ты въ самомъ дѣлѣ даже нигдѣ не ушибся, а я-то... Я боялась выглянуть въ окошко, думая, что тебя тутъ-же на мѣстѣ раздавили... Право, я не знала, что ты такой ловкій гимнастъ, и не замѣтила, какъ ты выбираешь удобную минуту, чтобы выпрыгнуть тогда, когда никто не ѣхалъ...

Я молча взялъ шляпу и пошелъ въ переднюю. Но она кинулась за мною и удержала меня.

— Куда-жъ ты уходишь? Или ты, можетъ быть, въ самомъ дѣлѣ думаешь, что мнѣ было-бы пріятнѣе, если-бы тебя раздавили? Нѣтъ, Андрюша, я только удивляюсь и, разумѣется, радуюсь, что ты невредимъ остался... Не уходи пожалуйста, вѣдь, я сказала тебѣ, что мнѣ нужно переговорить, и, знаешь, теперь я отвѣчу тебѣ на все... Ну, слушай, садись сюда, положи шляпу... сюда, на этотъ диванъ, погоди... вотъ такъ! Дай только я немного убавлю огня въ лампѣ, а то глазамъ больно...

Она почти совсѣмъ затушила лампу, усадила меня, а сама придвинула низкую табуретку, сѣла отъ меня близко, близко, взяла меня за руки и заговорила:

— Чего тебѣ отъ меня нужно? На что мнѣ тебѣ отвѣтить? На то, что ты меня любишь? Я давно это знаю, и мнѣ кажется, что ты самъ себѣ долженъ прежде всего отвѣтить: люблю-ли я тебя или нѣтъ?

— Да, я могъ-бы себѣ на это отвѣтить,—проговорилъ я:—я ужъ и отвѣтилъ. Только есть какая-то сила, которая владѣтъ мною и съ которою я не могу справиться. И вотъ эта-то сила, несмотря на все, что для меня ясно и что я отлично понимаю, заставляетъ меня еще спрашивать, любишь-ли ты меня, хоть я знаю, что ты меня не любишь.

— Такъ ты ничего не знаешь,—быстро перебила она:—конечно я тебя люблю, конечно, но только ничего изъ этого быть не можетъ!

— Ты любишь меня? Ты?!

— Господи, да неужели ты никогда этого не видѣлъ?

— Такъ зачѣмъ-же ты меня такъ мучаешь? Зачѣмъ тебѣ это?

— Зачѣмъ? Для того, чтобы ты не любилъ меня; для того, чтобы ты ушелъ отъ меня. Развѣ ты можешь меня любить, меня, такую, какъ я есть?

— Значить, могу,—тихо и съ болью прошептала я.

— Но ты меня еще не знаешь, на что я способна: я не всегда тебѣ рассказывала о себѣ искренно. Да и, наконецъ, я часто сама себя не понимаю. Знаешь-ли ты мое прошлое въ эти шесть лѣтъ, что мы не видались съ тобою? Знаешь-ли ты, что тамъ, во всемъ нашемъ уѣздѣ, во всей губерніи, я оставила по себѣ самую дурную память?

— Зачѣмъ ты мнѣ говоришь это? Какъ будто мнѣ не все равно, какую память ты о себѣ оставила! Неужели ты меня такъ мало знаешь и можешь вообразить, что чье-либо мнѣніе о тебѣ меня касается...

— Нѣтъ, я не то, не то хочу сказать. Я хочу сказать, что много было клеветъ, много лжи на меня, но много и правды рассказывали. Я безумствовала часто. Ахъ, есть вещи, которыхъ я даже не могу рассказать тебѣ.

— Говори, говори все,—прошептала я съ невольнымъ страхомъ, схватывая ее за руки.

— А, такъ ты хочешь все знать!.. Хорошо!.. Значить, такъ нужно... Слушай-же, я все скажу тебѣ!..

Ея холодныя какъ ледъ руки вздрагивали въ рукахъ моихъ, она тяжело дышала, страшно неподвижные глаза, не мигая, смотрѣли въ одну точку и жутко блеснули на мертвенно блѣдномъ лицѣ, едва освѣщенномъ потухающею лампой.

— Ахъ, какія бывали мучительныя ночи! — говорила она, прижимаясь ко мнѣ и обдавая меня своимъ горячимъ дыханіемъ. — Послѣ тихаго спокойнаго дня, довольная жизнью, я крѣпко засыпала; но вдругъ просыпалась будто отъ какого-то удара... Отчаянная тоска начинала сосать меня. Чего я хочу—я и сама не знала; я понимала только, что мнѣ недостаточно

обыкновенной жизни, обыкновенного счастья... Любовь, замужество, все это представлялось мнѣ такимъ ничтожнымъ, даже противнымъ. Жить, какъ живутъ всѣ, я не могла!.. Мнѣ нужно было что-то новое, выходящее изъ всякой мѣры, никому неизвѣстное... И я металась на постели до утра, а когда приходилъ день, непременно придумывалось что-нибудь ужасное... Послушай, вѣдь, меня называютъ чуть-что не убійцей... и это правда! Да, да, на моихъ глазахъ стрѣлялъ въ себя Глымовъ, молодой офицеръ, совсѣмъ еще почти мальчикъ, красавецъ... Я довела его до того, что онъ совсѣмъ съ ума сходилъ... Я его ни на минуту не любила, не жалѣла... я увлекла его, дразнила, мучила, ласкала, издѣвалась надъ нимъ... Я видѣла какъ съ каждымъ днемъ онъ гибнетъ, и дрожала отъ восторга... Наконецъ, онъ пришелъ ко мнѣ съ пистолетомъ, и я знала, что это не фразы, что онъ непременно застрѣлится. Знала тоже, что могу его успокоить, отвести отъ него эту минуту... а потомъ мнѣ стоило только переменить съ нимъ обращеніе, оставить его въ покоѣ, и онъ скоро-бы излѣчился отъ своего безумія... Но я ужъ не могла его оставить, меня тянуло довести до конца, тянуло посмотрѣть какъ при мнѣ, изъ-за меня, человѣкъ умирать будетъ... И я это увидѣла, и я испытывала страшное наслажденіе!.. Онъ лежалъ въ крови предо мною, съ искаженнымъ лицомъ. Лихорадка била меня; но я, не отрываясь, на него глядѣла... Онъ не умеръ... его вылѣчили...

Голосъ ея оборвался, и она схватила за грудь, какъ будто ей дышать было нечѣмъ.

Мнѣ казалось, что я слышу безумный горячечный бредъ и самъ теряю разсудокъ. Большая, едва освѣщенная комната измѣнялась въ глазахъ моихъ, стѣны уходили, открывалось безконечное темное пространство, которое надвигалось на меня и дышало то огнемъ, то мракомъ...

— Потомъ былъ другой,—вдругъ снова заговорила она страшнымъ шепотомъ:—ужъ не мальчикъ... самая первая наша губернская красавица его любила... Эта исторія продолжалась нѣсколько лѣтъ, и ее всѣ знали. Я должна была его отбить у красавицы, и сдѣлала это: онъ скоро ходилъ за мной какъ собачка. Но мнѣ этого было мало, мнѣ хотѣлось его одурачить... Я согласилась на свиданіе... Зимой, съ бала я уѣхала, какъ будто домой, къ теткѣ... онъ ждалъ меня за угломъ, мы сѣли въ карету, онъ привезъ меня за городъ, въ маленькій домикъ... Это было опасно: я чувствовала восторгъ и злобу. Подо мной была пропасть, я держалась на тонкой жердочкѣ, у меня духъ захватывало... И долго, долго я тянула эту отчаянную игру... я ужъ и себя испытывала!.. Онъ былъ счастливъ, онъ вѣрилъ любви

моей: да и какъ ему было не вѣрить!.. Я... И вотъ въ ту минуту, когда онъ ужъ думалъ, что владѣтъ мною, я вырвалась отъ него, захохотала, и, прежде чѣмъ онъ опомнился, мчалась въ его каретѣ обратно въ городъ... Потомъ еще... слушай... Я отняла мужа у жены... Она его обожала, она была почти ребенкомъ... она черезъ четыре мѣсяца умерла въ скоротечной чахоткѣ... Но мнѣ надоѣли всѣ эти люди: все это было одно и то же... На бульварѣ я подошла къ погибшей женщинѣ и подружилась съ нею... я бывала у нея... я все видѣла...

Холодный потъ выступилъ на лбу моемъ, тоска невыносимая давила меня, и я жадно слушалъ.

Я говорилъ себѣ: «все это вздоръ, ничего этого не могло быть, ничего этого не было. Она нарочно мучаетъ меня, все это нарочно. Но, Боже мой, если ничего этого не было, такъ какъ-же могло ей все это пригрезиться, какъ могла она додуматься до всего этого, ѣйти все это для того, чтобы меня мучить?»

Наконецъ, она замолчала.

— Ну вотъ, ну вотъ я все тебѣ и сказала. Что-жъ ты мнѣ отвѣтишь на это? Противна я теперь тебѣ, или все еще повторяешь, что меня любишь?

— Я не вѣрю тебѣ,—прошептала я:—все что ты говорила невозможно! Ничего этого не было.

— Мнѣ самой иногда кажется,—совершенно тихо, спокойно и серьезно сказала она:—мнѣ самой кажется, что этого не было, что это мнѣ только снилось, но, вѣдь, нѣтъ, все это дѣйствительно было... Скажи мнѣ теперь, развѣ возможна любовь наша, развѣ можешь, развѣ смѣешь ты любить меня? Такую!.. Когда я тебя увидѣла снова, когда я увидѣла, что ты опять меня любишь, что ты, можетъ быть, даже и не переставалъ любить меня, на меня пахнуло счастьемъ, и были минуты, даже дни въ эти послѣдніе мѣсяцы, когда я вѣрила въ возможность любви нашей. Но теперь я этому не вѣрю. О, André, милый мой! Чтобъ я дала, чтобъ я сдѣлала, на чтобъ я рѣшилась, лишь-бы можно было уничтожить все то, что я тебѣ рассказывала; забыть все это прошлое! Если-бы кто-нибудь могъ взять надо мною такую силу, чтобы вырвать изъ меня навсегда возможность этого безумства, этихъ мученій, которыя меня преслѣдуютъ!.. Я люблю тебя, но въ тебѣ нѣтъ такой силы, ты ничего со мной не сдѣлаешь. Вспомни каждый день съ этой нашей послѣдней встрѣчи, вотъ теперь, все это время: мы почти ежедневно видались, ты могъ меня понять, ты знаешь меня. Ты видѣлъ: пройдетъ день, другой, третій; я твердо рѣшилась быть тебя достойною, я довольна, счастлива... и вдругъ, въ одну ми-

нуту, неожиданно для меня самой, все перевернется, тоска меня начинает душить, сама не знаю чего хочу, сама не знаю что дѣлаю. Вотъ моя жизнь! Никто мнѣ не повѣритъ, но ты мнѣ долженъ повѣриты!.. Иной разъ цѣлыя ночи напролетъ я заснуть не могу и плачу, плачу... Мнѣ кажется, что кто-то стоитъ надо мной и давить меня и терзаетъ, и мнѣ хочется избавиться отъ этой пытки, хочетсядохнуть чистымъ воздухомъ, вырваться на волю!.. О, какъ иногда я люблю тебя! Вотъ теперь, сейчасъ: мнѣ ничего не нужно, я понимаю все, я люблю все и всѣхъ, я могу наслаждаться всѣмъ, что только есть прекраснаго на свѣтѣ. Вотъ теперь, если ты уйдешь отъ меня, я запрусь дома, я стану читать, и каждое слово во мнѣ будетъ оставаться и приносить мнѣ наслажденье. Теперь я могу сѣсть за рояль и найти цѣлую жизнь въ звукахъ,—а завтра, можетъ быть мнѣ тошно станетъ, темною покажется и музыка, и поэзія, и все, чѣмъ живешь и можешь жить ты. И меня опять потянетъ къ чему-нибудь дикому, безобразному. Ахъ, это ужасно!.. Что-жъ ты молчишь, скажи мнѣ, скажи что-нибудь, а я тебѣ все ужъ сказала!

Я молчалъ, потому что жадно слушалъ, я молчалъ, потому что теперь изъ этого ея послѣдняго признанія мнѣ стало многое выясняться. Да, я не обманывался: вотъ она, вотъ этотъ живой, этотъ свѣтлый образъ, который является мнѣ временами. Да, я правъ былъ, всю жизнь былъ правъ, зная, что она неповинна, что надъ нею совершается какая-то кара за какое-то чужое преступленіе. Въ ней два существа: поэтому-то я и люблю ее, и, конечно, теперь, какихъ-бы ужасовъ она мнѣ ни сказала, какихъ-бы ужасовъ ни было въ ея прошломъ, я ее не оставлю. Она говоритъ, что нѣтъ во мнѣ надъ нею силы. Но, можетъ быть, есть эта сила, можетъ быть, въ концѣ концовъ и спадетъ эта ужасная оболочка и вырву я Зину на свѣтъ Божій!

— Что-жъ ты молчишь, André? Говори, скажи что-нибудь!—повторяла она.

— Я люблю тебя, — отвѣтилъ я ей,—и теперь люблю больше, чѣмъ когда-либо, и теперь знаю, что нельзя мнѣ уйти отъ тебя.

— Ахъ, уйдешь, откажешься... я чувствую, что мы никогда ничего не рѣшимъ и никогда не будемъ счастливы!

Въ передней раздался звонокъ: это генералъ возвращался.

Зина прибавила огня въ лампѣ и блѣдная, съ горящими глазами, но, повидимому, совершенно спокойная, вышла на встрѣчу генералу.

Х.

Это объясненіе, котораго я такъ долго ждалъ и такъ страшился, пришло неожиданно и неожиданно хорошо для меня кончилось. Одинъ, у себя, я долго разбирался во всемъ, что случилось, вникалъ въ каждое слово Зины, и все лучше и лучше становилось на душѣ у меня. Зачѣмъ я такъ отчаявался? Какъ-бы безумно поступилъ я, если-бы, не дождавшись, не понявъ наконецъ всего, уѣхалъ въ деревню; и какое счастье, что не уѣхалъ!

Наконецъ-то теперь я ясно ее вижу и понимаю! Да, многое побороть нужно, но все-же вотъ сегодня развѣ не вся душа ея была предо мною? И развѣ теперь я имѣю право сомнѣваться въ душѣ этой! Нѣтъ! возможно счастье, и чѣмъ труднѣе достигнуть его, тѣмъ прочнѣе оно будетъ. Что будетъ завтра, послѣ завтра—я не могъ рѣшить этого, но зналъ, что ничего дурного теперь быть не можетъ. Я вѣрилъ въ свои силы, надо мной звучали слова ея, я зналъ, что она меня любитъ и что нужно только уничтожить, обезсилить тѣ мучительныя чары, которыя издавна нависли надъ нею, и давятъ ее, и закутываютъ мракомъ ея свѣтлую душу. Одно только есть заклинаніе, способное уничтожить эти чары, и я владѣю этимъ заклинаніемъ; оно—великая любовь моя къ ней. Эта любовь должна побѣдить все и побѣдить конечно...

На другой день я только-что собрался было къ Зинѣ, какъ услышалъ въ передней звонокъ.

«Никого не принимать, я уѣзжаю»,—крикнулъ я Ивану.—«Слушаю-съ!»—отвѣтилъ онъ, а между тѣмъ вотъ онъ кого-то впускаетъ, кто-то вошелъ въ переднюю, кто-то ужъ въ моей пріемной... Шевелится портьера въ кабинетѣ, и чрезъ мгновеніе кто-то крѣпко, горячо меня обнимаетъ...

Я едва пришелъ въ себя отъ изумленія—мама! Я никакъ не ожидалъ ея: ей незачѣмъ было теперь пріѣзжать въ Петербургъ, и тѣмъ болѣе, что самъ я долженъ былъ скоро ѣхать въ деревню, по крайней мѣрѣ они меня ожидали. Въ первую минуту я даже испугался: «не случилось-ли у насъ чего-нибудь?» Но мама меня успокоила. Она объявила, что всѣ здоровы и что все благополучно.

— Такъ какъ-же это ты... и даже ничего не написала!—изумленно спрашивалъ я, цѣлуя ея руки и чувствуя, что къ блаженству, охватившему меня со вчерашняго вечера, присоединяется еще новое блаженство, которое я всегда испытывалъ въ первыя минуты свиданія съ матерью.

— Да вотъ, на старости лѣтъ какія штуки устраиваю, сюрпризы полюбила!—отвѣчала мама, охватывая мою голову руками и крѣпко меня къ себѣ прижимая.

Но, вѣдь, я зналъ, что никакихъ штукъ она не могла полюбить на старости лѣтъ, и все это меня изумляло и пугало.

Я взглянулъ въ ея глаза; она какъ угодно могла хитрить, но лицо ея не могло обмануть меня, и на этомъ лицѣ я увидѣлъ столько тоски, тревоги, столько мучительнаго, жаднаго въ меня всматриванья, что я сразу догадался, зачѣмъ она пріѣхала. Она почуяла, какъ часто это съ нею бывало, что мнѣ плохо, что для меня нужно ея присутствіе, и вотъ она явилась.

Только теперь она ошиблась, мнѣ не плохо, напротивъ, теперь я, наконецъ, у самаго счастья!

А между тѣмъ я зналъ, что она не можетъ ошибаться, потому что никогда еще не ошибалась, и мнѣ становилось страшно.

— Знаю я теперь, зачѣмъ ты пріѣхала, и вижу, какъ хорошо, что ты пріѣхала; да, именно тебя мнѣ очень нужно.

— Я знала, что нужно,—прошептала мама съ легкимъ вздохомъ, и опустилась въ кресло, какъ будто у нея подкосились ноги.

Я сталъ снимать съ нея шляпку, кинулся велѣть подавать чай и завтракъ, вернулся опять въ кабинетъ, а она все сидѣла неподвижно на томъ-же мѣстѣ.

Я сѣлъ возлѣ нея и взялъ ея маленькія, уже начинавшія сморщиваться руки, и жадно, жадно цѣловалъ ихъ, и смотрѣлъ на нее, и не могъ оторваться отъ лица ея. Долго мы такъ сидѣли, почти ничего не говоря; такъ всегда это бывало между нами въ первыя минуты свиданія.

Она очевидно читала въ лицѣ моемъ все, что ей нужно было знать, а я, что-же я-то могъ прочитать въ ней, кромѣ этой безконечной любви ея, которая всегда, въ минуты сильнѣйшаго своего проявленія, поднимала сладкую боль и слезы въ моемъ сердцѣ.

Я не видалъ мамы съ прошлаго лѣта, съ того самаго времени, когда уѣзжалъ изъ деревни счастливымъ и довольнымъ женихомъ Лизы. Я, должно признаться, такъ мало думалъ о ней всю эту зиму; я почти равнодушно извѣстилъ ее о томъ, что моя свадьба разстроилась, и потомъ, въ другомъ письмѣ, мелькомъ упомянулъ о пріѣздѣ Зины въ Петербургъ...

Если-бъ я не былъ поглощенъ тою новою жизнью, которая нахлынула на меня въ послѣднее время, я былъ-бы давно уже подготовленъ къ посѣщенію мамы, я долженъ былъ знать, какія минуты пережила она, получивъ эти два письма мои. Но развѣ тогда, когда это было нужно, думалъ я о томъ, чего стоятъ ей нѣкоторыя мои письма и нѣкоторыя слова мои? Потомъ, поздно

ужъ, вспоминалъ я все и каждый разъ мучился и каждый разъ обвинялъ себя искренно, считая себя дурнымъ сыномъ, недостойнымъ такой матери. Но къ чему было все это? Что во всю жизнь, кромѣ мученій, принесъ я ей? Да и давно ужъ, во всѣ эти спокойные годы моего внутренняго существованія, не пошатнулась, нѣтъ, но какъ будто нѣсколько забылась, какъ будто отошла моя прежняя связь съ нею. До сихъ поръ она мнѣ была не нужна—скверное слово, но я ставлю его потому, что такъ кажется оно было,—она мнѣ была не нужна и я часто забывалъ о ней. То-есть нѣтъ, не забывалъ, забыть я не могъ, конечно, но, думая о ней, я не возвращался къ ней всѣмъ существомъ моимъ какъ прежде, потому-что зналъ, что она все равно составляетъ мое владѣніе, которое только лежитъ теперь подъ спудомъ до тѣхъ поръ, пока мнѣ его не нужно. Но вотъ теперь она нужна мнѣ, хоть я еще нѣсколько минутъ предъ ея прїѣздомъ не сознавалъ этого; нѣтъ, видно нужна, потому что я такъ и прильнулъ къ ней, и такъ мнѣ горько и отраднo отъ ея присутствія...

Я опять вглядываюсь въ лицо ея. Я давно его не разглядывалъ, давно не замѣчалъ тѣхъ перемѣнъ, которыя произвело на немъ время. И, смотря на нее, я вспоминаю далекіе прежніе годы, вспоминаю всѣ тѣ минуты, когда она была нужна мнѣ и меня спасала. Мнѣ снова вспоминается тотъ больной ребенокъ, который съ горячею, безумною головою, съ бредомъ и лихорадочною дрожью во всемъ тѣлѣ прижимался къ ней и наконецъ подъ тихій ея голосъ, подъ ея ласки засыпалъ укрѣпляющимъ сномъ и просыпался бодрымъ и здоровымъ. Тѣмъ-же роднымъ сладкимъ воздухомъ дышетъ на меня отъ нея; та-же нѣжная мягкая рука прикасается къ головѣ моей и также благотворно дѣйствуетъ на меня это прикосновеніе...

Неизмѣнна она, но сколько пережито ею въ это время! Душа ея неизмѣнна, но внѣшность ея измѣнилась. Я только теперь замѣтилъ, какъ она постарѣла, сколько мелкихъ морщинокъ легло кругомъ прекрасныхъ глубокихъ глазъ ея; сколько серебряныхъ нитей показалось въ блестящихъ черныхъ волосахъ; какъ глубокія двѣ тѣни вокругъ рта придали всему лицу выраженіе давнишняго привычнаго страданія.

Не радостна была жизнь ея въ эти послѣдніе годы: все какъ-то стало расшатываться, разстраиваться. Огромная домашняя машина, которая всегда цѣликомъ лежала на плечахъ ея, да ила ее своею тяжестью. Обстоятельства заставили ее разлучиться со многими дѣтьми: Катя была ужъ замужемъ и жила въ Одессѣ; двѣ сестры въ Москвѣ, въ институтѣ; младшій братъ вышелъ такимъ больнымъ, что не могъ совсѣмъ учиться и ежедневно

можно было ожидать его смерти. Со всѣмъ этимъ сколько злобы, сколько клеветы обрушилось на нее, и этою злобой, этою клеветой пускали въ нее именно тѣ люди, которыхъ она не разъ поднимала на ноги и спасала въ тяжелыя минуты. Теперь отъ нея нечего было больше ждать, теперь она ужъ раздала почти все, что имѣла, и вотъ отъ нея отвернулись и провозглашали ее безалаберною, нелѣпою женщиной, разстроившею свое состояніе, не позаботившеюся о будущности своихъ дѣтей. Конечно, были люди, которые знали ее и не могли къ ней измѣниться и должны были теперь-то именно и цѣнить ее больше; но даже и въ этихъ людей она какъ-то перестала вѣрить...

А всего больше все-таки я-же самъ ее состарилъ; я, который зналъ и цѣнилъ ее вѣрнѣе и лучше всѣхъ остальныхъ; я, который могъ только гордиться тѣмъ, что она «не позаботилась о будущности своихъ дѣтей». Я зналъ, что вся ея жизнь была этою заботой, и все-же я ее состарилъ. Я чувствовалъ и понималъ теперь, какъ состарилась она даже въ эти послѣдніе четыре мѣсяца, съ тѣхъ поръ, какъ получила письма мои о разрывѣ съ Лизой и о пребываніи Зины въ Петербургѣ. Я понималъ, что должна была пережить она до той минуты, какъ вышла изъ деревни и пріѣхала сюда безо всякой видимой побудительной причины.

Наконецъ, мы заговорили, и, конечно, обоимъ намъ не нужно было подходить къ этому разговору: мы его начали съ конца, съ настоящей минуты. Разсказывать мнѣ было нечего, такъ какъ она сразу объявила, что все знаетъ: знаетъ, что я разошелся съ Лизой ради Зины, и что я теперь измученъ, и что мнѣ нужно спастись.

— Нѣтъ, въ этомъ ты, кажется, ошибаешься, мама!

Я передалъ ей весь вчерашній разговоръ.

Она грустно покачала головой.

— Что-жъ ты можешь видѣть въ этомъ разговорѣ и откуда вдругъ изъ него выводишь свое счастье? Почему надѣешься ты, что можешь ее передѣлать! Эхъ, André, бываютъ такія натуры, которыхъ никакая сила любви не можетъ передѣлать, и это одна изъ такихъ натуръ. Я давно ее поняла и давно знала, что ничего кромѣ горя не принесетъ она намъ. Вотъ я было успокоилась, думала, что чаша эта тебя миновала. Но и знаешь, тогда даже, когда я была совсѣмъ увѣрена въ твоёмъ семейномъ счастьи, увѣрена въ твоёмъ чувствѣ къ невѣстѣ, и тогда мнѣ порою становилось страшно, и представлялось мнѣ: а вдругъ—вотъ ты счастливъ, у тебя любящая, любимая тобою жена, тихая, спокойная жизнь, можетъ быть, дѣти, которыхъ непременно ты и любилъ-бы, и вдругъ является она!.. Вотъ что меня мучило, пре-

слѣдовало, какъ кошмаръ какой-нибудь... Я представляла себѣ, какъ она явится, и всегда, всегда сумѣетъ разрушить твое счастье и разбить твою жизнь...

Голосъ мамы дрогнулъ, и она поднялась въ волненіи.

— Знаешь, — продолжала она: — знаешь, это даже хорошо, что она явилась слишкомъ рано; если суждено тебѣ погибнуть, то по крайней мѣрѣ ты одинъ погибнешь, а тогда-бы съ тобою погибло много невинныхъ. Но, Боже, какъ все это страшно! Ты мнѣ ничего не писалъ и хотя я все предчувствовала, все понимала, но все-же мнѣ казалось иногда, все-же я надѣялась, что, можетъ быть, и не такъ оно... Ъхала я сюда и думала: «можетъ быть, она только посмѣется надъ нимъ и оттолкнетъ его», а вотъ ты теперь хвалишься, что счастливъ!.. Да я-то вижу, что во вечерашнемъ разговорѣ и заключается все твое несчастье. Она сказала, что любить тебя, она хорошо знала, что въ этой фразѣ твоя гибель, — оттого, можетъ быть, и сказала ее.

— Но неужели ты совсѣмъ не можешь повѣрить ей, мама? Неужели ты не предполагаешь въ ней дѣйствительно ничего ужъ свѣтлаго? Ты заблуждаешься, ты ее не знаешь... Да, конечно... я понимаю, что ты иначе и не можешь смотрѣть на нее. Но, увѣряю тебя, я знаю, всею душой моею знаю, что можно теперь успокоиться и что все хорошо будетъ...

— Ничего не будетъ. Она родилась такою, такою и умереть. Помнишь, помнишь ты мнѣ рассказывалъ, не тогда, когда это было, тогда ты все скрывалъ отъ меня, а потомъ рассказывалъ про ея жестокость съ животными, про сцену въ кухнѣ съ несчастнымъ ракомъ: она вся тутъ, такую и осталась. И теперь ты этотъ ракъ, которымъ она играетъ, котораго танцовать заставляетъ, котораго рветъ на части: это дьяволъ; я ее знаю.

Мы было такъ взволнованы, что ничего не слышали; но вдругъ спущенная портьера зашевелилась, и мы увидѣли Зину.

Въ первое мгновеніе, взглянувъ на нее и узнавъ ее, мама вся вздрогнула, хотѣла уйти куда-нибудь, искала глазами выхода изъ комнаты.

Зина посмотрѣла на меня, потомъ на маму и съ невольнымъ крикомъ, съ быстро набѣжавшими слезами бросилась предъ мамой на колѣни, схватила ея руки, стала цѣловать ихъ и все плакала, и все цѣловала, и глядѣла съ такою нѣжностью, такимъ дѣтскимъ, жалкимъ и милымъ взглядомъ.

Я оставался неподвижнымъ предъ этою сценой, я жадно всматривался въ нихъ обѣихъ. И вотъ я сталъ замѣчать, какъ мама,

сначала испуганная, изумленная и негодующая, понемногу стала свѣтлѣть и измѣняться.

Да, я не ошибался; она ужъ не хочетъ уйти, не хочетъ освободиться отъ этихъ нежданныхъ, ненавистныхъ поцѣлуевъ. Она смотритъ, смотритъ на Зину, и вдругъ... вдругъ обнимаетъ ее одною рукой... Вотъ и на ея глазахъ слезы, вотъ она совсѣмъ ужъ обняла ее и цѣлуетъ. Я не могъ оставаться безучастнымъ свидѣтелемъ этого, я кинулся къ нимъ, я усадилъ ихъ рядомъ.

— Ахъ, Боже мой, — заговорила Зина, нѣжно и радостно глядя на маму:—какое это было сумасшествіе! Я, я думала, что забыла васъ, что не люблю васъ; иногда мнѣ казалось даже, что во мнѣ есть къ вамъ какое-то враждебное чувство и что я даже имѣю почему-то на него право... Какое безуміе! Знаете, мама, знаете, что еслибъ я узнала, что вы здѣсь и что я должна васъ встрѣтить у André, я-бы ни за что не пріѣхала. Я въ первую минуту даже не узнала васъ; но когда узнала, то увидѣла, какъ васъ люблю... И, Боже мой, какъ я счастлива, что вы здѣсь и именно теперь!.. André,—сказала она, взглянувъ на меня и протягивая мнѣ руку:—знаешь-ли ты, что это огромное для насъ счастье, что мама пріѣхала.

— Конечно, я это знаю,—отвѣтилъ я.

— И какъ хорошо, что сейчасъ-же, теперь-же мы всѣ встрѣтились! — продолжала Зина. — Мама, вотъ вы-то, вы-то должны меня ненавидѣть! Взгляните на меня, посмотрите, скажите мнѣ хоть что-нибудь, вѣдь, вы мнѣ еще ничего не сказали!..

— Что-жъ мнѣ сказать тебѣ?—прошептала мама, поднимая на нее свои глаза съ тихимъ и нѣжнымъ выраженіемъ.—Я тоже никакъ не воображала, что встрѣчусь такъ съ тобою... Ты-то смотри на меня, смотри... вотъ такъ!

Она взяла обѣими руками и наклонила къ себѣ лицо Зины, и Зина прямо на нее глядѣла. Ея странные, молчалие глаза не молчали теперь, а изливали потоки яснаго свѣта. Мама видѣла этотъ свѣтъ: ея лицо говорило мнѣ это, и я не могъ сомнѣваться.

Зина вдругъ отстранилась отъ нея, будто для того, чтобы лучше разглядѣть и прочесть ея мысли.

— Вѣрите-ли вы мнѣ?—проговорила она.—О, чтобъ я теперь сдѣлала, чтобы заставить васъ вѣрити! Да, вы мнѣ должны вѣрити!.. André, я шла къ тебѣ сегодня затѣмъ, чтобы докончить вчерашній разговоръ. Мама, вѣдь, вы все знаете; я понимаю, что онъ не могъ утаить отъ васъ что-нибудь, и что это не нужно. Я шла къ нему, чтобы досказать... Еще вчера, говоря съ нимъ, я въ себѣ сомнѣвалась, но потомъ всю эту ночь я не заснула ни на минуту, я все думала, думала, я много пережила въ эту

ночь, и вотъ для того здѣсь, чтобы сказать ему: не уходи, ты можешь спасти меня...

Она крѣпко схватила мою руку, а другою рукой привлекла къ себѣ маму.

— О, какъ вы должны были ненавидѣть меня, дорогая мама, и какъ я этого стоила! Сколько мукъ, сколько несчастья я вамъ причинила, и тогда, давно, а главное теперь, въ это послѣднее время!.. Да, но, вѣдь, и сама я очень несчастна, и меня тоже пожалѣть можно... Вотъ я теперь каюсь передъ вами...

И точно, она каялась. Все лицо ея преобразилось; изъ глазъ ея, поднятыхъ куда-то надъ нами, по временамъ капали крупныя слезы; она вся была воплощеніе искренности.

— Да,—говорила она:—пріѣхавъ сюда и увидя André, я ужъ знала, что дѣлаю: я видѣла, что мнѣ стоитъ сказать ему одно слово, что мнѣ стоитъ такъ, а не иначе взглянуть на него, и онъ не уйдетъ отъ меня, и онъ порветъ все, что было до меня. Я знала что онъ женится, навѣрно слышала объ этомъ, и я въ одинъ часъ разстроила все это... О, какъ вы должны меня ненавидѣть!

Мама ничего не отвѣчала, она только слушала.

— Я разстроила только для того, чтобы разстроить, но когда онъ пришелъ ко мнѣ, когда увидѣла, что все кончено; что онъ ужъ не вернется туда, къ той дѣвушкѣ, должно быть, прекрасной дѣвушкѣ, я вдругъ поняла, что можетъ быть разстроила не даромъ, а для того, чтобы быть счастливою. Я поняла, что люблю его; впрочемъ, я и всегда его любила. Больше я ничего не могу говорить, про все это время онъ самъ можетъ рассказать вамъ; онъ самъ все видѣлъ, и вчера я ему все доказала. Пусть онъ скажетъ вамъ, какъ я отдаляла минуту нашего окончательнаго разговора; пусть онъ скажетъ вамъ, какъ я, чувствуя, что не въ силахъ совладать съ собою, все дѣлала для того, чтобъ отдалить его отъ себя, чтобъ онъ меня возненавидѣлъ, чтобъ убѣжалъ отъ меня... Да, я ужасно виновата... Я знаю то зло, которое во мнѣ есть, но все-же, отдаляя его отъ себя, я много мучилась, потому что люблю его. А вотъ вчера онъ совсѣмъ побѣдилъ меня... теперь мнѣ не страшно ни за себя, ни за него, и я рада, охъ, какъ я рада, что могу это сказать ему при васъ, что вы свидѣтельница этому!

— Зина, я вѣрю твоей искренности, — тихо проговорила мама:—но умоляю тебя, подумай хорошенько; ты знаешь, что теперь слишкомъ многое рѣшается, увѣрена-ли ты въ себѣ?

— Нѣтъ, видно вы мнѣ не вѣрите! — отчаяннымъ голосомъ почти крикнула Зина, хватаясь за голову. — Да вы и имѣете право не вѣрить.

Она замолчала. Лицо ея оставалось неподвижно, глаза за-

крыты, она какъ будто вся уходила въ свой внутренній міръ. Но вотъ она открыла глаза, прямо взглянула на меня и на маму и какимъ-то торжественнымъ, страннымъ голосомъ сказала:

— Вѣрьте мнѣ, я не обманываю ни себя, ни васъ; теперь я въ себѣ увѣрена.

Страшная тяжесть спала съ насъ.

Какое это было утро! Какъ вдругъ просвѣтлѣла моя маленькая квартирка, какъ онѣ обѣ, и мама и Зина у меня хозяйничали и все осматривали, пересчитывали всѣ принадлежности моего хозяйства и дѣлали свои милыя замѣчанія, и обѣ громко смѣялись. Зина превратилась въ шаловливаго, милаго ребенка, а мама вдругъ помолодѣла лѣтъ на десять, даже какъ-то разгладились и совсѣмъ исчезли эти мучительныя тѣни вокругъ ея рта, которыя придавали ея лицу такое невыносимое для меня выраженіе.

Зина объявила, что она весь день останется у насъ; что она не можетъ теперь отъ насъ оторваться, и мы весь день провели втроемъ. Это были самыя праздничныя минуты во всей моей жизни.

Прошло три дня. Зина являлась къ намъ съ утра, и мы не разставались до ночи... Погода все стояла прекрасная. По вечерамъ мы ѣздили за городъ. Ни одною миной, ни однимъ знакомъ Зина не нарушала очарованія, въ которомъ мы находились. Я видѣлъ и чувствовалъ, что мама совершенно успокоилась.

Но вотъ послѣ трехъ безмятежныхъ дней Зина исчезла: два дня о ней не было ни слуху, ни духу. Наконецъ, даже мама сказала мнѣ:

— Поѣзжай, узнай, что съ ней такое? Можетъ быть, заболѣла...

Я поѣхалъ.

Это было вечеромъ. Еще съ улицы я замѣтилъ, что у генерала гости, потому что всѣ окна были ярко освѣщены. Я не ошибся: въ гостиной я засталъ всю компанію, только Рамзаева не было. Вообще всѣ эти дни онъ куда-то исчезъ, иначе непременно-бы явился ко мнѣ, узнавъ что мама пріѣхала.

Генералъ съ Александрой Александровной и ея мужемъ играли въ карты. Онъ пожаловался мнѣ на нездоровье и я пошелъ дальше, искать Зину.

Я засталъ ее въ будуарѣ. Она лежала на chaise longue; Кокосидѣлъ, согнувшись въ три погибели, на низенькой скамеечкѣ у

ногъ ея, а толстый Мими стоялъ у ея изголовья и махалъ ей въ лицо вѣеромъ.

— Al André, это ты!—лѣнивымъ голосомъ проговорила Зина и даже не поднялась съ мѣста.—Видишь, я фольна и мои придворные меня забавляютъ... Мими, дайте André стулъ.

Мими вмѣсто стула подаль мнѣ руку, но Зина настойчиво повторила:

— Слушайте, дайте сейчасъ André стулъ, поставьте его сюда!

Мими что-то промывчалъ, но поспѣшно исполнилъ ея приказаніе.

— Садись, André.

Я сѣлъ, потому что у меня все равно подкашивались ноги.

Зина обернула ко мнѣ свое лицо съ полужакрытыми глазами. Какое это было лицо! Въ немъ не было ровно ничего общаго съ тѣмъ, которое я и мама видѣли въ эти послѣдніе дни.

— Если ты больна, отчего-же ты не написала? Мама такъ о тебѣ беспокоится!—проговорилъ я.

Тутъ вмѣсто отвѣта Зина сдѣлала какую-то странную гримасу.

— Я сама сегодня собиралась къ вамъ, только не удалось; къ тому-же, конечно, я надѣялась, что ты посѣтишь меня сегодня... Ахъ, какая скука!—медленно продолжала она, потягиваясь и зѣвая.—Коко, отчего вы умѣете говорить только однѣ глупости? Я желала-бы знать, неужели никогда въ жизни вамъ не пришлось сказать ни одной умной вещи, хоть нечаянно?

— Я увѣренъ, что всегда говорю самыя умныя вещи,—очень серьезно отвѣчалъ Коко. — Вы знаете, что самыя умныя вещи всегда кажутся глупостями людямъ...

— Ого!—вдругъ засмѣялась Зина.—Такъ вы въ самомъ дѣлѣ иной разъ умѣете умно говорить! Или, можетъ быть, это сейчасъ была самая умная вещь, которую вы сказали... Во всякомъ случаѣ поздравляю васъ и позволяю за это поцѣловать мою руку...

Она протянула ему руку, и онъ впился въ нее губами.

— Да отпустите-же, отстаньте! — какъ-то ужасно хохоча, повторяла Зина и вдругъ, повернувшись, оттолкнула отъ себя Коко ногою.

Я чувствовалъ какъ у меня пересохло въ горлѣ и закружилась голова.

«Что это такое было? Гдѣ я? Что это—будуаръ кокетки?..»

Я совсѣмъ задыхался въ этой атмосферѣ и приподнялся съ кресла, порываясь уйти.

Зина быстрымъ движеніемъ меня остановила.

— Ты ужъ исчезаешь, André? Теперь, такъ какъ мама здѣсь,

я не смѣю тебя удерживать, но постой минутку, я напишу ей маленькую записочку.

Я машинально снова опустился въ кресло. Она подошла къ письменному столу, что-то быстро написала, запечатала въ конвертъ и подала мнѣ.

— Пожалуйста, передай мамѣ.

Я взялъ записку, положилъ ее въ карманъ; кажется, пожалъ руки Коко и Мими... Вотъ и Зина протянула мнѣ свою руку. Я ужъ уходилъ, но она пошла за мною. Я не смотрѣлъ на нее и ничего не сказалъ ей.

Мы проходили черезъ столовую, блѣдно освѣщенную висающею лампой. Никого не было. Коко и Мими не вышли за нами.

— André, остановись!—вдругъ сказала Зина.

Я обернулся къ ней и схватилъ ее за руки.

— Зина,—задыхаясь прошептала я:—поѣдемъ со мною, можетъ быть, еще возможно... Скорѣй, сейчасъ, рѣшайся... иначе будетъ поздно!

— Поздно, André,—тихо отвѣтила она: — поздно, прощай, мой милый!..

Я замѣтилъ какъ она хотѣла обнять меня, какъ ужъ поднялись было ея руки, но тотчасъ-же и опустились и вмѣстѣ съ ними низко опустились ея рѣсницы. Страшно блѣдною показала она мнѣ въ полусвѣтѣ комнаты.

— Прощай,—едва шевеля губами повторила она и тихо повернулась, и тихо пошла отъ меня.

Я хотѣлъ броситься за нею, хотѣлъ силой увлечь ее съ собою, но остановился. Ужасъ охватилъ меня, и я бросился скорѣй домой, къ мамѣ.

Мама испуганно взглянула на лицо мое и дрожащими руками распечатала записку Зины. Она медленно прочла ее, уронила на полъ и нѣсколько мгновений сидѣла неподвижно, блѣдная, съ такимъ страдающимъ лицомъ, что за одно это лицо я долженъ былъ навсегда возненавидѣть ту, которая написала эту упавшую на полъ записку.

Мама все сидѣла неподвижно, а я нашелъ, наконецъ, въ себѣ силу поднять и прочесть записку.

. И я прочелъ:

«Вы напрасно мнѣ повѣрили, я опять обманула и себя и васъ: я ничего не могу сдѣлать съ собою. Сегодня все рѣшилось: я выхожу замужъ за этого старика, онъ меня покупаетъ. Я не въ силахъ была сказать это André, вы скажете лучше и спасете его, вѣдь, затѣмъ вы и пріѣхали».

Записка мнѣ не сказала ничего новаго. Уже простившись съ Зиной, я все зналъ навѣрное.

Во весь конецъ этого вечера мы почти не сказали другъ другу ни одного слова.

Я напрягалъ всѣ усилія, чтобы казаться твердымъ. Мама тоже не выражала ни горя своего, ни негодованія. Потомъ я понялъ, что ея присутствіе тогда спасло меня.

На другой день мы вмѣстѣ уѣхали въ деревню.

XI.

Какіе чудные дни наступили теперь здѣсь, на берегахъ Женевского озера!.. Какъ все блещетъ теплыми, ласкающими взгляды красками, какъ все дышетъ молодою весеннею жизнью!.. И эта жизнь съ каждымъ днемъ, съ каждымъ часомъ требуетъ себѣ больше и больше простора поднимается выше и выше на бѣлыя горы...

И горы темнѣютъ; таютъ и разливаются сотнями ручьевъ ихъ снѣга и льдины... И бѣгутъ ручьи, перегоня другъ друга со звономъ и плескомъ, бѣгутъ въ кипучія воды Роны и Арвы... Только вѣчно мертвы и угрюмы далекіе великаны, предводимые Монбланомъ, до нихъ не добратся веснѣ и жизни, и холодно обливаетъ солнце ихъ блѣдныя вершины...

Я послушался madame Brochet и пошелъ подышать воздухомъ. Долго бродилъ я по знакомымъ мѣстамъ, гдѣ такъ часто бывалъ вмѣстѣ съ Зиной. Но странное дѣло, теперь она мнѣ не вспоминалась, даже какъ-то призатихла тоска моя. Весенній запахъ, весеннія краски стали навѣвать на меня другія воспоминанія.

Какимъ далекимъ мнѣ кажется то лѣто, когда я пріѣхалъ съ мамой въ деревню! Намъ пришлось тогда больше двухъ дней ѣхать по желѣзнымъ дорогамъ. Ахъ, какая это была каторга! Но я рѣшился, во что-бы то ни стало, не поддаваться своимъ мученіямъ и выдержать! у меня хватило силы подумать и о мамѣ.

Мы ѣхали и бодрились другъ предъ другомъ; то сознавали этотъ обманъ, то, минутами, надѣялись, что онъ удался. Мама только объ одномъ заботилась, какъ-бы настолько сильно выразить мнѣ свою любовь, чтобы я почувствовалъ, что эта любовь чего-нибудь стоитъ, и нашелъ въ ней утѣшеніе и поддержку. Ея присутствіе, необходимость всячески сдерживать себя, отгонять свои мысли отъ ужаснаго предмета, заботиться о томъ, какъ-бы обмануть ее, подъ конецъ оказались благотворными: я пріѣхалъ въ деревню несравненно болѣе бодрымъ, чѣмъ можно было ожидать. Прошли первые страшные дни. Мама неустанно слѣдила за

мною, она рѣшилась во что-бы то ни стало залѣчить тоску мою. Она употребляла всѣ тѣ средства, которыми обладала и которыхъ у нея всегда было много...

Я думаю, мало кто изъ нашихъ знакомыхъ считалъ ее умною женщиной; она никогда не играла ровно никакой роли въ обществѣ, напротивъ, общество всегда тяготило ее, и она его избѣгала. Она до старости не умѣла отдѣлаться отъ какой-то дѣтской конфузливости, при чужихъ терялась, часто не находила словъ, часто даже говорила невпопадъ и отъ этого конфузилась еще больше, и, можетъ быть, въ иныхъ глазахъ казалась даже смѣшною. Тотъ, кто видѣлъ ее и зналъ только мелькомъ, въ гостиную, конечно, никогда и вообразить себѣ не могъ, какой необыкновенный умъ сердца у этой женщины. Ее нужно было видѣть дома, въ ея постоянной обстановкѣ, въ ея отношеніяхъ къ самымъ близкимъ, дорогимъ ей людямъ. Вотъ тутъ она являлась въ совершенно новомъ свѣтѣ. Тамъ, гдѣ близкій ей человѣкъ страдалъ, гдѣ надъ нимъ собиралась или ужъ разразилась гроза, тамъ появлялась она во всеоружіи, и тогда для нея все ужъ было ясно, она ни надъ чѣмъ не задумывалась, ничѣмъ не смущалась, у нея вдругъ находились и слова и поступки...

Ей удалось и меня скоро успокоить. Я началъ кое-какъ справляться съ собою. Конечно, все-же бывали дни, когда я не зналъ куда дѣваться отъ тоски; и въ такія минуты обыкновенно приходилъ къ мамѣ и бесѣдовалъ съ нею.

Въ этихъ разговорахъ мы никогда не касались Зины. Мы говорили объ общихъ дѣлахъ, о планахъ на будущее. Наконецъ, какъ-то послѣ долгихъ подготовленій, мама рѣшилась упомянуть имя Лизы. Я видѣлъ, я понималъ, какъ-бы она была счастлива, еслибъ я снова сошелся съ Лизой, я понималъ даже, что она мечтаетъ объ этомъ, и если никогда мнѣ этого не высказала, такъ потому только, что ее смущалъ вѣчный призракъ. Еслибъ она была увѣрена, что я никогда больше въ жизни не встрѣчусь съ Зиной, что Зина или умерла или уѣхала куда-нибудь, откуда никакимъ образомъ не можетъ вернуться, о, тогда-бы она, конечно, заговорила иначе. Но теперь не говорила и только старалась узнать отъ меня все мое прошлое съ Лизой, чтобы сообразить что-то: ей вѣрно хотѣлось знать возможна-ли наша встрѣча. И вотъ изъ моихъ разсказовъ она, должно быть, поняла, что эта встрѣча возможна, что Лиза, пожалуй, опять ко мнѣ вернется, стоитъ мнѣ захотѣть только.

— Какое-бы это было счастье!—проговорила мама. — Только нѣтъ, лучше и не думать, лучше не мечтать объ этомъ, — продолжала она, тяжело вздыхая. — Знаешь, André, я часто по цѣлымъ ночамъ о тебѣ думаю... я иногда надѣюсь... но потомъ какой-то

голосъ будто говорить мнѣ, что ты никогда не будешь счастливъ... Господи, бѣдный мой мальчикъ, зачѣмъ ты такимъ несчастнымъ родился! Все я передумываю, себя виню; можетъ быть, въ самомъ дѣлѣ это вина моя... я, глупая, не умѣла тебя воспитать какъ слѣдуетъ... у другой матери ты вышелъ бы счастливѣе...

Я могъ только грустно улыбнуться, цѣлуя ея руки. А она ужъ плакала.

— Да, право такъ,—говорила она:—и не возражай мнѣ... Я умѣла и умѣю только любить тебя и мучиться вмѣстѣ съ тобою. Но, вѣдь, этого мало! Лучше пусть-бы я тебя меньше любила, да сумѣла съ дѣтства указать тебѣ истинную дорогу... Андрюша, милый мой, какъ ты живешь, что у тебя въ душѣ... вѣдь, это ужасъ... вѣдь, я понимаю! Тебѣ даны и способности, и талантъ, и что ты съ этимъ сдѣлалъ? Ты только мечешься, ты ищешь чего-то и ничего не находишь... Такъ жить нельзя—безъ дѣла, безъ цѣли, безъ радости, безъ вѣры, André, пуще всего безъ вѣры!.. Ну и тутъ я ужъ дѣйствительно не виновата... я только и живу, только и спасаю себя вѣрою, а ты знаешь это... я всегда тебѣ говорила съ дѣтства... Андрюша...

Я слушалъ ее съ невольнымъ трепетомъ, но при послѣднихъ словахъ ея мнѣ сдѣлалось ужасно неловко, какъ и всегда, когда она говорила со мной о религіи. Въ эти минуты она почему-то дѣлалась вдругъ для меня чужою и непонятною.

— Что-же мнѣ дѣлать,—сказалъ я:—если я не могу вѣрить... Не мало было тяжелыхъ минутъ, и если даже въ эти минуты я не повѣрилъ, такъ, значитъ, это невозможно...

Слезы катились по щекамъ ея, она опустила голову, и на ея лицѣ выражалось такое страданіе, что я сталъ проклинать себя за эти вырвавшіяся слова, вѣдь, я тысячу разъ рѣшался молчать предъ нею объ этомъ!

— Ну, такъ ты погибъ!—глухимъ голосомъ прошептала она.—Если ни на землѣ, ни на небѣ тебѣ нѣтъ помощи, такъ чѣмъ-же ты отгонишь отъ себя наводненіе, когда оно снова найдетъ на тебя?.. и чѣмъ-же ты думалъ спасти Зину?!

Она силилась подавить слезы, но не могла, и громко безнадежно зарыдала.

Меня самого душили слезы. Я кинулся къ ней, я обнималъ ее, цѣловалъ ея руки, но долго не могъ ее успокоить.

Весь этотъ разговоръ, каждое слово такъ и звучитъ теперь предо мною.

Я долго пробылъ въ деревнѣ и уѣхалъ ужъ зимою, послѣ новаго года.

До сихъ поръ я не имѣлъ никакихъ извѣстій о Зинѣ, тутъ-

же я зналъ, что сразу получу ихъ, что сразу придется столкнуться съ кѣмъ-нибудь изъ компаніи.

Такъ и случилось. Рамзаевъ немедленно-же провѣдалъ о моемъ прїѣздѣ и явился ко мнѣ со своими новостями.

Зина съ генераломъ въ Парижѣ. Александра Александровна прогнала мужа, то-есть сдѣлала его управляющимъ имѣніемъ Мими, и онъ живетъ теперь въ деревнѣ, его же мѣсто ужъ совершенно открыто и безо всякаго стѣсненія занялъ Мими. Коко еще недавно былъ здѣсь, а теперь отпѣвился въ Парижъ, конечно, ради Зины.

— Только, конечно, онъ тамъ ничего не добьется,—замѣтилъ Рамзаевъ, пристально смотря на меня своими зеленоватыми глазами: — наша барышня оказалась вовсе не такою, какъ нѣкоторые люди о ней думали. Она искренно привязана къ мужу, несмотря на то, что онъ старъ, да и вообще, какъ оказывается, о ней составилось легкомысленное и невѣрное мнѣніе...

Онъ все пристальнѣе и пристальнѣе глядѣлъ на меня. Онъ очевидно вызывалъ меня, онъ ждалъ, что я не выдержу и выскажусь. Но онъ ошибся: я слушалъ его совершенно спокойно, я былъ подготовленъ къ этимъ словамъ и ко всѣмъ этимъ свѣдѣніямъ.

День за днемъ началась моя вторая петербургская жизнь, я снова принялся за мою неоконченную диссертацию, ежедневно цѣлое утро проводилъ въ Публичной Библіотекѣ. Работа быстро подвигалась и наконецъ къ веснѣ была окончена; я выдержалъ экзаменъ, защищалъ диссертацию. Все это прошло тихо: и время было не такое (уже совсѣмъ къ лѣту). и названіе книги моей не подзадоривающее любопытство, да и самъ я, наконецъ, не искалъ никакой извѣстности. Прежде когда-то, еще въ Лизино время, я мечталъ объ этомъ диспутѣ, но теперь мнѣ было рѣшительно все равно, будутъ-ли говорить обо мнѣ и что обо мнѣ скажутъ.

Иногда мнѣ бывало невыносимо скучно; я работалъ и спалъ только для того, чтобы не видѣть времени, чтобы оно шло какъ можно скорѣе. Что-жъ это такое было? Не безсознательное-ли ожиданіе чего-то въ будущемъ? Можетъ быть: но во всякомъ случаѣ совершенно безсознательно, потому что я никогда въ то время о будущемъ не думалъ.

Послѣ диспута я вернулся опять въ деревню, но прожилъ не долго и поѣхалъ за границу, а потомъ на Кавказъ; мнѣ пришло тогда на мысль найти тамъ себѣ какое-нибудь постоянное занятіе, службу, словомъ, уѣхать какъ можно подальше отъ Петербурга, чтобы совсѣмъ забыть о немъ. Къ тому-же, какъ мнѣ казалось, прекрасная, новая и неизвѣстная мнѣ природа должна

была возбудить во мнѣ послѣднее, что еще могло скрасить мою жизнь, а именно — страсть къ живописи.

Эта страсть въ послѣдніе годы совсѣмъ ушла отъ меня, и я тщетно звалъ ее. Сколько разъ принимался за кисти, начиналъ то то, то другое и бросалъ черезъ день: ничего не удавалось.

Я объѣхалъ почти весь Кавказъ, но мѣста себѣ не нашелъ и даже не набросалъ ни одного эскиза.

Кончилось тѣмъ, что, право, самъ не знаю какимъ образомъ, я вернулся-таки опять въ Петербургъ и снова сталъ жить день за днемъ. Здѣсь я ничего не искалъ; но мнѣ предложили мѣсто, и я взялъ его. Это измѣнило мое времяпровожденіе, но ничуть не измѣнило моей внутренней жизни.

Во все это время не было ни одной интересной встрѣчи, этого мало, даже тѣ люди, къ которымъ болѣе всего привыкъ я, которыхъ считалъ своими добрыми знакомыми, гдѣ встрѣчалъ до сихъ поръ всегда самый радушный пріемъ, даже и эти люди стали какъ-то странно ко мнѣ относиться. И я не обманывался въ этомъ: это было дѣйствительно такъ. Я спрашивалъ себя, что-жъ все это значить? Не виноватъ-ли я дѣйствительно въ чемъ-нибудь относительно этихъ людей? Вспоминалъ все, каждый свой поступокъ, каждое слово; но моя память ничего мнѣ не предсказывала. Совѣсть моя была совершенно чиста, я никому не дѣлалъ зла, не выводилъ никакихъ сплетенъ, ужъ даже потому, что съ дѣтства не мало ихъ наслушался и чувствовалъ инстинктивное къ нимъ отвращеніе. Что-же все это значило? А то, что мой другъ Рамзаевъ наконецъ достигъ своей цѣли: очернилъ меня, гдѣ только могъ и какъ только могъ, выдумалъ про меня всевозможныя небылицы и, конечно, все это ему отлично удавалось. *Calomniez, il en restera toujours quelque chose.*

По правдѣ сказать, я даже не особенно изумился и вознегодовалъ, узнавъ, что многіе люди, которые имѣли полную возможность хоть немного узнать меня, такъ скоро измѣнили обо мнѣ свое мнѣніе. Я, конечно, не сталъ оправдываться и просто ушелъ отъ нихъ и не страдалъ отъ этого, такъ какъ они ничего свѣжаго не вносили въ мою жизнь.

Опять я продолжалъ служить, работать, заботиться о сегоднешнемъ днѣ и не думать о завтрашнемъ.

Но, вѣдь, не могло-же такъ продолжаться до безконечности. Тоска начинала меня одолѣвать; я чувствовалъ все яснѣе, все мучительнѣе и мучительнѣе, что долженъ выйти изъ этой невозможной апатичной жизни. Однако, что-же было съ собой дѣлать? Что было придумывать? Въ такихъ обстоятельствахъ,

вѣдь, ничего нельзя придумать, и все придуманное не поведетъ ни къ чему.

Ждать — но чего-же? Только двѣ встрѣчи могли меня встряхнуть, и обѣ эти встрѣчи были для меня невозможны. Лизы не было въ Петербургѣ, она жила съ матерью въ деревнѣ. А Зина... я, конечно, желалъ только одного: съ ней никогда не встрѣчаться. И, конечно, я былъ увѣренъ, что не допущу этой встрѣчи.

Иногда мнѣ начинало безумно хотѣться, чтобы Лиза пріѣхала въ Петербургъ, чтобы я когда-нибудь снова ее увидѣть. Я говорилъ себѣ, что если она отъ меня не отвернется, если еще въ ней не умерло прежнее чувство, то она спасетъ меня, поставитъ на ноги, съ ея помощью я найду интересъ въ жизни и начну все снова. Но какъ-же я съ ней встрѣчусь? Развѣ я имѣю какое-нибудь право надѣяться на то, что она забудетъ старое? О, конечно, забудетъ; конечно, проститъ и опять вернется!..

И вотъ я съ ней встрѣтился. Это было почти ровно черезъ три года послѣ моей послѣдней разлуки съ Зиной. Это было весною, въ Петербургѣ, на улицѣ. Я возвращался домой со службы и замѣтилъ ее только тогда, когда она уже совсѣмъ была предо мною. Она очень мало измѣнилась, только прежній яркій румянецъ ея сдѣлался нѣсколько блѣднѣе, да глаза глубже и серьезнѣе смотрѣли. Она была еще лучше чѣмъ прежде. Этотъ серьезный взглядъ такъ шелъ къ ней.

Я вдрогнулъ, и не зналъ, что мнѣ дѣлать, имѣю-ли я право остановиться или долженъ пройти. Она не дала мнѣ времени рѣшить этотъ вопросъ, она протянула мнѣ руку, и даже въ лицѣ ея я не замѣтилъ особеннаго смущенія; я видѣлъ только, что она откровенно и радостно смотрѣла на меня. Я жалъ ея руку, стараясь выразить въ этомъ пожатіи всю благодарность, которая наполняла меня.

— О, какъ я радъ, что вы не прошли мимо,—невольно прошепталъ я.

Она только качнула слегка головою.

«Пойдемте!» разслышалъ я и пошелъ рядомъ съ нею.

Я не зналъ про нее ничего въ послѣднее время. Можетъ быть, она замужемъ? Только нѣтъ, конечно, нѣтъ, потому что тогда-бы она не смотрѣла на меня такъ свѣтло и радостно, тогда-бы, можетъ быть, она не протянула мнѣ руку. И, дѣйствительно, оказалось, что она не замужемъ. Она сейчасъ-же сказала мнѣ, что недавно пріѣхала съ матерью изъ деревни, пробудетъ здѣсь недѣли три, посоветуются съ докторами, а затѣмъ, вѣроятно, отправятся куда-нибудь за границу, такъ какъ Софья Николаевна очень дурно себя чувствуетъ. Лиза говорила и раз-

сказывала, и спрашивала меня своимъ ровнымъ, спокойнымъ голосомъ, только я замѣтилъ, какъ румянецъ все ярче и ярче вспыхивалъ на щекахъ ея и какъ грудь ея высоко поднималась.

Я поспѣшилъ рассказать ей, что я одинъ въ Петербургѣ, далъ ей понять, что встрѣча съ нею для меня величайшее счастье. Она еще разъ быстро и глубоко взглянула на меня и кончила наконецъ тѣмъ, что просила сегодня-же вечеромъ придти къ нимъ.

Я съ ней простился и возвращался домой съ легкимъ сердцемъ, со счастливымъ сознаніемъ, что теперь мнѣ есть куда идти и что я знаю, зачѣмъ я пойду. Снова мнѣ вспомнились тѣ милые, беззаботные дни, то свѣтлое наше время въ деревнѣ. Я радостно отдавался этимъ воспоминаніямъ и радостно чувствовалъ, какъ съ каждою новою минутой вмѣстѣ съ ними возвращаются и мои прежнія чувства къ Лизѣ, какъ все милѣе и милѣе она мнѣ кажется. Я ужъ сгоралъ нетерпѣніемъ и, вынуть часы, по-дѣтски разсчитывалъ сколько еще времени оставалось мнѣ до возможности къ нимъ отправиться.

XII.

Въ такомъ настроеніи я вернулся въ свою квартиру и, отворивъ дверь кабинета, остановился съ невыразимымъ ужасомъ. Передъ моимъ письменнымъ столомъ сидѣла Зина.

Конечно, ничего безобразнѣе, ничего страшнѣе этого не могло со мной случиться. Ея посѣщеніе ужъ само по себѣ было невозможно и невыносимо, но то, что оно случилось именно въ этотъ день, въ эту самую минуту—могло довести до сумасшествия. Какая страшная судьба меня преслѣдуетъ! И развѣ не судьба это, развѣ это не демонъ, которому суждено разбивать мою жизнь всякій разъ, какъ она начинаетъ казаться мнѣ свѣтлою...

Какъ смѣла она придти ко мнѣ! Какъ смѣетъ она чего-нибудь ждать отъ меня!..

Я взглянулъ на нее съ ненавистью и негодованіемъ.

Она тоже, какъ и Лиза, мало измѣнилась, только, кажется, пополнѣла немного. Она обернулась ко мнѣ, поднялась съ кресла и глядѣла на меня въ смущеніи.

Да, вотъ оно, это вѣчное фатальное лицо! Вотъ она смотритъ на меня своими молчащими глазами. Это тѣ самые глаза, изъ-за которыхъ я вынесъ столько муки, которые столько разъ меня обманывали.

Мое негодованіе и ненависть росли съ каждою секундой. Я, наконецъ, подошелъ къ ней.

— Зачѣмъ вы здѣсь? Неужели вы думали, что имѣете право придти ко мнѣ? Только нѣтъ, конечно, какое вамъ дѣло до этого!.. Нѣтъ, не то... неужели вы думаете, что я могу допустить эту встрѣчу? Что я могу и хочу васъ видѣть?

Она не шевельнулась. Она глядѣла на меня, глаза ея и все лицо были неподвижны, совсѣмъ какъ будто мертвые.

Я вышелъ изъ комнаты, прошелъ въ спальню, заперъ дверь и ждалъ. Я прислушивался, когда она уйдетъ, и ничего не слышалъ. Проходили минуты,—я не знаю сколько прошло времени, только все это тянулось безконечно долго. Наконецъ, я опять вошелъ въ кабинетъ; можетъ быть, я не разслышалъ; можетъ быть, она давно ужъ ушла...

Но нѣтъ, она здѣсь. Она стоитъ все также неподвижно, на томъ-же самомъ мѣстѣ, гдѣ я ее оставилъ! Я готовъ былъ кинуться къ ней и насильно вывести ее изъ комнаты. Я имѣлъ на это право, и это было-бы самое лучшее, что я могъ сдѣлать. Но я опять взглянулъ на нее. Она мнѣ показалась такою странною, такою испуганною и въ то-же время жалкою, что у меня опустились руки.

— Прошу васъ, уйдите, оставьте меня въ покоѣ,—едва слышно прошепталъ я.—Оставьте меня, между нами нѣтъ ничего общаго, намъ незачѣмъ встрѣчаться, уйдите, уйдите!..

Она сдѣлала нѣсколько шаговъ; мнѣ показалось, что она шатается. Она ужъ не глядѣла на меня; ея глаза были опущены.

— Хорошо, я уйду, если ты меня гонишь,—услышалъ я ея голосъ:—я уйду!..

И она опять сдѣлала нѣсколько шаговъ, схватила свою голову и громко зарыдала.

Слезы отчаянья! Но развѣ я не слыхалъ ужъ ихъ, развѣ я могу имъ придавать какое-нибудь значеніе?

А между тѣмъ безумная, отвратительная жалость ужъ закрадась въ меня, и я погубилъ себя этою жалостью.

— Я не гоню васъ, я прошу васъ уйти, потому что между нами нѣтъ ничего общаго и потому, что я никакъ не могу понять, зачѣмъ я вамъ нуженъ? Если я вамъ нуженъ зачѣмъ-нибудь, говорите—я васъ слушаю.

— Нѣтъ, я уйду, уйду!—проговорила она и вдругъ обернулась ко мнѣ, и вдругъ опять взглянула на меня и продолжала:

— Боже мой, какъ будто я сама не понимаю, что не имѣла никакого права приходить къ тебѣ, что ты можешь, что ты долженъ гнать меня. Я четыре раза подходила къ этому дому и все не рѣшалась войти. Гони-же меня, гони, я уйду, я знаю, что мнѣ нечего ждать твоего состраданія, что я его не стою!

Но могъ-ли я послѣ этого прогнать ее?

— Что съ тобой, говори,—спросилъ я у нея, не будучи въ силахъ уничтожить въ себѣ жалости, которая ужъ охватила меня.—Говори, чѣмъ я могу помочь тебѣ? Несчастье съ тобой случилось, что-ли какое?

— Несчастье, конечно, несчастье, иначе не хватило-бы у меня силы придти къ тебѣ... Только это не то несчастье, которое можно назвать однимъ словомъ; какъ видишь я здорова, никто у меня не умеръ, никто меня не обокралъ.

— Такъ, что-же съ тобою? Чего тебѣ нужно?

— Ахъ, мнѣ нужно только, чтобы ты не гналъ меня, чтобы ты не отвертывался отъ меня, чтобы ты протянулъ руку, простилъ-бы меня. Вотъ въ чемъ мое несчастье!

Она глядѣла на меня своимъ умоляющимъ, знакомымъ мнѣ взглядомъ, которымъ три года тому назадъ обманула маму и заставила себѣ вѣрить. Я зналъ этотъ взглядъ, я зналъ настоящую ему цѣну. Теперь я могъ, я долженъ былъ снова вознегодовать и возмутиться, теперь я долженъ былъ встать и указать ей двери. Но я не всталъ; на меня ужъ дохнуло старымъ ядомъ, меня ужъ заколдовало ея прикосновеніе, я опять былъ въ рукахъ ея.

Она пришла, потому что ее пригнало ко мнѣ несчастье, и это несчастье заключается въ томъ, что я далеко отъ нея, что я не простилъ еще ея... Вотъ она станетъ теперь мнѣ рассказывать, какъ она мучилась изъ-за меня всѣ эти три года, и я ей повѣрю, и я буду прощать ей, и въ концѣ-концовъ я снова упаду къ ногамъ ея, и все это будетъ такая глупая ложъ, все это будетъ моя окончательная гибель. Ну, что-жъ, такъ видно нужно: не она пришла ко мнѣ, пришла моя судьба, пришла въ ту самую минуту, когда я думалъ наконецъ уйти отъ судьбы этой, когда мнѣ снова блеснула другая жизнь и другая участь. Судьба зоветъ! и я опять безсиленъ, опять мучаюсь, опять брежу, опять безумно люблю ее.

Я протянулъ ей руку. Она вдругъ вся преобразилась, дѣтская, блаженная улыбка мелькнула на лицѣ ея, она жадно схватила мою руку.

— Скажи мнѣ, скажи одно слово ты меня прощаешь, André? О, какъ ты добръ, какъ ты безконечно добръ!..

Я угадалъ: она сѣла рядомъ со мною и стала рассказывать, и я заранѣе зналъ все, что она мнѣ расскажетъ. И между тѣмъ жадно ловилъ каждое ея слово и вѣрилъ каждому этому слову. Она рассказывала о томъ, какъ терзалась своимъ поступкомъ со мною и какое тяжкое несетъ за это наказаніе.

— Знаешь-ли ты, что все можно было вернуть, что это, можетъ быть, была-бы мочъ послѣдняя, безумная вспышка! Па, тогда,

въ своемъ проклятомъ припадкѣ, въ тотъ послѣдній день я приняла это отвратительное предложеніе. Я могла съ тобой проститься, могла написать записку твоей матери, но потомъ, на слѣдующій день, я одумалась, я пришла въ себя, припадокъ прошелъ, и я побѣждала къ тебѣ: тебя ужъ не было. Если-бы зналъ ты, какое отчаяніе охватило меня! О, какъ я была наказана! Какую жизнь взяла на себя!.. Я обвинчалась... Мы уѣхали тогда за границу, но я ничего не видѣла, ничего не слышала, это была не жизнь, мнѣ все стало тошно, противно. Иногда являлись капризы, я удовлетворяла имъ, но это не принесло мнѣ радости. Потомъ мы переѣхали въ деревню, и вотъ два года безвыѣздно прожили тамъ, и въ эти два года я ждала только одного, только объ одномъ думала, чтобы снова тебя увидеть, чтобы вымолить себѣ прощенье, чтобы ты, вотъ такъ, какъ теперь, протянулъ мнѣ руку. Но я не смѣла надѣяться, что ты простишь меня, и я гнала отъ себя мысль о возможности такого счастья... Андрюша, пойми... все-же, вѣдь, ты одинъ у меня, къ кому-же было мнѣ идти... Вѣдь, только ты одинъ у меня на всемъ свѣтѣ и можешь быть моимъ другомъ, только ты одинъ можешь прощать меня, одинъ меня понимаешь! André, если три года чело-вѣкъ задыхается, вѣдь, простиительно-же ему, наконецъ, желать вздохнуть свободнѣе, выйти на чистый воздухъ... И вотъ въ эти три года я дышу въ первый разъ, дышу потому, что ты со мною! André, голубчикъ, не оставляй меня, не оставляй, а то я совсѣмъ задохнусь!...

Каждое ея новое слово все больше и больше наполняло меня ядомъ; я жадно впивалъ этотъ ядъ и, конечно, снова безумный, снова безсильный, общалъ ей не оставлять ея. Я готовъ былъ опять идти за нею въ самую глубину того мрака, изъ котораго она мнѣ явилась и который вѣчно окружалъ ее.

Когда она ушла отъ меня, я машинально взглянулъ на часы и увидѣлъ, что пришло именно то время, которое назначила мнѣ Лиза. Но, конечно, къ Горицкимъ я не отправился. Теперь я опять считалъ часы и едва дождался возможности снова увидѣться съ Зиной.

XIII.

Покуда она съ мужемъ остановилась въ гостиницѣ, гдѣ они заняли нѣсколько комнатъ.

Уже подходя къ ихъ дверямъ, я понялъ, что мнѣ предстоитъ снова встрѣча со всею компаніей. Я не ошибся. Первое лицо, которое я увидѣлъ, былъ Рамзаевъ, а за нимъ стоялъ Коко и

во весь ротъ мнѣ улыбался; въ эти три года мы почти не видались съ нимъ. Только Александры Александровны съ Мими еще не было, но навѣрное и они скоро явятся.

Генераль встрѣтилъ меня очень радушно, но я невольно отъ него отшатнулся, такъ меня поразила перемѣна, происшедшая съ нимъ.

Я оставилъ его постоянно удачно молодящимся человѣкомъ, а теперь предо мной былъ дряхлый старикъ, совсѣмъ больной, съ трудомъ передвигавшій ноги. Изъ-за его нездоровья они и пріѣхали въ Петербургъ.

«Онъ очень боленъ, онъ вѣрно скоро умретъ»,—подумалъ я, но изъ этой мысли не сдѣлалъ тогда никакого вывода, да и не сообразилъ, какой тутъ можетъ быть для меня выводъ. Вообще, я долженъ замѣтить, что ни тогда, ни долго потомъ этотъ старикъ не представлялся мнѣ препятствіемъ, я о немъ какъ-то совсѣмъ не думалъ.

Я весь вечеръ провелъ у нихъ. Генераль скоро ушелъ къ себѣ въ спальню. Ужасная скука была въ этотъ вечеръ. Мы всѣ перекидывались рѣдкими фразами, больше молчали и посматривали другъ на друга. Меньше всѣхъ говорила Зина.

По нѣкоторымъ ея минамъ и движеніямъ я замѣтилъ, какъ ей хочется, чтобы поскорѣй всѣ ушли, чтобы намъ можно было поговорить на свободѣ. Я понималъ, что и Рамзаевъ съ Коко отлично это замѣтили, и ни за что теперь не уйдутъ. Мы стали пересиживать другъ друга, но мнѣ не удалось ихъ пересидѣть. Было ужъ два часа ночи, когда мы, наконецъ, встали и вышли вмѣстѣ.

— Да, вотъ какія дѣла,—сказалъ Рамзаевъ, когда мы спускались съ лѣстницы:—старикъ-то плохъ, того и жди помретъ, а барыня наша вдовушкой останется.

— Предъ испанкой благородной трое рыцарей стоятъ!—въ отвѣтъ на это замѣчаніе пропѣлъ Коко.

— Parlez pour vous!—къ чему-то произнесъ Рамзаевъ, протягивая на прощанье руку Коко.

Я, конечно, не сказалъ ничего, я только тутъ понялъ, что Коко, несмотря на всю свою глупость, вѣрно выразилъ положеніе дѣла. «Предъ испанкой благородной» дѣйствительно теперь стоятъ три рыцаря, и я одинъ изъ этихъ трехъ рыцарей. Какая мучительная, какая жалкая роль выпадаетъ на мою долю! Но я ужъ не думалъ объ этой роли, я думалъ только о Зинѣ и съ истерическимъ внутреннимъ хохотомъ называлъ ее въ своихъ мысляхъ «благородной испанкой».

Опять для меня потянулись лихорадочные дни. Начиналось лѣто. Я давно долженъ былъ ѣхать въ деревню, но не ѣхалъ. Проводилъ почти все время у Зины, а когда показывался на улицѣ, то меня охватывалъ страхъ, какъ-бы не встрѣтились гдѣ-нибудь Горицкія.

Не знаю, что-бы случилось со мною, если-бы я ихъ увидѣлъ. Я старался забыть мою встрѣчу съ Лизой. Мнѣ и некогда было обо всемъ этомъ думать теперь, но все-же, когда вспоминалось, мнѣ становилось ужасно неловко; я сознавалъ себя такимъ приниженнымъ, я готовъ былъ самъ презирать себя.

Теперь болѣе чѣмъ когда-либо въ жизни чувствовалъ я, что ничего съ собою не подѣлаю и махнулъ на себя рукою. Будь что будетъ, судьба стоитъ надо мною, судьба меня захватила, и я не самъ дѣйствую. Ахъ, только-бы все это кончилось такъ или иначе, кончилось-бы скорѣе!

И что-же давали мнѣ эти дни, къ чему они приводили? Ровно ни къ чему! Я почти не имѣлъ возможности говорить наединѣ съ Зиной, а когда являлась эта возможность, мнѣ становилось страшно, и я избѣгалъ всякаго разговора.

Зина затормошила всю компанію и меня въ томъ числѣ: нужно было найти удобную квартиру, такъ какъ генералъ, несмотря на совѣты докторовъ и даже ихъ настоятельныя требованія, вдругъ заупрямился, ни за что не хотѣлъ ѣхать за границу, а положилъ остаться въ Петербургѣ. Это былъ какой-то капризъ больного дряхлаго старика: «Не хочу за границу, не хочу на дачу, хочу здѣсь!».

Ему говорили, что нельзя лѣтомъ жить въ Петербургѣ, особенно въ его положеніи, что здѣсь и здоровый заболѣваетъ; но онъ ничего не хотѣлъ и слышать.

Наконецъ квартира была найдена, совсѣмъ готовая, прекрасно меблированная. Генералъ отправился, осмотрѣлъ, остался очень доволенъ, и на слѣдующій день они переѣхали. Снова все пошло по старому, какъ было три года назадъ, передъ свадьбой Зины. Разница была только въ генералѣ: тогда онъ былъ раздушеннымъ любезнымъ хозяиномъ, теперь—капризнымъ старикомъ, котораго компанія должна была развлекать.

Первыя двѣ - три недѣли послѣ переѣзда на квартиру онъ чувствовалъ себя бодрѣ, онъ даже снялъ мѣховый халатъ. Опять его порѣдѣвшіе сѣдые волосы были хитро зачесаны, и отъ усовъ пахло англійскими духами. Опять Александра Александровна и Мими чуть-ли не каждый день пріѣзжали изъ Петергофа съ дачи, чтобъ играть съ нимъ въ карты. Рамзаевъ, Коко и я состояли при Зинѣ.

И вотъ тутъ-то шла потайная жизнь, велась интрига. Теперь

мнѣ все представляется яснымъ, какъ оно тогда было. Въ первое время Коко и Рамзаевъ оказались въ ссорѣ, но затѣмъ, и внезапно, между ними произошло полное примиреніе. Вѣроятно было какое-нибудь таинственное совѣщаніе, на которомъ они рѣшили дѣйствовать заодно противъ меня.

Рамзаевъ растолковалъ Коко, что относительно Зины я одинъ только опасенъ, а затѣмъ, если они успѣютъ меня уничтожить, то вдвоемъ будетъ уже свободнѣе: предъ испанкой благородной будутъ стоять только два рыцаря. Можетъ быть, Рамзаевъ дошелъ и до того, что предложилъ Коко даже подѣлать благородную испанку, и, конечно, Коко ничего не имѣлъ противъ этого раздѣла. Его чувства къ Зинѣ и притязанія были такого сорта, что допускали возможность всякаго соглашенія съ человекомъ, подобнымъ Рамзаеву. Про меня-же онъ зналъ, что со мной невозможны ужъ никакія соглашенія, и что это дѣло со-всѣмъ другое.

Но уничтожить меня имъ, однако, не удалось, и весь этотъ союзъ на первое время кончился погибелью Коко. Ему очевидно было поручено всячески чернить меня въ глазахъ Зины. Онъ это и началъ исполнять съ необыкновенною добросовѣстностью. Въ теченіе одной недѣли Зина пять разъ передавала мнѣ самыя невѣроятныя и грязныя исторіи на мой счетъ, рассказанныя ей балбесомъ Коко. Наконецъ это вывело меня изъ терпѣнія.

— Если хочешь и можешь его слушать,—сказалъ, я ей:—такъ слушай, даже вѣрь пожалуй; но мнѣ, сдѣлай милость, не передавай ничего.

— Конечно, я ему не вѣрю и дѣйствительно пора прекратить это,—отвѣтила Зина.—Я скажу ему, чтобъ онъ не смѣлъ больше о тебѣ заикаться.

Она вѣрно такъ и сдѣлала, потому что Коко съ этого дня сталъ какъ-то особенно коситься, встрѣчаясь со мною. Тогда Рамзаевъ придумалъ новую мѣру. Видя что со стороны Зины ничего не подѣлаешь, онъ задумалъ попробовать генерала. Онъ рассчитывалъ на мое самолюбіе, онъ рассчитывалъ, что если генералъ сдѣлаетъ мнѣ сцену, то я, пожалуй, несмотря даже на Зину уѣду въ деревню, а Зину въ это время онъ успѣетъ забрать въ руки. Но все-же и тутъ ему нужно было дѣйствовать такъ, чтобы самому остаться въ сторонѣ,—нужно было опять выставить на первый планъ Коко. На это онъ и рѣшился; только обстоятельства нѣсколько замедлили исполненіе его плана.

XIV.

Генералу вдругъ стало хуже, и такъ стало ему худо, что былъ созванъ консилиумъ чуть-ли не изо всѣхъ бывшихъ тогда на лицо въ Петербургѣ болѣе или менѣе извѣстныхъ докторовъ. Доктора рѣшили, что дѣло весьма плохо, что непременно нужно уѣзжать изъ Петербурга, но во всякомъ случаѣ не теперь, такъ какъ въ такомъ состояніи больного перевозить невозможно. «Если поправится—сейчасъ уѣзжайте, но врядъ-ли поправится». Таково было послѣднее рѣшеніе консилиума.

И вся компанія на время оставила свои планы и съ лихорадочнымъ нетерпѣніемъ ждала что будетъ. Это ожиданіе длилось почти три недѣли. Жара стояла страшная, а генералъ лежалъ въ мѣховомъ халатѣ, сверхъ него еще покрытый толстымъ стеганымъ одѣяломъ, и стоналъ.

Надъ домомъ ужъ носилась та атмосфера, которая обыкновенно является въ квартирѣ умирающаго: по всѣмъ комнатамъ царствовалъ беспорядокъ; прислугѣ было приказано снять сапоги и ходить въ туфляхъ. Звонки посѣтителей раздавались едва слышно. Никто не говорилъ громко, всѣ таинственно шептались.

Уже появились нѣкоторыя фигуры, присутствіе которыхъ почему-то неизбежно въ такихъ обстоятельствахъ: явилась сидѣлка, съ совершенно идиотскимъ и въ то-же время какимъ-то таинственнымъ лицомъ, которая, очевидно захлебываясь отъ блаженства, священнодѣйствовала. Явился фельдшеръ, тоже придавшій себѣ необыкновенное значеніе, громко кашлявшій и мычавшій, тогда какъ всѣ остальные шептались. И каждый разъ, кашляя и мыча, онъ обводилъ присутствующихъ такимъ взглядомъ, въ которомъ ясно читалось: «вотъ вы всѣ шепчетесь, а я кашляю и мычу. А почему я кашляю и мычу? Потому что я знаю, когда можно кашлять и мычать, а вы не знаете. И попробуйте вы замычать, такъ я сейчасъ вамъ запрещу это, потому что имѣю на то право».

Явился, наконецъ, и мужъ Александры Александровны, пріѣхавшій изъ деревни. Онъ почему-то оказался необходимымъ въ домѣ и даже совсѣмъ сюда переселился. Этотъ господинъ ужъ положительно блаженствовалъ, даже больше сидѣлки и фельдшера. Онъ направилъ свою дѣятельность на кухню и столовую. Подъ предлогомъ, что Зинѣ теперь вмѣшиваться въ хозяйство невозможно, онъ заказывалъ обѣды и ежедневно обѣдался. Если кому-нибудь нужда была до него, нельзя было его искать ни въ комнатѣ больного, ни въ гостиной. Нужно было идти

прямо въ буфетную, тамъ онъ пребывалъ неизмѣнно. Глядя на него, я только удивлялся, какимъ это образомъ человѣкъ можетъ постоянно ѣсть или пить безо всякаго перерыва и оставаться такимъ здоровымъ и глядѣть на всѣхъ такъ лучезарно.

Александра Александровна съ Мими исчезли на это время. Они показывались только изрѣдка и то все на минуту. Они вѣрно нашли себѣ лучшее времяпровожденіе и къ тому-же вовсе не желали встрѣчаться съ «мужемъ», къ которому оба чувствовали отвращеніе.

Рамзаевъ искусно разыгралъ роль преданнаго друга и необходимого человѣка. Отъ него теперь такъ и дышало «теплымъ участіемъ». Онъ пріѣзжалъ прямо со службы, таинственно и тихо освѣдомлялся о здоровьѣ больного, и если ему говорили, что немного полегче, онъ на цыпочкахъ входилъ въ спальню, подходилъ къ постели генерала, неслышно присаживался возлѣ него и не успокоивался до тѣхъ поръ, пока тотъ не обратитъ на него вниманія и не протянетъ ему руку. Тогда онъ вставалъ и объявлялъ генералу, что радъ-бы посидѣть съ нимъ, но нужно спѣшить исполнить кой-какія порученія Зины. И дѣйствительно спѣшилъ исполнять ихъ. Каждымъ своимъ движеніемъ, каждымъ взглядомъ онъ говорилъ Зинѣ: «ну вотъ и судите между нами, кто изъ насъ полезнѣе, и кто больше вамъ преданъ! Посмотрите кругомъ, что дѣлаютъ всѣ эти ваши друзья? Ничего, только торчатъ. А я себя забываю, забываю удовольствіе быть съ вами, забочусь только о томъ какъ-бы услужить вамъ, какъ бы принести вамъ ощутительную и осязательную пользу».

Зина благосклонно пользовалась его «теплымъ участіемъ» и ежедневно давала ему столько порученій, что воображаю, какъ онъ бѣсился, исполняя ихъ.

Коко тоже былъ на своемъ посту. Онъ неотлучно, шагъ за шагомъ, шпионилъ за мною.

А Зина? Я всѣми силами наблюдалъ за нею и не могъ не замѣтить въ ней большую перемѣну. Она видимо оживилась и очень волновалась. Она почти цѣлый день нигдѣ не находила себѣ мѣста: то зачѣмъ-то запрется у себя въ комнатѣ, просидитъ запершись съ часъ, выйдетъ растерянная, съ горящими глазами, спѣшитъ въ комнату мужа, подойдетъ къ его постели, что-то говоритъ ему, спрашиваетъ, очевидно, не даетъ себѣ отчета что говорить и что спрашиваетъ, слушаетъ его разсѣянно, глядитъ на него какъ-то пытливо, странно, соображаетъ что-то.

Иногда-же цѣлый день не заглянетъ въ комнату больного, уходитъ подальше, чтобы не слышать его стонъ. То вдругъ засядетъ у постели и сидитъ по цѣлымъ часамъ, отстраняетъ

сидѣлку, сама подаетъ лѣкарство, поправляетъ подушки, одѣяло, всячески ухаживаетъ, и въ то-же время глаза ея такъ безжизненно, такъ страшно на него смотрятъ.

Со мной она почти не говорила, а, между тѣмъ, настоятельно требовала моего присутствія. Я присутствовалъ, я машинально каждый день отправлялся къ нимъ, машинально ходилъ на цыпочкахъ, шептался.

Такъ проходили дни; генералу не было не лучше, не хуже.

— Господи! Когда-же все это кончится!—нѣсколько разъ шепнула мнѣ Зина.

Наконецъ, это кончилось. Еще наканунѣ я оставилъ генерала въ очень плохомъ состояніи: онъ стоналъ и метался на постели. Возвратился я къ нимъ на другой день и сразу, въ самой передней, меня поразила переменѣ. Трудно даже сказать, въ чемъ она заключалась. Все, казалось, совершается точно такъ-же какъ прежде: лакеи точно такъ-же ходятъ на цыпочкахъ. Мужъ Александры Александровны такъ-же торчитъ въ буфетной, хлопаетъ рюмку за рюмкой и заѣдаетъ икрой и сардинками. Сидѣлка такъ-же вылетаетъ, какъ помѣшанная, изъ комнаты больного и что-то хлопочетъ, что-то приказываетъ горничной, растолковываетъ ей... А между тѣмъ во всемъ этомъ уже что-то совсѣмъ другое.

— Ну, что, какъ?—спросилъ я сидѣлку.

— Лучше, гораздо лучше,—отвѣтила она.—И ужъ такъ это неожиданно, что и сказать нельзя. Еще вчера, сами изволили видѣть, совсѣмъ плохо было, и докторъ вотъ тоже качалъ головой—не надѣялся, значить. А сегодня заснула я часамъ къ пяти утра, такъ только, вздремнула немножко... Очнулась и слышу, говоритъ это онъ мнѣ: «Дайте, пожалуйста, стаканъ съ лимонадомъ». Такъ меня всю и передернуло, слышу, ушамъ своимъ не вѣрю: ну совсѣмъ какъ есть не тотъ голосъ, здоровый человѣкъ это сказалъ мнѣ, да и баста!.. Смотрю—сидитъ это онъ на постели бодро такъ, и лицо у него другое. У меня и руки опустились... Вотъ, батюшка, чѣмъ кончилось!

— А что-жъ, вамъ-бы хотѣлось, чтобъ онъ умеръ сегодня?—невольно улыбаясь на ея отчаянную безнадежную мину, замѣтилъ я.

— Ахъ, что вы, батюшка, Господь съ вами, какъ вамъ не грѣхъ! Слава Богу, говорю, слава Богу, только неожиданно больно...

И она откатилась отъ меня въ другую комнату.

Я невольно посмотрѣлъ ей вслѣдъ и даже на минуту заинтере-

ресовался ею. Она не на шутку была въ отчаяніи, что больной ея поправился и что все это кончилось совсѣмъ не такъ, какъ она ожидала.

Я очнулся только услышавъ голосъ Зины. Она стояла передо мною блѣдная и растерянная.

— Слышалъ,—шептала она, поднимая на меня свои безжизненные глаза:—ему лучше! Онъ видимо поправляется... Доктора объявили что совершился неожиданный кризисъ, рѣдкій примѣръ, и что теперь онъ можетъ очень быстро поправиться и жить еще долго.

— Ну, такъ что-жъ? Это очень хорошо!—проговорилъ я совершенно искренно.

Зина вздрогнула и какъ-то отшатнулась отъ меня.

— André, что-жъ это? Притворяешься ты что-ли? Неужели ты не понимаешь, что это невозможно? Неужели ты не понимаешь, что онъ не долженъ жить?.. Тутъ кто-нибудь: или онъ, или я! Я ужъ изъ силъ выбилась и не могу больше!..

Она проговорила все это задыхаясь. Въ лицѣ ея выражалось и отчаяніе, и ненависть.

Мнѣ стало вдругъ невыносимо душно. Я взглянулъ на нее еще разъ и не нашелъ въ ней ровно ничего, что всегда такъ влекло меня къ ней и что отдавало меня въ ея руки.

Я увидѣлъ въ ней существо холодное, загрязненное, отъ меня далекое, не имѣющее ничего общаго съ тѣмъ, что въ ней должно было быть и чего такъ безумно, такъ отчаянно искалъ я.

Вся мучительная любовь моя мгновенно исчезла. Я смотрѣлъ на нее какъ на чужую, незнакомую мнѣ женщину и, не сказавъ ей ни слова, ушелъ отъ нея. Долго, весь этотъ день и весь этотъ вечеръ, я не хотѣлъ къ ней возвращаться.

XV.

О, еслибъ я воспользовался этими минутами и уѣхалъ въ деревню! Только нѣтъ, зачѣмъ? Все равно не привело-бы ни къ чему. Все равно вернулся-бы я съ дороги... Еслибъ даже и совсѣмъ уѣхалъ, не спасъ-бы ни ее, ни себя.

На другой день я опять былъ у нихъ и опять ничто меня въ ней не возмущало.

Генераль сталъ замѣтно поправляться. Черезъ три дня онъ уже вышелъ изъ спальни, опять снялъ свой мѣховый халатъ и надушилъ усы.

Онъ не только не стоналъ, но съ радостною улыбкой объ-

являлъ чуть не каждую минуту, что ему несравненно лучше, что невыносимыхъ прежнихъ болей и въ поминѣ нѣтъ, какъ будто никогда ихъ и не бывало. Онъ, заранѣе облизываясь, толковалъ о томъ, что вотъ сегодня докторъ разрѣшилъ ему съѣсть кусокъ кроваваго бифштекса и пару яицъ въ смятку.

Рамзаевъ, и въ особенности Коко, вертѣлись вокругъ него и, очевидно, что-то замышляли.

Скорѣ случай помогъ мнѣ узнать, что именно они замышляли. Какъ-то я довольно рано вышелъ отъ Зины. У меня сильно разболѣлась голова, я сдѣлалъ большую прогулку, проголодался и зашелъ поужинать къ Палкину.

Народу было мало. Я прошелъ въ дальнюю, совсѣмъ пустую комнату; спросилъ ужинъ и усѣлся въ уголкѣ на диванѣ. Я ужъ кончилъ мою котлету, когда замѣтилъ, что въ комнату кто-то входитъ, оглянулся—вижу Рамзаевъ и Коко.

Они мнѣ до такой степени надоѣли, мнѣ такъ было тошно снова толковать съ ними. Къ тому же пришла внезапная мысль послушать, о чемъ они говорить будутъ, если меня не замѣтятъ.

Я не шевельнусь, а когда услышу, что они про меня говорятъ, а они непременно будутъ говорить, я встану и хоть немного сконфужу ихъ: все-же какое-нибудь развлеченіе.

Я такъ и сдѣлалъ.

Я сидѣлъ къ нимъ спиной въ углу, а тутъ еще и нарочно скрылся за высокою спинкою дивана.

Они усѣлись въ двухъ шагахъ отъ меня и не замѣтили моего присутствія.

Разговоръ обо мнѣ начался слишкомъ скоро, то-есть съ первыхъ-же словъ.

— Ты не знаешь,—спросилъ Рамзаевъ:—куда это сегодня нашъ гусь скрылся?

— Чортъ его знаетъ, не знаю!—пробурчалъ Коко, наливая себѣ рюмку водки и принимаясь за закуску.—Я объ немъ и думать-то теперь не хочу, такъ онъ мнѣ опротивѣлъ. Ужъ я не знаю, что онъ такое говоритъ Зинаидѣ, только чуть не отворачиваться отъ меня стала послѣднее время.

— Да, этому надо положить предѣлы!—замѣтилъ Рамзаевъ.—Жалѣя ее, нужно положить предѣлы, потому что такъ добромъ не кончится. Теперь старикъ пришелъ въ себя, умирать еще не хочетъ, теперь можно его настроить и нужно не терять времени. Вѣдь, Богъ ихъ тамъ знаетъ, можетъ у нихъ и рѣшено все... Ты замѣтилъ, какъ она странно возбуждена все это время? Вотъ того и жду, что исчезнетъ съ нимъ куда-нибудь. Ну, не надош! Перегрызутся чрезъ недѣлю, другую. Да дѣло-то ужъ

будетъ испорчено! Непремѣнно ставика нужно предупредить, ее спасти надо. Она фантазерка, безумная, она вотъ убѣжить, а старикъ возьметъ да и измѣнитъ свою духовную! Вотъ тогда не причемъ она и останется! Нѣтъ, этого допустить невозможно! Нужно ему открыть глаза... но только понимаешь какъ? Ее не замѣшивать, она пусть въ сторонѣ. Это онъ все ее смущаетъ и развращаетъ.

— А вотъ я возьму да завтра и переговорю съ генераломъ!— рѣшительно крикнулъ Коко, стукнувъ ножомъ объ тарелку.

— Что-жъ ты ему скажешь?

— Ну, ужъ это мое дѣло, знаю, что скажу.

— Да нѣтъ, не «знаю что скажу», а ты говори обстоятельно. Ты Расскажи, какой человѣкъ этотъ идеальный André! Расскажи, что это самый что ни на есть отпѣтый развратникъ, какіе только у насъ въ Петербургѣ бывають. Расскажи, понимаешь, будто онъ ждетъ не дождется, какъ-бы забрать Зинаиду въ руки. и ее, и состоянье все! Скажи, что она смотритъ на него какъ на друга, родственника, что она вотъ по неопытности только къ нему на квартиру ѣздитъ, а онъ и радъ... Что онъ хвастается этимъ, портитъ ея репутацію, надъ старикомъ издѣвается. Понимаешь—говори: ужъ по городу сплетни скандальныя ходятъ... вотъ въ какомъ тонѣ ты все Расскажи!

Я всталъ съ дивана и тихо подошелъ къ этимъ двумъ друзьямъ моимъ.

Они взглянули на меня, вздрогнули и какъ-то съежились.

— Ну что-жъ, продолжайте,—сказалъ я:—только нѣтъ, покончите! Еслибъ этотъ вашъ разговоръ былъ для меня неожиданность, я, можетъ быть, вышелъ-бы изъ себя, но вы видите—я спокоенъ, и спокоенъ именно потому, что заранѣе зналъ все, что вы можете говорить и что скажете...

Коко все сидѣлъ смущенный, но Рамзаевъ ужъ оправился и нахальнѣйшимъ образомъ взглянулъ на меня.

— А! подслушивать! Это тоже къ твоему идеальному благородству относится!—прошипѣлъ онъ.

Я едва удержался, чтобы не плюнуть ему въ лицо.

— Да ужъ одно то, что я слышалъ, доказываетъ, что я имѣлъ право васъ подслушивать. Васъ, господинъ Коко, я буду просить не приводить въ исполненіе вашего плана ради васъ-же самихъ, потому что все это можетъ очень плохо для васъ кончиться. А что касается тебя, другъ моего дѣтства, то тебѣ и совѣта никакого подать не могу...

Я взглянулъ на него, я увидѣлъ этотъ его бравирующий, вызывающій взглядъ, я мгновенно вспомнилъ все, всѣ наши отношенія, все наше дѣтство. Кровь ударила мнѣ въ голову. Я вспом-

нилъ мою мать, все, чѣмъ онъ былъ ей обязанъ, но въ то-же время я не могъ вспомнить того, о чемъ она меня просила. Мнѣ безумно захотѣлось смять эту нахальную физиономію.

Я задыхался.

— Тебѣ я скажу только одно: не смѣй нигдѣ подходить ко мнѣ, не смѣй сталкиваться со мною, потому что иначе при всѣхъ я назову тебя подлецомъ и воромъ! И докажу неопровержимо, что ты подлецъ и воръ!

Онъ задрожалъ, и вдругъ глаза его опустились.

Но я ужъ былъ внѣ себя, я ужъ не помнилъ что дѣлаю.

— Воръ! Воръ!—повторялъ я подъ натискомъ старыхъ воспоминаній. — Ну, отвѣчай-же мнѣ какъ подобаешь отвѣчать, если въ глаза тебя называютъ воромъ, а ты не украдъ ничего! Отвѣчай!..

Онъ ничего не отвѣтилъ. Онъ опустился на стулъ, онъ ждалъ, что я ударю его. Я, наконецъ, пришелъ въ себя и быстро вышелъ изъ комнаты.

Эта безобразная сцена меня сильно разстроила, и я долго находился подъ ея впечатлѣніемъ.

Я давно уже зналъ и понималъ съ какими людьми приходится мнѣ постоянно сталкиваться, какъ только въ жизнь мою начинается входить Зина, какіе люди ее окружаютъ. Но есть-же всему предѣлы!..

Я сознавалъ, что нужно, наконецъ, порвать это, что я не имѣю никакого права до такой степени унижаться. Да и сама она, разслышавъ я внутри себя разсуждающій голосъ, что она такое? Что вышло изъ того, что я согласился простить ее? Отъ чего я ее спасаю? За чѣмъ я ей? Во все это время, какъ и прежде, вѣдь, ничего не выяснилось. Какъ и прежде, я увидѣлъ въ ней просвѣтъ только въ минуту свиданія, а затѣмъ она была все тою-же, неизмѣнною!

И вотъ теперь, теперь въ ней видно одно только отчаяніе и негодованіе, оттого что мужъ ея выздоровѣлъ. И она даже ничѣмъ не объясняетъ мнѣ этого отчаянія и негодованія. Изъ-за меня что-ли она отчаявается? Она ни разу не поговорила по душѣ со мною. Она снова что-то тянетъ. Нужно покончить, нужно непременно! Но въ то-же время я отлично зналъ, что ничего не покончу.

Мнѣ только невыносимы были эти минуты отрезвленія. Я съ мученіемъ вслушивался въ разсуждающій голосъ, потому что въ эти минуты сознавалъ все свое позорное безсиліе.

Во всякомъ случаѣ, по крайней мѣрѣ этихъ отвратительныхъ

людишекъ нужно удалить оттуда... или пусть они сдѣлаютъ тамъ свое дѣло!

Я даже сталъ чувствовать, что буду радъ, если они успѣютъ оклеветать меня, если генералъ прямо объявитъ мнѣ, что не желаетъ моего присутствія. Вѣдь, только этими внѣшними препятствіями и можно меня заставить не ходить къ нимъ. О, какая слабостъ!

Во весь слѣдующій день я, однако, туда не пошелъ. Я именно ждалъ, я давалъ возможность Рамзаеву и Коко исполнить ихъ замыселъ.

И еще день прошелъ, а я все не трогался. Вечеромъ я получилъ записку отъ Зины. Она зоветъ, пишетъ, что ей необходимо меня видѣть. Я пошелъ.

Она встрѣтила меня одна, и первая ея слова были:

— Что такое случилось между тобою и Коко?

— Ты не такъ спросила,—отвѣтилъ я.—Ты должна была спросить, что случилось между мною и Рамзаевымъ.

Я подробно разсказалъ ей всю безобразную сцену у Палкина.

— Ну да, я такъ все это и знала! Зачѣмъ-же ты сейчасъ не пріѣхалъ, я-бы предупредила...

— А, такъ значить было что предупреждать. Оттого-то я и не пріѣхалъ. Я далъ имъ полную волю. Ну, что-же вышло? Говори. Мужъ твой намѣренъ отказать мнѣ отъ дома?

— Да!—Она улыбнулась.—Я желала-бы посмотрѣть, какъ это онъ будетъ отказывать моимъ друзьямъ! Нѣтъ, совсѣмъ не то! Коко дѣйствительно явился, говорилъ съ мужемъ и на тебя наговаривалъ. Но мужъ поступилъ весьма благоразумно и даже такъ, что я отъ него этого и не ожидала. Онъ призвалъ меня и заставилъ Коко при мнѣ повторить все. Тотъ смутился, сталъ краснѣть, заикаться, но все-же повторилъ. Ну, а когда онъ повторилъ, я, конечно, попросила его избавить меня навсегда отъ своего присутствія. Слѣдовательно, ты можешь быть 'покоенъ': его никогда ужъ у насъ не увидишь.

— Да, это хорошо,—сказалъ я.— Но дѣло не въ немъ, онъ просто дуракъ и бессмысленное орудіе въ рукахъ другаго. А о другомъ ты пока еще не сказала ничего.

Она не сразу мнѣ отвѣтила. Она какъ-то странно опустила глаза.

— Съ Рамзаевымъ,—наконецъ, проговорила она:—мы еще не видѣлись, и тутъ, я думаю, будетъ очень трудно поладить съ мужемъ: онъ слишкомъ высокаго о немъ мнѣнія.

Въ это время въ комнату вошелъ генералъ.

Онъ прямо подошелъ ко мнѣ съ протянутыми руками, обнялъ меня и приложилъ къ моей щекѣ свои колючіе, надушенные усы.

— Очень радъ васъ видѣть, голубчикъ,—заговорилъ онъ медленно, все еще слабымъ голосомъ.—Я нарочно просилъ Зиночку послать за вами. Она навѣрно ужъ вамъ все рассказала. Да, не думалъ я, что у васъ есть враги такіе! Но только они безсильны, успокойтесь. Мы васъ знаемъ и, повѣрьте, я очень цѣню вашу дружбу къ моей женѣ. Это старая дружба, съ дѣтства, такая дружба не измѣняется! Да и характеръ вашъ я хорошо понялъ, такъ ужъ такой скверный мальчишка не можетъ измѣнить моего мнѣнія о васъ. Будьте покойны: во мнѣ вы имѣете друга. Я вамъ вѣрю.

Онъ крѣпко сжалъ мою руку. Мнѣ вдругъ сдѣлалось тяжело и неловко.

Еще такъ не давно, еще сейчасъ, да и всегда этотъ старикъ представлялся мнѣ какъ-бы не существующимъ, я никогда не обращалъ на него никакого вниманія. Но тутъ я понялъ, что онъ существуетъ, этого мало, что онъ очень много значитъ. Мнѣ захотѣлось, чтобъ онъ говорилъ мнѣ теперь совсѣмъ другое. Мнѣ захотѣлось, чтобъ онъ вѣрилъ всему, чтобы вѣрилъ всѣмъ розказнямъ Коко и компаніи, считалъ-бы меня своимъ врагомъ, человѣкомъ, жаждущимъ похитить его семейное счастье.

Мнѣ захотѣлось даже, чтобъ онъ сейчасъ указалъ мнѣ на двери! Тогда-бы я могъ прямо взглянуть ему въ глаза, тогда-бы свалилась съ плечъ моихъ та тяжесть, которая, очевидно, давно ужъ лежитъ на нихъ, но которую я только что сейчасъ замѣтилъ. Но онъ все повторялъ: «Будьте спокойны, я вамъ вѣрю!»

— Да,—продолжалъ онъ, усаживаясь въ кресло:—право, въ деревнѣ жилось лучше. Я ужъ не говорю о своей болѣзни, а о томъ, что тамъ, гдѣ нѣтъ людей, всегда лучше, право такъ! Тутъ-же... вотъ, думаешь, окруженъ друзьями преданными, со всѣми ласковъ, ко всѣмъ расположеніе показываешь, а вонъ и найдется такой вертопрахъ, придетъ,—и такъ ужъ тебѣ плохо, чуть не умираешь,—а онъ придетъ да и старается всячески разбередить тебя. Хорошо, что другаго болвана не видно, Мими. Это, право, кончится тѣмъ, что не велю никого пускать. И безъ нихъ проживемъ en petit comité съ вами, да вотъ съ Рамзаевымъ...

— Такъ вы Рамзаева считаете своимъ другомъ, Алексѣй Петровичъ?—проговорилъ я.

— Да, хорошій онъ человѣкъ, хорошій!—не замѣтивъ тона моего вопроса, отвѣтилъ генералъ.—Въ его расположеніе я вѣрю, да и вамъ онъ другъ старый.

— Я не стану разубѣждать васъ, хоть, можетъ быть, и слѣдовало-бы,—только объ одномъ прошу: не считайте его моимъ старымъ другомъ: это самый старый врагъ мой!

Генераль изумленно поднялъ на меня глаза и покачалъ головой.

— Нѣтъ, нѣтъ, Андрей Николаевичъ, я не знаю, что такое произошло между вами; можетъ быть, тотъ-же скверный мальчишка и васъ хотѣлъ поссорить; видно у него нѣтъ другого занятія въ жизни, какъ строить каверзы; только, вѣдь, и вамъ тоже не слѣдъ всему вѣрить и поддаваться такимъ глупымъ людямъ... Нѣтъ! Рамзаева не обижайте. Я за него въ такомъ случаѣ заступникъ. Нѣтъ, это хорошій человѣкъ, дай Богъ побольше такихъ! Я ужъ его знаю. Отъ него никогда дурного слова не слышалъ, а ужъ въ это-то все время, въ болѣзнь мою, какой намъ былъ всѣмъ помощникъ! Нѣтъ, это золотой человѣкъ!

Конечно, я могъ кое-что сдѣлать, я могъ рассказать все серьезно, съ самаго начала и, можетъ быть, моимъ рассказомъ заставилъ-бы генерала измѣнить мнѣніе о его другѣ. Но мнѣ вдругъ стало все это необыкновенно противно. «Да Богъ съ ними, пускай дѣлаютъ что хотятъ!» А тутъ еще и Зина заговорила, и я съ изумленіемъ слушалъ ее. Она нашла нужнымъ стать на сторону мужа и заступаться за Рамзаева.

— Да, это правда, онъ одинъ изъ самыхъ любезныхъ людей, какихъ только я знаю, и, дѣйствительно, онъ оказалъ намъ большія услуги во все время болѣзни Алексѣя Петровича. Если-бы не было его, я просто не знала-бы, что мнѣ дѣлать. Не будь къ нему строгъ, André, даже если и есть какія-нибудь недоразумѣнія между вами, все можно покончить мирно. Къ тому-же я, вѣдь, тебя знаю, ты все черезчуръ принимаешь къ сердцу. Нужно быть хладнокровнѣе.

— Да, да, нужно быть хладнокровнѣе!—совсѣмъ какъ будто машинально повторялъ генераль и, медленно поднявшись съ кресла, вышелъ изъ комнаты.

XVI.

Я взглянулъ на Зину, но ровно ничего не прочелъ въ лицѣ ея.

— Скажи мнѣ, зачѣмъ тебѣ нуженъ Рамзаевъ?—началъ я.— Какъ сумѣла ты уничтожить Коко, такъ, конечно, сумѣла-бы уничтожить и этого, если-бы захотѣла. Но ты не хочешь! Зачѣмъ онъ тебѣ?

Она слегка пожала плечами и едва замѣтно улыбнулась.

— Да я, право, ничего противъ него не имѣю! До сихъ поръ я не видѣла отъ него ничего дурного.

— Ну, такъ въ такомъ случаѣ выбирай между имъ и мною,—сказалъ я.

— Что? Что?—перебила она.—Выбирать между имъ и тобой? Оставь эти фразы; между тобою и имъ нѣтъ ничего общаго, слѣдовательно, и выбирать нечего. Тебѣ его нечего бояться; онъ мнѣ не близкій человѣкъ, не другъ; онъ мнѣ просто нуженъ, потому что ты знаешь какъ я лѣнива, какъ я непрактична, какъ я ничего не умѣю устраивать. Если онъ когда-нибудь осмѣлится мнѣ говорить про тебя дурное, тогда другое дѣло, сумѣю ему отвѣтить какъ слѣдуетъ, сумѣю ему показать настоящее его мѣсто. Но пока этого ничего нѣтъ, я его терплю по его удобствамъ. Я на него смотрю, какъ на моего управляющаго! Все ему поручаю. Онъ теперь ведетъ всѣ мои дѣла. Гдѣ я найду такого человѣка?

— Онъ ведетъ твои дѣла изъ безкорыстной дружбы, ты думаешь?

— Нѣтъ, я этого не думаю. Очень можетъ быть, что онъ расчитывалъ превратиться въ оффиціального нашего управителя.

— Да, для того, чтобы васъ обманывать и въ концѣ-концовъ обобрать!

— Я не думала, André, что ты сталъ такъ рѣзокъ. Ну, хорошо, ну, положимъ, хотя-бы даже и это; такъ, вѣдь, еще вопросъ: удастся ли ему? А пока, пока я поручаю ему только такія дѣла, гдѣ онъ не можетъ ни обманывать меня, ни обирать. Успокойся-же пожалуйста! Не повторяй мнѣ эту смѣшную фразу о выборѣ между вами.

— Но я серьезно тебѣ повторяю,—сказалъ я:—что вовсе не желаю встрѣчаться съ нимъ.

— Вотъ это дѣло другое! Да, вѣдь, день великъ, онъ можетъ здѣсь бывать и не встрѣчаться съ тобою. Я ужъ буду такъ устраивагъ, чтобы не было вашихъ встрѣчъ. Только одно: ты долженъ мнѣ дать честное слово не оскорблять его предъ моимъ мужемъ. Нужно, чтобы все это было подальше отъ Александра Петровича теперь всякая малость его раздражаетъ и чрезвычайно вредно на него дѣйствуетъ...

— Давно-ли ты стала такъ заботиться о его здоровьѣ!—невольно сказалъ я, взглянувъ ей въ глаза.

Но она нисколько не смутилась.

— Ты меня въ самомъ дѣлѣ, кажется, начинаешь за убійцу принимать?—проговорила она, какъ-то странно усмѣхнувшись.— Но, во всякомъ случаѣ, ты долженъ мнѣ дать честное слово не дѣлать ему сценъ. Даешь? Ну, пожалуйста, прошу тебя!

Она подошла ко мнѣ еще ближе, съ нѣжной улыбкой взглянула мнѣ въ глаза, и я далъ ей это слово.

Впрочемъ, на весь разговоръ съ нею и съ генераломъ я обратилъ мало вниманія: мнѣ нужно было совсѣмъ не то. Мнѣ нужно было, наконецъ, объясниться съ нею, выяснить мое положеніе относительно ея, и я рѣшился вызвать ее на откровенность.

Я началъ прямо.

— Зина, — сказалъ я: — ты называешь неумѣстною фразой мои слова о томъ, что должна выбрать между мною и Рамзаевымъ. Пожалуй, я отказываюсь отъ этой фразы, но дѣло въ томъ, что мнѣ кажется и безъ всякаго выбора слѣдуетъ мнѣ уйти отъ тебя.

— Это еще что! — изумленно шепнула она.

— А то, что я тебѣ вовсе не нуженъ. Ты пришла за мною, ты звала меня, ты меня уговаривала, ты повторяла о своемъ несчастіи, о томъ, что я такъ необходимъ для тебя... Ну вотъ я здѣсь, я вмѣстѣ съ тобою, и неужели ты думаешь, что у меня совсѣмъ ужъ глазъ нѣтъ. Да, я точно слѣпъ, и ты лучше чѣмъ кто-либо знаешь до какой степени слѣпъ, но все-же я вижу, что тебѣ я вовсе не нуженъ и что самое лучше уйти мнѣ отъ тебя. И я прошу тебя, отпусти меня, отпусти!

Я замѣтилъ, какъ она слабо улыбнулась на это слово.

Но къ чему мнѣ было скрываться? Развѣ она не знала своего власти надо мною?

— Уйди, — тихо сказала она: — насильно я не стану тебя удерживать, если ты меня не жалѣешь.

— Господи! Да этою-то жалостью ты и притянула меня сюда. А между тѣмъ, наблюдая за тобою, я вовсе не нахожу тебя жалкою! Ты очевидно спокойна. Если что тебя тревожило до сихъ поръ, то одна только страшная, скверная вещь: выздоровленіе твоего мужа. А въ этомъ тебя успокоить и помочь тебѣ, конечно, ужъ я не могу.

Она внимательно слушала и смотрѣла на меня своими молчащими глазами, но при послѣднемъ моемъ словѣ встрепенулась.

— Ты называешь это ужасною и скверною вещью, но есть вещи еще ужаснѣе, еще сквернѣе, съ которыми, однако, мы должны мириться: жизнь заставляетъ насъ брать ихъ. Я не виновата въ этомъ желаніи.

— Да, ты могла быть не виновата, но я не знаю, такъ-ли это? Ты могла-бы быть не виновата, если-бы было все ясно предъ тобою, если-бы у тебя были опредѣленные цѣли, если-бы ты жила сознательно. А ты живешь безсознательно, Зина! Ты сама не знаешь, чего тебѣ нужно!

— Въ этомъ-то мое и мученье! Въ этомъ-то мое и не-

счастье!—горячо возразила она.—Отъ этого-то мнѣ такъ и холодно на свѣтѣ! Отъ этого-то мнѣ и нуженъ такой человѣкъ какъ ты.

— Зачѣмъ-же я тебѣ нуженъ? Во все это время ты ни разу не обратилась ко мнѣ. Ты ни разу не нашла чего-либо, чтобы нужно тебѣ было передать мнѣ. Ты ни разу по-душѣ не поговорила со мною. Зачѣмъ-же я тебѣ нуженъ?

— Ахъ, ты опять ничего не понимаешь, André, Что-жъ такое, что я не говорю съ тобой? Иной разъ и много на душѣ, а словами всего не выразишь, да и не нужно... Знаешь-ли ты, что много вопросовъ тяжелыхъ, мучительныхъ, могутъ разрѣшиться безъ всякихъ словъ, однимъ только присутствіемъ человѣка? Ты говоришь, зачѣмъ ты мнѣ нуженъ! Вотъ я ни въ чемъ не совѣщалась съ тобою, ты ничего мнѣ ни совѣтовалъ, а между тѣмъ не разъ, конечно, ты многое рѣшалъ для меня. Нѣтъ тебя—и я тревожна, и я мучаюсь. Пришелъ—и я знаю что ты тутъ, рядомъ со мною, и мнѣ теплѣе становится, и я спокойнѣе. Вотъ зачѣмъ ты мнѣ нуженъ!

— Хотѣлъ-бы я вѣрить, что все это такъ, да не вѣрится. Вообще, я думаю, ты сама отлично понимаешь и видишь, что много чего-то невысказаннаго въ нашихъ отношеніяхъ. Дикія какія-то это отношенія. Скажи, что не такъ, возрази, если умѣешь!..

— Да, конечно, оно можетъ казаться тебѣ неестественнымъ и дикимъ, если ты постоянно будешь обращаться назадъ и вспоминать старое.

— Да развѣ можно его забыть?—изумленно спросилъ я.

— Можно!—отвѣтила Зина.—Я, по крайней мѣрѣ, о прошломъ не думаю, не позволяю себѣ думать. Я гляжу на тебя какъ на единственнаго своего друга, какъ на любимаго брата. Гляди и ты на меня такъ-же, гляди на меня какъ на несчастную сестру, которая исковеркала, испортила себѣ жизнь, какъ только можетъ испортить свою жизнь женщина. И если ты будешь такъ смотрѣть на меня, тогда ничего неестественнаго и дикаго не покажется тебѣ въ нашихъ отношеніяхъ.

Я не могъ не задуматься надъ этими ея словами. Конечно, она была права; конечно, иначе теперь я и не долженъ смотрѣть на нее, ничего другого я и не имѣлъ права ждать. Если я согласился вернуться къ ней, то именно только затѣмъ, чтобы быть ей братомъ. Да къ тому-же, развѣ, наконецъ, сегодня я не разглядѣлъ этого старика? Развѣ мнѣ неловко отъ его доверчивыхъ словъ, отъ его пожатія? Чего-же въ самомъ дѣлѣ я хочу? Отнять жену у мужа?.. Я ничего не хочу, но, вѣдь, я люблю ее, люблю всю жизнь, безумно люблю! Съ нею соединено все мое

будущее! Въ ней вся судьба моя! Такъ какъ-же я могу не думать о прошломъ! Какъ-же я могу успокоиться на этихъ отношеніяхъ и не считать ихъ неестественными! Да и, наконецъ, вотъ она все рѣшила и высказала такъ прямо, такъ умно и справедливо, а между тѣмъ, развѣ не ложь эти умныя и справедливыя слова ея и развѣ она сама не сознаетъ что онѣ ложь?!

— Зина,—проговорилъ я:—ты сама отлично понимаешь, что я не могу не думать о прошломъ. И я знаю, что ты сама о немъ думаешь: такое прошлое не забывается!..

— Зина! Зиночка! Поди сюда на минуточку!—раздался изъ дальней комнаты голосъ генерала.

Она встала, хотѣла выйти, но остановилась предо мною и обдавъ меня однимъ изъ своихъ невыносимыхъ, быстрыхъ и горячихъ взглядовъ, шепнула:

— Зачѣмъ-же считаешь ты ужаснымъ и безобразнымъ мое желаніе никогда больше не слышать этого голоса?!

Долго я сидѣлъ одинъ и много всякихъ тяжелыхъ мыслей обрывалось и путалось въ головѣ моей.

XVII.

Съ этого вечера и съ этого разговора все-же ледъ былъ разбитъ между нами.

Я продолжалъ ежедневно бывать у Зины.

У нихъ рѣшено было, что они останутся въ Петербургѣ. Съ генераломъ дѣлалось что-то странное. Всѣ доктора твердили ему о необходимости поѣздки за границу, но онъ ничего и слушать не хотѣлъ.

— Мнѣ лучше! Мнѣ гораздо лучше, — повторялъ онъ. — Я останусь здѣсь! Мнѣ здѣсь хорошо! Никакой медицинѣ не вѣрю. Суждено умереть—умру и за границей, и здѣсь, все равно. Но я еще не умру, мнѣ гораздо лучше!

Они остались.

Съ Рамзаевымъ я не встрѣчался. Зина исполнила свое обѣщаніе и всегда умѣла такъ устроить, что онъ являлся когда меня не было. Одинъ разъ только встрѣтился я съ нимъ на крыльцѣ у нихъ. Мы сдѣлали видъ, что не замѣчаемъ другъ друга.

Съ Зиной я теперь оставался вдвоемъ иногда по цѣлымъ часамъ. Генералъ любилъ лежать въ маленькой комнатѣ, возлѣ Зининой гостиной, и оттуда слушать игру ея. Собственно для этого рояль былъ перенесенъ изъ залы въ гостиную и Зина по долгу играла, особенно вечеромъ въ сумерки.

Старикъ часто засыпалъ подъ музыку. Тогда она отходила отъ рояля, подсаживаясь ко мнѣ на маленькій диванчикъ и у насъ начинались безконечные разговоры. И я самъ не замѣтилъ какъ эти разговоры мало-по-малу приняли самое невѣроятное направленіе. Въ теченіе нѣсколькихъ дней я уже ощущалъ безконечную тоску, но даже не понималъ откуда она, чувствовалъ только, что мысли мои начинаютъ путаться.

Я, наконецъ, сообразилъ все только тогда, когда какъ-то вернувшись домой, припомнилъ послѣдній разговоръ съ ней. Чтожъ это такое было? Къ чему все это свелось? Чѣмъ все это кончилось? Теперь я ужъ не братъ, было не забвеніе прошлаго, была, наконецъ, не законность ожиданія смерти. Было опять что-то окончательно безобразное, опять разговоры о дикихъ желаніяхъ и капризахъ, о дикихъ сценахъ въ невѣдомомъ для меня ея прошломъ. Упоминалось тутъ и о таинственномъ чловѣкѣ, который что-то для нея значить и имя котораго она никогда не назоветъ мнѣ.

Прошло еще нѣсколько дней, и я чувствовалъ, что положительно съ ума схожу.

Я не находилъ себѣ нигдѣ мѣста. Я опять собирался бѣжать въ деревню, куда мама отчаянно звала меня своими частыми письмами, и не трогался съ мѣста, уходилъ къ Зинѣ и слушалъ ее. И то, что я слышалъ отъ нея съ каждымъ вечеромъ все болѣе принимало видъ невыносимаго бреда.

Очевидно, въ первый разъ, когда она сказала свою первую дикую фразу я черезчуръ поразился ею. Очевидно, она замѣтила впечатлѣніе, произведенное на меня, и это ей понравилось, и тутъ ей пришла фантазія, одна изъ ея больныхъ, ужасныхъ фантазій, меня мучить. Она стала практиковаться въ этомъ ежедневно, окончательно вошла въ новую роль свою.

Ей было пріятно видѣть какъ я задыхался отъ словъ ея, какъ на ея глазахъ я сходилъ съ ума. Ей пріятно было сознаніе ея безконечной власти надо мною. Она торжествовала, когда я окончательно измученный и выведенный изъ всякаго терпѣнія, объявилъ ей и генералу, что завтра ѣду за границу.

Она въ тотъ-же вечеръ пріѣхала ко мнѣ, увидѣла уложенныя мои вещи, сама все выложила опять изъ чемодановъ въ комнату, заперла, ключи взяла съ собою, цѣловала меня, бѣсилась, хохотала—и я не уѣхалъ.

Я на другой день опять былъ у нея и при ней сплеталъ генералу глупую исторію о томъ, какъ на службѣ мнѣ дали важное спѣшное дѣло, которое помѣшало моей поездкѣ.

Чего она отъ меня хотѣла? Я ей говорилъ, что не вынесу, что убью или ее или себя. И она смѣялась, и представляла мнѣ

какъ это будетъ. Какъ вотъ меня нѣтъ; цѣлый день проходитъ—меня нѣтъ! Она ѣдетъ ко мнѣ и застаётъ меня застрѣлившимся. Она описывала какъ будетъ мучиться, рыдать, рвать волосы и—хохотала!

Иногда я замѣчалъ, что она, наконецъ, хочетъ оставить эту отчаянную, безобразную игру. Вотъ она встрѣчаетъ меня серьезно и спокойно, вотъ она, наконецъ, проситъ у меня прощенія, говоритъ что понимаетъ какъ безумно, какъ подло (это ея выраженіе) ведетъ себя, плачетъ. Вотъ почти весь вечеръ прошелъ, и я едва узнаю ее. Снова я вижу въ ней другой образъ и снова въ своемъ безумномъ, несчастномъ ослѣпленіи, готовъ ей вѣрить, готовъ ждать чего-то, на что-то надѣяться.

Но она не можетъ долго выдержать и конецъ вечера завершается новымъ бредомъ.

Зачѣмъ я тогда уѣхалъ изъ Петербурга? Но, Боже мой, какъ-же мнѣ было не ѣхать?! Да и помогъ-ли бы я чему-нибудь, отвратилъ-ли бы что-нибудь? Такъ или иначе, а вышло-бы то-же самое, такъ должно было... Какой это ужасный день и какъ ясно я его вижу предъ собой... Я по обыкновенію послѣ обѣда получилъ отъ нея записку. Она звала меня и сердилась что я два дня не показывался, писала, что въ девять часовъ будетъ непременно дома. Я вышелъ въ половинѣ десятаго и пошелъ пѣшкомъ, хотя съ утра не переставая лилъ дождь, и на улицахъ было грязно и скверно. Но я всегда любилъ такую погоду и именно осенью, вечеромъ, въ Петербургѣ. Я любилъ эту мглу, этотъ паръ въ сырости, безвѣтренномъ воздухѣ, блестящія мокрая плиты тротуаровъ, осторожно ступающія черезъ лужи фигуры прохожихъ. Мнѣ дѣлалось тогда какъ-то тихо, будто внутри останавливается что-то и замираетъ...

Я шелъ медленно знакомою дорогой и по временамъ совсѣмъ забывался, такъ что не помнилъ пройденнаго пространства; если-бы въ такую минуту подошли ко мнѣ и закричали у самого уха, я-бы и этого не замѣтилъ. Потомъ вдругъ, очнувшись, я началъ усиленно интересоваться всѣмъ, что было кругомъ меня. Я заглядывалъ въ окна магазиновъ, разсматривалъ каждую встрѣчную фигуру. Я и теперь помню все, всякую мелочь, бывшую тогда предъ моими глазами, какъ будто все это нужно помнить, какъ будто оно имѣетъ какую-нибудь связь съ тѣмъ, что потомъ случилось... Наконецъ, я остановился у знакомаго подъѣзда.

Входя въ ея гостиную, я чуть не наткнулся на Рамзаева. Онъ стоялъ со шляпой въ рукѣ и застегивалъ перчатку. Зна

была рядомъ съ нимъ и очевидно что-то ему сейчасъ говорила. Она, по обыкновенію, чуть замѣтно покачиваясь, подошла ко мнѣ и крѣпко сжала мнѣ руку. Съ Рамзаевымъ мы не поклонились. При видѣ его мое раздраженіе усилилось еще больше. Мнѣ захотѣлось еще разъ назвать его подлецомъ и посмотрѣть, какъ онъ опять промолчитъ на это названіе. Но я далъ Зинѣ честное слово его не трогать, къ тому-же въ сосѣдней комнатѣ я слышалъ шаги ея мужа и, конечно, жалѣя старика, долженъ былъ молчать.

Рамзаевъ отлично понималъ мое положеніе. Поэтому онъ нисколько не спѣшилъ уходить, нахальнѣйшимъ образомъ дѣлалъ видъ, что меня не замѣчаетъ, и даже два раза посмотрѣлъ на меня, какъ будто въ пустое пространство.

— Такъ я завтра-же съѣзжу на почту, все устрою и дамъ вамъ знать, а засимъ до свиданія, — спокойно сказалъ онъ Зинѣ.

Она вышла его проводить.

Я едва владѣлъ собою. Я хорошо понималъ, что Рамзаевъ нарочно хвастается предо мной, что вотъ она поручаетъ ему свои дѣла, что онъ близкій ей человѣкъ, другъ дома и что моя исторія съ нимъ нисколько не испортила ихъ отношеній. Но, вѣдь, я и такъ, безъ этихъ внѣшнихъ доказательствъ, все равно давно ужъ понималъ, что тутъ есть какая-то близость и даже, можетъ быть, гораздо болѣе серьезная, чѣмъ дружеское исполненіе порученій и веденіе дѣлъ. И эта близость, это что-то таинственное, что было между ними и что я и сейчасъ замѣтилъ, по тому какъ они глядѣли другъ на друга, возмущало мою душу...

Шевельнулась портьера, выглянула голова старика.

— Здравствуйте, голубчикъ,—сказалъ онъ мнѣ, своимъ тихимъ, кроткимъ голосомъ.—Только не подходите, не подходите: вы съ холоду! Обогрѣйтесь...

Онъ спрятался за портьеру.

Вошла Зина. Я хотѣлъ было выразить ей все, что мучило меня и возмущало по поводу Рамзаева; но взглянуть на нее и не сказалъ ни слова. Она тоже ничего не говорила. Она подошла ко мнѣ, спутала мнѣ рукою волосы, а потомъ сѣла къ роялю и заиграла что-то очень странное, длинное, безконечное, гдѣ по временамъ мнѣ слышались какіе-то колокольчики, каждый разъ больно ударявшіе мнѣ въ сердце и голову.

Я придвинулъ кресло къ самой ея табуреткѣ. Мы почти касались другъ друга. Мы могли говорить тихо, тихо, и старикъ не могъ насъ слышать изъ сосѣдней комнаты, гдѣ онъ, кажется, уже дремалъ за своею газетой. На далекомъ углукомъ столикѣ слабо свѣтилась лампа, прикрытая темнымъ абажуромъ. Я чув-

ствовалъ, какъ необычайный мракъ начиналъ окутывать все предо мною...

— Что дѣлать, Зина?—почти безсознательно прошепталъ я.

— Что, что дѣлать?—повторила она.

— Что дѣлать человѣку, который идетъ во мракъ и навѣрное знаетъ, что нужно идти впередъ... его мозгъ работаетъ, его чувства напрягаются невыносимо, но онъ ничего не видитъ, не слышитъ, не понимаетъ. Предъ нимъ мелькаютъ только туманные призраки, и онъ сейчасъ-же сознаетъ, что это призраки его воображенія, а не живые, настоящіе предметы...

— Коли человѣкъ силенъ, такъ онъ долженъ знать, что ему дѣлать,—шепнула Зина, и новый колокольчикъ, сорвавшись съ клавишей, злобно ударилъ меня.

— Ахъ, Зина?—вскрикнулъ я, даже невольно схватившись за грудь. — Да, вѣдь, всякая сила только тогда можетъ выказаться, когда есть съ чѣмъ бороться, когда то, что побороть нужно, видно! А, вѣдь, въ этой темнотѣ ничего не видно и не слышно, силу-то и обратить не на что! Она можетъ только нестись куда-то впередъ, въ пропасть...

— Нестись!.. То-есть сложить руки и отдаться теченію, какая-же это сила? Это слабость?..—усмѣхнулась Зина, искоса и лукаво взглянувъ на меня.

— Нѣтъ... это не «по теченію», это бездна... это несчастье и безуміе...

— Можетъ быть, ты и правъ, только я не понимаю, зачѣмъ все это; ничего этого нѣтъ и быть не можетъ...

И она оборвала свою музыку цѣлымъ дождемъ невыносимыхъ колокольчиковъ.

Я поднялся съ кресла и взглянулъ за портьеру, старикъ лежалъ въ своемъ мѣховомъ халатѣ на кушеткѣ; газета свалилась на коверъ, очки спустились къ самому кончику носа. Глаза были закрыты и старое, красивое лицо его показалось мнѣ до такой степени безжизненнымъ и страшнымъ, что я навѣрное-бы подумалъ, что онъ уже умеръ, если-бы тоненькій свистъ не выходилъ изъ-подъ сѣдыхъ, вѣчно надушенныхъ усовъ его.

— Спать?—спросила Зина.

— Да,—отвѣтилъ я, возвращаясь въ гостиную.

Зина сѣла на маленькомъ диванѣ. Я попросилъ ее подвинуться.

— Ну, вотъ тебѣ мѣстечко,—сказала она, поправляя платье.

Я сѣлъ рядомъ съ нею и взялъ ея руки; онѣ были какъ ледяныя.

— Холодно, холодно!—говорила она, сжимая мои пальцы:—отъ меня дышетъ холодомъ, да и отъ тебя тоже; мы не согреемъ другъ друга, уйди лучше.

Она отшатнулась, освобождая мои руки. Но только что я хотѣлъ подняться съ мѣста, какъ ея голова очутилась на груди моей, и она прижалась ко мнѣ, а я крѣпко ее обнялъ и началъ цѣловать ея холодный лобъ, глаза и щеки.

Ея губы потянулись впередъ и встрѣтились съ моими. Такъ мы сидѣли долго и слышали какъ тихо, тихо постукивали часы на каминѣ. Потомъ она подняла голову, открыла на мгновенье глаза, снова закрыла ихъ и прижалась ко мнѣ еще крѣпче.

Она заговорила тѣми прозрачными намеками, къ которымъ стала прибѣгать въ послѣднее время, заговорила о томъ, какъ она любитъ его, того таинственнаго человѣка, о томъ, какъ она ненавидитъ весь міръ, о томъ, сколько въ ней злобы и жестокости, какъ легко ей безъ всякихъ угрызений совѣсти быть причиною гибели человѣка...

Это былъ безумно раздражающій, горячечный бредъ, въ которомъ слышались то наивность безсмысленнаго ребенка, то дикая, циничная злоба безнравственной женщины. Это былъ тотъ бредъ, который въ послѣдніе вечера все чаще и чаще приходилось выслушивать, который сопровождался поцѣлуями и заканчивался угрозой убить меня какимъ-бы то ни было способомъ.

Она и теперь повторяла свою угрозу и въ то-же время разбирала и гладила мои волосы, и цѣловала меня горячими, влажными губами.

Я съ безконечнымъ отвращеніемъ вслушивался въ слова ея, я безсмысленно отдавался мученью ея поцѣлуевъ... Наконецъ, я почувствовалъ совершенно опредѣленно и ясно, что еще двѣ такія минуты, и я задушу ее.

Я сдѣлалъ надъ собою послѣднее усиліе и, оторвавшись отъ нея, всталъ съ дивана.

— Куда-же ты? Посиди еще!—сказала Зина.

— Нѣтъ, пора, прощай, уже первый часъ; мы не замѣтили, какъ пробило двѣнадцать.

Она подошла къ часамъ, сняла абажуръ съ лампы, а потомъ тихонько заперла дверь, за которою послышался старческій кашель.

— Подожди еще!

Она положила мнѣ на плечи свои руки.

— Довольно, Зина,—сказалъ я:—ты сегодня сдѣлала все, что только могла сдѣлать...

— Ну, уходи,—заговорила она, обнимая меня:—только знай, что ты не заснешь сегодня ночью, ты будешь умирать, умирать по настоящему, умирать мучительною смертью... и ты увидишь двѣ тѣни... двухъ людей... прощай!..

— Прощай, Зина.

Нѣжно и кокетливо склонилась она снова на плечо мое и глядѣла на меня своими странными глазами, глядѣла, какъ тихій, доврчивый ребенокъ, какъ любящая и невинная женщина...

Я смотрѣлъ на это лицо и мучительная жалость поднялась во мнѣ. Кого жалѣлъ я — себя или ее — не знаю...

Я, почти шатаясь, вышелъ въ переднюю, гдѣ сонные люди уже давно дожидались, чтобы запереть за мною двери.

XVIII.

Темная, дождливая ночь охватила меня сыростью и порывами вѣтра. Я помню, что низко висѣли густыя тучи; но не помню, какъ шелъ я, что думалъ и что чувствовалъ. Придя домой, я сѣлъ за письменный столъ, началъ было писать, потомъ читать, но ничего не могъ... Не помню, сколько прошло времени, — можетъ быть, часъ, а можетъ быть, нѣсколько минутъ, — не помню. Я сидѣлъ неподвижно, и вотъ тутъ-то меня охватило то ужасное ощущеніе, вспоминая о которомъ, я и теперь холодѣю.

Оно подкралось ко мнѣ какъ-то незамѣтно, завладѣло мною сразу, сейчасъ-же вслѣдъ за полнѣйшимъ бездумьемъ и легкою дрожью, пробѣгавшею по всему тѣлу. Когда я созналъ его — было уже поздно. Я почувствовалъ, что уже никакой силой воли не разгоню его, что борьба напрасна,

Предсказаніе Зины исполнилось: я начинаю умирать, «умирать по настоящему, мучительною смертію», какъ она пред-
рекла мнѣ.

Напрасно пытаюсь я передать въ словахъ это ощущеніе медленной агоніи. Она началась безконечно холоднымъ сознаніемъ моей полной одинокости, одинокости не въ безпредѣльномъ пустомъ пространствѣ, а напротивъ, въ громадномъ мірѣ, кишашемъ разнообразнѣйшею жизнью. Этотъ живой, цѣльный міръ окружалъ меня, но не имѣлъ со мною ровно ничего общаго. Я видѣлъ и понималъ, какъ блестящія нити матеріи, по которымъ струилась эта міровая жизнь, распредѣлялись причудливыми, но математически правильными формами, обуславливавшими ихъ взаимное равновѣсіе и соотношеніе. Только одно мѣстечко громаднаго міра, то мѣстечко, въ которомъ трепетало мое существованіе, было прорваннымъ, или, вѣрнѣе, еще недодѣланнымъ. И мнѣ уже видѣлись со всѣхъ сторонъ концы блестящихъ нитей, стремившихся также правильно размѣститься и закончиться на мѣстѣ, занимаемомъ мною. И, разумѣется, я долженъ былъ уничтожиться, чтобы не мѣшать общей гармоніи. Вѣдь, не могъ-же

я, одинъ я, удерживать за собою это недодѣланное мѣсто всемирной паутины!..

Вотъ какое невозможное, но тѣмъ не менѣе совершенно яркое, опредѣленное представленіе сложилось въ моемъ мозгу и въ моемъ чувствѣ. Мнѣ казалось, что уже раскаленные, острые концы этихъ нитей вонзаются въ меня по всѣмъ направленіямъ. Я вскочилъ и остановился посреди комнаты. Свѣчи, зажженные въ канделябрѣ на столѣ, почему-то потухли; можетъ быть, я самъ безсознательно затушилъ ихъ. Я остался въ темнотѣ и сейчасъ-же замѣтилъ, что я не одинъ, что въ двухъ шагахъ отъ меня, на моемъ турецкомъ диванѣ, кто-то есть; мнѣ слышался чей-то тихій, неопредѣленный шепотъ.

Мои ноги подкашивались, въ груди давило. Я медленно подошелъ къ дивану и протянулъ руки. Я почувствовалъ чьи-то мягкіе волосы, нѣжное, гладкое женское лицо. Я понялъ, что это была Зина. Но она была не одна,—она кому-то тихо шептала на ухо, и этотъ кто-то былъ отъ нея такъ близко, какъ былъ и я на маленькомъ диванѣ въ ея гостиной. Мнѣ не нужно было допытываться кто онъ, я узналъ его сразу, по одному ужасу, охватившему меня. Это былъ онъ, тотъ таинственный человѣкъ, которымъ она меня мучила—это былъ Рамзаевъ.

Я крикнулъ безумнымъ голосомъ, кинулся впередъ и потерялъ сознаніе..

Не знаю, сколько времени продолжался мой обморокъ. Я очнулся на коврѣ предъ диваномъ и долго еще не могъ пошевелиться и лежалъ въ темнотѣ и тишинѣ. Наконецъ, совсѣмъ машинально приподнялся, зажегъ свѣчу, прошелъ въ спальню и, странное дѣло, заснулъ, какъ убитый.

Проснулся я поздно. Вчерашняго ощущенія слабости, разбитости, какъ не бывало. Я даже удивлялся своей бодрости, своей силѣ. Только внутри меня оставалась все та-же тоска, тотъ-же отвратительный туманъ носился предо мною. Я хорошо помнилъ весь этотъ страшный вечеръ, эту невыносимую галлюцинацію. Какъ все въ ней было живо, ясно, отвратительно... «Нѣтъ, такъ не можетъ продолжаться! — думалъ я: — такъ съ ума сойти можно?.. Нужно бѣжать, бѣжать и покончить разомъ...»

Что-жъ такое, что все перепуталось, что я потерялъ счетъ днямъ и позабылъ прежніе интересы моей жизни? Что-жъ такое, что всѣ близкіе мнѣ люди куда-то провалились, а въ ихъ платьѣ облеклись какіе-то отвратительныя чудовища, которыя меня дразнятъ и сжидаютъ со свѣта? Что-жъ такое, что вмѣсто скучнаго, но все-же яснаго теченія жизни, съ крошечными обязан-

ностями, съ крошечными развлеченіями и заботами о дѣлахъ житейскихъ, для чего-то, для какого-то будущаго устраиваемыхъ,—что-жъ такое, что вмѣсто всего этого явилось сплошное мученіе и не останавливаетъ меня, не покидаетъ ни на минуту вотъ ужъ больше двухъ мѣсяцевъ... Такъ неужели мнѣ такъ и согнуться, такъ и замереть и только смотрѣть, что изъ этого выйдетъ, скоро-ли и какимъ образомъ, я окончательно погибну? Зина права, когда говоритъ, что это значить сложить руки, что это «по теченію»... Нѣтъ, я еще постою за себя, я еще выплыву! Я покажу ей, что меня не такъ ужъ легко «убить тѣмъ или другимъ способомъ». И покажу сегодня-же, сейчасъ, сію минуту.

Я досталъ свой заграничный паспортъ, взятый уже больше мѣсяца тому назадъ, велѣлъ Ивану уложить мои вещи. Я сказалъ ему, что чрезъ два часа буду дома, а вечеромъ уѣзжаю за границу. Но я не хотѣлъ уѣхать такъ, не повидавшись съ Зиной. Это было-бы бѣгствомъ. Я рѣшился отправиться къ ней и побороться съ нею. Я зналъ, что она не захочетъ меня теперь выпустить.

Я засталъ ее въ гостиной вмѣстѣ съ мужемъ. Онъ былъ веселъ, бодръ, разодѣтъ и раздушенъ; отъ вчерашняго страшнаго, почти умирающаго старика, ничего не осталось. Онъ ужъ не боялся того, что я съ холоду и простужу его. Напротивъ, онъ объявилъ, что отлично себя чувствуетъ, и, благо солнце выглянуло, и на улицахъ пообсохло, собирался сдѣлать небольшую прогулку.

— Въ такомъ случаѣ я долженъ проститься съ вами,—сказалъ я:—я къ вамъ на минуту и сегодня ѣду за границу...

— Ты сегодня ѣдешь за границу? — спросила Зина съ насмѣшливой улыбкой.

— Да, ѣду, ужъ и вещи мои укладываютъ.

— И надолго?

— Вѣроятно... вѣдь, я давно собираюсь... Нужно-же когда-нибудь выбраться... вотъ рѣшилъ, наконецъ, и ѣду.

— Съ Богомъ, съ Богомъ, голубчикъ, — ласково беря меня за руку, говорилъ старикъ. — Вѣдь, вы въ Швейцарію... теперь тамъ самое лучшее время, скоро начнется уборка винограда. Подышите воздухомъ, освѣжитесь... съ Богомъ... а я ужъ пойду; посидѣлъ-бы съ вами, да боюсь, пожалуй, дождь опять, такъ я безъ прогулки останусь... ну, прощайте, пишите почаще...

Онъ подставилъ мнѣ свои надушенные усы и трижды поцѣловался со мною.

— А, можетъ, еще и застану... вѣдь, я не долго, только въ скверѣ пройдуся и домой... а ты, Зиночка, вели мнѣ кофе сварить, да яичекъ... въ смятку... только чтобы не переварилась...

Наконецъ, мы остались одни. Зина остановилась предо мной и захохотала.

— Такъ ты сегодня за границу ѣдешь? Хоть-бы при немъ-то постыдился говорить, вѣдь, опять какую-нибудь невѣроятную исторію придумывать придется... вѣдь, не уѣдешь...

Я молча улыбнулся и спокойно взглянулъ на нее. Она говорила съ такою непоколебимою вѣрой въ свою власть надо мною, она считала меня ужъ окончательно и невозвратно прикованнымъ къ ней, обезсиленнымъ, ничтожнымъ... И вдругъ она сама показалась мнѣ какою-то далекою, чужою, совсѣмъ другою. Все, что влекло меня къ ней, изъ-за чего она владѣла мною, куда-то исчезло. Я все глядѣлъ на нее и улыбался. Ея блестящія, неподвижные глаза уже не обдавали меня страстью и мученіемъ. Она была теперь просто красивая, стройная женщина, съ блѣднымъ, нѣсколько болѣзненнымъ лицомъ, съ несовсѣмъ естественною злою усмѣшкой. Ея волосы были плохо причесаны и закрученная коса кое-какъ придерживалась на затылкѣ, утренній пеньюаръ, по обыкновенію, смятъ и даже довольно заношенъ... я невольно припомнилъ, какъ еще дѣвочкой ее всегда бранили за неряшество...

Но я не смѣлъ радоваться, что она такая, что я такъ гляжу на нее и спокойно улыбаюсь. Вѣдь, я зналъ, что и прежде бывали не разъ подобныя минуты: иногда она представлялась мнѣ просто грубою, глупою и даже противною... Но проходила минута, и все забывалось, и снова она могла дѣлать со мною все, что хотѣла...

Но теперь вѣрно она прочла въ глазахъ моихъ что-нибудь для себя опасное. Она вдругъ оставила свою злую усмѣшку и съ видимымъ удовольствіемъ подошла ко мнѣ еще ближе.

— Чего-же ты смѣешься, чего ты молчишь?.. Да говори-же?.. Что это такое?!.. Серьезно ты ѣдешь?..

— Я уже сказалъ тебѣ, что ѣду... Не вѣрь, если хочешь, я клясться не стану... сама увидишь.

Она глядѣла на меня не отрываясь, какъ-будто хотѣла высмотрѣть всю мою душу, потомъ сѣла на ручку моего кресла и обняла меня за шею. Широкій рукавъ пеньюара откинулся, я видѣлъ почти у самыхъ глазъ своихъ ея розовый локоть, я чувствовалъ у щеки своей ея гладкую теплую руку. Я хотѣлъ приподняться, но она удержала меня.

— Послушай, Зина: я думаю, что говорить намъ не о чемъ и нечего повѣрять другъ другу предъ разлукой... Простимся теперь-же, и я уѣду... Право, такъ будетъ гораздо лучше...

— Нѣтъ, постой, что ты!—быстро заговорила она, наклоняясь ко мнѣ. — Я не могу тебя отпустить... я должна поговорить съ

тобою... какъ-же это? Вѣдь, я совсѣмъ не ожидала, что ты въ самомъ дѣлѣ вздумаешь ѣхать... Что-жъ, ты сердитъ на меня?

Она совсѣмъ прижалась ко мнѣ, и говорила ужъ надъ самымъ моимъ ухомъ.

Я не могъ выносить этого. Я чувствовалъ, что еще мигъ, и она опять станетъ для меня прежнею, вѣчною, мучительною Зиной. Я отстранилъ ея руку и поднялся съ кресла.

— Мнѣ на тебя сердиться?.. Странные ты выдумываешь вопросы!—проговорилъ я.—Ну, да о чемъ ужъ тутъ!.. Я думаю, что и тебѣ самой будетъ гораздо лучше, когда я уѣду... вѣдь, ты сама мнѣ недавно сказала, что я за тобой наблюдаю и что ты этого не любишь.

— Послушай! Ты меня ревнуешь къ Рамзаеву! Какъ это глупо!—вдругъ перебила меня Зина и засмѣялась.

Я взглянулъ на нее и понялъ, что все пропало.

Меня снова охватило мученье, страсть, жалость.

— Нѣтъ, не ревную,—отвѣтилъ я:—но мнѣ очень тяжело видѣть, что между вами есть что-то общее, какая-то проклятая близость, которую я не могу постигнуть.

— А! ты видишь между нами близость!..

— Да, вижу и чувствую, и ты ничѣмъ меня не разувѣришь... и это ужасно! Вѣдь, Рамзаевъ, это ужъ совсѣмъ послѣднее дѣло, Зина... Прикоснуться къ этому человѣку, завести съ нимъ что-нибудь общее, кромѣ грязи, кромѣ позора тутъ ничего, ничего быть не можетъ... и, вѣдь, ты сама знаешь...

— Ничего я не знаю. Но если ты такъ ужъ *видишь* и *чувствуешь* и скорбишь обо мнѣ, зачѣмъ-же ты уѣзжаешь? Ты долженъ оставаться, ты долженъ оберегать меня отъ вліянія этого *ужаснаго*, по твоему, человѣка...

— Я-бы и не смутился твоими насмѣшками... и остался-бы, и оберегалъ-бы даже хоть насильно... но я понялъ и рѣшилъ, что ровно ничего не въ состояніи сдѣлать... Вѣдь, только ради того, чтобы помучить меня, ты окунешься во что угодно... на смѣхъ мнѣ станешь кликать этого Рамзаева... Развѣ я тебя не знаю?..

У меня, дѣйствительно, еще утромъ мелькнула мысль, что, можетъ быть послѣ моего отъѣзда она его прогонитъ. Думая и передумывая, даже несмотря на свои предчувствія и наблюденія, я иногда начиналъ сомнѣваться въ возможности между ними общихъ интересовъ. Мало-ли что еще вчера могло мнѣ казаться въ бреду и сумасшествіи, мало-ли какъ она меня дурачила и дурачить. Можетъ быть, и весь-то этотъ таинственный, любимый человѣкъ, весь этотъ Рамзаевъ, существуетъ только для того, чтобы меня попытать и помучить. Но, вѣдь, и въ такой даже роли онъ вреденъ: онъ и эту роль съумѣетъ воспользоваться для какой-нибудь своей гадости...

— Ты думаешь, что я теперь насмѣхаюсь надъ тобою? — сказала Зина.—Ты ошибаешься...

Она взяла мою руку; на ея лицѣ вдругъ мелькнула та рѣдкая, серьезная и въ то-же время, дѣтски-жалкая мина, которую такъ любилъ я.

— Я говорю правду, André,—продолжала она.—Ты мнѣ теперь очень нуженъ и ты, можетъ быть, раскаешься, что уѣхалъ...

Она совсѣмъ превращалась въ несчастнаго, замученнаго ребенка. Она глядѣла такъ, какъ бывало тогда, давно, когда приходила жаловаться мнѣ на какую-нибудь обиду. Я не могъ выносить этого. Я опять сѣлъ въ кресло и старался не смотрѣть на нее.

Она почти упала на коверъ, предо мной, спрятала лицо въ мои колѣни и зарыдала.

— Зина, Зина, что съ тобою? — съ мученіемъ повторялъ я, стараясь ее поднять.

Наконецъ, вся въ слезахъ, она откинула голову и схватила мои руки. Въ ея лицѣ выражался дѣйствительный ужасъ и отчаянье.

— Развѣ я сама не знаю, что гибну,—шептала она прерывающимся голосомъ.—Я гибну и знаю, что совсѣмъ погибну безвозвратно. И ты не спасешь меня. Когда ты пришелъ сегодня, я думала, что у тебя въ карманѣ или пистолетъ или ножъ... или что-нибудь... я думала, что ты убьешь меня... и я даже рада была этому...

Она опять зарыдала. Она дрожала всѣмъ тѣломъ. Я слушалъ ее какъ помѣшанный, и чувствовалъ опять весь мракъ, весь бредъ, всѣ муки вчерашняго вечера.

— Убей меня; ради Бога, убей меня!—заговорила она снова, останавливая свои рыданія и продолжая глядѣть на меня страшными, широко раскрытыми глазами.—Убей меня сейчасъ, теперь... теперь лучше, послѣ будетъ слишкомъ поздно...

У меня голова кружилась. Я отстранилъ ея руки, я отбѣжалъ отъ нея, взялъ шляпу и поспѣшилъ къ двери. Прочь отъ этой безумной... не то—еще нѣсколько минутъ, и она навсегда сдѣлаетъ меня сумасшедшимъ, и я ужъ никогда и никуда не убѣгу отъ нея.

Но она кинулась за мною, она заслонила дверь, она хватала меня за платье. Ея коса распустилась, въ лицѣ не было ни кровинки, а поблѣднѣвшія губы судорожно вздрагивали. На нее страшно было глядѣть въ эту минуту.

— Ты думаешь, что я съ ума сошла? — задыхаясь шептала она.—Нѣтъ, я не безумная, именно теперь не безумная, можетъ быть только теперь я и въ своемъ разсудкѣ... André! Я умоляю тебя, убей меня, убей, не то будетъ хуже... Или спаси меня... Только нѣтъ! Ты не можешь спасти меня... убей-же меня, убей... André, милый мой, умоляю тебя!..

Она опять опустилась предо мной на колѣни и, крѣпко держа мои руки, стала вдругъ цѣловать ихъ.

Но эта сцена была черезчуръ ужъ дика и невыносима, и я какъ-то съумѣлъ очнуться.

— Зина, я въ послѣдній разъ прошу тебя успокоиться и не безумствовать... ты меня не пускаешь, но все равно уйду сейчасъ, хоть еслибъ ты повисла на мнѣ и волочилась за мною...

Она вдругъ встала и выпустила мои руки.

— Такъ ты уходишь, ты ѣдешь... ты оставляешь меня,—говорила она уже новымъ и болѣе спокойнымъ голосомъ.— Значить, такъ надо, такъ суждено... ты не знаешь *зачѣмъ* ѣдешь... Ну, хорошо, прощай... только я не надолго прощаюсь съ тобою... я, можетъ быть, скоро къ тебѣ приѣду... прощай...

Она сдѣлала нѣсколько шаговъ отъ меня, какъ будто намѣреваясь выйти изъ комнаты. Вдругъ она обернулась, порывисто обняла и прежде чѣмъ я успѣлъ сказать ей слово, скрылась за портьерой.

Выйдя на воздухъ, я вздохнулъ полною грудью, будто вырвавшись изъ душнаго подземелья.

«Она скоро ко мнѣ приѣдетъ,—думалъ я:—ну, это-то фраза; старикъ ни за что не выѣдетъ изъ Петербурга и еще не скоро умереть: ему въ послѣднее время видимо лучше. Что-жъ, убѣжить она отъ него что-ли? Но ей черезчуръ невыгодно теперь бѣжать отъ него... не рѣшится она...»

Если-бы только хоть на мгновенье могла у меня мелькнуть мысль о томъ что должно было случиться, конечно, я остался-бы. Но я ничего не подозревалъ и не предвидѣлъ, я все еще недостаточно зналъ Зину. Вечеромъ я уже былъ въ вагонѣ и ѣхалъ въ Швейцарію.

XIX.

Я поселился тогда здѣсь, въ Лозаннѣ, у madame Brochet. Поѣздка освѣжила меня, тишина моей новой жизни, чудный воздухъ успокаивали мои больные нервы. Я рѣшилъ, что мнѣ еще рано отчаяваться въ своей жизни, что нужно-же, наконецъ, отвязаться отъ болѣзненныхъ сновъ и поставить цѣль свою на болѣе здоровомъ и твердомъ основаніи. Здѣсь, въ полномъ уединеніи, я отдохну скоро и сами собою придутъ благодатныя мысли...

А пока буду работать, буду рисовать и читать, готовить матеріалы для своей второй диссертации: со мною всѣ нужныя книги, со мною полотно и краски, а кругомъ прекрасная, могучая природа.

Время шло, прошелъ мѣсяцъ. Я чувствовалъ себя иногда легче, спокойнѣе.

Но все это было днемъ, на яву, а приходила ночь, я засыпалъ, и тутъ ужъ не могъ владѣть собою, тутъ ужъ не могъ отгонять Зину: она приходила какъ и въ далекое время моей первой юности, приходила сѣтлая и чистая, и вся душа моя рвалась къ ней навстрѣчу. Она говорила мнѣ что свободна, что послѣднее испытаніе окончилось, что тотъ человѣкъ, которому она продала себя и который стоялъ между нами, умеръ и что она теперь моя, на всю жизнь, безраздѣльно. «Въ тебѣ одномъ все мое спасеніе,—говорила она:—разбей мои цѣпи, прогони злыя чары, и мы будемъ счастливы!»

Я просыпался, еще весь полный блаженства, и невольно мечталось мнѣ: «да, вѣдь, можетъ-же это быть! Больной старикъ не вѣчень... и, если она тогда придетъ ко мнѣ, я спасу ее; о, тогда я спасу ее!»

Этотъ старикъ долгое время не имѣлъ для меня никакого значенія: я только недавно разглядѣлъ его; но теперь, почему-то онъ начиналъ представляться мнѣ единственною преградой, мнѣ казалось, что только его присутствіе и дѣлало меня слабымъ, а не будетъ его, и я вырву ее изъ мрака.

Но я не смѣлъ этого ждать... Да и придетъ-ли она тогда ко мнѣ?!

Бывали у меня и другіе сны, другія грезы. Иногда цѣлую ночь страшный кошмаръ душилъ меня; Зина являлась мрачная и ужасная, съ окровавленными руками, и говорила мнѣ: «я его убила!» Она простирала ко мнѣ свои руки, съ которыхъ струилась кровь, обнимала меня, и я захлебывался кровью, задыхался, рвался изъ ея объятій. Тогда, она брала ножъ и погружала его по рукоятку въ грудь мою. И я чувствовалъ что умираю, а она стояла надо мной и злобно смѣялась...

Я просыпался, я какъ безумный выбѣгалъ на воздухъ и бродилъ по горамъ, во мглѣ и сырости уже поздняго осенняго разсвѣта.

Какъ-то возвращался я домой. Тишина природы въ этотъ день на меня особенно успокоительно дѣйствовала.

Моя дверь, по обыкновенію, была не на запорѣ; сумерки уже совсѣмъ сгустились. Я вошелъ въ темную комнату, подошелъ къ столу, вынулъ спичку и зажегъ свѣчу. И вдругъ, въ нѣсколькихъ шагахъ отъ себя я увидѣлъ черную фигуру. Невольнымъ движеніемъ я отшатнулся, закрылъ глаза, открылъ ихъ снова.. фигура не пропадала.

Свѣча, медленно разгораясь, освѣщала ее больше и больше: на меня глядѣло блѣдное лицо Зины.

Я опять закрылъ глаза и схватился за голову: «призракъ!» подумалъ я... я ни на минуту не усомнился, что нахожусь снова

предъ галлюцинаціей. Мысль о возможности появленія живой Зины не приходила мнѣ въ голову, и тѣмъ болѣе, что ничто не нарушало тишины комнаты. Призракъ съ ужасающею ясностью, молча и неподвижно, стоялъ предо мной. Я нѣсколько разъ закрывалъ глаза и открывалъ ихъ, пока наконецъ совсѣмъ не разгорѣлась свѣча, и я не понялъ, что это живая Зина.

Вотъ она покачнулась и протянула мнѣ руку. Я едва не вскрикнулъ. Она прикоснулась ко мнѣ такою холодною рукой, была до такой степени страшно блѣдна, а глаза ея такъ неестественно холодно блестя, что въ ней ничего не было живого. Страхъ, паническій страхъ охватилъ меня, я выдернулъ отъ нея свою руку и бросился вонъ изъ комнаты. Но она успѣла удержать меня и наконецъ заговорила:

— Да ты, кажется, въ самомъ дѣлѣ принялъ меня за привидѣніе? Это я, живая, не бойся... Видишь, я исполнила свое обѣщаніе: я къ тебѣ пріѣхала...

Она сказала все это какимъ-то не своимъ голосомъ и продолжала дико и мертво глядѣть на меня. Отъ нея вѣяло такою смертью, и во всемъ этомъ появленіи ея было столько страшнаго, столько поднято было имъ во мнѣ невысимыхъ предчувствій, что я почелъ-бы себя счастливымъ, еслибъ это былъ призракъ только, привидѣніе, а не живая женщина.

— Зачѣмъ-же ты пріѣхала? Какъ ты пріѣхала? Гдѣ мужъ твой?

— Я тебѣ говорила, что пріѣду—и пріѣхала; я предчувствовала, что пріѣду. Мой мужъ умеръ, я одна.

— Умеръ!—закричалъ я, вздрогнувъ всѣмъ тѣломъ.—Умеръ?

— Да, умеръ,—прошептала она, медленно опускаясь въ кресло и продолжая смотрѣть на меня неподвижными глазами.

«Господи, что - же тутъ такого необыкновеннаго, что онъ умеръ, больной давно, старикъ? Не самъ-ли я по временамъ ожидалъ его скорой смерти? Отчего-же мнѣ такъ страшно смотрѣть на нее? Неужели я вѣрю своимъ снамъ, своему бреду?»

Дрожь пробѣгала по мнѣ все сильнѣе и сильнѣе, я не отрываясь глядѣлъ на Зину. Я чувствовалъ, какъ весь холодѣю, какъ стучать мои зубы, и начиналъ все яснѣе и яснѣе понимать, отчего я холодѣю, отчего мнѣ такъ страшно.

— Это ты его убилъ!—неожиданно для самаго себя произнесъ я и, шатаясь, схватился за стулъ, чтобы не упасть, но все-таки ни на секунду не оторвался отъ лица ея.

Она молчала, она оставалась такою-же блѣдною, каменною, спокойною.

— Отвѣчай мнѣ, отвѣчай мнѣ!—задыхаясь повторялъ я. Отвѣчай!..

Я подошелъ къ ней въ упоръ и положилъ ей на плечи свои руки.

«Сейчасъ, сейчасъ все рѣшится,—мелькнуло во мнѣ:—она скажетъ, но, что она скажетъ?»

Прошло нѣсколько страшно долгихъ мгновеній. Она все стояла передо мной, неподвижная, съ опущенными глазами. Но вдругъ ея щеки вспыхнули яркимъ румянцемъ.

— Такъ вотъ ты какимъ вопросомъ встрѣчаешь меня!—съ негодованіемъ произнесла она, высоко поднимая голову и блестя глазами.—Я спѣшила; спѣшила, нигдѣ не останавливаясь, чтобы сказать тебѣ: «бери меня—я твоя теперь» а у тебя нѣтъ для меня другого слова, кромѣ этого ужаснаго подозрѣнія?..

Глаза ея опять опустились, а изъ-подъ рѣсницъ блеснули слезы. Я отошелъ отъ нея, взялъ стулъ и сѣлъ рядомъ съ нею.

«Она сказала, она отвѣтила, я могу быть спокойнымъ. Я долженъ ей вѣрить, да и, наконецъ, я все-же не имѣю права подозрѣвать ее!»

Я не сталъ отъ нея требовать повторенія, не сталъ ни о чемъ ее разспрашивать, не оправдывался въ словахъ своихъ; я только ждалъ, что она дальше говорить будетъ.

И она заговорила.

— Онъ три дня былъ боленъ, очень мучился... Черезъ нѣсколько дней послѣ похоронъ я выѣхала...

«Что-жъ это?—думалъ я.—Что-жъ это все значить? Она свободна, она пріѣхала ко мнѣ, она ждетъ отъ меня спасенія, и теперь я могу, я долженъ спасти ее... мои лучшія мечтанія осуществляются... Теперь мы можемъ быть счастливы. Отчего-же я такъ несчастливъ?»

— Зина, зачѣмъ ты ко мнѣ пріѣхала?—спросилъ я.

Она взяла мою руку своими холодными дрожащими руками, она слабо, какъ-то жалко мнѣ улыбнулась.

— Куда-же мнѣ было ѣхать? Я здѣсь, потому что люблю тебя, потому что не уйду теперь отъ тебя никуда. Теперь я имѣю право на тебя, теперь я не стану тебя мучить; ты увидишь—я совсѣмъ другая. О, я знаю, знаю, какъ я страшно предъ тобой виновата! Да, вѣдь, все можно забыть, все забывается. Скажи мнѣ: вѣдь, правда, вѣдь, все забывается?—усиленно переспросила она.—Вѣдь, ты забудешь самъ и поможешь мнѣ забыть? Я искуплю всѣ вины мои. Я говорю тебѣ, ты меня не узнаешь. Я ужъ слишкомъ много пережила и измучилась... такъ нельзя больше!.. Какое хочешь назначъ мнѣ испытаніе... ты увидишь... Я не для твоего мученья пріѣхала, а для твоего счастья.

Она робко, боязливо, какимъ-то страннымъ стыдливымъ движеніемъ поднесла мою руку къ своимъ губамъ и стала цѣловать ее.

Но я не былъ счастливъ, у меня сдавливало грудь, мнѣ дышать было нечѣмъ.

Мы замолчали. Я отвелъ отъ нея глаза и увидѣлъ тутъ-же, въ моей первой комнатѣ, большой сундукъ, сакъ-вояжъ, пледъ, картонку. Она пріѣхала, очевидно, прямо сюда ко мнѣ, значить надо было подумать о томъ, какъ ей устроиться.

Уныло вышелъ я изъ комнаты и крикнулъ madame Brochet. Та немедленно явилась.

— Вотъ моя родственница пріѣхала,—сказалъ я:—ее/ какъ-нибудь устроить здѣсь нужно.

Madame Brochet привѣтливо улыбнулась Зинѣ. Она ужъ видѣлась съ нею до моего прихода.

— Eh, monsieur, mais j'ai déjà pensé à tout. Я сейчасъ сообразила; и, по счастью, мы можемъ хорошо устроить madame, конечно, если только она удовольствуется одною комнатою. Пойдемте, я покажу вамъ.

Зина поднялась, и мы пошли за madame Brochet.

Она дѣйствительно ужъ обо всемъ подумала, потому что комната была прибрана, и даже на окнахъ появились бѣлоснѣжныя занавѣски.

— Ну вотъ, какъ тебѣ нравится?—все также уныло спросилъ я Зину.—Если тебѣ неудобно здѣсь, возьми мои двѣ комнаты, а я перейду въ эту.

— Съ какой стати,—тоже уныло отвѣчала Зина:—здѣсь отлично.

Черезъ полчаса ея вещи были перенесены, и она разбиралась. Я присутствовалъ при этой разборкѣ и помогаль ей.

Вотъ она потребовала кипятку, вынула привезенный ею чай, налила себѣ и мнѣ и даже снесла чашку madame Brochet, приглашая ее попробовать du thé russe.

Комнатка была такая чистенькая, свѣтлая, съ блѣдно-зелеными обоями и изобиліемъ кисей. Вечеръ чудесный, лунный; изъ окна видѣлось озеро и далекіе, неясные силуэты горъ. Не разъ уже грезилось мнѣ все это; такая-же свѣтлая комнатка, такой-же лунный вечеръ, такое-же озеро и горы; и Зина разбирающаяся послѣ дороги, и чашка душистаго чая; свиданье послѣ долгой разлуки; любовь, и свобода, и счастье. Вотъ эти грезы превратились въ дѣйствительность, вотъ все это предо мной. И разлука окончена, и Зина свободна, и пріѣхала ко мнѣ для того, чтобы никогда отъ меня не уѣхать,—любовь и счастье! Но мнѣ страшно, уныло теперь все это, и я избѣгаю смотрѣть на Зину. И она смотреть такъ странно.

Вотъ она подсѣла ко мнѣ, обняла меня одною рукою, а другою машинально мѣшаетъ ложкой въ чашкѣ чая. Вотъ она говоритъ много, говоритъ все такія хорошія вещи. Она вспоми-

наетъ самая лучшія, самая свѣтлая минуты нашей общей жизни,— ихъ было мало, но все-же онѣ были и она ихъ вспоминаетъ. Она общается мнѣ, что такихъ минутъ теперь будетъ много, и при этомъ страстно, горячо цѣлуетъ меня. Мнѣ душно, я задыхаюсь. Я говорю ей, что ужъ поздно, что она устала съ дороги, прощаюсь съ нею, и спѣшу отъ нея, весь въ лихорадкѣ, съ горящею головою, съ останавливающимися мыслями.

XX.

Я проснулся довольно поздно и въ первую минуту не могъ сообразить, что такое случилось со мною,—зналъ только, что что-то очень страшное.

«Она его убила», наконецъ, мелькнуло въ головѣ моей. Или все это во снѣ?... Какой вздоръ, какіе пустяки... онъ умеръ... Нужно удивляться какъ еще до сихъ поръ прожилъ съ такою болѣзью.

Я поспѣшно одѣлся и постучался въ дверь Зины. Она тоже была ужъ совсѣмъ готова; мы вышли съ ней на воздухъ. Утро было свѣжее,—осеннее утро. Мы пошли въ bois de Sauvabelin. Деревья ужъ пожелтѣли, покраснѣли и медленно осыпались; инья были совсѣмъ красныя съ темнымъ отливомъ. Ночью шелъ дождь и теперь еще по небу неслись тучи, но вдали разясняло. Насъ охватывалъ осенній запахъ; подъ ногами нашими шелестѣли завядшіе листья. Мы пошли по дорогѣ къ озеру.

Я не разъ рассказывалъ Зинѣ объ этомъ моемъ любимомъ мѣстѣ. Я помню, какъ она клялась мнѣ, тогда, до своей ужасной свадьбы, въ присутствіи мама, что рано или поздно будетъ здѣсь идти со мною: и вотъ она идегъ, а мы молчимъ, но молчимъ не отъ полноты чувства, а потому, что странно и не о чемъ говорить намъ. Если-бы Зина не заговорила, я-бы кажется такъ и вернулся домой, не проронивъ ни слова. Но она внезапно оживилась, даже легкій румянецъ показался на щекахъ ея. Она начала усиленно восхищаться окружающимъ, вдыхать въ себя свѣжій, чистый воздухъ. Наконецъ, она остановилась и пристально стала глядѣть на дальнія горы.

— Гдѣ-же Монбланъ? Покажи мнѣ!—сказала она.

— Вонъ, смотри, тамъ лѣвѣй! Кстати теперь кругомъ ясно. Онъ хорошо виденъ.

Она повернула голову по направленію руки моей.

— Гдѣ? Гдѣ? Вотъ это?

И вдругъ она задрожала, судорожно оперлась о плечо мое, и вся блѣдная взглянула на меня испуганными, страшно раскрытыми глазами.

— Это?—задыхаясь спросила она. — Смотри, ты ничего не видишь? Смотри, ты ничего не замѣчаешь? На что похожа эта гора, эта бѣлая вершина? Вѣдь, это лицо, лицо... вѣдь это мертвецъ! Онъ лежитъ бѣлый, страшный...

— А ты развѣ никогда не слыхала,—отвѣтилъ я:—что вершина Монблана дѣйствительно похожа на лицо лежащаго человѣка.

Я сказалъ это спокойнымъ голосомъ, но въ то-же время у меня холодѣла кровь въ жилахъ: «какъ она испугалась!» Но она уже справилась съ собою. Мы пошли дальше.

Она довольно обстоятельно начала мнѣ рассказывать всѣ подробности происшествій этого послѣдняго времени. Наконецъ, она произнесла имя Рамзаева, и снова мнѣ показалось, что дрогнула рука ея у моего локтя.

— Что-жъ, рѣшилась ты навсегда развязаться съ этимъ человѣкомъ?.. Или, можетъ быть, у васъ продолжаются общія дѣла? Будешь получать отъ него письма?

— Ахъ, не говори мнѣ о немъ, не говори, ради Бога!—быстро перебила она.—Ради Бога, не говори о немъ, я не хочу и думать, и, конечно, ничего общаго нѣтъ между нами!

Въ эту прогулку мы все окончательно рѣшили: мы проживемъ здѣсь мѣсяцъ, потомъ вернемся въ Россію. Зина окончить всѣ дѣла по наслѣдству отъ мужа, потомъ поѣдемъ опять путешествовать; гдѣ-нибудь въ Германіи или здѣсь, въ Женевѣ, обвѣнчаемся. Послѣдніе зимніе мѣсяцы и весну проведемъ въ Парижѣ, а лѣтомъ поѣдемъ въ деревню.

И опять такъ, какъ и вчера, хотя мы все рѣшили, но я ничему не вѣрилъ.

Прошло нѣсколько дней. Съ утра и до поздняго вечера мы не разлучались ни на минуту. Мы предпринимали большія прогулки въ коляскѣ и верхомъ на осликахъ, въ горы. Зина не только не капризничала, не мучила меня, но казалась совсѣмъ новымъ существомъ. Она была теперь какая-то тихая, робкая, никакого блеска не могъ замѣтить я въ глазахъ ея, на губахъ не появлялась прежняя страшная для меня усмѣшка.

Часто глядѣла она съ грустною нѣжностью. Она обращалась со мной такъ бережно, она вслушивалась въ каждое мое слово. Даже самыя ласки ея были не прежнія: она больше не жгла меня ими, она тихо брала меня за руку, тихо наклонялась ко мнѣ, какъ будто не смѣя поцѣловать меня, какъ будто спрашивая меня, позволю-ли я ей это. Въ ней было теперь что-то дѣтское, робкое.

Иногда, мгновеніями, я забывался; иногда мнѣ удавалось поймать это счастье, котораго такъ долго и такъ жадно искалъ я:

но эти мгновенья быстро проходили и опять та-же тоска давила меня, и опять стояла предо мной неразрѣшимая вѣчная загадка.

И Зина видѣла и понимала мое состояніе. Я часто подмѣчалъ, что она пристально въ меня всматривается и потомъ задумывается, соображаетъ что-то. Она употребляла все усилія прогнать тоску мою, заставить меня забыть все смущающее и тревожное.

Вдругъ ея обращеніе со мной измѣнилось, ея робость и тихая нѣжность исчезли...

Послѣ долгой и тоскливой прогулки мы вернулись домой. Въ домикѣ madame Brochet все затихло. Было ужъ поздно, но мы не зажигали свѣчи и сидѣли облитые голубою мглой, теплымъ луннымъ свѣтомъ, врывавшимся въ окна.

— Ты меня не любишь, André, ты меня не любишь!—вдругъ отчаяннымъ глухимъ голосомъ прошептала Зина, прижимаясь ко мнѣ и схватывая меня горячими, дрожащими руками. — Ты меня не любишь!—повторяла она:—а я, Боже мой, какъ люблю тебя!.. Что-же это такое, Андрюша? Неужели теперь я обманулась.. неужели ты измѣнился, и я уже не нужна тебѣ?.. Такъ скажи, говори... Я не вынесу этого сомнѣнія.

Она все крѣпче и крѣпче жалась ко мнѣ, меня жгло ея дыханіе. Все забывалось... Я видѣлъ только въ голубомъ туманѣ милое лицо ея, и оно казалось мнѣ не такимъ, какимъ было въ эти послѣдніе годы, а прежнимъ, почти дѣтскимъ.

Мнѣ чудились длинныя, черныя косы, какъ она носила тогда, въ Москвѣ и въ Петровскомъ. Слышались сладкія слова ея перваго признанія, десять лѣтъ тому назадъ, въ такой-же лунный вечеръ...

Я задышался.

— Андрюша, если любишь меня, такъ, вѣдь, я твоя... возьми меня!—едва слышно прошептала Зина.

XXI.

Мы оставили проводника и нашихъ осликовъ въ тавернѣ и пошли бродить по извилистой горной тропинкѣ. Надъ нами поднимались скалы, а дальше, внизу, громадная панорама—съ одной стороны Женевское озеро, съ другой—селенія долины Арвы и Роны. Свѣжій вѣтеръ поднялся и гналъ облака, которыя клубились внизу у ногъ нашихъ.

Зина крѣпко опиралась на мою руку. Она была очень блѣдна, ея глаза совсѣмъ потухли. Мы все это утро обмѣнивались только незначительными фразами. Наконецъ я почувствовалъ, что больше никакъ не можетъ это продолжаться, что нужно

наконецъ все кончить, но какъ кончить, что кончить, что нужно — я ничего не зналъ и мы долго шли молча, скоро, какъ будто спѣшили куда-нибудь къ опредѣленной цѣли. Вотъ опять поворотъ дорожки, вотъ огромный камень, наклонившійся надъ пропастью, вотъ еще нѣсколько разбросанныхъ камней, на которыхъ кое-гдѣ вырѣзаны имена путешественниковъ, отдыхавшихъ здѣсь.

— Что это какъ я устала сегодня! — проговорила Зина, оставляя мою руку и садясь на одинъ изъ камней.

Я остановился предъ нею. Она подняла на меня усталые, унылые, безжизненные глаза. Я зналъ, что сейчасъ случится наконецъ то, что порветъ эту невыносимую жизнь послѣднихъ дней, которую даже страсть не могла скрасить.

— Зина, понимаешь ты, что, вѣдь, нельзя жить такъ? — наконецъ, сказала я, опускаясь возлѣ нея на камень.

— Понимаю, — робко и не глядя на меня, шепнула она.

— Что-жъ это значить? Отчего это, отчего такая тоска, отчего, несмотря на все, мы такъ несчастливы?

— Я не знаю, — еще болѣе робкимъ голосомъ и еще ниже опуская голову, проговорила она.

— Нѣтъ, ты знаешь, Зина, ты знаешь!

Я схватилъ ее за руки.

— Смотри на меня, смотри мнѣ въ глаза!

Она съ усиленіемъ подняла глаза и все-таки не могла взглянуть на меня.

— Смотри на меня, — отчаянно говорилъ я, сжимая ея руки: — отвѣчай мнѣ, ты его убила?

Она задрожала всѣмъ тѣломъ, она вырвала у меня свои руки и схватилась ими за голову. Мнѣ показалось, что скалы, висящія надъ нами, обрываются, мнѣ показалось, что земля уходитъ изъ-подъ ногъ нашихъ и что мы летимъ въ пропасть. Стоя въ вырвалъ изъ груди моей, но я оставался неподвижнымъ.

Зина бросилась на мокрую траву къ ногамъ моимъ.

— André, послушай меня — все-же не я его убила! О, послушай меня; да, нужно чтобы ты все зналъ. Я думала, что можно скрыть это, я думала нужно скрыть это, я думала, что возможно счастье. Я не могла и не смѣла, мнѣ казалось, что я не имѣла права, не должна была говорить тебѣ, но теперь вижу, что ошиблась. О, какое безуміе! Какъ будто я не знала давно, всю жизнь, что скажу тебѣ все. Теперь, значить, пришелъ этотъ день, этотъ часъ; слушай-же меня, слушай.

И я слушалъ, и я все не могъ пошевелиться, и все мнѣ казалось, что со всѣхъ сторонъ скалы летятъ на насъ и что мы ужъ задыхаемся подъ ними. И я слушалъ съ напряженнымъ

вниманіемъ и не проронилъ ни одного звука, и каждый звукъ ударялъ на меня какъ громадный камень.

— Не я его убила, — слышалъ я страшный голосъ:—только нѣтъ, все равно я... Я, конечно! Зачѣмъ ты тогда уѣхалъ? Вѣдь, я говорила тебѣ, что ты не знаешь, для чего ѣдешь! Ты могъ еще спасти меня; да, ты могъ... Вѣдь, ужъ все тогда было почти рѣшено, а ты ничего не понялъ, хотъ и предчувствовалъ что-то страшное... Помнишь, какъ я тебя мучила Рамзаевымъ, помнишь, какъ ты боялся за меня; ахъ, ты, кажется, ревновалъ его, ты не зналъ, что онъ мнѣ для другого нуженъ. Онъ, этотъ дьяволъ, онъ все сдѣлалъ. Ты, вѣдь, не знаешь, какъ часто я съ нимъ видѣлась. О, онъ меня понялъ, онъ зналъ какъ говорить со мною, онъ зналъ чего мнѣ было нужно... Вѣдь, тѣ два года, что я прожила съ мужемъ въ деревнѣ, я совсѣмъ задыхалась, я сдѣлалась какъ помѣшанная. Ты и представить себѣ не можешь, что такое была за жизнь! Не разъ я порывалась убѣжать, но убѣжать было не легко. Ты не зналъ его, онъ былъ вовсе не такъ ужъ мягокъ, какъ это казалось, онъ отлично забралъ меня въ руки. Знаешь-ли ты, что незамѣтно для меня самой всѣ даже мои крошечныя средства оказались у него, и я сама ровно ничего не имѣла: мнѣ не съ чѣмъ было бѣжать. Какъ-же бы я убѣжала, куда? Къ тебѣ, но я помыслить не могла объ этомъ, ты былъ для меня ужъ не живымъ человѣкомъ, я мечтала иной разъ о тебѣ и только... Не понимаю до сихъ поръ, какъ потомъ, по прїѣздѣ въ Петербургъ, рѣшилась я придти къ тебѣ... Тогда, выйдя за него, я думала, что буду совершенно свободна; его громадное состояніе мнѣ представлялось ужъ моимъ состояніемъ. А вдругъ онъ запуталъ меня, обернулъ меня такъ скоро, такъ неожиданно, что я и очнуться не могла и не сумѣла вырваться. Онъ только обѣщалъ мнѣ скоро умереть... сулилъ тогда полную свободу!.. Но онъ не умиралъ, а пойми-же ты, что мнѣ нужна была воля... Я, вѣдь, тысячу разъ тебѣ это повторяла...

«Теперь у нея есть воля, что-жъ она пришла ко мнѣ?» — мелькнула у меня и сейчасъ-же прошла эта мысль. Я опять слушала и опять скалы давили меня.

— Что-жъ мнѣ оставалось, еслибъ я рѣшилась убѣжать отъ него?—продолжала она.—Вѣдь, мнѣ оставалось только явиться въ Петербургъ, показаться въ ложѣ и на другой день продать себя какому-нибудь другому старику и еще на худшихъ условіяхъ—мнѣ не того было нужно!.. Вотъ онъ, наконецъ, заболѣлъ. Я видѣла, что его болѣзнь серьезна. Ты знаешь все, что тогда было. Я ждала день за днемъ, недѣля за недѣлей, ты видѣлъ... ты видѣлъ, что онъ все поправлялся. Если-бы только

зналъ ты какъ иногда я его ненавиждѣла!.. А тутъ пришелъ тотъ дьяволъ и разсказалъ мнѣ все, что я думаю и чего я желаю... Конечно, онъ притворился въ меня влюбленнымъ. Онъ началъ увѣрять меня, что мнѣ стоитъ сказать ему одно только слово и онъ для меня на все готовъ: онъ сдѣлаетъ все, онъ пойдетъ на всякое преступленіе. Я сначала посмотрѣла на все это какъ на вздоръ, я забавлялась его словами, его глупой ролюю...

— И ты мнѣ ничего не сказала! И ты могла слушать и его и меня?—не знаю выговорилъ-ли я это вслухъ или только подумалъ, но все равно она отвѣтила:

— Я не прогнала его, я его слушала! И онъ добился того, что я стала слушать его все внимательнѣе. Онъ умѣлъ именно тогда являться, когда я была въ раздраженномъ состояніи, когда я особенно не могла равнодушно глядѣть на мужа. Онъ являлся и пѣлъ все ту-же пѣсню на разные лады, онъ видѣлъ и понималъ, какъ я начинаю его слушать. Одного только онъ боялся—тебя... но ты самъ уѣхалъ! Ты убѣждалъ и оставилъ меня ужъ совсѣмъ въ рукахъ его... О, какъ все это невыносимо, какъ страшно вспоминать объ этомъ! Онъ какъ будто околдовалъ меня. Послѣ тебя онъ являлся все чаще и чаще: цѣлые дни проводилъ у насъ и все твердилъ, твердилъ одно и то-же. И я сходила съ ума все больше и больше. Зачѣмъ, для чего я сказала ему, что между мной и тобой все кончено—не знаю; только я сказала... Вотъ, наконецъ, онъ увѣрился въ томъ, что если я соглашусь только, такъ буду совсѣмъ ужъ въ рукахъ у него, и согласилась... и мнѣ казалось, что я согласилась...

Ея голосъ оборвался, и она замолчала. Не знаю откуда взялъ я силы, но только я взглянулъ на нее. Я никогда не могъ себѣ представить ничего болѣе страшнаго, какъ лицо ея въ эти минуты. И между тѣмъ, на этомъ ужасномъ, преступномъ лицѣ въ то же самое время мелькала знакомая, жалкая дѣтская мина: и между тѣмъ, несмотря на весь мой ужасъ, на отвращеніе и ненависть, я чувствовалъ... съ невыносимымъ отчаяніемъ и позоромъ... я чувствовалъ, что мнѣ ее жалко.

— Я согласилась...—начался опять ея невыносимый шепотъ:— Я видѣла, что онъ поправляется, что онъ не умретъ этою зимой и ни за что меня отъ себя не отпуститъ. А я не могла больше выносить его, я не могла безъ отвращенія, безъ отчаянной и дикой злобы войти въ его комнату. Дьяволъ былъ тутъ—же, онъ все зналъ; я при немъ громко думала. Сначала онъ все продолжалъ увѣрять меня въ любви своей, объяснять все любовью. Онъ все говорилъ: «скажите одно слово—и черезъ нѣсколько дней вы свободны, и я пойду за вами куда хотите, я удовлетворю всѣмъ вашимъ желаніямъ, ваша воля будетъ закономъ!..»

Но я могла только хохотать на эти безумные слова: онъ хотѣлъ освободить меня для того, чтобы закабалить снова!.. Наконецъ онъ увидѣлъ, что этимъ ничего не возьметъ и вотъ тогда-то онъ высказался. Онъ снова повторилъ, «шепните только—и я возьму все на себя». Но для того, чтобы все взять на себя, ему ужъ теперь не нужно было моей любви, ему не нужно было идти за мной, чтобы исполнять всѣ мои капризы; ему нужно было только половину состоянія мужа, и не знаю, онъ, можетъ быть, думалъ, что потомъ все равно заберетъ меня въ руки, запугаетъ, что я изъ страха буду связана съ нимъ на вѣки... И я опять его слушала... опять слушала еще внимательнѣе и наконецъ сказала это слово!.. то-есть нѣтъ, я не сказала его, но онъ понялъ—это было все равно, что я и сказала, и онъ сдѣлалъ... Я все видѣла, все знала и молчала. Я знаю когда, въ какую минуту все это было; я ужаснулась, я хотѣла было все уничтожить, но взглянула на него — на старика... Если-бы ты видѣлъ, какое у него было тогда лицо, если-бы ты видѣлъ, какъ онъ тогда смотрѣлъ на меня... ничего не осталось кромѣ отвращенія, и я не шевельнулась. И вотъ потомъ, потомъ, цѣлыхъ два дня я была возлѣ него, я смотрѣла, я слышала какъ онъ стонетъ; я знала, почему онъ стонетъ, я знала, чѣмъ это кончится, и я все молчала. И дьяволъ былъ тутъ-же, и дьяволъ все видѣлъ и все слышалъ... Ахъ, какіе были эти два дня!

— И никто ничего не узналъ, никто не догадался?—вырвалось у меня, хоть я, конечно, не могъ объ этомъ думать теперь и не могъ этимъ интересоваться.

— Никто ничего не узналъ. Какъ было догадаться? Ты помнишь мнѣніе доктора, вѣдь, онъ говорилъ, что это можетъ случиться вдругъ, очень быстро. Тотъ все отлично устроилъ, такъ что меня ничѣмъ не тревожили — хлопоталъ, вертѣлся, все такъ быстро обдѣлалъ. Когда все кончилось, онъ ужъ совсѣмъ не отходилъ отъ меня, не отпускалъ меня, слѣдовалъ за мной по пятамъ, говорилъ... о, что онъ такое говорилъ!.. И знаешь-ли, что была минута, когда я подумала, что такъ оно и будетъ, что я теперь съ нимъ связана, что мы теперь одно и пойдемъ внѣстѣ. Но это была только минута. Я поняла наконецъ все, я поняла весь этотъ ужасъ, я поняла, что такое сдѣлала, и вотъ тогда-то я тебя увидела. Ты явился мнѣ снова; я рѣшилась обѣжать къ тебѣ за смертью... И вотъ, когда я сюда ѣхала, я все думала, думала, и мнѣ снова стало казаться, что можетъ-быть и не смерть, что можетъ все забыться, что, можетъ быть возможно и наше счастье, что легко мнѣ будетъ обмануть тебя, что я всею жизнью, каждымъ мгновеніемъ выкуплю все это. Я пріѣхала и стала тебя обманывать, но, ты знаешь, не обманула.

Кончай-же скорѣе! Вотъ я... тутъ... я не шевельнусь! Что-жъ мнѣ дѣлать! Я въ твоей волѣ...

Она замолчала, она наклонилась ко мнѣ, подняла на меня глаза, полные слезъ, скрестила на груди руки. Я смотрѣлъ, смотрѣлъ на нее—это была воплощенная Магдалина. Но, Боже мой, вѣдь, это она призналась, вѣдь, это она говорила, это ужъ не сонъ! Развѣ это можетъ быть смыто и уничтожено? И я все глядѣлъ на нее, и вдругъ мнѣ начало казаться что-то новое... мой ужасъ, мое отвращеніе проходили... Куда-же она пойдетъ теперь? Если я ее оставлю, ей идти некуда... Я глядѣлъ на нее и теперь-то я ужъ не могъ обмануться, теперь-то я читалъ въ душѣ ея: вся душа выражалась у нея на лицѣ. Это лицо не могло лгать, эти глаза не могли лгать, и я видѣлъ, какъ съ каждою секундой спадаетъ и исчезаетъ весь мракъ, весь ужасъ, остается только одна тоска, одно страданье, одно раскаяніе. Она пришла ко мнѣ за смертью! Но развѣ возможна теперь смерть? Теперь нужна жизнь больше чѣмъ когда-либо, и теперь придетъ истинное возрожденіе.

— О, какое страшное нужно было испытаніе для того, чтобы вырвать тебя изъ мрака!—вдругъ зарыдалъ я, простирая къ ней руки.—Но все-же ты вырвана! Не за смертью пришла ты ко мнѣ... живи. Будемъ жить для того, чтобы жизнью своею искупить все это прошлое... Все пройдетъ, все очистится, все простится, — живи!

Какъ будто лучъ яркаго свѣта зажегся мгновенно въ лицѣ ея, какъ будто чистая душа засвѣтилась въ немъ и она, живое воплощеніе сновъ моихъ, съ громкимъ благодатнымъ рыданіемъ кинулась къ ногамъ моимъ. Я самъ склонился надъ нею, и мы оба рыдали; но скалы ужъ не давили насъ, а разступались предъ нами. Туманъ расходился, облака таяли, надъ снѣгами горныхъ вершинъ проглянуло солнце.

XXII.

Я обѣщалъ ей искупленіе и новую жизнь, я страстно повѣрилъ въ возможность этого. Нѣсколько часовъ продолжался мой порывъ, мое лихорадочное возбужденіе; но уже въ тотъ-же вечеръ я почувствовалъ, что тяжесть послѣдняго времени вовсе не спала съ меня, что мучительное признаніе Зины не спасло ни ее, ни меня. .

О, какіе страшные дни потянулись! Никогда еще во всю жизнь мою, въ самыя невыносимыя минуты, не бывало на душѣ у меня такого ужаса! Сначала мною овладѣло безпокойство. Мнѣ вдругъ начало казаться, что я не одинъ съ Зиной, что между нами постоянно есть кто-то, или вѣрнѣе что-то чужое,

лишнее и отвратительное. И это что-то постепенно стало окружать меня со всѣхъ сторонъ, давить. Мое безпокойство возростало съ каждымъ часомъ. Ночью иногда мнѣ удавалось заснуть; но и во снѣ мелькалъ отвратительный призракъ. Наконецъ панический страхъ охватилъ меня, я не смѣлъ оставаться одинъ, не смѣлъ оглянуться. Я жался къ Зинѣ, не покидалъ ее ни на минуту.

Но я не хотѣлъ и не могъ говорить ей о своемъ состояніи, я не долженъ былъ пугать ее, — вѣдь, я общалъ ей возрожденіе, она ждетъ его отъ меня!..

Она мнѣ шепчетъ:

— Веди меня, теперь я всюду пойду за тобой... спаси меня! Я не могу такъ жить... я задыхаюсь... я знаю, что всею жизнью нужно смыть этотъ ужасъ... такъ скорѣе-же, скорѣе говори мнѣ, что нужно дѣлать!? Чѣмъ труднѣе, чѣмъ невозможнѣе, тѣмъ лучше, тѣмъ я буду спокойнѣе...

Я не зналъ, куда вести ее и что указать ей. Я говорилъ ей о честной жизни, о добрѣ и пользѣ, и самъ понималъ, что говорю совсѣмъ не то, и самъ не вѣрилъ въ слова свои. Я рассказывалъ ей о грезахъ, о волшебныхъ снахъ моей юности, о томъ, какою являлась она мнѣ тогда, о счастья, которое она съ собою приносила. Но я видѣлъ, что ничего не умѣю передать ей, что она меня не понимаетъ. Да и для меня самого эти старые сны теперь вдругъ потеряли свое прежнее значеніе, поблѣднѣли, расплылись. Я не могъ ужъ поймать ихъ главнаго смысла — онъ ускользалъ отъ меня.

Бывали минуты, когда я, безсильный и совсѣмъ измученный, хотѣлъ бѣжать куда-то дальше, какъ можно дальше, на край свѣта; но сейчасъ-же и соображалъ, что тоска и страхъ, и отвратительный призракъ будутъ всегда и вездѣ стоять между мною и Зиной. А бѣжать безъ нея, бѣжать отъ нея я не могъ; я, попрежнему, даже еще больше, еще безумнѣе любилъ ее. Только тогда, въ началѣ ея признанія, она представилась мнѣ страшною и преступною. Потомъ-же я ни на минуту не винилъ ее, не связывалъ съ нею ничего ужаснаго. Она была мнѣ жалка: и чѣмъ больше я чувствовалъ свое безсиліе помочь ей, тѣмъ дороже и дороже она мнѣ становилась.

Мы доживали послѣдніе дни въ Лозаннѣ. По настоянію Зины, я началъ ее портретъ, и въ этой работѣ кое-какъ убивалъ время.

Пришло письмо отъ мама. Я всегда такъ радовался этимъ письмамъ; но теперь прочелъ машинально и сейчасъ-же забылъ, что такое она мнѣ пишетъ.

Зина почти каждый день получала дѣловыя письма, и мы всегда вмѣстѣ ихъ читали. Почтальонъ обыкновенно приносилъ ихъ утромъ и отдавалъ ей прямо въ руки. За нѣсколько дней

до нашего отъезда я самъ видѣлъ какъ онъ принесъ и передалъ ей три письма... и вдругъ у нея ихъ оказалось только два.

— Право, у тебя въ рукахъ три письма было,—сказалъ я:—ужъ не получила-ли ты письмо отъ Рамзаева... такъ покажи мнѣ!

— Вотъ все, что я получила,—спокойно отвѣтила мнѣ Зина, протягивая два письма.

Этотъ разговоръ такъ и кончился между нами. Не могъ-же я въ самомъ дѣлѣ заподозрить, что она что-нибудь отъ меня скрываетъ. Значитъ, мнѣ просто показалось.

Прошло еще три дня. Зина объявила мнѣ, что съѣздитъ въ Женеву купить передъ дорогой необходимыя вещи. Я, конечно, предложилъ проводить ее, но она отказалась, очень спокойно доказавъ, что мнѣ не мѣшаетъ остаться дома и поработать надъ портретомъ, иначе онъ не будетъ готовъ къ нашему отъезду. Я остался. Она уѣхала рано утромъ. Проводивъ ее до парохода, я принялся за работу.

Прошелъ часъ; я усиленно работалъ, и вдругъ мнѣ стало какъ-то тяжело и неловко. Я старался успокоиться и уйти въ свою работу, но это мнѣ не удалось. Напротивъ, тоска давила меня больше и больше. Я не зналъ, что дѣлать съ собой. Я ни въ чемъ не могъ подозрѣвать Зину, а между тѣмъ мнѣ казалось, что у меня безсознательно явились какія-то подозрѣнія; словомъ, я просто не зналъ что со мною, только видѣлъ что долженъ что-то сдѣлать.

Я одѣлся и отправился въ Женеву. Она мнѣ сказала что, можетъ быть, запоздаетъ въ городѣ, что вернется послѣ обѣда, и что въ такомъ случаѣ будетъ обѣдать въ Hôtel Métropole. Прямо туда я и поѣхалъ, но ея не засталъ. Впрочемъ, времени еще достаточно, обѣдаютъ черезъ часъ. Искать ее по магазинамъ невозможно, я вернусь сюда черезъ часъ: она навѣрное здѣсь будетъ.

Я пошелъ по набережной, вошелъ въ садъ и сталъ бродить тамъ по прежнему смущенный и волнуемый. Погода въ этотъ день стояла прекрасная, но все-же въ саду было очень пусто. Я повернулъ за уголъ одной дорожки и остановился: въ нѣсколькихъ шагахъ отъ меня, на скамейкѣ, сидѣла Зина съ какимъ-то челоуѣкомъ. Съ какимъ-то!.. Нѣтъ, я сразу его узналъ: это былъ Рамзаевъ.

Сначала я не повѣрилъ глазамъ своимъ, я не пошевелинулся, чувствовалъ только, какъ внутри у меня все холодѣетъ. Ни отчаянія, ни злобы, ничего не было: мнѣ, кажется, я тогда ничего не чувствовалъ, ни о чемъ не думалъ. Я только машинально повернулъ назадъ и тихо-тихо сталъ оглядывать дорожку.

Какъ-то безсознательно соображалъ я, что можно такъ обойти и такъ къ нимъ приблизиться, что они не будутъ меня видѣть, а я буду ихъ слышать: за скамейкой гдѣ они сидѣли, были густые кусты, еще не совсѣмъ осыпавшіеся, а за этими кустами что-то въ родѣ бесѣдки. Тамъ есть тоже скамейка, и оттуда будетъ слышно все... Тихо, едва переводя дыханіе, забрался я въ бесѣдку, сѣлъ на скамью и сталъ слушать.

Я не обманулся. Вотъ... вотъ слышу я голосъ Зины, не могу только разслышать что говоритъ она. Но сейчасъ все буду слышать... вотъ теперь говоритъ онъ. И даже при звукѣ этого отвратительнаго голоса я не вздрогнулъ, я остался такимъ-же спокойнымъ, я только внимательно, всѣмъ существомъ своимъ слушалъ.

— Да, вѣдь, вы себя обманываете,—говорилъ онъ: — и я, право, удивляюсь вамъ: это какой-то новый капризъ, но онъ пройдетъ такъ-же скоро, какъ и все, и тогда увидите, что будетъ еще хуже. Вѣдь, я хорошо его знаю: ну, развѣ онъ—этотъ фантазеръ, мечтатель,—развѣ можетъ онъ наполнить жизнь вашу? Развѣ то вамъ было нужно и для того вы освободились?

— Прошу васъ,—тихо перебила его Зина:—не говорить объ André; я сама знаю, что дѣлаю, и не вамъ вмѣшиваться въ мою жизнь. Если я согласилась встрѣтиться съ вами и если я васъ слушаю, то это только по необходимости.

— Я ни во что не вмѣшиваюсь и кажется ничего дурного не говорю про него,—опять раздался отвратительный, вкрадчивый голосъ:—но согласитесь, что я имѣю право высказать вамъ свои мысли, тѣмъ болѣе, что вы меня до такой степени удивили, что я едва могу придти въ себя. Вамъ вольно сейчасъ-же перестать слушать, встать и уйти отсюда, но я все таки-же вамъ повторяю, что эта новая ваша жизнь, какъ вы говорите, не будетъ продолжительна. Господи Боже мой, вы и André! Вы не могли вынести неволи, деспотизма старика, ну а деспотизмъ André посильнѣе! Черезъ мѣсяцъ какой-нибудь вы не будете знать сами куда дѣваться: онъ станетъ вамъ навязывать свои мысли, будетъ заставлятъ васъ восхищаться всѣмъ тѣмъ, чѣмъ онъ самъ можетъ восхищаться; преклоняясь передъ вами и называя васъ богиней, сдѣлаетъ васъ рабой своею... Помню, вы говорили когда-то о какой-то необычайной, неземной любви къ вамъ! Знаете-ли, подъ отличными словами все скрыть можно... Какая такая неземная любовь—просто высшая степень эгоизма! Не для васъ, а для себя онъ васъ любитъ, и попробуйте, докажите мнѣ, что я не правъ въ этомъ!.. Это очень легко сдѣлать: вамъ стоитъ только заявить ему о какомъ-нибудь своемъ собственномъ желаніи, о чемъ-нибудь такомъ, что будетъ не по немъ, вамъ стоитъ погладить его противъ шерсти, ну, тогда и

увидите, какъ онъ васъ любитъ! Тогда и конецъ всей этой неземной вашей жизни!

Рамзаевъ засмѣялся... а она молчала и слушала.

Тихо поднялся я со скамейки, вышелъ изъ сада и, не заходя въ Métropole, поѣхалъ домой.

XXIII.

Соображать и думать я долго не могъ, но наконецъ вышелъ изъ своего страннаго состоянія. Madame Brochet спросила меня, гдѣ я былъ; я сказалъ, что я ходилъ въ горы.

Оставшись одинъ у себя, я все началъ приводить въ ясность. Тогда она получила письмо, это письмо было отъ него, она спокойно притворилась, солгала, все отъ меня скрыла. Въ этомъ письмѣ, конечно, онъ извѣщалъ ее о своемъ приѣздѣ: не случайно-же они встрѣтились въ Женевѣ! Она, уговоривъ меня остаться дома, отправилась на свиданіе съ нимъ. Изъ того, что я слышалъ, было ясно, какова была цѣль этого свиданія съ его стороны. Но съ ея стороны что-же? Она его боится. Да, это возможно. Она сказала, что слушаетъ его только по необходимости, но она его слушала и зачѣмъ это она все отъ меня скрыла? Что въ этомъ заключается? Ужасное что-нибудь, смерть наша, или нѣтъ еще? Можетъ быть, что нѣтъ и это нужно рѣшить непременно! Она могла все скрыть отъ меня, изъ простаго, понятнаго чувства любви ко мнѣ, она имѣла право не хотѣть впускать меня въ это дѣло. Можетъ быть, она боялась за нашу встрѣчу; да, конечно, она должна была бояться этой встрѣчи. Можетъ быть, она хорошо даже сдѣлала, что все отъ меня скрыла. Я ничего не слышалъ дурнаго отъ нея сегодня въ саду, въ Женевѣ...

Все-таки-же ничего не рѣшается. Нужно выждать, вотъ она приѣдетъ... Она приѣхала часа черезъ три послѣ меня. Она сейчасъ-же вошла ко мнѣ, спросила что я дѣлалъ.

— Madame Brochet сказала мнѣ, что ты гулялъ долго очень; гдѣ ты былъ?

— Я былъ въ горахъ. Вышелъ пройтись, да напалъ на прелестный пейзажъ и не могъ удержаться..

Я показалъ ей одинъ изъ моихъ эскизовъ, который она не видѣла еще и который теперь я нарочно выложилъ.

Изъ ея словъ, изъ ея тона, изо всего, наконецъ, я хорошо понялъ, что она не подозреваетъ о моей поѣздкѣ въ Женеву. Значитъ, она не была въ Métropole, иначе тамъ-бы ей сказали, что я ее спрашивалъ. Теперь посмотримъ что она будетъ говорить?

— А ты что такъ долго дѣлала въ Женевѣ?—спросилъ я.

— А вотъ пойдемъ ко мнѣ, я покажу тебѣ всѣ мои по-

купки. Все кончила довольно рано, хотѣла было вернуться, но опоздала къ пароходу...

— Гдѣ-же ты обѣдала?

— Не въ Métropole, а, въ Hôtel de la Balance Это было мнѣ по дорогѣ и тамъ очень недурно готовить.

— Никого ты не видала въ Женевѣ?

— Кого-же мнѣ видѣть? Никого не видала.

Она увела меня въ свою комнату и стала показывать покупки, потому сѣла на диванъ рядомъ со мною, положила мнѣ на плечо руку, какъ обыкновенно это дѣлала, и задумалась о чемъ-то.

— А знаешь-ли, Зина, что я очень безъ тебя тревожился,— сказалъ я.— Мнѣ вдругъ приснился на яву страшный сонъ: мнѣ вдругъ приснилось, что ты отъ кого-то получила письмо, помнишь тогда, когда я у тебя спрашивалъ, и скрыла отъ меня это письмо, что ты, можетъ быть, съ кѣмъ-нибудь видѣлась и скрываешь отъ меня это.

Это было уже такъ ясно и такъ грубо. Что она отвѣтитъ?

Она засмѣялась, засмѣялась откровеннымъ, громкимъ смѣхомъ.

— Какіе ты вздоры болтаешь!—сквозь смѣхъ проговорила она:— вѣдь, не хочешь-же ты, чтобъ я тебя заподозрила въ ревности?

— Но ты знаешь, что одна мысль о томъ, что можетъ быть когда-нибудь ты въ состояніи что-либо скрыть отъ меня, можетъ меня измучить. Скажи мнѣ, можешь-ли ты что-нибудь скрыть отъ меня?

Она тихо покачала головой.

— Теперь отъ тебя скрывать, съ какой-же стати?

Больше говорить спокойно я ужъ не могъ и поэтому долженъ былъ остановиться. Она давно-бы должна была мнѣ все рассказать послѣ моихъ словъ; если-же не рассказала, если продолжаетъ такъ упорно и хладнокровно скрывать, значитъ рѣшилась скрыть во что-бы то ни стало. Теперь весь вопросъ въ томъ, зачѣмъ ей такъ необходимо скрывать отъ меня: ради-ли меня или тутъ что-нибудь ужасное?

Я пристально, внимательно смотрѣлъ на нее и мало-по-малу начиналъ приходить къ убѣжденію, что все это дѣлаетъ она для меня, что только поэтому она можетъ такъ спокойно притворяться. Теперь было-бы слишкомъ безумно заподозривать ее и не вѣрить ей. Теперь не вѣрить ей, что-жъ-бы тогда было? Подожду еще, можетъ быть, въ концѣ концовъ она мнѣ все сама расскажетъ, и я самъ какъ-нибудь окончательно рѣшу все это.

На другое утро я и рѣшилъ окончательно: я успокоился на той мысли, что Зина имѣла право скрывать отъ меня свою встрѣчу съ Рамзаевымъ. Теперь я буду знать, увидится-ли она еще разъ съ нимъ; конечно, не увидится, конечно, отдѣлавшись отъ него, то-есть заплативъ ему, она никогда его больше не увидитъ. А

что на его дьявольскія слова она не можетъ поддаться, объ этомъ теперь мнѣ было-бы смѣшно заботиться. Развѣ я недостаточно зналъ ее — новую, развѣ я могъ не вѣрить любви ея?

Черезъ два дня мы должны были ѣхать и рѣшили, что предъ отъѣздомъ непременно отправимся въ горы... Этотъ день весь въ мельчайшихъ подробностяхъ сохранился у меня въ памяти. Можетъ быть, это былъ послѣдній ясный и теплый осенній день. Я, какъ сейчасъ помню, сидѣлъ предъ своимъ столомъ и дописывалъ письмо къ мама. Я сидѣлъ здѣсь, на этомъ самомъ мѣстѣ, гдѣ пишу теперь, и Зина вошла тихонько, и я замѣтилъ, что она вошла только тогда, когда она ужъ положила мнѣ на плечо свою руку. Я обернулся; она совсѣмъ была готова: вотъ предо мною ея фигура въ черномъ платьѣ, я вижу склоненное надо мною лицо ея, упавшій и касающійся моей щеки локонъ. Она пришла за мною, и мы отправились. По обыкновенію, оставили мы у знакомой таверны нашихъ осликовъ и пошли по извилистой, знакомой намъ тропинкѣ.

Мы остановились и долго молча смотрѣли вокругъ, въ послѣдній разъ любовались огромною панорамой, бывшею предъ нами.

— Вѣдь, мы вернемся сюда, не правда-ли, — сказала мнѣ Зина.—Знаешь, все это мѣсто, всѣ эти горы, все это мнѣ теперь родное, какъ будто я родилась здѣсь и выросла; пусть-же это будетъ нашимъ мѣстомъ.

— Да, конечно, мы должны сюда возвращаться,—отвѣтилъ я, и вдругъ мнѣ ужасно захотѣлось опять, чтобъ она мнѣ все рассказала про встрѣчу съ Рамзаевымъ, хоть я ужъ рѣшилъ, что она имѣла право умалчивать и что она для меня это дѣлала. Наконецъ, мнѣ самому захотѣлось сказать ей, что я все знаю, но что-то меня удерживало. Къ тому-же и нельзя теперь было: она говорила о томъ, какъ мы поѣдемъ въ деревню къ нашимъ и спрашивала меня, хорошо-ли отнесется къ ней мама, сказала, что этотъ вопросъ ее очень сталъ тревожить въ послѣднее время.

— Напрасно,—отвѣтилъ я:—развѣ ты не знаешь мамы; вотъ ужъ объ этомъ-то нечего беспокоиться! Она сразу, взглянувъ на насъ, увидитъ, что ты меня любишь... А, вѣдь, она увидитъ это? Да, Зина?..

— Зачѣмъ ты говоришь такъ? Зачѣмъ ты какъ будто спросилъ меня?—перебила Зина.—Развѣ ты теперь еще можешь во мнѣ сомнѣваться?

— Нѣтъ, я не сомнѣваюсь, но скажи мнѣ правду, думаешь-ли ты, что тебѣ всегда будетъ достаточно меня одного, что всѣ твои старые капризы никогда больше не вернуться?

Она съ изумленіемъ на меня взглянула.

— Я не понимаю,—сказала она:—о чемъ ты меня спрашиваешь, не понимаю, какъ могутъ придти тебѣ въ голову такіе вопросы!.. И это очень нехорошо, что они тебѣ приходятъ. Или мы не оставили здѣсь всего стараго?.. Я думала, что оставили.

— Да, это глупо, конечно, прости меня, я не знаю, зачѣмъ сказалъ это!..

Я самъ ужаснулся своему вопросу.

— Конечно, мнѣ всегда будетъ довольно жизни съ тобою,—вдругъ сказала Зина: — но ужъ если мы говоримъ объ этомъ, скажи мнѣ: что-бы ты сдѣлалъ, если-бы вдругъ мнѣ пришла какая-нибудь фантазія, неужели ты возмущился-бы этимъ?

— Какая фантазія?—растерянно спросилъ я.

— Такъ какой-нибудь вздоръ, то, что прежде тебя такъ возмущало...

— Такъ ты думаешь, что фантазія можетъ придти?

— Почему знаты! Фантазія можетъ придти, но она не можетъ помѣшать мнѣ любить тебя.

«Фантазія можетъ придти!» Я съ ужасомъ взглянулъ на нее: она смотрѣла на меня и улыбалась, не такъ, какъ все это время, улыбалась какъ-то странно.

— Зина, послушай, ты получила письмо отъ Рамзаева, ты отправилась въ Женеву для того, чтобы съ нимъ видѣться. Ты съ нимъ видѣлась: отвѣчай мнѣ, правда-ли это?

— Какой вздоръ, какой вздоръ!—захохотала она.

— Зина, я самъ былъ въ Женевѣ, я самъ былъ въ саду, я слышалъ вашъ разговоръ.

Она вздрогнула, поблѣднѣла, что-то злое блеснуло въ глаза, ея губы сжались въ знакомую мнѣ усмѣшку.

— А, такъ ты подсматриваешь за мной!—шепнула она: — ну, такъ и подсматривай!

— Зина, сейчасъ-же расскажи мнѣ все; зачѣмъ ты отъ меня скрывала, зачѣмъ все это было нужно! Сейчасъ-же скажи! Ты теперь видишь, что это необходимо, что безъ этого всему конецъ!..

Она сдѣлала нѣсколько шаговъ отъ меня къ самому краю обрыва и смѣясь, и все злѣе и злѣе смотря на меня, проговорила:

— Ты слишкомъ многого хочешь, André; ты меня хочешь сдѣлать своею рабою, а я на это не способен!

«Вѣдь, это его слова, его слова!» съ отвращеніемъ мелькнуло въ головѣ моей.

— Хорошо! Теперь я тебѣ скажу все,—продолжала она. — Конечно, я могла-бы избѣгнуть свиданія съ Рамзаевымъ, я могла-бы ограничиться простою запиской; но меня что-то тянуло увидаться съ нимъ... Для меня было что-то завлекательное и интересное въ этомъ свиданіи... именно теперь... теперь! понимаешь?.. И это

свиданіе доставило мнѣ удовольствіе, и я рада была скрывать все отъ тебя... Да, мнѣ было пріятно все скрывать отъ тебя... Вотъ, я тебѣ всю правду сказала!..

Она улыбалась, глаза ея дико блестѣли, видимая дрожь пробѣжала по ней. Я съ ужасомъ глядѣлъ на нее, я видѣлъ, что предо мной опять прежнее страшное существо. Я понялъ и ужъ теперь въ послѣдній разъ и окончательно, что она неизмѣнна. Отчаяніе, злоба, безуміе охватили меня, я кинулся къ ней, крѣпко схватилъ ее за плечи... Она стояла у самого обрыва. Она слабо вскрикнула, но не шевельнулась. Вдругъ я увидѣлъ въ лицѣ ея совсѣмъ испуганное и покорное выраженіе.

Я очнулся, я оттолкнулъ ее отъ обрыва, оставилъ и бросился бѣжать, спотыкаясь на каждомъ шагу, дрожа всѣмъ тѣломъ, будто цѣлый адъ гнался за мной.

XXIV.

Я бродилъ по горамъ въ полномъ почти забытіи, весь день и всю ночь. Вернулся домой только утромъ, не чувствуя ни усталости, ни голоду.

Старуха Brochet, попавшаяся мнѣ у крыльца, какъ-то боязливо взглянула на меня и тихо сказала: «madame est déjà partie».

— Je le sais, — спокойно отвѣтилъ я и прошелъ въ свои комнаты.

Да, я не смутился этимъ извѣстіемъ, я уже зналъ, что ея не увижу, что она теперь въ Женевѣ съ Рамзаевымъ, если онъ еще не уѣхалъ. На столѣ меня дожидалось письмо.

Вотъ что она мнѣ писала: «Прощай, André, и теперь ужъ навсегда. Вѣдь, такъ должно было кончиться... Я всю жизнь была виновата предъ тобою; да! Но и теперь, совсѣмъ уходя отъ тебя, хочу сказать тебѣ, что если-бы ты былъ другимъ человекомъ, то могло быть иначе. Послушай, я пришла къ тебѣ за рѣшеніемъ своей участи. Ты самъ увѣрялъ меня, что возможна жизнь, ты обѣщалъ возродить меня. Я тебѣ повѣрила, — но что-же ты со мной сдѣлалъ? Что далъ мнѣ взамѣнъ того мрака, который въ душѣ моей? Я готова была на все, — на великіе труды и подвиги: можетъ быть, у меня и хватило-бы на нихъ силы, если-бы я чувствовала крѣпкую, поддерживающую меня руку. Но ты даже не могъ указать мнѣ этихъ трудовъ и подвиговъ. Ты только мучился и дрожалъ отъ страха; развѣ я этого не видѣла! Да, ты всегда хотѣлъ спасти меня, а тебя самого спасти было нужно! Ну, вотъ мы и не спасли другъ друга. Я сегодня надѣялась на послѣднее, я думала, что ты хоть убьешь меня; столкнешь съ обрыва въ пропасть. Я говорю

серьезно, я не стала-бы бороться съ тобою, я ждала смерти... Но даже и это было тебѣ не по силамъ; ты оставилъ меня жить. И я буду жить, но ты ужъ не приходи возмущаться моею жизнью и спасать меня! Не приходи, потому что теперь мнѣ еще тебя жалко, а тогда я буду только смѣяться надъ тобою...»

Это было полгода тому назадъ. Шесть мѣсяцевъ я прожилъ, скитаясь по Европѣ, переѣзжая изъ города въ городъ. Я не въ силахъ выразить словами всю пытку этой жизни. Я уже ничего не ждалъ и ни на что не надѣялся. Я зналъ, что мнѣ ужъ не подняться. Я не въ силахъ былъ даже вернуться въ Россію, къ матери. А она такъ звала меня, такъ умоляла. Я читалъ ея письма, залитыя слезами, отъ которыхъ такъ и дышало любовью и мученіемъ, читалъ и оставался равнодушнымъ. Наконецъ, она должно быть поняла, что я совсѣмъ гибну, она рвалась ко мнѣ: но до весны ей невозможно было выѣхать изъ деревни. Я обѣщалъ вернуться и пересталъ даже о ней думать; я ни о чемъ не думалъ...

Между тѣмъ я былъ въ постоянномъ движеніи, къ концу зимы переѣхалъ въ Парижъ и всюду бродилъ съ утра до поздней ночи. Ежедневно посѣщалъ театры, всѣ публичныя мѣста, толкался въ толпѣ по разнымъ café и другимъ парижскимъ притонамъ.

Три недѣли тому назадъ я забрелъ на одинъ изъ тѣхъ ба-ловъ, гдѣ собираются кокетки высшаго полета, прожигающая свою жизнь молодежь и праздные путешественники.

Балъ былъ въ полномъ разгарѣ, газъ слѣпилъ глаза, просторныя залы сверкали своею мишурною роскошью. Подъ раз-нузданные звуки шансонетной музыки гудѣла пестрая толпа, мелькали безстыдно обнаженныя женщины. Къ раздражающему, приторному запаху крѣпкихъ духовъ, то тамъ, то здѣсь уже примѣшивался винный запахъ. Всякія приличія забывались, никто не стѣснялся, цинизмъ и развратъ снимали маску...

— Tiens! elle n'est pas mal!..

— Elle a du chien, cette princesse russe!..—вдругъ раздалось возлѣ меня нѣсколько голосовъ.

Я оглянулся и увидѣлъ высокю, стройную женщину. Она шла подъ руку съ какимъ-то красивымъ юношей. Предо мною мелькнули круглыя, бѣлыя плечи, высокая грудь, едва скрывае-мая короткимъ корсажемъ, голыя руки въ сверкающихъ брил-ліантами браслетахъ. Она громко смѣялась и почти лежала на плечѣ у своего кавалера. Едва сдвливая отчаянный крикъ, гото-вый вырваться изъ груди моей, я отшатнулся, я хотѣлъ скрыться въ толпѣ. Но она шла прямо на меня, и вотъ ея черные, непо-движные глаза встрѣтились съ моими. Она перестала смѣяться.

— Здравствуй, Андрюша!—громко сказала она и, обезумѣвшій, прикованный къ мѣсту, я почувствовала прикосновеніе руки ея.

— Вотъ гдѣ встрѣтились! Ну, я рада тебя видѣть!.. *C'est mon cousin, un brave garçon!*—обратилась она къ окружающимъ ее мужчинамъ.

Я молча глядѣлъ на нее, не могъ оторвать отъ нея взгляда, не могъ пошевелинуться. Я видѣлъ неестественный блескъ ея глазъ, я слышалъ ея слишкомъ громкій, какъ-то обрывающійся голосъ...

— Что ты такъ дико на меня смотришь?.. Эти господа сегодня меня совсѣмъ напоили, такъ что даже все ужъ двоится предо мною... Я кучу, Андрюша!.. Приходи завтра ко мнѣ въ *Grand Hôtel*, сегодня не могу... сегодня я съ нимъ...

Она совсѣмъ положила голову на плечо красиваго юноши и, страшно улыбувшись мнѣ, прошла мимо. Я все стоялъ неподвижно. Изъ толпы на меня спокойно глядѣли зеленые глаза Рамзаева.

На другое утро я уѣхалъ сюда, въ Лозанну.

Я вспомнилъ и будто пережилъ снова всю мою жизнь. Я зналъ, что это необходимо для того, чтобы понять все, что до сихъ поръ было для меня непонятнымъ, чтобы избавиться отъ всякихъ колебаній въ послѣднюю минуту.

И я все понималъ. Онѣ обѣ были правы—и мама, и Зина. Нельзя жить человѣку, когда у него нѣтъ никакой помощи и поддержки ни на землѣ, ни на небѣ. Нельзя спасти другихъ, когда самъ нуждаешься въ спасеніи. Еще недавно я считалъ себя мученикомъ, я упрекалъ судьбу въ несправедливости; теперь я самъ себѣ гадокъ... Скорѣй-же!.. Минута пришла... все готово...

Мама!.. Она ждетъ меня... но что-же мнѣ дѣлать? Вѣдь, не могу я къ ней вернуться! Можетъ быть, прежде, когда я ничего не понималъ, она-бы меня еще удержала; но теперь не удержитъ, такъ зачѣмъ-же я къ ней вернусь? Чтобы на ея глазахъ покоичить съ собою? Нѣтъ, обѣ этомъ нечего и думать... такъ легче...

О, какъ холодно, какъ отвратительно внутри меня! Ничего нѣтъ, никакого свѣта! Да, вѣдь, и вся жизнь была такою:—одно безцѣльное метаніе. Неужели эта холодная пустота—дѣйствительность, а остальное, чѣмъ живутъ другіе люди,—только самообольщеніе, только грѣзы?... Но какія, должно быть, могучія, живыя грѣзы! Хоть-бы теперь, предъ концомъ, на мигъ одинъ, пришла такая грѣза!.. Но она не приходитъ...

Мама, прости меня! Ты должна понять, должна видѣть, что я не могу иначе... Молись своему Богу, Онъ и теперь спасетъ тебя...

Дверь на запорѣ, занавѣски на окнахъ опущены... Вотъ... мнѣ не страшенъ этотъ ледяной холодъ стали на вискѣ моемъ... рука не дрогнетъ...

К о н е ц ъ.

1879 г.

Вс. С. СОЛОВЬЕВЪ.

ХРОНИКА ЧЕТЫРЕХЪ ПОКОЛѢНІЙ.

ПОСЛѢДШЕ ГОРБАТОВЫ

РОМАНЪ СЕМИДЕСЯТЫХЪ ГОДОВЪ XIX ВѢКА

ВЪ ДВУХЪ ЧАСТЯХЪ.

**Окончаніе романовъ «СЕРГѢЙ ГОРБАТОВЪ», «ВОЛЬТЕРЬЯНЕЦЪ»,
«СТАРЫЙ ДОМЪ» и «ИЗГНАНИКЪ».**



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

ИЗДАНИЕ Н. Ѳ. МЕРТЦА.

1904.

Дозволено цензурою С.-Петербургу, 4 февраля 1904 года.

Типографія Т-ва «Народная Польза». Спб., Коломенская 39, соб. д.

ПОСЛѢДНІЕ ГОРБАТОВЫ.

ИСТОРИЧЕСКІЙ РОМАНЪ ВЪ ДВУХЪ ЧАСТЯХЪ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

I.

Вернулась.

Яснымъ сентябрьскимъ утромъ, въ маленькомъ густо заросшемъ саду, примыкавшемъ къ старому и совсѣмъ покосившемуся, тоже весьма необширному, дому, подъ навѣсомъ деревянной бесѣдки сидѣлъ старикъ. Навѣсъ поддерживался ветхими, облупившимися, когда-то зелеными колонками и грозилъ обрушиться. Но старикъ очевидно былъ непричастенъ страху. Онъ спокойно сидѣлъ въ огромномъ кожаномъ креслѣ и всецѣло погружился въ книгу, лежавшую передъ нимъ на придвинутомъ къ креслу столику.

Это былъ нѣсколько страшноватый съ виду старикъ: маленький, приземистый, съ удивительными бородавками на красномъ лицѣ, съ торчавшими щеткой сѣдыми волосами. Хотя старья щеки его были гладко выбриты, но густые кусты сѣдыхъ волосъ торчали изъ бородавокъ, изъ ушей. Маленькіе, уже начинашіе плохо видѣть глаза сердито выглядывали изъ-подъ нависшихъ бровей. Массивныя очки въ серебряной оправѣ держались почти у самаго кончика крупнаго четырехугольнаго носа. Костюмъ старика состоялъ изъ потертаго драповаго халата, а на ногахъ были надѣты вышитыя разноцвѣтными буке-тами шерстяныя туфли.

Старику очевидно было очень много лѣтъ, но онъ все же казался крѣпкимъ и здоровымъ.

Окончивъ страницу, онъ отодвинулъ нѣсколько отъ себя книгу, снялъ очки, протеръ себѣ глаза клѣтчатымъ платкомъ, затѣмъ вынулъ изъ кармана халата круглую черную табакерку и съ видимымъ удовольствіемъ началъ набивать себѣ въ ноздри душистый порошокъ. Потомъ онъ всталъ съ кресла, плотнѣе запахнулся въ халатъ, шлепая туфлями вышелъ изъ-подъ навѣса и прошелся по садику.

Время близилось къ полудню, кругомъ стояла тишина, и такъ какъ изъ-за пожелтѣвшей, но все еще густой листвы березъ, рябинъ, акацій и сирени ничего кругомъ не было видно, то можно было подумать, что садикъ этотъ находится гдѣ-нибудь въ деревенской глуши. Но это была не деревенская, а городская, московская глушь, близъ берега Москвы-рѣки, у Зача-тѣвскаго монастыря. Садикъ принадлежалъ Кодрату Кузьмичу Прыгунову, а старикъ былъ самъ хозяинъ.

Кодратъ Кузьмичъ, обойдя садикъ, вошелъ было въ домъ, но въ домѣ ему показалось какъ-то непривѣтно. Онъ остановился на балкончикѣ и захлопалъ въ ладоши. На этотъ зовъ появилась изъ комнатъ довольно грязная пожилая женщина и нетерпѣливо спросила:

— Чего еще надо?

— А то, Настасьюшка, что часъ такой пришелъ, чай слышала? Двѣнадцать прсбило... отощаль я, закусить бы чего-нибудь, да и съ завтракомъ поторопилась-бы...

— А что-же я и дѣлаю какъ не завтракъ готовлю?—не особенно почтительно сказала Настасьюшка. — Сама знаю, когда время, только понапрасну отъ плиты отрываете!

Старикъ очевидно не замѣтилъ ея суроваго тона.

— Да я къ тому—принеси-ка ты мнѣ закусить и позавтракать въ садикъ, въ бесѣдку, тамъ хорошо нынче—бабѣ лѣто... благодаты!..

— Въ садикъ, такъ въ садикъ! Селедку, что-ли, вычистить прикажете?

— Безпремѣнно! И полынной налей въ графинчикъ, вся она вышла...

Настасьюшка исчезла. Кодратъ Кузьмичъ вернулся въ садикъ, въ бесѣдку, снова осѣдлалъ кончикъ своего носа серебряными очками и принялся за книгу въ ожиданіи завтрака.

Прошло нѣсколько минутъ. Онъ читалъ не отрываясь. Вотъ послышались шаги.

«Наконецъ-то», подумалъ онъ не безъ удовольствія, поднялъ глаза и вдругъ на лицѣ его изобразилось смущеніе, недоумѣніе, почти испугъ.

Передъ нимъ стояла вовсе не Настасьюшка съ завтракомъ,

а молодая женщина, высокая, стройная, одѣтая просто, но изящно, какъ-то не «по-московскому». Ея платье, все въ оборочкахъ, кружевахъ, упало мягкими, легкими складками, съ плечъ граціозно спускалась черная накидка, на головѣ была черная же шляпа съ большимъ страусовымъ перомъ и длиннымъ вуалемъ. Изъ-подъ шляпки глядѣло молодое лицо съ тонкими и въ то же время энергичными чертами. Глубокіе черные какъ уголь глаза даже какъ-то жутко горѣли. Лицо это поражало не только своей оригинальнѣй, рѣдкой красотой, но и чѣмъ-то особеннымъ, неуловимымъ, всепокоряющимъ. Мимо этого лица никакъ нельзя было пройти, его не замѣтивъ.

Кодратъ Кузьмичъ даже ротъ разинулъ отъ изумленія и все продолжалъ смотрѣть, очевидно, ничего не понимая.

— Кодратъ Кузьмичъ, да неужели вы меня не узнаете?— мягкимъ, пѣвучимъ голосомъ сказала молодая женщина.

Старикъ, наконецъ, вышелъ изъ оцѣпенѣнія, поднялся съ кресла и развелъ руками.

— Груня! — воскликнулъ онъ. — Да какъ-же узнать? Кого угодно ожидалъ, только не тебя!

— Что-жъ, и поздороваться, и поцѣловать меня не хотите?

Не дожидаясь отвѣта, она крѣпко обняла старика и поцѣловала его въ обѣ щеки, прямо въ торчащіе на нихъ сѣдые кусты.

— Милый Кодратъ Кузьмичъ, да не дѣлайте такого ужаснаго лица! Ну, посмотрите на меня, улыбнитесь...

— Матушка, дай же придти въ себя!—бурчалъ онъ, видимо поддаваясь обаянію ея голоса, ея глазъ, ея ласки.—Какъ-же это ты и откуда? Вѣдь, я такъ почиталъ, что ты теперь не ближе какъ въ Астрахани.

— И была тамъ, чуть не задохлась отъ жары, вотъ и пріѣхала я къ вамъ. Принимаете? Не сердитесь?

— Очень тебѣ нужно—сержусь я или нѣтъ... очень ты объ этомъ когда нибудь думала! Кабы думала о насъ, такъ не пропадала-бы, почаше бы въ Москву заглядывала... Шутка сказать—вѣдь, около пяти, никакъ, лѣтъ ты по разнымъ границамъ таскаешься... Охъ! а въ это время много... много... вотъ и я безъ моей Олимпиады Петровны...

Онъ мрачно насупилсѣ. На чудныхъ глазахъ Груни блеснули слезы.

— Какъ это неожиданно для меня было!—тихо проговорила она.—Какъ написалъ мнѣ тогда Вася, читаю я и глазамъ своимъ не вѣрю... И какъ это... отчего... отъ какой болѣзни?

— Какая тутъ болѣзнь!.. Старость... отъ старости... да и отъ любопытства тоже,—мрачно выговорилъ Кодратъ Кузьмичъ.—Всю жизнь ее праздное любопытство терзало. Говорилъ я, го-

ворилъ: «изведешься!» Вотъ и извелась... вотъ и одинъ... ужъ три года... Ну да что объ этомъ!—вдругъ почти крикнуть онъ и даже отмахнулся рукою съ клѣтчатымъ платкомъ отъ набѣгавшихъ тяжкихъ мыслей.—Да ты бы хотъ двумя мѣсяцами раньше прѣехала, застала бы еще въ живыхъ благодѣтеля своего, Бориса Сергѣевича...

Груня вздрогнула всѣмъ тѣломъ, и съ ея нѣжныхъ матовыхъ щекъ сбѣжала послѣдняя краска.

— Какъ! Борисъ Сергѣевичъ умеръ?

— А ты и не слыхала? Чай, вѣдь, во всѣхъ газетахъ было.

— Ничего, ничего не слыхала!—растерянно повторяла она.— Когда-же?

— Говорю, около двухъ мѣсяцевъ какъ схоронили; ждалъ я отъ тебя вѣсти, чгобы знать, по какому адресу письмо отправить, чтобы не пропало, а вотъ ты и сама... этакъ лучше... Дѣла, вѣдь, у насъ съ тобою... благодѣтель о тебѣ позаботился.

Но Груня не слушала.

— Борисъ Сергѣевичъ умеръ... умеръ!—шептала она и вдругъ закрыла лицо руками и громко, отчаянно зарыдала.

Въ это время Настасьюшка появилась у бесѣдки съ огромнымъ подносомъ.

Она закрыла старый, весь изрѣзанный круглый столъ скатертью, и нахмурия брови, взглянула на Груню.

— Я и вамъ приборъ принесла, Аграфена Васильевна,—сказала она.—Завтракать-то, чай, будете?

Никто ей не отвѣтилъ. Груня подавила свои рыданія, утерла заплаканные глаза и сидѣла, опустивъ руки, глядя прямо передъ собою.

Она была до такой степени хороша съ этими слѣдами тоски и горя на выразительномъ лицѣ, что невозможно было не залюбоваться ею. Любовалась ею и Настасьюшка, хотъ и укоризненно покачивала головою.

— Такъ вотъ, Аграфена Васильевна — пташка перелетная, залетѣла опять въ наши хоромы,—договорила она суровымъ тономъ.—Жаль, вотъ, поздненько, а теперь ужъ чего плакать? Слезамъ-то не поможешь... А барыня-то покойница, голубушка-то наша, еще за день до кончины о васъ вспоминала... ужъ такъ вы ее огорчали, ужъ такъ огорчали...

— Молчи, не твое дѣло!—крикнуть Кодратъ Кузьмичъ.

Бойкая, не церемонившаяся со старикомъ Настасьюшка вдругъ присмирѣла отъ этого окрика и, ворча себѣ что-то подъ носъ, удалилась.

II.

О старомъ.

— Закусимъ, Груня, чѣмъ Богъ послалъ!—сказалъ Кократъ Кузьмичъ, укладывая въ сдинъ карманъ своего халата табакерку, а въ другой клѣтчатый платокъ и придвигаясь къ столу.

— Я завтракала... благодарю васъ!—проговорила Груня.

— Ну, а я не завтракала и голоденъ.

Онъ налилъ себѣ изъ стариннаго граненаго графинчика «полынной», поглядѣлъ рюмку на свѣтъ, быстро опрокинулъ ее въ ротъ, крякнулъ и принялся закусывать.

Нѣсколько минутъ продолжалось молчаніе.

— Боже мой... и Бориса Сергѣевича нѣтъ!—будто самой себѣ прошептала, наконецъ, Груня.

Кократъ Кузьмичъ, успѣвшій между тѣмъ окончить свой скромный завтракъ, отодвинулъ отъ себя тарелку и взглянулъ на Груню изъ-подъ нависшихъ бровей.

— Что тутъ удивительнаго?—сказалъ онъ.—Всѣ смертны, всѣмъ одному за другимъ свой чередъ переходить въ вѣчность... Какой нынче у насъ годъ? Семьдесятъ третій; такъ, вѣдь, Борису Сергѣвичу лѣтъ ужъ подъ восемьдесятъ было... года большіе... это вотъ я только замѣшкался, девятый десятокъ началъ... Да и жизнь его, Бориса-то Сергѣевича, была нерадостная, а ужъ въ послѣдніе годы тѣмъ паче. Самъ, самъ признался мнѣ прошлой зимою. «Тяжко, говорить, жить, усталъ я, говорить... давно пора». Такъ-то!

Кократъ Кузьмичъ покачалъ головою, насупился и продолжалъ:

— То-то вотъ подумаешь, какъ иной разъ люди судятъ... богатъ, знатенъ — такъ и счастливъ; что блестить, то золото... И я, вѣдь, тоже разъ попалъ впросакъ. Приѣхалъ по дѣлу къ Борису Сергѣвичу въ его Горбатовское, только что тогда съ нимъ знакомство свелъ...

— Это тогда было?—спросила Груня, дѣлая удареніе на словѣ «тогда».

— Ну-да, тогда, когда мы тебя, одурѣлаго, дикаго звѣрька въ Москву повезли съ собою... Да ты бы, Грунюшка, того времени не вспоминала, — вдругъ прибавилъ онъ совѣмъ инымъ тономъ, съ которымъ прозвучало что-то нѣжное, совѣмъ идущее въ разладъ съ его мрачнымъ и страшнымъ лицомъ.—Чего вспоминать? Вѣдь, ты тогда была малый ребенокъ... Забыть надо, навсегда... это и я, и Борисъ Сергѣевичъ, и покойница моя тебѣ не разъ говорили. Просто бѣсъ въ тебѣ сидитъ какой-то! Кабы за-

была, такъ и жилось-бы лучше, можетъ быть, и глупостей-бы не дѣлала.

— Не забывается!—вздыхнула Груня.—Развѣ такое дѣтство, какъ мое, можно забыть?

— Ну, такъ вотъ, приѣзжаю я въ Горбатовское,—продолжалъ старикъ, перебивая ее:—роскошь такая, какой въ жизни не видывалъ, жизнь царская. Вижу—Борисъ Сергѣевичъ: человѣкъ почтенный, добродѣтельный... Вижу—старушка важная...

У Груни безсознательно вдругъ мелькнуло по лицу что-то злое и мучительное. Но Кокорать Кузьмичъ не замѣтилъ этого.

— Дамы молодая и прекрасная,—говорилъ онъ.—Дѣти какъ ангельчики, шумятъ, веселятся, играютъ... Два красавца молодыхъ—Сергѣй Владиміровичъ и Николай Владиміровичъ... Мирно все такъ, гладко, дружба такая по видимости и согласіе. Поглядѣлъ я и думаю: вотъ счастливые люди; вотъ гдѣ, въ какихъ палатахъ золотыхъ, обитаетъ истинное счастье!—на томъ и порѣшилъ. А и году не прошло, какъ убѣдился въ слѣпотѣ своей: ничего-то я не разглядѣлъ! И поистинѣ это была самая что ни на есть несчастная семья, хотя и въ золотыхъ палатахъ... И такъ все и разбрелось, словно карающая десница Божья прошла надъ всѣми ними... За что? За чьи грѣхи? За какіе? Не узнать намъ, да и не слѣдъ допытываться, не мы судьи. А теперь вотъ съ тѣхъ поръ четырнадцать лѣтъ прошло и что осталось? Что сталося со всѣми ними, куда дѣвался весь этотъ золотой блескъ?

— Что, что сталося съ ними?—спросила востепенувшись Груня.

— Да какъ тебѣ сказать? Съ одной стороны посмотришь—какъ-бы и ничего особеннаго. А между тѣмъ нѣтъ ужъ семьи, нѣтъ прежняго знатнаго рода, совсѣмъ все рушится съ кончиной Бориса Сергѣевича. Вѣдь, ты помнишь Наталью Николаевну?

— Господи, какъ-же не помнить? Она была добрая, кроткая, лучше всѣхъ ихъ, только странная такая...

— Да, странная! Въ ней-то, такъ я полагаю, все и дѣло... Мало-ли что тогда говорили, стороною слышалъ, да намъ судить этого никакимъ манеромъ невозможно... А что хоть и черезъ нее, да она все-же неповинна была—тому порукой Борисъ Сергѣевичъ, онъ на нее какъ на святую молился. Супругъ ея, Сергѣй Владиміровичъ, совсѣмъ что ни на есть пустѣйшій человѣкъ... всему Петербургу такъ извѣстенъ, да и Москвѣ тоже. Видаль я ее тогда, передъ отъѣздомъ за-границу, безъ жалости глядѣть нельзя было. Борисъ Сергѣевичъ все надѣялся, что вылѣчитъ ее въ чужихъ краяхъ, увезъ. Два года они въ путешествіи были, а черезъ два года вернулся онъ съ нею, да ужъ не съ живою—гробъ ея привезъ. Потомъ онъ мнѣ рассказывалъ: «угасла, говорилъ, какъ лампада». И любилъ-же онъ ее! Уѣхалъ еще бодрымъ, а

вернулся уже совсѣмъ старымъ... Диво, что столько лѣтъ безъ нея прожилъ.

— Да теперь-то что-же, что со всѣми ними? Гдѣ они?

— Николай Владиміровичъ, какъ возвратился онъ тогда изъ Азіи, этому, вѣдь, ужъ сколько?—восемь лѣтъ будетъ—живетъ съ женою и сыномъ почти безвыѣздно въ Петербургъ... Теперь вотъ на похоронахъ былъ здѣсь, да и опять уѣхалъ.

— Значить, вы его видѣли?

— Да, видѣлъ, какъ-же, видѣлъ не разъ... Станный онъ мнѣ такой показался, нелюдимый, да и всѣ его какъ-то дичатся... Ну, Сергѣй Владиміровичъ то здѣсь, то тамъ; этотъ непосѣда всюду разѣзжается, словно мечется... Много, много горя доставилъ онъ дядѣ безпутной своей жизнью. И кабы зналъ Борисъ Сергѣевичъ то, что я теперь знаю... ахъ!

— Что такое, что?

— А то, Грунюшка, что сколько ни переплатилъ за него покойникъ, а долговъ у него такая тьма-тьмушая, что самъ онъ имъ счетъ потерялъ, давно потерялъ... Все, что теперь получилъ онъ въ наслѣдство, боюсь я, прахомъ пойдетъ... Какъ-бы и Горбатовское,—оно ему, вѣдь, досталось,—не пришлось продать. Борисъ Сергѣевичъ, слава Богу, внучатъ обезпечилъ, а то-бы они нищими остались...

— Отъ такого-то богатства!.. Кодратъ Кузьмичъ, неужели это возможно?

— Возможно, матушка, все возможно... Не первый древній русскій родъ такимъ-то манеромъ разоряется... навидался я на своемъ вѣку...

— А что Воло... Владиміръ Сергѣевичъ?—вдругъ робко, но въ то-же время сверкнувъ глазами спросила Груня.

— Володичка, что-ли? Онъ еще вчера ко мнѣ заѣзжалъ. Груститъ по дѣдушкѣ. Славный, славный молодой человѣкъ вышелъ.

— Что онъ здоровъ? Каковъ онъ теперь?

— Здоровъ, ничего, мы съ нимъ теперь всѣ дѣла ведемъ вдвоемъ по Борисъ Сергѣевичеву наслѣдству... все на его рукахъ осталось. Въ отпуску онъ, на два мѣсяца отпускъ еще взялъ—раньше-то не разберемся, пожалуй. Вѣдь, онъ какъ окончилъ съ моимъ Васей университетскій курсъ—Вася въ Самару, въ судебные слѣдователи, а онъ въ Петербургъ на службу опредѣлился... Ничего, служить, не жалуется... Да, славный онъ вышелъ, недаромъ любимчикомъ былъ у Бориса Сергѣевича.

Кодратъ Кузьмичъ замолчалъ и сталъ набивать себѣ носъ табакомъ.

Груня о чемъ-то думала. По ея лицу скользило выраженіе

тихой грусти. Но вотъ она едва замѣтно улыбнулась, будто сама себѣ отвѣчая этой улыбкой.

Кодратъ Кузьмичъ продолжалъ:

— Барышня, Софья Сергѣевна, замужъ еще не вышла. Удивительно это... красавица, знатная невѣста... разборчива, видно, очень. Младшая барышня не въ примѣръ, говорятъ, проще. Я то, вѣдь, ихъ мало выдаю. Николушка вотъ у нихъ вышелъ плохонекъ, совсѣмъ плохонекъ.

— Онъ все боленъ?

— Тѣломъ-то здоровъ, крѣпышъ, рослый, да головка у него не въ порядкѣ, ничего у нихъ съ нимъ не вышло, ученье ему не далось, остался, почитай, безграмотнымъ; не то что совсѣмъ ужъ дуракъ, либо идиотъ, а на то похоже. Разъѣзжаетъ по Москвѣ, да чудить... Не мало тоже и съ нимъ было горя Борису Сергѣевичу. Ну, да теперь-то горевать некому—отцу все равно; я думаю такъ, что подчасъ онъ и забываетъ, что у него дѣти есть... Да что-же это я съ тобою о томъ, о семъ, а о дѣлѣ еще и не заикнулся!—вдругъ спохватился Кодратъ Кузьмичъ.—А ты мнѣ и не напоминай!

— Какое дѣло?—изумленно спросила Груня.

— Какъ какое дѣло? Вѣдь, я сказалъ тебѣ, что благодѣтель тебя не забылъ и ты значишься въ его завѣщаніи. Пятьдесятъ тысячъ рублей серебромъ тебѣ оставилъ, шутка-ли, какое приданое! Обо всѣхъ онъ подумалъ... и я взысканъ его щедротами... есть теперь что дѣтямъ на черный день оставить... Эхъ, кабы моя покойница про то знала, не попрекала-бы, что ни до чего не домыкался... Ну, что-же, Груня, вѣдь, вотъ ты теперь богатая невѣста и кабы сама себѣ не напортила...

— Ахъ, да зачѣмъ мнѣ это?—раздражительно крикнула Груня, и опять слезы брызнули изъ ея глазъ.—Не надо мнѣ, не возьму я этихъ денегъ...

— Не городи вздору,—сказалъ Кодратъ Кузьмичъ.—Воля покойника—законъ, и ты съ благодарностью и памятуя всю жизнь благодѣтеля должна принять это.

— Вѣдь, вы-же вотъ говорите сами, что дѣла ихъ разстроены, а тутъ я буду брать такіа деньги... Да совсѣмъ мнѣ и не надобны онѣ... У меня всегда много денегъ... Вотъ и теперь. Вы что думаете? Цѣлыхъ полторы тысячи у меня съ собою... Борисъ Сергѣевичъ и такъ много для меня сдѣлалъ, все сдѣлалъ—и я это знаю и понимаю...

Голосъ ея то и дѣло обрывался.

— Нѣтъ, Кодратъ Кузьмичъ, голубчикъ... дорогой, ужъ такъ какъ-нибудь устройте... я не могу... я не возьму этихъ денегъ.

— Говорю, не дури!—еще сердитѣе крикнулъ старикъ.—Эти пятьдесятъ тысячъ твои, и никто ихъ не захочетъ.

— Ну, и я не хочу!—настойчиво и упрямо твердила она,

Кодратъ Кузьмичъ всталъ съ кресла и весь побагровѣлъ.

— Аграфена!—прорычалъ онъ, дѣлаясь совсѣмъ звѣремъ:—сумасшедшая ты была, сумасшедшая и осталась!...

Но онъ тутъ-же стихъ и взялъ ее за руку.

— Браниться съ тобою я не хочу... Ты разстроена, разсудить не можешь, успокойся и поговоримъ какъ слѣдуетъ, пойдемъ въ домъ, пойдемъ ко мнѣ, я тебѣ покажу... Онъ больше еще для тебя сдѣлалъ. Онъ зналъ, за двѣ недѣли зналъ, что часъ его близокъ и обо всѣхъ, обо всѣхъ подумалъ... Онъ написалъ тебѣ и поручилъ мнѣ передать тебѣ это писанье...

— Онъ мнѣ написалъ?—воскликнула Груня.—Такъ что-же вы молчите!... Гдѣ... гдѣ эта записка?

— Затѣмъ я тебя и зову... пойдемъ...

Груня кинулась къ дому. Кодратъ Кузьмичъ слѣдовалъ за нею тихимъ, но твердымъ еще шагомъ.

...

Московскій рыцарь.

Часа черезъ полтора дверь маленькаго кабинетика Кодрата Кузьмича отворилась и изъ нея вышла Груня. Лицо ея имѣло задумчивый и какъ-бы утомленный видъ, но теплый, даже почти нѣжный свѣтъ сіялъ въ ея глубокихъ глазахъ.

— Не отправить-ли съ тобой Настасьюшку?—говорилъ, выходя ей вслѣдъ изъ кабинета, Кодратъ Кузьмичъ.—Она тебѣ поможетъ уложиться. Ты ее съ вещами на извозчикѣ и прислать можешь.

— Ахъ, нѣтъ, нѣтъ!—поспѣшно отозвалась Груня.—Тутъ не далеко, я сама все очень легко устрою. Да и какія у меня вещи? Всѣ мои вещи еще на желѣзной дорогѣ, со мной всего одинъ чемоданъ, я его и не раскладывала—вчера вечеромъ поздно было, устала; сегодня заспалась, скорѣе одѣлась, напилась чаю и сейчасъ къ вамъ.

— Ну, хорошо! Въ такомъ разѣ я Настасьюшкѣ прикажу приготовить комнату. Съ Богомъ, Грунюшка, ждать тебя буду.

Онъ кивнулъ ей мохнатою головою и снова заперся въ кабинетикъ.

— Къ намъ, что-ли, перебираетесь?—спросила Настасьюшка, очутившаяся въ передней и отворявшая Грунѣ дверь.

— Да, къ вамъ!

— Такъ прямо-бы и прѣхали съ дороги... Эхъ, мудрите, все то мудрите вы, Аграфена Васильевна!

Она закачала головою; но тутъ-же довольно ласково прибавила:

— Милости просимъ! Я вамъ комнатку почищу прежнюю вашу.

Груня отвѣтила слабой улыбкой, хотѣла было уже спуститься со ступенекъ крылечка, но вдругъ обернулась и взглянула на Настасьюшку. Та не выдержала, поцѣловала ее въ плечико и помимо своей воли прошептала:

— Эхъ, красавица вы наша!

По уходѣ Груни, она тотчасъ-же побѣжала за щеткой и тряпками, и когда Кодратъ Кузьмичъ крикнулъ ей, чтобы она прибрала барышнину комнату, она уже поспѣшно, даже съ ожесточеніемъ, вся раскраснѣвшись, все вытряхивала и вычищала передъ маленькимъ открытымъ окошкомъ...

Между тѣмъ Груня быстро шла очевидно хорошо ей знакомой дорогой и очевидно совсѣмъ ее не замѣчая за различными, быстро мелькавшими въ головѣ, мыслями. Вотъ она спѣшитъ по Пречистенскому бульвару. Старыя деревья уже наполовину пожелтѣли и листья ихъ осыпаются при малѣйшемъ дуновеніи вѣтра.

На бульварѣ довольно пустынно, только мальчишки изъ сосѣднихъ лавокъ играютъ въ бабки и подхлестываютъ кубари. Время отъ времени какой-нибудь гимназическій учитель, окончившій свои часы, быстро перебѣгаетъ съ портфелемъ подъ мышкой. Грустнотная, поблекшая гу. ернантка совершаетъ свою обычную прогулку «съ дѣтьми» и повторяетъ имъ на плохомъ французскомъ языкѣ обычныя замѣчанія. Старый нищій съ краснымъ носомъ и трясущею головою бредетъ въ сторонкѣ, искоса поглядывая на полицейскаго, сладко зѣвающаго и между зѣвковъ тихо напѣвающаго что-то унылое и несуразное. Дѣвчонка изъ моднаго магазина, въ платочкѣ на головѣ, съ картонкой въ рукахъ, бѣжитъ мелкой рысцою, зорко поглядывая во всѣ стороны живыми, любопытными и уже вызывающими глазами.

Вотъ на скамѣ, затягиваясь папирской и чертя по песку тросточкой причудливые зигзаги, сидитъ юноша-шалопай, московскій франтъ, не особенно хорошаго тона. Завидя издали стройную фигуру Груни, онъ быстро, инстинктивно, охорашивается, поправляетъ шляпу, вытягиваетъ впередъ манжеты съ огромными запонками, надѣваетъ *pince-nez* и слѣдитъ за Груней, не отрываясь.

Она въ нѣсколькихъ шагахъ отъ него. Онъ даже глазамъ

своимъ не вѣрить, при видѣ такой красоты и, едва пропустивъ ее, устремляется за нею. Онъ уже два раза перебѣжалъ, заглядывая ей подъ шляпку, но она его не замѣчаетъ. Онъ очевидно еще не дошелъ до высшей степени нахальства, а потому, грустно вздохнувъ, возвращается на бульваръ.

Груня прошла Арбатскую площадь, повернула на Арбатъ и поднялась по широкой, но не особенно опрятной лѣстницѣ гостиницы «Гунибъ», гдѣ остановилась просто по капризу, по воспоминанію тѣхъ далекихъ дней, когда почти каждое утро проходила мимо этого дома и читала эту вывѣску. Когда она ѣхала сюда, наканунѣ вечеромъ, она даже и не знала—существуетъ ли еще этотъ «Гунибъ». Но онъ оказался существующимъ.

Она вынула изъ кармана ключъ, вложила его въ замочную скважину своего «номера» и не замѣтила, что дверь ея оказалась не запертой. Она вошла въ большую комнату съ двумя тусклыми окнами, съ пошлой, уже значительно загрязненной гостиничной обстановкой, и вздрогнула отъ неожиданности—передъ нею у окна, на неуклюжемъ, обтянутомъ выцвѣтшимъ репсомъ креслѣ, сидѣлъ мужчина.

Это былъ человѣкъ лѣтъ тридцати, казавшійся, однако, старше своего возраста, человѣкъ огромнаго роста, съ длинными руками и ногами. Онъ былъ одѣтъ щеголевато и съ претензіей на изящество. Но эта щегольская одежда совсѣмъ какъ-то не шла къ нему. Его коротко остриженные, видимо изо всѣхъ силъ прилизанные волосы упрямо топорщились мѣстами. Большое, красное и блестящее отъ жиру лицо съ толстымъ носомъ и еще болѣе толстыми губами не особенно скрашивалось желтоватой бородкой. Золотые очки, которыми онъ прикрывалъ свои сѣрые, съ красноватыми вѣками глазки, вмѣсто того, чтобы придать ему серьезный видъ, дѣлали его еще болѣе смѣшнымъ. Но несмотря на дурноту его и комичность всей этой огромной, угловатой фигуры, вѣроятно, впрочемъ, именно благодаря этой комичности, въ немъ было что-то говорящее въ его пользу. Отъ него можно было въ первую минуту отшатнуться, но во вторую минуту уже хотѣлось добродушно смѣяться.

При входѣ Груни онъ всталъ съ кресла и почтительно раскланялся передъ нею.

— Вотъ и я! — сказалъ онъ, и при этомъ его толстыя губы смѣшно шлепнули одна о другую.

Она уже пришла въ себя отъ неожиданности, и краска вспыхнула на ея щекахъ.

— Какая дерзость!—воскликнула она.—И какъ это вы могли забраться безъ меня въ мою комнату... кто васъ впустилъ? Какова гостиница!.. Это ужъ ни на что не похоже... Извольте выдти!..

— Ни за что!—совсѣмъ сгибаясь, грустно, не все-же рѣшительно сказалъ онъ.

— Но, вѣдь, это безсовѣстно, неблагородно, наконецъ... это Богъ знаетъ что такое!.. Я позвоню...

Она ужъ подошла было къ сонеткѣ, но вспомнила, какъ еще утромъ убѣдилась, что сонетка не дѣйствуетъ.

— Ну, и что-же вы этимъ сдѣлаете, Аграфена Васильевна?— между тѣмъ говорилъ онъ.—Скандалъ—и только... Успокойтесь лучше. Я васъ задержу недолго... Да умоляю-же васъ, успокойтесь, не сердитесь...

Онъ сдѣлалъ такую умоляющую и жалобную мину, его лицо было такъ нелѣпо и въ то же время добродушно, что ея негодованіе утихло и ей захотѣлось разсмѣяться. Но она не засмѣялась. Она присѣла на стулъ и строго спросила его:

— Что вамъ отъ меня надо?

— Сдѣлать вамъ визитъ, поблагодарить васъ за пріятное знакомство, за милое ваше общество, которымъ я пользовался на пароходѣ отъ Астрахани до Нижняго и на желѣзной дорогѣ...

— Я васъ вчера поблагодарила за ваше общество и за вашу любезность, даже несмотря на то, что вы ее въ послѣдній день совсѣмъ испортили. Вы сначала казались порядочнымъ человѣкомъ, но вчера весь день говорили такія глупости, что я серьезно просила васъ не продолжать со мною знакомства.

— И я вамъ серьезно отвѣтилъ, что сегодня же буду у васъ съ визитомъ. Мнѣ легко было узнать, что вы остановились въ «Гунибѣ». Вотъ фантазія! Но тѣмъ лучше: здѣсь меня давно и хорошо знаютъ. Я сказалъ, что вы моя двоюродная сестра и меня впустили въ вашу комнату...

Груня снова вспыхнула. Въ глазахъ у нея блеснулъ злой огонекъ.

— Какая низость!—воскликнула она.—Monsieur Барбасовъ, прошу васъ уйти, оставьте меня въ покоѣ.

Онъ совсѣмъ присмирѣлъ; улыбка, растягивавшая его толстыя губы, исчезла, и онъ заговорилъ тихимъ, грустнымъ голосомъ:

— Аграфена Васильевна, не обижайтесь, я теперь самъ вижу, что поступилъ скверно... но какъ-же иначе я могъ-бы васъ увидѣть? А я не могу васъ не видать—вотъ въ чемъ дѣло... да, не могу... не могу! Вы навсегда меня взяли, понимаете: взяли. Я ужъ теперь не принадлежу себѣ... я вашъ... вашъ... вы можете изъ меня дѣлать что хотите...

— Я не хочу слушать вашихъ пошлостей. Что такое «я вашъ, вашъ, вы меня взяли!..» Я васъ и не думала брать, по-

тому что вы мнѣ совсѣмъ, совсѣмъ не нужны, и я могу только презирать тѣхъ людей, которые не умѣютъ уважать меня, которые думаютъ пользоваться моей беззащитностью. Но я ужъ не такъ беззащитна, какъ вы думаете, я не боюсь васъ, да и никого не боюсь... Уйдете вы, наконецъ?

— Аграфена Васильевна!—голосъ его дрогнулъ:—простите меня, не прогоняйте такъ... Я вамъ говорю, что вы можете дѣлать изъ меня все, что угодно... Можетъ быть, я еще вамъ и пригожусь на что-нибудь... Позвольте мнѣ продолжать знакомство съ вами! Позвольте мнѣ постараться чѣмъ-нибудь, хоть самой малостью, быть вамъ полезнымъ... Аграфена Васильевна..

Ничего нельзя было себѣ представить смѣшнѣе его въ эту минуту. И вмѣстѣ съ этимъ въ его тонѣ звучала искренность. Такъ, по крайней мѣрѣ, показалось Грунѣ.

Она взглянула на него и весело разсмѣялась.

— Барбасовъ!—сказала она:—я прощаю вамъ, но помните, что это въ послѣдній разъ я вамъ прощаю!

Онъ весь такъ и просіялъ. Онъ кинулся къ ней съ протянутой рукою, и она дала ему свою руку.

— А теперь уходите, мнѣ нужно уложиться, я сейчасъ переѣзжаю отсюда.

— Какъ переѣзжаете?! Куда?—снова озадаченный воскликнулъ онъ.

Она засмѣялась.

— Этого я не скажу вамъ... Конечно, вы меня разыщете; но увидимъ, такъ-ли вамъ легко будетъ ворваться ко мнѣ туда, гдѣ я буду, какъ здѣсь, въ этомъ вашемъ грязномъ, противномъ «Гунибѣ». Тамъ у меня такой сторожъ... Покажитесь только...

Ей представилась страшная физіономія Кодрата Кузьмича, и глаза ея засвѣтились еще веселѣе.

— Гдѣ-же я увижусь съ вами? Дайте-же, въ самомъ дѣлѣ, вашъ адресъ, позвольте мнѣ заглянуть къ вамъ!

— Ни за что, ни за что!

— Такъ развѣ это прощенье?

Ея веселость прошла. Эти внезапныя, быстрыя въ ней перемены особенно ему нравились и особенно его подзадоривали, волновали.

— Если суждено намъ быть знакомыми, такъ мы и будемъ,—сказала она:—но помните, что еще хоть одинъ малѣйшій неприличный поступокъ съ вашей стороны—и тогда дѣйствительно кончено... А теперь, увѣряю васъ, я спѣшу, оставьте меня...

Онъ понялъ, что на этотъ разъ она говоритъ совсѣмъ серьезно, а потому простился съ нею и вышелъ.

Уходя, онъ думалъ:

«Экая прелесть!.. Задала ты мнѣ задачу, задала загадку; но я ее разгадаю... Есть-ли кто-нибудь? Должно быть, есть, но весь вопросъ въ томъ, насколько этотъ «кто-нибудь» серьезень... Неужели придется отказаться? Ужъ черезчуръ было-бы обидно; вѣдь, такую прелесть разъ-другой встрѣтить въ жизни—да и будетъ, съ огнемъ ищи—не отыщешь».

IV.

Спасенная.

Груня въ маленькой бѣдной комнаткѣ стараго домика Кодрата Кузьмича Прыгунова. Окошечко съ выгорѣвшими и по временамъ переливающимися всѣми цвѣтами радуги стеклами выходитъ въ садикъ. На подоконникѣ неизбѣжные горшки съ геранью и жасминомъ. Вылинявшая запыленная штора съ какой-то намалеванной на ней бесѣдкой, заштопанныя кисейныя занавѣски, сѣренкія съ розовыми разводами обои, засаленныя и вытертыя мѣстами. Зеркальце на стѣнѣ въ столѣтней рамѣ изъ корельской березы; въ углу икона съ воткнутой за нею вербою, ветхій столикъ, весь закапанный чернилами, желѣзная кровать, два стула, два кресла, изъ старой шерстяной обтяжки которыхъ мѣстами выглядываетъ мочалка, старинный комодъ... На крашеномъ полу неизвѣстно кѣмъ и когда вышитый коврикъ, давно уже испачканный и изѣденный молью...

Вотъ какова эта комнатка, да еще и прибранная стараніями Настасьюшки. Но Груня почувствовала себя въ ней хорошо и уютно, и вечеромъ, часовъ въ десять, простясь съ Кодратомъ Кузьмичемъ, быстро раздѣвшись и очутясь въ узенькой кровати, она вздохнула полной грудью, какъ человѣкъ давно уставшій, много скитавшійся и, наконецъ, почувствовавшій себя въ своемъ углу, подъ роднымъ кровомъ.

Болѣе родного крова, какъ этотъ старый домикъ, у нея не было. Вѣдь, она была несчастная сиротка, крѣпостная дѣвочка, извѣдавшая съ ранняго дѣтства тяжелыя впечатлѣнія. Подаренная покойной Горбатовой свѣтскою пріятельницею, она вдругъ, по барскому капризу, изъ привилегированнаго положенія въ домѣ, изъ роли полувоспитанницы, полубарышни превратилась въ загнанную замарашку, на которой дворня стала безнаказанно вымещать прежній ея фаворъ. Она выносила всякія несправедливости, брань, побои. Ея судьба ничѣмъ не разнилась отъ судьбы

многихъ, ей подобныхъ, ей оставалось захапнуть, притихнуть, отупѣть, превратиться въ животное.

Но она не могла этого, ея дѣтское сердце обливалось кровью и возмущалось, ея мозгъ началъ мучительно работать, въ двѣнадцатилѣтнемъ ребенкѣ шла незримая тягостная борьба, закончившаяся почти безуміемъ, закончившаяся отчаянной ненавистью, страстной необходимостью отомстить, «спалить» жестокою барыню... Барыня спаслась, но старый барскій домъ погибъ въ пламени...

Совершивъ это ужасное дѣло, дѣвочка прішла въ неописанный ужасъ и, признавшись въ своемъ преступленіи своему единственному на всемъ свѣтѣ другу, маленькому барину Володѣ, она просила убить ее. Но ее не убили. Старый баринъ, Борисъ Сергѣевичъ, и незнакомый ей приземистый старикъ, съ лицомъ страшнымъ и еще болѣе страшными бородавками, увезли ее въ Москву. Ее помѣстили въ семьѣ этого самаго страшнаго старика, который оказался такимъ добрымъ, что добрѣе его была только его жена, Олимпіада Петровна. Въ домѣ была теперь и дочка ихъ, Сонюшка, только-что окончившая курсъ въ институтѣ, томная, востроносенькая барышня, почти цѣлый день читавшая книжки, а, отрываясь отъ чтенія, закрывавшая глаза и время отъ времени не то отъ грусти, не то отъ избытка чувствъ вздыхавшая. Было еще два подроставшихъ мальчика-гимназиста, такихъ смѣшныхъ и дикихъ, но тоже съ добрыми лицами. Была, наконецъ, дѣвочка, почти Груниныхъ лѣтъ, блѣдненькая и маленькая, больная дѣвочка Катя.

Вся эта семья обласкала и пригрѣла Груню. Олимпіада Петровна сейчасъ-же навезла изъ лавокъ полотна и разныхъ матерій, призвали бѣлошвейку, одѣли Груню съ головы до ногъ во все новое, нашили ей всякаго платья. Востроносенькая вздыхавшая барышня занялась ея ученіемъ. Груня для своихъ лѣтъ знала мало, но все-же умѣла читать и писать. Скоро отдали ее въ пансіонъ, тутъ-же неподалеку, на Остоженкѣ. Она ходила туда каждое утро къ девяти часамъ и возвращалась къ Прыгуновымъ къ обѣду. Она спала вмѣстѣ съ Катей, въ этой самой комнаткѣ.

Но вотъ она какъ-то вернулась изъ пансіона съ тяжелой головою. За обѣдомъ ничего не ѣла, а къ вачеру, вся въ жару, должна была лечь въ постель. Когда утромъ позвали доктора, онъ сказалъ, что у нея скарлатина и приказалъ тотчасъ-же отъ нея отдѣлить Катю. Но въ тотъ-же день Катя снова вернулась на свою кроватку, тоже вся въ жару, въ той-же скарлатинѣ.

Черезъ недѣлю Катю выносили изъ комнатки уже мертвой, а Груня выздоровѣла. Потомъ, гораздо позднѣе, раздумывая о томъ VIII.

своей странной жизни, она говорила себѣ, что всюду приносила съ собою несчастье, что даже благодаря ей въ пріютившую ее семью Пригунова явилась смерть; вѣдь, это она заразила Катю скарлатиной.

Однако, Пригуновы, горько оплакивавшіе свою бѣдную дѣвочку, не считали Груню виновной, они продолжали ласкать ее попрежнему, даже, пожалуй, больше прежняго.

Время шло. Проходили года. Груня жила все въ той-же комнаткѣ и ходила въ тотъ-же пансіонъ. Востроносенькая барышня Пригунова вышла замужъ и уѣхала съ мужемъ въ Харьковъ. Мальчики выросли, дѣлались такими неуклюжими и еще болѣе дикими и почему-то становились все больше и больше почтительными съ Груней, даже какъ будто ее боялись. Она могла распоряжаться ими какъ ей вздумается, малѣйшее ея слово, движеніе—и оба они взапуски готовы были бѣжать для нея хоть на край свѣта.

Кодратъ Кузьмичъ и Олимпіада Петровна тоже незамѣтно для себя стали какъ будто ей подчиняться, хотя она вовсе не желала этого. Иной разъ она капризничала, иной разъ она спорила съ ними, раздражалась, относилась къ нимъ вовсе не съ такимъ почтеніемъ, какъ-бы слѣдовало, но они этого не замѣчали. Кодратъ Кузьмичъ хотя и покрикивалъ на нее изрѣдка, но тотчасъ-же и смягчался.

Груня была вовсе не зла и по-своему очень любила всѣхъ Пригуновыхъ, цѣнила все, что они для нея дѣлали. Каждый разъ, допустивъ себя до раздраженія и потомъ успокоившись, она мучилась и бранила себя, считала себя гадкой, безсовѣстной, неблагодарной. Она кидалась передъ Олимпіадой Петровной на колѣни, цѣловала ея руки; затѣмъ принималась ластиться къ Кодрату Кузьмичу. Олимпіада Петровна сразу-же разнѣживалась, обнимала Груню, гладила ее по головкѣ и приговаривала:

— Ахъ ты огонекъ мой, огонекъ, побѣдная ты моя головушка! Ну чего ты... ну чего!.. Знаю я, что ты меня любишь... знаю!..

Кодратъ Кузьмичъ сдавался не сразу. Онъ хмурился, мычалъ, потрясалъ своей страшной головою. Но обаяніе дикарки и на него дѣйствовало: стоило ей только поглядѣть хорошенько въ его прятавшіеся подъ косматые брови глаза—и онъ начиналъ таять.

— Отвяжись!—ворчалъ онъ.—Есть у меня время съ тобой возиться!.. Пойди, долби лучше уроки, а то, вѣдь, лѣнтяйка записная... Мадамъ еще въ послѣдній разъ, какъ я ей отвозилъ деньги, на тебя жаловалась. Ступай, долби уроки!

А самъ невольно склонялся надъ нею и съ тихимъ вздохомъ. цѣловалъ ее въ лобъ, коля ее своимъ щетинистымъ подбородкомъ

Мадамъ жаловалась дѣйствительно, а между тѣмъ Груня вовсе не была, собственно говоря, лѣнтяжкой; къ тому-же она обладала прекрасными способностями. Только она поступила въ пансіонъ совсѣмъ неподготовленной, такъ что была посажена въ классъ съ маленькими, восьмилѣтними дѣвочками. Она отъ нихъ не отставала, напротивъ, перегоняла ихъ, но все-же ей пришлось всегда быть самой старшей въ классѣ по годамъ, и немудрено, что ей скучно было съ этими маленькими подругами, что ничего общаго не оказывалось между нею и ими. Она носила въ себѣ свое тяжкое прошлое, забывавшееся, несмотря на новую жизнь, и навсѣгда ее отравившее. Правда, съ годами оно какъ-то тускнѣло—это прошлое и уже рѣдко теперь складывалось передъ нею въ опредѣленныя картины. Но временами оно наплывало на нее какъ туманъ, давило, поднимало въ ней тоску.

Въ такіе-то дни она и становилась лѣнливой, не готовила своихъ уроковъ, дѣлалась раздражительной, говорила дерзости класснымъ дамамъ и учителямъ въ пансіонѣ, а дома—Кодрату Кузьмичу и Олимпіадѣ Петровнѣ. Въ такіе дни она придиралась ко всему, любила дразнить рыцарски преданныхъ ей гимназистовъ, Колю и Васю Прыгуновыхъ, издѣвалась надъ ними и всячески ими помыкала. А потомъ запиралась у себя, бросалась на кровать и, уткнувшись въ подушки, рыдала-рыдала, проклинала и себя и всѣхъ, чувствовала тоску и скуку, отъ которыхъ некуда уйти...

Все это были неизбѣжные слѣды прошлаго. Но вмѣстѣ съ этимъ въ сердцѣ ея прыгалъ и кричалъ какой-то «бѣсенокъ», по выраженію Кодрата Кузьмича, вѣчный, назойливый и мучительный бѣсенокъ, который еще въ прежніе годы, въ Знаменскомъ паркѣ, во время никому невѣдомыхъ ея прогулокъ съ Володи, навѣвалъ на нее всякіе волшебные сны и грезы. Онъ заставлялъ ее мечтать о какой-то особенной сказочной будущности...

Этотъ прежній бѣсенокъ не умеръ—онъ былъ живъ, онъ выросла въ вмѣстѣ съ нею, по-старому, то мучилъ ее, то прикидывался тихимъ и добрымъ.

«Развѣ это жизнь?»—назойливо твердилъ онъ ей:—развѣ это жизнь?»—И онъ принимался представлять всѣхъ людей, ее окружавшихъ, въ смѣшномъ видѣ. Онъ показывалъ ей ихъ какъ въ зеркалѣ, но только при этомъ такъ освѣщалъ, что, напримѣръ, глядя на изображеніе Кодрата Кузьмича, она уже не замѣчала его доброты, его христіанскаго смиренія, а видѣла только его грибообразную фигуру, бородавки, смѣшныя манеры и привычки.

Олимпіада Петровна являлась совсѣмъ уже глупой, тупой ста-

рушкой. Madame—содержательница пансіона—злая вѣдьма, думающая только о наживѣ; классныя дамы—сплетницы и интригантки—и такъ далѣе, все въ томъ-же родѣ.

Ехидный бѣсенокъ доказывалъ все это такъ ясно, такъ ясно, что нельзя было съ нимъ не согласиться. А между тѣмъ Груня хотѣла любить всѣхъ и даже любила, любила и насмѣхалась, и терзалась въ невыносимыхъ противорѣчіяхъ.

«Нѣтъ, это не жизни! Жизнь—совсѣмъ другое!...»—думалось Грунѣ.

«Да, жизнь—другое!»—твердилъ бѣсенокъ.

Ей представлялась роскошная, залитая блескомъ зала, полная нарядной толпой... Эстрада... звуки музыки... и она, Груня, — центръ всѣхъ взглядовъ... Она поетъ среди своихъ придворныхъ дамъ и кавалеровъ, она принцесса, героиня, примадонна!.. Вотъ передъ нею склоняется прекрасный рыцарь и въ отвѣтъ на слова ея звучитъ его сладкій голосъ, наполняющій всю ея душу восторгомъ, говорящій о волшебной любви, о счастьи...

А зала дрожитъ отъ рукоплесканій, и къ ногамъ красавицы-примадонны сыплются букеты, вѣнки, дорогіе подарки...

«Володя... Володя!.. Что съ нимъ? Какой онъ теперь?»—вдругъ вспоминаетъ она своего единственнаго друга, и ей начинаетъ безумно хотѣться его увидѣть. Но это невозможно: разъ навсегда рѣшено, что она съ Горбатовыми не должна имѣть ничего общаго. Она видала Бориса Сергѣевича нѣсколько разъ, по его возвращеніи изъ-за границы, въ домѣ Кодрата Кузьмича. Онъ всегда былъ очень ласковъ съ нею, но ни разу не упомянулъ о Володѣ...

Да еслибъ и позвали ее туда—она не пошла-бы, ей страшно и подумать объ этомъ послѣ всего, что было... Она убѣждала-бы непременно, еслибъ ей сказали, что Володя здѣсь, въ домѣ. А между тѣмъ ей все-же временами, всею силой страстнаго желанія, хотѣлось его видѣть... Она не могла забыть его, только мало-по-малу его образъ начиналъ принимать фантастическія очертанія; онъ часто представлялся ей именно тѣмъ склоненнымъ передъ нею прекраснымъ рыцаремъ...

А время идетъ. Она попрежнему въ пансіонѣ, попрежнему сидитъ въ классѣ и отвѣчаетъ уроки. И никто какъ будто не замѣчаетъ, да и сама она въ томъ числѣ, что она уже совсѣмъ взрослая, совсѣмъ разившаяся дѣвушка. Ей девятнадцатый годъ.

Она вышла настоящей красавицей. Дочь русскаго знатнаго барина изъ знаменитаго рода и крестьянки — она наглядно подтвердила на себѣ теорію обновленія старой, вырождающейся расы посредствомъ здоровой новой крови.

Она воплотила въ себѣ тотъ идеалъ «русской красной дѣ-

вицы», которая сушила и знобила сердце молодецкое однимъ взглядомъ очей соколиныхъ, однимъ движеніемъ черной брови. Это была именно красота, которая когда-то, во времена царской Руси, выростала въ тихомъ теремѣ, за затворами. и появлялась на царскихъ смотринахъ; та красота, передъ которой юный властелинъ останавливался, невольно пораженный и превознесенный до седьмого неба, и протягивалъ ей свою царскую ширинку—знакъ сердечнаго выбора. Тогда на эту красоту избранную поднималась вся царская челядь и теремъ, старались извести ее всѣми мѣрами, посредствомъ всякихъ чаръ, зелей и порчи, зачастую и губили ее безвозвратно...

Груня не готовилась къ царскимъ смотринамъ, ей нечего было бояться порчи; но ужъ во всякомъ случаѣ ей не мѣсто было, съ этой созрѣвшей красотой, на ученической скамьѣ маленькаго пансіона. Она наконецъ поняла это.

Внезапно рѣшась, она объявила Кодрату Кузьмичу и Олимпіадѣ Петровнѣ, что хотя ей остается еще цѣлый годъ быть въ пансіонѣ, но она больше не можетъ и ни за что не станетъ ходить въ классъ.

Олимпіада Петровна ужаснулась. Кодратъ Кузьмичъ пришелъ въ ярость.

— Это что такое?—закричалъ онъ.—Какъ тебѣ не совѣстно? Вѣдь, ты знаешь желаніе твоего благодѣтеля Бориса Сергѣевича, чтобы ты кончила курсъ и выдержала экзаменъ? Да и что-же ты, матушка, станешь дѣлать?..

— А что я стану дѣлать, когда выдержу экзаменъ? Ну, что я тогда стану дѣлать, Кодратъ Кузьмичъ, скажите? Дипломъ получу... такъ въ гувернантки идти, что-ли? Я не могу этого... я неспособна... лучше утопиться!..

Кодратъ Кузьмичъ нахмурился и застучалъ пальцемъ по столу:

— Ишь ты, вѣдь, языкъ—утопиться!.. Зачѣмъ въ гувернантки... развѣ тебѣ такъ ужъ дурно у насъ? Я такъ полагаю: вотъ ты кончишь курсъ, дипломъ получишь, а мы тѣмъ временемъ тебѣ человѣка хорошаго присмотримъ...

Груня вспыхнула.

— Ужъ этого-то не будетъ!—воскликнула она.—Никакого хорошаго человѣка мнѣ не надо и я ни за что не выйду замужъ...

— Что-же ты намѣрена съ собой дѣлать, мать моя?

— Я хочу быть актрисой.

Олимпіада Петровна всплеснула руками. Кодратъ Кузьмичъ топнулъ ногой и засѣменилъ на мѣстѣ. Онъ даже приподнялъ указательный палецъ и сталъ грозить имъ Грунѣ.

— И думать не мочи! Да что это ты бѣлены, что-ли, обѣлась? Актрисой!... Нечего сказать—благодарность Борису Сергѣе-

вичу!.. За этимъ онъ о тебѣ заботился... о насъ я и не говорю—о насъ ты немного думаешь... Да какъ это тебѣ и въ голову могло придти такое?

На Груню между тѣмъ уже находилъ припадокъ раздраженія.

— Что-жъ такого дурного быть актрисой?

— Объ этомъ я даже съ тобой и говорить не хочу!—объявить Кодратъ Кузьмичъ, свирѣпо выходя изъ комнаты.

Но затѣмъ онъ снова вернулся и мрачно прибавилъ:

— Выбрось ты это изъ головы, Аграфена, слышишь, выбрось!

Олимпіада Петровна стала было всячески уговаривать Груню, но ея плаксивый тонъ, ея взглядъ на артистическую карьеру, какъ на полнѣйшій позоръ, только еще больше раздражали дѣвушку. Однако, она воздержалась отъ возраженій, ушла къ себѣ въ комнату и заперлась тамъ надолго.

Она рѣшила судьбу свою.

V.

Задумано—сдѣлано.

Это было весною. Занятія въ пансіонѣ скоро кончались. Груня сдѣлала маленькую уступку—продолжала ходить въ пансіонъ, хотя уже совсѣмъ почти не готовила уроковъ. Она кое-какъ выдержала переходный экзаменъ въ старшій классъ, а затѣмъ, къ концу лѣта, какъ-то утрѣмъ ушла изъ дому и больше не возвращалась.

Переполюхъ былъ страшный. Груня оставила записку, въ которой очень трогательно благодарила Прыгуновыхъ за все ихъ о ней попеченіе, увѣряла ихъ, что ей очень грустно разстаться съ ними, но что она не можетъ поступить иначе, что она должна попробовать свои силы на томъ поприщѣ, къ которому чувствуетъ призваніе.

Борисъ Сергѣевичъ Горбатовъ былъ въ это время въ деревнѣ. Кодратъ Кузьмичъ хотѣлъ было пуститься на поиски, но Груня исчезла безъ всякихъ слѣдовъ.

— Да гдѣ-же?.. Какъ-же? Куда?.. Что такое?!

Прыгуновы совсѣмъ потеряли голову и, конечно, не могли найти разгадку, пока не пришло первое письмо отъ Груни изъ Казани, гдѣ она дебютировала. Въ этомъ письмѣ она объясняла многое: она въ нѣсколько мѣсяцевъ мало-по-малу устроила дѣло посредствомъ ловкаго и, конечно, влюбленнаго въ нее, хотя безъ всякой надежды на взаимность, молодого человѣка, котораго

встрѣчала въ домѣ одной изъ своихъ подругъ. Она завела сношенія съ антрепренеромъ, успѣла съ нимъ лично познакомиться. Антрепренеръ поразился ея красотою и бойкостью, заставилъ ее прочесть нѣсколько сценъ и предложилъ ей условія, показавшіяся ей блестящими. Все было рѣшено. У нея въ рукахъ оказался задатокъ. Она хитростью выманила у Олимпіады Петровны необходимыя ей бумаги и уѣхала въ Казань. Вотъ какъ все случилось.

Конечно, ее можно было заставить вернуться силой, такъ какъ она еще не достигла совершеннолѣтія. Но Горбатовъ, къ крайнему изумленію Коздрава Кузьмича, отказался вмѣшиваться въ это дѣло.

— Я получилъ письмо отъ Груни и отвѣтилъ ей,—сказалъ онъ на всѣ доводы стараго дѣльца.—Надѣюсь, что она не пропадетъ и во всякомъ случаѣ она пропадетъ скорѣе, если мы станемъ удерживать ее силой—это ужъ такой характеръ...

— Да, бѣдовый характеръ, конечно,—воскликнулъ Прыгуновъ:—только какъ вамъ угодно, а пропала теперь наша Аграфена, совсѣмъ пропала!

— Не каркайте, почтеннѣйшій!—отвѣтилъ ему старикъ Горбатовъ со своей тихой и грустной улыбкой.

Каркать дѣйствительно было рано, и Борисъ Сергѣевичъ доказалъ, что хорошо понялъ Груню, не пожелавъ ей противорѣчить и стѣснять ее.

Дѣло было такъ. Когда Груня во что-бы ни стало рѣшилась достигнуть своей цѣли и, въ виду встрѣченнаго ею въ семьѣ Прыгунова противодѣйствія, нашла необходимымъ поступить тайно, она вся была наполнена только однимъ: добиться своего, все устроить половчѣе, уѣхать. Она ни надъ чѣмъ не задумывалась, не обсуждала свои поступки и только дѣйствовала.

Цѣль достигнута, все устроено—она въ Казани.

Тутъ съ нею произошло то-же, что и тогда, послѣ ея дѣтскаго преступленія въ Знаменскомъ. Она очнулась, взглянула на свои поступки сознательно и почувствовала себя не совсѣмъ правой, но не передъ Прыгуновыми, нѣтъ,—какъ она ихъ ни любила, но все-же въ своей юной самонадѣянности и гордости считала, что судить ее и осуждать не ихъ ума дѣло. Она почла себя неправой передъ Борисомъ Сергѣевичемъ. Хотя она и немного его знала, то-есть видалась съ нимъ рѣдко, но онъ игралъ въ ея жизни первую роль. Онъ казался ей всегда и продолжалъ казаться какимъ-то особеннымъ существомъ. Она благоговѣла передъ нимъ и въ то же время, хотъ это, повидимому, и не согласовалось съ ея природой, даже нѣсколько его боялась.

Послѣ своего перваго дебюта въ Казани, она собралась съ

духомъ и написала ему горячее, искреннее письмо, излила всю свою душу, всѣ свои мечты, планы. Она увѣряла его въ необходимости для нея отдаться артистическому призванію, безъ котораго она жить не можетъ, просила простить ее, трогательно выражала свою благодарность.

Борисъ Сергѣевичъ прочелъ и перечелъ это письмо, подумалъ, и написалъ ей въ отвѣтъ, что хотя она поступила очень легкомысленно и дурно относительно Прыгуновыхъ, но что если дѣйствительно у нея есть призваніе, какъ она пишетъ, то онъ готовъ извинить ей. Онъ выразилъ, что призваніе это прекрасно и благородно, но что при ея молодости и неопытности она подвергается огромнымъ опасностямъ. Онъ просилъ ее никогда не забывать этого...

Заканчивалось это письмо такъ: «я твердо, однако, надѣюсь на твою честность, благородство и чистоту. Помни также, что я всегда готовъ помочь тебѣ, и во всякую трудную минуту спѣши ко мнѣ обратиться—это будетъ лучшимъ доказательствомъ того, что ты цѣнишь то сильное добро, которое я тебѣ сдѣлалъ.»

Груня нѣсколько часовъ проплакала надъ письмомъ Бориса Сергѣевича, и хотя въ ней никогда не замѣчалось сентиментальности, но все-же она не могла оторваться отъ этого листка бумаги и много разъ цѣловала строчки, написанныя старческой, уже дрожащей рукою.

Борисъ Сергѣевичъ чувствовалъ, что именно такъ ей написать надо — и не обманулъ. Это письмо было талисманомъ, охранявшимъ Груню въ ея скитальческой жизни.

Конечно, опасностей было не мало, не мало испытаній, а разочарованій и того еще больше. Конечно, мечты разлетались мало-по-малу и эта новая «волшебная» жизнь оказалась совсѣмъ плохою. Груня попала въ самое ужасное общество, какое только можно себѣ представить, въ общество провинціальныхъ актеровъ и провинціальныхъ театраловъ. Она дебютировала какъ драматическая актриса и, съ перваго-же появленія своего на сценѣ, стала любимицей большинства публики. У нея, безспорно, были проблески настоящаго дарованія, хотя игра ея отличалась неровностью и на каждомъ шагу чувствовалось отсутствіе школы.

Если считать ея промахи, ихъ въ каждой роли набиралось достаточно; но ея молодость, ея всепобѣждающая красота дѣйствовали одуряюще. Конечно, она сразу очутилась центромъ всякихъ исканій со стороны молодыхъ и немолодыхъ театраловъ. Конечно, она встрѣтилась съ завистью подругъ, со злобой, клеветой, сплетнями. Она видѣла грязныя и мелкія закулисныя интриги, цинизмъ и развратъ, глупость и невѣжество, но вмѣстѣ съ этимъ встрѣтила и доброе къ себѣ отношеніе.

Она на первых-же порахъ сблизилась съ пожилой актрисой, женщиной очень хорошей и доброй, и даже неимѣвшей никакого scandalного прошлаго, честно и добросовѣстно зарабатывавшей себѣ кусокъ хлѣба на театральныхъ подмосткахъ. Эта женщина, съ которой Груня поселилась вмѣстѣ, была ей въ большую помощь, но въ еще большую помощь оказался «талисманъ». Бориса Сергѣевича въ единеніи съ ея собственнымъ нравомъ, съ ея самолюбіемъ и гордостью. Къ тому-же въ ней, наперекоръ разсудку, жила неизлечимая дѣтская мечта объ единомъ другѣ, объ единомъ идеалѣ— Все это, вмѣстѣ взятое, спасло ее отъ грязи, отъ паденія, отъ непоправимыхъ ошибокъ.

Борисъ Сергѣевичъ, Володя и даже добродушная семья Пригуновыхъ—все эти знакомые образы заставляли ее свысока смотреть на новыхъ людей, съ которыми теперь ей приходилось сталкиваться. Эти двухсмысленныя интригантки-актрисы, эти нахальные, ухаживающіе за ней молодые и немолодые люди казались ей ничтожными и жалкими, порой смѣшными, порой гадкими. Они не могли увлечь ее. Она ихъ не понимала, какъ и они ее, и ей съ ними, по большей части, было просто скучно. Въ ней не было робости и, мало-по-малу, развивалась осмотрительность. Она поневолѣ должна была у себя принимать. Она умѣла быть любезной и милой; въ инныя минуты, когда молодая, самолюбивая голова кружилась отъ аплодисментовъ, даже веселой; но никогда никому не позволяла она ничего лишняго—ни слова, ни движенія, и очень искусно останавливала каждаго во время.

Если-бы ей пришлось жить на одномъ и томъ-же мѣстѣ долгое время, то ея молодая честность и неприступность сдѣлали-бы ей, конечно, непримиримыхъ враговъ и эти, пожалуй враги, такъ или иначе подставили-бы ей ногу. Но Груня въ Казани не засидѣлась. Она вдругъ пришла къ убѣжденію, что это «совсѣмъ не то». Несмотря на аплодисменты, она сама разочаровалась въ своемъ драматическомъ талантѣ и, окончивъ зимній сезонъ, уѣхала въ Тифлисъ, чтобы давать тамъ концерты.

У Груни былъ сильный, чистый и мягкій контральто, но совсѣмъ необработанный. Она съ большой душой, съ огнемъ и силой играла на рояли. Но и здѣсь сказывалось полное отсутствіе хорошей школы. Однако она все-же дала нѣсколько концертовъ и опять ея красота и молодость, ея скромный и въ то-же время спокойный видъ, наконецъ, какое-то магнетическое обаяніе, исходившее отъ нея, упростили за нею успѣхъ.

Она появилась на водахъ въ Пятигорскѣ и Кисловодскѣ, произвела фуроръ, а когда направилась въ Кутаисъ, то повлекла за собою цѣлую толпу «водяныхъ» обожателей.

Она была довольна этимъ своимъ лѣтомъ, но довольна глав-

нымъ образомъ потому, что провела его въ чудной странѣ, красота которой такъ согласовалась съ ея поэтическими вкусами. Собою-же она была опять недовольна. Она мечтала теперь объ оперѣ, но сама сознавала, что это только мечты, что ей нужно много учиться. Она почти уже было рѣшилась ѣхать въ Москву и съ помощью Бориса Сергѣевича поступить въ консерваторію.

Между тѣмъ подвернулся новый антрепренеръ и успѣлъ уговорить ее сдѣлать большое путешествіе по городамъ южной Россіи. И вотъ, во второй годъ своего странствованія, она промелькнула въ Кіевѣ, въ Харьковѣ, въ Одессѣ.

Но она истомилась, измучилась; фантасмагории ея уже совсѣмъ почти разлетѣлись. Она еще не потеряла вѣру въ себя, но чувствовала, что находится на ложной дорогѣ. Она развилась и какъ будто нѣсколько постарѣла душевно за это время, въ ней исчезли послѣднія неровности. Эти два года ее не испортили. Но все-же дыханіе житейской пошлости, атмосфера людей, съ которыми жила она, наложили на нее свой неизбѣжный слѣдъ, какъ будто запылили ее. Она рѣшила, что теперь настала именно такая «трудная минута», о которой ей писалъ Борисъ Сергѣевичъ, и поѣхала въ Москву за его помощью.

Дорогой, въ ея горячей, все быстро рѣшавшей и упрямо стоявшей на своихъ рѣшеніяхъ головѣ созрѣлъ новый планъ. Да, она должна быть пѣвицей и для этого должна учиться; но не въ Москвѣ, не въ консерваторіи, а у «источника», на родинѣ всякой музыки и пѣнія, въ Италіи.

«Заграницу, заграницу! Въ Италію!» таковъ былъ теперь немолчный крикъ ея души, и съ этимъ душевнымъ крикомъ она очутилась въ домикѣ Прыгуновыхъ.

Ей пришлось провести не особенно пріятный день — старики встрѣтили ее сурово, съ глубокимъ убѣжденіемъ въ томъ, что она—«существо пропащее». Къ тому-же они никакъ не могли забыть нанесенной имъ ею обиды—ея бѣгства изъ ихъ дома.

Однако Груня все-же съ ними справилась, пустивъ въ ходъ самыя что ни на есть свои кошачьи ужимки. Старики разстали. Олимпиада Петровна повела ее «къ себѣ» и заставила передъ образами поклясться, что она «въ этомъ омутѣ вела себя хорошо и никогда не позволяла съ собою мужчинамъ ничего такого....» Когда Груня поклялась въ этомъ торжественно и всячески успокоила старушку—миръ былъ заключенъ. Но не надолго. На слѣдующій-же день пріѣхалъ къ Прыгуновымъ Борисъ Сергѣевичъ, Груня долго съ нимъ бесѣдовала и кончилась эта бесѣда тѣмъ, что вѣрный себѣ «благодѣтель» согласился на ея поѣздку въ Италію и сказалъ, что дастъ ей всѣ нужныя средства для исполненія ея плановъ. Она приняла его помощь, безъ которой не

могла обойтись, но съ твердымъ рѣшеніемъ такъ работать, чтобы скоро имѣть возможность снова самой зарабатывать деньги.

Когда Прыгуновы узнали, что она опять «бѣжитъ», да еще и за границу, они стали ее всячески упрасивать «не губить себя», она не сдалась, и старики разстались съ нею, огорченные и сердитые—«лучше-бы и совѣмъ не пріѣжала...»

Пять лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ—лучшіе года молодости Груни. Она дѣйствительно сильно работала, и скоро имя пѣвицы Фюрини (такъ для сцены она назвала себя) сдѣлалось извѣстнымъ въ Итали. Въ послѣдніе два года она съ большимъ успѣхомъ пѣла въ Вѣнѣ, въ Берлинѣ, въ Лондонѣ.

Она уже готова была подписать очень выгодный контрактъ съ американцемъ-антрепренеромъ, когда внезапная и какая-то странная болѣзнь горла почти лишила ее голоса.

Груня чуть съ ума не сошла отъ отчаянья, совѣтовалась со всѣми извѣстными специалистами по горловымъ болѣзнямъ: они ничего не понимали, но въ одинъ голосъ рѣшили, что это «нервное, что болѣзнь можетъ пройти такъ-же внезапно, какъ и явилась». «Когда-же?» — на это они не могли дать отвѣта. Груня была какъ въ туманѣ, но въ то-же время рѣшила не падать духомъ.

Изъ Вѣны она очутилась въ Одессѣ, гдѣ случайно узнала, что ея прежній другъ, старая актриса, сильно и безнадежно больна въ Астрахани. Не долго думая, послушная одному изъ своихъ горячихъ порывовъ, она помчалась въ Астрахань. Оказалось, что актриса уже давно умерла. Потомъ все случилось какъ-то само собою: Груня вдругъ появилась на сценѣ, въ роли Катерины, въ «Грозѣ». Восторгамъ астраханской публики конца не было; но Груня скоро почувствовала, что, вѣдь, это—сонъ, бредъ какой-то, что надо очнуться, придти въ себя. Если голосъ дѣйствительно пропалъ, если надо не «пѣть», а «играть», то не здѣсь-же.

Ей становилось все тоскливѣе, все тяжелѣе. Ее неудержимо, страстно, какъ пять лѣтъ тому назадъ, потянуло въ Москву, захотѣлось скорѣе увидѣть тѣ немногія милыя лица, которыя у нея были въ жизни.

Она въ три дня собралась и очутилась на волжскомъ пароходѣ. Когда пароходъ тронулся, Груня, устраивавшаяся въ своей каютѣ, вздохнула полной грудью, будто большая тяжесть спала у нея съ плечъ; ей показалось, что она вырвалась изъ неволи, изъ тюрьмы, что теперь покончены уже всѣ счеты съ опротивѣвшей, пошлой, измучившей ее жизнью. Ей было пріятно при мысли, что она уже не будетъ видѣть этихъ глупыхъ, нахальныхъ, приторныхъ лицъ, окружавшихъ ее въ это послѣднее время, окружавшихъ еще за нѣсколько часовъ передъ тѣмъ.

Ей даже казалось, что она навсегда, наконецъ, избавлена отъ этихъ поклонниковъ яко-бы ея таланта, изъ которыхъ каждый глядѣлъ на нее, какъ на болѣе или менѣе доступную добычу. И никогда еще съ такой ясностью не представлялась ей унижительность положенія молодой красивой актрисы, которую, какъ-бы она ни держала себя, никто не признаетъ за честную, достойную уваженія женщину.

Кодратъ Кузьмичъ и покойная Олимпіада Петровна были почти правы... Ей стало очень грустно, на мысль о томъ, что теперь «кончено», что черезъ нѣсколько дней она будетъ въ Москвѣ, ее развеселила. Она вышла на палубу и сѣла подъ навѣсомъ, глядя на воду, слѣдя за зыбью.

— Аграфена Васильевна!—раздалось надъ ея ухомъ.

Она съ изумленіемъ обернулась и увидѣла передъ собою улыбающуюся, франтоватую и неуклюжую фигуру Барбасова.

«Какъ, таки не кончено!—съ ожесточеніемъ подумала она:— и здѣсь опять то-же!..»

Барбасовъ принадлежалъ къ числу самыхъ горячихъ ея поклонниковъ за послѣднее время въ Астрахани. Правда, онъ недоѣдалъ ей меньше другихъ, но все-же его присутствіе, напоминавшее именно то, отъ чего она бѣжала, было теперь противно.

Барбасовъ, молодой московскій адвокатъ, уже получившій извѣстность двумя-тремя крупными дѣлами, очутился въ Астрахани именно по случаю одного изъ подобныхъ дѣлъ. Окончивъ его блистательно, то-есть набивъ себѣ туго карманъ, онъ теперь возвращался въ Москву.

— Аграфена Васильевна, вотъ ужъ не ожидалъ такого счастья!.. Мы ѣдемъ вмѣстѣ!—восторженно произнесъ онъ, щуря глаза и шлепая губами.

Она не удержалась.

— Для меня это совсѣмъ не счастье,—сказала она.—Я именно бѣгу отъ всѣхъ васъ, господа! Отъ вашихъ любезностей, комплиментовъ... Я, право, очень устала и мнѣ необходимо быть одной... одной.

Онъ сдѣлалъ серьезное лицо, насколько это было въ его власти, и присѣлъ рядомъ съ нею.

— Не гоните меня,—тихо проговорилъ онъ:—увидите, что не такъ черенъ чортъ, какъ его малюютъ...

И онъ мало-по-малу, заведя интересный разговоръ, овладѣлъ ея вниманіемъ. Онъ кончилъ тѣмъ, что превратился въ очень милаго, деликатнаго и пріятнаго спутника, и Груня даже не замѣчала, какіе по временамъ онъ бросалъ на нее жадные, страстные взгляды. Онъ исчезалъ, едва видѣлъ въ ней малѣйшій признакъ неудовольствія.

Такимъ образомъ Груня нерѣдко оставалась одна, и тогда она начинала раздумывать о Москвѣ. Ей пуще всего надо было увидѣть Бориса Сергѣевича, она разсчитывала и теперь на его поддержку... И вотъ его нѣтъ—онъ умеръ! Вся радость возвращенія была отравлена.

Но онъ написалъ ей передъ смертью, позаботился объ ея будущности. Новый талисманъ имѣла она отъ него. И въ этихъ предсмертныхъ строчкахъ старика снова сказывалось его прозорливое сердце.

Онъ просилъ ее ни подъ какимъ предлогомъ не тратить оставляемыхъ ей пятидесяти тысячъ. «Процентовъ съ этихъ денегъ достаточно, чтобы всегда поддерживать тебя,—писалъ онъ слабымъ, дрожащимъ почеркомъ.—Вѣрю, что ты исполнишь этотъ завѣтъ мой».

Конечно, она его исполнила.. Но нѣтъ его, прекраснаго и добраго, не привелось его увидѣть...

Она только теперь сознавала ясно, чѣмъ онъ былъ для нея. Она обвиняла себя за свое долгое отсутствіе изъ Россіи, за эти глупые два мѣсяца въ Астрахани, и долго-долго не могла заснуть, лежа на узенькой кровати, среди знакомой, бѣдной и милой ей обстановки.

VI.

На Басманной.

Борисъ Сергѣевичъ не ошибся, избравъ свою дальнюю родственницу, Клавдію Николаевну Неромскую, для роли воспитательницы своихъ внучатъ и руководительницы всего московскаго дома. Она, какъ говорилъ про нее старый Степанъ, пришлась «ко двору» и въ теченіе четырнадцати лѣтъ исполняла свои многосложныя обязанности, если не всегда особенно удачно, по независящимъ отъ нея обстоятельствамъ, то, во всякомъ случаѣ, добросовѣстно.

Клавдія Николаевна, бездѣтная вдова, до переѣзда къ Горбатовымъ чувствовала себя крайне уставшей, хотя, собственно говоря, сама не могла дать себѣ хорошенько отчета въ причинахъ этой усталости. Ей просто не доставало цѣли жизни, теперь-же цѣль нашлась. Она была большая идеалистка и даже мечтательница, иногда не особенно ясно представляла себѣ дѣйствительность, видѣла ее то въ черезчуръ розовомъ, то въ черезчуръ мрачномъ свѣтѣ, согласно состоянію своихъ нервовъ.

Ее легко было обмануть и уже особенно въ денежномъ отно-

... ВНЕ ЧЕМНОГО ХРО-
... ИСТОРИИ дер-
... РИ.

... в своем сердце. Она
... не знает.

— В. И. «СВЕТЬ», ПОТОМУ
— В. И. : ИРРЕВЕРЕНЦИИ

... ..

... не могут
... развить.

... Говоря
... и

... .. и не
... .. и оста-

1. Вспомогательная дѣль.
2. Главная дѣль.

— в — — — — — ДВОЧКА
— — — — — ЗАБЛУДКОЙ.

... себя
... из жизни

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

2. RESEARCH -

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

1. The first group of people who are not allowed to enter the country are those who are considered to be a threat to national security. This includes anyone who is involved in terrorism, espionage, or other activities that could harm the country.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

... ..

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

1. The first group of people who are not allowed to enter the country are those who are considered to be a threat to national security. This includes anyone who is involved in terrorism, espionage, or other activities that could harm the country.

... ..

огромной залѣ стариннаго дома, придумывала различныя увеселенія. Зимой въ саду былъ всегда катокъ, горки. Лѣтомъ вся семья обыкновенно уѣзжала за границу. Въ Горбатовское почему-то никогда не ѣздили, и даже самъ Борисъ Сергѣевичъ, въ теченіе этихъ послѣднихъ четырнадцати лѣтъ своей жизни, былъ тамъ всего два раза, да и то на самое короткое время. Съ Горбатовскимъ теперь соединялось въ семьѣ слишкомъ много тягостныхъ воспоминаній...

Когда дѣвочки подросли, къ нимъ были приглашены лучшіе учителя. Конечно, образованіе ихъ было не серьезно, но онѣ знали все, что знать требовалось въ ихъ обществѣ. Онѣ имѣли элементарныя понятія о многихъ наукахъ, прекрасно говорили на трехъ языкахъ. При этомъ Маша очень мило рисовала и сдѣлала «пастелью» довольно схожій портретъ дѣдушки, Бориса Сергѣевича, за который всѣ знакомые ее такъ расхвалили, что она успокоилась на лаврахъ и вдругъ совсѣмъ почти охладѣла къ живописи.

У Сони оказался небольшой музыкальный талантъ. Музыкантъ Дюбюкъ, бывшій тогда въ Москвѣ въ большомъ ходу какъ учитель музыки, безъ особенныхъ угрызений совѣсти объявлялъ ее за глаза и въ глаза чужъ-ли не самой лучшей своей ученицей. Она также пѣла тоненькимъ чистенькимъ сопрано, и на ея долю выпало не мало аплодисментовъ въ московскихъ гостиныхъ. Сама она считала себя необыкновенной музыкантшей и пѣвицей и была увѣрена, по крайней мѣрѣ въ минуты откровенности признавалась въ этомъ многимъ, что если-бы ея положеніе позволяло ей поступить на сцену, то, конечно, она затмила-бы самыхъ первоклассныхъ артистовъ.

Она не пропускала ни одного представленія итальянской оперы, и Клавдія Николаевна, понемногу старѣвшаяся и все больше страдавшая своими нервами, иногда выказывала настоящее самоотверженіе, сопровождая ее и возвращаясь домой съ мучительной мигренью. Соня тоже иной разъ ужъ позѣвывала въ театрѣ, прикрываясь вѣеромъ, и съ нетерпѣніемъ ожидала антракта, когда къ нимъ въ ложу входили, допускавшіеся по выбору Клавдіи Николаевны, «безукоризненные» молодые люди. Но не быть въ оперѣ аккуратно на каждомъ представленіи своего абонемента и въ бенефисы—она не могла, желая сохранить репутацію «серьезной артистки».

Никто не слыхалъ отъ Сони искренняго восхищенія какимъ нибудь пѣвцомъ или пѣвицей, она всегда находила въ нихъ недостатки и презрительно пожимала плечами.

Москвичей сводила съ ума въ тѣ годы madame Арто въ роли Маргариты и Розины, но Соня была недовольна и ею. Она у себя

дома повторяла ея аріи и находила, что исполняетъ ихъ несравненно лучше «этого уroda», которымъ неизвѣстно почему восхищаются. Одинъ только теноръ Станіо снискалъ было ея милостивое къ себѣ расположеніе, онъ даже былъ ей какъ-то представленъ и даже одинъ разъ пѣлъ у нихъ въ домѣ. Но избалованный, неособенно благовоспитанный итальянецъ не сумѣлъ достаточно преклониться передъ знатной барышней-диллетанткой — барышень онъ избѣгалъ, предпочитая имъ московскихъ барынь. Онъ отнесся къ Сонѣ, какъ ей показалось, довольно равнодушно. Съ этого дня она выбросила изъ своего альбома его портреты и затѣмъ стала находить, что его голосъ слабѣетъ и портится съ каждымъ новымъ представленіемъ...

Соня и Маша совѣмъ выросли. Ихъ учебныя занятія прекратились. Англичанка и француженка смѣнились «*demoiselle de compagnie*», пожилой дѣвицей, баронессой Кнорре, изъ обѣднѣваго, но безукоризненно приличнаго семейства. Эта баронесса, со своимъ уже увядшимъ, но довольно пріятнымъ лицомъ, съ прекрасными манерами, образованная, начитанная, представилась Клавдіи Николаевнѣ именно такой особой, какая нужна была въ данныхъ обстоятельствахъ. Она была способна замѣнить ее въ тѣхъ случаяхъ, когда мигрень, доведенная до послѣдней степени, заставляла даже «этихъ бѣдныхъ дѣтей» превращаться въ «этихъ несносныхъ дѣтей».

Итакъ, Соня и Маша, шапронируемая то Клавдіей Николаевной, то баронессой Кнорре, блистали въ лучшемъ московскомъ обществѣ. Обѣ онѣ считались красивыми дѣвушками. Соня вышла совѣмъ похожей на свою бабушку, Катерину Михайловну: небольшого роста, стройная и граціозная, бѣлокурая, съ нѣжнымъ румянцемъ, съ томными глазками и щебетаньемъ птички. Сходство съ бабушкой не ограничивалось одной внѣшностью—она унаслѣдовала отъ нея и многія свойства характера, только иная эпоха и различныя подробности въ обстановкѣ и воспитаніи нѣсколько измѣнили это родовое сходство. Но у птички, во всякомъ случаѣ, были острые ногти, а язычекъ иной разъ не зналъ себѣ удержу.

Маша была въ иномъ родѣ. Чуть-ли не на голову выше сестры, почти брюнетка, съ темно-сѣрыми глазами, съ густою каштановой косою, нѣсколько массивная, — она собственно ни на кого изъ родни особенно не была похожа, да и лицо ея часто мѣнялось. Иной разъ она казалась просто некрасивой: глаза безъ блеску, какое-то безучастное или неизвѣстно почему изумленное выраженіе. Но въ минуты оживленія и веселья она преображалась: на губахъ ея появлялась живая, прелестная улыбка, тотчасъ-же ее скрашивавшая и привлекавшая къ ней всякаго. Это была улыбка ея прабабушки, красавицы Татьяны Владиміровны.

Маша оставалась покуда для всѣхъ, знавшихъ ее, загадкой.

Клавдія Николаевна, говоря о ней, совсѣмъ закрывала глаза, грустно пожимала плечами и шептала:

— Cette pauvre chère enfant—c'est une énigme!.. On ne sait jamais ni ses sentiments, ni ses pensées... Mais elle est bonne... oh, elle est bonne, la pauvre petite!..—прибавляла она, глубоко вздыхая.

Даже московская молодежь и та признавала Машу іероглифомъ. На нее иногда находили цѣлыя недѣли какого-то апатичнаго состоянія; она дѣлалась молчаливой, почти ко всему безучастной и даже иной разъ отказывалась отъ выѣздовъ, ссылаясь на нездоровье.

Тогда Клавдія Николаевна была тревогу, посылала за докторомъ. Но докторъ увѣрялъ, что никакой болѣзни нѣтъ и не предвидится.

«Можетъ быть, скучаетъ барышня, или забилося сердечко. Выйдетъ замужъ—повеселѣетъ...»

«Выйдетъ замужъ». Этотъ вопросъ уже начиналъ не на шутку тревожить Клавдію Николаевну. Вотъ Сонѣ уже минулъ двадцать одинъ годъ. Машѣ скоро девятнадцать. Выдать ихъ обѣихъ замужъ—это было необходимо, этимъ добросовѣстная воспитательница должна была завершить доброе дѣло своей жизни.

Когда она повѣряла пріятельницамъ свою заботу, ей обыкновенно объясняли, что въ женихахъ-то у ея воспитанницъ не будетъ недостатка — такое имя, такое богатство и такія хорошенькія!..

— Хорошенькія... да, пожалуй... oui, certainement, elles sont jolies, les pauvres petites... имя... конечно...

Она успокоивалась на короткое время.

О богатствѣ ихъ она какъ-то не думала—это ужъ дѣло Бориса Сергѣевича... Однако, женихи, несмотря на красоту и богатство невѣстъ, все-же заставляли себя ждать.

И Соня, и Маша всегда были «окружены», но до сихъ поръ никто еще не рѣшился ясно высказаться, такъ какъ онѣ, каждая въ своемъ родѣ, держали себя черезчуръ холодно и недоступно.

Наконецъ, Соня плѣнила сердце нѣкогого юноши, князя, обладателя довольно разстроеннаго состоянія и большихъ связей, недавно съ грѣхомъ пополамъ окончившаго университетскій курсъ, служившаго у генераль-губернатора и совершенно увѣреннаго въ своей блестящей административной карьерѣ. Юноша былъ очень недурень собою, его разрывали на части въ обществѣ. Онъ считался въ Москвѣ первымъ женихомъ.

Соня была къ нему милостива.

И вотъ онъ сдѣлалъ ей форменное предложеніе, въ полномъ разсчетѣ на ея согласіе. Каково-же было его изумленіе, когда она ему отказала, отказала напрямикъ, и приняла при этомъ даже какой-то оскорбленный видъ.

Князь не повѣрилъ, что это серьезно и подослалъ къ Клавдіи Николаевнѣ одну изъ своихъ тетушекъ.

Клавдія Николаевна спросила Соню.

Та разразилась насмѣшками надъ претендентомъ.

— Какъ, чтобы я вышла замужъ за такого ничтожнаго чело-вѣка, за этого мальчишку?! Я еще не сошла съ ума... Я удивляюсь даже, какъ вы объ этомъ можете серьезно со мною говорить.

Клавдія Николаевна изумилась.

— Почему-же, другъ мой? Онъ очень пріятный молодой чело-вѣкъ, любимъ всѣми... съ будущностью... изъ почтенной семью... Ты бы ничуть себя не уронила... Право, онъ лучший женихъ въ Москвѣ...

— Очень можетъ быть!—отвѣчала Соня, нервно передернувъ плечикомъ и сдѣлавъ презрительную минку.—Въ такомъ случаѣ, желаю ему лучшую московскую невѣсту. Я же за него выходить замужъ не намѣрена и, пожалуйста, не будемъ больше объ этомъ говорить...

— Если желаешь—не будемъ. Но смотри, потомъ пожалѣешь, пожалуй!

— Не беспокойтесь, не пожалѣю!—засмѣялась Соня.

Послѣ «перваго» московскаго жениха «вторые» ужъ не сова-лись. Соня осталась неизбѣжнымъ украшеніемъ всякаго бала въ московскомъ обществѣ, но ее не любили, и эта обшая нелюбовь къ ней развивалась больше и больше. Сама она, конечно, не замѣчала этого.

Но она, по крайней мѣрѣ, отказала лучшему жениху, Маша никому не отказывала, у нея просто жениховъ не было. Почему такъ случилось—неизвѣстно. Эти двѣ красивыя, богатые и знат-ныя дѣвушки скоро отчего-то перестали совсѣмъ даже и счи-таться невѣстами въ толпѣ московскихъ и время отъ вре-мени набѣжавшихъ изъ Петербурга жениховъ.

VII.

К о к у ш к а.

Воспитаніемъ Сони и Маши не ограничились заботы Клавдіи Николаевны. Въ теченіе этихъ четырнадцати лѣтъ ея бѣдные нервы несравненно больше терзала Коля.

Этот мальчик сначала рос и развивался совершенно правильно. Родные называли его даже богатырем—такой он был крупный, крепкий, сильный и румяный. Правда, он лишился матери, будучи четырехмесячным ребенком. Но эта мать, юная и легкомысленная светская женщина, не занималась ни одним из своих детей, предпочитая этому постоянные выходы и приемы.

Таким образом, Коля с первых дней своей жизни был воспитан ничуть не иначе, как его брать и сестры. Он рос, окруженный штатом нянек и гувернанток. Никакого несчастного случая с ним в детстве не было. Он никогда не падал и не расшибался, все болезни детского возраста вынес своевременно и удачно, был мальчик хотя довольно спокойный, но несколько не апатичный, шалил как все, веселился как все, и каждый, глядя на него, непременно должен был сказать: «какой прелестный ребенок!»

Так продолжалось жить до девяти; но потом, уже в московском доме, уже во время Клавдии Николаевны, Коля стал изменяться, изменяться не вдруг, а незаметно, мало-помалу, так что нельзя даже было с точностью определить эпоху этого изменения и уж тем более уловить ее причины.

До того он хорошо учился, но вот начал лениться или, вернее, становился непонятливым; когда ему что-нибудь объясняли, он слушал внимательно, но по его глазам видно было, что он ничего не понимает.

Память у него стала пропадать, и к десяти годам он уже совсем имел вид ребенка, останвившагося в своем развитии.

Когда Клавдия Николаевна сняла, наконец, эту ужасную переману в мальчике, она пришла в ужас. Созвали докторов; те в один голос решили, что болезни у Коли ровно никакой нет и что лечить его, собственно говоря, не от чего, никакое лечение не поможет ему стать умнее и способнее.

— Да что же это? Отчего такое могло случиться?—тревожно спрашивала Клавдия Николаевна.

Доктора пожимали плечами и могли только ответить, что такое бывает не редко, что не всем же быть одинаково развитыми и умными.

Впрочем, нашелся один молодой и много общавший доктор, который на вопрос Клавдии Николаевны спокойно ответил:

— Это вырождение.

— Какое вырождение? — испуганно встрепенулась Клавдия Николаевна, забывая даже свою мирень, невыносимо ее в тот день терзавшую.

— Такъ, вырожденіе—и ничего больше,—повторилъ докторъ:—законъ природы, неизбежное дѣйствіе времени и различныхъ жизненныхъ условій. Когда-нибудь все это будетъ подробно разработано и выяснено, теперь-же мы можемъ только констатировать факты и дѣлать наблюденія. Не позволите-ли вы мнѣ время отъ времени навѣщать васъ не въ качествѣ доктора—лѣчить мальчика нечего—а въ качествѣ наблюдателя, для научной цѣли?

Но Клавдія Николаевна почувствовала къ молодой знаменитости, за такія его ужасныя слова, а главное за равнодушный, спокойный тонъ, какимъ онъ произносилъ ихъ, почти отвращеніе. Она учтиво отклонила его просьбу, сказавъ, что хотя она и уважаетъ науку, но въ настоящемъ случаѣ ей даже и до науки нѣтъ дѣла.

Придя въ себя, по отъѣздѣ доктора, она стала раздумывать и рѣшила, что онъ сказалъ вздоръ.

«Какъ вырожденіе?! Это еще что за новости! Это онъ и про меня скажетъ, что я вырождаюсь! Онъ, вѣрно, изъ нынѣшнихъ, что готовы отрицать и Бога, и все прекрасное, возвышенное, благородное. Вырожденіе!! Скажите, пожалуйста!.. Такъ что-же это? Потому что у человѣка цѣлый рядъ знаменитыхъ прославленныхъ предковъ—онъ долженъ быть идиотомъ?! Voilà une idée!...»

А между тѣмъ, отъ какихъ-бы то ни было причинъ, но состояніе бѣднаго Коли ничуть не улучшалось. Даже отецъ его, Сергѣй Владиміровичъ, изрѣдка наѣзжавшій въ Москву, смутился, хотя вообще на своихъ дѣтей онъ и не обращалъ никакого вниманія.

Старикъ-дѣдушка, Борисъ Сергѣевичъ, пробовалъ было лѣчить мальчика своими азіатскими лѣкарствами, но и эти лѣкарства не принесли пользы.

Тогда Колю каждое лѣто начали возить за границу, подвергая его всякимъ испытаніямъ, показывая всѣмъ специалистамъ. Даже разъ привезли съ собою изъ Берлина въ Москву какого-то нѣмца въ рыжемъ парикѣ, который ручался, что черезъ шесть мѣсяцевъ сдѣлаетъ Колю способнымъ къ прохожденію всѣхъ наукъ.

Но прошелъ цѣлый годъ, нѣмцу были заплачены большія деньги, а Коля оставался все тѣмъ-же.

До четырнадцати лѣтъ онъ росъ очень быстро, потомъ вдругъ пересталъ расти и сталъ раздаваться въ ширину. Къ восемнадцати годамъ это былъ приземистый, широкоплечій юноша, цвѣтущаго вида, обростающій уже бородою. Если-бы не стеклянный взглядъ блѣдноголубыхъ глазъ и не косноязычность, развившаяся у него, хотя въ дѣтствѣ онъ говорилъ совсѣмъ ясно и

правильно, въ немъ нельзя было-бы замѣтить ничего особеннаго.

Коля вовсе не былъ идіотомъ, и точно опредѣлить, что онъ такое—не представлялось никакой возможности. Онъ умѣлъ читать и писать, понималъ и даже объяснялся по-французски. Онъ имѣлъ о себѣ очень высокое мнѣніе, любилъ и уважалъ себя и заботился о своей внѣшности, помадился, душился, ходилъ къ парикмахеру завиваться, былъ всегда одѣтъ франтомъ.

Онъ не только зналъ все свое родство, но съ особенной любовью, даже страстью изучилъ генеалогію своего рода и, на все остальное почти безпамятный, могъ когда угодно съ полной точностью и не перепутавъ ни одного событія, ни одного года, разсказать біографію любого изъ своихъ предковъ. Онъ чрезвычайно гордился своимъ происхожденіемъ и считалъ себя и своихъ самыми знатными людьми въ Россіи.

Онъ любилъ общество, собранія, визиты и такъ тосковалъ и выходилъ изъ себя, когда его вздумали держать въ отдаленіи, что добился своего—получилъ полную свободу. Въ московскомъ обществѣ его знали подъ именемъ «Кокушки», всюду принимали, и кончилось тѣмъ, что онъ превратился даже въ одно изъ московскихъ развлеченій, почти въ шута, забавника.

Эта его роль особенно мучила какъ старика Горбатова, такъ и Клавдію Николаевну. Но съ Кокушкой ладить становилось все труднѣе. Его можно было убѣдить въ чемъ угодно, заставить повѣрить всякой нелѣпости, легко подвигнуть на самый невѣроятный поступокъ, въ немъ замѣчалось полное отсутствіе сознательной воли; но, вмѣстѣ со всѣмъ этимъ, онъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ выказывалъ ничѣмъ непобѣдимое упорство. Онъ очень рано почувствовалъ стремленіе къ свободѣ, и его гувернерамъ приходилось плохо—не было почти такой злой шалости, которую-бы онъ не привелъ въ исполненіе, чтобы только насолить имъ, чтобы они какъ можно чаще отъ него отказывались.

Онъ добился своего—гувернеры мѣнялись чуть не ежемѣсячно. Наконецъ Кокушка началъ твердить, что онъ никакихъ гувернеровъ не хочетъ, что онъ взрослый. Сдѣлали пробу и увидѣли, что онъ дѣйствительно безъ гувернера ведетъ себя лучше. Но нельзя-же было оставить его, хотъ и двадцатилѣтняго, безъ всякаго надзора, его надо было оберегать отъ вредныхъ знакомствъ, тѣмъ болѣе, что онъ любилъ иногда знакомиться невѣдомо съ кѣмъ, на улицахъ, на бульварахъ.

За нимъ былъ учрежденъ тайный и осторожный надзоръ; но на **этотъ** счетъ Кокушка оказывался удивительно чуткимъ, онъ нѣсколько разъ подмѣчалъ, что за нимъ слѣдятъ, и это приводило его въ бѣшенство.

Къ двадцати тремъ годамъ онъ значительно остепенился; онъ уже такъ поднялся въ собственномъ мнѣніи, что началъ считать для себя неприличнымъ заговаривать на улицахъ и бульварахъ съ незнакомыми—онъ удовлетворялся только избраннымъ, высшимъ кругомъ. Даже и своихъ давнишнихъ знакомыхъ раздѣлилъ на категоріи, сообразно съ ихъ происхожденіемъ, богатствомъ и положеніемъ въ обществѣ. У него явились различные оттѣнки въ обращеніи съ людьми.

Вмѣстѣ съ этимъ въ немъ стало развиваться нѣкоторое свойство, повидимому, совсѣмъ противорѣчившее его чину и званию «дурачка», а именно тонкая наблюдательность и ехидство. Онъ подмѣчалъ всѣ слабости своихъ ближнихъ, отлично зналъ чѣмъ и кого уколоть и пользовался всякимъ удобнымъ случаемъ сдѣлать это.

Принятый всюду запросто, безъ церемоній, на правахъ «дурачка», онъ видѣлъ закулисную сторону жизни московскаго общества. Ему часто дѣлались извѣстными такія семейныя тайны и отношенія, о которыхъ не могъ догадаться и самый тонкій человѣкъ.

И не перечестъ, сколько Кокушка, переносясь изъ одного дома въ другой, вывелъ сплетень, сколько непріятностей надѣлалъ московскимъ дамамъ и кавалерамъ. Ему все прощалось, все сходило съ рукъ,—вѣдь, это былъ Кокушка «дурачекъ». Онъ продолжалъ всюду влетать безъ доклада, съ нимъ дурачились, надъ нимъ потѣшались, его дразнили.

И ужъ, конечно, никому и въ голову не могло придти, что этотъ «дурачекъ», хоть и безсознательно, а все-же ловко и удачно ведетъ войну съ обществомъ.

Это общество не находило предосудительнымъ и жестокимъ потѣшаться надъ существомъ, обиженнымъ природой, дразнить его всячески и даже иногда просто мучить. Но у Кокушки всѣ непріятныя ощущенія проходили очень быстро, отъ самой злой надъ нимъ шутки и обиды черезъ часъ какой-нибудь въ немъ ничего не оставалось. А зло, причиняемое его языкомъ, иной разъ имѣло очень серьезныя послѣдствія.

Кто-же оставался въ накладе?

Въ семьѣ Кокушка уважалъ только дѣда, и когда тотъ за что-нибудь выговаривалъ, онъ очень смущался и тихонько твердилъ:

— Я... бо... больше не буду, дѣдушка!

Клавдію Николаевну онъ не долюбивалъ, считая ее главной виновницей всѣхъ когда-либо испытанныхъ имъ стѣсненій. Онъ называлъ ее «сосулькой» и, глядя на нее въ иныя минуты, когда она, блѣдная, почти прозрачная, мучимая мигренью, безсильно опускала руки и говорила умирающимъ голосомъ,—нельзя было

не согласиться съ мѣткостью этого прозвища: дѣйствительно, вотъ, вотъ сейчасъ растаетъ...

Старшаго брата, Владимира, всегда съ нимъ ласковаго, Кокушка неизвѣстно почему боялся, къ Машѣ былъ презрительно равнодушенъ, а Соню ненавидѣлъ всѣми силами души своей.

Правду сказать, она сдѣлала все, чтобы заслужить это. Она никогда его не жалѣла, она видѣла въ немъ только вредное и противное существо, которое срамить ихъ домъ. Разъ какъ-то, разсерженная имъ, она крикнула, что его слѣдуетъ запереть въ сумасшедшій домъ, надѣтъ на него горячечную рубашку.

Кокушка вдругъ притихъ, задрожалъ, поблѣднѣлъ и ушелъ въ свою комнату.

«Сумасшедшій домъ» и «горячечная рубашка», о которыхъ нерѣдко распространялись въ разговорахъ съ нимъ его умные пріатели, были его кошмаромъ.

Онъ никогда не могъ забыть этой угрозы сестры и мстилъ ей всячески. Смутить ее, сконфузить при постороннихъ, посягать на ея музыку, пѣніемъ и другими слабостями, доставляло ему, повидимому, величайшее наслажденіе.

Но все-же нельзя сказать, чтобы у Кокушки совсѣмъ не было сердца, чтобы у него не было хорошихъ порывовъ. Съ нимъ былъ, напримѣръ, такой случай. Въ одну изъ послѣднихъ своихъ поѣздокъ за границу, семья Горбатовыхъ остановилась дня на три въ хорошенькомъ горномъ городкѣ южной Германіи.

Едва успѣли барышни и Клавдія Николаевна придти въ себя съ дороги и переодѣться, какъ къ нимъ вбѣжалъ, совсѣмъ запыхавшись, Кокушка и объявилъ, что по сосѣдству съ гостиницей пожаръ. Всѣ отправились туда. Горѣлъ небольшой домикъ. Онъ былъ уже весь объятъ пламенемъ, когда изнутри вдругъ послышались отчаянные дѣтскіе крики и въ одномъ изъ окошекъ показалась голова маленькой дѣвочки. Всѣ оцѣпенѣли отъ неожиданности и ужаса; но вотъ какой-то человѣкъ бросается почти въ самое пламя, врывается въ домикъ и, среди грохота обрушивающейся крыши, выноситъ на своихъ рукахъ дѣвочку.

Этотъ герой оказался Кокушка, бывшій всегда величайшимъ трусомъ. Онъ не могъ не понимать очевидной опасности, которой подвергался; сердечный, инстинктивный порывъ оказался выше всякихъ соображеній. Правда, потомъ Кокушка немилосердно хвастался своимъ геройствомъ, пока самъ, наконецъ, не забылъ о немъ...

VIII.

Н а с л ѣ д н и к и .

Смерть Бориса Сергѣевича не была неожиданностью въ семьѣ Горбатовыхъ.

Старикъ уже съ весны чувствовалъ себя очень дурно, и его постоянный докторъ объявилъ Клавдіи Николаевнѣ, что онъ не предвидитъ хорошаго исхода. И когда онъ сказалъ ей это, она ужъ и сама понимала, что онъ говоритъ правду.

— Боже мой, такъ что-же намъ дѣлать? Вѣдь, должна-же быть какая-нибудь возможность продлить его жизни!.. Куда намъ ѣхать, чѣмъ поддержать его? Мы собирались на лѣто за границу и онъ, по обыкновенію, хотѣлъ ѣхать съ нами... Куда-же—въ Карлсбадъ, Эмсъ, Гаштейнъ?.. Скажите...

— Никуда!—рѣшительно отвѣтилъ докторъ. — Везти его теперь за границу—значило-бы только сократить послѣдніе остающіеся ему дни и при этомъ понапрасну его измучить. Ему нужно спокойствіе—и больше ничего. Страданій особенныхъ не предвидится. Мы будемъ поддерживать его сколько возможно, ему необходимо остаться здѣсь. Да и самъ онъ мнѣ только-что сказалъ, что никуда не хсчетъ, что готовъ-бы былъ отказаться отъ путешествія; слѣдовательно, устройте такъ, чтобы его не тревожить...

Устроить, конечно, было нетрудно. Узнавъ о положеніи дѣдушки, не только Маша, но даже и Софи, уже приготовившаяся къ поѣздкѣ за границу и строившая на это лѣто планы, не нашли никакихъ возраженій. Сначала хотѣли было совсѣмъ остаться въ Москвѣ, но затѣмъ наняли просторный прекрасный домъ, старую барскую усадьбу, въ нѣсколькихъ верстахъ отъ города и, какъ только установилась погода, переѣхали туда и перевезли Бориса Сергѣевича.

Это было унылое, однообразное лѣто, и даже Кокушка дріутихъ. Его почти не было видно и слышно.

Борисъ Сергѣевичъ проводилъ время, окруженный докторами и внучатами, а когда всѣ они расходились, на ихъ мѣсто являлся неизмѣнный и все еще бодрый Степанъ. Онъ раньше всѣхъ понималъ, что его господину и другу не долго остается жить на свѣтѣ. Ничѣмъ не выразилъ онъ своего тяжкаго горя, только пользовался каждой минутой, чтобы быть съ нимъ или возлѣ него, не подпуская къ нему никого изъ прислуги и ухаживалъ за нимъ какъ нянька.

Борисъ Сергѣевичъ, дѣйствительно, какъ предсказывалъ докторъ, страдалъ немного. Онъ только почти совсѣмъ потерялъ аппетитъ, почти не спалъ и съ каждымъ днемъ чувствовалъ все болѣшую и болѣшую слабость. Но эта слабость не дѣйствовала на его мозгъ—его мысли были ясны и онъ какъ-то объяснилъ Степану, уже въ началѣ іюня, то-есть всего за мѣсяцъ передъ смертью:

— Странное дѣло, Степушка, вѣдь, мнѣ становится все лучше и лучше!.. Весною чтó было невыносимо: этотъ туманъ въ головѣ... Иной разъ, вѣришь-ли, по цѣлымъ часамъ не могъ собраться съ мыслями, расплывается все какъ-то, ни на чемъ нельзя остановиться... хочешь думать о чемъ-нибудь одномъ, и нѣтъ вотъ, нѣтъ силъ... Такіе дни бывали, что казалось мнѣ—ужъ я и не живъ, да и не умеръ, то-есть что-то такое тяжкое, противное, чего и разсказывать невозможно... А теперь вотъ съ нѣкотораго времени совсѣмъ не то: руку поднять тяжело иной разъ, а въ головѣ свѣжо и ясно, даже такъ ясно, какъ, можетъ, и давно не бывало...

— Ну и слава Богу!—стараясь вызвать на своемъ лицѣ улыбку, прошепталь Степанъ.

— Конечно, слава Богу, если-бы только такъ до конца продолжалось.

Степанъ вздрогнулъ.

— А конецъ ужъ теперь скоро,—продолжалъ Борисъ Сергѣевичъ:—и я радъ... и ты со мною радуйся, Степушка!..

Но Степушка, несмотря на то, что понималъ мысль барина, все-же не могъ радоваться. Объ одномъ онъ всегда просилъ Бога: не оставить его на свѣтѣ безъ Бориса Сергѣевича. Но молитва его не услышана...

Между тѣмъ больной продолжалъ:

— И зачѣмъ они всѣ меня обманываютъ, толкуютъ о выздоровленіи и, главное, какъ-будто я боюсь смерти?.. Да она мояжданная, желанная гостя... можетъ, давно уже зову ее, только не проходила.

Борисъ Сергѣевичъ вдругъ замолчалъ, закрылъ глаза и черезъ нѣсколько минутъ Степушка даже подумалъ, что онъ заснулъ.

Но онъ не спалъ. Ему ясно, подробно и спокойно представилась вся жизнь и онъ внутренно назвалъ ее долгимъ, тяжелымъ сномъ. Зачѣмъ она была?.. Къ чему она привела его? Что сдѣлалъ онъ съ нею?.. Онъ терпѣливо ее вынесъ—и только... Кому она была нужна?..

Онъ, вообще, никогда не задавалъ себѣ вопроса, что онъ за человекъ, какая ему цѣна и теперь готовъ былъ рѣшить этотъ

вставшій передъ нимъ вопросъ въ томъ смыслѣ, что онъ былъ человѣкомъ совсѣмъ неудачнымъ, которому и незачѣмъ было жить на свѣтѣ.

Однако, онъ не въ состояніи былъ сдѣлать себѣ безпристрастную оцѣнку. Онъ вовсе не былъ неудачнымъ человѣкомъ, потому что добросовѣстно исполнилъ дѣло своей жизни, никому не сдѣлавъ зла, а добра сдѣлавъ много, хотя оно и не кричало, не превозносилось. Вся жизнь его была стремленіемъ къ справедливости и правдѣ. Онъ съ юности велъ неустанную внутреннюю борьбу и умиралъ побѣдителемъ, умиралъ человѣкомъ свѣта и правды...

Черезъ двѣ недѣли доктора сказали, что теперь уже скоро все кончится. Клавдія Николаевна поспѣшила извѣстить всѣхъ родныхъ.

Борисъ Сергѣевичъ вдругъ потребовалъ, чтобы его непременно перевезли въ московскій домъ, объявилъ, что онъ желаетъ умереть тамъ, у себя. Желаніе его было исполнено. Къ первому іюля съѣхались родные, т.-е. оба племянника, Сергѣй и Николай, жена Николая, Марья Александровна и сынъ ихъ, Гриша, молодой офицеръ. Владиміръ пріѣхалъ еще раньше.

Борисъ Сергѣевичъ призвалъ Прыгунова, уже пятнадцать лѣтъ занимавшагося его дѣлами, сдѣлавъ всѣ распоряженія, обо всемъ и обо всѣхъ позаботился и спокойно ждалъ смерти.

Кто зналъ этихъ, съѣхавшихся къ постели умиравшаго, людей пятнадцать лѣтъ тому назадъ, тотъ долженъ былъ найти въ нихъ всѣхъ огромную перемѣну. Сергѣй Владиміровичъ производилъ теперь даже тягостное впечатлѣніе. Ему еще не было и пятидесяти лѣтъ, но онъ имѣлъ видъ старика. Когда-то густые чудесные его волосы совсѣмъ почти вылѣзли, а остатки ихъ посѣдѣли; тонкій станъ согнулся; широкая богатырская фигура какъ-то опустилась, лицо, изборожденное морщинами, потеряло прежнее добродушное и милое выраженіе и уже почти никогда не играла на губахъ его та улыбка, которая привораживала къ нему почти всѣхъ и заставляла забывать его слабости. Здоровье его было совсѣмъ разбито.

Перемѣна, происшедшая въ Николаѣ Владиміровичѣ, была совсѣмъ иного рода, но она, пожалуй, поражала еще больше. Это былъ теперь какой-то странный человѣкъ, производившій самое неожиданное и непонятное впечатлѣніе. Прежнихъ порывовъ, прежнихъ неровностей характера въ немъ не было и слѣда.

Вернувшись въ Петербургъ изъ своего таинственнаго путешествія по Азіи, длившагося нѣсколько лѣтъ, онъ оказался какъ-будто совсѣмъ перерожденнымъ. Онъ поселился вмѣстѣ съ женою и сыномъ, но отказался отъ всякой общественной дѣятельности и почти избѣгалъ общества.

Какъ онъ жилъ, какъ проводилъ время за закрытыми дверями своего кабинета, онъ, этотъ прежній живой, страстный чедовѣкъ, способный, имѣвшій вліяніе, жаждавшій дѣятельности—этого никто не зналъ. Какова была его семейная жизнь—тоже не зналъ никто.

Кончили тѣмъ, что даже стали считать его помѣшаннымъ, хотя при рѣдкихъ столкновеніяхъ съ обществомъ онъ всегда разсуждалъ очень спокойно и основательно. Онъ просто ничѣмъ не интересовался изъ того, чѣмъ интересовались окружавшіе его люди. Онъ не принималъ участія въ общей жизни.

Многочисленная прислуга петербургскаго горбатовскаго дома знала, что баринъ сдѣлался очень страннымъ, что онъ иногда совсѣмъ какъ живой мертвецъ, такъ что даже съ нимъ страшно встрѣчаться, и особенно страшно, когда онъ взглянетъ—глаза словно огненные, а такъ холодно отъ нихъ становится, что кажется бѣжалъ-бы отъ такого взгляда.

Удивляли тоже прислугу и отношенія между бариномъ и барыней. Они жили на разныхъ полсвинахъ, иной разъ не видались по цѣлымъ днямъ, а между тѣмъ никто и никогда не слыхалъ между ними ничего, указывавшаго на ихъ недовольство другъ другомъ. Напротивъ того, оставаясь вмѣстѣ, они всегда бесѣдовали ласково и относились другъ къ другу съ большой предупредительностью, почти даже съ нѣжностью.

Съ такой-же предупредительностью относился Николай Владиміровичъ и къ сыну.

Во всякомъ случаѣ, это была такая странная жизнь, что если она не возбуждала всеобщаго любопытства, такъ единственно потому, что люди ко всему привыкаютъ, а привыкнувъ не замѣчаютъ того, что прежде бросалось въ глаза.

Что касается до Марьи Александровны, то, по общимъ отзывамъ прислуги (а это значить весьма много), она была совсѣмъ святая.

— Да, ужъ нечего сказать, хорошая барыня,—говорилось о ней въ людскихъ и кухнѣ:—такую всю жизнь искать—такъ не найдешь. Никто-то отъ нея дурного слова не слышалъ, а добра сколько дѣлаетъ!

— И, вѣдь, что удивленья достойно,—замѣчалъ старый дворецкій, пользовавшійся всеобщимъ уваженіемъ:—вѣдь, при покойницѣ, при Катеринѣ Михайловнѣ, совсѣмъ она была другая... А это вотъ съ тѣхъ самыхъ поръ ее и не узнать...

И всѣ отлично понимали, что должно подразумѣвать подъ этими словами: «съ тѣхъ самыхъ поръ».

Да, Мари никто-бы не узналъ теперь. Несмотря на то, что ея молодость уже прошла, она все еще была красивая женщина.

Прежней излишней полноты въ ней не было замѣтно, не было замѣтно также и въ лицѣ ничего тусклаго, разсѣяннаго. Лицо ея было просто спокойно, а въ свѣтлыхъ глазахъ неизмѣнно читалось выраженіе доброты и тихой грусти.

Но, несмотря на это грустное выраженіе, никому и въ голову не могло придти жалѣть ее, въ ней не было ничего, говорящаго о несчастьи, напротивъ, она была всегда бодра, спокойна и энергична.

Она наполнила свою жизнь сознательной дѣятельностью, работала неустанно на пользу ближняго и, принимая участіе въ какомъ-нибудь благотворительномъ учрежденіи, давала ему не только свое имя и денежныя средства, а давала свою дѣйствительную работу. И теперь, въ этотъ тихій, пріунывшій московскій домъ она внесла съ собою присущую ей атмосферу спокойствія и бодрости.

Михаилъ Ивановичъ Бородинъ, тоже пріѣхавшій, остановился не въ домѣ, а въ гостиницѣ. Теперь въ Москвѣ у него уже не было близкихъ людей. За эти года ему пришлось похоронить ихъ всѣхъ. Умерли старики Бородины почти одновременно; умерла, еще прежде нихъ, Капитолина Ивановна. Послѣ смерти отца и матери Михаилъ Ивановичъ перевезъ жену и дѣтей въ Петербургъ и прекратилъ свои поѣздки въ Москву.

И въ немъ произошла своего рода большая перемѣна: въ его волосахъ тоже серебрилась сѣдина, на его красивомъ лбу и вокругъ темныхъ, полужакрытыхъ глазъ насчитывалось не мало морщинокъ. Но онъ былъ крѣпокъ и бодръ. Глядя на него, невольно всякій долженъ былъ сказать: вотъ человѣкъ, стоящій твердо, знающій себя цѣну и довольный жизнью.

Онъ стоялъ твердо. Его лучшая мечта осуществилась... Онъ въ настоящее время занималъ видное положеніе на службѣ, но еще большее у него было значеніе въ финансовомъ мірѣ. Михаилъ Ивановичъ сталъ теперь силой, передъ которой преклонялись многіе и съ которой приходилось считаться. Всѣ его финансовыя предпріятія оказывались удачными. Его богатство росло съ каждымъ годомъ, его уже иначе не называли какъ миллионеромъ.

Борисъ Сергѣевичъ умеръ въ сознаніи, простясь со всѣми. благословивъ всѣхъ, умеръ какъ праведникъ, выражаясь словами осиротѣвшаго и неутѣшнаго Степана.

Когда завѣщаніе было вскрыто, оказалось, что все свое состояніе, заключавшееся въ недвижимой собственности, родовыхъ имѣніяхъ, онъ поровну оставилъ двумъ племянникамъ, Сергѣю и Николаю.

Кромѣ недвижимой собственности, у Бориса Сергѣевича былъ

большой капиталъ, хотя далеко и не такой, какъ многіе думали. Старикъ, жившій всегда сравнительно скромно, тѣмъ не менѣе тратилъ въ эти послѣднія пятнадцать лѣтъ огромныя деньги. Сергѣй Владиміровичъ зналъ кое-что объ этомъ, а еще больше знали его кредиторы. Зналъ тоже кое-что и Михаилъ Ивановичъ Бородинъ, постоянно возраставшее состояніе котораго имѣло своимъ главнымъ основаніемъ и постоянной поддержкой деньги Бориса Сергѣевича.

Старикъ оставилъ послѣ себя два съ половиною милліона деньгами. Пятьсотъ тысячъ переходили по завѣщанію не къ прямымъ наслѣдникамъ, а къ разнымъ лицамъ; въ томъ числѣ полтора-ста тысячъ рублей получила Клавдія Николаевна, пятьдесятъ тысячъ—Груня, пятьдесятъ тысячъ—Прыгуновъ, бывшій въ послѣдніе годы самымъ близкимъ человѣкомъ Бориса Сергѣевича; тридцать тысячъ—Степанъ.

Всѣхъ лицъ, о которыхъ вспомнилъ умиравшій, насчитывалось до ста.

Два-же милліона были поровну раздѣлены между дѣтьми Сергѣя Владиміровича.

Тѣло Бориса Сергѣевича, въ сопровожденіи всѣхъ родныхъ и Бородина, было перевезено въ Горбатовское и похоронено въ родовомъ склепѣ.

Затѣмъ всѣ вернулись въ Москву для исполненія необходимыхъ формальностей...

IX.

Бывшіе друзья.

Сентябрь уже перешелъ за половину, а погода не портилась. Стояли чудесные дни, и только быстро осыпавшіеся листья напоминали о томъ, что пришла настоящая осень.

Кодратъ Кузьмичъ, несмотря на старость, ни въ чемъ не измѣнившій свои привычки, посѣщалъ аккуратно всѣ церковныя службы и почти ежедневно отправлялся на Басманную, гдѣ у него, по случаю смерти Бориса Сергѣевича, еще было много дѣла. Такимъ образомъ Груня почти цѣлые дни оставалась одна дома.

Уже шестой день какъ она пріѣхала, а между тѣмъ всего одинъ разъ вышла прогуляться на бульваръ, да и то скоро вернулась. Ее никуда не тянуло, она не хотѣла разыскивать своихъ прежнихъ знакомыхъ и пріятельницъ, не зная какъ ее встрѣтятъ послѣ столькихъ лѣтъ ея скитальческой жизни.

Она почти все время проводила въ садикѣ, въ старой бесѣдкѣ,

иногда съ какой-нибудь книгой изъ бібліотеки Кодрата Кузьмича, а чаще всего такъ, сложа руки, отдаваясь не то раздумью, не то просто лѣни. Да, лѣни; физическая лѣнь ее одолѣла ее, всегда энергичную, живую и подвижную. Она будто теперь только почувствовала за всѣ эти годы усталость—и отдыхала.

Нельзя сказать, чтобы она чувствовала себя несчастной, чтобы она особенно грустила. Конечно, ей не было весело, но было спокойно, тихо. Она жила эти дни чисто растительной жизнью, по цѣлымъ часамъ могла оставаться неподвижной въ старомъ креслѣ Кодрата Кузьмича, разглядывая каждый кустикъ, каждый еще не увядшій цвѣтокъ астръ въ маленькой клумбочкѣ передъ бесѣдкой, прислушиваясь къ чириканию воробьевъ, кудахтанью куръ, доносившемуся со двора, къ дальнему благовѣсту, слѣдя за движеніемъ облаковъ...

Это было такое затишье, какого она до сихъ поръ никогда не переживала, но затишье передъ чѣмъ—она объ этомъ не думала или, вѣрнѣе, боялась думать...

И вотъ на шестой день пребыванія своего въ домикѣ Прегунова, сидѣла она послѣ скромнаго завтрака, поданнаго ей Настасьишкой, въ бесѣдкѣ, сидѣла, отогнавъ отъ себя подступившую было мысль о томъ, что надо-же наконецъ очнуться, остановиться на какомъ-нибудь рѣшеніи, сдѣлать какіе-нибудь необходимые шаги, приняться за дѣло, для котораго она сюда пріѣхала.

Кодрата Кузьмича не было дома, кругомъ все тихо, даже не слышно куръ, даже воробьи не чирикаютъ—и вдругъ шаги, кто-то сходить съ балкончика и направляется къ бесѣдкѣ.

Груня взглянула, увидѣла быстро приближавшуюся мужскую фигуру. Она подумала, что это, пожалуй, пріѣхалъ по-видаться съ отцомъ одинъ изъ сыновей Кодрата Кузьмича, подумала о томъ, что очень рада, если это Вася, младшій, съ которымъ она даже время отъ времени переписывалась.

Передъ нею молодой человѣкъ. Она глядитъ, но это вовсе не Вася, и не Саша. Кто-же это? Сердце ея почти перестало биться... Она взглянула—молодой человѣкъ, красивый, съ большими голубыми глазами. Онъ весь въ черномъ, съ крепомъ на рукѣ. Онъ остановился, его блѣдныя щеки вспыхнули.

— Груня... ты... вы... вы меня не узнаете?—проговорилъ онъ.

Она его уже узнала, хотя онъ былъ совсѣмъ не такимъ, какимъ почему-то ей представлялся. Но она не могла не узнать его глазъ. Эти глаза остались тѣ-же, знакомые, милые глаза, съ которыми соединялось все лучшее, хотя и грустное, что было въ ея безрадостномъ дѣтствѣ...

Это онъ, онъ, ея единственный другъ, маленькій волшебникъ

огромного знаменского парка, ея рыцарь, герой еще почти несо-
знанныхъ ею грезъ, сохраненныхъ ею въ себѣ, несмотря на окру-
жавшую ее такъ долго житейскую грязь, несмотря на всѣ цини-
чные уроки той злой силы, которую вокругъ нея называли
практической жизнью, дѣйствительностью...

И, узнавъ его, она не вспыхнула какъ онъ, напротивъ, послѣд-
няя краса сбѣжала со щекъ ея. Она хотѣла улыбнуться ему—
и не могла. Ей, хорошо приучившейся владѣть собою и не сму-
щаться, смѣло появлявшейся на театральныхъ подмосткахъ, на
эстрадѣ передъ незнакомой, разглядывавшей ее толпою, теперь
стало отчего-то жутко.

— Володя!—воскликнула она—и вдругъ голосъ ея оборвался,
будто у нея захватило дыханіе...—Чтобы я не узнала васъ,
Владимиръ Сергѣевич!—поправила она, робко протягивая ему
руку.

— Какъ я радъ,—говорилъ онъ:—что васъ вижу...

Ему хотѣлось попрежнему сказать ей «ты», но онъ съ каж-
дой новой секундой все больше и больше изумлялся этой чудной
перемѣнѣ, происшедшей съ нею, и изумлялся еще болѣе тому,
что все-же, несмотря на такую перемѣну, это она, Груня, «та
самая» Груня..

— Наконецъ-то мы встрѣтились!—невольно произнесъ онъ.—
Еслибъ я не зналъ отъ Кодрата Кузьмича, что вы здѣсь, что я
васъ увижу...

— Такъ не узнали-бы!—докончила Груня, наконецъ найдя въ
себѣ силу улыбнуться.—Еще-бы!.. Вѣдь, четырнадцать лѣтъ... мы
были дѣти... а теперь... я ужъ и старѣть начинаю!..

Ея смущеніе прошло. Ей стало такъ весело, тепло, хорошо.
Она глядѣла на Владиміра бойко, прямо ему въ глаза своими
огненными, искрящимися глазами—и онъ безсознательно трепеталъ
подъ этимъ взглядомъ.

Затѣмъ прошло двѣ-три минуты полного молчанія, котораго,
однако, оба они не замѣтили. Они вглядывались другъ въ друга
и кончилось тѣмъ, что перемѣна, въ нихъ происшедшая, вне-
запно какъ-то исчезла. Сквозь эту новую оболочку мужчины и
женщины они уже совсѣмъ явственно разглядѣли свои дѣтскіе
образы, нашли свои дѣтскія сердца. Исчезли прожитыя четыр-
надцать лѣтъ... Крошечный садикъ Кодрата Кузьмича превратился
въ Знаменскій паркъ и имъ почти казалось, что они снова идутъ
рядомъ въ зеленой душистой чащѣ, что они бесѣдуютъ какъ и
въ былые дни, только тогда ихъ бесѣда была о будущемъ, а те-
перь хотѣлось говорить о прошедшемъ, хотѣлось скорѣе, какъ
можно скорѣе рассказать другъ другу все, чтобы не было этого
промежутка въ ихъ жизни и чтобы скорѣе можно было продол-

жать эту жизнь ужъ не разъединенную, а почти общую, какою она была когда-то.

Прошло не болѣе получаса, а Груня и Володя о многомъ переговорили. Оказалось, что онъ знаетъ о Грунѣ гораздо болѣе, чѣмъ она предполагала. Оказалось, что и она о немъ знаетъ многое. Но ихъ поразило то, что они сами не подозрѣвали такого своего знанія.

Грунѣ пришла въ голову тревожная, мучительная мысль: а вдругъ и онъ считаетъ ее погибшей? «Пѣвица, актриса... а онъ хотя и Володя, «тотъ самый» Володя, но все-же, вѣдь, онъ важный баринъ... Если даже Прыгуновы почли ее пропащей, такъ въ томъ обществѣ, среди котораго онъ живетъ, какъ-же должны думать и судить, и тѣмъ болѣе, что, вѣдь, всѣ они почти правы. Но, вѣдь, онъ внукъ Бориса Сергѣевича, а тотъ смотрѣлъ выше, тотъ понималъ, что и въ дурной средѣ можно не загрязниться...»

Однако, эта мысль вдругъ оборвалась, исчезла. Груня снова не отдавала себѣ ни въ чемъ отчета, жила настоящей минутой, радостью этой встрѣчи. Она говорила все, что приходило въ голову, отрывисто, безпорядочно.

— Но что-же это я!—опомнилась она.—Я все говорю о себѣ, а между тѣмъ это неинтересно... и мнѣ такъ хочется знать что-нибудь о васъ отъ васъ самихъ, Владиміръ Сергѣевичъ.

— Зачѣмъ вы такъ меня называете, Груня?—не удержавшись воскликнулъ онъ.

— Какъ—такъ?

— «Владиміръ Сергѣевичъ». Я бы хотѣлъ остаться для васъ прежнимъ Володей.

Она качнула головой.

— Какъ-же иначе,—проговорила она:—конечно, я не смѣю и не должна называть васъ Володей. Да если-бы и вздумала,—и она улыбнулась:—Кодратъ Кузьмичъ просто согналъ-бы меня со свѣта!

— Въ такомъ случаѣ и я долженъ называть васъ Аграфеной... воть, вѣдь, я даже и не знаю какъ васъ называютъ.

— И не нужно, для васъ я могу быть Груней. Да и по правдѣ сказать, какъ-бы я васъ ни называла, а про себя, внутри себя, я все-же говорю: Володя...

Лицо ея вдругъ освѣтилось, а изъ глазъ, прямо ему въ сердце, блеснули такіе лучи, что у него духъ захватило...

Х.

П о ж ѣ х а.

Въ это время у бесѣдки появилась Настасьюшка.

— Барышня... Аграфена Васильевна... васъ спрашиваютъ!— сказала она.

— Кто? Кто меня спрашиваетъ? — даже вздрогнувъ отъ неожиданности, воскликнула Груня.

— А я почему знаю кто?—ворчливо отозвалась не во время оторванная отъ плиты Настасьюшка.—Господинъ какой-то... Вамъ, видно, лучше знать—кто... Вотъ онъ билетикъ мнѣ далъ: тутъ, говоритъ, сказано...

Она протянула Грунѣ визитную карточку.

Та взглянула и сдѣлала нетерпѣливое движеніе.

— Ахъ, да скажи ему, что я больна, что я не могу принять его... скажи, пожалуйста...

— Да, много скажешь! Видно, прытокъ онъ... вонъ ужъ стоитъ на крылечкѣ и видить, что вы на ногахъ, да и съ кавалеромъ!

На крылечкѣ дѣйствительно возвышалась неуклюжая, расфранченная фигура Барбасова.

— Господи, вотъ нахаль!—прошептала Груня.

Владиміръ взглядѣлся и съ изумленіемъ воскликнулъ:

— Барбасовъ!

— А! кто зоветъ меня?—радостно отозвался смѣлый адвокатъ, прыгнувъ съ крылечка и въ нѣсколько шаговъ своихъ длинныхъ ногъ быть передъ бесѣдкой.

Онъ останоился, даже не обратилъ вниманія на присутствіе Груни, развелъ руками, потомъ какъ-то откинулся въ сторону и, закатившись смѣхомъ, произнесъ:

— Горбатовъ... друже!.. «вьюношь прекрасный!..» Да нѣтъ, быть того не можетъ... не вѣрю глазамъ своимъ!

Онъ схватилъ руку Владиміра, крѣпко ее стиснулъ, а затѣмъ обратился къ Грунѣ, сложилъ на груди руки крестомъ и сталъ въ умиленную позу.

— Аграфена Васильевна!..

Но онъ не могъ выдержать.

— Нѣтъ... да какъ-же онъ тутъ? Ничего не понимаю... объясните!..

Мало-по-малу кое-что объяснилось. Барбасовъ узналъ, что Аграфена Васильевна и «прекрасный вьюношь» знакомы другъ съ другомъ съ дѣтства, что Аграфена Васильевна—«воспитан- томъ VIII.

ница» только-что умершаго Бориса Сергѣевича Горбатова. Бѣльшаго ему не сказали.

Груня, въ свою очередь, узнала, что хотя Барбасовъ и старше Владиміра, но они были товарищами въ извѣстномъ тогда московскомъ гачсіонѣ Тиммермана, а затѣмъ и въ университетѣ.

Барбасовъ тотчасъ-же замѣтилъ не безъ грусти, а пуще того не безъ зависти, что онъ совсѣмъ лишній здѣсь, въ этой старѣнной бесѣдкѣ, почувствовалъ, что вотъ-вотъ сейчасъ Аграфена Васильевна его «отдѣляетъ» и что придется ему удалиться на этотъ разъ въ качествѣ побѣжденнаго. Онъ даже мгновенно упалъ духомъ, чего вообще съ нимъ почти никогда не случалось.

Но Барбасовъ, какъ онъ самъ выражался, былъ вотъ уже шестой годъ на линіи всякихъ успѣховъ и удачъ. Удача не покинула его и въ эту минуту, она явилась въ лицѣ Кодрата Кузьмича, который предсталъ передъ бесѣдкой въ длинномъ табачнаго цвѣта пальто, мягкой шляпѣ съ широкими полями, съ клѣтчатымъ платкомъ и табакеркой въ рукахъ.

Онъ любезно, даже не безъ нѣкоторой почтительности, поздоровался съ Владиміромъ, а затѣмъ изумленно и подозрительно взглянулъ на Барбасова и пробурчалъ:

— Съ кѣмъ имѣю честь...

Владиміръ представилъ Барбасова.

Кодратъ Кузьмичъ церемонно съ нимъ раскланялся.

Барбасовъ, лицо котораго представляло теперь олицетвореніе любопытства, отвѣтилъ ему такимъ-же поклономъ.

— Такъ-съ! — вдругъ протянулъ Кодратъ Кузьмичъ, кладя шляпу на столикъ и усаживаясь въ кресло. — Т...акъ-съ!.. А позвольте васъ спросить: вы не присяжный повѣренный?

— Точно такъ, я присяжный повѣренный, — отвѣчалъ Барбасовъ, смотря на старика точъ-въ-точъ какъ тотъ смотрѣлъ на него и говоря ему въ тонъ.

Онъ, очевидно, передразнивалъ его, но до такой степени серьезно, что къ нему никакъ нельзя было придратъся, и притомъ это выходило у него очень смѣшно.

Владиміръ и Груня невольно переглянулись, удерживая улыбку.

— Такъ это, значитъ, вы, милостивый государь, были защитникомъ въ Медвѣдевскомъ дѣлѣ? — уже совсѣмъ строгимъ, почти инквизиторскимъ тономъ сказалъ Прыгуновъ.

— Да-съ, я былъ защитникомъ въ Медвѣдевскомъ дѣлѣ.

— О вашей защитѣ прокричали даже въ газетахъ, вы себѣ ею имя сдѣлали, деньги, говорятъ, огромныя, совсѣмъ какъ будто даже и невѣроятныя получили. А, вѣдь, дѣло-то, милостивый государь, скверное! Вѣдь, вы ваше ораторское дарованіе употребили на защиту величайшаго негодяя-съ; послуживъ кѣ его

оправданію передъ судомъ, выпустивъ его на свободу, тѣмъ самымъ дали ему возможность творить и въ будущемъ всякія несправедливости...

— Все, что вы изволили сказать, совершенно вѣрно! — спокойно и серьезно проговорилъ Барбасовъ.

Кодратъ Кузьмичъ даже заёрзалъ въ креслѣ, лицо его побавровѣло.

— Такъ развѣ-съ это хорошо?—крикнулъ онъ.

— Это — безразлично,— не спуская съ него глазъ и съ возмутимымъ спокойствіемъ сказалъ Барбасовъ.— Полагаю, что вамъ не безызвѣстны обязанности и назначеніе присяжныхъ повѣренныхъ. Разъ я беру на себя защиту, я долженъ употребить всѣ усилія, все отъ меня зависящее, чтобы исполнить свою обязанность, то-есть защитить моего кліента...

— Будучи даже убѣжденнымъ въ его виновности?—вставилъ старикъ.

— Даже въ такомъ случаѣ! Ибо если-бы я поступилъ иначе, то перешелъ-бы изъ роли защитника въ роль обвинителя, то-есть совершилъ-бы нечѣсть, даже притомъ еще и противозаконную, логическимъ слѣдствіемъ которой оказалось-бы для меня исключеніе изъ среды присяжныхъ повѣренныхъ.

— Господи!—крикнулъ Прыгуновъ:—да, вѣдь, это полнѣйшее извращеніе всѣхъ нравственныхъ понятій!..

— Изволите обижать понапрасну, милостивый государь!—протянулъ Барбасовъ.— Ничуть не извращеніе никакихъ понятій, это можетъ такъ только съ перваго раза казаться...

— Защищать и оправдывать завѣдомаго мошенника, да, вѣдь, прежде всего эта защита не обязательна, она добровольно была взята на себя вами.

— Мнѣ нечего было-бы возразить вамъ, если-бы я бралъ на себя оправданіе; но не слѣдуетъ смѣшивать защиту съ оправданіемъ. Защищать можно кого угодно... Даже вотъ въ этомъ самомъ медвѣдевскомъ дѣлѣ, если-бы я былъ не присяжнымъ повѣреннымъ, а присяжнымъ засѣдателемъ, я бы не оправдалъ моего кліента—вольно-же было присяжнымъ его оправдать!..

Кодратъ Кузьмичъ махнулъ рукою.

— Э, да что объ этомъ! — проговорилъ онъ уже не свирѣлымъ, а скорѣе грустнымъ голосомъ.— И прошу извинить меня, что началъ сразу такой разговоръ... не удержался... Это Медвѣдево дѣло мнѣ душу перевернуло. Я-съ, вотъ видите, тоже, такъ сказать, вашего поля ягода — стряпчій... только старыхъ временъ-съ... Теперь на насъ, стариковъ, все обрушилось, нѣтъ такого ругательства, какимъ-бы въ насъ не бросали. И правду надо сказать, много противозаконнаго, темнаго творилось въ

наше время, но, ей-ей, такое дѣло, какъ это—нѣтъ, это было-бы невозможно!

— Будто ужъ?! — съ величайшимъ ехидствомъ прошепталъ Барбасовъ, да тутъ-же и оборвался, сообразивъ, что ему не слѣдуетъ раздражать этого строгаго старика.

«Вѣдь, это и есть тотъ самый «аргусъ», про котораго она говорила!»—вспомнилось ему.

Онъ вдругъ перемѣнилъ тонъ и завелъ съ Кодратомъ Кузьмичемъ совсѣмъ иную бесѣду, и кончилъ-таки тѣмъ, что старикъ глядѣлъ на него уже безъ строгости и во многомъ ему поддакивалъ.

Такимъ образомъ, они просидѣли еще около часу въ бесѣдкѣ, а затѣмъ молодые люди простились и съ Прыгуновымъ, и съ Груней. Въ крѣпкомъ рукопожатіи, которымъ обмѣнялись Володя и Груня, они сказали другъ другу, что увидятся скоро. Барбасовъ приглашенія вернуться не получилъ, но онъ и не ждалъ его, хотя и зналъ навѣрное, что опять сюда вернется.

Въ переулочкѣ, у домика Кодрата Кузьмича, стояли двѣ коляски, изъ которыхъ одна такъ и блестѣла новизною. Сѣрые, въ яблокахъ, кони гордо выгибали головы. Кучеръ, чернобородый татаринъ, важно и нахально поглядывалъ съ козелъ. Другая коляска, запряженная парой спокойныхъ вороныхъ лошадей, оказывалась гораздо проще. Кучеромъ былъ старикъ, глядѣвшій вовсе не важно и не нахально, а, напротивъ, какъ-то даже уныло. На дверцахъ коляски этой можно было разглядѣть потускнѣвшія очертанія герба Горбатовыхъ.

— Дружище,—сказалъ Барбасовъ, обращаясь къ Владиміру:—ты куда теперь?

— Домой,—отвѣтилъ тотъ.

— Послушай, вѣдь, мы Богъ знаетъ сколько времени не встрѣчались съ тобою, проѣдемся вмѣстѣ — потолкуемъ, мнѣ, кстати, нужно и быть на Басманной.

Барбасовъ крикнулъ своему татарину, чтобы тотъ ѣхалъ домой, усѣлся съ Владиміромъ въ его коляску, и они поѣхали.

XI.

Веселый Мефистофель.

Нельзя сказать, чтобы Владиміръ былъ очень доволенъ возвращаться домой въ обществѣ Барбасова. Ему, конечно, гораздо пріятнѣе было-бы ѣхать одному, чтобы немного очнуться и при-

вести себя въ порядокъ послѣ этого свиданія съ Груней, оставившей въ немъ сильное и неожиданное впечатлѣніе.

Но если-бы Барбасовъ и не былъ такъ рѣшителенъ и нахаленъ, все-же Владиміръ не нашель-бы удобнымъ отстранить его отъ себя. Онъ противъ него ничего не имѣлъ, и Барбасовъ даже въ нѣкоторомъ родѣ почти интересовалъ его, можетъ быть, вслѣдствіе того, что они были совсѣмъ разные люди. Дружбы между ними, конечно, не существовало никакой, да не было и настоящихъ товарищескихъ отношеній, такъ какъ Барбасовъ былъ гораздо старше Владиміра.

Но этотъ человѣкъ все-же сыгралъ роль въ жизни Владиміра. Онъ въ пансіонѣ Тиммермана отравилъ своимъ цинизмомъ его дѣтскую чистоту, онъ цѣлые полтора года, такъ сказать, питался на его счетъ, зато и былъ всегда его защитникомъ, охранялъ его въ первое время отъ кулаковъ товарищей. Онъ такъ напугалъ его одноклассниковъ своимъ заступничествомъ, своею извѣстной всему пансіону силой, что многіе изъ самыхъ свирѣпыхъ мальчишекъ уже не смѣли трогать маленькаго Горбатова.

Затѣмъ Барбасовъ окончилъ курсъ въ пансіонѣ, поступилъ въ университетъ, и Владиміръ потерялъ его изъ виду.

Потомъ они встрѣтились въ университетѣ — Владиміръ былъ на первомъ курсѣ, Барбасовъ — на четвертомъ. Но они все-же сходились довольно часто. Затѣмъ, окончивъ курсъ и уже выступивъ на адвокатское поприще, Барбасовъ не гнушался студентами и часто принималъ участіе въ ихъ пирушкахъ. На этихъ пирушкахъ его любили. Его комичная наружность, вѣчная веселость, грохотанье, цинизмъ, — все это было у мѣста, особенно, когда въ молодыхъ головахъ начинало немного мутиться.

Къ Владиміру Барбасовъ относился, повидимому, съ особенной симпатіей и даже какъ-то бережно. «Прекрасный вьюношъ» — онъ иначе не называлъ его — продолжалъ представляться ему чѣмъ-то хрупкимъ и нѣжнымъ, хотя отъ маленькаго Володи, котораго онъ защищалъ когда-то, почти не осталось теперь и слѣда.

Въ послѣднее время Владиміръ съ Барбасовымъ совсѣмъ не встрѣчались. Жизнь ихъ раздѣлила. Горбатовъ уѣхалъ на службу въ Петербургъ и въ Москву пріѣзжалъ всегда на самый короткий срокъ.

Несмотря на старыя товарищескія отношенія съ Владиміромъ, Барбасовъ не былъ ни разу въ домѣ у Горбатовыхъ и Владиміръ никогда не приглашалъ его, точно такъ же, какъ и многихъ изъ своихъ товарищей. Это сдѣлалось какъ-то само

собой. Въ университетѣ, во время пирушекъ, это былъ тѣсный товарищескій кружокъ; но внѣ университета, внѣ пирушекъ являлось различіе общественнаго положенія. Каждый оставался въ своемъ кругу.

Пріятели ѣхали нѣкоторое время молча. Барбасовъ вытянулъ во всю длину свои ноги, съ трудомъ натянулъ перчатки на влажные руки, причемъ оторвалъ пуговицу и выругался, а затѣмъ принялся тихонько посвистывать, самодовольно поглядывая по сторонамъ и неизвѣстно чему ухмыляясь.

Владиміръ глядѣлъ задумчиво. Но вотъ глаза его блеснули, и онъ обратился къ своему спутнику:

— Скажи мнѣ, пожалуйста, гдѣ и какъ ты познакомился съ Аграфеной Васильевной?

Барбасовъ съ удовольствіемъ пустился въ объясненія; описывая успѣхъ Груни, онъ пришелъ даже въ азартъ и такъ шлепалъ губами, такъ брызгалъ, что Владиміръ то и дѣло отъ него тихонько отстранялся, даже вынулъ платокъ и нѣсколько разъ вытеръ себѣ щеку.

— Это такая прелесть... такая прелесть!.. — кипѣлъ Барбасовъ — я просто глазамъ своимъ не вѣрилъ... И, понимаешь-ли, она — и въ провинціи!.. Ее сюда скорѣй, въ Малый театръ, Федотова сразу же пропадетъ отъ зависти... А музыкантша какая! И, вѣдь, это пустяки, что она говоритъ, что голосъ у нея пропалъ... Горло теперь совсѣмъ здорово... Ей въ оперу, въ итальянскую оперу опять.... Вѣдь, она знаменитость... Фіорини... Я узналъ только, когда ужъ ѣхали мы вмѣстѣ на пароходѣ...

— А ты слышалъ ея пѣніе? — спросилъ Владиміръ.

— Нѣтъ, она ни за что не поетъ, да и вообще, вѣдь, она такая строгая...

Онъ усмѣхнулся.

— Къ ней не подступишься! — прибавилъ онъ, искоса взглянувъ на Владиміра.

— То есть какъ это — строгая?

— А такъ... ни Боже мой!.. Даже невѣроятнo — такія странности! Да вотъ и теперь — какъ это она — и въ такомъ домишкѣ! На попеченіи у этой поросшей мх. мъ развалины древне-русскаго судопроизводства... Развѣ вотъ ты... что-ли...

— Ты, пожалуйста, Барбасовъ, не говори вздору... Неужели ты не можешь видѣть красивую женщину безъ циничнаго къ ней отношенія?..

— Прежде никакъ не могъ, теперь иногда могу; видно, годы ужъ не тѣ!.. И къ Аграфенѣ Васильевнѣ я отношусь вовсе не цинично. Я, прекрасный мой выюношъ, поклоняюсь ея красотѣ, ея талантамъ — и только... Но, согласишься самъ, не могу-же я

глядѣть на нее, какъ на весталку... Она, вонъ, изъѣздила всю Европу, всю Россію, съ кѣмъ, съ кѣмъ ни сталкивалась, чего, чего ни привелось ей видѣть. Да и не ребенокъ, вѣдь.. вѣдь, ей сколько? Чай ужъ не со вчерашняго дня за двадцать?..

— Двадцать шесть лѣтъ,—задумчиво проговорилъ Владиміръ.

— Вотъ видишь! Такъ надо полагать, что были всякія бури. Безъ этого, другъ мой, нельзя, безъ этого не прожить женщинѣ, а тѣмъ паче артисткѣ...

Владиміръ даже покраснѣлъ, но ничего не отвѣтилъ. Ему стало такъ противно. И вдругъ Груня, эта самая Груня, которую онъ сейчасъ почти видѣлъ прежней невинной дѣвочкой-ребенкомъ, явилась передъ нимъ уже совсѣмъ иною. Эти мысли о годахъ ея тревожной артистической жизни только сейчасъ представилась ему въ новой окраскѣ... Самъ онъ давно ужъ не былъ наивнымъ юношей и не могъ не видѣть въ словахъ Барбасова значительной доли правдоподобія.

А тотъ, между тѣмъ, вдругъ громко вздохнулъ и присвистнулъ:

— Плохо мое дѣло!—сказалъ онъ.

— Что такое?

— А все насчетъ той-же Аграфены Васильевны. Вѣдь, я тебя ненавиждѣть долженъ—пойми ты!.. Но только нѣтъ—зачѣмъ-же? Каждому свое... А, право, счастливецъ ты, Владиміръ Сергѣевич! Такая женщина, да, вѣдь, это что-жъ такое? Вѣдь, это благодаты!.. Самый что ни на есть счастливецъ! Много-ли такихъ встрѣтишь въ жизни?

Владиміръ разсердился не на шутку.

— Послушай, Барбасовъ, всему есть предѣлъ; мы, кажется, давно не школьники и такое школьничество не у мѣста. Я зналъ ее ребенкомъ, теперь увидѣлъ ее въ первый разъ, у насъ общія воспоминанія дѣтства. Я здѣсь въ Москвѣ временно, наша встрѣча случайная и ужъ, конечно, ухаживать за нею я не имѣю намѣренія, а потому, пожалуйста, прекратимъ разговоръ этотъ...

Барбасовъ вдругъ сдѣлался серьезнымъ и проговорилъ:

— Только позволь мнѣ сказать одно: что ваша встрѣча случайная—это вѣрно, что у тебя нѣтъ относительно ея никакихъ мыслей—это тоже вѣроятно, и прости меня, если въ моихъ словахъ что-нибудь тебѣ не понравилось, но чтобы, разъ встрѣтятся, вы такъ и разошлись—извини, это не можетъ быть! Не такая она женщина и не то говорили глаза ея сегодня... Молчу!.. молчу!..—прибавилъ онъ, видя, что сильно раздражаетъ Владиміра.

Онъ перемѣнилъ разговоръ, сталъ передавать всякія московскія сплетни, разспрашивая Владиміра объ его петербургской

службѣ. Владиміръ отвѣчалъ не особенно охотно, но все-же отвѣчалъ.

— Такъ, такъ,—говорилъ Барбасовъ:—вижу я, вижу, что тебя плохо тамъ вымуштровали!.. Не сумѣлъ ты въ настоящую колею попасть, въ бюрократическую... диллетантствомъ отзывается... А, вѣдь, это, сударь, нехорошо, съ этимъ ты далеко не уйдешь... Эхъ, вотъ бы меня на твое мѣсто! Зашагалъ-бы я быстро, гдѣ ползкомъ, гдѣ шажкомъ, а гдѣ вприскокку... Но каждому свое; я своимъ дѣломъ, нельзя сказать, чтобы очень былъ недоволенъ...

Онъ распространился о своихъ успѣхахъ, о томъ, какія неслыханныя деньги получалъ за послѣдніе годы. Владиміръ слушалъ его разсѣянно.

Такимъ образомъ, они доѣхали до Басманной, а затѣмъ до самаго Горбатовскаго дома. Владиміръ вопросительно взглянул на Барбасова. Тотъ встрепенулся.

— Ахъ, это вашъ домъ!—сказалъ онъ.—Не позволишь-ли мнѣ заѣхать... у меня еще цѣлый часъ свободный... Я, видишь-ли, уже давно имѣю удовольствіе быть представленнымъ твоимъ сестрамъ и твоей почтенной тетушкѣ... Какъ-же, какъ-же! Не одну кадрили протанцовалъ и съ Софьей Сергѣевной, и съ Марьей Сергѣевной. До сихъ поръ, вѣдь, я танцую... или, вѣрнѣе, вновь началъ... какъ насъ тамъ учили у Тиммермана—ужъ позабылъ, такъ, вѣришь-ли, въ прошломъ году бралъ уроки мазурки, цѣлыхъ двадцать уроковъ... ни одного бала и раута у генералъ-губернатора не пропускаю... вообще, снова къ юности вернулся... Что дѣлать... иногда это полезно... даже очень... и въ нашей профессіи...

Коляска остановилась у широкаго подъѣзда. Барбасовъ хотѣлъ было соскочить по всѣмъ правиламъ недавно изученной имъ мазурки, но споткнулся и даже зашибъ себѣ ногу о каменную ступень. Однако, онъ этимъ не смутился и, принявъ важный и степенный видъ, послѣдовалъ за Владиміромъ.

— Такъ что-же, любезный другъ,—сказалъ онъ:—*puis-je te présenter sous tes auspices?*

«Вотъ нахалъ!»—невольно подумалъ Владиміръ и спросилъ у швейцара: принимаютъ-ли Клавдія Николаевна и барышни. Барбасовъ съ видимымъ удовольствіемъ услышалъ утвердительный отвѣтъ и сталъ осматриваться.

— Да! домики!—протянулъ онъ.

Они поднялись по лѣстницѣ, прошли нѣсколько огромныхъ комнатъ, дышавшихъ той роскошью старины, которую не купишь ни за какія деньги, и очутились въ небольшой гостиной, гдѣ у окна, въ креслѣ, вся въ черномъ, съежившаяся, про-

зрачная и унылая, сидѣла съ книгой въ рукѣ Клавдія Николаевна.

Барбасовъ подобрался, потомъ вытянулся и вдругъ сообразилъ, что его черезчуръ яркій костюмъ совсѣмъ не у мѣста въ этомъ траурномъ домѣ и непригоденъ для перваго визита. Онъ готовъ даже былъ ретироваться, но оказалось поздно: Клавдія Николаевна оторвалась отъ книги, подняла свои темные глаза.

— *C'est toi, mon ami!*—произнесла она.—*D'où viens-tu?*—и, вдругъ замѣтивъ фигуру Барбасова, съ недоумѣніемъ и изумленіемъ на него прищурилась.

— Это мой старый товарищъ, Барбасовъ, — сказали Владиміръ:—вы, вѣдь, ужъ съ нимъ знакомы...

Но она рѣшительно никакого Барбасова не помнила.

Она склонила голову въ отвѣтъ на почтительный поклонъ гостя, слабымъ движеніемъ руки указала ему на стулъ и скороѣ вздохнула, чѣмъ проговорила:

— Очень рада васъ видѣть...

XIII.

Зачѣмъ онъ здѣсь?

На порогѣ появилась стройная и граціозная фигура Софьи Сергѣевны.

Да, теперь ужъ это не была ни Соня, ни даже Софи, а Софья Сергѣевна. Каждый, взглянувъ на нее, непремѣнно долженъ былъ признать ее красивой, хотя сухая холодная красота ея миниатюрнаго и тонкаго лица много потеряла вмѣстѣ со свѣжестью и оживленіемъ первой юности. Эти, повидимому, спокойные, мирные годы прошли далеко не безслѣдно.

Софья Сергѣевнѣ было теперь двадцать шесть лѣтъ. Въ иные дни, особенно при вечернемъ освѣщеніи, она казалась моложе. Среди оживленія бала или въ гостиной, со своимъ тоненькимъ голоскомъ, съ капризными иногда, но во всякомъ случаѣ до тонкости изученными движеніями и манерами, она продолжала производить впечатлѣніе воздушной *ingénue*.

Но дома, на свободѣ, безъ прикрасъ и эффектовъ обдуманнаго туалета, въ строгомъ траурномъ платьѣ она теперь появилась такою, какою была на самомъ дѣлѣ, то-есть слишкомъ даже рано поблекшей дѣвушкой. Ея нѣсколько лѣтъ тому назадъ ослѣпительный цвѣтъ лица принялъ теперь желтоватый оттѣнокъ, щеки были блѣдны, на лбу и вокругъ глазъ уже образовались тоненькія нити морщинокъ, дѣлавшіяся совсѣмъ замѣт-

ными, когда она оживленно говорила или смѣялась. Поэтому она, изучившая свое лицо до мельчайшихъ подробностей и давно уже приходящая въ ужасъ отъ этихъ морщинокъ, всѣми силами старалась не смѣяться и не оживляться, однимъ словомъ, ни при какихъ обстоятельствахъ не забывать о своемъ лицѣ. Она уже робко и осторожно, подъ величайшимъ секретомъ отъ всѣхъ, стала даже прибѣгать къ нѣкоторымъ косметикамъ, къ какимъ-то *lait de beauté*, отъ которыхъ тщетно ждала помощи.

Уходящая, и такъ безсовѣстно рано, такъ предательски быстро, молодость—это было теперь несчастье ея жизни. Несчастье для нея настоящее, доставлявшее ей много, никому невѣдомыхъ, страданій. Да, она считала себя глубоко несчастной, жестоко обиженной судьбою и людьми, неумѣвшими понять и оцѣнить ее. Она искренно чувствовала, что общество страшно виновато передъ нею, что она загубила себя въ низменной средѣ.

Прежде всего, конечно, виноваты были родные, начиная съ отца, котораго,—она даже и не скрывала это,—она и презирала и почти ненавидѣла. Виноватъ былъ и покойный дѣдушка, и Клавдія Николаевна, и всѣ, всѣ безъ исключенія. Между тѣмъ, если-бы спросить ее, въ чемъ именно заключалась ихъ вина, она, конечно, не могла-бы отвѣтить.

По семейнымъ обстоятельствамъ она большее время своей жизни прожила въ Москвѣ, но каждое лѣто уѣзжала за границу. Двѣ зимы она повеселилась въ Петербургѣ, гдѣ для нея строгая отшельница, Марья Александровна Горбатова, даже измѣнила своимъ привычкамъ и сдѣлала все, чтобы доставить удовольствіе племянницѣ. Она отдалась въ ея распоряженіе и вывозила ее всюду.

У Софьи Сергѣевны была одна завѣтная мечта—и мечта эта осуществилась—ее пожаловали фрейлиной къ государынѣ. Она появлялась на всѣхъ придворныхъ балахъ и собраніяхъ. Но опять-таки это ни къ чему не привело. На третью зиму она уже не поѣхала въ Петербургъ, чувствуя себя почему-то и тамъ оскорбленной всѣми. И она почла-бы клеветникомъ того человека, который сказалъ-бы ей, что сама она виновата въ своей неудачѣ. Она держала себя такъ гордо и въ то-же время, при всякомъ удобномъ и неудобномъ даже случаѣ, такъ злословила, такъ чванилась, что всѣ тѣ, кто сначала заинтересовался было ею, скоро отъ нея совсѣмъ отстали.

У нея явились опредѣленные честолюбивые планы—она намѣтила единственного человека, котораго почла достойнымъ и себя равнымъ. Принявъ за основаніе нѣсколько любезныхъ фразъ, ей сказанныхъ, она создала себѣ самыя несбыточныя надежды. Она сдѣлала хуже—дала кой-что замѣтить и понять этому человеку.

Онъ съ изумленіемъ отошелъ и даже сталъ, видимо, изоб-
гать ее.

Она была увѣрена, что никто ничего не знаетъ, а между
тѣмъ у нея уже были враги, то-есть люди, возмущенные ея
чванствомъ и злымъ языкомъ. Эти враги пустили сплетню и въ
свою очередь жестоко посмѣялись надъ нею. Поэтому-то она и
не вернулась въ Петербургъ на третью зиму.

Конечно, она не любила этого, такъ неудачно намѣченного
ею челсвѣка; конечно, онъ ровно ни въ чемъ, ни слсвомъ, ни
помышленіемъ не былъ виноватъ передъ нею, но она вообразила,
что онъ дурно съ нею поступилъ, вообразила, что сердце ея
разбито и съ этого времени въ ней стало развиваться оконча-
тельно недовольство жизнью. Характеръ ея, никогда не бывшій
пріятнымъ, съ каждымъ днемъ дѣлался теперь невыносимѣе. Она
придиралась ко всему и ко всѣмъ, ее ничѣмъ нельзя было удо-
влетворить, и блѣдная Клавдія Николаевна испивала иногда горь-
кую чашу.

Наконецъ, Софья Сергѣевна, убѣдясь, что прошлаго не вер-
нешь, что продолжать думать о томъ единственномъ равномъ
ей человѣкѣ нечего, рѣшила, что, вѣдь, не можетъ же она
остаться такъ, что ужъ если судьба не дала ей возможности
какъ слѣдуетъ устроиться, то все-же должна она выйти замужъ.
Она готсва была теперь принять обыденную долю; если-бы те-
перь тотъ первый единственный ея женихъ или кто-нибудь въ
этомъ родѣ ей представился, она вышла-бы замужъ безъ вся-
кихъ разузденій. Она даже вдругъ стала снисходить, обращала
свое благосклонное вниманіе то на одного, то на другого.

Но всѣ ея старанія пропадали даромъ: никто не дѣлалъ ей
предложенія и, мало того, съ ужасомъ она замѣчала, что къ
ней относятся уже не такъ, какъ относились прежде, какъ во-
обще относятся къ молодымъ дѣвушкамъ,—къ ней относились
съ большимъ почтеніемъ, и это почтеніе доводило ее до отчаянья.

А время шло, и проклятыя морщинки, несмотря ни на какія
«*lait de beauté*», обрисовывались замѣтнѣе и замѣтнѣе. У нея
задавались теперь цѣлые дни, цѣлые недѣли глубокой тоски,
тѣмъ болѣе невыносимой, что не съ кѣмъ было его подѣлиться.
Софья Сергѣевна скорѣе бы умерла, чѣмъ призналась кому-либо
къ своимъ мукамъ...

Теперь она вышла въ гостиную блѣдная и скучающая, съ
изумленіемъ взглянула на Барбасова, отвѣтила на его почтитель-
ный поклонъ пренебрежительнымъ кивкомъ головы, остано-
вилась было, но затѣмъ прошла черезъ гостиную и скрылась.

Владиміръ вышелъ за нею и остановилъ ее:

— Соня, ты куда?—сказалъ онъ.—Посиди немного въ гости-

ной, помоги тетѣ, а то у нея сегодня такой видѣ, что глядѣть страшно.

— Это еще что за явленіе?— вмѣсто отвѣта проговорила Софья Сергѣевна.

— Барбасовъ? Да, вѣдь, ты его знаешь.

— Кажется, знаю, какъ приходится знать Богъ знаетъ кого... Но зачѣмъ онъ у насъ, этотъ пестрый и неприличный уродъ?

— Онъ мой старый товарищъ.

— Мало-ли какіе у тебя могутъ быть старые товарищи, но, вѣдь, есть-же всему предѣлъ, и я вовсе не желаю, чтобы наша гостиная превратилась въ трактиръ...

— Однако... разъ ужъ онъ здѣсь... вѣдь, ты хозяйка...

— Нѣтъ, уволь, уволь меня—некогда!

И она пошла дальше.

Владиміръ вернулся въ гостиную и съ удовольствіемъ увидѣлъ, что вторая сестра его, Марья Сергѣевна, сидитъ почти рядомъ съ Барбасовымъ и спокойно съ нимъ бесѣдуетъ.

Теперь болѣе чѣмъ когда-либо бросалась въ глаза разница между двумя сестрами. Марья Сергѣевнѣ шель двадцать четвертый годъ. Но она, въ семнадцать лѣтъ казавшаяся старше своего возраста, очень мало съ тѣхъ поръ измѣнилась, только развилась окончательно, окрѣпла, совершенно избавилась отъ своей юной неувѣренности, однимъ словомъ, очень много выиграла. Ея высокая полная фигура выражала силу и бодрость. румяное лицо дышало здоровьемъ, ни о какихъ морщинкахъ не было и помину. Она еще не задумывалась о томъ, что время уходитъ. И если-бы спросить ее, что думаетъ она о замужествѣ, она бы прямо отвѣтила, что давно уже находитъ, что пора ей замужъ и что, вѣроятно, въ концѣ-концовъ и выйдетъ.

Въ ея жизни, въ первое время ея выѣздовъ, былъ у нея какой-то періодъ колебаній, неясныхъ и неразрѣшенныхъ вопросовъ, но этотъ періодъ давно прошелъ. Она была довольна жизнью, считала себя почти счастливой. Теперь она никому не казалась загадкой, всѣ ея странности исчезли. Ея организмъ какъ-бы выдержалъ какую-то борьбу, быть можетъ съ зародышемъ какой-нибудь серьезной болѣзни. Онъ, можетъ быть, побѣдоносно выбросилъ изъ себя находившуюся въ немъ частицу того самого яда, который превратилъ ея младшаго брата въ «дурачка Кокушку».

Каждое новое лѣто, проведенное ею въ путешествіяхъ, на водахъ, укрѣпляло ее больше и больше. Съ каждымъ новымъ годомъ она чувствовала себя бодрѣ и здоровѣе, и это здоровье, конечно, отражалось на всемъ ея міросозерцаніи. Она никогда не питала въ себѣ неисполнимыхъ плановъ, не мечтала о невоз-

можною, довольствовалась окружающимъ. Она очень любила Москву, любила съ дѣтства установившійся строй ихъ жизни, любила повеселиться и если изрѣдка на нее находило нѣчто подобное прежней апатіи, то, въ сущности, это было не что иное, какъ потребность необходимой и полезной переменъ, и переменъ эту она находила дома, у себя, въ физическомъ отдыхѣ, въ чтеніи.

Съ каждымъ годомъ она все чаще и чаще начинала жить умственнымъ интересомъ, слѣдила за общественнымъ движеніемъ, всматривалась въ то, что дѣлается внѣ ея обычнаго круга. Только у нея не было руководителя, она шла одна, ощупью, и немудрено, что иногда сбивалась съ дороги...

Войдя теперь въ гостиную и замѣтя Барбасова, она не обратила вниманія на его пестрый костюмъ; напротивъ, даже очень просто и искренно сказала ему, что рада его видѣть, и тотчасъ-же заговорила съ нимъ о послѣднемъ выигранномъ имъ процессѣ, который интересовалъ ее.

Барбасовъ былъ на седьмомъ небѣ. Онъ уже сталъ было чувствовать себя, несмотря на весь свой апломбъ, не въ своей тарелкѣ. Онъ рѣшительно не зналъ какъ приступить къ такому хрупкому, едва-едва держащемуся созданію, какъ Клавдія Николаевна. Строгое промелькнувшее видѣніе Софьи Сергѣевны окончательно подрѣзало ему крылья. А тутъ вдругъ очутилась эта любезная и красивая дѣвушка, ласково на него взглянула, начала говорить съ нимъ о предметѣ ему близкомъ, и онъ мгновенно расцвѣлъ, глазки его подъ очками блестя, лицо сіяло.

Онъ заговорилъ съ жаромъ, съ увлеченіемъ, хотя все-же старался поменьше жестикулировать и поменьше плевать. Войдя въ азартъ, онъ всегда говорилъ хорошо, даже остроумно. Марья Сергѣевна нѣсколько разъ весело и одобрительно улынулась и кончилось тѣмъ, что некрасивое, комичное лицо ея собесѣдника перестало смущать ее, показалось ей оригинальнымъ и симпатичнымъ.

Въ сосѣдней комнатѣ слышались громкіе шаги, и въ гостиную, запыхавшись, весь красный, вбѣжалъ Кокушка. Безцвѣтные глаза его были вытаращены. Онъ находился въ сильномъ возбужденіи, никого не замѣчая, подбѣжалъ къ Клавдіи Николаевнѣ и пронзительнымъ голосомъ, захлебываясь, заикаясь и шепелявя, сталъ кричать:

— Тетя, да... да что-же это такое? Я не могу этого больше терпѣть... Я ее не трогаю, я къ ней даже никогда не вхожу, за... за... чѣмъ-же она рашпоряжается въ моей комнатѣ? Меня не было... Она пришла, штащила мои крашки... ишкаль... ишкаль... нигдѣ не могъ найти... Ка... какъ она шмѣетъ брать мои вещи!.. Гдѣ мои крашки?..

Клавдія Николаевна съ отчаяніемъ зажала себѣ уши.

— Господи! Николай, да успокойся, что такое? Вѣдь, я ничего понять не могу! Кто такой? Какія краски? Кто у тебя?

— Кто? Извѣстно кто... все Софьюшка... фрейлина наша... принцеша...

Клавдія Николаевна безнадежно закрыла глаза.

Между тѣмъ Кокушка обернулся и увидѣлъ Барбасова. Мгновенно все раздраженіе, весь его гнѣвъ пропали; онъ спокойно подошелъ къ гостю, протянулъ ему руку и съ улыбкой проговорилъ:

— А ждрастлуй, адвокатъ, ждрастлуй... Какъ поживаешь... кого обираешь?

Кокушка со всѣми мужчинами, съ которыми встрѣчался нѣсколько разъ, былъ на «ты». Барбасова онъ зналъ уже давно, а съ тѣхъ поръ какъ имя его стало часто повторяться въ газетахъ, онъ называлъ его своимъ прітелемъ. Онъ чувствовалъ склонность ко всѣмъ знаменитостямъ.

— Кого-же я обираю?—улыбаясь сказалъ Барбасовъ.

— На... на то ты и адвокатъ, чтобы обираты! Вонъ у Гриневыхъ го... говорили, что такого мошенника, какъ ты, еще никогда не было.

Барбасовъ, несмотря на все свое самообладаніе, невольно смутился. Марья Сергѣевна рѣшительно не знала куда ей дѣваться.

Но вдругъ Кокушка сразу оборвался, глаза его снова вытаращались, лицо покраснѣло и онъ кинулся къ двери, замѣтивъ входившую Софью Сергѣевну.

— Куда ты дѣвала мои крашки?—закричалъ онъ.

— Что такое? Объясни, пожалуйста, Софи, какія краски?—выговорила черезъ силу Клавдія Николаевна.

Софья Сергѣевна съ презрѣніемъ взглянула на брата и, обратясь къ старушкѣ, сказала:

— Я случайно зашла къ нему—и что-жъ бы вы думали?—онъ взялъ изъ большой гостиной самый лучший кипсакъ и вздумалъ его раскрашивать! Ужъ девять прелестныхъ гравюръ совсѣмъ испортилъ... Я и унесла его краски... Вѣдь, это невозможно!... Il finira par gâter tout!..

— Гдѣ мои крашки?—взвизгнулъ Кокушка. — Какъ испортилъ?! Я отлично... от... от... лично раскрашилъ!.. Покажи—всѣ скажутъ... А ра-а-ашкрашивать картинки ты мнѣ не можешь запретить! И отнимать крашки не смѣешь!.. Я... я... вѣдь, не запрещаю тебѣ раскрашивать лицо... фре-е-йлина!..

Софья Сергѣевна позеленѣла, хотѣла сказать что-то—и не могла. Наконецъ, она собралась съ силами, сообразила, что единственное спасенье—заставить Кокушку уйти.

— Твои краски въ диванной, въ столѣ,—дрожащимъ отъ злобы голосомъ сказала она.

Кокушка мгновенно выскочилъ изъ гостиной.

Барбасовъ понялъ, что лучше всего теперь удалиться и стать раскланиваться.

ХII.

А д в о к а т ъ.

Барбасовъ медленно прошелъ огромнымъ дворомъ, вышелъ въ ворота, а затѣмъ остановился и нѣсколько мгновений пристально глядѣлъ на неподвижныхъ, строгихъ львовъ, уже болѣе столѣтій сторожившихъ входъ въ старинное барское жилище. По его лицу скользило что-то неуловимое, что-то очень серьезное, совсѣмъ не шедшее къ постоянному характеру этой самоувѣренной и комичной физиономіи.

Передъ нимъ мелькнуло и исчезло далекое-далекое воспоминаніе. Да, это были эти самые львы! Они когда-то поражали его, маленькаго ребенка, привезеннаго въ Москву старушкой-барыней, которая послѣ смерти его отца, бѣднаго сельскаго дьякона, взяла его на воспитаніе и рѣшилась вывести въ люди.

«Тогда—и теперѣ!» подумалъ онъ еще разъ, пристально взглянувъ на львовъ, и все лицо его засвѣтилось самодовольствомъ. Онъ тряхнулъ головою, осмотрѣлся и пошелъ по Басманной.

Свободный часъ, о которомъ онъ говорилъ Владиміру, давно уже прошелъ, но дѣло въ томъ, что онъ все выдумалъ. Никто его не ждалъ на Басманной, никуда ему не нужно было спѣшить. Онъ взглянулъ на часы, кликнулъ проѣзжавшаго извозчика и отправился въ московскій Гуринскій трактиръ обѣдать. Онъ любилъ хорошо поѣсть и до сихъ поръ желудокъ его, хотя все-же не безъ помощи нѣкоторыхъ вспомогательныхъ средствъ, позволялъ ему это.

Войдя въ огромную залу, заставленную, какъ стойлами, рядами диванчиковъ, придвинутыхъ спинками другъ къ другу, онъ началъ оглядываться, ища свободнаго мѣста. Народу уже было много. Мигомъ подлетѣлъ къ нему красавецъ-половой съ удивительно черной бородою, въ бѣлоснѣжной русской рубашкѣ, съ салфеткой на плечѣ и, приятно оскабляясь, проговорилъ скороговоркой:

— Алексѣй Ивановичъ, сюда-съ, сюда-съ пожалуйста, вотъ свободно мѣстечко... я и прислуживать вамъ буду...

Барбасовъ протѣснился кое-какъ между диваномъ и столикомъ

и не успѣлъ еще снять перчатки, какъ половой уже ставилъ передъ нимъ графинчики съ разными водками и закуску.

— Что прикажете-съ къ обѣду?.. У насъ нынче рыбка... такая! Утромъ только получили съ Волги, живехонькая!.. Можетъ, уху стерляжью или такъ стерлядочку а-ля-рюсь желательно?..

Барбасовъ подумалъ немного и сталъ заказывать себѣ основательный обѣдъ. Половой слушалъ его съ усиленнымъ вниманіемъ и большимъ почтеніемъ, склонивъ голову, сморщивъ брови и даже полузакрывъ глаза.

— Вотъ и все!—наконецъ сказалъ Барбасовъ.

Половой встряхнулъ черными, уже рѣдѣющими и въ изобиліи напояженными волосами.

— Слушаю-съ, будьте покойны, все въ самомъ лучшемъ видѣ... Повару вашъ вкусъ извѣстенъ довольно.

И онъ исчезъ.

Барбасовъ принялся за водку и закуску; но едва онъ успѣлъ налить себѣ рюмку прозрачной какъ слеза очищенной, къ нему подошелъ съ протянутой рукой черноватый и франтоватый господинъ.

— Алексѣю Ивановичу низайшее почтеніе!—не безъ умиленья произнесъ онъ, показывая бѣлые зубы и шуря масляные глазки.

— Здравствуйте, Шельманъ!—отозвался Барбасовъ нѣсколько покровительственнымъ тономъ.

— Что это васъ давно не видать, Алексѣй Ивановичъ? Въ судѣ то и дѣло о васъ спрашиваютъ...

— А что-же мнѣ тамъ торчать по-пустому?

— Да оно, конечно, — вздохнулъ Шельманъ:—послѣ такого дѣльца, какое вы завершить изволили, можно и поотдохнуть... А вотъ мы, бѣдные, съ ранняго утра мечемся...

— Ну, ужъ и бѣдные!—усмѣхнулся Барбасовъ:—и ужъ, особенно вы то!

— Эхъ, да что я! Много дѣлъ, много, да не дѣла, а дѣлишки. За послѣдніе полгода самое выгодное дѣло было въ десять тысячъ. Да что объ этомъ... А вотъ вы извольте полюбопытствовать...

Онъ наклонился къ самому уху Барбасова и сталъ шептать ему:

— Видите, направо... это я, вамъ скажу, птичка... въ черной шляпѣ съ алыми розами... Она здѣсь со мною... обѣдаемъ... И вы думаете кто это? Представьте—кліентка! Эмансипированная особа и со средствами.

— Значитъ, вы въ двойной роли—ну, и прекрасно... спѣшите-же къ ней, а то я, чего добраго, отобью ее у васъ.

— Закрѣпленъ формальнѣйшимъ образомъ! — самодовольно отвѣтилъ Шельманъ, но тотчасъ-же отошелъ отъ Барбасова и вернулся къ своей дамѣ.

Барбасовъ выпилъ рюмку, закусилъ, а тутъ опять:

— Здравствуйте, Алексѣй Ивановичъ!

Къ нему то и дѣло подходили разные господа всякаго возраста и вида. Но на этотъ разъ онъ былъ не словоохотливъ и даже, повидимому, тяготился такой своей популярностью въ этомъ храмѣ московскаго кулинарнаго искусства.

Наконецъ его оставили въ покоѣ и онъ съ удовольствіемъ принялся за обѣдъ подъ шумъ толпы, подъ звуки несмолкавшаго оркестріона.

Окончивъ обѣдъ, онъ почувствовалъ, что слишкомъ много съѣлъ и, главное, слишкомъ много выпилъ, а потому поспѣшилъ на свѣжій воздухъ.

На подѣздѣ къ нему со всѣхъ сторонъ кинулись извозчики, онъ махнулъ рукою, вскочилъ въ первую попавшуюся пролетку и крикнулъ:

— На Сивцевъ-Вражекъ!

— Знаемъ-съ, судары!—отвѣтилъ франтоватый извозчикъ-лихачъ, дернулъ возжами, и застоявшаяся молодая лошадка помчала Барбасова по изрытой мостовой мимо Александровскаго сада.

Барбасовъ, весь лоснившійся, съ покраснѣвшимъ носомъ и нѣсколько осоловѣвшими глазами, мутно глядѣвшими изъ-за золотыхъ очковъ, усиленно полоскалъ себѣ ротъ дымомъ сигары, отдувался время отъ времени и пріятно ухмылялся чему-то. Въ головѣ у него немного шумѣло. Съ дѣтства знакомыя улицы съ рядами то большихъ, то маленькихъ домовъ какъ-то сливались и будто бѣжали назадъ.

Наконецъ пролетка остановилась у небольшого хорошенькаго дома-особняка. Барбасовъ совсѣмъ очнулся, вылѣзъ изъ экипажа, дернулъ звонокъ, потомъ вынулъ изъ портфеля пятирублевую бумажку и далъ ее извозчику. Тотъ снялъ шапку, крикнулъ:

— Здорово оставаться, судары!—и отѣхалъ.

Благообразный лакей въ бѣломъ жилетѣ и галстукѣ отперъ двери. Барбасовъ сбросилъ въ свѣтлой передней пальто, прошелъ довольно обширную залу, уставленную новой съ иголки мебелию, обитой атласомъ цвѣта boutons d'ог, прошелъ малиновую бархатную гостиную и отворилъ дверь въ свой кабинетъ.

На большомъ письменномъ столѣ, тоже совсѣмъ новомъ, но уже треснувшемъ съ боку, онъ увидѣлъ нѣсколько ожидавшихъ его писемъ. Онъ распечаталъ одно изъ нихъ, пробѣжалъ его, до остальныхъ не коснулся и направился въ противоположную сторону комнаты, къ низенькому турецкому дивану.

Вдругъ онъ остановился и пробурчалъ:

— Чортъ знаетъ что!

На диванѣ въ граціозной позѣ лежала и, очевидно, мирно спала

молоденькая, хорошенькая и очень нарядная женщина. Онъ подошелъ къ ней ближе и глядѣлъ на нее. Темно-синее платье изъ легкой шелковой матеріи красиво обрисовывало ея стройныя формы. Немного блѣдное, немного уставшее, но правильно очерченное лицо эффектно рисовалось на темномъ фонѣ подушекъ дивана.

Онъ наклонился, прислушался—она дѣйствительно спала. Тогда онъ вернулся къ письменному столу, свернулъ изъ только что прочитаннаго письма тоненькую трубочку, подошелъ тихонько къ молодой женщинѣ и сталъ щекотать ей трубочкой ноздри. Она вздрогнула, открыла совсѣмъ еще безсмысленные большіе черные глаза, вскочила съ дивана и громко зѣвнула.

— Ахъ, это ты, Леня!—сказала она наконецъ очнувшись.— Безсовѣстный! Я ждала, ждала—и вотъ заснула... Который-же часъ? Вѣдь ужъ семь... я съ голоду умираю... Скорѣй, скорѣй, ѣдемъ куда-нибудь обѣдать!

— Фью!—присвистнулъ онъ:—обѣдать? Я, мать моя, ужъ отлично пообѣдалъ и теперь мнѣ и говорить-то объ ѣдѣ тошно. Она встревожилась и вспыхнула.

— Обѣдать? А я то какъ-же? Что-же это такое?.. Вѣдь, это называется свинство!.. Вѣдь, ты же самъ назначилъ мнѣ въ пять часовъ быть у тебя и весь день мы должны были провести вмѣстѣ...

— Забылъ, совсѣмъ забылъ,—сказалъ онъ:—изъ головы вонъ... Ну, прости...

Но она была оскорблена не на шутку.

— А, такъ вы ужъ забывать начинаете!.. Вы ужъ меня голодомъ морить начинаете! Прощайте!!!

— Остановись и не кипятись!—флегматически сказалъ онъ.— У меня отъ всякихъ дѣлъ голова идетъ кругомъ и, главное, вѣдь, я же попросилъ прощенія...

— Да, вѣдь, я голодна наконецъ, поймите!..

— Бери мою коляску и отправляйся обѣдать куда угодно, а затѣмъ возвращайся...

— Какъ? одна?

— На сей разъ одна, ибо, говорю тебѣ, мнѣ объ ѣдѣ противно и думать... Ты будешь передо мною ѣсть, а я этого не вынесу.

Онъ раскрылъ свой портфель.

— Вотъ тебѣ сто рублей. Довольно? Отправляйся и возвращайся послѣ обѣда...

Она приняла сторублевую бумажку, аккуратно сложила ее и спрятала въ карманъ.

— Ну, хорошо, на этотъ разъ прощаю!—проговорила она въ

то время, какъ онъ звонилъ, чтобы приказать подать экипажъ.— Только послѣ обѣда я вернусь къ себѣ и чтобы я васъ застала уже тамъ! Мы отправимся въ Петровскій паркъ, я хочу нынче цыганъ слушать. Слышите?

— Хорошо, хорошо!..—разсѣянно проговорилъ Барбасовъ.

Экипажъ оказался уже заложенымъ, и черезъ минуту молодая женщина надѣвала шляпку.

— Ну-съ, прощайте! Да ты не разоспись, смотри, черезъ полтора часа будь у меня непременно... а я только, только пообѣдаю... Что-жъ ты думаешь, одной весело, что-ли, обѣдать? Эхъ, добра я слишкомъ, не стоишь ты..

— Не стою!—согласился онъ.

Она подошла къ нему и подставила ему щеку. Онъ, очевидно, нехотя ее чмокнулъ, а затѣмъ, оставшись одинъ въ кабинетѣ, упалъ на диванъ и принялся зѣвать. Но спать ему все-же не хотѣлось, небольшой хмѣль совсѣмъ прошелъ. Онъ велѣлъ подать себѣ сельтерской воды и, прихлебывая ее, лежалъ, предаваясь своимъ мыслямъ...

XIV.

З а д а ч а.

«Эту Нюнютку, во всякомъ случаѣ, и какъ можно скорѣе надо сплавить, думалъ Барбасовъ. — Вѣдь, всю прошлую весну, всю половину лѣта провозился съ нею... И денегъ много на нее идетъ, да и надоѣла—глупа непроходимо и разъ въ недѣлю съ неудачными претензіями на порядочность... Глупо, что сразу не отдѣлался по возвращеніи изъ Астрахани. Ну, да это не трудно...»

Онъ вздохнулъ. Сплавить Нюнютку онъ рѣшилъ уже, возвращаясь въ Москву. Но тогда у него были иные планы. Онъ рассчитывалъ, что ея мѣсто недолго останется вакантнымъ, онъ рассчитывалъ тѣмъ или инымъ способомъ побѣдить холодность Аграфены Васильевны и во что-бы то ни стало «подружиться» съ нею. Аграфена Васильевна ему нравилась такъ, какъ давно никто не нравился, и онъ чувствовалъ, какъ съ каждымъ днемъ этотъ «капризъ сердца» овладѣваетъ имъ сильнѣе и сильнѣе. Выслѣдивъ ее въ жилищѣ Прыгунова, онъ отправился къ ней, съ твердымъ намѣреніемъ бороться и побѣдить. Теперь онъ ясно понималъ, что долженъ отступить.

Въ разговорѣ съ Владиміромъ онъ былъ совсѣмъ искрененъ. Онъ почувствовалъ, что тамъ не его мѣсто, а мѣсто этого «прекраснаго вьюноши» и благоразумно сразу рѣшилъ внутри себя, что «противъ рожна не попрешъ».

Онъ всегда умѣлъ себя сдерживать, умѣлъ владѣть собою, а главное, успокоить себя. Это умѣнье онъ считалъ своимъ высшимъ качествомъ и развивалъ его въ себѣ тщательно, рѣшивъ, что только такимъ образомъ достигнетъ всего, чего можетъ достигнуть, а притомъ и прожить спокойно. Но все-же врядъ-ли бы ему удалось такъ легко отказаться отъ мечтаній объ Аграфенѣ Васильевнѣ, еслибъ на помощь не пришло совсѣмъ неожиданное обстоятельство.

«Судьба, это судьба! — почти громко выговорилъ онъ. — Дурацкое слово, но иной разъ, какъ ни верти, а оно оказывается самымъ подходящимъ... Или вдохновеніе, что-ли?..»

Онъ безъ опредѣленной цѣли навязался на посѣщеніе Горбатовыхъ. А вотъ теперь это посѣщеніе подвело его къ совсѣмъ новымъ мыслямъ. Передъ нимъ то и дѣло мелькало доброе, сіяющее здоровьемъ и свѣжестью, красивое лицо Марьи Сергѣевны.

«Надъ этимъ стоитъ поработать,—мысленно повторялъ онъ.— Я, Алексѣй Барбасовъ, я—съ моей кожей и рожей, какъ выражался Никита Крыловъ, читая намъ въ университетѣ «римское право», я—и она! Она, эта знатная, богатая дѣвица, однимъ словомъ — Горбатова, excusez du peu, и я! — сынъ деревенскаго дьякона, отца Іоанна, помогавшій батькѣ вспахивать нашу десятину; я—приемышъ покойницы генеральши-благодѣтельницы!.. Несообразно, нелѣпо, но не невозможно! Да, не невозможно... но трудно, трудно... и хорошо... а потому надо поработать... Чѣмъ-же это невозможно?е хотя-бы медвѣдеvsкаго дѣла? А, вѣдь, я его выигралъ. Шагать, такъ шагать. Дуракъ я или умица? Да... этого я не оставлю, этого я не оставлю!..»

Барбасову, какъ и всякому человѣку, быстро забирающемуся все выше и выше, выходящему изъ общаго уровня, начинали завидовать очень многіе. Но чему завидовали? Завидовали его успѣхамъ, удачѣ, огромнымъ деньгамъ, имъ получаемымъ, завидовали его роскошной, хотя и совсѣмъ мѣщанской обстановкѣ, которая, однако, казалась завистникамъ верхомъ элегантности и шика, завидовали его новымъ экипажамъ и лошадямъ, его успѣхамъ среди разныхъ Ньютокъ...

А между тѣмъ у него было нѣчто такое, что даже никто и не замѣчалъ, но чему можно было позавидовать. Эта принадлежность Барбасова было — счастье, внутреннее счастье, довольство своей жизнью. Довольство и счастье лежали главнымъ образомъ даже не въ его удачахъ, а въ немъ самомъ, въ его характерѣ. Да, его можно было назвать счастливымъ человѣкомъ, и самъ онъ считалъ себя такимъ.

Когда кто-нибудь случайно спрашивалъ объ его дѣтствѣ, о родителяхъ, — онъ обыкновенно отвѣчалъ, что «мать умерла

въ младенчествѣ, а отца совсѣмъ не было», дѣлалъ грустно-комичную мину и перемѣнялъ разговоръ. Матери своей онъ дѣйствительно не помнилъ: она умерла, когда ему было года два. Онъ остался единственнымъ ребенкомъ, единственнымъ изъ двѣнадцати, одинъ за другимъ умершихъ, послѣднимъ, на рукахъ у бѣднаго, забитаго деревенскаго дьякона, человѣка добраго и благочестиваго, но сильно запивавшаго и окончившаго дни свои, когда мальчику было всего девять лѣтъ. Изъ нищеты, изъ чисто крестьянскаго быта, маленькій замарашка попалъ въ барскія хоромы. Добрая барыня пригрѣла и обласкала его, обучила грамотѣ, затѣмъ свезла въ Москву, отдала въ дорогой пансіонъ, помѣстила его въ своемъ духовномъ завѣщаніи въ пятнадцать тысячахъ рублей и рѣшила такъ:

«Изъ мальчика прокъ будетъ, шустрый, бойкій мальчишка, на все понятливый. Можетъ, и проститъ мнѣ Богъ грѣхи мои за это доброе дѣло...»

Мальчикъ оправдалъ ожиданія благотѣльницы. Учился онъ хорошо, въ пансіонѣ жилось ему въ полное удовольствіе. То, что поражало, терзало и мучило другихъ дѣтей, иначе воспитанныхъ дома, — того онъ даже не замѣчалъ. Годъ жизни въ барскихъ хорамахъ не изгладилъ изъ его памяти прежнихъ впечатлѣній и привычекъ нисколько; пансіонская пища, въ сущности очень плохая, не была ему противна. Онъ ѣлъ все и съ аппетитомъ. Благотѣльница, пріѣзжавшая въ Москву разъ въ годъ, съ каждымъ новымъ пріѣздомъ оказывалась болѣе и болѣе довольной своимъ воспитанникомъ. Только глядя на его неуклюжую фигуру и ужъ очень некрасивое, особенно въ отроческомъ возрастѣ, лицо, да торчащіе волосы, она про себя приговаривала:

«Дурнышка, совсѣмъ дурнышка! Ну, да что-жъ, не дѣвица и не всѣмъ-же быть красивыми... Дурнота для мужчины не счастье...»

Пансіонъ принесъ Ленюшкѣ, какъ называла его благотѣльница, несомнѣнную пользу. Онъ, самъ того не замѣчая, мало-по-малу совсѣмъ позабылъ свою прежнюю сферу, изъ которой былъ навсегда вырванъ. Онъ не сдѣлался изящнымъ, ибо это было совсѣмъ противно его натурѣ, но все-же пріучился, когда нужно, казаться благовоспитаннымъ. Онъ говорилъ по-французски и по-нѣмецки не хуже другихъ. Товарищи его вообще любили и, по мѣрѣ того какъ онъ вырасталъ, онъ превращался въ такъ называемаго славнаго малаго, а главное, въ немъ развились увѣренность въ себѣ, апломбъ.

Онъ всегда чувствовалъ подъ собою твердую почву и шелъ прямо и рѣшительно. Чувствительности и нѣжности въ немъ никакой не замѣчалось. Онъ никогда не выдавалъ товарищей и

всегда готовъ былъ постоять за нихъ, однако, при этомъ старался не повредить себѣ. Горланъ и краснобай, онъ многихъ увлекалъ за собою, былъ во главѣ всякихъ шалостей, очень часто совсѣмъ непозволительныхъ, но, обладая, такъ сказать, организаторскимъ талантомъ, почти всегда такъ устраивалъ, что все оставалось шито и крыто.

Развращенъ онъ былъ ужасно, хотя, конечно, эта развращенность сидѣла главнымъ образомъ пока еще только въ воображеніи. Цинизмъ его доходилъ до отвратительности. Онъ кончилъ наконецъ тѣмъ, что иначе не могъ говорить какъ непристойными словами, сопровождаемыми бранью. Не разъ онъ попадался и претерпѣлъ всѣ пансіонскія наказанія. Но это нисколько не исправило—напротивъ, онъ дошелъ до виртуозности въ выдумываніи всякихъ невѣроятныхъ нелѣпыхъ словесныхъ гадостей, и кончилось тѣмъ, что его языкъ и лексиконъ вошли въ моду въ пансіонѣ. Такимъ образомъ, модный московскій пансіонъ сдѣлался истиннымъ разсадникомъ сквернословія.

Окончивъ пансіонскій курсъ и поступивъ въ университетъ, Барбасовъ сталъ нѣсколько придерживать языкъ свой и вообще мало-по-малу выравнивался. Студенческіе годы были для него сплошнымъ весельемъ. Здоровье и постоянно хорошее настроеніе духа давали ему возможность послѣ пирушки и цѣлаго дня непробуднаго пьянства сразу очнуться, облитъ холодной водой и приняться за работу. Онъ былъ на хорошемъ счету у профессоровъ, и даже одинъ изъ нихъ предложилъ ему остаться при университетѣ. Но онъ отказался. Онъ спѣшилъ скорѣе къ практической дѣятельности, къ наживанью денегъ.

И вотъ теперь, къ тридцати годамъ, онъ достигъ всего, и ему еще лучше живется, чѣмъ когда-либо, у него все есть и все ему доступно. Онъ захотѣлъ бывать въ обществѣ и кончилъ тѣмъ, что его дѣйствительно можно было видѣть въ лучшихъ гостиныхъ. Присутствіе его въ нихъ могло смущать Софью Сергѣевну; но такихъ, какъ она, было немного—въ обществѣ ужъ приучились таить про себя свои истинные взгляды и понятія изъ боязни прослыть за «отсталыхъ», за «ретроградовъ». Слово «либерализмъ», хоть часто и съ совсѣмъ неожиданнымъ значеніемъ, ему придаваемымъ, было у всѣхъ на языкѣ.

Конечно Барбасовъ все-же прошелъ черезъ нѣкоторыя мытарства; другой-бы человѣкъ на его мѣстѣ смутился и отказался. Но онъ былъ не изъ смущающихся, онъ не обращалъ вниманія на «мелочи». Обидѣть его было трудно. У него было, конечно, своего рода самолюбіе и чувство собственнаго достоинства, но они всегда находились въ его распоряженіи и онъ умѣлъ управлять ими, смотря по обстоятельствамъ. Встрѣчаясь съ пренебре-

жительнымъ взглядомъ, съ почти презрительнымъ къ себѣ отношеніемъ, онъ не подавалъ виду, что замѣчаетъ это, и спокойно говорилъ себѣ:

«Ничего, это измѣнится».

И дѣйствительно, это измѣнялось. Онъ протирался всюду; гдѣ его не замѣчали сначала, тамъ начали замѣчать. Онъ побѣдилъ даже препятствія, поставленныя передъ нимъ самой природой, то-есть свою неуклюжую фигуру и некрасивое лицо.

Про него говорили:

— Да, Барбасовъ... конечно онъ уродъ, но, знаете, у него такое умное лицо, онъ человѣкъ интересный и талантливый.

Разумѣется, онъ былъ по-своему и талантливъ и уменъ, говорилъ хорошо, хотя и плевался, писалъ не хуже, хотя и злоупотреблялъ общими мѣстами. Въ газетахъ, какъ московскихъ, такъ и петербургскихъ, время отъ времени онъ печаталъ статьи по разнымъ юридическимъ и общественнымъ вопросамъ, обращавшія на себя вниманіе. Конечно, если-бы сдѣлать изъ этихъ статей сборникъ и читать ихъ одну за другою, то сразу бросилось-бы въ глаза, что авторъ, краснорѣчивый и, повидимому, доказательный, противорѣчитъ себѣ на каждомъ шагу... Онъ способенъ былъ сегодня горячо защищать тотъ самый взглядъ, на который нападалъ вчера, да и не разъ это дѣлалъ. Убѣжденій у него никакихъ не было. Онъ сознавалъ это и находилъ, что такъ лучше.

«На каждый предметъ,—говорилъ онъ:—непремѣнно есть нѣсколько точекъ зрѣнія. Каждая изъ нихъ можетъ быть и вѣрна, и не вѣрна. Съ каждой точки зрѣнія можно извѣстную вещь и защищать, и обвинять...»

Не имѣя опредѣленнаго міросозерцанія, онъ ничего, однако, безусловно не отвергалъ. Вѣры въ немъ, само собою, никакой, не было, но онъ не хвалился своимъ невѣріемъ. Одинъ разъ: когда зашелъ разговоръ о религіи и Богѣ, онъ серьезно сказалъ

«Богъ! Что-жъ, очень можетъ быть, очень даже можетъ быть, что онъ и существуетъ, но только до меня это не касается. Это не входитъ въ предѣлы моей дѣятельности. А дѣятельность каждаго человѣка должна быть непремѣнно ограждена извѣстнымъ предѣломъ. Только не выходя изъ рѣзко очерченной рамки и можно дѣйствовать успѣшно,—въ противномъ случаѣ разбросашься, расплывешься, и въ результатѣ выйдетъ нуль, а, пожалуй, и хуже того—минусъ...»

Для него это было ясно и, какъ онъ выражался, «математически вѣрно».

Такой-то человѣкъ начиналъ теперь обдумывать смѣлый планъ относительно Марьи Сергѣевны Горбатовой.

«Да, возможно!—рѣшилъ онъ. — Лѣтъ двадцать, даже десять тому назадъ былъ-бы еще, пожалуй, другой разговоръ, а теперь нашъ братъ смѣльчакъ выбирай себѣ любое: что полюбишь—все возьмешь. Совсѣмъ перемѣшались шашки; теперь безъ драмы, безъ романа, безъ борьбы съ гордой родней можно все обдѣлать, только присмотрѣться надо хорошенько и сообразить всѣ уступки, какихъ потребуетъ благоразуміе... Что-жъ, въ крайнемъ случаѣ я адвокатуру по боку, за новую дѣятельность примусь—и не оплошаю. Прожить можно...»

Онъ очень хорошо зналъ, что, кромѣ отцовскаго наслѣдства, Марья Сергѣевна, по завѣщанію дѣда, получаетъ полмилліона. У него у самого былъ уже отложенъ изрядный капиталъ и потомъ, со дня на день, онъ ожидалъ огромнаго выигрыша на биржѣ. Онъ и биржевыми дѣлами занимался, и тутъ у него была все та-же удача.

«Теперь только осторожно-осторожно, чтобы какъ-нибуоь не зацѣпиться!.. А Нюнютку надо немедленно сплавить... глупа, компрометантна!..»

Онъ позвонилъ и спросилъ вошедшаго лакея:

— Экипажъ возвратился?

— Такъ точно-съ, у подъѣзда.

— Скажи, чтобы откладывалъ.

«Пусть она меня ждетъ, пусть побѣсится, авось это подѣйствуетъ...»

Онъ зажегъ свѣчи, подсѣлъ къ письменному столу и сталъ разбираться въ своихъ бумагахъ.

XV.

Послѣ Барбасова.

По уходѣ Барбасова, въ гостиной Горбатовыхъ на нѣкоторое время воцарилось молчаніе.

Клавдія Николаевна сидѣла, опустивъ руки, склонивъ голову.

«Non, décidément, je suis au bout de mes forces!»—думала она и возвращалась все къ однимъ и тѣмъ-же, одолѣвающимъ ее теперь, безнадежнымъ вопросамъ.

Конечно, и при жизни Бориса Сергѣевича было то-же, тѣ-же дразги, тѣ-же мелочи, несогласія, такъ-же трудно было ладить съ Кокушкой и Софи, тѣ-же заботы обо всѣхъ... Но Борисъ Сергѣевичъ былъ тутъ, его никогда не было слышно въ домѣ, а между тѣмъ въ немъ заключалась для нея большая опора. Онъ всегда все умѣлъ уладить, все сгладить, его тихое вліяніе сказывалось не только на Кокушкѣ, но даже и на Софи.

Теперь-же вотъ они чувствуютъ, что уже нѣтъ никакихъ сдержекъ, они на своей волѣ. Она убѣдилась въ послѣднее время, что со смерти старика на нее не обращаютъ никакого вниманія.

Софи уже не разъ ее обижала, просто насмѣхалась надъ нею.

«Что-же это будетъ, чѣмъ-же все это кончится? Дѣлала для нихъ, что могла, а теперь ужъ ничего не могу... ничего!..»

И она еще ниже склоняла голову и еще мертвеннѣе опускались ея прозрачныя руки.

Софья Сергѣевна еще не пришла въ себя отъ выходки Кокушки и измѣряла комнату быстрыми, нервными шагами. Лицо у нея было блѣдное, злое; тонкія ноздри раздувались. Она казалась теперь совсѣмъ поблекшей, даже почти некрасивой.

Владиміръ разсѣяннo разглядывалъ на столѣ альбомы и, по-видимому, мысленно былъ гдѣ-то далеко.

Одна Марья Сергѣевна продолжала находиться въ хорошемъ настроеніи духа. Ея рознь съ сестрою въ послѣдніе годы перешла даже въ очевидное недрожелюбіе, поддерживавшееся тѣмъ, что онѣ неизбѣжно и невольно должны были жить вмѣстѣ. Такимъ образомъ, она вовсе не приняла къ сердцу выходку Кокушки и даже сейчасъ объ ней забыла. Она глядѣла въ окно, выходившее въ садъ, весь залитый свѣтомъ солнца, пожелтѣвшій, полуоблѣтѣвшій, но очень красивый въ этомъ осеннемъ освѣщеніи. Ей хотѣлось воздуха, движенія. Жизнь и здоровье били ключемъ, блестѣли въ ея сѣрыхъ глазахъ, заливали ея щеки румянцемъ, высоко поднимали ея грудь.

— Боже мой, какой день сегодня! — сказала она. — Хоть-бы прокатиться немного передъ обѣдомъ... Софи, не хочешь-ли?

— Ну, ужъ избавь! — отозвалась Софья Сергѣевна.

— Я съ удовольствіемъ проѣдусь съ тобою, Маша, — сказалъ Владиміръ.

— Вотъ и отлично! Позвони, пожалуйста, и вели заложить маленькую коляску. Только который - же теперь часъ? Пятый! Ma tante, вѣдь, вы насъ подождете немного съ обѣдомъ?

— Однако-же, это невыносимо! Мнѣ ужъ и теперь ѣсть хочется! — вдругъ воскликнула Софья Сергѣевна. — Я кончу тѣмъ, что сама буду заказывать себѣ и завтракъ, и обѣдъ, и буду ѣсть въ своей комнатѣ...

Марья Сергѣевна засмѣялась.

— Въ кои-то вѣки попросила немного позднѣе обѣдать... А тебя вѣчно Богъ знаетъ до какого часа ждать приходится... Ну, хорошо, мы не поѣдемъ, Володя, если Софи такъ ѣсть захотѣлось, а поѣдемъ сейчасъ послѣ обѣда въ паркъ — согласенъ?

— Я на все согласенъ, душа моя! — отвѣчалъ Владиміръ, продолжая перелистывать альбомы.

— Гдѣ ты былъ сегодня и откуда досталъ Барбасова?—говорила Марья Сергѣевна подходя къ брату и обнимая его за шею.

Онъ поднялъ голову, взглянулъ на нее и даже удивился, будто въ первый разъ замѣтивъ, какая Маша вышла хорошая и какъ она на него ласково смотритъ. Онъ улыбнулся ей.

— Я встрѣтилъ Барбасова у Груни,—сказалъ онъ.

— У Груни? Какой Груни?.. Ахъ, да!.. Груня... знаменитая...

— Поджигательница,—договорила Софья Сергѣевна.

— Нѣтъ, не поджигательница, а актриса, пѣвица, артистка, о которой говорили во всѣхъ газетахъ, которая производила фуроръ и въ Италиі, и въ Лондонѣ, и въ Вѣнѣ, и въ Берлинѣ!—высчитывала Марья Сергѣевна.—Такъ ты былъ у нея? Это очень хорошо... Какая она? Расскажи. Я видѣла ея портретъ, онъ у меня даже и теперь гдѣ-то. Она красавица, правда это?

— Красавица... да,—сказалъ Владиміръ.

— Гдѣ-же она остановилась, въ какой гостиницѣ?

— Она живетъ теперь у Кодрата Кузьмича, въ его домикѣ.

— Неужели!—воскликнула Марья Сергѣевна.—Это мнѣ очень нравится. Знаешь, я непременно хочу познакомиться съ нею... и ты мнѣ поможешь въ этомъ.

— Съ удовольствіемъ!

— Только этого и недоставало!—съ сердцемъ воскликнула Софья Сергѣевна.—Самое лучшее, совѣтую пригласить ее сюда, задать въ честь ея обѣдъ...

— Такъ бы и слѣдовало, конечно,—отозвалась Марья Сергѣевна: —но я не хочу подвергать ее обидамъ, безъ которыхъ не обойдется.

Софья Сергѣевна остановилась передъ сестрой и заговорила:

— Ты, положительно, съ ума сходишь, Мари! Я уже давно замѣчаю, что ты не то черзчуръ оригинальничаешь, не то просто въ какую-то нигилистку превращаешься; но вѣдь, всему же есть мѣра... или ты шутишь?

— Нисколько!

— Какъ? Ты находишь для себя возможнымъ знакомиться съ этой особой?... Да подумай—кто она! Вѣдь, это наша бывшая дворовая дѣвчонка, отвратительная дѣвчонка, которая сожгла нашъ домъ... чуть не была убійцей бабушки!..

— Ну, Соня,—сказалъ Владиміръ:—я повторю твои слова: всему есть мѣра... Какъ тебѣ не стыдно говорить это? Нельзя вспоминать про тотъ пожаръ; вѣдь, мы знаемъ какъ все было: измученный ребенокъ потерялъ голову... Да что - же повторять? Вѣдь, мы всѣ знаемъ...

— И наконецъ, вся эта исторія показывала,—перебила его Марья Сергѣевна:—что эта Груня—необыкновенная... такъ оно и вышло.

— Во всякомъ случаѣ, теперь нѣтъ ужъ нашей дворовой дѣвочки,—продолжалъ Владиміръ:—а есть извѣстная пѣвица и артистка, которой никому не можетъ быть стыдно протянуть руку...

— И ты... тоже!—презрительно усмѣхнулась Софья Сергѣевна. — Ну да что ты... это понятно, у васъ, у мужчинъ, на это свои взгляды... Для тебя она—красивая женщина—и только... Фу, какая все это грязь, какая гадость!

— Софи, да за что-же ты такъ?—простонала Клавдія Николаевна.—Вѣдь, ничего дурного объ этой особѣ не было никогда слышно. Дѣдушка заботился о ней, быть къ ней очень расположенъ...

— Еще - бы! Цѣлыхъ пятьдесятъ тысячъ ей оставилъ, какъ будто нельзя было найти лучшее назначеніе для этихъ денегъ...

Но она остановилась и уже спокойнѣе прибавила:

— Это было его желаніе, и оно свято... и мнѣ все равно, только знайте, что если эта особа появится у насъ въ домѣ, въ тотъ-же день я уѣзжаю!

— Вѣроятно, она и сама не захочетъ быть у насъ,—спокойно сказала Маша.—Вотъ что, Володя, мы послѣ обѣда поѣдемъ не въ паркъ, а къ Прыгунову. Я непременно, сегодня же, хочу видѣть Груню...

— Ma tante, и вы это допустите?—спросила Софья Сергѣевна.

— Какъ-же я могу не допустить?

Клавдія Николаевна, не договоривъ, замолчала и закрыла лицо руками.

— Да... такъ ты, Барбасова засталъ у нея,—снова обратилась къ брату Маша.—Онъ очень умный человѣкъ, этотъ Барбасовъ. Я всегда съ удовольствіемъ говорю съ нимъ.

— Ахъ, Боже мой, такъ значитъ этотъ неприличный уродъ сдѣлается нашимъ *habitué*?

Теперь сестры стояли другъ передъ другомъ. Старшая сердилась все больше, младшая дѣлалась веселѣе и веселѣе.

— Неприличій я въ немъ не замѣчала. А уродство—онъ некрасивъ, но его лицо вовсе не противно. Онъ мнѣ даже просто нравится. Если-бы ты видѣла его въ судѣ, когда онъ защищаетъ,—это совсѣмъ другой человѣкъ!.. Онъ завладѣваетъ всеобщимъ вниманіемъ... преобразается.

— Я объ этомъ не могу судить: въ судахъ, славу Богу, никогда не бывала, ты, кажется, знаешь это. Это только ты по разнымъ судамъ, да по лекціямъ... Я удивляюсь, какъ ты до сихъ поръ не поступила на эти «вышіе женскіе курсы...»

— Очень сожалѣю, что не могу поступить, потому что плохо подготовлена, а учиться теперь—лѣнь.

— Знаешь-ли что, Маша, я бы тебѣ совѣтовала за Барбасова

выйти замужь!.. Впрочемъ, можетъ быть, ты сама ужъ объ этомъ подумываешь, и я только отгадала твою мысль?

Марья Сергѣевна засмѣялась.

— Ну, за Барбасова замужъ я не выйду, только ничего такого обиднаго въ твоихъ словахъ нѣтъ, и если ужъ говорить о женихахъ, то я никакой разницы не вижу между Барбасовымъ и другими господами, съ которыми намъ постоянно приходится встрѣчаться... Впрочемъ, нѣтъ, разница есть. Всѣ эти наши маменькины сынки, эти господа изъ общества, въ большинствѣ случаевъ довольно пошловаты и не умны, а Барбасовъ и уменъ, и извѣстенъ. Что онъ дурень, такъ развѣ, ну, вотъ напримѣръ, князь Заруцкій, или хотъ Сабанѣевъ, красивѣе его? Въ тысячу разъ хуже, на нихъ смотрѣть противно. *Mésalliance*?—Такъ, вѣдь, теперь это слово—звукъ пустой. Наши князья и графы женятся на вчерашнихъ крестьянкахъ или жидовкахъ, папаши которыхъ разбогатѣли, и это не считается *mésalliance*’омъ. Да и наконецъ, вѣдь, вотъ твоя же пріятельница, Ольга, княжна Радомская, ужъ на что, кажется, старое и знатное имя, и состояніе, а вышла же замужъ за этого нѣмчика, Штурма... Кто-же онъ? Сынь на-стройщика и тапера, *petit employé* дворцоваго вѣдомства... Вѣдь, всѣ знаютъ его отца; въ домѣ у князя Николая Ивановича рояль настраиwалъ, и добрѣйшій князь сына его у себя въ конторѣ и пристроилъ, а вотъ теперь и въ родствѣ съ нимъ оказался черезъ Радомскихъ. Такъ, вѣдь, Ольгу же и ея мужа принимаютъ вездѣ, à bras ouverts, и даже ты отъ нея не отворачиваешься...

— Il y a là une différence!.. Это было несчастье, безуміе со стороны этой сумасшедшей Ольги... *mais on a tout arrangé*,—проговорила Софья Сергѣевна.

Владиміръ засмѣялся.

— Не спорь, Маша, не спорь,—сказалъ онъ.—Софи права: il y a là une grande difference!.. Вѣдь, вотъ... вотъ,—онъ вынулъ изъ мраморной вазы, стоявшей на столѣ, визитную карточку:—вотъ онъ: «Эрнстъ Карловичъ фонъ-Штурмъ»—видишь, видишь—«фонъ!»,—однимъ словомъ, совершенно прилично. Черезъ нѣсколько лѣтъ этотъ господинъ займетъ видное служебное положеніе и на его карточкахъ будетъ: «баронъ фонъ-Штурмъ», съ присоединеніемъ крупнаго придворнаго званія. Онъ мало-по-малу превратится въ сановника, будетъ говорить: «мы, русская аристократія» и его будутъ слушать безъ всякаго удивленія... Все это въ порядкѣ вещей, такъ у насъ водится со временъ Петра Великаго, со временъ его корабельныхъ минъ-геровъ...

— Правда, правда!—разсмѣялась Маша.

— Конечно, правда! А потому съ Соней не спорь!..

— Вотъ, вотъ те-те...перъ попробуй отнѣкиваться!—раздался

пронзительный голосъ Кокушки и онъ влетѣлъ въ гостиную, высоко держа въ одной рукѣ стклянку съ *lait de beauté*, а въ другой какую-то коробочку.

— Ты у меня роешься, а я у тебя... И вотъ п... п... правду же я скажалъ... мажешьша, мажешьша!..

Онъ подбѣжалъ къ Софѣ Сергѣевнѣ.

— Бѣлила... ру-румяна!.. что? Что... те-те-перь скажешь?

Софья Сергѣевна какъ тигрица кинулась на него, выхватила у него изъ рукъ сткляночку и коробочку, взвизгнула не своимъ голосомъ и упала въ кресло. Даже Клавдія Николаевна поднялась съ мѣста и стояла, не зная что ей дѣлать, въ сознаніи своей полной безпомощности. Но Софья Сергѣевна сейчасъ-же и пришла въ себя.

— Конечно,—сказала она:—я больше не могу оставаться въ этомъ домѣ, съ этимъ отвратительнымъ идиотомъ, я завтра же, слышите, завтра-же уѣзжаю въ Петербургъ!..

— Вотъ и пре-пре-крашно, вотъ и отлично!—съ наслажденіемъ выкрикивалъ Кокушка.—Только ты не надѣйся—принца не получишь, а отъ меня и въ Петербургъ не уйдешь... Я шамъ туда скоро приѣду, непременно... потому что до но-новаго года долженъ пре-предшавитьша гошударю!..

Софья Сергѣевна выбѣжала изъ комнаты. Кокушка съ насмѣшкой поглядѣлъ ей вслѣдъ и затѣмъ торжественно и спокойно, какъ будто ни въ чемъ не бывало, направился къ противоположной двери.

— Однако, вѣдь, у васъ тутъ совсѣмъ плохо!—сказалъ Владиміръ, взглянувъ на сестру.

— Конечно, плохо!—отвѣтила она.—Съ тѣхъ поръ какъ дѣдушка заболѣлъ и слегъ, все пошло хуже и хуже. Кокушка изъ рукъ выбился. Да, вѣдь, и Софи виновата... Меня онъ затрогиваетъ рѣдко, и вообще я съ нимъ умѣю справляться...

— Володя, другъ мой,—простонала Клавдія Николаевна: —самъ теперь видишь... дай-же совѣтъ, что мнѣ дѣлать, скажи, помоги!..

Онъ задумался.

— Что дѣлать? Очевидно, имъ нельзя быть вмѣстѣ: если Соня хочетъ въ Петербургъ — нечего ее удерживать, пусть уѣзжаетъ, теперь это самое лучшее. А о Кокушкѣ намъ надо подумать...

— Ради Бога, другъ мой, я замѣтила—онъ тебя побаивается; можетъ тебѣ и удастся взять его въ руки, а то, вѣдь, съ нимъ сладу никакого не будетъ.

— Успокойтесь, *ma tante*, я съ нимъ поговорю хорошенько, постараюсь—и затѣмъ увидимъ.

XVI.

Сговорились.

Послѣобѣденная поѣздка Владиміра и Маши не состоялась, такъ какъ къ обѣду пріѣхали какія-то двѣ дѣвицы, изъ которыхъ одна считалась пріятельницей Маши, и остались на весь вечеръ. Это дало возможность Владиміру переговорить съ Кокушкой.

Онъ сейчасъ-же послѣ обѣда взялъ его подъ руку и увелъ къ себѣ. Тотъ послушно за нимъ послѣдовалъ, только какъ-то робко и почти испуганно взглянулъ на него, оторопѣлъ и, запинаясь, проговорилъ:

— Что... тебѣ отъ меня н... нужно, Володя? Жачѣмъ ты ведешь меня?..

Кокушка имѣлъ способность сразу всегда чувствовать, если что-нибудь дѣлалось не даромъ, а съ какой-нибудь цѣлью.

— Я хочу поговорить съ тобою,—отвѣтилъ Владиміръ.

Тотъ замолчалъ и, придя въ кабинетъ брата, насупившись усялся на диванъ, закурилъ папиросу и сталъ усиленно грызть ногти.

— Что-жъ, ты оставишь когда-нибудь эту скверную привычку?—сказалъ Владиміръ. — Сколько разъ всѣ тебя просили, сколько разъ ты обѣщалъ. Взгляни—на что похожи твои руки! А еще въ дипломаты собираешься. Да развѣ съ обгрызанными ногтями можно быть дипломатомъ?..

Кокушка мгновенно опустилъ руку и шепнулъ, какъ малый ребенокъ:

— Не... не буду... никогда не буду...

— То-то-же, смотри... Но дѣло не въ ногтяхъ...

Владиміръ принялъ строгій видъ. Онъ зналъ какъ нужно говорить съ бѣднымъ братомъ.

— Послушай, какъ тебѣ не стыдно заводить непріятности въ домѣ, да еще при постороннихъ? Какъ тебѣ не стыдно вѣчно ссориться съ Соней?..

Кокушка не выдержалъ и закипятился.

— Нѣтъ, это не я, не я... это она, вшегда она!.. Она мнѣ всякія непріятности... а я чтò, ражвѣ я теленокъ?.. Не хочу я ей поддаваться, не хочу...

— Молчи!—не возвышая голоса, но совсѣмъ уже строго остановилъ его Владиміръ. — Я говорю съ тобою не затѣмъ, чтобы ты кричалъ, и кричать тебѣ я не позволю. Говори тихо.

Кокушка сейчасъ-же смолкъ, поднялъ было опять руку ко рту, но мигомъ ее отдернулъ.

Она меня вшегда и... и... идіотомъ наживаетъ... да, наживаетъ...—уже совсѣмъ тихо прошепталь онъ. — Развѣ это хо... хорошо?

— Нѣтъ, это очень глупо съ ея стороны... Я съ ней поговорю и думаю, что этого больше не будетъ.

— Поговори, поговори, Володя, не вели ей, она не шмѣетъ...

— Непремѣнно! Только прежде всего ты долженъ мнѣ дать слово, понимаешь, честное слово русскаго дворянина... ты понимаешь это?..

Кокушка выпрямился, лицо его приняло важное, даже гордое выраженіе.

— По... понимаю.

— Ты мнѣ долженъ дать слово, что оставишь эти глупыя и злыя выходки, перестанешь дразнить ее, какъ вотъ сегодня... со стклянками.

Ехидная и злорадная усмѣшка мелькнула на лицѣ Кокушки.

— А жачѣмъ-же она мажетъ... и ото всѣхъ шкрываетъ? А отъ ме-меня не шкрыла! Во-вотъ и не шкрыла!.. Я ужъ давно жамѣтилъ... А если мажетъ и шкрываетъ... ее ошрамить и нужно!..

Но Владиміръ тутъ-же смутилъ его самодовольное злорадство.

— А если тебя срамитъ при всѣхъ твоими маленькими грѣшками? Или у тебя ихъ нѣтъ? Ну-ка, скажи... Я не хочу распространяться, но ты, вѣдь, отлично меня понимаешь... Ну-ка; что скажешь?

Кокушка опустилъ глаза, насупилъ и засопѣлъ.

— Такъ-то вотъ, любезный другъ! Прежде чѣмъ кого-нибудь срамитъ и кому-нибудь дѣлать непріятности, надо хорошенько подумать о томъ, пріятно-ли тебѣ будетъ, если съ тобой то-же сдѣлаютъ. Сколько разъ тебѣ это повторялъ дѣвушка—вспомни... Хоть-бы ты въ память его сталъ добрѣе и благоразумнѣе!.. Ну, такъ что-жъ, даешь ты мнѣ честное слово, да не такое, какое ты уже не разъ давалъ и нарушалъ постоянно, а настоящее честное слово русскаго дворянина, что оставишь Соню въ покоѣ и вообще не будешь заводить дома исторій и непріятностей?

— Хорошо, даю! — торжественно произнесъ Кокушка.—Но шлушай, Володя, уговоръ лучше денегъ, ешли она меня одинъ разъ идіотомъ назоветъ, тогда я мое шлово беру нажадъ... нажадъ беру—и ко-ко-нчено!

— Хорошо, давай руку и поцѣлуй меня.

Братья обнялись. Что-то доброе и дѣтское скользило по лицу Кокушки, даже глаза его вдругъ потеряли свое блуждающее, бессмысленное выраженіе. Онъ хотѣлъ выдти отъ брата, но сейчасъ-же вернулся повидимому смущенный и какъ-бы нерѣшительный,

помолчать нѣсколько секундъ и, наконецъ, проговорилъ заискивающимъ голосомъ:

— Во-во-лодя, а ты исполнишь мою просьбу?

— Что такое? Если могу—съ удовольствіемъ исполню.

— По-по-моги мнѣ... уштрой, чтобы я къ новому году былъ предшавленъ гошударю!

— Хорошо, я постараюсь. Но только если ты воображаешь, что можешь представиться гошударю такимъ, каковъ ты теперь—ты очень ошибаешься. Ты такъ себя сталъ распускать, ты такъ себя дурно держишь... и потомъ эти обкусанные ногти!.. Сперва измѣнись, отстань отъ своихъ дурныхъ привычекъ, иначе-же и не мечтай, потому-что это невозможно...

Кокушка сильно задумался.

— Хорошо,—произнесъ онъ.—Володя, отчего они меня такъ терпѣть не могутъ?

— Кто... кто? Это вздоръ, веди себя какъ слѣдуетъ и увидишь, что всѣ тебя любятъ.

— Нѣтъ, Володя, нѣтъ, ты не жнаешь, ты живешь въ Петербургѣ... Дѣдушка, вотъ, да, онъ лю-лю-билъ меня, а эти всѣ... и дома и веждѣ... хотъ ешли я шовшѣмъ хорошо веду шебя, и лашковъ шю вшѣми, и не дражню никого, вше-же на меня фи-фи дѣлають.

— Что такое «фи-фи»?

— А такъ, я это ви-ви-жу, я чувствую и жнаю, что это правда... Шмѣются вшѣ надо мною... Ну и я тоже хочу шмѣяться!.. Чѣмъ они лучше меня, чѣмъ? Вотъ тебя, Володя, я люблю...

— И я тебя люблю, и буду любить еще больше, если ты сдѣлаешься благоразумнѣе и сумѣешь сдержать слово, а иначе, извини: человекъ, который не держитъ слова, надо презирать... Вѣдь, ты же понимаешь это? Вѣдь, это правда?

— Да, правда!—вздыхнулъ Кокушка.

— Володя, жнаешь-ли?—вдругъ вскрикнулъ онъ.—Я хочу жениться!

— Жениться?

— Ну-да...

— На комъ-же?

— А это шекретъ... тебѣ я шкажу — на княжнѣ Янычевой, на княжнѣ Hélène... Ты знаешь ее?

— Знаю. Развѣ она теперь въ Москвѣ?

— Въ Мошквѣ... Вѣдь хо-хо-рошенькая?

— Да.

— И партія для меня—княжна!.. А отецъ ея богатъ, онъ то-то-лько шкряга, но я его перехитрю... ме-ме-ня не проведетъ...

лудки! Я ужъ предложеніе шдѣлалъ... Какъ только нашъ трауръ кончится, та-та-къ швадьба... Только ты, пожалуйста, не болтай, а пуще вшего принцешшѣ...

— Ты опять!

Кокушка испуганно закрылъ ротъ рукою и выскочилъ изъ комнаты. Владиміръ нѣсколько минутъ сидѣлъ задумавшись.

Все это время, здѣсь въ Москвѣ, ему пришлось главнымъ образомъ посвящать дѣламъ и дѣлъ оказалось такъ много, что время шло незамѣтно. Только теперь, когда все ужъ было почти устроено, онъ сталъ хорошенько вглядываться во внутреннюю жизнь семьи, и вотъ сегодняшній день заставилъ его обратить серьезное вниманіе на сестеръ и брата. Въ особенности этотъ несчастный братъ смущалъ его.

Изъ своего съ нимъ разговора онъ увидѣлъ, что ладить съ нимъ все-же можно и что онъ это сумѣетъ. Значитъ, нужно взять это на себя, и для самого Кокушки и для другихъ нужно будетъ перевести его въ Петербургъ. Да, это неизбежно; тяжелая задача и обязанность, но онъ не можетъ отъ нея отказаться. Онъ рѣшилъ это сейчасъ, внезапно и безповоротно, какъ и всегда рѣшалъ всѣ важные вопросы.

На бредни Кокушки о княжнѣ Янычевой онъ не обратилъ вниманія. Кокушка съ восемнадцатилѣтняго возраста имѣлъ обычай дѣлать предложеніе всѣмъ барышнямъ. Въ обществѣ потѣшались надъ этимъ, устраивали смѣшныя сцены, забавлялись надъ бѣднымъ шуткомъ.

Владиміръ отыскалъ старшую сестру и передалъ ей свой разговоръ съ Кокушкой. Она сначала и слышать ничего не хотѣла, упорно повторяла, что завтра же уѣдетъ. Но затѣмъ вслушалась, сообразила и кончила тѣмъ, что съ своей стороны дала Владиміру обѣщаніе никогда не называть Кокушку идиотомъ.

— Если онъ не будетъ напоминать о себѣ, я совсѣмъ не стану его замѣчать даже,—объявила она.

Услышавъ-же рѣшеніе брата взять на себя заботы о Кокушкѣ, она сказала:

— Ну и прекрасно; только, вѣдь, не выдержишь, ты увидишь, какое это сокровище! Это съ твоей стороны идеализмъ, это все хорошія фразы, ты все еще очень юнъ, Володя.

— Не старъ, конечно... А, впрочемъ, увидимъ, заранѣе не хочу спорить. Скажи мнѣ одно: одобряешь мое рѣшеніе?

— Конечно, одобряю и даже благодарю тебя: мнѣ только этого и нужно...

Совсѣмъ иначе отнеслась ко всему этому Клавдія Николаевна. Она выслушала внимательно и молча все, что ей передалъ Владиміръ.

димиръ, затѣмъ крѣпко обняла его и онъ почувствовалъ на своемъ лицѣ ея слезы.

— Mon enfant!—говорила она умирающимъ голосомъ:—это святое дѣло и если-бы ты только зналъ какъ облегчаешь мою душу, а то ужъ я стала совсѣмъ приходить въ отчаяніе... *Vois tu, je suis tout-à-fait au bout de mes forces!*.. Дѣлала для васъ все, что могла, люблю васъ всѣхъ какъ моихъ родныхъ дѣтей... но я ужъ не человѣкъ, *je ne suis qu'un spectre, qu'un fantôme...*

И Владимиръ, крѣпко и нѣжно обнимая ее, видѣлъ, что она говоритъ правду, и ему казалось, что онъ дѣйствительно обнимаетъ призракъ, который вотъ-вотъ растаетъ въ рукахъ его.

XVII.

В л а д и м и р ъ.

Въ дѣтскіе годы Владимиръ былъ очень нервнымъ, впечатлительнымъ и чуткимъ. Какъ всѣ такія дѣти, онъ развился очень рано и ему пришлось сознательно пережить драмы, которыя происходили въ семьѣ.

Въ то время, какъ большинство его сверстниковъ жило еще чисто ребяческой жизнью, онъ уже познакомился съ многими жизненными явленіями, глубоко его поразившими и смутившими.

Все это, конечно, положило на него отпечатокъ замкнутости и сосредоточенности.

Онъ развивался и мужалъ, не входя въ общій потокъ, оставался особнякомъ со своими мечтами, идеалами, которымъ не видѣлъ воплощенія въ дѣйствительности. Онъ никогда не жаловался никому, не выказывалъ своего недовольства и, повидимому, жилъ какъ всѣ. Только искреннихъ друзей у него, попрежнему не было.

Пансіонская жизнь, постоянныя сношенія съ товарищами, подобными Барбасову, циничные разговоры и представленія при его живомъ воображеніи не могли не произвести своего дѣйствія. Онъ рано почувствовалъ влеченіе къ женщинамъ. Ему пришлось въ студенческіе годы встрѣтиться въ обществѣ съ молоденькой, очень красивой и совершенно развращенной дамочкой, которая обратила на него вниманіе. Скоро связь его съ нею стала всѣмъ извѣстна. Но связь эта продолжалась не долго. Онъ ушелъ отъ своей первой любви даже не дождавшись, чтобы его попросили объ выходѣ. Затѣмъ у него было нѣсколько еще болѣе мимолетныхъ увлеченій, но онъ остался неудовлетвореннымъ, его чувство было не тронуто, онъ ждалъ настоящей любви, которая

всего бы его охватила, наложила-бы свою печать на всю жизнь, окрасила-бы ее своимъ цвѣтомъ. Такой любви у него еще не было.

По окончаніи курса, переѣхавъ въ Петербургъ и поступивъ на службу, онъ, конечно, какъ и многіе въ его годы, подумалъ, что цѣль жизни найдена, что ему открывается серьезная и полезная дѣятельность. Но онъ очень скоро увидѣлъ, что ошибается. Это опять были тѣ-же самыя, уже знакомыя ему явленія жизни, та-же самая несправедливость и фальшь, всегда его такъ мучившія.

Онъ тотчасъ-же разглядѣлъ борьбу личныхъ интересовъ, за которою совсѣмъ пропадали и уничтожались интересы общественныя и государственныя, увидѣлъ большую и сложную шахматную игру, гдѣ каждая шашка извилистыми и заранѣе намѣченными путями пробиралась къ дамки.

Онъ очень хорошо зналъ, какъ ему слѣдовало-бы идти, чтобы, въ свою очередь, въ болѣе или менѣе скоромъ времени, попасть въ дамки. Для него это было бы во всякомъ случаѣ гораздо легче и удобнѣе, чѣмъ многимъ изъ его сверстниковъ. У него не было недостатка въ способностяхъ. Затѣмъ, хотя уже и начинало сильно вѣять по новому, но все-же его знатное имя, богатство и оставшіяся семейныя связи расчищали передъ нимъ дорогу.

Ему надо было только нравиться именно тѣмъ людямъ, которымъ слѣдовало нравиться. Но вотъ этого-то онъ и не могъ, эта-то неизбѣжная обязанность и заставляла болѣзненно натягиваться его нервы. Служебная карьера, начавшаяся при самыхъ блестящихъ предзнаменованіяхъ, сразу остановилась. Онъ не производилъ надлежащаго впечатлѣнія, начальство не было къ нему расположено, сослуживцы его не понимали.

И такимъ образомъ теперь, на двадцать шестомъ году жизни, его положеніе, какъ въ обществѣ, такъ и въ мѣстѣ его служенія, было очень неопредѣленно. Онъ ничѣмъ не выдвигался, не бросался въ глаза. Совсѣмъ не замѣчать его было нельзя и замѣчали его многіе, но мнѣнія о немъ были самыя разнорѣчивыя: иные считали его гордымъ и даже чваннымъ, другіе считали его просто глупымъ.

Самъ же онъ скучалъ все больше и больше и тщетно искалъ въ жизни цѣли, всепоглощающаго интереса. Во всякомъ случаѣ онъ видѣлъ, что для него этотъ интересъ не можетъ заключаться въ службѣ. Онъ не могъ одинъ, еще неопытный и совсѣмъ не чиновный, бороться съ цѣлой, давно установившейся системой, съ давно заведенной машиной.

Онъ не разъ порывался дѣйствовать согласно своимъ взгля-

дамъ и убѣжденіямъ, но его тотчасъ же останавливали и отстраняли, какъ человѣка невыдержаннаго, неудобнаго и непріятнаго. Онъ былъ совсѣмъ не ко двору въ томъ учрежденіи, мундиръ котораго носилъ. Учрежденіе давно потеряло свой смыслъ, только тормозило ужъ и такъ со всѣхъ концовъ заторможенную государственную машину; но въ то-же время оно считало себя, въ лицѣ каждаго изъ своихъ представителей, совершенно неизбѣжнымъ для государственнаго преуспѣянія.

Владиміру явилась было мысль перемѣнить родъ службы. Но скоро онъ убѣдился, что перемѣнить кукушку на ястреба, что всюду одно и то же, что вездѣ ему нужно будетъ не работать, а умѣть нравиться, не быть самимъ собою, а быть такимъ, какъ угодно начальству. Оставалось одно: искать такого начальства, съ которымъ бы можно было сойтись во взглядахъ. Но это было трудно, въ этомъ могъ помочь только случай, а случая такого пока не представлялось.

Вотъ въ какомъ положеніи находился Владиміръ, когда смерть дѣда заставила его взять продолжительный отпускъ, переѣхать въ Москву и серьезно заняться семейными дѣлами.

Смерть Бориса Сергѣевича окончательно выяснила всѣ ненормальности горбатовской семьи, происходившія главнымъ образомъ отъ характера и положенія старшаго ея члена—Сергѣя Владиміровича. Никогда еще Владиміру не приходилось такъ мучительно чувствовать то, что у него есть отецъ и въ то-же время его нѣтъ. Съ этимъ отцомъ онъ жилъ въ Петербургѣ въ одномъ домѣ, онъ встрѣчался съ нимъ все-же довольно часто, никогда между ними не было никакихъ непріятныхъ объясненій, напротивъ, Сергѣй Владиміровичъ всегда былъ ласковъ къ сыну. Въ послѣдніе годы къ этой ласковости примѣшивалось даже что-то въ родѣ робости.

Но между ними не было ничего общаго. Они ни разу не бесѣдовали другъ съ другомъ откровенно и чистосердечно, да имъ и говорить было не о чемъ, такъ какъ они жили въ совершенно различныхъ мірахъ.

Въ обществѣ они почти не встрѣчались. Сергѣй Владиміровичъ совсѣмъ отсталъ отъ общества, его даже въ театрѣ можно было очень рѣдко встрѣтить. Онъ проводилъ все свое время въ клубѣ и у постоянно смѣнявшихся другъ послѣ друга дамъ полусвѣта. Онъ часто уѣзжалъ за границу, въ особенности въ послѣдніе годы, когда различные недуги стали одолѣвать его.

Почти единственный разговоръ между отцомъ и сыномъ заключался въ томъ, что отецъ спрашивалъ иной разъ, зайдя къ Владиміру:

— Володя, не нужно-ли тебѣ денегъ? Ты скажи, сдѣлай милость, пожалуйста, не церемонься.

— Мнѣ вовсе не надо, папа,—обыкновенно отвѣчалъ Владиміръ, которому дѣйствительно рѣдко могли понадобится деньги, такъ какъ при всемъ готовомъ, имѣя въ своемъ распоряженіи даже экипажъ и лошадей, ему не на что было тратиться. Онъ не наслѣдовалъ отъ отца его страстей и привычекъ.

Но Сергѣй Владиміровичъ не отставалъ:

— Ну какъ тебѣ не надо,—говорилъ онъ: — конечно надо... Вотъ, возьми...

Онъ клалъ на столъ тысячу - другую, какъ-то мелькомъ, будто боясь чего-то, взглядывалъ на сына и уходилъ. Это случилось обыкновенно при всякомъ его новомъ займѣ. Иной разъ онъ и такъ заходилъ къ сыну, если нѣсколько дней не видалъ его. Ему вдругъ начинало хотѣться его обнять, приласкать. Но онъ почему-то не рѣшался и, спросивъ, здоровъ-ли онъ и нѣтъ-ли чего новаго, уходилъ, волоча ногу и бормоча себѣ подъ носъ:

— Охо-хо! грѣхи наши тяжкіе!

Онъ спѣшилъ вонъ изъ дому, въ то болото, куда его уже окончательно и безнадежно затянуло...

Владиміръ любилъ отца, то-есть жалѣлъ его. Но это было такое мучительное, тоскливое чувство, что онъ всегда старался даже не думать объ этомъ. Теперь Сергѣй Владиміровичъ, послѣ смерти дяди, не остался въ Москвѣ. Онъ говорилъ, что совсѣмъ боленъ и долженъ спѣшить за границу, на югъ. Всѣ дѣла онъ поручилъ Владиміру, оставивъ ему полную довѣренность.

Благодаря этой довѣренности, Владиміръ уже могъ нѣсколько ознакомиться съ дѣлами отца и пришелъ въ ужасъ отъ ежедневно почти открываемыхъ огромныхъ его долговъ. Онъ написалъ отцу за границу, прося у него точныхъ и подробныхъ указаній. Давно можно было получить отвѣтъ, но Сергѣй Владиміровичъ ничего не писалъ.

Прыгуновъ выставлялъ положеніе въ очень мрачномъ видѣ; Владиміръ если еще и не окончательно убѣдился, то начиналъ подозрѣвать истину, то-есть, что отъ громаднаго горбатовскаго состоянія у него съ братомъ и сестрами останется очень немного. Все это не могло не волновать его и не тревожить.

Но вотъ внезапно его тревоги и волненія почти совсѣмъ забылись. Не давая самъ себѣ отчета, онъ думалъ теперь только объ одной Грунѣ.

Какъ-же это такъ случилось? Почему это до сихъ поръ для него не существовала Груня? Вѣдь, онъ ее никогда не забывалъ; вѣдь, если-бы она была такъ нужна ему, онъ могъ-бы, конечно, добиться встрѣчи съ нею или здѣсь, въ Москвѣ, или за границей. Отчего-же до сихъ поръ онъ не искалъ этой встрѣчи, и зачѣмъ-же она произошла именно теперь, и что она значитъ? Что изъ нея выйдетъ?

Никогда еще ни одна женщина не производила на него такого впечатлѣнія, какое произвела Груня. Онъ вспомнилъ свой разговоръ съ Барбасовымъ и невольно долженъ былъ сказать себѣ, что этотъ циникъ правъ, что ихъ встрѣча не можетъ окончиться такъ, безъ всякихъ послѣдствій...

Что-же будетъ? Какія послѣдствія? Онъ этого еще и не представлялъ себѣ, но его уже охватило чувство ревности. Онъ съ мукой и тоской думалъ о прошломъ Груни и ему опять казалось, что Барбасовъ правъ, что иначе быть не можетъ... Такъ зачѣмъ-же онъ допустилъ это прошлое, зачѣмъ онъ не искалъ раньше съ нею встрѣчи? Можетъ быть, еслибы онъ встрѣтился съ нею года три-четыре тому назадъ, было-бы совсѣмъ другое. Но можетъ быть и тогда уже было поздно.

«Да что поздно, что?—раздражительно останавливалъ онъ себя.—Какое-же право имѣю я такъ думать? Что я знаю? Вѣдь, она мнѣ ничего не сказала... Почему-же въ ея прошломъ непременно должно быть что-нибудь такое?.. Почему непременно должно быть?»

И все это его волновало, такъ волновало, что онъ провелъ очень дурную ночь, а едва проснулся, его такъ и потянуло туда къ Зачатіевскому монастырю, въ маленькій домикъ.

Но, вѣдь, нельзя-же было такъ сразу туда забираться съ раннего утра, да и дѣлъ было много дома. Онъ заставилъ себя работать до завтрака, разбираясь въ бумагахъ, провѣряя счета. Потомъ обрадовался, что нашелъ предлогъ для свиданія съ Прыгуновымъ, и поѣхалъ.

XVIII.

Да или нѣтъ?

Кодрата Кузьмича не было дома. Настасьюшка объяснила, что онъ вотъ-вотъ только сейчасъ вышелъ «и пяти минуточекъ не будетъ».

— Когда-же онъ вернется, скоро?—спрашивалъ Владиміръ.— Мнѣ его непременно надо видѣть.

— А этого я не могу сказать вамъ, сударь, да надо полагать такъ, что Кодратъ Кузьмичъ къ вамъ и поѣхали.

Въ такомъ случаѣ, еслибы ужъ такая была надобность, Владиміру слѣдовало немедленно сѣсть въ свой экипажъ и пуститься въ погоню за Прыгуновымъ. Но онъ этого не сдѣлалъ, а спросилъ, дома-ли Груня.

Она была дома. Она вышла къ нему съ лицомъ очень серьезнымъ и немного блѣднымъ, будто послѣ дурно проведенной ночи.

Она улыбнулась ему и крѣпко сжала его руку. И почувствовать это пожатіе, онъ одновременно почувствовалъ, что, конечно, онъ теперь никуда не уйдетъ отъ этой Груни, не уйдетъ, если-бы и хотѣлъ, а главное, что онъ никуда и не хочетъ уходить отъ нея.

Онъ жадно отдавался ея обаянію, какого еще не испытывалъ никогда въ жизни. Его охватило горячее, новое чувство и въ то-же время съ каждой минутой сильнѣе и сильнѣе поднималась въ немъ тревога. Онъ жадно вглядывался въ Груню, въ ея глаза, слѣдилъ за малѣйшимъ ея движеніемъ, будто думалъ найти въ ея глазахъ, въ ея движеніяхъ разрѣшеніе мучившаго его вопроса.

Они вышли было въ садикъ, но солнце спряталось за тучи, и поднявшійся холодный вѣтеръ очевидно готовилъ осеннее ненастье. Онъ ничего этого не замѣчалъ. Но Груня сказала:

— Какъ холодно! У меня какъ-будто лихорадка. Пойдемте въ комнаты...

Они вернулись въ домикъ, въ маленькую бѣдную гостиную, еще болѣе унылую и непривѣтную со времени смерти хозяйки.

— Я дурно спала эту ночь,—сказала Груня:—и право, кажется, у меня лихорадка... Посмотрите...

Она протянула ему руку. Рука была совсѣмъ горячая. Онъ долго не выпускалъ ее и ему почти хотѣлось плакать, такъ больно и тоскливо сжималось его сердце.

— Ну, да это пустяки!—вдругъ какъ-бы очнувшись, освободивъ свою руку и отодвигаясь отъ него, проговорила Груня.— У меня здоровье совсѣмъ желѣзное; другая-бы на моемъ мѣстѣ ужъ нѣсколько разъ умерла, а я все жива и здорова... Боже мой, какъ подумаешь только, какихъ глупостей я не дѣлала!.. Одинъ разъ, въ Харьковѣ, зимою, давно это было, давно... послѣ спектакля, изъ духоты, отправились мы на тройкахъ... Я въ тоненькихъ ботинкахъ... Дорогой сани на бокъ—я упала въ снѣгъ, а снѣгъ былъ рыхлый, мокрый. Потомъ справились, поѣхали дальше, вернулись домой только подъ утро, а у меня все время ноги мокрыя и заледенѣвшія—и, вѣдь, ничего! На другой день только немножко горло поболѣло, да къ вечеру-же и прошло... А потомъ одинъ разъ за-границей...

И она стала рассказывать, мало-по-малу оживляясь, о различныхъ своихъ приключеніяхъ, приключеніяхъ смѣшныхъ и забавныхъ...

Она рассказывала живо, представляя все въ лицахъ. Слушая ее, сразу-же приходилось перенестись на мѣсто дѣйствія и ясно видѣть все, что она передавала. Если-бы не она это рассказывала, Владиміръ, конечно, заинтересовался-бы и отъ души бы

смѣялся. Онъ былъ и теперь заинтересованъ, но ему было не до смѣха.

Изъ ея разсказовъ передъ нимъ выяснилась вся ея скитальческая жизнь, пестрая, беспорядочная, незнающая стѣсненій, однимъ словомъ, жизнь артистки, которая не думаетъ и не заботится о томъ, что прилично и что неприлично, о томъ, что о ней скажутъ...

Въ ея разсказахъ то и дѣло мелькали тѣни какихъ-то мужчинъ, какихъ-то бароновъ, графовъ, банкировъ... Всѣ они были смѣшны, забавны, противны... Она дѣлала изъ нихъ карикатурныя фигурки, потѣшалась надъ ними, но все-же они были неизмѣнно тутъ, неизмѣнно ее окружали, безъ нихъ ничего не обходилось, въ нихъ заключалась почти вся суть этой воспоминаемой ею жизни.

Но вотъ среди этихъ карикатурныхъ фантошей мелькнула тѣнь какого-то знатнаго иностранца, и Владиміръ весь превратился во вниманіе, и сердце его сжималось все больше. Эта мелькнувшая тѣнь не исчезла, напротивъ, она мало-по-малу превращалась въ живомъ разсказѣ Груни во что-то особенное, совсѣмъ отдѣльное отъ остального пестраго калейдоскопа. У Груни разгорѣлись глаза. Она говорила:

— Ну, и, вѣдь, вы понимаете, такой человѣкъ не могъ ничего имѣть общаго съ этимъ фонъ-Хабершенкомъ, съ этимъ разбогатѣвшимъ пивоваромъ, который воображалъ, что на свои деньги онъ можетъ купить все, все что захочетъ.

— Чѣмъ-же все это кончилось?—почти безсознательно прошепталъ Владиміръ, совсѣмъ вдругъ потерявъ нить ея разсказа.

— Какъ я ни уговаривала его не дѣлать глупостей, какъ я ни доказывала ему, что подобный человѣкъ не въ силахъ его оскорбить, что онъ долженъ отнестись къ нему только съ пренебреженіемъ и ничего больше, онъ не выдержалъ и вызвалъ его на дуэль... Я это сейчасъ-же узнала. Что было мнѣ дѣлать?.. Не могла-же я быть покойна — дуэль изъ-за меня. Да, я провела нѣсколько ужасныхъ часовъ. Впрочемъ, все кончилось благополучно: фонъ-Хабершенкъ оказался вдобавокъ еще и трусомъ и скрылся изъ города ночью, когда даже никакого поѣзда не было.

Владиміръ не могъ больше выдержать.

— Какую ужасную жизнь вы вели, Груня!—мрачно проговорилъ онъ.—Неужели она могла удовлетворять васъ?

Онъ взглянулъ ей прямо въ глаза.

Она вспыхнула, но выдержала его взглядъ, даже слабая улыбка скользнула по ея губамъ.

— Конечно, нѣтъ!—произнесла она.—Но, вѣдь, развѣ вообще

всякая жизнь не ужасна, развѣ вездѣ не одно и то-же? И потомъ, куда-же-бы я ушла отъ такой жизни? Она была для меня неизбежна...

Онъ понурилъ голову.

— Было-ли у васъ хоть когда-нибудь счастье?

Онъ ждалъ, чутко ждалъ, что она отвѣтитъ на это.

— Нѣтъ! — сказала она и еще разъ медленно повторила:— нѣтъ! То-есть бывали минуты, конечно, два-три раза... успѣхъ, какого я не ожидала, успѣхъ вопреки задуманной противъ меня интриги, успѣхъ полный, съ которымъ никто ничего не могъ сдѣлать... прорвавшіяся рукоплесканія всей залы, вызовы безъ конца... крики неистовые... Да, это нѣсколько разъ кружило мнѣ голову; пожалуй, что это были минуты счастья...

— Я не про то васъ спрашиваю,—перебилъ онъ ее:—я говорю о другомъ счастьи, о счастьи сердечномъ.

Она пристально на него взглянула и опять зарумянились ея щеки, а глаза такъ и загорѣлись.

— Такого счастья у меня никогда не было,—едва слышно говорила она.

Но что-же значилъ этотъ ея отвѣтъ? Почему Владиміръ вообразилъ, что отвѣтъ ея что-нибудь ему откроетъ? Вотъ она говоритъ, что никогда не было счастья... Ну и что-же — развѣ это ясно? Что это значить? Что скрывается подъ этимъ? Можетъ быть, еще хуже, что никогда не было счастья... А этотъ таинственный иностранецъ, вызвавшій изъ-за нея на дуэль? Эти часы мученій, въ которыхъ она признавалась? Для нея-же хуже, если даже и счастья не было. Хуже-ли, лучше-ли, да развѣ не все равно? Дѣло въ томъ, что это ужасно... неизбежно... А она такъ и тянетъ, такъ и манитъ къ себѣ...

И Владиміръ не отрываясь глядитъ на нее, и ея всеильная мучительная красота туманитъ ему голову. Онъ готовъ проклинать себя за всѣ эти годы, когда онъ о ней не думалъ и въ то-же время и не забывалъ ее, когда онъ жилъ день за днемъ, лѣнивый, ища какой-нибудь цѣли жизни, какого-нибудь удовлетворенія, то уходя въ несбыточные мечты, то выходя на смѣшной донъ-кихотскій бой съ вѣтряными мельницами. А она металась тамъ гдѣ-то, далеко, окруженная этими фантомами, и сама превращалась изъ дивнаго, загадочнаго существа въ размазанную фею театральнахъ подмостковъ... Ну, а если-бы онъ не пустилъ ее, если-бы онъ во время удержалъ ее; если-бы онъ былъ съ нею—что-бы тогда? Ну да, что-бы тогда было?

Этотъ вопросъ сначала робко, а потомъ съ насмѣшливымъ задоромъ, всталъ передъ нимъ и онъ не могъ на него отвѣтить. Но все-же ему казалось, что было-бы лучше, бесконечно лучше

ужь даже потому, что не было-бы этого ужаса, этого мрака и тоски, которые теперь его охватывали.

Онъ постарался встряхнуться и взглянуть на Груню спокойно.

Она его спрашивала, долго-ли онъ пробудетъ въ Москвѣ и нерѣшительно спросила объ его домашнихъ. Онъ ей отвѣтилъ и потомъ прибавилъ:

— Сестра Маша непременно хочетъ познакомиться съ вами, Груня.

— Марья Сергѣевна, со мною?—проговорила она, удивленно на него взглядывая.

— Да, и мы даже вчера вечеромъ чуть было сюда не прѣхали, только гости ей помѣшали.

— Марья Сергѣевна хочетъ знакомиться со мною?—повторила Груня—и вдругъ засмѣялась.

— Чему-же вы смѣетесь?

— Простите, сама не знаю чему... Какая-же она, Марья Сергѣевна? Я помню ее такой маленькой...

— А вотъ увидите—какая, надѣюсь, что она вамъ понравится. Мнѣ, по крайней мѣрѣ, она начинаетъ нравиться.

— Какъ начинаетъ?

— Да, вѣдь, я, особенно въ послѣдніе годы, былъ очень далекъ отъ сестеръ... Она такъ измѣнилась; я только теперь начинаю ее разглядывать, и говорю вамъ, она мнѣ очень нравится, такая простая, славная...

— Ну, а Софья Сергѣевна?—спросила Груня.

— Онѣ совсѣмъ не похожи другъ на друга.

— И ужь Софья Сергѣевна со мной знакомиться не захочетъ?

Онъ нѣсколько смутился. Но потомъ вдругъ рѣшительно сказалъ:

— Не захочетъ. Да и вы, Груня, не захотите тоже, пожалуй... лучше будетъ такъ... А съ Машей мы къ вамъ на этихъ-же дняхъ прѣйдемъ.

Они промолчали нѣсколько мгновений.

— У васъ есть вашъ хорошій портретъ? — вдругъ спросилъ онъ.

— Дать вамъ? Хорошо... я сейчасъ принесу все, что у меня есть—выбирайте...

Она пошла въ свою комнатку и вернулась съ огромнымъ роскошнымъ альбомомъ, показала ему нѣсколько своихъ фотографическихъ портретовъ, снятыхъ въ разныхъ городахъ Европы, изображавшихъ ее въ костюмахъ тѣхъ ролей, въ которыхъ она пѣла съ особеннымъ успѣхомъ. Потомъ вотъ она въ бальномъ платьѣ, съ открытой, беззастѣнчиво открытой шеей и руками. Она

хороша безукоризненно и даже художникъ-фотографъ, несмотря на все свое видимое желаніе, не могъ ее «прикрасить», онъ только стараніемъ этимъ уменьшилъ сходство. Да, она безукоризненно хороша въ каждомъ изъ этихъ костюмовъ и еще лучше въ бальномъ платьѣ... Эти руки, эти плечи...

Но Владиміръ съ отвращеніемъ думалъ о томъ, что всѣ эти портреты затасканы по всей Европѣ, что они выставлены въ магазинахъ эстамповъ на глаза толпы, что они продаются и покупаются не какъ портреты артистки, а какъ портреты красивой женщины, и что каждый покупающій ихъ оцѣниваетъ эту красоту и увѣренъ, что ее такъ-же можно покупать, какъ и ея изображеніе. Онъ выбралъ одинъ изъ портретовъ, но не тотъ, не въ бальномъ платьѣ, и спряталъ его себѣ въ карманъ, а потомъ сталъ перелистывать страницы альбома.

— Это все они, всѣ эти, о которыхъ я говорила,—объяснила Груня.

Онъ грустно и устало разглядывалъ коллекцію мужскихъ фizioномій, молодыхъ, пожилыхъ и старыхъ, испитыхъ и жирныхъ, облысѣвшихъ, истасканныхъ, самодовольныхъ, пошлыхъ, коллекцію знакомыхъ незнакомцевъ, людей, встрѣчающихся всюду—на балахъ, въ театрахъ, на Невскомъ и на Большой Морской, на парижскихъ бульварахъ, на модныхъ купаньяхъ и водахъ... Но это кто? Прекрасное, задумчивое и выразительное лицо, породистая изящная красота, глубокой взглядъ темныхъ глазъ; простота и въ одеждѣ, и въ позѣ.

— Кто это?—спросилъ онъ.

— А это мой другъ, графъ Болонна.

— Тотъ, который пивовара на дуэль вызывалъ?

— Да. Неправда-ли, какое чудесное лицо?

Ему даже показалось, что голосъ Груни дрогнулъ. Онъ вынулъ похолодѣвшей рукой портретъ изъ альбома и прочелъ на оборотной сторонѣ его: «ricordo»....»

— Это другъ вашъ?

Его сухія губы едва слушались, когда онъ произносилъ слова эти.

— Да, другъ, я съ нимъ до сихъ поръ въ перепискѣ.

Онъ вложилъ портретъ въ альбомъ, посмотрѣлъ на часы и растерянно проговорилъ:

— Что-же это я? Вѣдь, мнѣ нужно спѣшить домой; можетъ быть, я еще застаю тамъ Кодрата Кузьмича. До свиданья, Груня!

Онъ поднялъ на нее совсѣмъ померкшіе глаза, его рука, протянутая ей, была холодна. Онъ весь будто застылъ, такъ что она съ изумленіемъ на него взглянула. И вдругъ она обожгла его такимъ взглядомъ, такой улыбкой, что у него затуманилась голова. Онъ хотѣлъ что-то сказать, но не могъ и вышелъ.

Она подняла спущенную штору окошка и прильнула къ пыльному стеклу. Она глядѣла какъ онъ вышелъ, сказалъ что-то кучеру, сѣлъ въ карету, дверцы захлопнулись, лошади тронулись...

А она все не шевелилась, все смотрѣла прямо передъ собою. Такъ прошло нѣсколько минутъ. Наконецъ, она отошла отъ окошка и остановилась посреди комнаты, опустивъ голову и руки.

Вотъ ея щеки вспыхнули румянцемъ, счастливая улыбка мелькнула на губахъ ея, потомъ все лицо померкло, она глубоко вздохнула и задумалась о чемъ-то.

Она пришла въ себя только замѣтивъ Настасьюшку, которая стояла передъ нею и ворчливо говорила:

— Что-жъ это, матушка, и нынче вы весь день со двора не выйдете?.. Засидѣлись совсѣмъ, промнитесь... Погода-то вонъ разгулялась... Право, не хорошо этакъ ни съ мѣста; этакъ можно и разболѣться...

ХІХ.

Р о л ь.

Настасьюшка прожила въ домѣ Прыгунова болѣе тридцати лѣтъ. Работала она, рукъ не покладая, съ утра до вечера. Ворчала постоянно, а въ иные дни доходила до такого состоянія, что къ ней и подступиться было невозможно. Жизнь свою она называла «каторгой», хозяйку покойную, Олимпіаду Петровну, «мумой», что должно было означать—мумія; понятіе, приобрѣтенное ею во время прохожденія сыновьями Прыгунова исторіи Египта. Самъ Кодратъ Кузьмичъ иначе не обозначался на языкѣ Настасьюшки какъ «коршунѣ» — почему — незвѣстно. Домъ назывался «рухлядью».

Но когда давно уже, давно, лѣтъ восемнадцать тому назадъ. Прыгуновы, выведенные наконецъ изъ своего безграничнаго терпѣнія грубостью вѣрной служанки, отказали ей отъ дома и она нашла себѣ другое, несравненно болѣе выгодное и спокойное мѣсто, она не выдержала и мѣсяца, вернулась и повалилась въ ноги «мумѣ» и «коршуну», чтобы тѣ опять ее къ себѣ взяли.

Когда «му́ма», доживъ, впрочемъ, лѣтъ до семидесяти, умерла, Настасьюшка оказалась неутѣшной и вотъ до сихъ поръ ее оплакивала. Въ «коршунѣ» она души не чаяла и хотя ругалась постоянно, но ходила за старикомъ, уже замѣтно дряхлѣвшимъ и все болѣе и болѣе нуждавшемся въ ея уходѣ, какъ за ребенкомъ.

Сильно любила она и дѣтей Прыгунова, «разлетѣвшихся птенчиковъ», какъ называла она ихъ въ рѣдкія минуты сердечнаго умиленія. Но настоящей ея любимицей, съ перваго дня, съ первой

минуты, была красавица Груня. И теперь Настасьюшка была хотя и безсознательно, но глубоко счастлива тѣмъ, что Груня пріютилась подъ кровлей «рухляди». Она съ восторгомъ пробиралась въ ея комнату, благоговѣйно прикасалась къ ея вещамъ, все приводила въ порядокъ. Придумывала, чтобы угостить ее, новыя кушанья, пуская въ ходъ всѣ свои способности къ изготовленію разныхъ пирожковъ и пироговъ.

Кодратъ Кузьмичъ, любившій хорошо покушать, уже сдѣлалъ справедливое замѣчаніе, что Настасьюшка никогда такъ не отличалась. Онъ только не подавалъ ей никакого вида о своемъ удовольствіи, не безъ основанія полагая, что въ такомъ случаѣ она непременно взбеленится и нарочно станетъ все портить.

Несмотря, однако, на заботу о томъ, чтобы ничто въ кухнѣ не пригорѣло и не перестояло, Настасьюшка иногда не удерживалась и покидала на минутку плиту, побуждаемая потребностью хоть однимъ глазкомъ взглянуть на Груню. Она взмывала иногда просто въ шелку и возвращалась къ плитѣ. Вмѣстѣ съ этимъ она неустанно ворчала на Груню, говорила съ ней вообще мало, а когда говорила, то своимъ неизмѣннымъ грубымъ тономъ. Она слѣдила за нею, глазъ не спуская, и удивлялась. Груня всегда была для нея загадкой.

«Ну что-жъ это такое — пріѣхала, ну хорошо; говорить, по дѣламъ пріѣхала... гдѣ-же эти дѣла?... Засѣла дома и ни съ мѣста!..»

Появленіе Барбасова ее очень смутило. Онъ ей совсѣмъ не понравился и она твердо рѣшила не подпускать больше этого «мордастаго» къ Аграфенѣ. «Покажись только! Такъ, отецъ мой, отдѣлаю, что и своихъ не узнаешь!..»

Но Барбасовъ пока не показывался, а показывался другой молодчикъ, Владиміръ Сергѣевичъ, котораго уже нельзя было не «подпустить». Между тѣмъ Настасьюшка сразу почувствовала, что тутъ начинается что-то неладное. Началось сразу, вдругъ, и съ перваго дня какъ онъ появился, она, то-есть Груня, не въ себя...

Настасьюшка слѣдила еще ревнивѣе и вдругъ замѣтила въ Грунѣ новую переменъ. Теперь Груня хотя и продолжала почти совсѣмъ не выходить изъ дому, но съ утра наряжалась, не ходила какъ въ первые дни въ «распашенкѣ». Теперь она не менѣе часа проводила передъ зеркаломъ, старательно и къ лицу причесывая свои великолѣпные черные волосы, и выходила въ маленькую гостиную такой красавицей и такой притомъ важной,—ну вотъ ровно царица, ровно настоящая царица!.. И будто ждетъ она кого-то, на часы часто смотритъ, на мѣстѣ ей не сидится. Кого ждетъ? «Его», для него наряжается!.. Зачѣмъ-же въ первые дни этого не дѣлала?.. Чудная...

Такимъ образомъ прошелъ день, другой, третій. Груня выказывала всѣ признаки нетерпѣнія, но продолжала рядиться и ждать.

Наконецъ на четвертый день, послѣ завтрака, часу въ третьемъ, передъ «рухлядю» остановилась карета. Настасьюшка, въ это время сметающая пыль въ гостиной и что-то ворчливо говорившая Грунѣ, тоскливо сидѣвшей съ книжкой въ рукахъ, замѣтила какъ Груня вдругъ вздрогнула, поднялась съ мѣста и, совсѣмъ измѣнясь въ лицѣ, взглянула въ окно. Настасьюшка взглянула тоже. Изъ кареты вышелъ Владиміръ Сергѣевичъ и не одинъ, а въ сопровожденіи высокой, полной дѣвушки.

— Горбатовская барышня, Марья Сергѣевна!—всполошившись, объявила Настасьюшка и поспѣшила отворять.

Черезъ минуту передъ Груней былъ Владиміръ съ сестрой. Владиміръ взглянулъ на Груню и остановился.

Это была не она, совсѣмъ не она. Онъ не узнавалъ ее. Вмѣсто прелестной женщины, живой, простой и естественной въ каждомъ движеніи, въ каждомъ словѣ, передъ нимъ стояла одѣтая по послѣдней модѣ, съ большимъ вкусомъ, изяществомъ и, очевидно, обдуманной во всѣхъ мельчайшихъ подробностяхъ роскошной простотой, какая-то величественная свѣтская дама. Отъ нея вѣяло холодомъ, недоступностью. И въ то-же время она была дивно хороша съ этимъ застывшимъ, будто изъ мрамора выточеннымъ лицомъ, съ великолѣпными, какъ-то жутко, но холодно мерцающими глазами.

Маша Горбатова, румяная и веселая, быстро вошедшая въ комнату со своей добродушной улыбкой, остановилась передъ нею совсѣмъ растерянная, какъ-бы въ нерѣшимости. Она даже по-дѣтски немного ротъ раскрыла отъ изумленія, невольнаго восхищенія и недовѣки, взглянувъ на эту Груню, которую представляла себѣ за минуту совсѣмъ, совсѣмъ другою.

Но Груня начала первая. Она улыбнулась гостьѣ холодной любезной улыбкой, граціозно склонила голову и проговорила:

— Марья Сергѣевна, я глубоко вамъ благодарна за ваше доброе желаніе меня видѣть и я, право, очень счастлива, что могу познакомиться съ вами.

Онѣ пожали другъ другу руку. Затѣмъ Груня, также спокойно и любезно поздоровалась съ Владиміромъ и плавнымъ движеніемъ пригласила ихъ сѣсть. Маша уже совсѣмъ покраснѣла, покраснѣли даже ея уши, даже лобъ. Она, никогда не смущавшаяся и не ходившая въ карманъ за словомъ, теперь вдругъ не знала что сказать.

Владиміръ казался тоже совсѣмъ растеряннымъ. Они оба, подѣбжая къ старому домику, думали о томъ, какъ-бы такъ

дѣлать, чтобы вывести Груню изъ смущенія, чтобы все сразу сошло хорошо. А между тѣмъ теперь изъ нихъ одна только Груня была, повидимому, нисколько не смущена. Она дѣлала видъ, что не замѣчаетъ ихъ растерянности, что не замѣчаетъ молчанія Маши. Она говорила своимъ пѣвучимъ голосомъ одну за другою незначущія, но подходящія къ обстоятельствамъ фразы. Затѣмъ вдругъ, какъ-то незамѣтно, какъ-бы невольно, перешла на французскій языкъ, будто это было ей легче. Произношеніе ея было безукоризненно, обороты фразъ изысканны и изящны.

Мало-по-малу она заставила Машу разговаривать по поводу заграничныхъ путешествій. Затѣмъ перевела разговоръ на театры, на музыку. Сдѣлала нѣсколько серьезныхъ замѣчаній, затѣмъ наконецъ, дошла до Вагнера.

— Вы, конечно, поклоняетесь этой музыкѣ будущаго, Марья Сергѣевна?—спросила она.

Маша отвѣчала:

— Какъ вамъ сказать, я еще сама не знаю; впрочемъ, во всякомъ случаѣ, я никакого энтузіазма не испытываю... конечно...

Груня ее перебила:

— Я вотъ рѣшила этотъ вопросъ: я Вагнера не понимаю. *Que voulez vous, c'est un défaut, c'est un manque de développement... que sais-je!..* но не могу-же восхищаться, потому что всѣ восхищаются... Я пробовала изучать его и никогда не могла увлечься, никогда не рѣшалась исполнять Вагнера публично. Можетъ быть, я плохая артистка, недостойная этого званія, но я, по крайней мѣрѣ, искренна и не подчиняюсь модѣ... Увѣряю васъ, что въ числѣ поклонниковъ и поклонницъ Вагнера большинство притворяются, я много разъ убѣждалась въ этомъ и многихъ даже довела до признанія—не понимаютъ, не чувствуютъ, но боятся показаться отсталыми въ дѣлѣ музыкальнаго развитія; иногда даже это ужасно смѣшно... Впрочемъ, такъ, вѣдь, не въ одной музыкѣ, а и во всемъ...

Ея глаза вспыхнули, лицо оживилось, она уже совсѣмъ было сбросила съ себя холодную маску, но вдругъ очнулась. Мигъ—и оживленія какъ не бывало. Она снова превратилась въ *grande dame* и заговорила уже совсѣмъ инымъ тономъ.

Маша, только что начавшая себя чувствовать болѣе свободной, опять притихла. Владиміръ сидѣлъ какъ на иголкахъ.

Разговоръ то и дѣло готовъ былъ оборваться. Но Груня под-держивала каждый разъ.

Такъ прошло около часу.

Маша изумлялась красотѣ своей собесѣдницы, внимательно ее слушала, чтобы во-время и впопадъ отвѣтить, боясь, можетъ быть, въ первый разъ въ жизни, показаться глупой, неловкой

передъ этой любезной и изящной, такъ свободно и спокойно чувствовавшей себя женщиной. Въ доброй Машѣ поднималось даже раздраженіе. Но между тѣмъ она не могла ни къ чему придратъся.

Груня своими чудными глазами глядѣла на нее бодро и любезно, почти ласково; своимъ тономъ, каждымъ движеніемъ, иногда прорывавшимся въ разговорѣ, она выказывала ей не только любезность, но и извѣстную долю почтительности. А Машѣ становилось все холоднѣе и холоднѣе.

Готовясь къ этому свиданію, она думала, что поступаетъ очень хорошо. Она желала поддержать, ободрить Груню, выказать ей теплое расположеніе. Она немного восхищалась ею, немного ее жалѣла, готова была даже полюбить ее. Но во всякомъ случаѣ, хотя и безсознательно, считала свои будущія отношенія къ ней—какъ высшая къ низшей. Теперь-же она казалась себѣ дѣвочкой передъ этой великолѣпной красавицей, чѣмъ-то въ родѣ робкой провинціалки передъ важной дамой, которой ее представляютъ.

Она, Марья Сергѣевна Горбатова, свѣтская, привыкшая къ обществу, дѣвушка—и передъ Груней, ихъ бывшей дворовой, крѣпостной, передъ маленькой поджигательницей! Эта Груня извѣстная артистка, но все-же Маша не могла очнуться отъ неожиданности и, наконецъ, почувствовала себя такъ неловко, что, взглянувъ на брата, проговорила.

— Однако, намъ пора!

Груня проводила гостей до крыльца, еще разъ благодарила Машу, сказала спокойно нѣсколько любезныхъ фразъ. А когда Владиміръ изумленно въ послѣдній разъ взглянулъ на нее, она отвѣтила ему едва замѣтной, загадочной улыбкой и тихо сказала:

— До свиданья! .

Карета тронулась. Въ теченіе нѣсколькихъ минутъ братъ и сестра не говорили другъ другу ни слова. Они все еще не могли придти въ себя. Наконецъ, Маша сказала:

— Вотъ ужъ я никакъ не думала, что она такая!

Владиміръ ничего не отвѣчалъ. Она продолжала:

— Красота необыкновенная, но, вѣдь, она ледъ... она должно быть горда ужасно... и потомъ... потомъ...

Маша улыбнулась.

— Знаешь,—добавила она:—мнѣ жаль было, что на моемъ мѣстѣ не Софи. Эта Груня дала бы ей хорошій урокъ, доказала бы ей, что не нужно родиться принцессой для того, чтобы сыграть роль принцессы съ такимъ искусствомъ, котораго Софи врядъ-ли когда достигнетъ. Но, вѣдь, ты представлялъ мнѣ ее совсѣмъ другою!.. Если-бы я знала, что она такая, я бы къ ней не поѣхала...

— Да она вовсе не такая!—воскликнулъ Владимірь.—Увѣрю тебя, что она не такая. Я ее не узналъ сегодня.

— Такъ, значитъ, она играла роль? Для меня играла... зачѣмъ? И Маша уже совсѣмъ добродушно разсмѣялась.

Владимірь сидѣлъ нахмурясь. Онъ самъ себя спрашивалъ: зачѣмъ ей понадобилась эта роль? Онъ видѣлъ ее теперь въ новомъ свѣтѣ, и она ему въ этомъ новомъ свѣтѣ не нравилась, ему тяжело было ее такою видѣть. Ему такъ хотѣлось, чтобы во время этого свиданья Груня и Маша сошлись, почувствовали влеченіе другъ къ другу. Онъ зналъ, что Маша на это была готова. Онъ былъ увѣренъ, что Груня обворожить ее, а она оттолкнула.

И онъ не могъ не сознавать, что она, хоть и тонко, хоть и ловко, такъ что ни къ чему нельзя было придраться, но все-же посмѣялась надъ его сестрой. За что? Что могла она имѣть противъ Маши?..

Все это его возмущало и тревожило.

Онъ готовъ былъ негодовать. Но, вѣдь, ужъ онъ любилъ Груню. Онъ рѣшился вернуться къ ней въ тотъ-же день вечеромъ и разобратъ, что все это значитъ, зачѣмъ ей понадобилась эта, съ ихъ стороны ничѣмъ не вызванная, обида...

XX.

Р о з и н а.

Кодратъ Кузьмичъ вернулся къ обѣду уставшій (онъ теперь часто уставалъ) и не въ духѣ, что всегда съ нимъ бывало, когда онъ чувствовалъ себя сильно проголодавшимся. Онъ буркнулъ Настасьюшкѣ:

— Обѣдать! Живо!

— Раньше какъ подамъ—готово не будетъ!—спокойно отвѣтила она.

Старикъ прошелъ къ себѣ въ спаленку, разоблачился, закутался въ халатъ. Затѣмъ онъ усѣлся на свое обычное мѣсто передъ накрытымъ столомъ въ столовой и сидѣлъ, свирѣпо поводя глазами, время отъ времени стуча по столу то ножомъ, то вилкою и вскрикивая:

— Эй! да скорѣе-же!

Настасьюшка отлично слышала эти окрики «коршуна», но не обращала на нихъ никакого вниманія и ничуть не торопилась.

Наконецъ, она внесла миску съ супомъ, затѣмъ блюдо съ пышными, шипящими пирожками. Кодратъ Кузьмичъ облизнулся.

Вышла Груня, но уже не въ утреннемъ, роскошномъ, наряд-

номъ костюмѣ, а въ тепломъ, сдѣланномъ изъ турецкой шали, капотѣ, отороченномъ темно-краснымъ шелкомъ. Капотъ этотъ, очень красивый и очень къ ней шедшій, былъ любимой ея одеждой всю послѣднюю недѣлю, съ тѣхъ поръ, какъ она немного простудилась. Ей было въ немъ такъ тепло, спокойно и уютно.

Кодратъ Кузьмичъ взглянулъ на нее и проговорилъ:

— Ну, что, здорова?

Но отвѣта ея онъ не слышалъ; во-первыхъ, потому, что былъ глухъ, а во-вторыхъ — въ настоящую минуту все вниманіе его сосредоточивалось на мискѣ съ супомъ и блюдѣ съ пирожками. Онъ мрачно принялся ѣсть и только почувствовалъ, что червякъ заморентъ, вздохнулъ свободно, пропустилъ вторую рюмочку очищенной, затѣмъ залпомъ выпилъ стаканъ квасу, и лицо его прояснилось.

— Нѣтъ, не могу больше! — проговорилъ онъ. — Каждый день въ такую даль, туда да обратно, а мостовая у насъ въ Бѣлокаменной, что ни годъ — то хуже!.. На Мясницкой — это сущая каторга!.. Что дѣлать, старъ сталъ, совсѣмъ старъ!.. А у тебя, Грунюшка, гости были? Марья Сергѣевна... прекрасная дѣвица, добрая и разумная!.. Ты это цѣнить должна...

— Я очень цѣню, — спокойно проговорила Груня.

— А? Что?.. Что ты сказала? — онъ подставилъ ей ухо.

— Я очень цѣню, — повторила она.

— То-то же...

Настасьюшка внесла блюдо съ телятиной, и онъ замолчалъ, поглощенный вопросомъ — въ мѣру-ли зажарена и есть-ли почка, до которой онъ былъ большой охотникъ.

Затѣмъ до конца обѣда разговоръ не возобновлялся.

Насытившись, Кодратъ Кузьмичъ прошелъ къ себѣ, но не съ тѣмъ, чтобы заснуть, — онъ никогда не спалъ послѣ обѣда, — а съ тѣмъ, чтобы побесѣдовать съ самимъ собою. Въ прежнія времена онъ обыкновенно послѣ обѣда бесѣдовалъ съ Олимпіадой Петровной, теперь-же, послѣ ея смерти, онъ оставался наединѣ съ собою. И это именно было время воспоминаній, воспоминаній не мучительныхъ, безъ горя, безъ отчаянія, но тихихъ и грустныхъ, которыя онъ всегда завершалъ мысленной молитвой, дававшей ему глубокую увѣренность въ томъ, что разлука только временна и что скоро настанетъ радостное свиданіе...

Онъ сильно не любилъ когда его тревожили въ это время и Настасьюшка даже никогда не осмѣливалась подходить къ двери, пока онъ самъ ее не кликнетъ или не выйдетъ.

Кодратъ Кузьмичъ поправилъ лампадку передъ образомъ, грузно опустился въ старое кресло и сидѣлъ въ полусумракѣ, склонивъ сѣдую, всклокоченную голову, думая свои обычныя думы.

Старинные часы постукивали на стѣнѣ, въ углу по временамъ скреблась мышь. Минуты проходили за минутами, все было тихо, съ улицы иногда доносился стукъ проѣзжавшаго экипажа, крикъ извозчика или пьянаго мастерового раздавался—и стихалъ.

Кодратъ Кузьмичъ ничего этого не слышалъ. Но вдругъ — что это?..

Онъ поднялъ голову: Какъ ни былъ онъ погруженъ въ себя, какъ ни былъ глухъ, онъ не могъ не разслышать этихъ близко зазвучавшихъ аккордовъ.

«А! Груня поиграть на фортепьянахъ вздумала! Ну что же, пусть, давно пора—пусть...»

Онъ снова задумался.

Дѣйствительно, это играла Груня. Она прошла послѣ обѣда въ зальце, побродила въ ней, побродила, нахмурия свои черныя брови. Потомъ вдругъ зажгла двѣ свѣчи въ старыхъ хрустальныхъ шандалахъ, подошла къ старинному, съ дѣтства знакомому ей, фортепьяно, открыла крышку, пододвинула стулъ... тонкіе пальцы ея пробѣжали по клавишамъ. Разстроенное, разбитое, давнымъ-давно не открывавшееся фортепьяно издало нѣсколько странные звуки. Груня даже съ досадой стукнула ногой, хотѣла уже бросить, но не могла и перебирала клавиши, стараясь вызвать изъ нихъ что-нибудь гармоническое, начиная фантазировать, сначала нерѣшительно, робко, но затѣмъ все смѣлѣе и смѣлѣе...

И вдругъ, неожиданно для себя самой, она запѣла, запѣла безъ словъ, сама не зная что. Ея бархатный сильный и свѣжій голосъ наполнилъ всю низенькую комнату, переполнилъ ее чрезвычайно и рвался наружу, но ему не было простора.

Она пѣла забывшись, уйдя далеко-далеко отъ окружавшей ее обстановки, не зная, гдѣ она. Она пѣла, какъ давно не приходилось ей пѣть, съ восторгомъ и страстью, съ трепетомъ и тоскою. Она влагала въ эти невѣдомо откуда бравшіеся звуки всю свою душу.

И не видѣла она, что Кодратъ Кузьмичъ уже нѣсколько разъ входилъ въ комнату, что онъ настезъ отворилъ всѣ двери и что Настасьюшка стоитъ у притолки, будто окаменѣвшая и время отъ времени утираетъ рукавомъ глаза. Не слышала она какъ въ передней раздался звонокъ, кто-то вошелъ и остановился за нею...

Она все пѣла, и все, что проносилось передъ ея мысленными взорами, все, что чувствовалось и вспоминалось, отрывки прошедшаго, цѣлыя картины еще не совсѣмъ сознанныя, смутнаго настоящаго, неясныя грезы будущаго—все сказывалось въ этихъ звукахъ.

Не чувствовала она, какъ то и дѣло слезы, одна за другою, скатываются изъ глазъ ея на щеки, какъ трепетъ вдохновенія пробѣгаетъ по ея жиламъ, какъ высоко поднимается грудь ея; какъ-то усиленно бьется, то совсѣмъ замираетъ ея сердце.

Наконецъ, она сказала все, что звучало въ ней, и остановилась.

— Боже мой, да какъ же вы могли говорить, что потеряли голосъ, Груня?.. Груня!..—разслышала она будто и безконечно далеко, и безконечно близко.

Она вздрогнула, оглянулась—передъ нею Владиміръ! Мигомъ все исчезло, весь этотъ чудный, волшебный міръ, наполнившій ее еще за минуту. Она сидѣла съ упавшими на колѣни руками, прямо глядя передъ собою, будто всматриваясь во что-то.

Наконецъ, она проговорила:

— Да, пожалуй, что голосъ мой и вернулся...

— Навѣрно онъ никогда и не пропадалъ,—перебилъ ее Владиміръ, все еще не въ силахъ будучи придти въ себя отъ ея чуднаго пѣнія.

— Нѣтъ я совсѣмъ не могла пѣть; я вѣдь, съ лучшими докторами совѣтовалась... Возьму нѣсколько первыхъ нотъ—и вдругъ сожметъ горло, и не могу, совсѣмъ не могу! Вѣдь, меня всячески лѣчили — ничего не помогало; впрочемъ, доктора сказали, что можетъ само пройти вдругъ, что это нервное... Ну, вотъ и прошло!..—добавила она, и все лицо ея засіяло радостью.

— Такъ что-жъ теперь,—говорилъ Владиміръ:—бросите вы мысль о Маломъ театрѣ? Я не знаю, какая вы актриса и, конечно, готовъ думать, что превосходная, но, вѣдь, прежде всего вы пѣвица... у васъ репутація и имя... оставайтесь пѣвицей и не теряйте времени... Вы непременно должны дать концертъ, успѣхъ будетъ огромный, навѣрно... и тогда, тогда увидите что надо дѣлать...

— Да... да, концертъ,—задумчиво повторила она:—да, вы правы. А вдругъ это только такъ сегодня, а завтра опять это сжиманье горла? Вдругъ я ужъ и теперь, вотъ сейчасъ, не могу пѣть?

Она повернулась къ фортепьяно, ударила по клавишамъ. Диссонансъ раздражительно подѣйствовалъ на ея тонкій слухъ.

— Кодратъ Кузьмичъ!—обратилась она къ входившему въ зальце Прыгунову:—вѣдь, это ужасно, совсѣмъ нельзя играть на старой Степанидѣ!

И смѣясь она объяснила Владиміру:

— Это ужъ давно - давно въ дѣтствѣ мы это фортепьяно старой Степанидой называли... Теперь совсѣмъ, совсѣмъ ужъ,

Кодратъ Кузьмичъ, играть нельзя! — крикнула она, такъ какъ старикъ не слышалъ.

— Такъ что-же, матушка, новый рояль достать не трудно. Я тебѣ не перечу, я очень радъ, радъ... Ты знаешь, что я и до музыки и до пѣнья охотникъ... давно вотъ только не слыхалъ, а теперь ты меня порадовала... Хорошо ты поешь, хорошо!..

Онъ подошелъ къ Грунѣ и потрепалъ ее по плечу.

— А если не могу я больше пѣть?—вернулась она къ своей мысли, и опять ея пальцы пробѣжали по клавишамъ...

Una voce... poco fa...

Весь маленькій домикъ снова наполнился звуками, чарующими и игривыми...

Кодратъ Кузьмичъ стоялъ улыбаясь и набивая носъ табакомъ. Владиміръ, глазъ не спуская, глядѣлъ на Груню.

Наконецъ, она кончила.

— Что? Не можете?.. Розина, да какая еще Розина!—воскликнулъ онъ.

Она улыбнулась. Лицо ея сіяло, глаза горѣли и вдругъ, не отдавая себѣ отчета, она стала разыгрывать роль Розины. Она подбѣжала къ Кодрату Кузьмичу.

— Вы—донъ-Бартоло, слышите, Кодратъ Козьмичъ, донъ-Бартоло!.. Садитесь тутъ... такъ вотъ...

Кодратъ Кузьмичъ, все продолжая улыбаться, утирался своимъ клѣтчатымъ платкомъ и послушно сѣлъ туда, куда посадила его Груня.

— Ну, а вы, Владиміръ Сергѣевичъ, теперь Фигаро... Я начинаю...

Груня преобразилась, превратилась въ шаловливую, наивную и хитрую дѣвочку, совсѣмъ - совсѣмъ ушла въ свою роль, сдѣлалась настоящей Розиной.

Вотъ она замѣтила у двери Настасьюшку и, какъ та ни упиралась и ни ворчала, вытащила ее на середину комнаты, затормошила ее.

Съ четверть часа продолжалась эта импровизированная, странная репетиція. Наконецъ, Розина засмѣялась, сказала: «довольно!» и снова сдѣлалась Груней.

— Могу, могу пѣть!—повторяла она.—А вдругъ это только на сегодня? Право, я боюсь радоваться, боюсь надѣяться. Теперь я каждый день стану упражняться, недѣли двѣ, три. Вѣдь, во всякомъ случаѣ для концерта рано, сезонъ еще не начался. Если черезъ три недѣли не вернется это ужасное сжиманье горла—тогда рискну!..

— Хорошій рояль завтра же здѣсь будетъ,—сказалъ Владиміръ.

— Зачѣмъ рояль? Здѣсь негдѣ и поставить, а піанино маленькое, только хорошее, достаньте, голубчикъ, достаньте пожалуйста... со Степанидой совѣмъ нельзя...

Забывшись, радуясь какъ ребенокъ, она вдругъ взяла Владимира подъ руку и стала ходить съ нимъ по зальцѣ.

— Да, а черезъ три недѣли сдѣлаю я визитъ Николаю Григорьевичу Рубинштейну; можетъ быть, онъ меня вспомнитъ, когда-то онъ хвалилъ меня... Такъ вы думаете, что Малый театръ надо по-боку? — вдругъ сказала она съ какимъ-то мѣлымъ, мальчишескимъ жестомъ и заглядывая Владимиру въ глаза.

— Конечно, по-боку!

Въ это время Настасьюшка пронесла въ гостиную лампу, а Кодратъ Кузьмичъ всталъ, крикнулъ и ушелъ къ себѣ.

Владимиръ и Груня остались вдвоемъ и долго еще говорили о томъ, что надо ей теперь дѣлать. Было рѣшено, что если голосъ не пропалъ, если нервная болѣзнь дѣйствительно прошла, она дастъ одинъ, два, три концерта здѣсь, въ Москвѣ, а потомъ поѣдетъ въ Петербургъ.

Наконецъ, все было переговорено, радость и оживленіе Груни пріутихли, и вмѣстѣ съ этимъ и Владимиръ очнулся отъ неожиданности только что происшедшаго. Онъ сидѣлъ теперь молча, задумавшись, съ лицомъ серьезнымъ, почти грустнымъ.

Груня взглянула на него и сказала:

— Что съ вами? Отчего вы вдругъ стали такой?

Онъ пристально посмотрѣлъ ей въ глаза и отвѣтилъ:

— Я вернулся къ вамъ сегодня для того, чтобы спросить васъ, что такое значилъ этотъ странный пріемъ, который вы сдѣлали мнѣ и сестрѣ?

Она на мгновеніе смутилась. Но вотъ по ея лицу мелькнуло какое-то странное и почти злое выраженіе.

— Какой пріемъ? О чемъ вы говорите? Я не понимаю... Развѣ я сдѣлала какую-нибудь неловкость? Вы меня пугаете...

— Не говорите со мной такимъ тономъ, вы очень хорошо знаете, что я хочу сказать.

— Не знаю...

— Нѣтъ, хорошо знаете.

Его голосъ поднялся, въ немъ прозвучала строгая нота и онъ глядѣлъ на Груню твердо и пристально.

— Да что-же я, наконецъ, такое сдѣлала? Я была очень благодарна Марѣ Сергѣевнѣ и, насколько умѣю, старалась показать это.

— Это очень, очень дурно съ вашей стороны, — сказалъ онъ. — Зачѣмъ вы приняли этотъ тонъ, неестественный и странный?

Зачѣмъ вы были не собою? Зачѣмъ вамъ понадобилась эта роль?

Она ничего не отвѣтила, глаза ея опустились.

— Груня,—говорилъ онъ; — я вовсе не хочу проповѣдовать вамъ христіанскія добродѣтели, но мнѣ очень тяжело видѣть васъ не такою, какой вы мнѣ показались, какой я васъ считалъ...

— Вы меня совсѣмъ не знаете, Владиміръ Сергѣевичъ; если вы, по добротѣ вашей, сочли меня хорошей, то ошиблись—вотъ и все.

— Это совсѣмъ, совсѣмъ не то!..—раздражительно воскликнулъ онъ.—Ни меня, ни мою сестру,—она пріѣхала къ вамъ съ самыми лучшими намѣреніями,—вы не должны были обижать—не за что, Груня.

Слезинка скатилась изъ-подъ ея опущенныхъ рѣсницъ.

— Чего-же вы отъ меня хотите?—какъ-то робко и нерѣшительно прошептала она.

— Объясните, зачѣмъ это вамъ нужно было, что это значить?

— Я не могу объяснить!—мучительно проговорила она.

И вдругъ подняла на него такой странный, молящій, грустный и нѣжный взглядъ, что его раздраженіе мгновенно упало и онъ почувствовалъ къ ней безумную любовь и жалость.

— Не могу объяснить,—повторила она:—на меня такое находить и я уже не владѣю собою... Да оно и лучше: между мною и Марьей Сергѣевной нѣтъ и не можетъ быть ничего общаго... Что она добрая и прекрасная дѣвушка—это я поняла, увидѣла съ перваго взгляда... Почему вы знаете, можетъ быть я полюбила ее сегодня!.. Да, я вотъ ее полюбила... я долго, долго объ ней думала... она такъ мнѣ и представляется... Какіе у нея славные глаза!.. Мнѣ такъ хотѣлось поцѣловать ее... но намъ не зачѣмъ быть знакомыми... и почему знать, можетъ быть, сама она когда-нибудь раскаялась-бы въ своей добротѣ относительно меня... Да, такъ лучше, лучше!.. Да и вы, Владиміръ Сергѣевичъ, оставьте меня, все это напрасно... напрасно мы встрѣтились съ вами... оставьте меня, прошу васъ...

— Груня, вѣдь, вы знаете, что я не могу васъ оставить!..—страстно прошептала онъ, схватилъ ея руку и прижалъ къ губамъ своимъ.

Она не отняла руки. Она вся вздрогнула, изъ глазъ ея такъ и капали тихія слезы.

Въ зальцѣ послышались тяжелые шаги Кодрата Кузьмича.

XXI.

О п а с н о с т ь .

Кадратъ Кузьмичъ имѣлъ теперь обычай ежедневно передъ отходомъ ко сну отправляться въ кухню. Къ этому времени, то-есть къ исходу десятаго часа, Настасьюшка, справивъ всѣ дѣла, прибравъ и вычистивъ посуду, ожидала его, сидя передъ наплывавшей сальной свѣчкой за большимъ кухоннымъ столомъ, старымъ-престарымъ, давнымъ-давно носившимъ на себѣ слѣды зарубинъ, но всегда тщательно вымытымъ.

При входѣ Кодрата Кузьмича она снимала нагаръ со свѣчи, подставляла ему стулъ, а сама становилась возлѣ него съ замазленной хозяйской книжкой въ рукахъ.

Кодратъ Кузьмичъ усаживался, медленно набивалъ въ обѣ ноздри табакъ, долго и громко сморкался, затѣмъ надѣвалъ на кончикъ носа свои круглые серебряные очки и проговаривалъ:

— Ну!

Настасьюшка подавала ему книжку и сдачу съ полученныхъ наканунѣ денегъ. Провѣривъ счеты и выслушавъ объясненія почему, на примѣръ, яйца дороже, чѣмъ на прошлой недѣлѣ, онъ неизмѣнно спрашивалъ:

— Ну, а что-же на завтра ты будешь готовить?

И получалъ неизмѣнный отвѣтъ.

— Что прикажете.

— Ахъ, мать моя, что прикажу, что прикажу; а ты сама развѣ придумать не можешь?

Настасьюшка начинала придумывать. Кодратъ Кузьмичъ въ большинствѣ случаевъ соглашался съ ея мнѣніемъ и ободрялъ ея меню.

Обѣдъ заказанъ, деньги выданы, но онъ не уходилъ. Начинаясь, такъ сказать, второй періодъ вечерняго засѣданія. Настасьюшка приступала къ докладу различныхъ новостей, происшествій дня и слуховъ, носившихся въ кварталѣ. Она работала весь день въ кухнѣ, къ ней рѣдко кто заглядывалъ изъ постороннихъ, но запасъ ея свѣдѣній, и притомъ самыхъ свѣжихъ, никогда не истощался. Она получала ихъ по утрамъ, отправляясь закупать провизію и неизбежно заходя въ свой клубъ, то-есть «овощную» лавку или «авошенную», какъ она выражалась.

Кодратъ Кузьмичъ, доживъ теперь восьмой десятокъ и очутившись въ одиночествѣ, значительно измѣнился. Прежде, бывало, ему дѣла никакого не было до всѣхъ этихъ кухонныхъ

сплетень и онъ частенько накидывался на покойницу Олимпиаду Петровну за ея многословіе и праздное любопытство; теперь-же, самъ того не замѣчая, онъ впалъ въ тотъ-же грѣхъ и хотя, повидимому, и не вызывалъ докладовъ Настасьюшки, и самъ ее никогда ни о чемъ не разспрашивалъ, но слушалъ ее внимательно.

Эти доклады незамѣтно превратились для него просто въ ежедневную потребность. Потребность эта у нихъ была обоюдная. Она привыкла докладывать «мумѣ», «мумы» не стало—она докладывала «коршуну». Она говорила по своему обыкновенію очень скоро, часто переходила въ таинственный тонъ и понижала голосъ, забывая про глухоту Кодрата Кузьмича.

Онъ ничего не слышалъ и то и дѣло останавливалъ ее вопросительнымъ и суровымъ: «а?», въ которомъ одноко слышалось большое любопытство и нетерпѣніе.

Въ теченіе получала, а иногда и больше изъ сосѣдней комнаты только и можно было слышать:

— Шу... шу... шу...

— А?

И опять:

— Шу... шу... шу...

— А?

На этотъ разъ, рѣшивъ вопросъ о завтрашнемъ обѣдѣ, Настасьюшка тоже приступила къ бесѣдѣ; но она забыва, повидимому, всѣ новости квартала, ея мысли были заняты другимъ.

— Никакъ барышня наша на боковую ужъ отправилась? Что-то не слышать ее,—спросила она «коршуна».

Онъ разслышалъ и отвѣтилъ:

— Простилась, ушла, заперлась...

— Ну что-же вы скажете, батюшка Кодратъ Кузьмичъ:—воскликнула Настасьюшка, наклоняясь къ самому его уху:—каково Грунюшка поетъ?.. Вѣдь, соловей, чистый соловей... Въ жизнь ничего такого не слыхала. Ажно до слезъ...

— Да, поетъ, хорошо поетъ!—протянулъ Кодратъ Кузьмичъ.

— И откуда только голосъ такой берется? Помните, бывало, пѣла она, хорошо пѣла, а все-же не такъ... куда!.. а, вѣдь, это ну ровно, какъ и не человѣкъ; а ужъ громко-то, громко, ажно стекла звенѣли... А комедь какъ стала представлять—уморушка! На себя совсѣмъ непохожа, чисто какъ въ кіятрѣ...

— А?

— Чисто, говорю, какъ въ кіятрѣ!—прокричала Настасьюшка.

— Такъ, вѣдь, она-же и есть актриса!—отозвался Кодратъ Кузьмичъ не безъ нѣкоторой мрачности.

— Актриса... Грунюшка?—протянула Настасьюшка и пока

чала головой.—Да я не къ тому. А вотъ что, батюшка Кодратъ Кузьмичъ, что это баринъ Горбатовскій, Владиміръ Сергѣевичъ, зачастиль такъ?

— А?

— Что это баринъ, говорю, Горбатовскій зачастиль такъ? Кодратъ Кузьмичъ насупился и молчалъ.

— Вѣдь, ужъ замѣтно становится, — продолжала Настасьюшка.— И не хорошо... Долго-ли до грѣха... и у насъ въ домѣ.

— А?

— Долго-ли, говорю, до грѣха, и у насъ въ домѣ!

— Молчи, дура, не твое это дѣло!—буркнулъ Кодратъ Кузьмичъ, забралъ со стола свой клѣтчатый платокъ и табакерку, и, совѣмъ сердитый, вышелъ изъ кухни.

— То-то--не твое дѣло!—проговорила Настасьюшка и долго стояла въ раздумьи, качая головою.

А Кодратъ Кузьмичъ прошелъ къ себѣ въ спальню, опустился было на колѣни передъ образами, хотѣлъ совершить вечернюю молитву, но вдругъ поднялся съ колѣнъ и сѣлъ въ кресло. Онъ не могъ молиться; если-бы кто его увидѣлъ, то просто бы испугался—такое у него было свирѣпое и страшное лицо. Казалось, что сѣдые кусты на бородавкахъ поднялись и неестественно топорщились.

Настасьюшка сказала ему именно то, о чемъ онъ самъ тревожно думалъ весь вечеръ. Онъ очень былъ расположенъ къ Владиміру Горбатову и считалъ его прекраснымъ и благоразумнымъ молодымъ человѣкомъ. Видѣть его у себя въ домѣ онъ принималъ за честь и очень цѣнилъ его рѣдкія посѣщенія. Со времени смерти Бориса Сергѣевича, занимаясь вмѣстѣ съ Владиміромъ семейными дѣлами, онъ почувствовалъ еще болѣшую симпатію къ молодому человѣку, находя въ немъ большое сходство съ покойнымъ, котораго чрезвычайно почиталъ.

Онъ ничего не имѣлъ противъ того, чтобы Владиміръ встрѣтился у него въ домѣ съ Груней и даже почти обрадовался, когда тотъ выразилъ желаніе ея увидѣть. Онъ, конечно, сразу замѣтилъ, что Владиміръ пріѣзжаетъ теперь для Груни, что его предлоги шиты бѣлыми нитками. Но до сегодняшняго дня все-же онъ этому не придавалъ большого значенія. Сегодня-же, вѣдь, вотъ Владиміръ два раза пріѣхалъ съ Басманной. Но и это-бы ничего.

Дѣло въ томъ, что Кодратъ Кузьмичъ сегодня прочелъ много и въ лицѣ Владиміра, и въ лицѣ Груни, а главное—онъ увидѣлъ изъ залы своими старыми глазами Владиміра, цѣлующаго руку Груни. И, когда онъ вошелъ, они оба были видимо смущены, а у Груни даже глаза были заплаканы...

Кодратъ Кузьмичъ не подалъ имъ виду, даже оставилъ ихъ и ушелъ къ себѣ, но онъ былъ сильно встревоженъ, смущенъ и негодовалъ.

Да, Настасьюшка сказала именно такъ, какъ и онъ говорилъ себѣ:

«Не хорошо, и у меня въ домѣ!

Груня—актриса, пѣвица, примадонна извѣстная въ Европѣ, красавица... И покойникъ Борисъ Сергѣевичъ... туда-же—одобрялы.. Нѣтъ, мы съ тобою, Олимпіада Петровна, видно, правы были! Загубила себя дѣвка, совсѣмъ загубила... Въ эти-то годы Богъ, вѣдь, знаетъ, что съ нею творилось, можетъ, и впрямь пропащая, дива никакого нѣтъ... Но въ домѣ моемъ ничего такого не могу позволить.

А какъ тутъ не позволишь?» — сердито прервалъ онъ себя.

Онъ понималъ, что не можетъ-же отказать Владиміру отъ дома или хотя-бы даже просить его пріѣзжать порѣже. Не можетъ онъ тоже прямо заговорить объ этомъ съ Груней. Онъ зналъ ея характеръ. Можетъ, и въ мысляхъ у нихъ ничего еще нѣтъ, такъ она нарочно какую-нибудь глупость сдѣлаетъ. А главное было то, что онъ любилъ эту загубившую себя Груню, любилъ несравненно больше, чѣмъ самъ думалъ, и ему было безконечно жаль ее.

«А что если и впрямь они крѣпко слюбятся?»—вдругъ мелькнуло у него въ мысляхъ.—«Груня, вѣдь, она такая красавица, вѣдь, такой красавицы я во-всю мою жизнь не видывалъ! Вскружить она совсѣмъ голову Владиміру, возьметъ онъ да на ней и женится... Развѣ такого не бываетъ?

«Нѣтъ,—рѣшилъ онъ,—это не можетъ быть, да и не должно быть. Опять-таки и этого я допускать не смѣю...»

Онъ рѣшился слѣдить хорошенько и если что еще замѣтитъ, осторожно, съ подготовкой, какъ онъ мысленно выражался, любовно поговорить съ Груней. Но отъ этого рѣшенія ему не стало легче. Онъ едва нашелъ въ себѣ силы настолько подкрѣпить духъ свой, чтобы имѣть возможность помолиться безъ соблазна. Въ его горячую молитву то и дѣло врывались совсѣмъ неподходящія мысли.

На слѣдующій день, вернувшись отъ обѣдни, Кодратъ Кузьмичъ нашелъ у себя въ домѣ рабочихъ, принесшихъ піанино. Владиміръ былъ тутъ-же.

Старую Степаниду перетасили съ великимъ трудомъ на чердакъ, такъ какъ мѣста ей въ маленькихъ, загроможденныхъ мебелью комнатахъ, не оказалось. Въ бѣдномъ зальцѣ, подъ древней гравюрою, изображавшей, хотя и довольно неудобопонятно, что-то въ родѣ «превращенія жены Лота въ соляной столпъ», теперь

красовался прелестный инструментъ. Настройщикъ съ глубоко-мысленнымъ видомъ нѣмецкаго философа приводилъ его въ порядокъ.

Владиміръ и Груня о чемъ-то оживленно бесѣдовали въ гостиной.

Кодратъ Кузьмичъ, все еще пахнувшій церковнымъ ладаномъ, съ просфорой въ рукѣ, любезно поздоровался съ гостемъ, спросилъ нѣтъ-ли чего новаго, не получено-ли отъ «папеньки» давно ожидаемое письмо изъ-за границы. Онъ услышалъ въ отвѣтъ, что нѣтъ еще, какъ-то помялся на мѣстѣ, потомъ благоговѣйно положилъ просфору на столъ, вынулъ табакерку, набилъ себѣ носъ, нахмурился, взглянулъ на молодыхъ людей тревожнымъ взглядомъ и ушелъ къ себѣ.

— Что это Кодратъ Кузьмичъ какой странный сегодня? — спросилъ Владимиръ.

— Да! — нерѣзительно отозвалась Груня.

И имъ почему-то стало даже какъ-бы неловко.

Но вотъ настройщикъ окончилъ свое дѣло. Груня подошла къ піанино, пробѣжала пальцами по клавишамъ, прислушалась.

— Чудесно! — сказала она. — Это самой послѣдней конструкціи... я уже знаю такое піанино.

Владиміръ придвинулъ ей стулъ. Мягкіе, будто бархатные звуки огласили зальце, затѣмъ зазвенѣли и разсыпались колокольчиками, то поднимаясь, обгоняя другъ друга, то замирая и доходя до едва слышнаго шопота.

— Что-нибудь старое... знакомое, милое! — произнесъ Владимиръ, останавливаясь за стуломъ Груни, невольно склоняясь надъ нею, чувствуя неопредѣленный легкій запахъ ея волосъ и замирая отъ охватившаго его вдругъ порыва безумной страсти.

«Для тебя въ тиши прохладной

«Льется мой напѣвъ...»

вырвались изъ груди Груни звуки старой шубертовской серенады.

Отчего она именно ее запѣла?

Ей вспомнилась озаренная лѣтнимъ солнцемъ огромная терраса знаменскаго дома...

Груня, только что прибитая въ дѣвичьей замарашка, вся въ слезахъ, съ безсильной злобой и мукой въ сердцѣ, притаилась въ кустахъ сирени у этой террасы.

И вдругъ она услышала: звучный, за душу хватающій голосъ пѣлъ:

«Для тебя въ тиши прохладной

«Льется мой напѣвъ...»

Это пѣла молодая красавица-барыня, мачеха Володи.

Груня слушала въ какомъ-то опьяненіи восторга, а когда чудные звуки замерли, она, какъ безумная, кинулась въ самую глубь парка, бѣжала долго, наконецъ, остановилась въ чащѣ—и сама запѣла, повторяя только что слышанное ею. Она не пропустила ни одной ноты... она все запомнила, ея дѣтскій чистый голосокъ выводилъ тѣ же самые сладкіе звуки, и мучительное блаженство наполняло ея сердце...

Это была первая ея пѣсня. Поэтому она невольно и теперь ее запѣла въ отвѣтъ на просьбу Владиміра.

«Приходи, мой другъ отрадный,
«Подъ навѣсъ деревь...»

Груня вложила въ эту серенаду столько огня, столько нѣжности, столько гордой всепобѣждающей силы любви... Въ этихъ влюбленныхъ звукахъ была такая власть, что Владиміръ потерялъ совѣсть сознаніе дѣйствительности. Онъ жадно впивалъ ихъ въ себя, эти звуки... и все ближе и ближе склонялся къ Грунѣ...

Кодратъ Кузьмичъ не усидѣлъ въ своей комнатѣ.

«Ну, что-же ты тутъ подѣлаешь!»—буркнулъ онъ самъ себѣ.

Онъ прошелъ въ гостиную.

Вдругъ Груня прервала свое пѣніе и быстро обернулась. Ея щека чуть не коснулась щеки Владиміра.

— Вы думаете такъ можно пѣть?—сказала она и блеснула на него такимъ раздраженнымъ, почти злымъ взглядомъ, что онъ сразу пришелъ въ себя и смутился какъ ребенокъ.

Кодратъ Кузьмичъ стоялъ у двери, вытираясь клѣтчатомъ платкомъ и глядѣлъ мрачнѣе ночи.

— Такъ, значить, голосъ не пропадаетъ... піанино не дурно и сегодня все благополучно, — торопливо и смущенно проговорилъ Владиміръ.

Онъ еще торопливѣе простился съ Груней и хозяиномъ и почти выбѣжалъ изъ домика.

Онъ былъ раздраженъ, недоволенъ собою почти бессмысленно ювторылъ себѣ:

«Къ чему-же все это, къ чему?»

И въ то-же время передъ нимъ неотступно блестѣли глаза руни. Онъ чувствовалъ запахъ ея волосъ, въ ушахъ у него звенѣли влюбленные звуки серенады. И надъ всѣми его вопросами, недоумѣніями и терзаніями стояло, заслоня ихъ всѣхъ, выразимое счастливое ощущеніе молодой, въ первый разъ съ эльной силой вспыхнувшей въ немъ страсти.

XXII.

Г р и ш а.

Вернувшись домой, Владиміръ въ передней услышалъ отъ швейцара, что «Григорій Николаевичъ изъ Петербурга изволили пріѣхать».

— Гдѣ-же онъ? Гдѣ?

— А вотъ сейчасъ только прошли внизъ, въ ваши комнаты.

Владиміръ обрадовался неожиданному пріѣзду двоюроднаго брата. Ихъ нельзя было никакъ назвать друзьями; они были совсѣмъ различные люди, разстались въ дѣтствѣ, воспитывались подъ совсѣмъ иными впечатлѣніями. Потомъ встрѣтились въ Петербургѣ, жили въ общемъ огромномъ горбатовскомъ домѣ, но тѣсной связи между ними все-же не образовалось. Они вращались въ различныхъ кругахъ.

Несмотря, однако, на это, Владиміръ сохранилъ къ двоюродному брату большое расположеніе, гораздо большее, чѣмъ это могло показаться со стороны. Когда они бывали вмѣстѣ, то спорили рѣдко, но въ обращеніи Владиміра съ молодымъ офицеромъ иногда даже замѣчалось какъ-будто нѣчто пренебрежительное, какъ будто онъ глядѣлъ на него свысока и былъ имъ недоволенъ.

Такъ оно и было въ дѣйствительности; но это все-же ничуть не мѣшало его искренней привязанности къ брату, и если-бы Григорію Горбатову въ серьезную и трудную минуту понадобилась дружеская помощь, то, конечно, прежде всего онъ нашелъ-бы ее во Владимірѣ. Если-бы съ нимъ случилось какое-нибудь несчастье, Владиміръ отнесся-бы къ этому несчастью со всею искренностью и теплотою своего сердца.

Обращеніе Гриши съ Владиміромъ было гораздо повидимому, задушевнѣе и дружественнѣе, а между тѣмъ онъ любилъ его несравненно меньше. По крайней мѣрѣ, когда Владиміръ, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, уже въ Петербургѣ, былъ сильно боленъ, почти умиралъ—Гриша оставался равнодушнымъ и такъ какъ болѣзнь была—тифъ, то даже не входилъ къ двоюродному брату, боясь заразиться.

Теперь Владиміръ отыскалъ пріѣзжаго, они обнялись и звонко поцѣловались.

Гриша былъ высокій, стройный молодой человѣкъ съ густыми, коротко остриженными блестящими черными волосами. Большіе темные глаза его были очень красивы, также какъ и все лицо, смуглое, съ правильными чертами, съ нѣсколько большимъ ртомъ.

верхняя губа котораго прикрывалась мягкими, лихо закрученными усами. Блестящій военный мундиръ еще болѣе выдѣлялъ эту молодую, выхоленную красоту.

Въ своей товарищеской компаніи, въ гостиныхъ и на балахъ Гриша былъ очень милъ, веселъ и оживленъ, производилъ на всѣхъ блестящее впечатлѣніе. Онъ часто добродушно улыбался, глаза его нѣсколько щурились, манеры у него были мягкія, доходившія иногда даже до женственности. За нимъ въ Петербургѣ сначала установилось названіе «прелестнаго мальчика», теперь его считали «милымъ и симпатичнымъ молодымъ человѣкомъ».

Онъ отдалъ значительную дань юности, то-есть, по выходѣ изъ Пажескаго корпуса изрядно кутиль, но особенныхъ шалостей и продѣлокъ за нимъ не числилось. Въ полку онъ былъ на отличномъ счету, товарищи его, вообще, любили, хотя въ послѣднее время нѣкоторые и поговаривали:

— Горбатовъ... да, конечно, онъ славный малый... но «мягко стелетъ...» и далеко не такъ простъ, какъ кажется...

— Гриша, какъ-же это ты такъ вдругъ?.. Вотъ ужъ не ожидалъ тебя видѣть... На долго-ли и зачѣмъ?

— Да я только вчера утромъ рѣшилъ эту поѣздку. Во-первыхъ, съ порученіемъ отъ родителей къ тебѣ. Есть нѣкоторые вопросы по дѣдушкиному наслѣдству. Вотъ, погоди, разберусь—тогда изложу все по порядку. Ну, а затѣмъ такъ, просто прокатиться, то-есть не совсѣмъ просто, а видишь-ли, кое-что нужно было обдумать, а тамъ, въ этой канители нѣтъ никакой возможности... Я всегда такъ люблю—знаешь, дорогой въ вагонѣ я никогда ни съ кѣмъ не разговариваю, лежу съ закрытыми глазами—и думаю... это самое лучшее... Дня три-четыре пробуду здѣсь—и обратно... Отъ Михаила Ивановича тоже порученіе есть. У него что-то на новой фабрикѣ здѣшней случилось; такъ просилъ меня переговорить съ управляющимъ...

Двоюродные братья сѣли другъ передъ другомъ и нѣсколько секундъ продолжалось молчаніе. Владиміръ глядѣлъ на Гришу. Онъ никогда не видалъ у него такого серьезнаго и сосредоточеннаго лица.

— О чемъ-же тебѣ такъ думать надо?—произнесъ онъ съ маленькой усмѣшкой.—Какія такіа серьезныя дѣла?.. А это что такое? Онъ указалъ на погоны офицера.

— А это—можешь поздравить,—улыбаясь отвѣчалъ тотъ:—чинъ только-что получилъ.

— Поздравляю! Да вѣдь ты не ожидалъ... и такъ скоро...

— Въ этомъ и дѣло, никакъ не ожидалъ. Трое нашихъ вышли въ отставку—вотъ и производство... и это для меня очень кстати. Видишь-ли, Володя, я тоже подумываю объ отставкѣ...

— Это къ чему? Что за фантазія! Развѣ ты чѣмъ доволенъ?

— Всѣмъ доволенъ.

— Ну, такъ что-жъ?

— А то, что пора серьезно подумать о будущемъ. Войны у насъ пока, самъ знаешь, никакой не предвидится... Да и хоть-бы война! Вѣдь, еще неизвѣстно, какъ и что, и что изъ этого можетъ выйти... Развѣ можно рассчитывать чтобы насъ двинули? Въ Красномъ селѣ всю войну просидимъ... а главное, какая-же война?

— Такъ ты баклуши бить будешь совсѣмъ ужъ?

— Напротивъ, душа моя, надоѣло мнѣ бить баклуши — вотъ что, пора приняться за дѣло.

— Да за какое, за какое? Я ничего не понимаю!..

— Постой, сейчасъ поймешь. Я рѣшилъ выйти въ отставку, но единственно затѣмъ, чтобы начать новую службу. Этотъ чинъ кстати, меня переведутъ по гражданской надворнымъ совѣтникомъ, годъ буду числиться при министрѣ, а затѣмъ вице-губернаторство... У меня все это очень хорошо и вѣрно обдуманно.

Владиміръ пожалъ плечами и усмѣхнулся.

— Что-жъ это у тебя такое ужъ влеченіе къ административной дѣятельности?

— Не то, что влеченіе, но это самая прямая дорога.

— Однако, вѣдь, ты совсѣмъ не подготовленъ.

Гриша громко разсмѣялся.

— Отчего-же я хуже подготовленъ чѣмъ другіе? Развѣ я первый? Еще какъ управлюсь, увидишь и самъ скажешь, что это мое настоящее дѣло. Но главное, главное, Володя!

Онъ положилъ руку на плечо брата.

— Между нами это, я говорю тебѣ первому: я хочу жениться. «Совсѣмъ какъ Кокушка!» — невольно подумалось Владиміру.

— Ты шутишь? — сказалъ онъ.

— Нисколько!

— На комъ-же?

— На Лизѣ...

— Какъ? На Лизѣ Бородиной?

— Ну-да, что-же это тебя изумляетъ? Что ты тутъ находишь страннаго?

Владиміръ задумался.

— Ничего! — наконецъ проговорилъ онъ. — Только, если ты не шутишь... все это такъ вдругъ, неожиданно, я никогда не думалъ объ этомъ...

— Да ты разбери! — горячо заговорилъ Гриша. — Мнѣ двадцать пять лѣтъ... Положимъ, съ женитьбой можно было-бы подождать...

но я нахожу, что терять времени нечего, надо начинать серьезную дѣятельность, настоящую службу. И такъ какъ я уже сказалъ тебѣ, что надѣюсь черезъ годъ, черезъ полтора, ну, скажемъ, черезъ два, наконецъ, взять мѣсто вице-губернатора, то мнѣ слѣдуетъ быть женатымъ... Это, по моимъ соображеніямъ, неизбежно и во многихъ отношеніяхъ меня очень устроитъ и подвинетъ. Конечно, я могъ-бы сдѣлать лучшую партію, но (онъ таинственно улыбнулся)—я остановился на Лизѣ... она прелестная дѣвушка.

— Да, дѣйствительно, прелестная дѣвушка,—сказалъ Владиміръ.—Такъ ты ее любишь?

— Очень люблю! Конечно не влюбленъ, ничего такого—это все вздоръ, особенно въ дѣлѣ женитьбы. Еслибъ былъ влюбленъ, такъ пожалуй-бы и не женился... Но я ее очень люблю, она такая славная, и именно такая, какую мнѣ нужно будетъ... Затѣмъ она богата, гораздо богаче, чѣмъ ты думаешь,—прибавилъ онъ, понизивъ голосъ.

— Ну, богатство зачѣмъ тебѣ? Слава Богу, и своего довольно.

— Не мѣшаетъ, да и что такое—своего довольно? То, что у меня есть, и будетъ—вѣдь, это ничто, въ сравненіи съ богатствомъ нашихъ предковъ.

— Вотъ, чего захотѣлъ.

— То-то и есть; значить, Лизино состояніе поможетъ мнѣ устроить мое собственное. Затѣмъ Михайлъ Ивановичъ, хотя онъ и Бородинъ, но значить теперь гораздо больше, чѣмъ многія сіятельства и свѣтлости... Всѣ эти господа, то-есть именно всѣ тѣ господа, которые мнѣ будутъ нужны, у него въ рукахъ, онъ вотъ ихъ, какъ держитъ!.. Онъ совсѣмъ замѣчательный человекъ, Михайлъ Ивановичъ. За это послѣднее время мы съ нимъ близко сошлись, и я высоко, высоко цѣню его.

— А онъ знаетъ о твоёмъ намѣреніи?

— По правдѣ сказать, онъ мнѣ и подалъ эту мысль. *Entre nous—c'est son rêve...* это его мечта... Ну, понимаешь почему? И онъ все сдѣлаетъ, все, чтобы поставить Лизу въ исключительное положеніе и чтобы поддержать наше, изрядно-таки, охъ, какъ изрядно, расшатанное состояніе...

— Да, все это дѣйствительно серьезно! — сказалъ Владиміръ.—Но... но я бы все-же на твоёмъ мѣстѣ не женился на Лизѣ.

— Это почему? Да, да, понимаю, твоя тамъ какая-то физіологическая теорія близкаго родства! Это, что-ли?

— Хоть-бы и это.

— Но, душа моя, все это чистѣйшій вздоръ... Это вотъ тапап только этимъ смущается. Такъ, вѣдь, ее архіереи совсѣмъ запугали.

томъ VIII.

— Да ты мнѣ скажи одно,—перебилъ его Владиіръ:—дѣло это окончательно рѣшено или еще нѣтъ?

— Нѣтъ еще... но оно будетъ рѣшено скоро... Теперь главный вопросъ въ моей отставкѣ и переходѣ въ министерство внутреннихъ дѣлъ. Это нужно рѣшить прежде всего. Дорогой я и это рѣшилъ.

— Такъ что-же, тебя поздравить можно?

— Съ этимъ еще погоди. Можетъ быть, невѣста откажетъ.

Онъ самодовольно улыбнулся и потомъ быстро, пристально взглянулъ на двоюроднаго брата.

«А, вѣдь, онъ мнѣ завидуетъ!»—подумалъ онъ.

Но Владиміръ ничуть не завидовалъ, даже больше, онъ внезапно забылъ обо всемъ этомъ: передъ нимъ мелькнуло лицо Груни, и огонь пробѣжалъ по его жиламъ.

А тутъ вдругъ Гриша, отошедшій въ противоположный уголъ комнаты, гдѣ стоялъ его чемоданъ, крикнулъ:

— Ахъ, да, Маша говоритъ, что тутъ наша Грунька очутилась!

— Какая Грунька? — со злобой въ голосѣ отозвался Владиміръ.

— И что ты теперь у нея пропадаешь.

Владиміръ подошелъ къ нему съ поблѣднѣвшимъ и злымъ лицомъ.

— Послушай, Григорій,—прошепталъ онъ, стиснувъ зубы:—чтобы никакой Груньки больше не было, если ты хоть сколько нибудь дорожишь нашими отношеніями... Слышишь?

Гриша даже попятился и смотрѣлъ съ изумленіемъ.

Но вотъ онъ засмѣялся.

— Влюбленъ, совсѣмъ, совсѣмъ! Ну, прости, голубчикъ, никогда не буду такъ говорить... Она красавица, чудно поетъ... все такое... понимаю... Такъ вотъ и ты, наконецъ, растаялъ, скромникъ, монахъ!.. Ну, что-жъ, это хорошо!.. Надѣюсь, ты мнѣ сегодня-же ее и покажешь, твою Травіату?

— Григорій!

Владиміръ готовъ былъ задушить двоюроднаго брата, онъ ненавидѣлъ его въ эту минуту всѣми силами души.

Гриша притихъ.

— Tiens, mais alors c'est sérieux!—прошепталъ онъ.

Онъ употребилъ всѣ свои кошачьи уловки, чтобы утишить гнѣвъ Владиміра—и, наконецъ, почти этого достигъ.

Тотъ успокоился.

— Да, вѣдь, пойми-же, — говорилъ Гриша:—я ее совсѣмъ не знаю; вѣдь, у меня въ памяти только то, давнишнее... Все-же ты меня представь ей, и увидишь—я буду почтителенъ. Ну, прости

же, я сдурилъ. Конечно, она должна быть замѣчательная женщина, а ужъ особенно если ты, ты! такъ увлекся...

Владиміръ молча ходилъ по комнатѣ, Гриша разбирался въ чемоданѣ.

«И, вѣдь, ничего съ этимъ нельзя сдѣлать, и всѣ они такъ глядятъ и иначе глядѣть не могутъ!—мучительно думалось Владиміру.—А можетъ быть они и правы... правы!..

Въ немъ поднималась опять тоска, ревность, почти отчаяніе.

— А ваша старушка очень больна,—сказалъ Гриша.

— Какая старушка?

— Клавдія Николаевна! Я хотѣлъ ее видѣть, сестры говорятъ, что ночью съ нею былъ какой-то припадокъ, послали за докторомъ.

— Когда-же?.. Что это такое? Я ничего не знаю... Я рано выѣхалъ изъ дому.

Владиміръ встревожился и поспѣшилъ наверхъ узнавать въ чемъ дѣло.

XXIII.

Смерть зоветъ смерть.

Въ небольшой, обтянутой стариннымъ зеленымъ штофомъ, комнатѣ, которая называлась кабинетомъ Клавдіи Николаевны и гдѣ она обыкновенно, у вычурнаго бюро, наполненнаго разной величины не секретными и секретными ящиками, сводила свои счеты, Владиміръ столкнулся съ Машей.

Маша съ покраснѣвшимъ взволнованнымъ лицомъ спѣшила куда-то. Братъ остановилъ ее.

— Что такое съ тетей, что?

— Не знаю! — поспѣшно, растерянно отвѣтила Маша.— Кажется, нехорошо... Сейчасъ вотъ Штейнманъ пріѣхалъ... онъ тамъ... прописалъ... нужно скорѣй въ аптеку послать...

— Мнѣ можно туда?

— Не знаю, должно быть можно.

Она побѣжала съ рецептомъ въ сосѣдную комнату и изо всѣхъ силъ дернула сонетку.

Владиміръ остановился у двери спальни Клавдіи Николаевны, прислушался. Все тихо. Онъ осторожно повернулъ дверную ручку, дверь поддалась, беззвучно отворилась. Онъ заглянулъ— полумракъ. Драпировки на окнахъ спущены, широкая кровать прикрыта огромнымъ стеганымъ одѣяломъ, и если-бы на подушкѣ не обрисовывалось, обрамленное чепчикомъ, маленькое,

прозрачное лицо старушки, то можно было-бы подумать, что на кровати никого нѣтъ—такъ худо и плоско было это бѣдное тѣло; тяжелое одѣяло совсѣмъ почти не обрисовывало его формъ.

Въ креслѣ, у кровати, Владиміръ разглядѣлъ знакомую фигуру доктора Штейнмана. Это былъ высокій пожилой русскій нѣмецъ, весь выбритый, съ прилизанными сѣдоватыми волосами, съ добродушнымъ розовымъ лицомъ, на которомъ, когда докторъ говорилъ, мелькало даже совсѣмъ дѣтское, наивное выраженіе.

Докторъ Штейнманъ пользовался репутаціей опытнаго и хорошаго медика. Онъ имѣлъ вѣрный взглядъ, почти всегда безошибочно опредѣлялъ болѣзнь и старался давать больнымъ своимъ какъ можно меньше лѣкарствъ. Онъ уже давно внутри себя питалъ глубокое убѣжденіе, что аптечная кухня кромѣ вреда ничего не приноситъ, но держалъ это убѣжденіе въ глубокой тайнѣ и оно сказывалось только въ меланхолическомъ выраженіи его лица, когда онъ считалъ себя обязаннымъ прописывать какое-нибудь сильно дѣйствующее лѣкарство.

Онъ обернулся при входѣ Владиміра, осторожно поднялся съ кресла, пожалъ ему руку и сказалъ:

— Ничего... сядьте!

Владиміръ подошелъ къ кровати, наклонился надъ Клавдіей Николаевной.

Она открыла глаза, пристально взглянула на него, вздохнула, съ видимымъ трудомъ высвободила изъ-подъ одѣяла свою дрожащую руку. Онъ взялъ эту, какъ ледъ холодную, руку, прижалъ ее къ губамъ своимъ и опять взглянулъ на ея лицо. Сердце его тоскливо сжалось.

Почему? Что съ ней? Можетъ быть ничего—пройдетъ; вѣдь, она больна не въ первый разъ. Но отчего у нея такое странное лицо, такое новое лицо, какого онъ никогда не видалъ прежде?

— Владиміръ, другъ мой...—едва слышно произнесла она и глаза ея закрылись.

Онъ стоялъ не шевелясь. Время отъ времени она тяжело дышала. Время отъ времени, очевидно, сильныя страданія сжимали мускулы ея лица,—тогда она слабо начинала биться, будто ей дышать было нечѣмъ. А затѣмъ она впадала въ полную неподвижность.

Наконецъ, Владиміръ отошелъ отъ кровати и шепнулъ доктору:

— Выйдемте на минуту.

Тотъ молча за нимъ послѣдовалъ. Когда они очутились въ

зеленой комнатѣ и Владиміръ взглянулъ на доктора, онъ сразу, по его лицу, понялъ окончательно то, что уже предчувствовалъ тамъ, у ея кровати.

— Неужели это такъ серьезно?—спросилъ онъ.

— Да,—отвѣтилъ Штейнманъ, дѣлая дѣтскую и въ то - же время печальную мину.

— Да что-же это?... Отчего это такъ вдругъ?

— Это не вдругъ,—заговорилъ докторъ.—Я давно уже это предвидѣлъ и боялся; я еще въ прошломъ году говорилъ Софѣ Сергѣевнѣ... Надо удивляться, какъ она до сихъ поръ могла жить... И ужъ я никакъ не думалъ, что мы раньше нея похоронимъ Бориса Сергѣевича.

— Какая-же это болѣзнь?

Штейнманъ опустилъ голову и грустно усмѣхнулся кончиками губъ.

— Собственно, болѣзни никакой нѣтъ... жизни нѣтъ—вся вышла... вотъ какъ свѣчка догораетъ...

— Такъ, значитъ, никакой, никакой надежды... и скоро?

— Каждую минуту ждать можно.

Владиміръ уже не могъ разсуждать; въ немъ поднялось инстинктивное возмущеніе противъ этого безсилія, противъ равнодушія, съ которымъ, какъ ему казалось, говорилъ докторъ.

— Да какъ-же... вѣдь, еще вчера она была какъ и всегда! Она обѣдала съ аппетитомъ, вечеромъ я говорила съ нею около часу, здѣсь вотъ, въ этой комнатѣ... Какъ-же это такъ вдругъ?

— Такъ это всегда бываетъ, опять-таки — какъ свѣчка... горитъ ровно и вдругъ фитиль на сторону, мигъ—и она потухла!.. Сердце служить не можетъ...

Владиміръ совсѣмъ разсердился на доктора и едва удержался, чтобы не выразить ему этого.

— Она сама сознаетъ свое положеніе? — наконецъ спросилъ онъ послѣ долгого молчанія.

— Покуда еще, кажется, нѣтъ; по крайней мѣрѣ ни сестрицамъ вашимъ, ни мнѣ ничего не говорила.

Въ это время въ спальнѣ слышался какъ-будто шорохъ. Клавдія Николаевна слабо застонала.

Докторъ кинулся туда и тотчасъ-же вернулся къ двери, маня Владиміра.

— Вотъ, васъ зоветъ!—таинственно шепнулъ онъ.

Владиміръ поспѣшилъ къ кровати.

Клавдія Николаевна глядѣла на него нѣсколько секундъ страннымъ взглядомъ, отъ котораго ему становилось неловко и мучительно. Наконецъ, губы ея зашевелились.

— Володя, другъ мой,—произнесла она, стараясь говорить

какъ можно яснѣе и съ видимымъ усиліемъ ворочая языкомъ:—
конецъ мой... распорядись... за отцомъ Николаемъ...

— Тетя, зачѣмъ-же? Вы поправитесь...

Онъ самъ не зналъ, что говорить.

— Пошли поскорѣе...—шепнула она, закрывая глаза.

Онъ поспѣшилъ исполнить ея желаніе.

Черезъ полчаса всѣ собрались въ ея комнатѣ, въ ожиданіи священника.

Маша то и дѣло утирала слезы, у нея даже носъ покраснѣлъ и губы дрожали отъ сдерживаемыхъ рыданій. Она часто подходила къ Клавдіи Николаевнѣ, желая узнать, не нужно-ли ей чего-нибудь, чтобы поправить ей подушку, но тотчасъ-же и отходила, какъ взглянетъ на тетку, такъ и чувствуетъ, что вотъ, вотъ сейчасъ не удержится и зарыдастъ...

Софья Сергѣевна была тутъ-же. Она сидѣла въ креслѣ неподвижно, не произнося ни слова, съ сердитымъ, суровымъ лицомъ, по временамъ нетерпѣливо подергивала плечомъ и закусывала губы.

Кокушка стоялъ у двери и сопѣлъ.

Вотъ Владиміръ вышелъ изъ спальни. Кокушка кинулся за нимъ и схватилъ его за рукавъ.

— Пошлушай... что-же это, не-не-неужели она у-у-мираетъ?

— Ахъ, да, вѣдь, ты видишь... Оставь меня...

— Та-та-къ что-же это? Опя-пя-ть въ домѣ покойникъ!... Опять гробъ! Я... я не могу, это изъ рукъ вонъ... Вшѣ вдругъ та-та-къ и штали умирать!.. Нѣтъ, я уѣду, я не оштанушъ!..

Онъ подбѣжалъ къ окну.

— Вотъ... вотъ... и погы!..

Онъ кинулся вонъ, пробѣжалъ къ себѣ, быстро одѣлся и ушелъ изъ дому. Онъ пуще всего боялся смерти и всякаго о ней напominанія и потомъ ему не терпѣлось, нужно было какъ можно скорѣе разнести по городу вѣсть, что Клавдія Николаевна умираетъ.

Черезъ нѣсколько минутъ появился отецъ Николай, извѣстный въ Москвѣ дамскій любимецъ, необыкновенный франтъ, съ вытращенными черными глазами и красивымъ, хотя грубоватымъ лицомъ. Онъ былъ законоучителемъ Владиміра еще въ пансіонѣ Тиммермана.

Съ тѣхъ поръ онъ превратился въ старика, но не утратилъ своей представительности. Про него рассказывали, что когда онъ ходитъ по церкви съ кадиломъ, то, проходя мимо собравшихся барынь, приговариваетъ:

— Pardon, mesdames!

Клавдія Николаевна объявляла это клеветою, хотя находила,

что, въ сущности, если-бы даже это и было правдой, такъ что-же тутъ такого? Она питала къ отцу Николаю глубокое почтеніе.

На этотъ разъ онъ былъ не въ лиловой моарантиковой рясѣ, какъ обыкновенно, а въ темной. Онъ печально качалъ головою и, проходя въ спальню, имѣлъ видъ скорбный и сосредоточенный: никому даже не сказалъ ни слова.

Всѣ вышли изъ спальни и стояли молча въ зеленой комнатѣ, ожидая.

Черезъ нѣсколько минутъ дверь отворилась и показался отецъ Николай.

— Слаба!—произнесъ онъ, и жестомъ пригласилъ всѣхъ войти.

Клавдія Николаевна уже пріобщилась Святыхъ Тайнъ и лежала неподвижно, съ вытянутыми поверхъ одѣяла руками. Она безучастно, повидимому, глядѣла передъ собою.

Маша не выдержала и громко зарыдала. Умиравшая раз-слышала это рыданіе, съ усиліемъ повернула голову, ея губы шептали:

— Зачѣмъ?.. Прощайте, дѣти...

Маша припала къ ея рукѣ, заливаясь слезами. Владиміръ тоже склонился надъ нею. Софи стояла въ ногахъ кровати, совсѣмъ блѣдная, все съ тѣмъ-же мрачнымъ и сердитымъ лицомъ.

— Прощайте!—повторила старушка.— Дѣлала что могла... простите...

Она замолчала. Изсохшая грудь ея тяжело поднялась, разъ, другой... затѣмъ вдругъ какъ-то упала подъ тяжелымъ одѣяломъ, все бѣдное тѣло содрогнулось, потомъ изъ груди вырвался хриплый стонъ, голова безпомощно склонилась къ плечу, глаза закатились...

Докторъ осторожно отстранилъ Машу и Владиміра, наклонился надъ кроватью и потомъ вдругъ отошелъ, жестомъ показывая, что все кончено.

Маша упала въ кресло, закрывая лицо платкомъ. Софи по-прежнему стояла, будто окаменѣвъ. Владиміръ, у котораго изъ глазъ одна за другою катились слезы, припалъ поцѣлуемъ къ прозрачной, маленькой, застывавшей рукѣ и благоговѣйно закрылъ глаза покойницѣ.

Онъ только въ эту минуту со всею силою почувствовалъ, до какой степени онъ любилъ ее и какъ много терялъ съ этой странной, жалкой старушкой.

Между тѣмъ въ спальнѣ уже появилось нѣсколько горничныхъ... кто-то сталъ всхлипывать...

Владиміръ ничего не видѣлъ; онъ шатаясь вышелъ, и спускаясь внизъ, къ себѣ, повстрѣчалъ старика Степана.

Степанъ со смерти Бориса Сергѣевича рѣдко показывался. Онъ или сидѣлъ, запершись у себя въ комнаткѣ, или бродилъ по дальней аллеѣ сада съ книгою въ рукахъ. Онъ совсѣмъ сгорбился, одряхлѣлъ. Сначала было думалъ проситься въ Горбатовское, къ бариновой могилкѣ, но потомъ вдругъ рѣшилъ, что нѣтъ, что ему слѣдуетъ остаться доживать свой вѣкъ «при Володенькѣ». И между нимъ и Владиміромъ было рѣшено, что они вмѣстѣ отправятся въ Петербургъ.

Владиміръ взглянулъ на старика и безнадежно махнулъ рукою.

— Слышалъ, батюшка, слышалъ! — отвѣтилъ тотъ, шамкая своимъ почти беззубымъ ртомъ. — Иду, вотъ, поклониться покойницѣ... Охъ, горе, горе! И всегда-то оно такъ бываетъ — одна смерть въ домѣ зоветъ другую...

КОНЕЦЪ ПЕРВОЙ ЧАСТИ.

Вс. С. СОЛОВЬЕВЪ.

ХРОНИКА ЧЕТЫРЕХЪ ПОКОЛѢНІЙ.

ПОСЛѢДНІЕ ГОРБАТОВЫ

РОМАНЪ СЕМИДЕСЯТЫХЪ ГОДОВЪ XIX ВѢКА

ВЪ ДВУХЪ ЧАСТЯХЪ.

Окончаніе романовъ «СЕРГѢЙ ГОРБАТОВЪ», «ВОЛЬТЕРЬЯНЕЦЪ»,
«СТАРЫЙ ДОМЪ» и «ИЗГНАННИКЪ».



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

ИЗДАНИЕ Н. Ө. МЕРТЦА.

1904.

Довѣлено цензурою. С.-Петербургъ, 3 марта 1904 года.

Типографія Т-ва «Народная Польза». Спб., Коломенская 39, соб. д.

ПОСЛѢДНІЕ ГОРБАТОВЫ.

ИСТОРИЧЕСКІЙ РОМАНЪ ВЪ ДВУХЪ ЧАСТЯХЪ.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

I.

Колдунъ.

Петербургскій домъ Горбатовыхъ оставался неизмѣннымъ. Почти полтора столѣтія протекли надъ нимъ. Когда-то онъ гордо возвышался среди пустырей, маленькихъ домиковъ. Онъ поражалъ своей величавой красотой, своими гигантскими размѣрами. Теперь вокругъ него, тѣсня его со всѣхъ сторонъ, поднялись огромные, многоэтажные дома и совсѣмъ его задавили. Онъ будто присѣлъ, будто ушелъ въ землю. Изъ величаваго, гордаго красавца превратился онъ въ сгорбленнаго, ветхаго старца. Цвѣтъ его камня, потемнѣвшаго, будто замшившагося отъ времени, такъ не гармонировалъ съ блестящими свѣтлыми сосѣдями. Его старыя окна казались такими тусклыми, будто не зрячими...

Но все это представлялось только съ перваго взгляда. Если всмотрѣться хорошенько, сгорбленный, приниженный старецъ все-же носилъ на себѣ отпечатокъ дѣйствительнаго величія. Его древніе фронтоны оставались художественнымъ произведеніемъ, каждая колонка, каждая извилина линіи говорили о строго выдержанномъ стилѣ. И чѣмъ больше глядѣть на него, тѣмъ болѣе неуклюжими, безвкусными и безобразными являлись придавившія его огромныя и однообразныя выскочки...

Нѣ измѣнясь снаружи, Горбатовскій домъ очень мало измѣнился и внутри. Давно, давно, еще со времени Катерины Михайловны, его слѣдовало совсѣмъ обновить, и она въ послѣдній годъ своей жизни мечтала объ этомъ, рассчитывая на средства Бориса

Сергѣевича. Но она умерла, не приведя мечты свои въ исполненіе... Глухая драма разбросала потомъ семью...

На одной половинѣ дома осталась Мари со своимъ Гришей, другая половина была въ распоряженіи Сергѣя Владиміровича. О передѣлкахъ и обновленіи никто не думалъ.

Такъ шли года. Правда, въ послѣднее время, когда уже подросло новое поколѣніе, Марья Александровна, главнымъ образомъ вслѣдствіе пріѣзда племянницы, Софи, нѣсколько обновила парадныя комнаты, гдѣ пришлось дать два, три бала. Но все-же весь домъ оставался въ своемъ поблекшемъ прекрасномъ уборѣ. Если-бы Катерина Михайловна была жива теперь, она сама, вѣроятно, не пожелала-бы ничего перемѣнять — именно такая старинная обстановка начинала входить въ моду...

Одною изъ самыхъ жилыхъ комнатъ въ домѣ была теперь огромная библіотека, гдѣ проводилъ почти все свое время Николай Владиміровичъ, уже многіе года, съ самаго своего возвращенія изъ Азіи. Онъ и спальню себѣ устроилъ въ сосѣдней комнатѣ. Библіотека оставалась въ томъ-же видѣ, какъ была устроена Сергѣемъ Горбатовымъ въ концѣ прошлаго вѣка. Теперь прибавилось только два новыхъ шкафа, наполненныхъ книгами, по большей части старинными, крайне рѣдкими, съ большими затратами и трудомъ выписанными и добытыми Николаемъ Владиміровичемъ. Въ эту библіотеку никому изъ постороннихъ не было доступа. Но если-бы кто-нибудь зашелъ и заглянулъ на полки новыхъ шкафовъ, то, конечно, изумился-бы, увидя заглавіе книгъ латинскихъ, французскихъ, англійскихъ и нѣмецкихъ. На заглавномъ листѣ одной онъ разобралъ-бы: «*Adamus supra mundum*»; другая называлась: «*La vérité sortant du puits hermétique, ou la vraie quintessence solaire et lunaire, Baume radical de tout Estre, et l'origine de toute Vie...*» и т. д. Затѣмъ шли сочиненія Теофраста-Парацельса, Трисмегиста, Николая Фламелья, Синезія... Книги Розенкрейцеровъ, Масоновъ... Творенія Александрійской школы...

Однимъ словомъ, это была рѣдкая по своей полнотѣ коллекція всѣхъ извѣстныхъ и неизвѣстныхъ отъ древности и до настоящаго времени мистиковъ, упорныхъ и фанатическихъ искателей и проповѣдниковъ всего того, что наука первыхъ трехъ четвертей девятнадцатаго вѣка, вчерашняя наука признала бабьими сказками. Вмѣстѣ съ этими странными книгами въ нижнихъ ящикахъ шкафовъ хранились древнія рукописи, по большей части на санскритскомъ языкѣ, вывезенныя Николаемъ Владиміровичемъ изъ Тибета и Индіи. На шкафахъ, по сосѣдству съ бюстами знаменитостей прошлаго вѣка, пріютилось нѣсколько необыкновенно й формы вазъ, куски какихъ-то камней и рудъ... Бронзо-

вый Вольтеръ, со своей безсмертной ехидной усмѣшкой, глядѣлъ на маленькаго Будду, въ свою очередь устремившаго на него неподвижный и загадочный взоръ...

Быль довольно ранній утренній часъ. Зимній морозный день засматривалъ въ широкія, потускнѣвшія отъ времени окна библіотеки. Николай Владиміровичъ сидѣлъ передъ большимъ столомъ въ глубокомъ креслѣ. На его колѣняхъ лежала старая книга, которую уже больше часу онъ читалъ съ глубокимъ вниманіемъ. Теперь онъ ее закрылъ, положилъ на столъ и задумался.

Что осталось отъ прежняго человѣка! Даже глаза, большіе черные глаза, когда-то выражавшіе весь его внутренній міръ, то метавшіе страстный огонь, то заволакивавшіеся безнадежной грустью, совсѣмъ измѣнились. Они глядѣли глубоко и спокойно и въ то-же время загадочно, и ничего уже нельзя было прочесть въ ихъ странномъ взглядѣ. Онъ только невольно на себѣ останавливалъ, и нервному человѣку становилось отъ него жутко...

Когда-то густые кудри порѣдѣли и обнажили высокій лобъ. Красивое лицо было блѣдно, очень блѣдно, хотя въ немъ не замѣчалось ничего болѣзненнаго. Мелкія морщинки избороздили тонкую кожу. Не очень густая съ просѣдью борода спадала на грудь.

Николай Владиміровичъ сидѣлъ закутавшись въ мягкія складки чернаго бархатнаго халата, и на черномъ бархатѣ особенно ярко выдѣлялись опущенныя на колѣни его тонкія и бѣлыя, почти женскія руки.

Удивительно странное впечатлѣніе производилъ этотъ чело-вѣкъ. Онъ казался какимъ-то видѣніемъ далекаго прошлаго, будто вызваннымъ изъ глубины среднихъ вѣковъ, изъ какого-нибудь затерявшагося въ горахъ замка или монастыря. А между тѣмъ чувствовалось, что онъ вовсе не заботится о своей внѣшности и самъ не знаетъ производимаго имъ впечатлѣнія. Онъ сдѣлался такимъ не потому, что желалъ этого, такимъ сдѣлало его время, особенности его внутренней жизни, его привычки; такимъ, мало-по-малу, сдѣлалъ его каждый новый день, истекшій со времени его страннаго и таинственнаго путешествія...

Николай Владиміровичъ опять раскрылъ только-что покинутую имъ книгу, поискалъ въ ней что-то, прочелъ и едва замѣтно улыбнулся.

«Ну да!» почти вслухъ проговорилъ онъ, какъ дѣлалъ это теперь не рѣдко; невольно, и самъ того не замѣчая въ уединеніи своей огромной библіотеки, въ бесѣдѣ со своими книгами. «Ну да, конечно, онъ говоритъ объ этомъ... и не смѣетъ даже намекнуть... И ему и въ голову не могло придти, что пройдетъ

триста лѣтъ, и его страшная тайна, открытіе которой профанамъ грозило ему вѣчной погибелю, сдѣлается общимъ достояніемъ!.. Да, мало-по-малу открываются всѣ хранимыя имъ тайны и придетъ время, когда и тайны еще болѣе важныя, глубокія и даже ему неизвѣстныя, станутъ явными... Бабы сказки превратятся въ дѣйствительность, самую простую, естественную, обыкновенную. Въ какомъ-же видѣ явятся тогда теперешніе умники?!» Онъ взялъ лежавшую тутъ-же рядомъ на столѣ газету, прочелъ въ ней маленькую статейку, потѣшавшуюся надъ какимъ-то заграничнымъ, пріѣхавшимъ въ Петербургъ, «фокусникомъ», и совсѣмъ уже весело улынулся.

Впрочемъ, улыбка его быстро исчезла. Онъ нахмурилъ брови, потомъ всталъ, нѣсколько разъ прошелся по библіотекѣ, опять подошелъ къ своему креслу, какъ будто оглядѣлся, глаза его устремились вдаль, въ нихъ мелькнуло что-то неуловимое, какъ будто печальное. Мелькнуло—и исчезло. Можно было подумать, что онъ вернулся къ прошлому, о чемъ-то вспомнилъ...

Немудрено это было. Эта библіотека, все, что его окружало, могло навести его на многія воспоминанія. Здѣсь, за этимъ столомъ, прошло столько разнообразныхъ минутъ его жизни. Здѣсь, на этомъ мѣстѣ онъ пережилъ всю грозу своей мучительной страсти. Здѣсь долженъ былъ витать надъ нимъ, въ долгіе, тихіе часы, образъ безумно любимой имъ, погибшей жертвой этой любви, Наташи...

Сколько разъ она, живая, юная, прелестная, склонялась предъ нимъ надъ этимъ самымъ столомъ, разбираясь въ книгахъ, увлекаясь въ тихой бесѣдѣ, въ дружеской тихой бесѣдѣ, которая была полна незримой смертельной отравы... Здѣсь, у этого стола, когда-то остановились другъ передъ другомъ Наташа и Мари и разошлись, не въ силахъ будучи сдержать своего израненнаго сердца. Сердце Наташи разбилось. Мари вынесла. Она здѣсь, она жива... И вотъ, многіе годы онъ подъ однимъ кровомъ съ женою... Объ ней-ли онъ думаетъ? Нѣтъ, онъ не вспомнилъ ничего, ни о чемъ не сказалъ ему взглядъ, брошенный на предметы, полные воспоминаній...

Его мысли были далеко, въ той таинственной сферѣ, о которой онъ никому не говорилъ, куда онъ никого не допускалъ...

Онъ машинально опустилсѣ въ кресло и еще глубже задумался.

Однако, мало-по-малу, цѣпляясь одна за другую, его мысли изъ таинственной дали вернули его обратно сюда, къ этой, улетающей вслѣдъ за другими, минутѣ его жизни, и теперь онъ подумалъ о женѣ своей. Онъ ее видѣлъ наканунѣ только мелькомъ и уже нѣсколько дней не обмѣнялся съ ней почти ни однимъ словомъ.

«Но, вѣдь, вотъ—сказка!»—прошепталъ онъ и улыбнулся.

Онъ всталъ и остановился среди комнаты, закрылъ на мгновение глаза, а когда открылъ ихъ, то все лицо его преобразилось. Оно стало еще блѣднѣе, брови были крѣпко сжаты, на всѣхъ чертахъ застыло выраженіе какъ-бы необычайнаго усилія воли.

Онъ произнесъ: «Мари!»—и протянулъ впередъ руки.

Прошла минута, другая. Онъ ждалъ все съ тѣмъ-же неподвижнымъ выраженіемъ усилія. Его тонкіе пальцы время отъ времени слабо вздрагивали.

Наконецъ онъ опустилъ руки.

Дверь скрипнула, чей-то тихій голосъ спросилъ:

— Можно войти?

Онъ отвѣтилъ:

— Конечно!

Изъ-за портьера показалась Марья Александровна.

Онъ встрѣтилъ ее ласковой и спокойной улыбкой.

II.

Признанія.

Марья Александровна протянула мужу руку и не могла не замѣтить, что онъ какъ-бы съ нѣкоторымъ колебаніемъ и очень послѣшно пожалъ ее и потомъ приложился къ ней, именно приложился, своими холодными губами.

Она вообще очень часто замѣчала, что онъ всячески старается избѣгать прикосновеній къ кому-либо.

— Тебѣ что-нибудь надо, Мари?—спросилъ Николай Владиміровичъ, придвигая ей кресло и не спуская съ нея своего загадочнаго взгляда.

— Нѣтъ,—прошептала она.

И сама вдругъ удивилась, зачѣмъ это пришла сюда въ такой необычайный часъ. Зачѣмъ вдругъ оторвалась отъ дѣловаго письма, которымъ была занята, и спѣшила сюда, чрезъ длинный рядъ комнатъ, отдѣлявшихъ ея помѣщеніе отъ библіотеки, спѣшила будто боясь потерять секунду, будто имѣла передать мужу что-нибудь крайне важное.

— Нѣтъ!—повторила она смущаясь.—У меня нѣтъ до тебя никакого дѣла, Николай.

Онъ едва замѣтно улыбнулся и все продолжалъ глядѣть на нее.

— А между тѣмъ ты вдругъ почувствовала необходимость придти ко мнѣ?—медленно проговорилъ онъ.—Ты спѣшила? Да?

Она даже поблѣднѣла и съ безпокойствомъ взглянула на это, всю жизнь знакомое ей и до сихъ поръ всегда какъ-будто новое, загадочное и непонятное лицо.

— Да, но что-же это значить?

— Это значить, — отвѣчалъ онъ все тѣмъ-же спокойнымъ голосомъ, все такъ-же медленно, — значить, что я позвалъ тебя... Вѣдь, это не въ первый разъ—вспомни?!

Она знала, что не въ первый разъ. Она поблѣднѣла еще больше и внутренно невольно шептала молитву.

Вотъ она только-что забылась въ это послѣднее время, поглощенная живыми, ежедневными заботами. Въ домѣ большія перемѣны: московскіе молодые Горбатовы переѣхали сюда послѣ смерти своей воспитательницы Клавдіи Николаевны; много всякихъ заботъ и хлопотъ... Затѣмъ Гриша. Онъ не на шутку задумалъ жениться на Бородиной. По своимъ религіознымъ воззрѣніямъ, а главное потому, что ужъ исподволь высмотрѣла ему невѣсту, она была противъ этого брака. Но у Гриши такой характеръ... съ нимъ справиться трудно.

Все это ее и тревожить и наполняетъ ея время, ея мысль, весь ея внутренній міръ. Не забываетъ она и своей разнообразной благотворительной дѣятельности, не забываетъ и церковь, не оставляетъ частыхъ бесѣдъ съ нѣсколькими почитаемыми ею духовными лицами...

Такъ проходятъ дни и иногда она не успѣетъ оглянуться, а день уже прошелъ, начинается новый.

Но вотъ опять поднялся этотъ признакъ, который она такъ упорно всегда отъ себя отгоняетъ, который исчезъ было теперь, заслоненный иными, ясными, осязаемыми предметами... Опять!

И Марья Александровна почувствовала въ себѣ мучительный трепетъ. Этотъ призракъ — тяжелый крестъ ея жизни. Она честно и мужественно перенесла свое старое горе. Проснувшійся въ ней спокойный разумъ, горячая вѣра, глубокая религіозность спасли ее отъ тоски и отчаянія. Она все забыла, все простила, со всѣмъ примирилась, мало того — даже все поняла. И когда мужъ ея, хоть и навсегда для нея потерянный, какъ она была увѣрена, но все-же остававшійся ей самымъ близкимъ и дорогимъ человекомъ, вернулся изъ своего долгаго и непонятнаго путешествія, она встрѣтила его совсѣмъ новой женщиной.

Его пріѣздъ и его молчаливое согласіе поселиться снова подъ однимъ общимъ кровомъ принесли ей большую отраду. Ей было довольно того, что онъ живъ, что онъ вернулся, что онъ съ нею и что она ему не чужая. Она сразу увидѣла это. Между ними не было никакихъ объясненій, сама собою сложилась новая жизнь. Они теперь были другъ для друга братомъ и сестрою...

Марья Александровна, новая, измѣненная, въ которой отъ прежняго ничего не осталось, находила, что иначе и не можетъ быть, что такъ надо и что такъ хорошо. О прошломъ не было и помину—оба они берегли другъ друга...

Но послѣ перваго быстро пролетѣвшаго времени когда складывался и успокаивался новый образъ жизни, Марья Александровна убѣдилась, что если она стала другая, то еще больше другимъ сталъ Николай. Съ каждымъ днемъ все болѣе изумляясь, и тревожась, вглядывалась она въ этого новаго человѣка. Было время когда она съ ужасомъ даже готова была почестъ его помѣшаннымъ. Онъ началъ свою странную отшельническую жизнь, почти отказался отъ общества. Мало-по-малу онъ превращался въ того чудака, какимъ его теперь всѣ знали.

Онъ много рассказывалъ ей о своихъ путешествіяхъ и жизни въ глубинѣ Индіи, въ горахъ Гималая. Рассказывалъ о своемъ знакомствѣ и близкихъ отношеніяхъ съ восточными учеными браминами. Она видѣла привезенные имъ фотографическіе портреты; съ этихъ портретовъ на нее глядѣли темныя, странныя лица...

Онъ очень интересно рассказывалъ о нѣкоторыхъ замѣчательныхъ явленіяхъ, непостижимыхъ «фокусахъ», которыхъ она смотрѣлась и которымъ даже отчасти выучилась...

Повидимому, онъ былъ откровененъ. А между тѣмъ она хорошо чувствовала, что онъ говоритъ ей далеко не все, что его путешествіе носитъ въ себѣ что-то дѣйствительно таинственное, тщательно имъ скрываемое, что между ними лежитъ какая-то тайна...

И вотъ, сначала незамѣтно, а потомъ все яснѣе, ей въ голову начинала закрадываться странная мысль:

«Да, тайна есть и эта тайна ужасна! А что если онъ тамъ, въ этой странѣ, дикой, непонятной странѣ, погубилъ свою душу, что если онъ вернулся отступникомъ отъ вѣры въ истиннаго Бога?.. Мало того—принявшимъ новое, темное вѣрованіе?!..»

Она гнала отъ себя эту мысль, но укрѣплялась въ ней больше и больше, хотя, собственно говоря обвинять, мужа она не могла ни въ чемъ. Въ его спальнѣ надъ его кроватью, какъ и въ прежніе годы, помѣщался старый фамиліный образъ, съ которымъ онъ никогда не разставался. Не разъ, желая испытать его, она звала его съ собою въ церковь, и онъ никогда ей въ этомъ не отказывалъ.

Слѣдя за нимъ, она должна была убѣдиться, что онъ теперь гораздо болѣе проводить въ жизнь евангельское ученіе, чѣмъ дѣлалъ это прежде. Объ его прежнемъ гнѣвѣ и раздражительности не было теперь и помину, ничто уже не выводило его изъ кроткаго спокойствія, никто изъ домашнихъ и вообще изъ лю-

дей, приходившихъ съ нимъ въ столкновеіе, не слыхаль отъ него нетерпѣливаго, рѣзкаго слова. Онъ со всѣми былъ добръ и ласковъ. Только онъ все больше и больше уходилъ отъ жизни. Всѣ житейскія заботы, всѣ денежныя дѣла были въ рукахъ Марьи Александровны.

Онъ превратился въ какого-то монаха, даже постника. Вотъ уже нѣсколько лѣтъ какъ никто никогда не видѣлъ его за обѣдомъ не только въ чужихъ домахъ, но и у себя. Онъ постоянно ѣлъ здѣсь, въ этой библіотекѣ. Онъ отказался отъ всякаго мяса и отъ вина. И когда Марья Александровна, въ первый разъ узнавъ объ этомъ, спросила его, что это значитъ, онъ очень просто ей отвѣтилъ:

— Я нахожу, что такой режимъ полезенъ для моего здоровья!

И прибавилъ съ улыбкой:

— Не ты же, Мари, такъ строго теперь соблюдающая посты, будешь меня отговаривать?..

— Посты—это совсѣмъ другое!—замѣтила она,—всему свое время... Но этотъ вѣчный постъ...

Однако она тотчасъ-же остановилась, она не считала себя въ правѣ вмѣшиваться. Она не хотѣла стѣснять его чѣмъ бы то ни было. Ей только становилось все тревожнѣе...

Наконецъ появился и призракъ. Марья Александровна должна была убѣдиться, что ея мужъ сталъ особеннымъ человѣкомъ, что въ немъ развились непостижимыя способности. Много разъ, слишкомъ много разъ, онъ доводилъ ее до глубокаго потрясенія, глядя ей прямо въ глаза этимъ своимъ страннымъ, вывезеннымъ изъ Индіи взглядомъ, и рассказывая ей ея мысли. Она приходила къ нему иногда съ какимъ-нибудь вопросомъ, не успѣвала еще сказать и слова, а онъ ужъ отвѣчалъ ей на этотъ вопросъ опредѣленно и ясно.

Много разъ онъ сообщалъ ей о томъ или другомъ болѣе или менѣе важномъ происшествіи, которое, по его словамъ, должно было непременно совершиться. И каждый разъ онъ отгадывалъ.

— Да что-же это такое? Что это значитъ?—робко спрашивала она.

— Способность, которую я въ себѣ развиваю! — отвѣчалъ онъ.—Развѣ я одинъ?.. Вѣдь, ты же сама утверждаешь, что нѣкоторыя «гадалки» тебѣ вѣрно предсказывали и говорили удивительныя вещи... Ну, значитъ, я тоже «гадальщикъ», — что-же тутъ такого?!

Она замолчала, а страшный призракъ стоялъ передъ нею.

Во время отсутствія мужа изъ дома, она нерѣдко приходила въ его библіотеку и разглядывала его книги. Она ихъ плохо по-

нимала, но то, что было въ нихъ для нея ясно, только еще больше ее тревожило.

Наконецъ она выговорила себѣ самой страшныя слова: «колдовство», «кабала», «магія»...

«Да, вѣдь, это вздоръ, пустяки, это бредъ, сказки!.. Вѣдь, этого нѣтъ и быть не можетъ!.. Что-жъ онъ, дѣйствительно, потерялъ разсудокъ?!»

Но нѣтъ, она признавала его страннымъ, таинственнымъ, но не сумасшедшимъ. И потомъ, вѣдь, она знала, что эти его способности—не фантазія.

Онъ продолжалъ время отъ времени все больше и больше изумлять и ужасать ее. Она совсѣмъ терялась. И не съ кѣмъ было ей посоветоваться, не у кого было просить помощи. Можетъ быть, она могла-бы найти эту помощь у тѣхъ духовныхъ лицъ, бесѣда съ которыми ей доставляла такую отраду, но она никому не говорила о своемъ призракѣ. Она все это держала въ глубокой тайнѣ и желала только одного, чтобы оно такъ и осталось тайною.

Николай Владиміровичъ, съ своей стороны, никому кромѣ нея не высказывалъ своихъ странныхъ способностей. Для всѣхъ онъ былъ теперь только чудакомъ—и ничего больше. У него не было ни одного друга, ни одного близкаго человѣка, никто не зналъ какъ онъ проводитъ свою жизнь, чѣмъ занятъ, да никто теперь этимъ и не интересовался...

Теперь, сейчасъ вотъ, призракъ опять всталъ со всею ужа-сающей таинственностью: черезъ пространство, черезъ цѣлый рядъ старинныхъ стѣнъ, невѣдомымъ способомъ мужъ позвалъ ее и она послушно, забывъ все, явилась на этотъ неслышный зовъ.

«Колдунъ, колдунъ, чернокнижникъ!—повторялось въ ея мысляхъ съ невольной вѣрою во все, что съ дѣтства считалось ею за сказки и бредни. Она съ ужасомъ глядѣла на мужа.

— Колдунъ, колдунъ, чернокнижникъ!»—проговорилъ Николай Владиміровичъ, качая головой и улыбаясь.

Она слабо вскрикнула:

— Господи, да что-же это такое!—и перекрестилась.

— Мари, успокойся!—сказалъ онъ,—зачѣмъ ты себя мучаешь понапрасну...

— Такъ успокой меня, объясни, конечно, это мученье, объясни наконецъ, мнѣ становится страшно...

Онъ задумался и потомъ поднялъ на нее глаза; въ нихъ теперь все было спокойно, они глядѣли прямо, кротко и правдиво и она какъ-бы утихала душою подъ этимъ взглядомъ.

— Не колдунъ и не чернокнижникъ,—заговорилъ онъ,—по-

тому что никакая темная и злая сила не руководить мною, потому что зла какого-нибудь, по крайней мѣрѣ вольнаго, я не дѣлаю и не могу дѣлать. Другъ мой, я просто непризнанный и невѣдомый ученый, много лѣтъ работающій въ тиши для себя, для своего внутренняго удовлетворенія.

— Что-же это за наука такая?—въ недоумѣніи спрашивала Марья Александровна.

— Какъ тебѣ назвать ее—наука, въ которой заключаются всѣ науки, изученіе силъ природы, силъ тайныхъ и удивительныхъ, разлитыхъ во всемъ мірѣ и дѣйствующихъ по неизмѣннымъ, непреложнымъ законамъ... Тогда—ты знаешь про какое время я говорю—мнѣ осталось или умереть, или найти какой-нибудь новый, совсѣмъ особенный интересъ въ жизни... Покойный дядя мнѣ помогъ, онъ уговорилъ меня ѣхать въ глубину Азіи, обѣщалъ чудеса, поразилъ меня, заинтересовалъ даже въ тогдашнемъ моемъ душевномъ состояніи... Однимъ словомъ, я кинулся съ отчаянія какъ-бы въ бездну... Мое первое путешествіе, мое знакомство съ новыми странами и людьми—все это было для меня какъ въ туманѣ... Наконецъ я очутился въ такой обстановкѣ, какая мнѣ никогда и не снилась... Въ горахъ, куда врядъ-ли до меня ступала нога европейца, въ совсѣмъ дикой мѣстности, въ древнемъ, существующемъ тысячи лѣтъ, индійскомъ храмѣ. Меня ждали, у меня былъ таинственный покровитель и другъ, странный человѣкъ, котораго я и до сихъ поръ не совсѣмъ понимаю, могущественный въ этихъ дикихъ горахъ Нуръ-Сингъ...

— Знаю, знаю! — прошептала Марья Александровна, — мнѣ дядя не разъ говорилъ о немъ и давалъ слово, что такъ какъ ты подъ покровительствомъ этого человѣка, то останешься невредимъ.

— Такъ оно и было! Онъ избавилъ меня отъ многихъ опасностей и если я живъ, и если я здѣсь, то единственно благодаря ему. Покойному дядѣ когда-то удалось оказать большую услугу людямъ, близкимъ Нуръ-Сингу. Здѣсь оказанная услуга почти всегда производитъ только новаго врага, тамъ—почти всегда она создаетъ новаго друга, и этотъ другъ не успокоится до тѣхъ поръ, пока не заплатитъ за нее сторицей. Если-бы не та старинная и даже неизвѣстная мнѣ услуга, потому что ни дядя, ни Нуръ-Сингъ никогда не говорили мнѣ, въ чемъ дѣло,—мнѣ пришлось-бы очень, очень плохо... Послѣ того какъ я оказался недостойнымъ...

— Какъ недостойнымъ!?—воскликнула Марья Александровна.

— А такъ, я долженъ былъ остаться тамъ на всю жизнь, долженъ былъ исчезнуть, а между тѣмъ я здѣсь. По ихъ законамъ я, собственно говоря, не имѣю права жить, и я увѣренъ,

что если-бы не исключительныя обстоятельства, не торжественная клятва, данная Нуръ-Сингомъ дядѣ и мнѣ, что я во всякомъ случаѣ буду въ безопасности, — меня заставили-бы исчезнуть, уничтожили-бы или тамъ, или во время обратнаго пути, или даже здѣсь...

— Николай, да, вѣдь, это ужасъ!—воскликнула въ волненіи Марья Александровна,—вѣдь, это бредъ какой-то изъ «Тысячи и одной ночи!» Куда ты попалъ?! и дядя... какъ онъ могъ вовлечь тебя!..

— Оставь дядю: кромѣ глубокой благодарности я ничѣмъ не могу помянуть его... Не ужасъ, не «Тысяча и одна ночь», а просто я пожилъ съ людьми, совсѣмъ не похожими на людей нашего общества, просто я окунулся въ нікому здѣсь невѣдомый міръ, живущій тысячелѣтія своей собственной, особенной жизнью. Я приобщился къ глубочайшей древности, рядомъ съ которою созрѣваютъ, говоря восточнымъ языкомъ, плоды будущаго... Однимъ словомъ, Мари, я былъ внимательнымъ ученикомъ восточныхъ ученыхъ... Если-бы я захотѣлъ, я могъ-бы приобрести гораздо болѣе познаній, но для этого мнѣ необходимо было навсегда отказаться отъ себя самого — и я этого не могъ... Эти странные ученые держатъ свои высшія познанія въ глубочайшей тайнѣ, страшными клятвами связываютъ они человѣка, желающаго войти въ глубину ихъ святилища, страшнымъ испытаніямъ подвергаютъ они его и прежде всего онъ долженъ отказаться отъ всего земного...

— Другъ мой, да, кажется, ты и отказался!

— Нѣтъ, потому что я здѣсь и говорю съ собою... Въ рѣшительную минуту я бѣжалъ, но унося съ собою многое. Кое-что мнѣ уже было открыто и это кое-что оказалось для меня цѣлымъ новымъ міромъ. Вернувшись сюда, я сталъ разбираться въ этомъ полученномъ мною сокровищѣ и съ тѣхъ поръ работаю неустанно, иду впередъ, иду самъ, безъ посторонней помощи, по пути, мнѣ указанному моими странными учителями...

— Чернокнижники!—онъ кивнулъ головою по направленію къ шкафамъ съ мистическими книгами.—Это не черная магія и не бредни, то-есть нѣтъ, бредней тамъ много, много дѣтской наивности, но много и вещей удивительныхъ. Эти книги — это іероглифы, непонятные знаки для тѣхъ, кто не былъ, какъ я, въ школѣ восточныхъ ученыхъ. Многія изъ этихъ книгъ, лѣтъ десять тому назадъ, я прочелъ и бросилъ какъ вздоръ, не понявъ въ нихъ ничего. Теперь я уже разбираю почти всѣ іероглифы...

— Но къ чему тебѣ все это, я все-же не понимаю?

— Къ чему?! Это суть моей жизни, это моя дѣятельность... Ты-же сама знаешь, что я прихожу къ интереснымъ открытіямъ

— И это даетъ тебѣ счастье?

— Счастье—нѣтъ, но это даетъ мнѣ возможность жить... переносить жизнь... наполнять ее...

— Такъ если это ни что иное какъ наука, если ты открылъ разные поразительные законы природы,—отчего-же ты не публикуешь свои открытія?

— Если-бы я вздумалъ говорить о томъ, что знаю, меня почли-бы за сумасшедшаго, я ничего не увидѣлъ-бы, кромѣ насмѣшекъ, а насмѣшкамъ я не желаю подвергать себя хотя-бы ради васъ. Да, я дѣйствительно знаю много законовъ природы, о которыхъ еще не снилось нашимъ мудрецамъ, не снилось даже сегодня; но ужъ завтра станетъ сниться... Вѣрь мнѣ, Мари, что даже мы съ тобою увидимъ въ скоромъ времени признаніе такихъ вещей, которыя теперь европейскіе ученые называютъ вздоромъ. Все мое колдовство основано на магнетизмѣ и электричествѣ, и не сегодня—завтра эти двѣ двигающія міръ силы будутъ предметомъ изслѣдованій самыхъ глубокихъ и самыхъ талантливыхъ нашихъ ученыхъ... Не пройдетъ и четверти вѣка, какъ произойдутъ удивительныя вещи, наука откроетъ цѣлую новую область явленій... Съ меня довольно того сознанія, что я раньше всѣхъ этихъ ученыхъ знакомъ съ этой областью, живу въ ней и дѣйствую... Успокойся-же и не считай меня колдуномъ. Все это колдовство, когда оно сдѣлается общимъ достояніемъ, не будетъ войною противъ Бога, не уничтожитъ Его, а, напротивъ, приведетъ къ Его истинному пониманію... Это колдовство, сдѣлавшись наукой, нанесетъ смертельный ударъ теперешнему материализму...

Николай Владиміровичъ замолчалъ и глядѣлъ на жену съ ласковой улыбкой. Хотя въ его словахъ было для нея все-же много непонятнаго, неяснаго, но онъ хорошо видѣлъ, что она ему, наконецъ, повѣрила. Она очутилась подъ его обаяніемъ и онъ сознательно, своимъ таинственнымъ способомъ, дѣйствовалъ на нее успокоительно.

Они промолчали нѣсколько мгновеній. Но вотъ онъ снова заговорилъ:

— Однако, вѣдь, я позвалъ тебя не для того, чтобы смутить и испугать, а потому-что мнѣ нужно поговорить съ тобою?

— О чемъ?

— О Гришѣ. Ты до сихъ поръ не хочешь окончательно рѣшиться на его бракъ съ Лизой Бородиной?

— Да, мнѣ это трудно!—произнесла она.

— Ты имѣешь что-нибудь противъ Лизы?

— Какъ тебѣ сказать, ничего особеннаго не имѣю я противъ нея, хотя я, по правдѣ, считаю ее очень пустой и вѣтре-

ной дѣвочкой... Положимъ, она такъ молода, но все-же дѣло не въ ней. Ты долженъ понять, что мнѣ тяжело это близкое, хотя и не признанное закономъ, родство между нами.

Она не замѣтила, какъ блѣдное лицо Николая Владиміровича вдругъ приняло даже почти совсѣмъ мертвенный оттѣнокъ, какъ выраженіе глубокаго страданія мелькнуло въ его взглядѣ. Впрочемъ, это было мгновенно. Онъ снова спокойно глядѣлъ и говорилъ тихимъ, ровнымъ голосомъ.

— Я не буду спорить съ тобою, я только хотѣлъ тебѣ сказать, что борьба напрасна, бесполезна и что ты можешь только испортить дѣло. Этотъ бракъ нашего сына рѣшенъ, такъ суждено, такъ будетъ; онъ не ребенокъ и ты знаешь его характеръ—онъ упрямъ и настойчивъ.

— Николай!—вдругъ воскликнула Марья Александра,—вѣдь, вотъ твоя наука развила въ тебѣ такія изумительныя способности, ты можешь непонятнымъ образомъ дѣйствовать на людей,—воспользуйся этимъ, отдали Гришу отъ Лизы.

Николай Владиміровичъ улыбнулся.

— Такъ ужъ теперь ты хочешь меня сдѣлать колдуномъ!—сказалъ онъ.—Я, вѣроятно, могъ-бы исполнить твое желаніе, но не смѣю, понимаешь—не смѣю. Я не имѣю права вмѣшиваться въ судьбу людей, потому что, такимъ образомъ, долженъ былъ-бы взять на себя и всѣ послѣдствія. Говорю тебѣ—этотъ бракъ рѣшенъ, онъ долженъ совершиться. Зачѣмъ-же ты будешь вооружать противъ себя и сына, и будущую неvěстку, и ея семью. Я знаю, относительно Гриши у тебя былъ иной планъ. Но какъ-же можешь ты рѣшить, что его жизнь была-бы счастливѣе, еслибъ онъ женился на дѣвушкѣ, выбранной тобою?—Знать этого заранѣе невозможно. Михаилъ Ивановичъ сегодня пріѣдетъ и заговоритъ прямо съ тобою и потребуетъ отъ тебя рѣшительнаго «да» или «нѣтъ».

— Откуда ты это знаешь?

— На этотъ разъ самымъ обыкновеннымъ путемъ—отъ Гриши. Онъ вчера вечеромъ говорилъ со мною, и я общалъ ему предупредить тебя.

— Такъ ты рѣшительно ничего не имѣешь противъ этого брака?—задумавшись спросила Марья Александровна.

— Ничего не имѣю, а главное, въ твоемъ упорствѣ вижу непріятныя для тебя-же послѣдствія.

— И ты думаешь, что Гриша будетъ счастливъ?

Онъ пожалъ плечами и вздохнулъ.

— По-своему—да!—наконецъ произнесъ онъ.

Она хотѣла сказать что-то, но ничего не сказала. Ей стало очень грустно и она хорошо поняла, что значили эти слова: «по

своему—да». Отецъ былъ недоволенъ сыномъ и ей нечѣмъ было защитить своего Гришу.

— Хорошо, я согласна! наконецъ проговорила она и вышла изъ библіотеки въ глубокой задумчивости.

III.

К ъ н е й.

Ясный морозный день заливалъ своимъ ослѣпительнымъ свѣтомъ солнечную сторону Невскаго проспекта. Обычная праздничная толпа сновала взадъ и впередъ по широкимъ тротуарамъ отъ Литейной до Большой Морской. И въ этой толпѣ то и дѣло попадались знакомыя, привычныя лица, безъ которыхъ нельзя себѣ и представить Невскаго проспекта зимою, отъ трехъ и до пяти...

Всѣ были на-лицо, начиная отъ баритона русской оперы, выступавшаго съ торжественной важностью и съ благосклонной улыбкой на румянѣ, гладко выбритомъ лицѣ, и кончая генераль-адъютантомъ, ежесекундно раскланивавшимся со своими знакомыми...

Парныя сани, кареты, легкія саночки, запряженныя великолѣпными рысаками, мчались, обгоняя другъ друга, поднимая снѣжную пыль... Однозвучные повелительные окрики важныхъ кучеровъ раздавались то тамъ, то здѣсь. Время отъ времени полицейскіе съ заиндевѣвшими усами перебѣгали широкую улицу подъ самыми лошадиными мордами, завидя что-либо «неподходящее».

Вотъ отъ Аничкова дворца, по направленію къ Полицейскому мосту, промчались знакомыя всему Петербургу сани съ широкоплечимъ казакомъ на запяткахъ. Цесаревна ласково склоняла голову, отвѣчая на поклоны...

Вмѣстѣ съ пестрой, веселой толпою спѣшилъ и Владиміръ Горбатовъ. Но онъ вышелъ на Невскій не для прогулки, не для встрѣчи знакомыхъ, съ которыми раскланивался поспѣшно, на ходу, изображая всей своей фигурой: «Только, ради Господа, меня не останавливайте».

Онъ перешелъ Аничковъ мостъ, оглядѣлся, улучая удобную минуту, когда экипажей было меньше, перебѣжалъ Невскій и завернулъ въ Троицкій переулокъ.

Наконецъ, онъ остановился передъ широкимъ подъѣздомъ многоэтажнаго дома, у котораго стояло нѣсколько экипажей. Швейцаръ, съ такимъ подслѣповатымъ и растеряннымъ лицомъ, какое только и можетъ быть у петербургскаго швейцара изъ

отставныхъ солдатъ-чухонцевъ, распахнулъ передъ нимъ зеркальную дверь. Владиміръ взбѣжалъ по широкой лѣстницѣ, убранной не безъ претензіи на роскошь, но довольно безвкусно, остановился на площадкѣ третьяго этажа и дернулъ за звонокъ.

Черезъ нѣсколько секундъ дверь отворилась, и въ нее выглянуло молодое, задорное лицо петербургской субретки, въ темномъ шерстяномъ платьѣ, съ шуршащими юбками, въ кокетливомъ фартучкѣ и съ огромнымъ цвѣтнымъ шарфомъ на шеѣ. Горничная улыбнулась, показала свои бѣлые зубы и даже съ нѣкоторой восторженностью проговорила:

— Пожалуйте-съ, Владиміръ Сергѣевичъ!

— У Аграфены Васильевны никого нѣтъ?—спросилъ Владиміръ, входя въ переднюю и снимая шубу.

— Нѣтъ-съ, есть... Князь тамъ, да баронъ этотъ... Ну, все забываю фамилію—вы изволите знать...

— Только они оба, должно быть, сейчасъ уѣдутъ,—прибавила она успокоительнымъ тономъ.

Владиміръ невольно поморщился.

— Пожалуйте.

Она ловкимъ, даже довольно граціознымъ движеніемъ отворила передъ нимъ дверь и его пропустила.

Онъ очутился въ просторной комнатѣ, освѣщенной двумя широкими окнами, обставленной и даже заставленной красивой и на первый взглядъ роскошной мебелью. Но это была та сравнительно дешевая роскошь, какая пріобрѣтается въ одинъ день, на скорую руку, и какая очень часто, черезъ нѣсколько мѣсяцевъ, продается за «поль-цѣны» въ какомъ-нибудь аукціонномъ залѣ. Пробираясь между стульями, столиками и козетками, Владиміръ наткнулся на валявшійся на коврѣ огромный букетъ, потомъ замѣтилъ брошенныя на столикъ перчатки, рядомъ съ ними широкій браслетъ. Дальше, на томъ-же столикѣ, лежала чья-то визитная карточка. Рояль былъ открытъ, на пюпитрѣ ноты... Быстро отодвинутая и упавшая табуретка.

Владиміръ остановился, поднялъ валявшійся у его ногъ букетъ, положилъ его на столикъ... Изъ сосѣдней комнаты раздавались голоса. Вотъ прозвучалъ безцеремонный мужской смѣхъ, въ отвѣтъ ему смѣется Груня...

«Какъ есть... у кокотки!—тоскливо мелькнуло въ головѣ Владиміра.—Вся эта обстановка, вся, какъ есть, и даже эта горничная противная... «Скоро уѣдутъ!.. совсмѣ!»»

Ему вспомнилось такое, такое точно у mademoiselle Blanche.

Снова раздался смѣхъ.

И смѣхъ этотъ точь-въ-точь, да и смѣется, вѣдь, тотъ-же самый человѣкъ, котораго и у Blanche всегда застать можно...

— Что-же это, звонили и никто не идетъ?

Это говорила Груня. Она отдернула желто-розоватую, тяжелую, спущенную портьеру, увидѣла Владиміра, глаза ея блеснули, она стремительно подошла къ нему и крѣпко сжала его руку. Потомъ она оглянулась туда, за спущенную портьеру, ничего не сказала, но ея взглядъ ясно и отчетливо повторилъ именно слова горничной:

«Они скоро уѣдутъ!»

Владиміру стало еще тяжелѣе, но онъ вызвалъ на своемъ лицѣ равнодушное и холодное выраженіе и прошелъ вслѣдъ за Груней...

Нѣсколько мѣсяцевъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ Владиміръ и Груня смутили Кодрата Кузьмича и его Настасьюшку. Обстоятельства однако избавили старика Прыгунова отъ необходимости принять какія-нибудь рѣшительныя мѣры. Внезапная смерть Клавдіи Николаевны пришла ему на помощь—она остановила сближеніе молодыхъ людей.

Владиміръ, глубоко опечаленный и заваленный почти съ утра до вечера разными неотложными дѣлами, не могъ уже часто посѣщать Груню. Пріѣзжалъ ненадолго, и когда пріѣзжалъ, то и Кодратъ Кузьмичъ, и сама Груня, и печальныя семейныя обстоятельства, все это взятое вмѣстѣ, отдаляло его отъ чего-либо рѣшительнаго...

Затѣмъ, черезъ нѣсколько недѣль, устроивъ московскія дѣла, онъ уѣхалъ съ сестрами и братомъ въ Петербургъ.

Между тѣмъ, Груня съ каждымъ днемъ убѣждалась, что ея голосъ вернулся во всей прежней силѣ. Она привела въ восторгъ всю московскую консерваторію, и скоро афиши извѣстили москвичей объ ея концертѣ. Она выступила подъ вымышленной итальянской фамиліей, достаточно извѣстной въ цѣлой Европѣ. Успѣхъ ея былъ полный. За первымъ концертомъ послѣдовалъ второй, третій. Планъ дебютировать въ Москвѣ въ качествѣ драматической актрисы рушился самъ собою.

Ее звали въ Петербургъ. Она должна была тамъ дать нѣсколько концертовъ, а затѣмъ, такъ какъ въ полномъ успѣхѣ нельзя было сомнѣваться, ей предстоялъ выборъ между русской и итальянской оперной сценой...

И вотъ она въ Петербургѣ уже второй мѣсяцъ. Ея успѣхъ превзошелъ всѣ ожиданія, она сразу стала входить въ моду. Этотъ мѣсяцъ прошелъ какъ въ лихорадкѣ. Все сдѣлалось какъ бы само собою—и эта квартира, наскоро найденная Владиміромъ, меблированная меньше чѣмъ въ недѣлю, и толпа разныхъ молодыхъ и старыхъ, болѣе или менѣе вліятельныхъ господъ, представлявшихъ другъ друга Грунѣ, то и дѣло къ ней звонившихъ... Она принимала всѣхъ, со всѣми была любезна, весела, однимъ

словомъ, вернулась къ прежней своей, привычной заграницей жизни молодой, красивой и извѣстной артистки...

День проходилъ незамѣтно. Съ утра раздавались звонки. Сначала являлись модистки. Потомъ разныя записочки и письма, большинство которыхъ Груня даже и не читала. Затѣмъ какіе-то представители прессы, какіе-то дикіе, изо всѣхъ силъ придающіе себѣ важный видъ господа, которые «писали» въ разныхъ газеткахъ.

Груня и ихъ принимала по старой привычкѣ, хотя иногда и съ довольно замѣтной брезгливостью, впрочемъ, ничуть незамѣчавшейся ими...

Этихъ «представителей прессы» смѣняли фотографы, просившіе у пѣвицы позволенія снять съ нея портретъ.

Вслѣдъ за ними звонили къ Грунѣ нѣкоторые официальные представители музыкальнаго міра. Наконецъ являлся какой-нибудь господинъ, котораго она на-дняхъ мелькомъ видѣла и часто совсѣмъ не узнавала. Этотъ господинъ являлся какъ знакомый и представлялъ ей блестящаго флигель-адъютанта, глядѣвшаго на нее масляными глазами, или молодого «attaché», безукоризненно изящнаго, испитого до послѣдней степени...

Присылались букеты, корзинки съ цвѣтами...

Наконецъ появились и дамы—двѣ, три пѣвицы итальянской оперы, еще и прежде знакомыя съ Груней. Но эти дамы мелькнули—и исчезли...

И такъ прошелъ мѣсяцъ, начался второй. Владиміръ бывалъ часто; но иногда, когда онъ являлся, Груни не было дома: она разъѣзжала по своимъ дѣламъ, или была на репетиціи. Владиміръ оставался ждать ее.

Она наконецъ, пріѣзжаетъ усталая, разсѣянная. Онъ каждый разъ замѣчаетъ въ ея взглядѣ радость, когда она его видитъ; но это выраженіе такъ мгновенно, такъ скоро исчезаетъ, что онъ даже задаетъ себѣ вопросъ: дѣйствительно ли она ему рада, или это ему только такъ кажется...

Едва она пришла въ себя, едва между ними завязывается разговоръ, какъ раздается звонокъ, является кто-нибудь — и Груня принимаетъ всѣхъ, и онъ даже не рѣшается ей замѣтить, что можно-бы и не принять, можно-бы остаться часъ-другой со старымъ другомъ.

Но, нѣтъ, она, очевидно, не хочетъ этого. Она какъ будто нарочно дѣлаетъ все, чтобы не быть съ нимъ наединѣ. Она очевидно даже и не понимаетъ ничего того, что такъ волнуетъ его въ этой жизни, въ ея обстановкѣ, въ ея времяпровожденіи. Да и какъ-же ей понять? Вѣдь, это ея жизнь, у нея нѣтъ другой и быть не можетъ.

Она весела и довольна, она упивается своимъ успѣхомъ, ей весело со всѣми этими людьми... И она не замѣчаетъ, что ни одинъ изъ нихъ не относится къ ней съ дѣйствительнымъ уваженіемъ, какъ къ порядочной женщинѣ... Пѣвица, актриса—этимъ все сказано! Молода, красива, всѣхъ принимаетъ, всѣмъ улыбается!.. Букеты, корзинки... скоро появятся брилліанты...

Владиміръ уходитъ отъ нея съ кружащеюся головою, въ негодованіи, въ нѣмомъ бѣшенствѣ. Онъ оставляетъ ее среди этихъ, хорошо извѣстныхъ ему людей, глядящихъ на нее такъ отвратительно, такъ плотоядно...

Что же ему дѣлать? Требовать отъ нея, чтобы она всѣхъ прогнала, чтобы она жила иначе, стала другой... По какому праву? Да, и, наконецъ, вѣдь, это безуміе. Ему остается только одно—или уйти совсѣмъ, или владѣть собою, казаться спокойнымъ, довольнымъ, не играть глупой роли.

Онъ хорошо собою владѣетъ, онъ до сихъ поръ ничѣмъ себя не выдалъ, а уйти онъ не можетъ, потому что любитъ ее съ каждымъ днемъ безумнѣе и мучительнѣе. И чѣмъ больше онъ возмущенъ, чѣмъ больше онъ негодуетъ на нее, тѣмъ безумнѣе и мучительнѣе любовь его...

IV.

У пѣвицы.

Эта комната, въ которую вошелъ теперь Владиміръ вслѣдъ за Груней, еще болѣе, чѣмъ первая носила на себѣ тотъ противный и невыносимый ему по воспоминаніямъ отпечатокъ, такъ его раздражавшій. Это была комната-бонбоньерка, заставленная мягкой, низенькой мебелью, со стѣнами, обтянутыми такой-же французской матеріей, какъ и мебель, съ неизбѣжнымъ, спускавшимся съ потолка, вычурнымъ фонарикомъ, съ венеціанскими зеркалами и такимъ количествомъ душистыхъ цвѣтовъ, наставленныхъ всюду, что одуряющій ихъ запахъ становился даже неприятнымъ.

Въ глубокихъ развалистыхъ креслахъ, на которыхъ даже нельзя было сидѣть, а надо было непремѣнно лежать, помѣшалось двое гостей.

Одинъ изъ нихъ, баронъ, чью фамилію Грунина горничная никакъ не могла запомнить, былъ юный гвардейскій офицеръ извѣстный въ Петербургѣ подъ именемъ Вовочки. Высокій и широкоплечій, но въ то же время стройный и ловкій, онъ отли-

чался замѣчательной красотою. Огромные синіе глаза съ поводокою, тонкій, съ маленькимъ горбикомъ носъ, пухлыя, наивно и мило улыбающіяся губы, оттѣненные молодыми усами. У него былъ высокій лобъ, на которомъ никакая забота не успѣла провести ни одной, хотя бы и едва замѣтной морщинки, свѣжія розовыя щеки, не успѣвшія еще пожелтѣть и поблѣкнуть, несмотря на нѣсколько лѣтъ безпутной жизни... Вовочка былъ всеобщимъ баловнемъ, *enfant gâté* всѣхъ свѣтскихъ дамъ и дѣвицъ. Никому столько не позволялось, сколько ему, и никто не умѣлъ такъ мило, съ такой дѣтской наивною пользою пользоваться дозволяемымъ.

Другой Грунинъ гость былъ князь Бѣльскій, сынъ друга юности покойнаго Бориса Горбатова. Князь занималъ очень видное и блестящее офиціальное положеніе. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ онъ овдовѣлъ, потомъ у кого-то купилъ жену, теперь развелся съ этой второй женою и появлялся на свѣтскихъ собраніяхъ съ двумя своими взрослыми дочерьми. Онъ считался первымъ покровителемъ *mademoiselle Blanche* и она, какъ говорили, ему очень дорого обходилась. Вмѣстѣ съ этимъ про него рассказывали въ свѣтѣ самыя невѣроятныя исторіи, изъ которыхъ, какъ это ни удивительно, большая часть оказывалась справедливою.

Князь Бѣльскій даже одно время чуть было не попалъ въ государственные мужи, чуть было не записался въ дѣльцы, хотя никто не могъ понять, когда-же онъ успѣваетъ работать, такъ какъ его можно было найти вездѣ, только не въ мѣстѣ его служенія и не дома.

Впрочемъ, онъ самъ отстранился отъ чрезчуръ виднаго и все-же нѣсколько отвѣтственнаго поста, на который его прочили, сохранивъ за собою свое блестящее положеніе...

Это былъ человѣкъ лѣтъ за сорокъ, маленькій, тоненькій и вертлявый, съ фигуркой четырнадцатилѣтняго отрока, съ блѣднымъ, сухимъ, необыкновенно изящнымъ лицомъ и съ головою, покрытой вмѣсто волосъ легкимъ пушкомъ. Непочтительные люди называли его «собачьей старостью», и это странное прозвище почему-то необыкновенно шло къ нему.

И князь Бѣльскій, и Вовочка были старые знакомые Владимира; князя, по его настоянію, онъ даже и представилъ Грунѣ. Вовочка протерся самъ, какъ всегда и всюду. Только на этотъ разъ онъ былъ очевидно сильно сконфуженъ и просто не могъ придти въ себя отъ изумленія: вотъ уже мѣсяцъ, какъ онъ былъ знакомъ съ Груней, а она вовсе и не думала его баловать, какъ всегда баловали другія. Онъ никакъ не могъ понять, что это такое значитъ и не разъ уже, возвращаясь отъ нея, задавалъ себѣ вопросъ: чего-же ей еще надо?..

Князь Бѣльскій относился къ Вовочкѣ съ покровительственнымъ снисхожденіемъ, но сейчасъ-же было замѣтно, что онъ завидуетъ ему до страданья, какъ уже давно завидовалъ красотѣ, молодости и здоровью...

По тому, какъ Вовочка и «собачья старость» глядѣли на Груню, можно было заключить, что оба они совсѣмъ побѣждены ею.

И дѣйствительно, ея могучая красота и уже въ особенности среди этой привычной и милой имъ обстановки, сильно на нихъ дѣйствовала.

Оба они встрѣтили Владиміра дружески. Но и синіе глаза Вовочки, и уставшій, холодный взглядъ князя довольно ясно говорили, какую роль они приписываютъ ему въ отношеніи къ прелестной хозяйкѣ. Ничто однако не дрогнуло въ лицѣ его. Онъ спокойно поздоровался.. Они обмѣнялись городскими новостями, затѣмъ разговоръ вдругъ какъ-то упалъ. Вовочка подсѣлъ къ Грунѣ, сказалъ какую-то милую глупость и самъ ей отъ души засмѣялся, затѣмъ вздохнулъ, поднялся во весь свой молодецкій ростъ, перевернулъ плечами, приводя этимъ движеніемъ въ порядокъ свои эполеты, звякнулъ шпорами...

— Значить, до завтра, дивалъ?—сказалъ онъ. *Demain—c'est le grand jour!*.. завтра мы будемъ всѣ тамъ...

— Хорошо!—отвѣтила Груня, съ улыбкой протягивая ему руку.

Онъ склонился къ ней, взялъ ея руку, приподнялъ къ своимъ сочнымъ губамъ и звонко поцѣловалъ.

— Пора и мнѣ!—какъ-бы про себя проговорилъ князь Бѣльскій и съ нервной гримасой, вызванной болью въ ногѣ (онъ даже отъ себя самого тщательно старался скрывать эту боль, подозрѣвая въ ней начало подагры), поднялся съ кресла.

Рядомъ съ Вовочкой онъ казался теперь совсѣмъ маленькимъ мальчикомъ. Пушокъ на его головѣ такъ и свѣтился въ солнечномъ лучѣ, скользившемъ изъ оконъ.

Груня сдѣлала нѣсколько шаговъ, провожая ихъ въ гостиную...

За спущенной портьерой Владиміръ опять разслышалъ звонкій смѣхъ Вовочки, князь протянулъ что-то своимъ привычнымъ пренебрежительнымъ тономъ, потомъ опять кто-то изъ нихъ громко поцѣловалъ ея руку.

Наконецъ она вернулась. Она стояла передъ Владиміромъ на блѣдномъ, озаренномъ солнцемъ фонѣ этой комнаты; тяжелое шелковое платье мягко обрисовывало ея стройную фигуру, еще болѣе оттѣняя нѣжную блѣдность ея лица, по которому скользя теперь не то усталое, не то унылое выраженіе.

— Правда-ли, что у князя Бѣльскаго годъ тому назадъ была

какая-то ужасная исторія съ какой-то барышней, которая изъ за-него застрѣлилась?— спросила она.

— Не знаю!—отвѣчалъ Владиміръ.—Что-то такое говорили... Можетъ быть и выдумали...

— Мнѣ баронъ этотъ, Вовочка, началъ-было это разсказывать, и даже очень интересно, какъ вдругъ звонокъ — и самъ князь!.. Я думаю, что это можетъ быть и правда, мнѣ кажется— онъ совсѣмъ безсердечный человѣкъ, у него иногда въ лицѣ такое злое и даже не то-что злое, а совсѣмъ ледяное выраженіе... Только удивительно, какъ это можно имъ теперь такъ увлечься... даже до смерти!.. Но нѣтъ, это не интересно... Я хочу вамъ сказать что-то, Владиміръ Сергѣевичъ, и хорошо, что пока никого нѣтъ...

Онъ взглянулъ на нее. Это было для него неожиданно и ново.

— Что такое,—Груня?

— А вотъ что: вы очень, очень мною недовольны...

— Почему вы это думаете?

— По всему... Я это давно вижу, знаю и чувствую; съ самаго моего переѣзда въ Петербургъ вы недовольны мною, вамъ не нравится, какъ я живу... Вамъ все, все не нравится...

— Если такъ, и если это васъ раздражаетъ,—проговорилъ Владиміръ,—скажите одно слово—я пойму, что я лишній.

Она вспыхнула и въ невольномъ порывѣ схватила его за руку.

— Зачѣмъ вы такъ говорите!—даже какъ-бы разсердившись крикнула она:—Вы не можете быть лишнимъ и знаете это. Но мнѣ тяжело видѣть, что вы на меня сердитесь, что вы такъ недовольны мною. Подумайте, разберите—виновата-ли я?

Она, забывшись, не выпускала, и все сжимала его руку.

— Какъ-же мнѣ быть иначе, какъ иначе жить?! Вы скажете: тамъ, у Кодрата Кузьмича, было другое... Да почему вы знаете—можетъ быть я сама люблю больше его домикъ, чѣмъ вотъ это?! Мнѣ и съ нимъ, и съ Настасьешкой было гораздо лучше; но, вѣдь, ихъ здѣсь нѣтъ... Что-же съ этимъ дѣлать?.. Я давно такъ живу, цѣлыхъ шесть лѣтъ, больше—и другой жизни у меня быть не можетъ, вѣдь, я одна, безъ родныхъ, я пѣвица... Все это дѣлается само собою... Я не могу запереться, не могу ихъ всѣхъ не принимать; однимъ словомъ, быть барышней мнѣ нельзя... Скажите, развѣ это неправда?

— Правда!—уныло проговорилъ онъ.

— Такъ за что-же вы на меня сердитесь?

Въ это время въ передней послышался звонокъ. Но оба они его не слыхали.

— Ну вотъ я сейчасъ скажу Катѣ, чтобы никого теперь не

принимала до объѣда,—вдругъ перебила она сама себя и потомъ продолжала:

— Не сердитесь, мнѣ это очень тяжело, я крѣпилась — и вотъ не могу... Если-бы вы знали, какъ это нехорошо, когда вы такъ смотрите... а теперь вы все чаще и чаще такъ на меня смотрите!.. Ну, милый, ну будьте-же благоразумны, не сердитесь...

Она заглядывала ему въ глаза горячимъ, ласковымъ и умоляющимъ взглядомъ. Вся ея сдержанность, весь холодъ, которымъ отъ нея, какъ ему казалось, на него вѣяло въ этотъ мѣсяцъ, исчезли безслѣдно. Видимо, она уже не владѣла собою... не разсуждала...

Портьера шевельнулась.

— Позволяется?—сказалъ кто-то.

Груня вздрогнула, оставила руку Владиміра и почти со слезами въ голосъ крикнула:

— Войдите!

Изъ-за портьеры появился Барбасовъ.

Оба они взглянули на него почти съ ненавистью. И какъ это Катя, всегда такая ловкая, понятливая могла впустить его безъ доклада?

Но Катя была невиновата. Она на минуточку отлучилась изъ кухни, таинственно вызванная сосѣдскимъ камердинеромъ, и, услыша звонокъ, дверь Барбасову отворила кухарка — нѣмка, знавшая только одно, что барышня дома. Она никакъ не могла себѣ представить, какъ это можно не впустить такого важнаго господина, да еще на вопросъ ея: «Was wünschen Sie, mein Herr?» заговорившаго съ ней по-нѣмецки.

Какъ-бы то ни было, выказать Барбасову неудовольствие—значило себя выдать, и они любезно его встрѣтили.

Нѣмка-кухарка была права, опредѣливъ Барбасова важнымъ господиномъ. Онъ дѣйствительно былъ теперь чрезвычайно важенъ. Въ эти нѣсколько мѣсяцевъ въ его манерахъ и даже наружности произошла значительная перемѣна.

Передъ Груней и Владиміромъ былъ уже не московскій адвокатъ, не франтъ дурного тона, поражавшій пестротой своего костюма. Теперь онъ походилъ на англичанина, въ черномъ длинномъ сюртукѣ, застегнутомъ до верху, въ высокомъ стоячемъ воротничкѣ и скромномъ черномъ галстукѣ. Его волосы были коротко острижены и, вѣроятно, послѣ неимоверныхъ усилій парикмахера, совсѣмъ не торчали, а лежали гладко, волосокъ къ волоску. Усы и борода были выбриты и только на щекахъ его красовались, хотя и жиденькіе, но все-же довольно приличныя бакенбарды. Лицо его не лоснилось и не горѣло,—оно носило на себѣ легкій, едва замѣтный слѣдъ пудры. Очки были замѣнены pince-nez.

Однимъ словомъ, онъ уже не поражалъ своеобразной комичной дурнотой, онъ имѣлъ видъ солиднаго чиновника, знающаго себѣ цѣну и увѣреннаго въ своей блестящей будущности.

Вмѣсто того, чтобы, по своему обычаю, весело захохотать, онъ едва улыбнулся, какъ-то поджимая и пряча свои толстыя губы, молча поздоровался, хотѣлъ было присѣсть въ низенькое кресло, но сообразилъ, что если это сдѣлаетъ, то его колѣни окажутся выше головы. А потому онъ не сѣлъ, а изогнулся въ академической позѣ, легонько опираясь локтемъ объ этажерку.

Груня такъ была раздражена и разсержена, нервы ея такъ были натянуты, что непремѣнно нуженъ былъ какой-нибудь исходъ этому раздраженію — и она почти истерически стала смѣяться, смѣяться до слезъ, глядя на Барбасова.

— Чего-же вы смѣетесь, Аграфена Васильевна? — наконецъ выговорилъ онъ. — Что во мнѣ такого смѣшного?

— Какъ что смѣшного?! — она перевела дыханіе и утирала платкомъ глаза. — Да, вѣдь, отъ этой метаморфозы можно умереть со смѣху! Владиміръ Сергѣевичъ, взгляните вы на него, — что это такое!.. Вотъ онъ третій разъ у меня... Въ первый разъ былъ самъ собою; второй разъ я замѣтила въ немъ что-то странное, но не разобрала... А теперь — развѣ это Барбасовъ?.. Что это значитъ?!

— Это значитъ, что изъ либеральнаго свободнаго гражданина онъ превратился въ министерскаго чиновника, — сказалъ Владиміръ.

— Да, вѣдь, эта переменна совсѣмъ къ вамъ не идетъ! — воскликнула Груня. — Вы были прежде гораздо интереснѣе, я васъ такимъ и видѣть не хочу, слышите!.. Прежде, на васъ глядя, хотѣлось смѣяться, а теперь разбираетъ скука.

— Однако, вы вотъ-же смѣетесь, да еще какъ!

— Это только въ первую минуту... увѣряю васъ... Барбасовъ, да будьте-же сами собою!

Онъ вздохнулъ, но не шевельнулся, будто застылъ въ своей академической позѣ.

— Увы, не могу, Аграфена Васильевна! — произнесъ онъ. — Прошлого не вернешь — это вамъ должно быть хорошо извѣстно!.. Что съ возу упало, то пропало. Владиміръ Сергѣевичъ совершенно вѣрно объяснилъ вамъ причину происшедшей во мнѣ перемены... Отнынѣ волей-неволей я долженъ носить эту маску, даже и въ такомъ случаѣ, если она будетъ причиной вашей ко мнѣ полной немилости.

— Вотъ у васъ даже и шутки выходятъ теперь такія скучныя и длинныя! — сказала Груня. — Садитесь и говорите просто — что вы дѣлаете? Что съ вами случилось?

Барбасовъ осторожно приподнялъ локоть съ этажерки, боясь зацѣпить за чтонибудь, подозрительно взглянулъ на кресло, затѣмъ рѣшился—и опустился въ него изогнувъ въ сторону свои длинныя ноги.

— Какая у васъ, однако, неудобная мебель!—замѣтилъ онъ.— Вамъ угодно знать, что я дѣлаю—извольте: начинаю служеніе моему отечеству въ министерствѣ юстиціи.

— Такъ вы, въ самомъ дѣлѣ, совсѣмъ переѣхали въ Петербургъ, бросили адвокатуру?

— Въ самомъ дѣлѣ.

— Когда вы мнѣ говорили, я думала, что вы шутите.

— Съ какой-же стати: я вамъ говорилъ серьезно, если не вѣрите—спросите Владиміра Сергѣевича, онъ знаетъ.

— Да, знаю,—сказалъ Владиміръ,—знаю, что ты произвелъ самое лучшее впечатлѣніе, что тебя приняли à bras ouverts и сразу дали тебѣ такое назначеніе, которое изумило многихъ... Но я все-же не понимаю твоего поступка... Вѣдь, ты двумя-тремя дѣлами, какъ адвокатъ, нажилъ себѣ цѣлое состояніе, а теперь перешелъ на какія-нибудь три тысячи жалованья! Что тебя къ этому побудило? Ты мнѣ казался такимъ практичнымъ человекомъ, умѣющимъ хорошо считать и знающимъ толкъ въ деньгахъ.

— Значитъ, ты ошибался!—серьезно и спокойно отвѣчалъ Барбасовъ,—очень просто: мнѣ надоѣло адвокатствовать, мнѣ ужъ давно стало противно защищать разныхъ негодяевъ...

— А помните, какъ вы оправдывались передъ Кодратомъ Кузьмичемъ?

— Помню, такъ что-же? Можетъ быть эта именно необходимость оправдываться и заставила меня бросить адвокатуру. Я нахожу, что буду полезнѣе какъ обвинитель...

— А практиченъ я или непрактиченъ, mon cher,—обернулся онъ къ Владиміру,—объ этомъ судить теперь рано, черезъ нѣсколько лѣтъ будетъ видно. Да ты мнѣ скажи, ты не одобряешь мой поступокъ?

— Нисколько, напротивъ! Я только изумляюсь.

— Ну, вотъ видишь, самъ говоришь: напротивъ!.. А изумляться... изумляться, мой другъ, ничему не слѣдуетъ—это одно изъ первыхъ правилъ мудрости...

— Такъ ты слышалъ, что меня приняли à bras ouverts, что я произвелъ хорошее впечатлѣніе? — оживленно прибавилъ онъ и улыбнулся.

— Да.

— Вотъ видишь! Вѣдь я говорилъ тебѣ, что на твоёмъ мѣстѣ сѣумѣлъ-бы сдѣлать самую блестящую карьеру... теперь поставяю это на своемъ собственномъ...

— Ну, а твоя нѣкоторая, такъ сказать, краснота? Ты ее изрядно-таки показывалъ въ газетныхъ своихъ статейкахъ...

— Краснота!—протянулъ Барбасовъ, усмѣхаясь,—что это за слово такое? Я его терпѣть не могу, да и ничего оно не выражаетъ. Скажу тебѣ одно—именно эти мои статейки, на которыя ты намекаешь, главнымъ образомъ и сослужили мнѣ службу; не будь я ихъ авторомъ—не получить-бы мнѣ того, что я уже получилъ сразу... а получилъ я даже сверхъ моихъ ожиданій и чаяній...

— Да, пожалуй, это такъ, именно такъ у насъ и должно быты!—сказалъ Владиміръ.

— Да ужъ, конечно, такъ!

И Барбасовъ опять самодовольно и нѣсколько ехидно усмѣхнулся, снова поджимая губы.

Раздался громкій звонокъ.

— Кто еще!?—досадливо проговорила Груня и этими двумя словами выдала себя Барбасову.

Онъ взглянулъ на Владиміра, тихонько кашлянулъ, въ его лицѣ мелькнуло прежнее—онъ готовъ былъ уже прорваться; но удержался, только всталъ на ноги и взялъ свою шляпу.

Въ комнату вошла Катя и подала Грунѣ карточку.

— Человѣкъ спрашиваетъ: принимаете-ли? Они внизу, въ каретѣ дожидаются!

Груня передала карточку Владиміру. Онъ прочёлъ фамилію чловѣка власть имущаго, отъ котораго зависѣла вся будущность Груни въ Петербургѣ какъ пѣвицы, желающей поступить на сцену.

— Вѣдь, нельзя не принять?!—сердито сказала Груня.—Скажи, что прошу!—прибавила она, обернувшись къ Катѣ.

— А ужъ я въ такомъ случаѣ удалюсь!

Съ этими словами Владиміръ поспѣшно пожалъ Грунѣ руку.

— А я тѣмъ боляе,—сказалъ Барбасовъ,—наше присутствіе можетъ только повредить Аграфенѣ Васильевнѣ... а дѣло, какъ видно, серьезное: «самъ пріѣхалъ».

Онъ уже успѣлъ взглянуть на карточку, брошенную Владиміромъ на столикъ.

— Желаю вамъ всякихъ успѣховъ, волшебница, да, впрочемъ, что-же другое и быть можетъ!?

Онъ на лету чмокнулъ у Груни руку и въ нѣсколько гигантскихъ шаговъ былъ уже въ передней. Владиміръ поспѣшилъ за нимъ.

Они быстро надѣли шубы и спускались съ лѣстницы, когда навстрѣчу имъ, въ сопровожденіи ливрейнаго лакея, важно поднимался, громко сморкаясь, старикъ съ юркимъ, беспокойнымъ

взглядомъ. Этотъ взглядъ остановился на Владимірѣ; но тотъ сдѣлалъ видъ, что не узналъ старика и, что-то говоря Барбасову, прошелъ мимо.

Старикъ подозрительно оглянулся.

Уже совсѣмъ внизу Барбасовъ шепнулъ Владиміру:

— Да ты съ нимъ знакомъ или нѣтъ?

— Съ кѣмъ?

— Съ этимъ.

— Знакомъ, у насъ въ домѣ бываетъ,—раздраженно отвѣтилъ Владиміръ.

— Такъ что-же это ты? Онъ на тебя метнулъ такой взглядъ... Я замѣтилъ... вѣдь, это ужъ черезчуръ неосторожно съ твоей стороны!

— Есть нѣсколько людей, которымъ я просто не въ силахъ кланяться первый, и онъ изъ числа ихъ.

— Ну, душа моя, ты съ этимъ далеко не уѣдешь! И что это—юность еще такая, или ты совсѣмъ испорченъ? Да тутъ не въ тебѣ—ты можешь очень повредить Аграфенѣ Васильевнѣ—за что-же?! Однако, прощай!

— До свиданья!

Онъ стиснулъ Владиміру руку, запахнулъ шубу и спокойно, но важно поднявъ голову, зашагалъ къ Невскому.

«Онъ правъ! подумалъ Владиміръ.—Да, я испорченъ, я совсѣмъ не гожусь для такой жизни. Такъ для чего-же я гожусь и гдѣ искать того, чего мнѣ надо?!»

Онъ медленно шелъ съ печальнымъ, уставшимъ видомъ. И этотъ солнечный день, и это оживленіе, веселые голоса, праздничное возбужденіе только раздражали его больше и больше...

V.

Новая сила.

Уже четыре года какъ среди роскошныхъ зданій набережной Невы воздвигся новый прекрасный домъ. Впрочемъ, его нельзя было и назвать домомъ. Это былъ маленькій дворецъ, невольно останавливавшій на себѣ взглядъ любителя изящной архитектуры.

Свѣтло и привѣтливо глядѣлъ онъ на широкую Неву своими зеркальными окнами. А когда лучъ солнца ударялъ въ нихъ, то гуляющіе по набережной заглядывались на мелькавшіе какъ призракъ уголки богатой, какъ-то даже волшебной богатой обстановки.

Домъ этотъ принадлежалъ одному изъ самыхъ любимыхъ

баловней фортуны послѣдняго двадцатилѣтія, Михаилу Ивановичу Бородину. Онъ еще десять лѣтъ тому назадъ купилъ это мѣсто, гдѣ стоялъ уцѣлѣвшій отъ времени одноэтажный, приходившій въ полное разрушеніе, домикъ со старымъ заглохшимъ садомъ, со всѣхъ сторонъ окруженнымъ теперь высокими брандмауерами сосѣднихъ зданій.

Каждый день, среди кипучей неустанной дѣятельности, Михаилъ Ивановичъ находилъ часокъ подумать о своемъ будущемъ жилищѣ и мало-по-малу къ тому дню, какъ оно выглянуло на свѣтъ изъ-за закрывшихъ его лѣсовъ и забора, вся мебелировка, всѣ внутреннія украшенія были готовы. И когда Михаилъ Ивановичъ, крупнѣйшій тузъ финансоваго и оффиціальнаго міра, созвалъ къ себѣ на новоселье своихъ соратниковъ — ему было чѣмъ похвастаться.

Его домъ производилъ впечатлѣніе не новаго жилья разбогатѣвшаго и желающаго пустить въ глаза пыль человѣка, а казался старымъ, поколѣніями-насиженнымъ гнѣздомъ людей, умѣвшихъ жить и имѣвшихъ на то всѣ способы.

— Да откуда вы могли добыть такія прелести? — спрашивали его изумленные гости.

— Понемногу отовсюду, — отвѣчалъ онъ. — Конечно, меньше всего отъ здѣшнихъ петербургскихъ Линевичей. Губернская глушь наша дала не мало, ну а потомъ заграницей досталъ многое, въ Италіи, въ Парижѣ...

Теперь одинъ этотъ домъ, съ прекрасной коллекціей старыхъ и новыхъ картинъ, съ драгоценнымъ мраморомъ, мозаикой и старинной мебелью, уже самъ по себѣ составлялъ значительное состояніе. Но для Михаила Ивановича это была просто игрушка, забава, которую онъ имѣлъ полное право себѣ позволить.

Въ послѣднія десять лѣтъ во всѣхъ его разнообразныхъ предпріятіяхъ была ему неизмѣнная удача, его деньги, какъ будто магнитъ какой, влекли къ себѣ новыя деньги, и состояніе его, какъ, впрочемъ, и всегда въ такихъ случаяхъ, росло съ баснословной быстротой.

Этотъ домъ, имъ созданный, казалось-бы, могъ совершенно удовлетворить его любовь къ изящной, настоящей роскоши, онъ являлся олицетвореніемъ лучшихъ мечтаній его юности. А между тѣмъ Михаилъ Ивановичъ не былъ удовлетворенъ, несмотря на то, что онъ сдѣлалъ все, что только можно сдѣлать. Это царское жилище казалось ему иногда чуть что не мѣщанствомъ. Онъ мечталъ теперь о другомъ домѣ, о старомъ, потускнѣвшемъ, обветшавшемъ Горбатовскомъ домѣ на Мойкѣ. Онъ готовъ былъ отдать десять, двадцать такихъ домовъ, какъ его, готовъ былъ пожертвовать большей частью своего состоянія. чтобы только

имѣть возможность жить въ Горбатовскомъ домѣ, жить хозяиномъ и имѣть право оставить на облупившемся фронтонѣ старый, засиженный птицами, гербъ Горбатовыхъ подъ скромной дворянской короной.

Но, конечно, никто не могъ подозрѣвать его мечтаній и его недовольства. Его считали однимъ изъ самыхъ счастливыхъ людей въ Петербургѣ.

Въ его домѣ жилось, повидимому, весело, даже очень весело съ тѣхъ поръ, какъ его семья, послѣ смерти Бородиныхъ, перѣѣхала въ Петербургъ. Приемы смѣнялись приемами, званые обѣды—обѣдами, балы, вечера, концерты. По меньшей мѣрѣ разъ въ недѣлю, съ одиннадцати часовъ вечера и до глубокой ночи, зажженные лампы и люстры озаряли набережную вокругъ дома и иной разъ трудно было даже проѣхать отъ столпившихся экипажей.

Бородинъ еще давно, въ Москвѣ, потерялъ трехъ дѣтей и остался со своимъ старшимъ сыномъ и дочкой.

Молодой Бородинъ теперь уже окончилъ курсъ въ университетѣ и, по желанію отца, какъ нельзя больше согласовавшемуся съ его собственнымъ, находился за границей, причисленнымъ къ одному изъ нашихъ посольствъ.

Михаилу Ивановичу уже было обѣщано въ самомъ скоромъ времени штатное мѣсто для сына. Вообще относительно своего мальчика онъ былъ спокоенъ.

Молодой Бородинъ вышелъ юношей способнымъ, солиднымъ и очень благоразумнымъ. Бояться съ его стороны какихъ-нибудь вредныхъ и трудно поправимыхъ увлеченій было нечего. Уѣзжая за границу, онъ имѣлъ съ отцомъ долгую откровенную бесѣду, въ которой изложилъ свои взгляды, желанія и планы.

У мальчика было огромное отцовское честолюбіе. Онъ желалъ играть крупную роль во что бы ни стало и, несмотря на свои двадцать два года, серьезно и увѣренно сказалъ отцу:

— Я сердце свое держу—вотъ какъ! Оно у меня не пикнетъ, я знаю, что если дать ему волю—оно можетъ надѣлать глупостей, которыхъ потомъ и не исправишь, а я глупостей съ первыхъ-же шаговъ своей жизни дѣлать не намѣренъ...

Впрочемъ, онъ напрасно и говорилъ о своемъ сердцѣ — оно до сихъ поръ себя еще ничѣмъ не проявило.

— Главное, — заключилъ онъ: — ты, папа, можешь быть въ одномъ спокоенъ—до тридцати лѣтъ я не женюсь, хоть рѣжь меня—не женюсь... это первое, что я себѣ положилъ; довольно я наглядѣлся и знаю, какой адъ—ранніе браки!

Михаилъ Ивановичъ даже подумалъ, что его мальчикъ черезчуръ благоразуменъ. «Но ничего!—рѣшилъ онъ,—такъ все-же лучше...»

Юный дипломатъ остался вѣренъ себѣ до конца. Когда отецъ объявилъ ему цифру ежегоднаго содержанія, какое онъ былъ намѣренъ высылать ему за границу, Жанъ воскликнулъ:

— О, это слишкомъ много! Мнѣ и двухъ третей за глаза довольно.

Михаилъ Ивановичъ улыбнулся.

— Конечно, не мало! Но я такъ рѣшилъ и для меня не составитъ затрудненія высылать тебѣ эти деньги.

— Alors, tu veux que je commence à faire mes petites économies?—bon, j'accepte! Я все разсчиталъ и разузналъ, я вовсе не хочу скупиться и считать копѣйки, я даже изумлю своей роскошью этихъ нѣмцевъ, тамъ это не дорого стоитъ... и увидишь, папа, буду присылать тебѣ изрядный остатокъ для наивыгоднѣйшаго помѣщенія...

— Увидимъ!—сказалъ Михаилъ Ивановичъ.

Юный дипломатъ простился съ отцомъ, матерью и сестрою. Когда мать благословила его, крестила и цѣловала, обливаясь слезами, онъ какъ-бы смутился, въ его молодомъ, румяномъ, чисто русскомъ лицѣ какъ-бы что-то дрогнуло. Онъ горячѣе прижался къ матери, но въ то-же мгновение совладѣлъ съ собою и выѣхалъ изъ родительскаго дома спокойный и довольный. Онъ спѣшилъ начать свою новую жизнь; она ему улыбалась и онъ считалъ себя для нея достаточно приготовленнымъ.

Теперь вотъ уже второй годъ онъ былъ заграницей и аккуратно, два раза въ мѣсяцъ, писалъ родителямъ интересныя письма. Его письма могли почестся образцомъ изящнаго, игриваго слога. Изъ нихъ было видно, что онъ очень доволенъ своей жизнью, а главное, самимъ собою. «Я», самодовольное, лучезарное, торжествующее—такъ и горѣло, такъ и переливало всѣми цвѣтами радуги съ первой и до послѣдней строчки.

Ровно черезъ годъ по отъѣздѣ онъ писалъ, между прочимъ, Михаилу Ивановичу:

«Не высылай мнѣ денегъ за первую половину наступающаго года, у меня, за всѣми расходами—даже квартира впередъ уплачена, осталось достаточно—по меньшей мѣрѣ на пять мѣсяцевъ. Зачѣмъ-же эти напрасныя присылки? Если желаешь, употреби назначенныя для меня деньги на меня-же, помѣстивъ ихъ, какъ найдешь выгоднѣе»...

Что касается дочери Лизы, которой теперь было уже около двадцати лѣтъ, отецъ на нее особенно разсчитывалъ для достиженія своихъ завѣтныхъ плановъ.

Лиза получила въ Москвѣ домашнее воспитаніе въ довольно скромной обстановкѣ дома стариковъ Бороновыхъ. Послѣ смерти дѣдушки и бабушки, переѣхавъ въ Петербургъ съ матерью, она

еще годъ доучивалась или, вѣрнѣе, отшлифовывалась, главнымъ образомъ по программѣ всюду поспѣвавшаго и обо всемъ думавшаго Михаила Ивановича. Большая часть оживленія и веселости роскошнаго дома на набережной относилась теперь къ ней. Для нея были эти вечера, балы, концерты и пріемы.

Лиза вышла очень недуренькой и ловкой дѣвушкой. Отцу легко удалось устроить для нея въ обществѣ прекрасное положеніе. Человѣкъ сильный, исключительно удачливый, Бородинъ чувствовалъ подъ собою незыблемую почву. То время, когда люди были ему нужны, уже прошло, теперь самъ онъ былъ всѣмъ крайне нуженъ и полезенъ, и Лиза занимала одно изъ самыхъ видныхъ мѣстъ въ обществѣ, къ которому не принадлежала ни по воспоминаніямъ дѣтства, ни по семейнымъ своимъ московскимъ преданіямъ.

Лиза Бородина была одна изъ самыхъ блестящихъ петербургскихъ невѣстъ и могла свободно выбирать между всевозможными княжескими, графскими и дворянскими коронами. Но до послѣдняго времени она еще не думала о замужествѣ. Она веселилась, веселилась до одурѣнія, наслаждалась жизнью, считала себя маленькой феей, для которой жизнь приготовила свои самыя лучшіе цвѣты и благоуханія.

Лиза уже довольно слышалась разныхъ полупризнаній; но въ ней было достаточно такта и умѣнья, чтобы во-время заставить замолкать нетерпѣливыхъ претендентовъ.

Въ послѣдній годъ, однако, съ ней произошла нѣкоторая перемѣна. Она стала иногда жаловаться на утомленіе, на нездоровье. Зоркій взглядъ Михаила Ивановича не разъ подмѣчалъ въ ней блѣдность. Она даже похудѣла.

Ея мать встревожилась не на шутку, но Михаилъ Ивановичъ успокоилъ жену, призвавъ на помощь мнѣніе лучшихъ докторовъ. Онъ рѣшилъ только, что «пора»—и сталъ чаще и чаще навѣдываться на Мойку, въ домъ Горбатовыхъ.

Его отношенія къ братьямъ можно было назвать хорошими, но это не были искреннія отношенія. Бородину и Горбатовымъ было всегда неловко другъ съ другомъ. Сергѣй Владиміровичъ скрывалъ эту неловкость подъ какой-то робкой ласковостью. Николай Владиміровичъ просто избѣгалъ Бородина, какъ избѣгалъ и всѣхъ.

Бородинъ, въ сущности, глубоко презиралъ братьевъ, особенно старшаго. Николая онъ считалъ просто-напросто сумасшедшимъ. При этомъ онъ не могъ побѣдить въ себѣ тяжелаго чувства, чего-то средняго между обидой и завистью. Онъ ни разу не позволилъ себѣ выказать этого чувства, скрывалъ его даже отъ самого себя, но тѣмъ не менѣе оно существовало.

Марья Александровна была къ нему не расположена. Она считала его совсѣмъ безсердечнымъ человѣкомъ. Несмотря, однако, на это, она его принимала всегда ласково, почти по-родственному.

Однако, ни хозяйка дома, ни братья не были нужны Михаилу Ивановичу. Онъ быстро сблизился съ Гришей. Онъ уже давно присматривался къ обоимъ юношамъ, присматривался зорко, внимательно и наконецъ остановилъ свой выборъ на Гришѣ. Скоро онъ убѣдился, что борьбы ему никакой не предстоитъ, что красивый офицеръ самъ, такъ сказать, напрашивается на удочку, упреждаетъ его желанія.

Скоро Гриша сдѣлался почти ежедневнымъ посѣтителемъ дома на набережной. Между нимъ и Лизой еще не было произнесено ни одного особеннаго слова, а между тѣмъ у него съ Михаиломъ Ивановичемъ почти все было рѣшено...

VI.

Не на своей почвѣ.

Если Михаилъ Ивановичъ былъ вовсе не такъ счастливъ и доволенъ своей жизнью, какъ это предполагали всѣ его знавшіе, если даже Лиза нѣсколько притомилась и поблѣднѣла отъ веселостей, то еще менѣе удовлетворенной и счастливой считала себя хозяйка новаго дома на набережной, Надежда Николаевна Бородина.

Хорошенькая, граціозная и мечтательная Надя, безъ ума влюбленная въ мужа черезъ нѣсколько лѣтъ послѣ свадьбы, долгое время остававшаяся наивной институткой,—теперь превратилась въ полную и видную женщину, сохранившую еще на своемъ моложавомъ лицѣ много привлекательности, несмотря на всегда серьезное и даже грустное выраженіе, замѣнившее прежнюю оживленность и веселыя улыбки.

Когда-то Надежда Николаевна считала себя счастливѣйшимъ существомъ въ мірѣ, у нея было только одно желаніе—чтобы такъ все и всегда оставалось. Ничего новаго, ничего лучшаго она не просила отъ жизни. Петребности ея были скромныя. Судьба дала такъ много: красивый, добрый и ласковый мужъ, обожаемый Миша, лучший человѣкъ во всемъ мірѣ, славныя дѣтки, добрейшая свекровь, которую она любила какъ родную мать и считала чуть-ли не святою, добродушный чудакъ свекоръ... Вмѣстѣ съ этимъ—удобный и просторный, полный всякимъ добромъ, хотя и вовсе не роскошный домъ, гдѣ всѣмъ

распожаралась и хазяйничала старушка Бородина, предоставлѣя невѣсткѣ любить мужа, мечтать, читать интересныя книжки, переписываться съ институтскими подружками, поддерживать не-большой кружокъ привычныхъ и пріятныхъ знакомствъ...

Такъ могло продолжаться долгіе, долгіе годы, и Надежда Николаевна только повторяла:

«Какъ хорошо, какъ пріятно, какъ сладко жить на свѣтѣ».

Но вотъ все это вдругъ измѣнилось. Нежданно-негаданно открылась семейная тайна. Какъ ни увѣрѣлъ мужъ, что ничего дурного не будетъ, что все новое будетъ хорошее—сердце сжималось тяжелымъ предчувствіемъ—и предчувствіе не обмануло.

Пришлось разстаться съ обожаемымъ мужемъ: онъ сдѣлался петербургскимъ жителемъ. Правда, онъ пріѣзжалъ въ Москву очень часто и эти минуты встрѣчъ приносили большое счастье. Михаилъ Ивановичъ не разъ говорилъ и доказывалъ ей, что ихъ разлуки и свиданія только поддерживаютъ ихъ любовь, превращаютъ ихъ въ вѣчныхъ жениха и невѣсту, въ вѣчныхъ новобрачныхъ.

Но она не сдавалась на его доводы. Можетъ быть для него это такъ,—тѣмъ хуже, значитъ, его любовь нуждается въ искусственномъ подогрѣваніи. Ея любовь въ этомъ не нуждалась. Она твердо знала, что ея чувство къ мужу не можетъ охладѣть, хоть если-бы ей и пришлось многіе годы провести съ нимъ, не разлучаясь, въ одной комнатѣ.

Въ первый-же его пріѣздъ изъ Петербурга въ Москву, не смотря на всю его нѣжность, она сказала себѣ: «Онъ уже не тотъ, онъ измѣнился, прежнее счастье пропало!..»

Такъ оно и было въ дѣйствительности. Черезъ нѣсколько лѣтъ этой тревожной, неестественной, какъ она называла ее, жизни, вспоминая прежняго своего Мишу, московскаго, и, сравнивая его съ новымъ петербургскимъ Михаиломъ Ивановичемъ (сама не зная почему, она все чаще и чаще стала называть его Михаиломъ Ивановичемъ),—она съ ужасомъ убѣждалась, что это два совсѣмъ разныхъ человѣка.

Почти каждый разъ, пріѣзжая, онъ подробно рассказывалъ ей о своихъ успѣхахъ, о своихъ планахъ, о своихъ дѣлахъ, о быстро возростающемъ состояніи. Онъ хотѣлъ затронуть въ ней, шевельнуть любовь къ блеску, къ роскоши. Онъ говорилъ ей:

— Еще три, четыре года такой удачи—и у насъ съ тобою будутъ милліоны!

Она осталась къ этому равнодушна. Зачѣмъ эти милліоны, что они дадутъ, вернутъ ли они прежнее счастье? Они только все больше будутъ отдалять отъ нея мужа.

Но у Надежды Николаевны, несмотря на все ее институтство, мечтательность и практичность, было много природного ума и такта, и они спасли ее отъ окончательнаго несчастья — отъ охлажденія къ ней мужа. Если-бы она съ прежней откровенностью повѣряла ему всѣ свои мысли и чувства, если-бы открыла передъ нимъ все свое недовольство, жаловалась, тосковала, упрекала и требовала отъ него жертвъ, давала ему совѣты, вмѣшивалась въ его дѣла и планы—Михаилъ Ивановичъ, конечно, очень скоро охладѣлъ-бы къ ней и отъ нея отдалился.

Но она ничего этого не сдѣлала. Оставаясь въ Москвѣ, иногда по цѣлымъ днямъ, наединѣ сама съ собою, она Богъ знаетъ сколько разъ обо всемъ передумала, во многомъ себя передѣлала и выказала большую силу воли. Она никогда не выдала себя передъ мужемъ. Приѣзжая въ Москву, иногда всего на два, на три дня, онъ дѣйствительно отдыхалъ и уѣзжая невольно говорилъ себѣ: «какая чудная женщина моя Надя!»

Михаилъ Ивановичъ былъ неустаннымъ работникомъ. Весь его огонь, вся его страсть ушли въ одно—въ достиженіе богатства и силы. Ему просто некогда было думать о чемъ-либо иномъ, онъ былъ застрахованъ этимъ отъ сердечныхъ увлеченій. Для него существовало всегда одна только женщина въ мірѣ, одна подруга—и эта женщина была жена, Надежда Николаевна. Годы шли, проходила молодость, но онъ не замѣчалъ, что его Надя измѣняется, полнѣетъ, понемногу старѣетъ. Не замѣчалъ онъ, что вокругъ ея хорошенькихъ глазокъ собираются морщинки, что даже въ шелковистыхъ волосахъ ея что-то ужъ очень рано мелькаютъ серебряныя нити, онъ не зналъ почему это, и такъ рано,—онъ объ этомъ не думалъ. Надежда Николаевна оставалась для него прежней Надей.

Прошли еще года, пережились семейныя несчастья—потеря троихъ дѣтей, наконецъ кончина стариковъ Бородиныхъ. Надежда Николаевна вступила въ новую полосу своей жизни. Она переѣхала на постоянное житіе въ Петербургъ. Мужъ достигъ всѣхъ своихъ цѣлей, ей суждено быть хозяйкой одного изъ самыхъ богатыхъ домовъ Петербурга. Ей необходимо посѣщать общество, да еще какое! Надо поставить домъ такъ, какъ желаетъ этого Михаилъ Ивановичъ. И она исполнила все, что онъ отъ нея требовалъ.

Она уже давно знала, что такова судьба ея. Переѣхавъ въ Петербургъ, она не была поставлена въ необходимость оглядывать почву: въ послѣдніе годы, еще при жизни стариковъ Бородиныхъ, она проводила мѣсяца два зимой въ Петербургъ съ мужемъ и, по его желанію, сдѣлала всѣ нужныя для него знакомства.

Михаилъ Ивановичъ, какъ ни былъ увѣренъ въ женѣ, а все же сначала нѣсколько трусилъ.

«Она умна, у нея много такта; но вѣдь она совсѣмъ не привыкла къ обществу!»—думалъ онъ.

Однако, онъ скоро совсѣмъ успокоился. Его Надя выдержала блистательно свой трудный экзаменъ. Ему ни разу не пришлось за нее покраснѣть, даже не пришлось и поморщиться. Она держала себя съ такимъ достоинствомъ, такъ просто и въ то-же время изящно, будто всю жизнь прожила въ этомъ обществѣ.

Чего ей это стоило—онъ о томъ не думалъ. Онъ не зналъ, какъ добросовѣстно готовилась она годами къ своей новой роли.

Теперь Надежда Николаевна бывала всюду. Она принимала у себя весь Петербургъ. Когда она появилась въ свѣтѣ и заняла въ немъ свое мѣсто, конечно, многія петербургскія дамы готовы были почестъ ее за выскочку, готовы были глядѣть на нее свысока, но имъ это какъ-то не удавалось.

Надежда Николаевна не искала въ свѣтѣ друзей, не желала ни съ кѣмъ близости и короткости. Она просто исполняла свои обязанности и въ ней нельзя было найти ничего смѣшного, нельзя было обвинить ее ни въ какой неловкости. Мало-по-малу самые злые языки замолкли.

Но Надеждѣ Николаевнѣ эта жизнь была въ большую тягость.

* Послѣ смерти Бородиныхъ она упросила мужа, чтобы онъ подарилъ ей ихъ старый московскій домъ. Онъ былъ въ это время такъ занятъ дѣлами, что ему даже некогда было удивиться ея желанію и о немъ подумать. Онъ просто его исполнилъ. И вотъ ежегодно Надежда Николаевна уѣзжала въ Москву съ Лизой недѣли на двѣ, на три, и Лиза каждый разъ изумлялась тому, какая мама странная: весь день почти не выходитъ изъ дому, все переглядываетъ, каждую вещицу, сама все чиститъ и уставляетъ на прежнее мѣсто, какъ будто этотъ старый, бѣдный домъ, съ его мѣщанской, допотопной обстановкой, стоилъ какого-нибудь вниманія!

Конечно, Лиза не могла понять, Лиза, рвущаяся въ Петербургъ къ покинутому ею тамъ веселю, торжествамъ и побѣдамъ, что этотъ домъ съ его грошовой обстановкой для ея матери ничто иное, какъ дорогая могила молодой жизни и молодого, давно потеряннаго, счастья, на которой отрадно отдохнуть и поплакать...

Черезъ нѣсколько дней по своемъ возвращеніи съ похоронъ Бориса Сергѣевича Горбатова, Михаилъ Ивановичъ пошелъ къ женѣ. Такіе визиты его въ эту ея собственную, уютную комнату, куда не допускался никто изъ постороннихъ, были до-

вольно рѣдки, и Надежда Николаевна ихъ особенно цѣнила. Хотя отъ прежняго Миши уже теперь совсѣмъ ничего не осталось, хотя онъ совсѣмъ заледенѣлъ и закаменѣлъ, какъ она, съ ужасомъ, себѣ не разъ говорила, тутъ-же и раскаинаясь въ этихъ своихъ мысляхъ, считая себя несправедливой передъ нимъ и даже грѣховной,—все-же Надежда Николаевна боготворила и этого каменнаго, заледенѣвшаго Михаила Ивановича.

Онъ былъ для нея—все. Она встрѣтила его радостной и, такъ рѣдко теперь озарявшей ея лицо, улыбкой. По старой, уцѣлѣвшей отъ далекаго времени, привычкѣ, она поправила ему галстухъ и поцѣловала его руку.

Онъ называлъ это «институтствомъ», но до сихъ поръ цѣнилъ это. Онъ наклонился къ ней, взялъ ея обѣ маленькія, все еще красивыя руки и цѣловалъ ихъ одну за другою.

— Какіе у тебя славные духи!—сказалъ онъ,—я никогда не слыхалъ такого запаха, прелесты! Впрочемъ, — прибавилъ онъ, глядя ей въ глаза,—у тебя всегда все особенное и все вокругъ тебя такое хорошее... Я ужасно люблю эту твою комнату...

Она подумала невольно, что если-бы дѣйствительно было такъ, то онъ чаще-бы сюда заглядывалъ, чаще былъ-бы съ нею. Но она, конечно, не сказала ему этого. Она была ему благодарна, хотя-бы ужъ и за одни эти слова, заставившія дрогнуть ея сердце. Она глядѣла на его склоненную къ ней голову съ порѣдѣвшими кудрями, съ замѣтной сѣдиной, съ свѣтящейся уже сильно макушкѣй, глядѣла на его лобъ, поперекъ котораго легли глубокія морщины, — и онъ казался ей все такимъ-же юнымъ красавцемъ, какого она встрѣтила давно, давно, въ Москвѣ, скромнымъ архивскимъ чиновникомъ и которому сразу-же, съ первой минуты встрѣчи, поклонилась, какъ своему законному властителю...

Она усадила его рядомъ съ собою на диванъ, подложила подъ его локоть мягкую подушку, вышитую шелками еще покойной старушкой Бородиной, и между ними начался разговоръ, переходившій отъ предмета къ предмету. Короткіе вопросы, короткіе отвѣты. Говорилось, конечно, и о Жанѣ, отъ котораго еще вчера было получено письмо, и о Лизѣ...

— Совсѣмъ она у насъ избаловалась!—сказала Надежда Николаевна,—да и какъ иначе при такой жизни! Мнѣ вотъ чѣмъ тише, чѣмъ спокойнѣе—тѣмъ лучше. Я и въ ея годы была такая, а она втянулась, безъ вѣчнаго шума жить не можетъ, не знаетъ куда дѣваться...

— Ничего, пусть поскучаетъ, — замѣтилъ Михаилъ Ивановичъ.—Веселиться теперь нельзя — неловко, вѣдь всѣ знаютъ, что я потерялъ не простого знакомаго. Но ты успокой ее—это

не надолго будетъ. Мало-по-малу, въ срединѣ зимы, всѣ ея веселости вернутся. Баловъ мы задавать этотъ годъ не будемъ—это нельзя, но мало-ли что можно придумать... А какъ ты находишь, поправились ли она за лѣто? Мнѣ кажется она свѣжѣе...

— Ну, знаешь, въ Петергофѣ не особенно поправишься! — вздохнула Надежда Николаевна. — Все лѣто было то-же, что и здѣсь. Конечно, она посвѣжѣла, да надолго-ли?

— Ее эту зиму выдать замужъ надо! — вдругъ объявилъ Михаилъ Ивановичъ.

— Какъ замужъ?! Какъ эту зиму?! — невольно воскликнула Надежда Николаевна.

Онъ улыбнулся.

— Что-же это ты испугалась? Развѣ тутъ что-нибудь такое неожиданное для тебя? Вѣдь надо-же выдать ее замужъ—пора, тогда и отъ ея скуки, и отъ ея блѣдности ничего не останется. Вѣдь ей уже двадцатый годъ, а свѣтскія дѣвушки зрѣютъ быстро... Развѣ ты не согласна со мною, что ей пора замужъ, развѣ ты имѣешь что-нибудь противъ этого?

— Что-же я могу имѣть—это неизбежно. Только какъ это ты говоришь «эту зиму надо замужъ выдать»? Какъ будто это можно вдругъ пожелать—и сдѣлать.

— Конечно можно, что-жъ, жениховъ что-ли нѣтъ у нашей Лизы?

— Женихи есть!—протянула Надежда Николаевна, — только она никого не выбрала.

— А ты въ этомъ увѣрена? — съ серьезнымъ выраженіемъ въ лицѣ быстро спросилъ Михаилъ Ивановичъ.

— Увѣрена!—твердо отвѣтила она. — Неужели ты думаешь, что я не слѣжу за нею и что, если-бы она кому-нибудь оказала предпочтеніе, если-бы кто-нибудь ей особенно нравился, — я бы этого не знала?

— Конечно, конечно, я знаю, что ты какъ насѣдка стоишь надъ Лизой, знаю, что до сей минуты ты была самымъ неутомимымъ и ловкимъ ея шпиономъ.

— Я поступала, какъ находила нужнымъ. И въ прошломъ году, если-бы я не была шпиономъ, какъ ты говоришь, если-бы не замѣтила во-время, что графъ Вольскій имѣетъ на Лизу серьезные виды, дѣло могло бы нехорошо кончиться. Лиза начинала предпочитать его, я во-время остановила...

— Лизу за этого негодяя! — воскликнулъ Михаилъ Ивановичъ, — избави Богъ!

— Вотъ видишь, то-то же! А теперь... развѣ ты о комъ-нибудь подумалъ?

— Да, подумалъ...

Она такъ вся и насторожилась.

— Неужели Гриша Горбатовъ?

— Конечно, оны! Но ты говоришь такъ, какъ-будто ты-бы этого не желала.

— Михайлъ Ивановичъ, подумай, вѣдь онъ ей все-же близкій родственникъ, это нехорошо, это не годится!

Все его лицо вдругъ вспыхнуло.

Она пуще всего боялась этой внезапной краски. Онъ такъ краснѣлъ рѣдко, только тогда, когда былъ очень разсерженъ. Когда онъ такъ краснѣлъ—это значило, что у него было какое нибудь серьезное желаніе, которое во что-бы то ни стало должно было исполниться.

Надежда Николаевна поняла, что Лиза теперь неизбѣжно будетъ замужемъ за Горбатовымъ, что возставать противъ этого рѣшенія бесполезно. И она совсѣмъ смолкла.

— Какой вздоръ!..—между тѣмъ воскликнулъ Михайлъ Ивановичъ,—во всемъ мірѣ это дѣлается и ничего тутъ нѣтъ дурного, а, напротивъ... Я Гришу хорошо знаю: онъ отличный, серьезный молодой человѣкъ, отъ него многого можно ожидать въ будущемъ. Лиза съ нимъ будетъ счастлива... Увѣренъ въ этомъ.

— Если ты увѣренъ, если ты непремѣнно хочешь—о чемъ-же говорить, я противъ тебя не пойду.

— Да нѣтъ, пойми,—горячо говорилъ онъ, но краска раздраженія уже сбѣжала съ его лица,—пойми, я вовсе не хочу, чтобы ты насильно соглашалась со мною, разбери и ты увидишь, что изъ всей этой молодежи, у насъ бывающей, Гриша лучше всѣхъ, надежнѣе всѣхъ...

Онъ сталъ подробно объяснять ей достоинства Гриши, свои планы на счетъ его будущности, карьеры...

Она слушала его внимательно и кончила тѣмъ, что съ нимъ согласилась. Но насколько это согласіе было искренно—про то она одна знала...

Съ этого дня Гриша еще чаще началъ бывать у нихъ въ домѣ и скоро совсѣмъ стало ясно, начиная съ прислуги и кончая обычными посѣтителями, что это—женихъ.

VII.

Благоразумное счастье.

Гриша, какъ человѣкъ благоразумный, не торопился и не спѣшилъ, и все, чего онъ желалъ, исполнялось «своевременно».

Хотя въ домѣ Бородиныхъ и не было официальнаго траура

по Борисѣ Сергѣевичѣ Горбатовѣ, но всю первую половину зимы Михаилъ Ивановичъ не допускалъ у себя никакихъ шумныхъ празднествъ. Надежда Николаевна и Лиза почти никуда не выѣзжали и это дало возможность Гришѣ особенно сблизиться съ Лизой. Онъ теперь очень часто проводилъ съ нею по нѣсколько часовъ почти вдвоемъ. Надежда Николаевна, хотя и наблюдала за ними, но давала имъ значительную свободу.

Все это сдѣлалось какъ-бы само собою, понемногу, естественно. Лизѣ ни мать, ни отецъ ничего не говорили. Только она знала теперь изъ многихъ разговоровъ, что они почему-то особенно любятъ Гришу или, вѣрнѣе, особенно полюбили въ послѣднее время. Сама она давно уже къ нему привыкла, всегда, повидимому, была довольна его появленію, обращалась съ нимъ дружески, позволяла себѣ даже нѣкоторыя милыя фамильярности, чего никогда не допускала въ отношеніи къ другимъ молодымъ людямъ.

Наконецъ она стала ловить себя на мысляхъ: «а что будетъ если она выйдетъ замужъ за Гришу? Да нѣтъ, съ какой-же стати, развѣ онъ женихъ? Она свой человѣкъ, онъ родной...»

Какъ ни старались Бородины скрыть это обстоятельство и отъ Жана, и отъ Лизы, этого не удалось сдѣлать. Да ужъ одно то, что въ домѣ Горбатовыхъ было нѣсколько портретовъ покойнаго Владиміра Сергѣевича и что Лиза видѣла эти портреты—должно было ей открыть глаза. На всѣхъ этихъ портретахъ сходство съ ея отцомъ было поразительно.

«Нѣтъ, какой-же онъ женихъ!» говорила она себѣ.

А мысль о замужествѣ уже явилась, слово «женихъ» было произнесено, — и вотъ она начинала перебирать всѣхъ своихъ знакомыхъ молодыхъ людей, всѣхъ, кто за нею ухаживалъ въ прошлую зиму. Оказывалось много, но ни къ кому изъ этихъ молодыхъ людей, по большей части прекрасно поставленныхъ въ обществѣ, по большей части титулованныхъ, и во всякомъ случаѣ, изъ лучшихъ фамилій, она не чувствовала ровно никакого влеченія. Иногда, глядя на Гришу, слушая его симпатичный голосъ, дурачась и смѣясь съ нимъ, она находила, что онъ очень красивъ, что онъ «такой милый...»

Когда случалось, что онъ цѣловалъ ея руку, здороваясь или прощаясь, и она съ нимъ была одна—она непременно краснѣла и выдергивала руку,—а почему — и сама не знала. Но очевидно тутъ было уже не родство и она если прежде и глядѣла на него какъ на родного, теперь такъ глядѣть переставала.

А время шло и кончилось тѣмъ, что если Гриша не являлся дня три, ей чего-то недоставало. Она къ нему привыкла, онъ развлекалъ ее, онъ за нею ухаживалъ не такъ, какъ другіе, на

вечерахъ и балахъ, а ухаживалъ постоянно, въ домашней обстановкѣ—и это было совсѣмъ иное. Это было новое и оказалось ей пріятнымъ...

Что касается Гриши, онъ былъ искрененъ когда говорилъ своему двоюродному брату, что хотя и не влюбленъ въ Лизу, но очень ее любить. Она ему дѣйствительно теперь нравилась болѣе всѣхъ молодыхъ дѣвушекъ, какихъ онъ зналъ. Въ эти-же послѣдніе мѣсяцы, рѣшивъ, что она должна быть его женою, видя ее постоянно, чувствуя ея близость, находясь почти ежедневно, такъ сказать, въ ея атмосферѣ,—онъ началъ даже увлекаться ею.

Это не была страстная любовь, но его къ ней влекло, онъ ее жалѣлъ, она представлялась ему въ соблазнительномъ свѣтѣ. Онъ думалъ о ней, иногда даже не сознавая, что думаетъ. Онъ находилъ, что Лиза все хорошѣетъ и хорошѣетъ.

Это ему такъ казалось. Лиза ничуть не похорошѣла. Она была такой-же, какъ и нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ. Но она дѣйствительно была миленькая дѣвушка, хотя ничѣмъ особенно не выдающаяся. Ему нравились ея каріе глаза, съ длинными рѣсницами, нравилось какъ она ихъ полузакрываетъ и при этомъ горделиво поднимаетъ голову и вдругъ дѣлается похожей на своего отца и на его дѣда (только это и было въ ней съ ними сходство). Нравился ему ея короткій, какъ-будто чуточку обрубленный носикъ, и полная губки,—она ихъ какъ-то совсѣмъ подѣтски облизывала, когда была чѣмъ-нибудь очень довольна. Особенно нравилась ему ея большая родинка на правой щецѣ, и ея полная бѣлая руки, и ея стройная ножка, которую онъ какъ-то хорошо разглядѣлъ, когда она бѣжала передъ нимъ по лѣстницѣ и зацѣпила себѣ платье, а онъ, нагнувшись, ей отцѣпилъ его.

Съ этого раза онъ тщательно искалъ случая полюбоваться Лизиной ножкой, а случая, какъ нарочно, не представлялось—и это его бѣсило. Кончилось тѣмъ, что онъ сдѣлался даже нетерпѣливымъ. Но ему не пришлось терпѣть и ждать,—все устроилось къ этому времени.

Онъ уже переговорилъ съ министромъ и тотъ сказалъ ему, что принимаетъ его къ себѣ въ чиновники особыхъ порученій. Тогда Гриша, не откладывая ни минуты, подалъ въ отставку. Полковные товарищи сначала были изумлены, даже почти обидѣлись, стали его всячески отговаривать. Но въ виду его непреклонности задали ему прощальный обѣдъ и заказали для него великолѣпный альбомъ на память. Военное начальство простилось съ нимъ какъ съ хорошимъ офицеромъ.

Вотъ получена и отставка. И въ то-же время, въ тотъ-же самый день, Михаилъ Ивановичъ былъ у его родителей. Наконецъ все рѣшено, остается объясниться съ Лизой.

Михаиль Ивановичъ прямо сказалъ ему, что ни онъ, ни жена его ровно ничего не говорили дочери, что она должна рѣшить сама и они въ это вмѣшиваться не стануть.

— А потому, другъ мой, Гриша,—прибавилъ съ улыбкой Михаилъ Ивановичъ,—можетъ ты и еще отставку получишь... не ручаюсь, это ужъ твое дѣло, а я сторона. Приѣзжай завтра утромъ и старайся выиграть сраженіе, пока еще не снялъ эполеты.

— Нѣтъ, я приѣду именно безъ эполетъ,—сказалъ Гриша.— Я снимаю ихъ сегодня вечеромъ и облакаюсь въ штатское платье. Я съ Лизой буду говорить такимъ, какимъ отнынѣ долженъ быть всегда передъ нею, то-есть безъ всякихъ прикрасъ этого мундира. Можетъ быть я ей покажусь смѣшнымъ, безобразнымъ, но именно потому и явлюсь штатскимъ.

— Дѣло, дѣло, мой другъ, одобряю!—сказалъ Михаилъ Ивановичъ.

Онъ крѣпко сжалъ руку Гриши и потомъ его обнялъ. Насколько могъ, онъ начиналъ любить его. Онъ былъ имъ до послѣдней степени доволенъ.

Гриша такъ и сдѣлалъ, какъ сказалъ. Приѣхалъ на слѣдующее утро въ черномъ сюртукѣ и цилиндрической шляпѣ.

Внизу великолѣпный швейцаръ укоризненно покачалъ головою и осмѣлился замѣтить:

— Эхъ, что это вы такъ, сударь Григорій Николаевичъ, въ военномъ-то вамъ не въ примѣръ больше къ лицу было!

— Ничего, сойдегъ и такъ!—прогвоздитъ Гриша.

Хотя и увѣренный въ себѣ, но онъ былъ нѣсколько нервенъ и чувствовалъ себя не совсѣмъ ловко.

— Его превосходительство съ полчаса какъ изволили выѣхать,—доложилъ швейцаръ,—барыня тоже отъ обѣдни еще не возвратилась.

— А барышня?

— Барышня дома, надо полагать въ концертномъ залѣ, слышно было какъ играли... Да вотъ, извольте прислушаться, это навѣрно онѣ играютъ...

Откуда-то издали дѣйствительно доносились звуки рояля.

Гриша быстро поднялся по широкой мраморной лѣстницѣ, взглядывая въ зеркала. Онъ чувствовалъ себя очень странно, очень неловко въ своемъ новомъ костюмѣ, какъ будто онъ былъ не одѣтъ, будто въ халатѣ. Онъ почти воѣжалъ въ концертный залъ и увидѣлъ въ глубинѣ этой обширной, великолѣпной, но строгой и холодной комнаты Лизу.

Она сидѣла за роялемъ, лѣниво перебирая клавишами. Отрывистые и довольно безпорядочные звуки уносились къ высокому куполу. Замѣтя вошедшаго, Лиза встала съ табуретки и пошла

ему навстрѣчу, скользя своими маленькими ножками по блестящему какъ зеркало мозаичному паркету. Она шурила глаза и вглядывалась, такъ какъ была близорука. Она почти совсѣмъ подошла къ нему и все еще не узнавала, — онъ это ясно видѣлъ по изумленному, вопрошающему выраженію ея лица.

Онъ отвѣсилъ глубокій поклонъ и ему опять показалось, что онъ раздѣтъ и въ совсѣмъ неприличномъ видѣ.

Наконецъ Лиза засмѣялась.

— Григорій Николаевичъ, такъ это вы, нѣтъ, это не вы... Прочь, прочь, я и знать васъ такого не хочу!.. Уходите, слышите?... Фу, какой противный... Mais vous savez, vous êtes même ridicule!.. tournez-vous... comme-ça... non, décidément ça ne vous va pas! Vous devez reprendre votre jolie uniforme... слышите—уѣзжайте и являйтесь прежнимъ... а такъ я съ вами и говорить не стану... нѣ принимаю, меня дома нѣтъ... слышите!..

Въ то-же время она протянула ему руку, которую онъ пожималъ и не выпускалъ.

— Отчего у васъ такая холодная рука?—спросилъ онъ, наклонился и поцѣловалъ эту дѣйствительно холодную руку.

— Да развѣ вы не чувствуете, что здѣсь совсѣмъ морозъ? Я замерзла, знаете ужъ совсѣмъ сонъ клонилъ, совсѣмъ. Пойдемте скорѣе вотъ сюда, въ зеленую комнату, тамъ каминъ затопленъ.

Она взяла его подъ руку и они побѣжали и остановились только въ самомъ изящномъ уголкѣ у пылающаго камина. Лиза упала въ кресло и вытянула къ камину ножки.

Гриша придвинулъ себѣ кокетливый пуфъ и очутился совсѣмъ рядомъ съ нею.

— Такъ я кажусь вамъ очень безобразнымъ въ этомъ моемъ новомъ нарядѣ?—спрашивалъ онъ, заглядывая ей въ глаза.

— Очень!

— Но, вѣдь, что-же мнѣ дѣлать, вѣдь, это неизбежно, такимъ я всегда теперь буду...

Она окинула его быстрымъ взглядомъ.

— Если неизбежно, такъ что-жъ и говорить объ этомъ! Конечно, мнѣ жаль вашего мундира, это мой любимый мундиръ и онъ очень шелъ къ вамъ... Но успокойтесь, я вамъ скажу правду, я думала, что это будетъ гораздо хуже... Всякій отставной военный, особенно въ первое время, просто невыносимъ, даже какая-то неприличная фигура!.. Ну, а вы ничего, вы приличны даже... даже это къ вамъ идетъ, только вы совсѣмъ другой, въ новомъ родѣ.

— Вотъ и прекрасно!

И опять его рука подобралась къ рукѣ Лизѣ и ее охватила.

— Теперь потеплѣла,—сказалъ онъ.

Лиза сдѣлала видъ, что не замѣчаетъ, что не чувствуетъ его пожатія, но все-же высвободила свою руку.

— Что-же вы намѣрены теперь дѣлать, Григорій Николаевичъ?

— Какъ что?! Служить... вѣдь, вы-же знаете...

— Да!.. И вы ужъ получили мѣсто?

— Конечно, все устроено. Этотъ годъ прослужу здѣсь, а черезъ годъ... черезъ годъ—въ провинцію.

— Надолго!

— Нужно постараться, чтобы не надолго, тамъ будетъ видно...

И вы не соскучитесь?

— Полагаю, что соскучусь ужасно... если придется тамъ жить безъ васъ...

— Какъ безъ меня?!

Она вспыхнула, хотѣла было взглянуть на него, да и не взглянула.

— У него немного пересохло въ горлѣ.

— Да, безъ васъ!.. Я просто не буду въ состояніи ухъать изъ Петербурга, если вы со мною не поѣдете...

— Гри... Григорій Николаевичъ, что за глупости вы говорите!..

Но онъ ужъ завладѣлъ ея руками, онъ цѣловалъ ихъ и шепталъ:

— Ли... Лиза, скажите, согласны вы?..

Она краснѣла больше и больше, но не отнимала рукъ своихъ и все ниже и ниже склоняла голову.

— Да?.. да??.—шепталъ онъ и, самъ не зная какъ, громко поцѣловалъ ея пылавшую румянцемъ щеку.

— Да!..—наконецъ разслышалъ онъ слабый, какъ-бы нерѣшительный шепотъ.

Тогда онъ охватилъ крѣпкой рукою ея гибкую талію, онъ чувствовалъ подъ своими пальцами бѣніе ея сердца, старался повернуть къ себѣ ея лицъ. Но она отворачивалась и, наконецъ, совсѣмъ отъ него вырвалась.

Она стояла передъ нимъ, почти закрывъ глаза, высоко поднявъ голову, и кончикъ языка такъ и бѣгалъ по горячимъ губамъ, а прелестная родинка на правой щекѣ чернѣлась, со всѣхъ сторонъ охваченная румянцемъ.

— Но если они не согласны?—наконецъ произнесла она, тяжело переводя дыханіе.

— Согласны... согласны... я навѣрно это знаю!—почти закричалъ онъ.

Впрочемъ, вѣдь, и она это хорошо знала.

— И ваши?..—спросила она.

— И мои, конечно!

Лиза отошла за свое кресло, будто желая, такимъ образомъ, защищаться отъ возможности новаго нападенія. Вдругъ по ея лицу скользнула лукавая усмѣшка.

— Хорошо, да, только съ уговоромъ—пусть это будетъ не раньше того времени какъ вы поѣдете въ провинцію.

Гриша даже растерялся.

— Лиза, да что это, Богъ съ вами, за что-же это мнѣ ждать цѣлый годъ, можетъ быть больше года?!

— А развѣ я вамъ здѣсь нужна, вѣдь, я для провинціи, чтобы тамъ не скучать, вѣдь, вы сами это сказали...

Онъ бросился впередъ, оттолкнулъ кресло и, прежде чѣмъ она успѣла опомниться, сталъ обнимать и цѣловать ее въ глаза, щеки, губы... И она не отбивалась. Но вдругъ она проговорила, будто испугавшись:

— Слышите!

Онъ оставилъ ее, прислушался.

— Что такое? Что—слышу?..

Она ничего не отвѣтила и выбѣжала изъ комнаты.

Онъ остался дожидаться возвращенія Надежды Николаевны..

Все лицо его сіяло радостью и сознаніемъ блистательной побѣды, сулившей ему впереди, какъ онъ былъ увѣренъ, только одно хорошее.

А Лиза между тѣмъ пробѣжала прямо къ себѣ и остановилась взволнованная, съ горящей головою. Но вотъ мало-по-малу ея волненіе стало стихать и стихло до того, что она даже задала себѣ вопросъ:

«Что-же это я такое сдѣлала? Хорошо-ли?.. Вѣдь, это навсегда, навсегда!..»

Она склонила голову и вслушивалась въ пробѣгавшія мимо нея мысли. Наконецъ она рѣшила, что хорошо: Онъ такой милый, такой славный, такой забавный. Конечно, онъ лучше всѣхъ. Передъ нею въ неясномъ, но свѣтломъ туманѣ промелькнула картина ея будущей жизни, широкой... веселой... Она представила себя первой дамой въ губерніи. Потомъ опять здѣсь, въ Петербургѣ... и главное—свобода!..

«Отчего это Горбатовы не князья и не графы?»—вдругъ спросила она себя. «Даже странно!.. Папа говоритъ, что это чуть-ли не самый старинный и знатный русскій родъ... Всѣ князья, всѣ графы,—а они нѣтъ!»

Она почувствовала большую досаду, даже очень большую; но успокоила себя тѣмъ, что навѣрно это можно устроить. Ея папа захочетъ и устроить. Пороются тамъ гдѣ-нибудь въ архивахъ и, конечно, найдутъ такіе документы, по которымъ окажется, что

Горбатовы имѣютъ право на титулъ. А если такъ нельзя, въ крайнемъ случаѣ, вѣдь, можно купить себѣ княжество... Вотъ Демидовъ-же купилъ. Сначала его называли Демидовъ, князь Санъ-Донато, теперь ужъ его называютъ—князь Демидовъ. Такъ и они могутъ сдѣлать... «А какой онъ милый... милый!..» пришла новая мысль, и ощущение его поцѣлуевъ охватило ее трепетомъ.

«Какъ-же я выйду? Вѣдь, мама навѣрное пріѣхала... Тамъ онъ или нѣтъ?..»

Она подождала немного и вышла, наконецъ, изъ своей комнаты, какъ-то растерянно, смущенно оглядываясь...

VIII.

Печальный герой.

Въ одномъ изъ новыхъ огромныхъ домовъ, съ необычайной быстротой выросшихъ на мѣстѣ деревянныхъ лачужекъ Знаменской, занималъ квартиру князь Янычевъ.

Если спросить какого-нибудь истаго петербуржца, знаетъ-ли онъ князя Янычева, такой петербуржецъ непременно отвѣчалъ:

— Какъ не знать, кто-же его не знаетъ!—и при этомъ улыбался.—Онъ, говорятъ, еще недавно какую-то удивительную шутку выкинулъ—жида-ростовщика Эршеля надулъ... понимаете-ли, Эршеля! Эту выжигу, который самъ говоритъ, что его даже чортъ ни подъ какимъ видомъ не надуетъ. Жидъ отъ такой обиды чуть не повѣсился, заболѣлъ разлитіемъ желчи...

Затѣмъ начинались удивительные рассказы о приключеніяхъ и штукахъ князя Янычева.

Всѣмъ, напримѣръ, было извѣстно, что онъ, служа гдѣ-то на Кавказѣ или въ Сибири и надѣлавъ, по своему обыкновенію, долговъ, убѣдился въ одинъ прекрасный день, что дѣло его плохо, что вывернуться нѣтъ никакой возможности. Случилось это именно въ такое время, когда ему до «последняго зарѣза» надо было ѣхать въ Петербургъ. Кредиторы обступили его со всѣхъ сторонъ—не выпускаютъ, цѣлая облава. А не выѣдетъ онъ черезъ дня два, три—упуститъ большое дѣло. Что тутъ придумать?

Князь послалъ за дюжиной шампанскаго и напился, по его выраженію, до «бѣлаго слона». Всѣ его лучшія вдохновенія приходили ему именно тогда, когда онъ находился въ подобномъ состояніи.

Такъ случилось и теперь; ему мелькнула счастливая мысль, и когда онъ вытрезвился, она не только не исчезла, а, напротивъ, онъ развилъ свой планъ во всѣхъ подробностяхъ.

Онъ заперся у себя на цѣлый день, предварительно, впрочемъ, сходявъ въ церковь и скупивъ тамъ чуть не цѣлый свѣчной ларь. Онъ растопилъ огромное количество восковыхъ свѣчей, затѣмъ обтесалъ круглый деревянный болванчикъ и сталъ налѣпливать на него воскъ. Мало-по-малу, подъ его искусными пальцами (онъ былъ художникъ-самоучка и можетъ быть изъ него вышелъ бы очень хорошій скульпторъ, если-бы въ юности онъ учился, какъ слѣдуетъ) образовалась человѣческая голова. Еще часъ, другой—и эта голова получила удивительное сходство съ нимъ самимъ.

Тогда онъ вплотную обстригъ себѣ волосы и украсилъ ими вылѣпленную имъ голову. То-же самое сдѣлалъ онъ со своими усами и роскошными бакенбардами. Затѣмъ онъ взялъ краски, художественно раскрасилъ ими восковое лицо, придавъ ему видъ ужасающей мертвенности...

Наконецъ, когда работа эта была готова и онъ остался ею вполне доволенъ, вылѣпилъ онъ восковыя руки. Потомъ, изъ туго набитыхъ подушекъ, устроилъ родъ человѣческаго туловища, соединилъ это туловище съ восковой головой и руками.

Остальное не представляло никакой трудности. Онъ одѣлъ куклу въ свой мундиръ, въ свои сапоги, уложилъ ее на столъ и долго любовался ею съ чувствомъ художника, удовлетвореннаго своимъ завѣтнымъ произведеніемъ.

Кукла дѣйствительно была несравненно больше похожа на князя, чѣмъ онъ самъ теперь, остриженный, съ обритыми бакенбардами и усами.

Потомъ онъ написалъ отчаянную пригласительную записку одному своему товарищу и закадычному другу, такому-же теплomu малому, какъ онъ, и послалъ ему ее съ своимъ вѣрнымъ деньщикомъ, преданнымъ ему «по гробъ жазни» малороссомъ, который помогалъ князю въ его работѣ и съ хохлацкимъ злорадствомъ заранѣе наслаждался шуткой пана и тѣмъ, какъ москали будутъ надуты.

Пріятель князя поспѣшилъ на зовъ. Вошелъ въ комнату, взглянулъ на столъ, на куклу, подошелъ къ ней, нагнулся — и отшатнулся въ ужасѣ. Самого князя, стоявшаго тутъ-же въ шатскомъ платьѣ, онъ не узналъ.

— Богъ мой!—воскликнулъ онъ, — да когда-же онъ успѣлъ умереть?.. Что-же это?..

Князь захохоталъ счастливымъ смѣхомъ.

— Ну, значитъ, удачно сдѣлано!

— Онъ сговорился съ пріятелемъ, тотъ согласился помочь ему и все устроить...

На слѣдующій день въ городѣ узнали о смерти князя. Кре-

диторы не вѣрили, сбѣжались со всѣхъ сторонъ. Князь лежалъ, на столѣ, пріятель его всѣмъ распоряжался. Онъ оказался его душеприказчикомъ и исполнилъ свою роль такъ удачно, что кредиторы согласились получить чуть-ли не по пяти копѣекъ за рубль. Получили они эти деньги отъ пріятеля князя и всѣ векселя были разорваны. Въ тотъ-же вечеръ кукла была уничтожена, а князь на слѣдующій день спокойно выѣхалъ въ Петербургъ...

Потомъ, черезъ многіе годы, подобную исторію стали рассказывать, какъ легенду, считая ея героемъ то одного, то другого. Но единственнымъ истымъ героемъ, дѣйствительнымъ творцомъ этой гениальной выдумки былъ князь Янычевъ.

Такъ какъ вдохновеніе его во время дней бѣдъ и напастей почерпалось въ винѣ, то князь иногда черезчуръ часто искалъ этого вдохновенія. И былъ періодъ его жизни, когда онъ попросту говоря, дошелъ до запоя.

Къ этому времени тоже относится характерный о немъ рассказъ.

Онъ жилъ тогда въ Москвѣ. Навѣдывается къ нему какой-то заѣзжій пріятель.

— Дома князь?

Неизмѣнный хохоль-деньщикъ, оставшійся при князѣ и по окончательномъ выходѣ его въ отставку, отвѣчаетъ, что панъ дома, и проводитъ гостя въ довольно обширную залу.

Дѣло было вечеромъ. Гость остановился въ изумленіи. Зала была вся бѣлая: бѣлые обои, полъ покрытъ бѣлымъ полотномъ, освѣщеніе ослѣпительное. По стѣнамъ зажжены свѣчи, зажжена огромная люстра. Свѣчи поставлены всюду. Мебели никакой. А подъ люстрой, посреди залы, на полу, въ бѣломъ медвѣжьемъ мѣху, самъ князь. Лицо красное, глаза налиты кровью...

При входѣ гостя онъ зарычалъ, перевалился съ боку на бокъ и затѣмъ самымъ серьезнымъ тономъ объявилъ:

— Я бѣлый медвѣдь... среди полярныхъ льдовъ и вотъ—онъ указалъ на зажженный свѣчи—это сѣверное сіяніе!!

Оказалось, что уже третій день князь изображаетъ изъ себя бѣлаго медвѣдя...

Однако его натура была такова, что ему удалось вылѣчиться и онъ даже почти совсѣмъ пересталъ пить.

Когда его спрашивали пріятеля какимъ образомъ онъ избавился отъ своей пагубной страсти, онъ говорилъ, что его вылѣчилъ какой-то знахарь, давшій ему проглотить въ рюмкѣ съ виномъ «лѣсного клопа». Хохоль-деньщикъ увѣрялъ, что точно такъ оно и было. Но такъ или не такъ, князь остался живъ и невредимъ.

Переселился онъ въ Петербургъ и здѣсь время отъ времени придумывалъ разныя штуки. Но теперь эти штуки были гораздо осторожнѣе, въ нихъ замѣчалось гораздо меньше оригинальности, новизны. Вдохновеніе, очевидно, ослабло, выдохлось.

И такой-то человѣкъ былъ отцомъ семейства. Въ одинъ прекрасный день, гдѣ-то въ уѣздномъ городѣ и врядъ-ли въ трезвомъ видѣ, князь женился. Никто никогда не зналъ, какъ это случилось, кто такая его жена, есть-ли у нея родные и какіе.

Княгиня была кроткая, забитая, невидная и неслышная женщина. Она пожила съ мужемъ лѣтъ съ десять, видя его за это время въ общей сложности не болѣе какъ года полтора, а затѣмъ умерла—такъ, какъ и жила, невидно и неслышно, оставивъ ему пять человѣкъ дѣтей. Дѣтей изъ жалости прибрала какая-то его тетка и крестная мать, воспитывала ихъ у себя въ деревнѣ. Но теперь она уже нѣсколько лѣтъ какъ умерла, не позаботясь о духовномъ завѣщаніи. Ея имѣніе перешло по закону къ другимъ родственникамъ.

Князь забралъ дѣтей и въ настоящее время жилъ съ ними въ Петербургѣ, чѣмъ и какъ жилъ—рѣшить это было довольно трудно. Но конечно главнымъ источникомъ его доходовъ являлось опять-таки вдохновеніе. А такъ какъ вдохновеніе изсякало, то жизнь становилась все болѣе и болѣе трудной.

Когда-то князь былъ богатъ и, мало того, онъ нѣсколько разъ въ теченіе жизни получалъ значительныя наслѣдства. Но все это давно было съѣдено, пропито, проиграно въ карты, просорено направо, налево. У него еще оставалось гдѣ-то въ Тамбовской губерніи какое-то имѣніе, оставалось потому, что продать его было нельзя—оно принадлежало дѣтямъ. Но имѣніе это давно уже было заложено и перезаложено, въ него никогда не заглядывали и оно не давало почти никакого дохода.

Теперь князь Янычевъ былъ грузнымъ обрюзгшимъ человѣкомъ лѣтъ пятидесяти, заросшимъ черной, съ просѣдью, курчавой бородою, съ большой лысиной на головѣ, съ налитыми кровью и выльзающими, какъ у рака, глазами, съ хронически опухшимъ носомъ, испещреннымъ синими жилками.

Онъ употреблялъ все усилія, чтобы казаться новымъ человѣкомъ, то-есть приличнымъ, солиднымъ и даже изящнымъ. Чѣмъ обстоятельства дѣлались запутаннѣе, тѣмъ онъ больше франтилъ. Но большую часть жизни проведя въ разныхъ захолустяхъ, Богъ знаетъ въ какомъ обществѣ, онъ носилъ на себѣ несмыслимые слѣды своего легендарнаго прошлаго и ему никакъ не удавалось подойти подъ общій уровень. Гдѣ-бы онъ ни появлялся, каждымъ своимъ бессознательнымъ движеніемъ, каждой миной

каждымъ словомъ онъ обращалъ на себя вниманіе, выдѣлялся, билъ въ глаза.

То общество, къ которому онъ принадлежалъ по рожденію, родству и прежнимъ связямъ, уже не признавало его своимъ человѣкомъ и съ каждымъ годомъ онъ убѣждался, что всѣ усилія остаются тщетными, что для него, мало-по-малу, закрываются всѣ двери, куда онъ стучался.

Въ Москвѣ у него было не мало родныхъ и Москва оказывалась добродушнѣе Петербурга; его еще тамъ кой-куда принимали и въ минуты крайняго бѣдствія онъ даже и не одинъ, а со всѣми дѣтьми, туда скрывался, находя гостепріимство у двухъ-трехъ кузинъ. Въ Петербургѣ-же его общество было крайне смѣшаннымъ. Всѣ его знакомства заводились быстро и неожиданно, и еще быстрѣе и неожиданнѣе прекращались.

Какимъ онъ былъ отцомъ? — Ему казалось что очень хорошимъ, онъ даже нерѣдко думалъ о своихъ дѣтяхъ, тревожился за ихъ будущность. Для нихъ онъ и хотѣлъ возобновлять прежнія связи, казаться новымъ человѣкомъ. Прежде онъ разсчитывалъ, что та тетка, у которой они воспитывались, о нихъ позаботится и ихъ устроитъ. Когда этотъ планъ рушился, онъ, по его выраженію, дѣлалъ для нихъ что могъ. Онъ перезаложилъ ихъ имѣніе и жилъ на эти деньги цѣлый годъ, нанявъ въ Петербургѣ прекрасную квартиру, меблировавъ ее, какъ ему казалось, «по-княжески». Онъ нанялъ для дочерей гувернантку, сыновьямъ взялъ студента. Ему ужасно хотѣлось, чтобы его домъ имѣлъ видъ настоящаго барскаго дома.

Но это не удалось. Деньги были съѣдены. Мальчиковъ онъ пристроилъ въ военную гимназію; среднюю дочь отдалъ въ институтъ и остался со старшей, княжной Еленой, которой уже исполнилось восемнадцать лѣтъ, и младшей, Нетти, девятилѣтней дѣвочкой.

Экипажи и лошади продавались и покупались. Каждый годъ князь переѣзжалъ съ квартиры на квартиру и всегда имѣлъ непріятности съ прежнимъ хозяиномъ, по случаю неуплаты.

Нѣсколько разъ его московскія кузины просили его отдать имъ дѣвочекъ. Онъ хорошо понималъ, что для него это было-бы истиннымъ благодѣяніемъ. Но въ немъ было какое-то болѣзненное упорство—онъ на трѣзъ отказывался отъ предложенія кузинъ и онѣ могли отъ него добиться только того, что онъ мѣсяца на два отпускалъ къ нимъ Елену и Нетти.

Старшая княжна была очень недурненькая дѣвушка, яркая брюнетка, въ отца, съ великолѣпными огненными глазами, иногда какъ-бы заволакивавшимися туманомъ, что очень шло къ ней; съ очень замѣтнымъ, темнымъ пушкомъ надъ нѣсколько при-

поднятой и подвижной верхней губкой. Вьющиеся и непослушные, изъ-синя черные ея волосы всегда выбивались шаловливыми завитками и окружали ея круглую головку какъ-бы ореоломъ. Она была румяна, но неровнымъ, лихорадочнымъ румянцемъ, то вспыхивавшимъ, то пропадавшимъ. Средняго роста, хорошо сложена, хотя съ наклонностью къ полнотѣ.

Сразу ее можно было почестъ очень крѣпкой и здоровой, но, взглянувъшисъ внимательно, въ ней легко было замѣтить всѣ признаки сильной нервности:

Да и какъ она могла не быть нервной! Ея жизнь сложилась тревожно и нерадостно. Ей не было еще десяти лѣтъ когда умерла ея мать. Въ деревнѣ, у двоюродной бабушки, жилось хорошо, да и то не совсѣмъ — старушка была нетерпѣлива, взыскательна и даже нѣсколько сурова въ обращеніи. Дѣвочка, избалованная матерью, не могла не чувствовать своего сиротства. Ей минуло четырнадцать лѣтъ, когда умерла старушка, и отецъ привезъ ее въ Петербургъ.

Сначала все шло хорошо, пока имѣлись дечъги, вырученныя за дѣтское имѣніе. Но эти мѣсяцы промелькнули быстро, а затѣмъ начались всякія бѣды. Полное безденежье, иногда необходимость отказывать себѣ въ самыхъ нужныхъ вещахъ, переѣзды съ квартиры на квартиру, непріятности съ прислугой и поставщиками, — однимъ словомъ, позолоченная нищета. И тогда, когда дѣвушка, вслѣдствіе исключительныхъ обстоятельствъ своей жизни очень рано развившаяся, уже все хорошо понимала. Она знала иную жизнь, богатую, спокойную и, изящную, приходила съ нею времѣя отъ времени въ соприкосновеніе и здѣсь, въ Петербургѣ, и въ Москвѣ, у тетки. Она любила эту жизнь, считала себя для нея предназначенной, — вѣдь, она княжна, у нея есть знатные родные... Тѣмъ ужаснѣе ей была ея домашняя жизнь съ отцомъ, тѣмъ унизительнѣе.

Княжна была не глупа отъ природы, но, она не получила почти никакого образованія, училась урывками, кой-чему и кое-какъ, а къ пятнадцати годамъ и совсѣмъ прекратила ученіе, — некогда было. Дома она являлась хозяйкой, а то гостила у тетки и тогда, конечно, никто не думалъ объ ея ученіи. Даже непонятно какъ еще она приучилась бойко болтать по-французски и немного по-англійски и, когда было нужно, удачно играть роль свѣтской барышни.

Дома, безъ постороннихъ, она дѣлалась совсѣмъ другою. Единственнымъ ея занятіемъ въ часы досуга было чтеніе романовъ—но какихъ! Никто никогда, конечно не руководилъ выборомъ ея книгъ и она, къ семнадцати годамъ, начиталась всякихъ пошлой и гадостей, всякихъ бульварныхъ французскихъ

романовъ въ оригиналѣ и въ плохихъ русскихъ переводахъ. Ея воображеніе было разстроено и извращено до послѣдней степени, хотя она, конечно, и не сознавала этого и Хотя до сихъ поръ еще не проводила своихъ фантазій въ дѣйствительность.

Конечно, если-бы княжна захотѣла, она могла-бы, пожалуй, настоять на своемъ, заставить отца согласиться на предложеніе его кузины. Она даже очень желала этого. Но тутъ оказывалось нѣчто странное. Ея отношенія къ отцу были совсѣмъ особенныя. Она его вовсе не любила, еще менѣе того уважала. Она знала о немъ даже многое такое, чего не знали рассказчики его всевозможныхъ приключеній. Иногда онъ казался ей просто страшнымъ, она его боялась. Къ этому страху примѣшивалось порою почти отвращеніе. Но несмотря на это, онъ имѣлъ надъ нею огромное вліяніе. Откуда оно происходило — неизвѣстно. Сама она, а ужъ тѣмъ менѣе кто-нибудь изъ постороннихъ, никогда не задавали себѣ этого вопроса...

Получаетъ княжна письмо изъ Москвы: тетка ее приглашаетъ на праздники, обѣщая ей всякое веселье. Она въ восторгѣ. Приходитъ проситься у отца.

Тотъ глядитъ на нее своими вытаращенными глазами и отвѣчаетъ:

— Нѣтъ, къ чему тебѣ ѣхать, нечего у этой старухи нахлѣбничать... знаю я ее—зоветь... зоветь, а потомъ станетъ по всей Москвѣ трубить, что мы ее объѣдаемъ... оставайся—и здѣсь на праздникахъ будетъ тебѣ весело...

Княжна очень хорошо знаетъ, что отецъ не правъ относительно тетки, особы очень доброй и деликатной, и еще лучше знаетъ, что въ Петербургѣ кромѣ скуки и унижительныхъ домашнихъ сценъ ничего не придется видѣть. Но она не возражаетъ, она опускаетъ глаза подъ отцовскимъ взглядомъ, возбуждающемъ въ ней какой-то странный трепетъ, и покорно говоритъ: «хорошо». Она идетъ въ свою комнату, пишетъ теткѣ, что ѣхать не можетъ, а затѣмъ ложится на кровать и выходитъ черезъ часа два, три, къ обѣду, съ опухшими отъ слезъ глазами...

Иногда отецъ вдругъ войдетъ къ ней и скажетъ:

— Одѣвайся, ѣдемъ въ театр!

Она располагала совсѣмъ иначе провести вечеръ, ее ждуть у знакомыхъ, гдѣ ей непременно было-бы очень весело, гдѣ есть красивый молодой офицеръ, который за нею сильно ухаживаетъ. Она сама себѣ уже призналась, что влюблена въ него. Тамъ устраивается катанье на тройкахъ, она должна ѣхать съ нимъ, общала ему.

— Что-же ты молчишь... одѣвайся скорѣе, не то мы опоз-

даемъ, — раздраженно говоритъ отецъ, пронизывая ее своимъ взглядомъ.

— Хорошо, я сейчасъ...—шепчетъ княжна—и ѣдетъ съ отцомъ, и весь вечеръ волнуется, доходитъ чуть не до истерики...

Если ее кто-нибудь спрашивалъ объ ея здоровьи, она всегда со смѣхомъ отвѣчала:

— Да развѣ я могу быть больна? Я всегда здорова!

Но ей это только такъ казалось. На нее нѣсколько разъ въ годъ находило какое-то странное состояніе, что-то въ родѣ спячки, спячки даже на яву, съ открытыми глазами. Она дня два, три ходила, говорила, ѣла, однимъ словомъ, жила какъ-бы машинально, въ какомъ-то туманѣ. Затѣмъ это странное состояніе разрѣшалось уже настоящимъ сномъ. Она спала иногда часовъ двадцать подъ рядъ, не шевелясь и не просыпаясь ни на минуту.

Когда-же сонъ этотъ проходилъ, она оказывалась совсѣмъ здоровой, бодрой. Тумана уже никакого не было. Только она совсѣмъ не помнила, что было съ нею въ предыдущіе два, три странныхъ дня. А если кое-что и вспоминала, то какъ будто это произошло не въ дѣйствительности, а въ далекомъ, неясномъ сновидѣніи.

Княжна почему-то никому не говорила объ этихъ странно-стяхъ и совсѣмъ о нихъ не думала. Она была убѣждена, неизвѣстно на какомъ основаніи, что это «такъ», ничего, что это со всякимъ человѣкомъ бываетъ.

IX.

Опять Кокушка.

Конецъ прошедшаго лѣта княжна провела у своей московской тетки, Кашиной.

Эта Кашина была очень богатая вдова, оставшаяся съ тремя дочерьми, изъ которыхъ старшая только-что вышла замужъ, а двѣ младшія были большими пріятельницами княжны.

Кашина, послѣ смерти мужа, вела довольно скромный образъ жизни, и въ домѣ у нея, по общему мнѣнію, было скучно. Лѣтомъ она неизмѣнно жила въ Сокольникахъ, зимой—въ своемъ московскомъ домѣ.

Ея дочери были необыкновенно рады пріѣзду петербургской кузины. Она вносила всегда съ собою оживленіе. При ней, ради того, чтобы ей не было скучно, ихъ мать допускала въ домъ мнѣе экстраординарное.

Дѣвушки Кашины были некрасивы, застѣнчивы. Молодежь къ

нимъ не льнула и скорѣе даже отъ нихъ бѣгала. Приѣздъ хорошенькой, ничѣмъ не смущавшейся княжны тотчасъ-же привлекалъ эту молодежь. Такъ случилось и на этотъ разъ. У Кашиныхъ въ Сокольникахъ было очень весело благодаря приѣзжей, а когда, въ половинѣ августа, переѣхали въ Москву, то это веселье еще больше увеличилось.

Въ числѣ молодыхъ людей, зачистившихъ теперь къ Кашинымъ, былъ и Кокушка. Положеніе его здѣсь, какъ и вездѣ, было совсѣмъ особенное. Строгая Кашина, неустанно слѣдившая за дочерьми и за тѣмъ, чтобы молодые люди у нея въ домѣ не забывались, смотрѣла на Кокушку, какъ на существо безобидное, безвредное.

Онъ являлся когда ему вздумается и пользовался всѣми привилегіями. Онъ могъ безпрепятственно проходить даже въ комнаты барышенъ. И въ скучные часы онѣ забавлялись бѣднымъ шутомъ безъ зазрѣнія совѣсти.

Кашина, какъ и многіе, заблуждалась на его счетъ. Онъ вовсе ужъ не былъ такъ безвреденъ, какъ можно было сразу подумать. Отъ него барышни часто узнавали такія вещи, какихъ имъ вовсе-бы знать не слѣдовало. Онъ былъ для нихъ ежедневной подробной газетой всѣхъ московскихъ сплетенъ. И въ этой газетѣ подobaющее мѣсто занималъ отдѣлъ скабрёзностей.

Кокушка повторялъ эти скабрёзности, повидимому, съ полнѣйшей наивностью. Барышни дѣлали видъ, что пропускаютъ мимо ушей его иногда очень яркія, даже циничныя фразы.

«Развѣ на Кокушку можно обижаться, развѣ можно ему запретить, вѣдь, онъ ничего не понимаетъ!..»

Но если-бы онѣ захотѣли наблюдать, то убѣдились-бы, что этотъ наивный, ничего не понимающій Кокушка, тѣмъ не менѣе ни разу не проговорился передъ ихъ мамахей, что вообще со старшими онъ никогда себѣ не позволяетъ того, что позволяетъ съ ними.

Особенно на этотъ разъ княжна затормошила Кокушку, сдѣлала его своей игрушкой, дурачилась напропалую. Онъ, по своему обыкновенію, не долго думая, признался ей въ любви и сдѣлалъ ей предложеніе. Она согласилась и стала называть его своимъ женихомъ.

Затѣмъ она объявила ему, что она ревнива, а онъ очень легкомысленъ.

— Ка-какъ легкомысленъ? — сталъ заикаться Кокушка, тараща свои безцвѣтные глаза. — Я вашъ обожаю, княжна!

— Да, на словахъ только! — смѣялась она, но вдругъ прекратила смѣхъ, сдѣлала страшное лицо. — А вы думаете, что я не замѣчаю, какъ вы ухаживаете за кузиной Надей...

— Какъ?..—завопилъ Кокушка.—И... я ухаживаю?..—Надежда Павловна, обратился онъ къ одной изъ Кашиныхъ,—ра-ра-жвѣ я жа вами ухаживаю?

— Конечно, ухаживаете, а то какъ-же?

Кокушка ошалѣлъ, сталъ сопѣть и грызть ногти.

Вдругъ у него очевидно мелькнула счастливая мысль; онъ сдѣлалъ самую лукавую мину и крикнулъ:

— А жнаете... Ва-ва-ня Проншкій про-прошадилъ шорокъ ты-шячъ на танцовщицу Штрумилину... это вѣ-вѣ-рно... вѣрно! И отецъ его откажѣвается платить... въ гажетахъ объявить, да... да, въ гажетахъ...

Это значило, что Кокушка перемѣнилъ разговоръ, желая замѣять предыдущій.

Ему понравилось, что княжна его ревнуетъ и съ этого дня онъ сталъ ее поддразнивать. На другой день онъ привезъ барышнямъ бонбоньерки съ конфектами и самъ всячески обратилъ вниманіе на то, что бонбоньерка Нади Кашиной была лучшая. Но все-же онъ продолжалъ называть княжну своей невѣстой, только теперь объявилъ, что женится не иначе, какъ если отецъ ея дастъ за нею въ приданое не менѣе какъ триста тысячъ.

— А если онъ не дастъ ничего?!—воскликнула княжна, заливаясь смѣхомъ.

— Я... я его жаштавлю! — кричалъ Кокушка, — дуракомъ не буду, дудки!..

— Такъ вы такой алчный, Кокушка, такой корыстолюбивый?! Мы не знали!.. Какъ вамъ не стыдно... фи!.. Мы думали, что вы хотите жениться на княжнѣ по любви, а не по расчету...

— А то какъ-же?.. То-то-только дураки женятся безъ расчета... дудки!..

— Ну, если-бы теперь вы встрѣтили такую невѣсту, у которой было-бы десять миллионовъ, вы бы отъ меня отказались?—спросила княжна.

Кокушка молчалъ, таращилъ глаза и уже поднималъ руку ко рту, чтобы грызть ногти.

— Опять?!—строго крикнула княжна.

Кокушка быстро опустилъ руку. Онъ продолжалъ упорно молчать.

— Что-же вы молчите... отвѣчайте!.. Вѣдь, отказались-бы отъ меня?.. Смотрите мнѣ прямо въ глаза... Конечно, отказались-бы?..

Кокушка повелъ глазами въ сторону, сталъ глядѣть въ уголъ.

— Даже если-бы она была старый уродъ?!

Кокушка сопѣлъ, сопѣлъ и вдругъ крикнулъ:

— А жнаете Барбашова—адвоката... Протершя къ намъ и

уже на-на-чалъ ухаживать жа шештрой, жа Машей... А! Ка-ка-къ вамъ это нравится, губа не дура... дудки!.. жажналшя!

Онъ вдругъ сообразилъ, что этимъ самымъ, внезапно и только сейчасъ сдѣланнымъ имъ открытіемъ, надо скорѣе подѣлиться со многими, сорвался съ мѣста и, какъ всегда почти, ни съ кѣмъ не простясь уѣхалъ.

Между тѣмъ барышни отъ скуки вздумали подшутить надъ своимъ шутомъ и устроить маленькій спектакль. Княжна взялась разыграть роль новой невѣсты съ миллионами.

Она наслѣдовала отъ отца нѣкоторыя художественныя способности. На другой день вечеромъ, когда появился Кокушка, барышни Кашины объявили ему, что княжна уѣхала въ гости, а что онѣ ждутъ съ минуты на минуту миссъ Токсъ.

Кокушка изумленно сталъ бѣгать глазами.

— Мишъ Токшъ?.. Ка-ка-кая мишъ Токшъ? Кто это?

— А вы не знаете? Про нее во всѣхъ газетахъ было, а вы и не знаете!!—едва удерживая смѣхъ и очень серьезно заговорила Надя Кашина.

— Въ гажетахъ, что такое?!

— Миссъ Токсъ—американка, она недавно получила наслѣдство въ сто миллионѣвъ долларовъ, ей принадлежитъ въ Америкѣ цѣлый городъ, то-есть цѣлый городъ построенъ на ея землѣ. Она завела по этому случаю процессъ, въ прошломъ году она выиграла и теперь богаче ея можетъ быть нѣтъ никого на свѣтѣ. Это было во всѣхъ газетахъ!

Кокушка даже разинулъ ротъ.

— Што миллионѣвъ долларовъ... цѣ-цѣлый городъ!—повторялъ онъ.—А она молодая, х-хорошенькая?

— А вотъ увидите!

— Какъ-же она шъ вами пожнакомилась?

— Она очень любитъ русскихъ и теперь пріѣхала въ Москву для того, чтобъ выйти замужъ непременно за русскаго. Она дѣлаетъ знакомства, вотъ познакомилась и съ нами... Вчера пріѣзжала сейчасъ послѣ васъ. И знаете, вѣдь, она про васъ спрашивала...

— Ка-ка-къ, про меня?!—подпрыгнуть Кокушка.

— Такъ, про васъ! Она сказала, что слышала о васъ, что вы молодой человѣкъ очень знатный и милый. А когда узнала, что мы съ вами знакомы, то просила непременно васъ ей представить.

Кокушка покраснѣлъ какъ ракъ, заботливо оглядѣлъ себя. Но вдругъ отчаянно произнесъ:

— Я по-англійски ничего не понимаю—іешъ... іешъ... кишъ ми квикъ... ай лѣвъ ю... хамъ... хамъ!.. лають какъ шобаки!..

И онъ сталъ передразнивать англичанъ.

Барышни смѣялись.

— Да ничего больше и не надо, вы знаете самая лучшія слова.

— Какъ-же я буду говорить шъ нею?—между тѣмъ съ волненіемъ визжалъ Кокушка.—Вѣдь, нельзя-же мнѣ будетъ ей только и го-говорить: кишъ ми квикъ, ай лѣвъ ю! хамъ... хамъ... хамъ?

— Можно! Къ тому-же она ужъ стала брать уроки русскаго языка и немножко понимаетъ.

Въ это время въ передней раздался звонокъ.

— Вотъ и она!—крикнули барышни.—Оставайтесь здѣсь.

Комната освѣщалась лампой, прикрытой темнымъ абажуромъ, такъ что царствовалъ полумракъ.

Кокушка обернулся и ждалъ.

Вотъ барышни появились въ сопровожденіи какой-то странной фигуры. Въ этой фигурѣ, особенно при такомъ слабомъ освѣщеніи, не было никакой возможности узнать княжну. Это былъ шаржированный, нѣсколько балаганный, комичный типъ старой англичанки въ какомъ-то удивительномъ чепцѣ, съ тирбушонами, съ трясущейся старой головой.

Барышни дѣлали неимоверныя усилія, чтобы не расхохотаться.

— Мистеръ Горбатовъ!—представили онѣ Кокушку.

Онъ раскланялся, смущенно и не безъ нѣкотораго ужаса вглядываясь въ эту комичную фигуру съ трясущейся головой.

— Now do you do, Mister Gorbatoff,—визгливымъ голосомъ, въ которомъ ровно ничего не осталось отъ голоса княжны,—проговорила миссъ Токсъ и сдѣлала книксенъ.

— Боюсь не выдержу!.. Посмотрите на его лицо! — продолжала по-англійски миссъ Токсъ.

— Она находитъ васъ прелестнымъ,—шепнула Надя Кашина.

— К...к...какой уродъ!—крикнулъ онъ.

— Шш! а вдругъ она пойметъ!

Онъ быстро закрылъ себѣ ротъ рукою.

— И потомъ не забывайте—сто миллионовъ долларовъ и цѣлый городъ!—прибавила Надя.—Будьте-же любезны, предложите ей руку и доведите ее до дивана.

Кокушка тотчасъ-же это исполнилъ. Миссъ Токсъ указала ему мѣсто рядомъ съ собою.

— Pray, be seated!.. Sit down on the sofa! — сказала она, закатывая глаза.

— Іешъ... іешъ!—проворчалъ онъ и вдругъ съ необыкновенной рѣшимостью взвизгнулъ: ай левъ ю!..

Миссъ Токсъ испустила пронзительный крикъ, закрыла

лицо руками, откинулась на спинку кресла и осталась неподвижной.

Барышни кинулись къ ней.

— Воды... воды!—кричали онѣ.—Что вы сдѣлали, Кокушка, она въ обморокъ, вы ее такъ поразили, развѣ это возможно! Мы вамъ всего не сказали, вѣдь, она заочно была уже въ васъ влюблена... Но она знаетъ, что вы женихъ кузины и теперь вѣрно подумала, что вы насмѣхаетесь надъ нею.

Кокушка оторопѣла.

— Дайте ей воды... воды!—шепталъ онѣ.—Скажи-жи-те ей, что я готовъ на ней жениться...

— Какъ! А кузина?!

— Да, вѣдь, не мо-мо-гу же я уморить мишъ Токшъ!—развелъ руками Кокушка.

Между тѣмъ миссъ Токсъ очнулась.

— Ахъ!—стонала она.—Онѣ говорилъ I love you, онѣ меня обманули..

— Скажите ей, что я про-про-шу ея руки!—шепнулъ Кокушка.

— Ведите ему поцѣловать у меня руку,—произнесла миссъ Токсъ по-англійски,—скажите, что я согласна.

Барышни опять перевели ему.

Онѣ съ осторожностью поцѣловалъ перчатку миссъ Токсъ.

Она поднялась съ кресла и направилась изъ комнаты.

— Она такъ разстроена, что не можетъ оставаться, она немного приляжетъ у насъ, успокоится.

Кокушка опять остался одинъ. Снова раздался звонокъ. И затѣмъ черезъ нѣсколько минутъ къ нему вбѣжала княжна. Онѣ былъ какъ на иголкахъ. Не глядя на нее протянулъ ей руку. Но она руки его не взяла и отчаяннымъ голосомъ заговорила:

— Нѣтъ, я не вѣрю! Этого не можетъ быть!.. Кузины сказали, что вы сдѣлали предложеніе миссъ Токсъ... Говорите, извергъ, говорите, злодѣй, правда-ли это?!

Кокушка даже дрожалъ отъ волненія. Но у него былъ твердый характеръ.

— Правда!—сказалъ онѣ.

— Какъ? Вы, мой женихъ—и вы женитесь на такомъ уродѣ!.. У васъ нѣтъ ни стыда, ни совѣсти!

— Она у-у-мретъ отъ любви ко мнѣ, ешли я не женюшъ, а вы не умрете...

— Кто-же вамъ сказалъ, что я не умру! Можетъ быть, я умру еще раньше ея... слышите-ли, сейчасъ откажитесь отъ нея, сейчасъ откажитесь... да?!

Но онъ уже рѣшился.

— Нѣтъ! — проговорилъ онъ. — Вонъ вашъ па-па-па можетъ мнѣ и трехъ шотъ тысячъ не дать, а у нея што миллионы! и цѣлый городъ!.. Какой-же ду-ду-ракъ откажется отъ этого — дудки!

Княжна закрыла лицо руками и съ громкимъ рыданіемъ урѣжала.

Появились барышни.

— Что мишъ Токшъ? — спросилъ Кокушка.

— Она отдохнула и сейчасъ придетъ.

Черезъ нѣсколько минутъ появилась миссъ Токсъ. Она вздохнула на всю комнату, прошептала: «Oh! I love you!», взяла руку Кокушки и ее не выпускала. Онъ былъ сконфуженъ, глядѣлъ въ сторону и молчалъ.

Тогда миссъ Токсъ сама заговорила. Испытанное ею сердечное волненіе подѣйствовало на нее особеннымъ образомъ — оно ей придало знаніе русскаго языка. Хотя она и безобразно коверкала слова, но все-же могла говорить обо всемъ.

— Мистеръ Горбатовъ! — заговорила она. — Мой сердце согласна на вашъ предложеній, но мой головъ сталъ мнѣ приказывать отказать...

— Мнѣ! Отчего! Отчего! Мишъ Токшъ! — встрепенулся Кокушка.

— Оттого, мистеръ Горбатовъ, что вы уже имѣетъ невѣсту, которую любите... я знаю, вы должны жениться на княжна!

— Нѣ-нѣ-тъ, я не женюсь на ней, я ее шовшѣмъ не люблю!..

— Какъ не любите? Давайте мнѣ честное слово.

— Честное слово! Мишъ Токшъ, ей-Богу!

И Кокушка сталъ даже креститься.

Барышни не удержались и захохотали; но онъ въ своемъ ослѣпленіи не замѣтилъ этого.

— Можетъ сказать, что она противная?

М... могу!..

Такъ говоритъ!

— Княжна противная, препротивная! — объявилъ Кокушка.

— И дура?!

— Да, да и ду-ду-ра!

— И лицо у нея гадкое?!

Кокушка совсѣмъ расхотѣлся.

— Гадкое! Гадкое! У нея уши, ротъ какъ у жайца, во-во-лошы всегда торчатъ, глаза какъ плоски, не видятъ ни кро-крошки!.. иза уродъ!!!

Барышни закатывались отъ смѣху.

Миссъ Токсъ вдругъ выпустила руку Кокушки, быстро сдернула съ себя чепчикъ и тирбушоны, вытерла лицо платкомъ и голосомъ княжны крикнула:

— Какъ! Такъ я уродъ? У меня усы, ротъ какъ у зайца? Глаза плошки?!

Кокушка отскочилъ, задрожалъ всѣмъ тѣломъ, уставился въ преобразившуюся миссъ Токсъ и нѣсколько минутъ стоялъ, совсѣмъ какъ будто окаменѣвъ, выпуча глаза и ничего не понимая.

Барышни обступили его, стали всячески стыдить. Но онъ ихъ не слышалъ; на него нашелъ настоящій столбнякъ. Наконецъ, мало-по-малу придя въ себя, онъ вмѣсто того, чтобы, какъ ему совѣтовали барышни, горѣть отъ стыда, разсердился самымъ отчаяннымъ образомъ.

— Бештыдницы!—кричалъ онъ,—бештыдницы! Ра-ра-жѣ такъ обма-ма-нывають?!

— Каково это! Еще мы-же и виноваты?!—заливаясь смѣхомъ, воскликнула княжна.

— А то кто-же... Кто-же?!—внѣ себя визжалъ Кокушка.— Я... я не виноватъ, вы такъ были похожи на настоящую мишь Токшъ! Этакъ всякаго обмануть можнѣ, бештыдница! То-то-лько другой ражъ не надуете—дудки!..

И онъ, внѣ себя отъ негодованія, убѣждалъ...

Три дня онъ дулся и не показывался у Кашиныхъ; но затѣмъ явился, какъ ни въ чемъ не бывало.

Когда съ нимъ заговаривали о миссъ Токсъ, онъ дѣлалъ видъ, что не слышитъ и быстро начиналъ о чемъ-нибудь совсѣмъ постороннемъ.

Но такъ какъ княжна настаивала и его стыдила, онъ на колѣняхъ попросилъ у нея прощеніе и они помирились. Онъ опять сталъ ее считать своей невѣстой и на этотъ разъ съ такимъ упорствомъ, какого въ немъ прежде не замѣчалось въ подобныхъ случаяхъ. Княжна рѣшительно была въ его вкусѣ. Глядя на нее или о ней думая, онъ, хотя и совсѣмъ безсознательно, испытывалъ нѣчто особенное, о чемъ до сихъ поръ не имѣлъ понятія...

Вернувшись въ Петербургъ, княжна рассказала Ѳотцу, между прочимъ, и объ ихъ забавахъ съ Кокушкой.

Князь вдругъ задумался и привелъ ее въ необычайное изумленіе, спокойно и серьезно выговоривъ:

— А, вѣдь, это идея! Отчего-бы тебѣ и въ самомъ дѣлѣ не женить на себѣ этого претендента?!

— Какъ, выйти замужъ за Кокушку Горбатова, за идіота?! Папа, вы, конечно, шутите?!

— Нисколько не шучу! Какой-же онъ идіотъ?

— Идіотъ самый настоящій!

— Совсѣмъ нѣтъ—никто его не призналъ идіотомъ. Онъ совершеннолѣтній, имѣетъ всѣ права, у него вонъ даже и чинъ есть.

Это была правда. Кокушка считался на службѣ, въ канцеляріи начальника одной изъ тѣхъ губерній, гдѣ у Горбатовыхъ были большія помѣстья. Его обязанности по письмоводству исполнять и получалъ его жалованье какой-то услужливый писарекъ. А Кокушка, зачисленный на службу послѣ дружескаго разговора между губернаторомъ и Клавдіей Николаевной, уже нѣсколько лѣтъ тому назадъ, теперь, къ своимъ двадцати-тремъ годамъ, получилъ за отличіе три чина. Онъ надѣялся въ скорости быть произведеннымъ въ титулярные совѣтники и уже заранѣе заказалъ себѣ визитныя карточки, на которыхъ значилось:

«Николай Сергѣевичъ Горбатовъ, т—ный совѣтникъ».

Кокушка рассчитывалъ, что при такомъ сокращеніи онъ можетъ сойти и за «тайнаго» совѣтника.

Эта служба Кокушки была семейнымъ дѣломъ и какъ есть никому не казалась странной, а тѣмъ менѣе противузаконной и предосудительной...

— Я не знаю, какъ онъ тамъ считается,—сказала княжна,—можетъ быть онъ и можетъ жениться, только неужели найдется ему какая-нибудь невѣста!

— Отчего-же нѣтъ?!

Князь совсѣмъ оживился, и рачьи глаза его такъ и метали искры.

Отчего-же нѣтъ, самый завидный женихъ! Прекрасное имя, большое богатство и при этомъ съ такимъ мужемъ полная свобода, онъ стѣснять не станетъ. Удивляюсь, какъ еще до сихъ поръ въ Москвѣ не нашлось умницы, которая-бы имъ завладѣла.

Княжна засмѣялась.

— Да ты не смѣйся, матушка, не смѣйся, ничего тутъ нѣтъ смѣшнаго, я вовсе не шучу, пойми, совсѣмъ не шучу, и совѣтую тебѣ, когда онъ пріѣдетъ въ Петербургъ, и если до тѣхъ поръ его не окрутятъ, серьезно объ этомъ подумать—лучшей партіи ты не найдешь... И въ нашемъ положеніи твой Кокушка былъ-бы спасеніемъ и тебѣ, и мнѣ, и всѣмъ намъ.

— Папа!

Голосъ княжны вдругъ дрогнулъ, она съ испугомъ взглянула отца.

Она поняла, что онъ не шутитъ.

Князь дѣйствительно не шутилъ. Кокушка былъ для него новымъ вдохновеніемъ, такимъ, какого уже давно не являлось. Не откладывая въ долгій ящикъ, онъ навелъ всѣ нужныя справки и окончательно убѣдился, что Николай Сергѣевичъ Горбатовъ

«т-ный» совѣтникъ, вполнѣ правоспособный человѣкъ, по закону пользующійся самостоятельностью, владѣющій всѣмъ своимъ состояніемъ и имѣющій право имъ распоряжаться. Пока официальнымъ путемъ, при помощи медицинской экспертизы и такъ далѣе, его не признали невмѣняемымъ, страдающимъ умственнымъ разстройствомъ,—онъ можетъ сдѣлать предложеніе, жениться и получить въ свои руки все свое наслѣдство послѣ дѣда.

Князь даже съѣздилъ въ Москву, гдѣ и узналъ навѣрное, что во всѣхъ документахъ, относящихся къ наслѣдству послѣ Бориса Сергѣевича Горбатова, Кокушка расписывался вмѣстѣ съ другими сонаслѣдниками. Узналъ онъ также, что по случаю смерти Клавдіи Николаевны, всѣ молодые Горбатовы переѣзжаютъ въ Петербургъ.

«Это все само такъ въ руки и идетъ!—рѣшилъ князь. Дуракъ я буду, если упущу такое дѣло. А Елену уломаю, да и не дура-же она—пойметъ!»

Онъ вернулся въ Петербургъ съ твердой рѣшимостью получить Кокушку и его состояніе, и только объ этомъ теперь и думалъ.

Х.

Князь побѣдилъ.

По приѣздѣ въ Петербургъ Кокушка чувствовалъ себя на седьмомъ небѣ. Правда, братъ Владиміръ то и дѣло охлаждалъ его восторги и рѣшительно противился осуществленію нѣкоторыхъ его плановъ.

А между тѣмъ планы были самые блестящіе. Прежде всего Кокушка желалъ имѣть маленькія сани съ пристяжкой на отлетѣ. Затѣмъ онъ рѣшилъ было постоянно ходить не иначе, какъ въ мундирѣ того вѣдомства, откуда ожидалъ чина «т-наго» совѣтника, въ треуголкѣ, шинели и съ орденомъ святой Нины, недавно имъ купленнымъ.

Въ такомъ костюмѣ онъ рѣшилъ какъ можно чаще попадать на глаза Государю, хотя-бы пришлось для этого полдня торчать передъ Зимнимъ дворцомъ, а другіе полдня въ Лѣтнемъ саду.

По счастью, объ этихъ своихъ главнѣйшихъ намѣреніяхъ онъ сразу-же проболтался Владиміру и тотъ объяснилъ ему, что все это невозможно.

Кокушка дошелъ до остервенѣнія и сталъ визжать, какъ будто его рѣзали.

— Ка-ка-какъ невозможно!.. Отчего невозможно, что тутъ дурного... какъ ты можешь мнѣ жапещать?

— Я тебѣ ничего не запрещаю, но если ты вздумаешь все это продѣлать, то прежде всего попадешь въ полицію, а разъ ты попадъ въ полицію, тогда кончено—пошлютъ тебя не въ посольство, не въ дипломаты, а вонъ изъ Петербурга, и даже не въ Москву, а въ деревню... неужели ты этого не понимаешь?

Кокушка не понималъ, но братъ говорилъ такимъ серьезнымъ и убѣдительнымъ тономъ, что онъ не на шутку струсилъ, даже поблѣднѣлъ и растерянно сталъ ворочать глазами.

— Да жа-жа что-же?!—прошепталъ онъ.

— А за то, что съ пристяжкой ѣздить только оберъ-полицеймейстеръ по Петербургу, да брандъ-маіоръ въ случаѣ пожара... Если-же ты вздумаешь слѣдить за Государемъ, то тебя сочтутъ ужъ непремѣнно нигилистомъ.

Кокушка даже вздрогнулъ.

— Нигилистомъ?!

— Ну да, само собою.

— Ну, а му-му-ндиръ, что-же тутъ дурного? — ражвѣ и это недожволено?

— Не то что недожволено, а крайне неприлично! Когда-же ты видѣлъ, чтобы штатскій, кромѣ особенныхъ случаевъ, носилъ мундиръ, да еще форменное пальто и треуголку? Ты знаешь, что у меня есть тоже мундиръ, а видѣлъ ты меня когда-нибудь въ немъ? Я надѣваю его раза три-четыре въ году. Ходить въ мундиръ принято и неприлично. А тому, кто не знаетъ приличій, тому никогда не быть представленнымъ Государю и не попасть въ дипломаты. Вотъ видишь, что я вовсе не хочу тебѣ перечить, а думаю о твоей будущности.

Кокушка уныло опустилъ голову и печально задумался. Онъ понялъ, что братъ правъ и что приходится разставаться съ лучшими мечтами.

— Ну, а Нина?—воскликнулъ онъ,—и это неприлично?!

Владиміръ сразу даже не понялъ.

— Какая Нина?—изумленно спросилъ онъ.

— Орденъ Нины, ражвѣ и его я не мо-мо-гу носить?

— И этого-бы не совѣтовалъ, потому что всякій знаетъ, что этотъ орденъ продается, и даже очень дешево. Надъ тобою будутъ смѣяться.

— Такъ жачѣмъ-же мнѣ до сихъ поръ не дали настоящаго ордена? Вотъ ужъ я бо-бо-льше шешти лѣтъ на шлужбѣ! Вѣдь, у тебя-же ештъ орденъ, даже два цѣ-цѣ-лыхъ... это... нешправедливо!

— Потерпи, можетъ быть и ты получишь...

— То-то вше... терпи да терпи!.. дудки! Такъ я бу... буду ношить маленькую рожетку, по... подумаютъ иноштранный орденъ... это то... то, вѣдь, ужъ мо-мо-жно?

— Можно, можно!—согласился Владимиръ.

Кокушка отправился къ Сарра, заказалъ себѣ всякаго платья. Два раза выходилъ онъ и опять возвращался въ магазинъ, напоминая, чтобы не забыли на фракъ, сюртукахъ и визиткахъ прорѣзать петли для розетки.

Отъ Сарра онъ, съ необычайно важнымъ и сосредоточеннымъ видомъ, объѣздилъ еще нѣсколько магазиновъ, накупилъ себѣ галстуковъ, перчатокъ, шляпъ, духовъ. Дорогой онъ какъ-то разбилъ одинъ флаконъ, весь облился духами и распространялъ отъ себя такой сильный ароматъ опопонакса, что Софи, случайно оказавшаяся рядомъ съ нимъ за обѣдомъ, объявила, что она не можетъ этого выносить, что ей дѣлается дурно—и перемѣнила мѣсто.

— Очень рады!—прошипѣлъ Кокушка и сейчасъ-же робко покосился на брата.

Онъ хорошо помнилъ заключенное относительно сестры условіе, но иногда его ненависть къ ней невольно прорывалась.

У Кокушки былъ адресъ княжны и онъ сильно стремился на Знаменскую, но рѣшилъ, что въ московскомъ видѣ ни за что ей не покажется. Онъ измучилъ Сарра, раза два въ день заѣзжая и спрашивая, скоро-ли готово его платье.

Наконецъ, ему принесли первую пару. Тогда онъ велѣлъ положить дрожки, разрядился въ лухъ и прахъ, вдѣлъ въ петлю сюртука, которую Сарра не забылъ продѣлать, огромную розетку и съ торжествующимъ видомъ выѣхалъ изъ дому. Онъ заѣхалъ къ Баллэ и купилъ хорошенькую бонбоньерку, причемъ такъ торговался, что продававшая ему французенка подъ-конецъ разсердилась, нѣсколько разъ объясняя ему, что у нихъ *prix fixe*.

Надо замѣтить, что Кокушка, несмотря на всю свою любовь къ франтовству и «шику», былъ очень скупъ и ужъ особенно на подарки.

Онъ явился въ квартиру князя совсѣмъ съ видомъ побѣдителя. И отецъ и дочь были дома. Князь уже зналъ о пріѣздѣ молодыхъ Горбатовыхъ и даже начиналъ тревожиться, находя, что Кокушка черезчуръ долго не показывается.

Онъ принялъ его какъ родного сына, нашелъ, что онъ необыкновенно похорошѣлъ съ ихъ послѣдней встрѣчи, объявилъ ему, что онъ еще не встрѣчалъ молодого человѣка, который-бы умѣлъ такъ хорошо и изящно одѣваться. Расхвалилъ его сюртукъ, брюки, даже перчатки, даже сапоги. И, наконецъ, обратилъ вниманіе на розетку.

— А это что?—орденъ! Si jeune et si décoré!

Кокушка сіялъ. Но онъ нашель, что первый визитъ не долженъ быть продолжителенъ и скоро уѣхалъ, совсѣмъ счастливый, и общая на этихъ-же дняхъ вернуться.

Онъ сдержалъ свое обѣщаніе и сталъ появляться на Знаменской все чаще и чаще.

Но странное дѣло—у себя дома онъ въ послѣднее время никому, даже Владиміру, не только не заикался объ этихъ частыхъ посѣщеніяхъ, но даже вдругъ объявилъ, что «шъ княземъ Янычевымъ ражшорилшя—дудки!» Дѣло въ томъ, что онъ окончательно сблизился съ княземъ, былъ уже съ нимъ на «ты» и тотъ съ каждымъ разомъ все больше и больше забиралъ его въ руки.

Изучить Кокушку ему не было, конечно, трудно и онъ теперь зналъ его наизусть. Онъ вооружалъ его противъ семьи и пуше всего противъ брата Владиміра, увѣряя его, что братъ только притворяется, что его любитъ, но что, въ сущности, онъ желаетъ его гибели.

Кокушка сначала не вѣрилъ. Но князь кончилъ тѣмъ, что совсѣмъ убѣдилъ его. Онъ объяснилъ ему, что у Владиміра самая коварная цѣли, и что если Кокушка не вырвется изъ дому, не освободится, то Владиміръ завладѣетъ всѣмъ его состояніемъ, а его засадитъ въ сумасшедшій домъ. И при этомъ князь рассказывалъ ему самыя ужасныя исторіи въ этомъ родѣ, какія, по его словамъ, случались съ такими-же прекрасными молодыми людьми, какъ Кокушка. Этими рассказами князь доводилъ несчастнаго юношу до ужаса, до паническаго страха.

— Я... я... не-поѣду домой!—визжалъ онъ.

— Этого нельзя,—говорилъ князь:—тебя силой заставятъ вернуться. Скажутъ: вотъ и видно, что сумасшедшій—изъ дому бѣгаетъ... Сейчасъ на тебя горячечную рубашку—и конецъ!

При этомъ князь дѣлалъ такое ужасное лицо, такъ наглядно представлялъ какъ будутъ надѣвать горячечную рубашку, что Кокушку начинала бить лихорадка.

— Такъ что... что-же... что-же я бу-ду-буду дѣлать?—плаксиво заикался онъ.—Такъ я по-поѣду къ нему и скажу ему, что онъ мнѣ не бра-братъ!.. Я по-поѣду къ оберъ-полицеймейштеру, я-я на него пожалуюшъ!

— Боже тебя сохрани и упаси!—перебилъ князь.—Тебя здѣсь кто знаетъ?—никто, а его всѣ знаютъ. Да онъ и не одинъ, а это цѣлый заговоръ противъ тебя. Ему повѣрятъ, а тебѣ нѣтъ—и опять горячечную рубашку...

Кокушка, какъ угорѣлый, заметался по комнатѣ.

— Такъ что-же... что... что-же мнѣ дѣ-дѣлать?—вопилъ онъ томъ үш.

— Я тебя научу что дѣлать; надо быть умнымъ и провести ихъ всѣхъ такъ, чтобы никто ни къ чему не могъ придратъся... Будь дома попрежнему, какъ будто ничего не знаешь, будь со всѣми ласковъ, а пуще всего съ братомъ. Только ничего не говори—слышишь, ничего не говори, что ты у насъ часто бываешь. Хочешь ты жениться на Еленѣ?

— Ты знаешь, что хо-хо-хо-чу, ешли ты дашь тришта тыщачъ! А бежъ трехшотъ тыщачъ—дудки!

— Ну, хорошо, я тебѣ дамъ триста тысячъ.

— Честное слово!

— Честное слово!

— То-то-же, шмотри, вѣ-вѣ-дѣ, т-т-ты шкупой, князь; у тебя я думаю, денегъ куры не клюютъ, а вонъ шмотри—какъ у тебя га-га-дко въ домѣ!

И Кокушка показывалъ князю на старый коверъ, на кресло съ обломанной ручкой, на вылинявшія портьеры.

— Вѣдь, я тебѣ сказалъ, что дамъ триста тысячъ. Ну и вотъ, если ты будешь уменъ, съумѣешь дома молчать и втихомолку женишься на Еленѣ, тогда, конечно, тебя уже никто не тронетъ. Тогда Елена будетъ твоей женой, я твоимъ тестемъ—и мы тебя не дадимъ въ обиду. А пока ты не женился—мы ничего не можемъ сдѣлать. Намъ скажутъ: чего вы вмѣшиваетесь? По какому праву? Вы чужіе... Ну, а тогда другое дѣло. И мы заставимъ Владиміра выдать тебѣ всѣ твои деньги—понялъ?

Кокушка остановился, задумался, засопѣлъ, сталъ кусать ногти. Онъ понялъ.

Князь тоже понималъ, что этимъ рѣшительнымъ разговоромъ окончательно двинулъ дѣло; въ томъ, что Кокушка не проболтается—онъ былъ увѣренъ. Онъ черезчуръ напуганъ и теперь только слѣдуетъ постоянно поддерживать и усиливать этотъ страхъ. Надо спѣшить, надо ковать желѣзо пока горячо.

Но тутъ явилось неожиданное препятствіе: княжна, всегда покорная отцу, вдругъ заупрямилась.

Она перестала выходить къ Кокушкѣ и даже просто убѣгала изъ дому, когда онъ являлся.

Князь, однако, ничуть не сомнѣвался въ успѣхѣ. Онъ пока оставлялъ дочь въ сторонѣ, рѣшивъ, что прежде нужно покончить съ Кокушкой.

Прошла еще недѣля—и Кокушка былъ совсѣмъ готовъ. Дома онъ имѣлъ странный и растерянный видъ, какъ-то дико на всѣхъ посматривалъ, всѣхъ избѣгалъ, запирался у себя.

Но сестры вообще мало на него обращали вниманія, а потому ничего не замѣтили. Владиміръ былъ тоже очень разсѣянъ, поглощенный своими мучительными отношеніями къ Грунѣ.

Князь рѣшилъ приступить къ окончательному объясненію съ дочерью.

Онъ позвалъ ее къ себѣ въ кабинетъ, заперъ двери и устремилъ на нее свой пристальный взглядъ, отъ котораго сейчасъ-же ей стало бросать то въ жаръ, то въ холодъ.

— Что-же ты, Елена, еще долго будешь ломаться?

— Какъ ломаться, папа?—робко прошептала она.

— Сама знаешь. Съ нимъ у меня уже все рѣшено и улажено. Согласна ты быть госпожей Горбатовой, или нѣтъ?

Княжна сжала руки, такъ что даже хрустнули пальцы.

— Поѣдь, да неужели ты въ самомъ дѣлѣ рѣшилъ это?

Онъ взглянулъ на нее еще пристальнѣе.

У нея захватило дыханіе.

— А ты неужели такъ глупа, что могла считать это не серьезнымъ! Что-же я дѣвчонка, что-ли, такая какъ ты и твои кузины, чтобы съ нимъ забавляться?

Но онъ вдругъ перемѣнилъ тонъ, его раздраженный голосъ понизился, онъ заговорилъ ласково.

— Елена, пойми, мое положеніе безвыходно... Я бился какъ рыба объ ледъ и теперь для меня нѣтъ никакого спасенія, у меня больше шестидесяти тысячъ долгу... денегъ достать какъ есть неоткуда... понимаешь, совсѣмъ неоткуда!.. Въ карманѣ нѣсколько сотъ рублей, и это все—мѣсяцъ жизни, а затѣмъ нищета!.. Пойми, нищета и скандалъ, больше ничего! Все эту рухлядь опишутъ, все до послѣдней нитки, и что-же мнѣ—идти милостыню просить, или въ кондуктора наняться!..

Онъ все глядѣлъ ей прямо въ глаза.

Она схватилась за голову.

— Папа!—простонала она.—Замужъ за него? Да, вѣдь, я съ ума сойду... съ нимъ можно забавляться... но онъ такой... такой... противный...

Онъ зарыдала.

— Ахъ, какой ты ребенокъ!—воскликнулъ князь.—Неужели мнѣ надо еще объяснять тебѣ, что если онъ тебѣ противенъ, такъ никто не станетъ заставлять тебя съ нимъ и обниматься... Все это отъ тебя самой зависеть... Пойми!..

Княжна молчала, удерживая рыданья и нервно вздрагивая.

— Да что-же говорить объ этомъ!—ухватила она за полѣдную надежду.—Если-бы я даже и согласилась, его родные никогда не допустятъ этого.

Князь усмѣхнулся.

— Конечно, не допустятъ, еще-бы они добровольно отказались отъ лакомаго куска! Я все и безъ нихъ устрою...

Она совсѣмъ поблѣднѣла.

— Такъ, вѣдь, на насъ пальцами будутъ показывать, вѣдь, это срамъ, позоръ! и меня и васъ никто къ себѣ въ домъ пускать не станеть!..

Князь весело разсмѣялся.

— Это вотъ теперь, когда мы нищіе, насъ дѣйствительно никуда пускать не стануть. А разъ у насъ въ рукахъ будутъ деньги—еще какъ съ нами начнутъ обниматься! То-ли бываетъ...

И онъ принялся рассказывать ей всякія исторіи, изъ которыхъ, какъ дважды два четыре, выходило, что все дѣло въ деньгахъ, что деньги побѣждаютъ все. Онъ рассказывалъ краснорѣчиво, убѣдительно и былъ совсѣмъ искрененъ. Онъ замѣчалъ, что слова его дѣйствуютъ на дочь.

Она уже не рыдала и не ломала руки. Она слушала его молча и внимательно. На щекахъ ея то вспыхивалъ, то пропадалъ румянецъ...

— Разъ дѣло будетъ сдѣлано и все устроено ловко,—говорилъ онъ,—сами-же Горбатовы придутъ къ тебѣ... Что-жъ, ты думаешь они захотятъ скандала? напротивъ, постараются все тихо уладить... Если-же ты упустишь Кокушку, представь себѣ свою будущность! О себѣ ужъ я не говорю... Ну, нищимъ буди ходить по Невскому... Ну, пулю себѣ пуцу въ лобъ!.. А тебя-то что ожидаетъ—не далѣе какъ черезъ мѣсяцъ, когда выйдутъ эти сотни рублей, которыя у меня теперь въ карманѣ? Уѣдешь ты къ какой-нибудь теткѣ съ Нетти, будешь жить изъ милости и чувствовать, что тебѣ и твоей сестрѣ въ ротъ смотрятъ, не съѣла-бы ты лишняго куска чужого хлѣба... Что-же ты, княжна Янычева, въ гувернантки, что-ли, пойдешь? Да и гувернанткой не можешь быть—диплома не имѣешь... Въ телеграфистки? Еще если-бы у тебя какой-нибудь талантъ былъ особенный... Ну, голосъ тамъ большой, что-ли... А то, вѣдь, сама знаешь, талантовъ у тебя никакихъ нѣтъ... Такъ скажи, что ты станешь дѣлать? Замужъ—кто-же тебя, нищую, возьметъ?.. Или ты не знаешь нынѣшнихъ жениховъ?

Княжна уныло молчала. Каждое слово отца рѣзало ее какъ ножомъ.

Она понимала, что онъ правъ.

Онъ продолжалъ все въ томъ-же тонѣ и замолчалъ только тогда, когда увидѣлъ, что произвелъ достаточное впечатлѣніе.

— Что-жъ ты, согласна или нѣтъ? мрачно спросилъ онъ.—Время не терпитъ, все можетъ рушиться... Я долженъ знать твой окончательный отвѣтъ!..

Княжна молчала.

— Елена, отвѣчай!

— Дайте... дайте мнѣ подумать... завтра утромъ я скажу...

— Хорошо!

Она съ усиленіемъ поднялась и, шатаясь, вышла изъ комнаты. Она не спала всю ночь на-пролетъ. Всю ночь проплакала и продумала.

Передъ нею рисовалась ея будущая жизнь даже еще ужаснѣе, чѣмъ представлялъ ей ее отецъ. Вмѣстѣ съ этимъ ей вспомнились, одно за другимъ, самыя необычайныя приключенія, описанныя въ разныхъ, прочитанныхъ ею, романахъ.

Наконецъ кончилось тѣмъ, что она представила себя героиней, жертвой ужасныхъ обстоятельствъ...

Мало-по-малу она себя оправдала, мало-по-малу у нея сложилось довольно ясное представленіе о томъ, какъ все будетъ, если она обвиняется съ Кокушкой... Въ ней вспыхнула жажда богатства, блестящей жизни, свободы, веселья, наслажденій. Ей представлялся Парижъ, Ницца, Италія, всѣ тѣ сказочныя, дивныя мѣста, куда попасть было ея завѣтной мечтой...

«Не я первая, не я послѣдняя»—шептали ея губы.

«Деньги даютъ все! Нѣтъ денегъ—человѣка унижаютъ,—топчутъ въ грязь. Есть деньги—ему прощаютъ все...» звучали надъ нею слова отца.

Утромъ, сама, безъ зова, она пришла къ отцу въ кабинетъ и едва слышно прошептала:

— Я согласна! Только, ради Бога, все это скорѣе!

— Вотъ умница!—весело воскликнулъ князь, обнявъ ее и звонко поцѣловалъ.—Вотъ спасибо! Ты у меня молодецъ и ручаюсь тебѣ—ты будешь жить весело и счастливо—ручаюсь! Что дѣлать—съ волками жить, по-волчьи выть!..—И знай, только смѣлый человѣкъ расчищаетъ себѣ дорогу, смѣлому человѣку все дается...

Она тихонько высвободилась изъ отцовскихъ объятій и еще разъ повторила:

— Только, ради Бога, скорѣй!..

XI.

Двѣ сестры.

Въ первые дни по приѣздѣ Маша Горбатова очень скучала въ Петербургѣ. Она никогда не любила этого города, ее въ него не тянуло, къ тому-же она почти его и не знала, такъ какъ бывала здѣсь только проездомъ за границу или обратно.

Въ то время какъ сестра ея проводила въ Петербургѣ зиму, она оставалась въ Москвѣ, находя, что тамъ гораздо лучше, веселѣе.

Москву она любила, какъ все родное, знакомое и привычное съ дѣтства, какъ любила старый домъ на Басманной, свои милыя комнаты, съ которыми сжилась, гдѣ все было устроено ею по-своему, цѣлыми годами. Наконецъ, въ послѣднее время у нея въ Москвѣ завелись пріятныя и интересныя отношенія. Она покинула тамъ нѣсколько подругъ, сходявшихся съ нею во взглядахъ, имѣвшихъ съ нею общіе интересы...

Смерть Клавдіи Николаевны была для нея настоящимъ горемъ, и въ этомъ горѣ заключалась не только утрата близкой женщины, замѣнявшей ей мать, но и утрата всего прежняго склада жизни. Она сразу поняла, что теперь она совсѣмъ одна на свѣтѣ. Пока былъ живъ дѣдъ, пока была жива тетка, — сохранялась семья, хотя и неполная, не совсѣмъ нормальная, но ее удовлетворявшая, такъ какъ она въ ней выросла...

Дѣда нѣтъ, нѣтъ тетки—семья исчезла, домъ не существуетъ. Маша одна.

Она и здѣсь окружена родными, даже больше, чѣмъ была въ Москвѣ. Та-же сестра, оба брата, тетка, дядя, вѣрно вотъ скоро и отецъ изъ-за границы пріѣдетъ... Но всѣ они, хоть и родные по крови, а все-же почти какъ-бы чужіе ей люди. Она ихъ мало знаетъ и ничего общаго нѣтъ между нею и ими. Теплѣе всѣхъ она относилась къ брату Владиміру; но и съ нимъ у нея не было никакой дружбы и она его мало знала... Онъ всегда ласковъ, даже нѣженъ съ нею; она думаетъ, что въ нужную минуту онъ всегда готовъ прійти ей на помощь; но онъ остается для нея загадкой, какою былъ съ самаго дѣтства...

Она еще не можетъ себѣ опредѣлить его. Иногда ей кажется, что онъ на многое, даже на главное, смотритъ совсѣмъ другими глазами, чѣмъ она, что если-бы она подумала откровенно и до конца передать ему всѣ свои мысли и взгляды, то онъ хотя, конечно, совсѣмъ иначе, чѣмъ Софи, а все-же бы отнесся къ ней съ неодобреніемъ.

Но долго скучать и томиться Маша, по своему счастливому характеру и при своемъ завидномъ здоровьѣ, никакъ не могла. Она рѣшила, что прежняя жизнь кончена, что она одинока, но что-жъ!—Вѣдь это совершилось, этого измѣнить нельзя, и той и скукой ничему не поможешь.

И она задала себѣ прямо вопросъ — что-же она теперь будетъ дѣлать, какую себѣ устроить жизнь, такъ какъ прежней уже нѣтъ? Да и пора принять какое-нибудь серьезное рѣшеніе и подумать о будущемъ. Она уже не ребенокъ. Жить изо-дня въ день, какъ другія, безлично примкнуть къ общему времяпровожденію въ этомъ домѣ... Она этого не можетъ!

Заводить свѣтскія знакомства, стараться занять видное мѣсто

въ петербургскомъ обществѣ, думать о выѣздахъ, о нарядахъ, однимъ словомъ, быть свѣтской дѣвушкой, какою она была прежде въ Москвѣ,—она ужъ считаетъ это себя недостойнымъ.

Софи иногда, въ спорахъ своихъ и непріятныхъ разговорахъ, называла ее—нигилисткой, объявляла ей, что она ведетъ себя неприлично, что, благодаря старости и болѣзни дяди и слабости Клавдіи Николаевны, она отбилась отъ рукъ, забрала себѣ въ голову разныя нелѣпости, готова Богъ знаетъ съ кѣмъ заводить знакомства и всячески себя компрометировать...

Софи, конечно, фантазировала. Нигилисткой Маша вовсе не была ужъ хотя-бы потому, что сохранила еще нѣкоторую религиозность. При этомъ она относилась съ отвращеніемъ, даже съ горячей злобой къ нигилистическимъ дѣятелямъ. Она была твердо убѣждена, что никакія цѣли, хотя-бы и самыя возвышенныя, не могутъ достигаться злодѣйствомъ и преступленіями, а тѣмъ болѣе злодѣйствомъ и преступленіями изъ-за угла. Въ этомъ ничто и никто не могъ ее разувѣрить, это было для нея ясно, какъ день.

Но все-же въ обвиненіяхъ Софи заключалась доля правды. Маша дѣйствительно увлекалась «движеніемъ» и, какъ-то для самой себя незамѣтно, мало-по-малу превратилась въ демократку. Въ этомъ, конечно, безсознательно, можетъ быть прежде всего, помогла ей сама Софи.

Софи до такой степени утрировала свой аристократизмъ, такъ была пропитана чванствомъ и нетерпимостью, такъ была наполнена вопросами о приличномъ и неприличномъ, и до такой степени все съуживала и съуживала свои понятія, что, наконецъ, эти понятія, при совмѣстной постоянной жизни съ сестрою, опровергивѣли Машѣ, выставлялись передъ нею всегда только со своей несправедливой, смѣшной и пошлой стороны. Софи ее сердила. А вотъ, естественнымъ протестомъ Маши было то, что она стала приглядываться къ людямъ, стоящимъ внѣ ихъ общества. Она тала читать журналы и газеты—и сама не замѣтила, какъ черезъ годъ, черезъ два, хотя и оставаясь въ прежней обстановкѣ и въ прежнемъ кругу, стала совсѣмъ другою...

Теперь, остановясь на вопросѣ, что ей съ собою дѣлать и какъ ей жить, она прежде всего сказала себѣ, что ни за что не станетъ стѣснять себя «условными» свѣтскими рамками, что и за что, какое-бы противодѣйствіе ни встрѣтила со стороны однихъ, не станетъ жить, какъ живетъ Софи, а будетъ жить о-своему. Противодѣйствій, однако, ждаты было неоткуда. Софи ожетъ называть ее сколько угодно «нигилисткой», она не будетъ обращать на это вниманія—и все тутъ. А остальнымъ до нея нѣтъ никакого дѣла, тѣмъ болѣе, что вѣдь не станетъ-же

она позволять себѣ чего-нибудь дѣйствительно предосудительнаго. Но ей двадцать четыре года, и никто не въ правѣ стѣснять ея свободу.

И ужь если необходимо жить въ Петербургѣ— надо съ нимъ ознакомиться, надо понять, что онъ можетъ ей дать—и воспользоваться этимъ.

Маша кончила тѣмъ, что даже готова была полюбить этотъ инстинктивно противный ей Петербургъ.

«Вѣдь онъ, каковъ ни на есть, а настоящий центръ умственной жизни!»—думала она.

Мало-по-малу она начертала себѣ программу дѣйствій и, когда стала приводить ее въ исполненіе, то возбудила въ Софи крайнее негодованіе.

Вмѣсто того, чтобы хоть здѣсь-то, въ Петербургѣ, стать приличнѣе и осмотрительнѣе, чѣмъ въ Москвѣ, она вдругъ вздумала держать себя ну, вотъ, какъ какая-нибудь гимназистка или того еще хуже! Почти никогда ея нѣтъ дома и, если кто прїѣзжаетъ навѣстить ихъ,—Софи всегда должна выходить къ гостямъ или одна или въ сопровожденіи тетки. О сестрѣ спрашиваютъ, ею интересуются, а тутъ даже не знаешь, что и отвѣчать—неизвѣстно, гдѣ она, куда исчезаетъ, что дѣлаетъ!.. Всегда одна, часто пѣшкомъ, иногда возвращается на извозчикахъ!.. Даже разъ объявила, что проѣхалась въ «tramway».

Софи не питала къ сестрѣ никакой любви и дружбы. Прежде она была къ ней равнодушна. Потомъ, въ первые годы своихъ выѣздовъ и успѣховъ, относилась къ ней свысока, затѣмъ понемногу стала завидовать тому, что сестра моложе ея, свѣжѣе. Она, пожалуй, уже рада была-бы теперь, если-бъ Маша просто отдалилась отъ общества. Но тутъ былъ совсѣмъ другой вопросъ. Нельзя-же вѣдь допустить, чтобы она позорила семью, чтобы объ ней, Горбатовой, стали Богъ знаетъ, что говорить!.. Довольно и Кокушки!..

Софи нѣсколько недѣль молчала и только слѣдила за сестрой. Наконецъ, она не выдержала. Она сказала себѣ, что имѣетъ не только право, но и прямую обязанность вмѣшаться «во все это», такъ какъ тутъ замѣшана честь ихъ семьи, доброе имя. Она кончила даже тѣмъ, что подумала:

«Вѣдь Богъ ее знаетъ... après tout ce qui se passe, après ces horreurs, развѣ я могу за нее поручиться...»

Она рѣшилась поговорить съ сестрою, и утромъ, пока та была дома, прошла къ ней.

Маша еще не совсѣмъ устроила свое новое помѣщеніе. На столахъ были безпорядочно разбросаны ея книги. Софи взглянула на нихъ подозрительно и съ пренебреженіемъ. Тутъ бы

Герберты Спенсеры, Бокли, Дрэперы, Гартманы и Шопенгауэры, хотя, по правдѣ сказать, разрѣзанные только мѣстами и сохранившіе видъ типографской свѣжести.

Маша встрѣтила сестру уже совсѣмъ, видимо, готовая къ выѣзду, въ шляпкѣ.

Софи закусила губы, она была очень сердита, но рѣшилась, по крайней мѣрѣ для начала, сдержаться.

— Ты, кажется, куда-то собралась, Мари? — ласковымъ тономъ спросила она, поцѣловавшись съ сестрою. — *Tu est toujours si matinale maintenant!*

— А то какъ-же здѣсь иначе, въ твоёмъ дорогомъ Петербургѣ? Если не встать пораньше, такъ и дня совсѣмъ не увидишь.

— Куда-же ты?

— Въ Эрмитажъ.

— Вотъ интересно! — усмѣхнувшись воскликнула Софья Сергѣевна. — Мало мы по всякимъ галлереймъ заграницей изучали разныя школы живописи! Неужели тебѣ это не надоѣло?.. Но тамъ — *en qualité de voyageurs* — это какъ-то неизбѣжно, особенно, какъ мы тогда, въ первой поѣздкѣ, помнишь, въ коротенькихъ платьицахъ... *ma tante*, шаль непременно волочится за нею по-полу... гидъ какой-то — объясняетъ и все путаетъ... *Mais ici!* Кто-же бываетъ въ Эрмитажѣ?.. Развѣ провинціалы?

— Я и есть провинціалка, — сказала Маша. — Я совсѣмъ не знала Эрмитажа, понятія не имѣла, что у насъ такая отличная полная коллекція. Фламандская школа — это прелесть! испанская тоже...

— Что-же ты, пожалуй, опять красками пачкаться думаешь... тамъ, на лѣсенкахъ, съ какими-нибудь нечесанными, грязными калычишками?.. *joli!*

— Нѣтъ, гдѣ ужъ мнѣ рисовать! Но я вотъ уже пятый разъ еду въ Эрмитажъ и, конечно, и еще туда часто буду ѣздить...

— Мари, скажи мнѣ, пожалуйста, а кромѣ Эрмитажа гдѣ же ты бываешь? Тебя никогда, никогда нѣтъ дома... *et puis* — ѣдъ ты вѣчно одна, хоть-бы человѣка брала съ собою, а то огласись... я вовсе не хочу сердить тебя, но, право, это неприлично. *On peut penser Dieu sait quoi!* И потомъ, что-нибудь даже ожетъ случиться... какая-нибудь непріятность, тебѣ могутъ ѣлать дерзости... право, я просто иногда боюсь...

Маша нахмурила брови.

— *Merci*, Софи, за вниманіе! Но не бойся напрасно — я не робка и не трусиха, до сихъ поръ меня никто не обижалъ, а ли и вздумаетъ кто-нибудь обидѣть, я не растеряюсь...

Всѣ благія намѣренія Софьи Сергѣевны сразу исчезли.

— Да пойми-же ты, наконец,—серdito сказала она: — что такъ бѣгать одной—c'est tout-à-fait impossible!.. Здѣсь не Москва, здѣсь гораздо болѣе все на виду, чѣмъ ты думаешь... et il y a des choses, qu'on ne peut pas se permettre! Ты испортишь себѣ репутацію навсегда и потомъ уже ничѣмъ не исправишь...

Маша покраснѣла. Вообще всегда спокойная, она сердилась только на сестру.

— Софи,—сказала она:—я уже все это слышала, знаю, и въ твоихъ урокахъ, право, не нуждаюсь!

— Да пойми... Вѣдь, я для тебя-же, послушай...

У нея мелькнула новая мысль и она за нее ухватилась.

— Зачѣмъ намъ ссориться и браниться, будь-же благоразумна, вѣдь не хочешь-же ты совсѣмъ отказаться отъ порядочнаго общества!.. Иной разъ нужно немного и стѣснить себя... Знаешь, я думала, вѣдь не трудно будетъ устроить, чтобы тебя назначили фрейлиной... Помнишь, ты какъ-то говорила, что тебѣ этого хочется...

— Да, говорила, а теперь не говорю...

— Почему?

Машѣ надоѣлъ весь этотъ разговоръ; ей хотѣлось скорѣе ухвaтѣ и попасть въ Эрмитажъ.

— Потому,—быстро сказала она:—что я въ концѣ-концовъ все-же хотѣла-бы выйти замужъ.

— Ну, такъ что-же?

— А то, что если фрейлина... это дурная примѣта... это почти всегда значитъ: старая дѣва.

Софья Сергѣевна поблѣднѣла и метнула злобный взглядъ на сестру.

— Съ тобой говорить нѣтъ никакой возможности!—воскликнула она и скорѣе вышла изъ комнаты.

По ея уходѣ Машѣ стало немного досадно — зачѣмъ она такъ ее зло и глупо уколола. Вѣдь она знаетъ, сколько мученья заключается для Софи въ этомъ словѣ «старая дѣва»... Но зачѣмъ-же она всегда пристаётъ... это невыносимо!..

Однако, Софья Сергѣевна не остановилась на первой неудачѣ. Она рѣшила испробовать послѣднее средство. Пусть тетка Марья Александровна, поговорить съ этой безумной. Нужно, чтобы всѣ вступились, потому что ея неприличное поведение касается всѣхъ.

Къ ея изумленію, Марья Александровна взглянула на дѣл очень спокойно.

— Я до сихъ поръ въ поступкахъ Мари не вижу ничего предосудительнаго,—сказала она, выслушавъ племянницу, — что она одна выходитъ изъ дому? Конечно, это можно было-бы иначе

устроить, но я запрещать ей не могу. Ни тебѣ, ни ей я ничего не могу запрещать, и стѣснять васъ не желаю...

— А если она Богъ знаетъ съ кѣмъ знакомится? Если она Богъ знаетъ у кого бываетъ?—въ волненіи и негодованіи говорила Софья Сергѣевна.

— Comme tu exagères, Sophie! Ты просто обижаешь сестру! Я Мари настолько знаю... я увѣрена—она ничего неблагоразумнаго не сдѣлаетъ...

Софья Сергѣевна ушла отъ тетки, окончательно выведенная изъ терпѣнія.

«Нѣтъ, это Богъ знаетъ что! — говорила она себѣ. — Всѣ будто сговорились... Что это дѣлается и чѣмъ кончится! Хороши всѣ у насъ въ семьѣ!.. И жить съ этими людьми... Господи, да когда-же я вырвусь отсюда! Неужели и этотъ годъ пройдетъ такъ? Нѣтъ, ни за что.»

Она рѣшилась употребить все, чтобы, наконецъ, выйти замужъ, за кого—она еще не знала, но перебирала въ своемъ умѣ всѣхъ, высчитывала и разсчитывала... будто брала урокъ ариѳметики...

А Маша, между тѣмъ, ежедневно исполняла свою программу—она изучала Петербургъ. Сначала знакомилась въ немъ со всѣмъ, съ чѣмъ могла познакомиться одна. Потомъ ей вдругъ на помощь явился Барбасовъ. Случай помогъ ему. Когда онъ въ первый разъ пріѣхалъ въ домъ къ Горбатовымъ—ни Софьи Сергѣевны, ни Владиміра не было и его приняла Маша.

Она нѣсколько изумилась происшедшей въ немъ перемѣнѣ, изумилась еще больше, когда онъ объяснилъ ей, что переѣхалъ совсѣмъ въ Петербургъ и поступилъ на службу. Но она такъ обрадовалась этому московскому человѣку, котораго считала очень умнымъ и интереснымъ, что сейчасъ-же позабыла о своемъ изумленіи.

Въ бесѣдѣ съ нимъ она не замѣтила какъ прошелъ часъ, и когда онъ сталъ раскланиваться, она выразила ему желаніе съ нимъ и впредь встрѣчаться. Онъ ей отвѣтилъ, что по крайней мѣрѣ со своей стороны сдѣлаетъ все возможное для достиженія этого.

Это была не фраза. Онъ дѣйствительно сдѣлалъ все возможное.

Маша не обратила вниманія на то, что, разговаривая съ нею, онъ подробно выпыталъ отъ нея гдѣ она бываетъ, какъ проводить время.

Съ этого дня онъ у Горбатовыхъ бывалъ рѣдко. Но по меньшей мѣрѣ два, а то и три въ недѣлю Маша съ нимъ встрѣчалась, иногда просто на улицѣ (онъ каждый разъ при этомъ

дѣлалъ видѣ, что очень изумленъ этой счастливой встрѣчей), а то въ Эрмитажѣ или въ Публичной Библіотекѣ, или въ залахъ Академіи Художествъ.

Барбасовъ вдругъ сдѣлался страстнымъ поклонникомъ искусства.

Маша ровно ничего не имѣла противъ этихъ частыхъ встрѣчъ и даже ни разу не задала себѣ вопроса: какъ это онъ такъ устраиваетъ, чтобы встрѣчаться съ нею? Она просто каждый разъ была очень рада его видѣть, поговорить съ нимъ. Онъ такъ умно и хорошо обо всемъ говоритъ, и сходится съ нею почти во всѣхъ взглядахъ ...

Не думала она тоже и о томъ, какое производитъ на него впечатлѣніе. Онъ-же себѣ не позволялъ не только ни одного лишняго слова, но даже и лишняго взгляда. Онъ былъ сдержанъ и серьезенъ.

Барбасовъ дѣйствовалъ не на шутку и никогда еще, во всю свою удачливую и дѣятельную жизнь, не выказывалъ такой ловкости, послѣдовательности и бодрости духа. Онъ сказалъ себѣ, переѣзжая въ Петербургъ, что у него не пропадетъ даромъ ни одинъ день, ни одинъ часъ, что каждый день, каждый часъ долженъ приближать его къ достиженію намѣченныхъ имъ цѣлей. Такъ оно и было.

Въ Москвѣ его сотоварищи, узнавъ о томъ, что онъ ни съ того, ни съ сего вышелъ изъ присяжныхъ повѣренныхъ, готовы были почестъ его сумасшедшимъ. Но, въ сущности, они очень радовались этому сумасшествію, такъ какъ оно избавляло ихъ отъ одного изъ самыхъ опасныхъ конкурентовъ, который уже нѣсколько лѣтъ забиралъ въ свои руки самыя выгодныя дѣла.

Въ той части московскаго общества, гдѣ Барбасовъ вращался, его исчезновеніе произвело сенсацію. Съ одной стороны, о немъ пожалѣли какъ о веселомъ, иногда забавномъ собесѣдникѣ; съ другой стороны, слухъ, пущенный Кокушкой, получилъ значительное распространеніе.

Барбасовъ, когда хотѣлъ, очень умѣлъ напустить дыму въ глаза. Свои теперешніе завѣтные планы, конечно, онъ держалъ отъ всѣхъ въ величайшей тайнѣ, да и кому-же бы онъ ихъ повѣрилъ! У него не было ни одного друга и онъ находилъ, что дружба—одно изъ самыхъ глупѣйшихъ словъ, когда-либо выданныхъ языкомъ человѣческимъ. Онъ велъ себя осторожно и осмотрительно. И вотъ дурачекъ, идіотъ подмѣтилъ его тайну. Онъ уже до своего отъѣзда изъ Москвы слышалъ нѣсколько намековъ отъ своихъ знакомыхъ, раза два его прямо спросили—правда-ли, что онъ ухаживаетъ за Марьей Сергѣевной Горбатовой?

Конечно, онъ съумѣлъ отшутиться и настолько ловко, что пущенный Кокушкой слухъ какъ-бы нѣсколько замеръ. Но самъ Барбасовъ былъ просто пораженъ. Онъ легко выслѣдилъ происхождение этого опаснаго слуха и еще легче сообразилъ, какое для него благополучіе, что всѣ Горбатовы переѣзжаютъ въ Петербургъ. Тутъ того и гляди московскія кумушки испортили-бы ему дѣло. Наконецъ, онъ теперь зналъ, съ какой стороны можно ждать опасности, понималъ, что ему предстоитъ быть еще болѣе осторожнымъ, а главное всячески избѣгать «это зелье», то-есть Кокушку.

Передъ отъѣздомъ изъ Москвы, которымъ онъ спѣшилъ насколько было возможно, ему пришлось изрядно повозиться и съ «Нююткой». Она ни за что не хотѣла выпускать его изъ рукъ, грозила даже уѣхать за нимъ въ Петербургъ. Но въ это время изъ Сибири въ Москву пріѣхалъ молодой богатѣйшій золотопромышленникъ. У него были тяжёбныя дѣла. Онъ обратился за совѣтомъ къ Барбасову, и Барбасовъ ухватился за него, какъ за самаго подходящаго человѣка. Его самого, со всѣми его дѣлами, онъ передалъ Шельману, а ему передалъ Нюютку, которая сразу произвела на сибиряка одуряющее впечатлѣніе.

Въ день своего отъѣзда изъ Москвы Барбасовъ узналъ, что Шельману предстоитъ пожить въ отъѣздъ сибиряка двумя-тремя десятками тысячъ, и что Нюютка не позже какъ черезъ мѣсяцъ уѣзжаетъ въ Сибирь на самыхъ блестящихъ условіяхъ.

Такимъ образомъ, онъ явился въ Петербургъ во всѣхъ отношеніяхъ успокоившись, сжегши всѣ свои корабли, съ чистой совѣстью и невозмутимой бодростью духа.

XII.

Въ Эрмитажѣ.

Въ Петербургѣ Барбасовъ устроился совсѣмъ иначе, чѣмъ въ Москвѣ. Онъ нанялъ себѣ небольшую холостую квартиру въ Малой Морской и, уже достаточно приглядѣвшись къ тому, какъ слѣдуетъ жить, отдѣлалъ ее въ строгомъ и солидномъ вкусѣ. Ни о какихъ блестящихъ, бросающихся въ глаза экипажахъ, рысакахъ и татарахъ-кучерахъ Барбасовъ теперь не думалъ. Онъ нанималъ лошадей помѣсячно и разѣзжалъ всегда не иначе какъ въ скромной маленькой каретѣ.

Въ министерствѣ онъ всѣхъ заговорилъ и при этомъ выка-

залъ дѣйствительно крупныя способности. Онъ осмотрѣлся сразу, сразу понялъ всѣ отношенія, намѣтилъ и распредѣлилъ съ математической точностью какъ и съ кѣмъ слѣдуетъ обращаться. Онъ съумѣлъ, кому надо, покадить, передъ кѣмъ слѣдуетъ поклониться съ благоговѣніемъ и кончилъ тѣмъ, что даже тѣ изъ его новыхъ сослуживцевъ, которые были возмущены его назначеніемъ, съ нимъ примирились, рѣшивъ, что дѣла уже не поправишь, что фактъ совершился, а онъ, въ сущности, славный малый.

Начальствующія лица были отъ него въ восторгѣ. Они нашли, что очень важно залучить такого способнаго и дѣльнаго юриста, такъ прекрасно говорящаго и не хуже пишущаго. Однимъ словомъ, на него возлагались большія надежды.

Барбасовъ принялся за работу; работалъ онъ легко, быстро. Его должность не заставляла его являться каждый день въ канцелярію. Онъ работалъ у себя, вечеромъ, иногда до половины ночи. Его здоровье пока еще выносило это.

Такимъ образомъ большую часть дня онъ могъ посвящать иной дѣятельности, то-есть Марьѣ Сергѣевнѣ.

Не имѣя возможности часто бывать у Горбатовыхъ, да пока и не желая этого, онъ тѣмъ не менѣе долженъ былъ видѣть ее какъ можно чаще. На самое первое время можно было ограничиться этими выслѣживаніями, встрѣчами на улицѣ, въ Эрмитажѣ. Но затѣмъ этого уже оказывалось недостаточно. Тогда онъ узналъ отъ Маши, что она посѣщаетъ два три семейства знакомыхъ.

Не прошло и недѣли какъ Барбасовъ ухитрился быть представленнымъ въ эти семейства, мало того—произвести тамъ хорошее впечатлѣніе, завязать прочное знакомство. Возможность встрѣчъ увеличилась. Куда-бы ни являлась теперь Маша, она видѣла за-ново передѣланную фізіономію Барбасова съ его скромнымъ, серьезнымъ выраженіемъ, съ фигурой, являющейся смѣсью англичанина и чиновника. Кончилось тѣмъ, что Маша, если почему либо не встрѣчалась съ Барбасовымъ, уже чувствовала, что ей какъ будто недостаетъ чего-то.

Неизвѣстно такъ-ли удачно велъ Барбасовъ свою на нее атаку, если-бы съ его стороны дѣло заключалось только въ одномъ матеріальномъ расчетѣ, въ однихъ только честолюбивыхъ планахъ. Но она оказалась, можетъ быть, единственнымъ настоящимъ увлеченіемъ его жизни. Еслибы ему было легко до нея добраться, конечно, она не производила-бы на него такого впечатлѣнія. Но эта трудность, эта смѣлость его плановъ его какъ наэлектризовывали.

Каждый разъ, увидавъ ее, онъ чувствовалъ въ себѣ новый

подъемъ духа. Если въ разговорахъ съ нею онъ иногда и лгалъ, и игралъ роль, то съ полнымъ увлеченіемъ, самъ, наконецъ, принимая свое гланье за правду, свою роль за дѣйствительность.

Ему, конечно, не трудно было разглядѣть и разобрать Машу, вовсе не думавшую отъ него скрываться; еще легче было попасть ей въ тонъ, потому-что это былъ именно тотъ самый тонъ, какимъ онъ писалъ свои газетныя статьи, только, можетъ быть, нѣсколько сдержаннѣе, нѣсколько осторожнѣе...

Какъ-то, это было уже въ январѣ, онъ, по обыкновенію, встрѣтился съ Машей въ Эрмитажѣ. Онъ нарочно наканунѣ досталъ и прочелъ статью о Фламандской школѣ,—къ ней у Маши было особенное влеченіе—и поразилъ свою собесѣдницу художественными познаніями. Она даже подъ конецъ, со свойственной ей откровенностью и неивностью, сказала ему:

— Вы меня начинаете совсѣмъ удивлять, Алексѣй Ивановичъ, вы всѣмъ интересуетесь, все знаете! Когда-же у васъ достаетъ времени на все это?

Барбасовъ скромно улыбнулся.

— Я не сплю, я живу—больше ничего!—проговорилъ онъ.— Нашему брату спать нельзя.

— Что это значитъ «нашему брату»?—спросила Маша.

— Человѣку, который долженъ самъ, безо всякой посторонней помощи, идти въ жизни и доходить до чего-нибудь. Вѣдь, есть другіе люди—они имѣютъ право быть умными, не доказавъ своего ума, быть образованными, ничѣмъ не выразивъ своего образованія... Ихъ имя, связи, положеніе за нихъ отвѣчаютъ... Такой человѣкъ обязательно уменъ, образованъ, способенъ на всякое дѣло, которое онъ удостоитъ принять на себя... Я-же — homo novus, человѣкъ безъ рода, безъ племени! Чтобы достигнуть чего-нибудь, я дѣйствительно долженъ быть и уменъ, и образованъ, и способенъ... Вотъ и стараюсь... Конечно, я прожилъ не даромъ, трудился много. Я и адвокатуру бросилъ, и на службу поступилъ для того, чтобы трудиться. Надѣюсь, трудъ мой не пропадетъ даромъ... Охъ! намъ нужно много работать, всѣмъ, кто дѣйствительно любитъ Россію и кто чувствуетъ себя въ силахъ принести ей пользу!..

Маша подняла на него свои добрые глаза.

— Вы такой патриотъ, Алексѣй Ивановичъ?

— Полагаю! У насъ оттого дурно идетъ, что мы думаемъ только о своихъ выгодахъ, а не объ общей пользѣ. Я это, наконецъ, понялъ и бросилъ адвокатуру. Она приносила мнѣ огромныя выгоды, но я нашелъ, что въ другой дѣятельности буду полезнѣе. Меня въ Москвѣ сочли сумасшедшимъ... Можетъ быть, и вы такимъ-же считаете?

Она ничего не отвѣтила, только укоризненно на него взглянула.

— Но ужъ лучше считайте сумасшедшимъ, не считайте только идеалистомъ. Я не увлекаюсь и не фантазирую, я человѣкъ практическій. У меня есть завѣтная мысль—хотите, я вамъ ее скажу.

— Я вамъ буду очень благодарна!

— Но только по секрету, между нами... Не выдайте меня; если выдадите, то мнѣ повредите.

— Я васъ не выдамъ,—улыбнулась она.

И вслѣдъ за этой улыбкой, лицо ея сдѣлалось очень серьезно.

— Видите-ли, Марья Сергѣевна,—сказалъ Барбасовъ.—Я человѣкъ очень смѣлый и самонадѣянный. Я хочу непременно достигнуть большого служебнаго положенія, положенія вліятельнаго, широкой дѣятельности... Однимъ словомъ, я хочу стать такъ, чтобы отъ меня могла исходить инициатива. Но, увѣряю васъ, что это у меня не честолюбіе одно только, не жажда власти, не любовь къ разнымъ тамъ значкамъ и словцамъ... На эти значки и титульки я не могу смотрѣть иначе, какъ на игрушки, а я не ребенокъ... У меня есть завѣтное убѣжденіе... Я, прежде чѣмъ рѣшиться на этотъ мой шагъ, то-есть на поступленіе на службу, извѣздилъ всю Россію, изучилъ всѣ ея нужды и потребности... Я смѣю сказать, что знаю ея настоящее положеніе. И теперь вотъ здѣсь, въ Петербургѣ, съ каждымъ днемъ я убѣждаюсь, что наши дѣятели, вліятельные люди этого положенія совсѣмъ не понимаютъ. До сихъ поръ еще большинство изъ нихъ вышли изъ того общества, которое понятія не имѣетъ о народѣ, да и не объ одномъ народѣ, а о чемъ-бы то ни было, не касающемся до ихъ ограниченнаго и узкаго круга. Конечно, изъ нихъ есть и умные, и образованные люди, но все же они фантазируютъ и больше ничего!

— Я сама объ этомъ часто думала,—сказала Маша.— Конечно, это такъ.

— А если такъ, то я полагаю,—оживленно продолжалъ Барбасовъ, но все-же заботливо слѣдя за тѣмъ, чтобы не шлепать губами и не плевать,—полагаю, что самыя вліятельныя мѣста должны находиться въ рукахъ людей иначе воспитанныхъ, прошедшихъ иную школу жизни, окунувшихся по-настоящему во все то, что они желаютъ направлять и устраивать. Вотъ почему я и намѣренъ всѣми силами своими постараться дойти до верхнихъ ступеней служебной лѣстницы. Я буду работать и дѣйствовать en connaissance de cause.

— Отъ всего сердца желаю вамъ успѣха!—горячо восклик-

нула Маша, ласково взглянувъ на Барбасова, странное лицо котораго показалось ей въ эту минуту просто красивымъ.

Они еще долго говорили на эту тему, такъ долго, что когда Маша, наконецъ, очнулась, то увидѣла, что ей давно пора домой. Никогда еще такъ крѣпко она не жала на прощанье руку Барбасова, какъ въ этотъ разъ, и разставшись съ нимъ, она думала:

«Вотъ настоящій человѣкъ! Если-бы такихъ людей было больше, какъ у насъ стало-бы хорошо житься! Конечно, онъ правъ, правъ во всемъ: только тотъ человѣкъ приноситъ дѣйствительную пользу, который работаетъ надъ дѣломъ, ему хорошо знакомымъ. Народу можетъ помочь только человѣкъ, вышедшій изъ народа... А наше дѣло, то-есть женское дѣло, такъ какъ мы сами работать не можемъ, всячески поддерживать этихъ людей, помогать имъ.»

И ей вдругъ ужасно захотѣлось помочь Барбасову, захотѣлось, чтобы онъ скорѣе, какъ можно скорѣе сталъ губернаторомъ, министромъ, или чѣмъ-нибудь въ этомъ родѣ, чтобы онъ скорѣе началъ спасать Россію, которая, того вотъ и жди, совсѣмъ погибнетъ безъ его помощи.

«Ну что-же я могу для него сдѣлать? — ничего, какъ есть ничего!»—грустно подумала она и почувствовала къ нему большую, почти нѣжную благодарность за его откровенность, за то, что онъ почелъ ее достойной и высказалъ ей свои завѣтныя мысли...

А Барбасовъ въ это время, спускаясь по широкой лѣстницѣ Эрмитажа, чувствовалъ себя такъ легко, какъ будто у него выросли крылья, какъ будто онъ не шагаль со ступеньки на ступеньку своими длинными ногами, а плавно спускался на крыльяхъ. Онъ былъ собою очень доволенъ. Онъ отлично понялъ произведенное имъ впечатлѣніе

День этотъ пропалъ недаромъ, онъ могъ его выставить въ своемъ календарѣ днемъ табельнымъ, съ «крестикомъ въ кружкѣ».

И его болѣе чѣмъ когда-либо потянуло въ тотъ мірокъ, изъ котораго появилась и куда теперь возвращалась только-что покинувшая его милая собесѣдница. Очутиться въ этомъ міркѣ навсегда, занять въ немъ прочное и почетное мѣсто, — для него это былъ вѣнецъ блаженства. О Россіи же, ея нуждахъ интересахъ онъ позабылъ совсѣмъ, хотя ему и казалось, говоря съ Машей, что онъ говорилъ искренно...

Вдругъ онъ остановился посреди лѣстницы и, несмотря на примазанные волосы, чиновничьи бакенбрды и бритые усы, превратился въ прежняго Барбасова. Глаза его какъ-бы облились масломъ, толстыя губы зашлепали.

«Прелестъ ты моя!»—чуть не крикнулъ онъ, представляя себѣ Машу съ ея румянымъ, красивымъ лицомъ, съ ясными добрыми глазами, высокую, полную, въ такъ идущемъ къ ней траурномъ нарядѣ.

Онъ поскользнулся и чуть не скатился съ лѣстницы. Тогда онъ пришелъ въ себя и, выйдя на подъѣздъ и садясь въ свою карету, былъ опять новымъ Барбасовымъ. Онъ ощупалъ въ карманѣ шубы бумаги, надъ которыми проработалъ наканунѣ весь вечеръ, и велѣлъ кучеру ѣхать въ министерство.

XIII.

Промѣхъ.

Какъ ни старалась Софи, а долго ни на комъ не могла остановить своего выбора. Да и выборъ, къ тому-же, былъ не богатъ. Двойной трауръ, носимый ею, лишилъ ее возможности въ теченіе всей этой зимы посѣщать общество. Она должна была ограничиться немногими выѣздами, должна была выбирать изъ людей, посѣщавшихъ ея тетку. Но всѣ эти люди оказывались совсѣмъ неподходящими.

Къ Марьѣ Александровнѣ то и дѣло являлись официальные и полуофициальные лица по дѣламъ разныхъ благотворительныхъ комитетовъ и обществъ. Въ одной изъ залъ горбатовскаго дома то и дѣло происходили засѣданія, очень многочисленные, но, по большей части, состоявшія изъ стариковъ, благотворительныхъ дамъ и совсѣмъ еще зеленыхъ юношей, искавшихъ здѣсь, подъ знаменемъ благотворительности, полезныхъ знакомствъ и связей.

Софи тоже записалась во всѣ эти общества, стала было аккуратно присутствовать на засѣданіяхъ, но скоро увидѣла, что, кромѣ давящей и раздражающей скуки отъ нихъ ничего не получить.

Помимо благотворительныхъ дамъ и старцевъ, Марью Александровну рѣдко кто навѣщалъ. Навѣщали духовныя лица, да еще нѣсколько человѣкъ, показавшихся Софи крайне неинтересными. Въ числѣ этихъ, часто заглядывавшихъ въ горбатовскій домъ лицъ, былъ князь Сицкій, приходившійся Марьѣ Александровнѣ родственникомъ. Онъ считался самымъ близкимъ человѣкомъ покойной ея тетки, графини Натасовой, былъ ей даже многимъ обязанъ въ прежнее время, а потому выказывалъ большое родственное участіе и дружбу любимой племянницѣ старушки и ея наслѣдницѣ, Марьѣ Александровнѣ.

Князю Сицкому было уже пятьдесятъ лѣтъ и при этомъ онъ никакъ не могъ похвастаться красивымъ человѣкомъ. Напротивъ, это была одна изъ самыхъ, хотя и оригинальныхъ, но старинныхъ фигуръ Петербурга. Высокій, сухой и желтый какъ лимонъ, сутуловатый до того, что казался совсѣмъ горбатымъ, онъ имѣлъ видъ человѣка, постоянно кланявшагося, и при этомъ его маленькая, гладко обстриженная и еще не посѣдѣвшая голова то и дѣло кивала по сторонамъ.

На бритомъ лицѣ его помѣщался крупный носъ, большой ротъ съ тонкими губами; быстрые и проникающіе глаза, прятавшіеся за темными стеклами очковъ. Манеры его были уловаты и рѣзки. На ходу онъ всегда шаркалъ ногами, ежеминутно потиралъ себѣ руки, или одной изъ нихъ теръ себѣ переносицу. Говорилъ онъ, по временамъ, неожиданно выкрикивая и дѣлая иной разъ самыя странныя ударенія посреди фразы. Одѣвался по-старинному, то-есть, носилъ длиннополый, болтавшійся на его тонкихъ какъ жерди ногахъ, сюртукъ и вмѣсто галстука черный платокъ, обматывавшій длинную шею.

Между тѣмъ князь Сицкій, -несмотря на свою странную наружность, считался однимъ изъ выдающихся людей и занималъ очень видное положеніе. Дѣятельнъ онъ былъ необыкновенно. Старый, одинокій холостякъ, онъ весь ушелъ въ свою служебную дѣятельность, работалъ добросовѣстно и съ искреннимъ сознаніемъ, что дѣлаетъ дѣло первой важности, что его всестороннія познанія избавляютъ его отъ ошибокъ и что безъ него обойтись никакъ не могутъ. Это сознаніе скрашивало его жизнь.

Послѣ усиленныхъ работъ онъ отдыхалъ въ обществѣ, гдѣ его цѣнили какъ умнаго оригинала и гдѣ ему предшествовала установившаяся репутація государственнаго человѣка. Князя всегда можно было встрѣтить и въ избранныхъ гостиныхъ, и въ театрахъ въ нѣкоторыхъ ложахъ, и въ самыхъ блестящихъ собраніяхъ, какъ офиціального, такъ и интимнаго характера.

Князь любилъ и женское общество, даже былъ цѣнителемъ женской красоты и прелести. Но вообще всю свою жизнь онъ любовался женщиной только какъ красивой и интересной картиной, то-есть на извѣстномъ разстояніи...

Онъ былъ чело́вѣкъ любезный, даже черезчуръ любезный. Изъ-за его утрированной любезности зачастую просто страдали его подчиненные. Онъ иной разъ до такой степени любезничалъ, такъ разсыпался передъ какимъ-нибудь своимъ молодымъ чиновникомъ, что тому наконецъ становилось неловко и, если это было во время служебнаго доклада, то молодой чело́вѣкъ начиналъ просто путаться, терялся и выходилъ отъ своего высшего

начальника раздраженнымъ, почти въ увѣренности, что тотъ надъ нимъ потѣшился и посмѣялся этой изысканной и чрезмѣрной любезностью.

Многіе, наконецъ, стали замѣчать, что чѣмъ любезнѣе князь, чѣмъ онъ крѣпче жметъ руку, чѣмъ ниже раскланивается, тѣмъ меньше можно на него надѣяться, тѣмъ вѣрнѣе онъ не исполнить только что даннаго въ самыхъ рѣшительныхъ выраженіяхъ обѣщанія. Князь очень любилъ обѣщать—это давало ему возможность, какъ онъ полагалъ, показаться пріятнымъ. Но обѣщая онъ сейчасъ-же и забывалъ о словахъ своихъ. Подвигнуть его къ исполненію обѣщаннаго могли только особенно почитаемыя имъ дамы, да очень высокопоставленныя лица...

У Марьи Александровны онъ иногда засиживался подолгу. У него было съ нею такъ много общихъ воспоминаній—воспоминаній иного времени. А это «иное время», несмотря на всю свою холодность, князь очень любилъ. Онъ чувствовалъ и ясно понималъ, что теперь, годъ-отъ-году, такимъ людямъ, какъ онъ, становится жить труднѣе, и труднѣе и что со всѣхъ сторонъ поднимаются вліянія, крайне ему ненавистныя.

Онъ былъ совершенно увѣренъ, что путнаго ждать теперь нечего, что все рушится, растлѣвается, и что того и гляди окончится какимъ-нибудь страшнымъ кризисомъ, какой-нибудь катастрофой. Въ концѣ-концовъ онъ оказался просто запуганнымъ и начиналъ жить съ тяжелымъ ощущеніемъ человѣка, идущаго и думающаго, что вотъ-вотъ почва разверзнется подъ его ногами и его поглотитъ бездна.

Но князь былъ очень остороженъ, иногда даже не въ мѣру осмотрителенъ, боялся не только прямыхъ и рѣшительныхъ дѣйствій, но и словъ. Онъ со всѣми желалъ жить въ мирѣ, никому не противорѣчить, никого не дразнить, а потому почти ни передъ кѣмъ откровенно не высказывался.

Но передъ Марьей Александровной ему нечего было таиться. Она была своя, она не только раздѣляла его взгляды, но слушала его какъ оракула и проговориться на-счетъ его откровенности, его выдать и какъ-нибудь ему повредить была не въ состояніи.

Поэтому иной разъ, вечеркомъ, онъ такъ у нея и засиживался, говоря безъ умолку своей странной манерой, выкрикивая и дѣлая неожиданныя ударенія. А когда случайно взглядывалъ на часы, то вдругъ вскакивалъ съ мѣста какъ ужаленный, съ восклицаніемъ, похожимъ на крикъ пѣтуха:

— Х-х-хахъ! Матушка, да что-же вы мнѣ не сказали, который часъ?! Вѣдь, я тебя, гллубушка, уморилъ совсѣмъ! (Князь любилъ въ свою рѣчь, рядомъ съ изысканными французскими фразами, включать простонародныя выраженія).

Марья Александровна улыбалась.

— Развѣ ты можешь, князь, уморить?.. Когда ты говоришь, я не вижу какъ идетъ время! Да и совсѣмъ не такъ поздно, всего первый часъ.

— Первый часъ! А мнѣ завтра въ седьмомъ встать надо работать, надо работать, рукъ не покладая, въ этомъ только спасеніе!

И, приложившись къ рукѣ кузины своими сухими губами, онъ спѣшилъ по слабо освѣщеннымъ, пустымъ комнатамъ, низко наклонивъ голову и шаркая ногами...

Софи кончила тѣмъ, что, *faute de mieux*, остановила свой выборъ на князѣ Сицкомъ.

Она нѣсколько дней обдумывала эту мысль и рѣшила, что старый холостякъ для нея единственный князь спасенія. Она уже давно искала въ бракѣ только возможность сложить съ себя грозящее ей и пугающее ее до глубокаго страданія званіе старой дѣвы, выйти изъ семьи, которая ее возмущала, получить то, что она считала свободой; но прежде всего сдѣлать себѣ твердое и блестящее общественное положеніе.

О томъ, какой у нея будетъ мужъ и какія будутъ ея къ этому мужу отношенія—она не думала, и теперь даже удивилась себѣ, какъ это мысль о князѣ Сицкомъ не пришла ей раньше въ голову. Лучшаго жениха, какъ онъ, нечего было и искать. Онъ могъ ей дать именно то, чего ей было надо—блестящее положеніе и свободу. Бракомъ съ нимъ она себя нисколько не унижала—напротивъ. Что это былъ человѣкъ уже почти старый, что будутъ немного подсмѣиваться надъ ея выборомъ—она не смущалась этимъ. Не она первая, не она послѣдняя, подобные браки въ ея обществѣ совершаются зачастую, это въ порядкѣ вещей. Ей только позавидуютъ многія.

Князь Сицкій выказалъ ей съ перваго дня ихъ знакомства, еще тогда, когда она пріѣзжала въ Петербургъ изъ Москвы, веселиться, большое вниманіе и расположеніе. Онъ находилъ, очевидно, удовольствіе въ бесѣдахъ съ нею. Между ними установились даже нѣкоторыя шуточные фамиллярности. Софи была еще, во всякомъ случаѣ, красива, ея нерѣдко острый и злой языкъ нравился князю, тѣмъ болѣе, что онъ находилъ нѣкоторые, высказанные ею передъ нимъ взгляды правильными. Среди современныхъ дѣвушекъ она казалась ему одной изъ немногихъ, которыхъ не коснулись столь противныя ему новыя вѣянія.

И вотъ Софи, рѣшивъ, наконецъ, свой мучительный вопросъ, теперь только и думала, какъ-бы обворовать стараго и холоднаго князя. Она пустила въ ходъ всѣ свои средства, какими владѣла, и не пренебрегала ничѣмъ. Скоро ей стало ка-

заться, что онъ понемногу теплѣетъ и таетъ въ ея присутствіи.

Онъ дѣйствительно какъ-бы еще чаще сталъ пріѣзжать къ Марьѣ Александровнѣ. Если случайно Софи не было дома, то онъ нѣсколько разъ во время посѣщенія объ ней спрашивалъ. Марья Александровна даже ей, наконецъ, сказала:

— Другъ мой, ты совсѣмъ обворожила нашего князя, поздравляю тебя: Вѣдь, онъ разборчивъ и плѣнить такого человѣка, какъ онъ, это большая честь...

— Отчего-же это ужъ такая честь?!—улыбнулась Софи.

— Оттого, что это одинъ изъ самыхъ замѣчательныхъ нашихъ людей. Я говорю это не потому, что онъ мой родственникъ и что я съ дѣтства люблю его,—всѣ, вѣдь, такъ на него смотрятъ. Развѣ ты съ этимъ не согласна?

— Совершенно согласна!—отвѣчала, вдругъ дѣлаясь очень серьезной, Софи. Я такъ уважаю князя, онъ, въ самомъ дѣлѣ, необыкновенный человѣкъ... Я думаю, что мнѣ ужъ во всякомъ случаѣ досаднѣе, чѣмъ ему, что меня сегодня не было дома. Поговорить съ нимъ—это настоящее удовольствіе..

Марья Александровна была очень рада, что племянница такъ относится къ ея дорогому другу. Но, конечно, ей никогда и въ голову не могло придти, чтобы у этой племянницы были на князя какіе-нибудь виды. Эта мысль показалась-бы ей самой несообразной и смѣшной нелѣпостью...

Между тѣмъ Софи продолжала дѣйствовать. Она сдѣлалась какъ-бы ученицей князя. Теперь въ разговорахъ съ нимъ она приняла грустный, почти скорбный тонъ и выражала ему, что жить трудно, что теперешняя жизнь лишена для нея всякаго смысла.

— И это вы говорите!—вскрикивалъ князь. — Vous, jeune, belle!.. Вы должны веселиться, должны брать отъ жизни полными руками только цвѣты!.. Скорбѣть предоставьте намъ, старикамъ.

— Отчего-же, князь, вы считаете меня недостойной скорбѣть вмѣстѣ съ вами? Если вы старикъ, то, вѣдь, и я уже не такъ молода (вотъ до чего она дошла!). Прежде, конечно, я жила какъ ребенокъ и брала, какъ вы говорите, отъ жизни только цвѣты; но цвѣты завяли, и я вижу однѣ сухія вѣтки, я не могу закрывать глаза на то, что дѣлается вокругъ насъ... я не могу принимать участіе въ этой вакханаліи.

— Вакханаліи!—крикнулъ князь, тряся головою,—c'est le mot!

— Oui, c'est le mot!—подхватила она,—безсмысленная вакханалія—и ничего больше! Конечно, я не стара годами, но чувствую себя старухой. Мое время не теперь и я несчастна, что родилась въ это ужасное время, которое могутъ хвалить только наши красные журналы и газеты... cette presse dévergondée...

— Cette presse dévergondée!.. bien juste, bien juste! — повторялъ князь.

Онъ даже взялъ руку Софи и поднесъ ее къ своимъ губамъ, а потомъ прибавилъ:

— Умница!

Кончилось тѣмъ, что онъ пересталъ совсѣмъ стѣсняться съ нею, высказывался при ней такъ-же откровенно, какъ и при Марьѣ Александровнѣ.

Въ началѣ января, въ день рожденія Марьи Александровны, когда Софи уже непременно ожидала увидѣть князя, онъ не пріѣхалъ и прислалъ кузинѣ записку, гдѣ говорилъ, что простудился въ Крещеніе во дворцѣ и, по настоянію доктора, долженъ нѣсколько дней посидѣть дома.

«Сегодня мнѣ лучше,— писалъ онъ,—я принялся за работу, но меня дальше моего кабинета не пускаютъ».

На слѣдующее утро Софи спросила тетку, свободна-ли она послѣ завтрака?

— А я тебѣ развѣ нужна?

— Да, ma tante, мнѣ пришла въ голову мысль, я хотѣла предложить вамъ вмѣстѣ со мною навѣстить нашего милаго князя.

— Я непременно къ нему поѣду,—сказала Марья Александровна,—но не раньше какъ завтра. Сегодня, сейчасъ послѣ завтрака у меня соберутся члены нашего общества.

— Очень жалъ! Такъ знаете что? Я поѣду къ нему одна.

— Подожди до завтра. Завтра я цѣлый день свободна.

— Нѣтъ, я поѣду сегодня и одна... это даже лучше! Онъ это оцѣнить. Je pense, il n'y a rien d'inconvenant?

— Certainement, non! Что-же тутъ такого? Онъ старикъ, и при этомъ... наши отношенія... Да, ты права, ему это будетъ пріятно, поѣзжай, мой другъ!

Во второмъ часу карета Софьи Сергѣевны остановилась у подъѣзда дома, гдѣ жилъ князь Сицкій. Посѣтительница даже не послала своего человѣка узнать, принимаетъ-ли князь, а прошла прямо въ его пріемную и послала дежурнаго курьера, растерявшагося отъ неожиданности, доложить о себѣ. Черезъ минуту ее провели въ обширную комнату, всю заставленную шкапами и книгами. У стараго огромнаго стола, заваленнаго бумагами и папками, въ креслѣ, согнувшись въ три погибели, сидѣлъ князь, быстро подписывая что-то.

При ея входѣ онъ бросилъ перо и пошелъ къ ней на встрѣчу съ протянутыми руками.

— Mais vous êtes bonne, bonne comme un ange! — закричалъ онъ, цѣлуя ея руку.—Ваше посѣщеніе—это для меня праздникъ! Я отъ одного этого выздоравлию.

— Да вы совсѣмъ и не больны, князь, — весело говорила Софья Сергѣевна. — Смотрите, у васъ такой здоровый, цвѣтущій видъ!

Князь былъ страшно желтъ. Его крупный носъ покраснѣлъ отъ насморка, а сухія горящія руки указывали на лихорадочное состояніе.

— Такъ это вы меня наэлектризовали! — крикнулъ онъ и засуетился, пододвигая ей кресло, усаживая ее.

— Пыльно у меня, не хорошо, простите! — говорилъ онъ. — Эта комната для работы, для черной работы.

— Нѣтъ, у васъ хорошо! — сказала Софи оглядываясь. — Комната, въ которой всегда живетъ человѣкъ, это... это вѣрное изображеніе и объясненіе его внутренняго міра, и ваша комната говоритъ мнѣ о большомъ трудѣ цѣлой жизни, о работѣ серьезной и важной, до того важной, что некогда думать о томъ, чтобы ее, какъ сказать, ну хоть-бы вставлять въ блестящую золотую рамку. Некогда, и не надо! Она цѣнна сама по себѣ, не нуждается въ украшеніяхъ.

— А все-же пыли, пыли много и въ комнатѣ, да, пожалуй, и въ работѣ! — серьезно сказалъ князь.

— А пыли много оттого, что нѣтъ заботливой женской руки, которая-бы ее вытирала. Вы очень одиноки, князь, неужели и всегда такъ были?

— Всегда, конечно! — проговорилъ онъ, быстро проглотивъ послѣднее слово, такъ какъ почувствовалъ необходимость чихнуть.

Онъ чихнулъ и долго сморкался. Его насморкъ въ этотъ день сильно его беспокоилъ.

— И вамъ никогда не было и не бываетъ холодно въ этомъ одиночествѣ?

— Привычка!..

Онъ опять чихнулъ.

— Привыкъ... но какъ не бываетъ! Иной разъ и дѣлается холодненько. Прежде я въ такомъ случаѣ отогрѣвался у покойницы тетушки, у графини Натасовой, вотъ у нея! (Онъ указалъ на большой портретъ старушки, висѣвшій надъ его письменнымъ столомъ). — Теперь отогрѣваюсь у моей милой кузины Марьи Александровны... да вотъ съ вами.

— Богъ не безъ милости, не безъ милости! — вдругъ крикнулъ онъ: — не безъ милости!

Софи сдѣлала совсѣмъ грустное лицо и задумалась.

— Что это вы такъ? — замѣтилъ князь, пристально взглянувъ на нее изъ-подъ темныхъ стеколъ очковъ. — Ужъ не меня-ли жалѣете?

Онъ едва замѣтно улыбнулся кончиками губъ.

— Отчего-же мнѣ и не пожалѣть васъ?— произнесла Софи.

— Не стоитъ, голубушка, не стоитъ!— перебилъ ее князь, слегка прикоснувшись къ ея рукѣ. — Чего меня жалѣть, да и поздно... Моя пѣсенка уже спѣта.

— И это говорите вы?!— внезапно оживляясь, воскликнула Софи.— Вы, полный силъ, энергіи... съ вашимъ свѣтлымъ умомъ... и въ то-же время, какъ ваша дѣятельность такъ необходима, такъ благодѣтельна... когда именно вы... вы такъ нужны!

Онъ опять едва замѣтно усмѣхнулся и опять взглянулъ на нее изъ-подъ очковъ.

— И вы говорите, что ваша пѣсенка спѣта?— между тѣмъ продолжала она.— Да именно теперь она должна звучать громче, чѣмъ когда-либо, князь.

Ея голосъ оборвался и она остановила на немъ взглядъ, въ который постаралась вложить какъ можно больше нѣжности и ласки.

— Князь, прошу васъ, не говорите мнѣ такъ никогда. Мнѣ слишкомъ тяжело и больно васъ слушать!

Онъ зачихалъ.

— Х-ахъ!— вдругъ крикнулъ онъ и вскочилъ съ кресла.— Что-же это я, уѣзжайте, уѣзжайте скорѣе, Софья Сергѣевна!

Она глядѣла на него въ изумленіи.

— Что такое? Зачѣмъ? Зачѣмъ вы меня гоните?

— Да помилуйте, голубушка, вѣдь, это у меня гриппъ... Это заразительно... никогда себѣ не прошу, что впустилъ васъ! Вы такъ добры, такъ милы, а я оплачу гриппомъ...

Онъ замахалъ руками.

Она засмѣялась.

— Вы меня испугали, право! Я не знала, что и подумать. Я не боюсь вашего гриппа и еслибъ была увѣрена, что вамъ со мной не скучно, то готова хоть на цѣлый день у васъ остаться.

— Не найду и словъ благодарить васъ!— повторялъ князь.— Не стою я вашей доброты, совсѣмъ не стою!.. Хорошо было-бы посидѣть и побесѣдовать съ вами вмѣсто того, чтобы исписывать эти листки!.. Но боленъ, здоровъ-ли, а работать надо... къ вечеру вотъ долженъ кончить, къ вечеру-съ!

Онъ указалъ на свою работу.

Раздался звонокъ. Князь быстро зашаркалъ къ двери, пріотворилъ ее и кому-то крикнулъ:

— Сейчасъ, батюшка, сейчасъ, къ вашимъ услугамъ!

Затѣмъ, обратясь къ Софи, кланяясь, потирая руки и качая головою, онъ объяснилъ:

— Вотъ видите, не смѣю быть больнымъ... текущія дѣла..

Прошу васъ, Софья Сергѣевна, простите великодушно... Вотъ сюда-съ, сюда-съ, простите... указаль онъ ей дверь.

— Эхъ, задержать меня! — прибавилъ онъ съ видомъ величайшей досады.

Софи вышла въ красивую, но нѣсколько мрачную комнату, что-то среднее между приѣмной и гостиной.

— До свиданья, князь! — говорила, она протягивая руку хозяину. — Поправляйтесь скорѣй. Je dirai à ma tante que vous allez bien, que nous aurons le plaisir de vous revoir bientôt, n'est ce pas?

— Certainement, ça peut durer encore tout au plus deux, trois jours... Видите — не смѣю быть больнымъ, не смѣю! А ужъ какъ я вамъ благодаренъ, что посѣтили — и выразить не могу!

Онъ началъ раскланиваться и проводилъ ее до передней, въ дверяхъ которой она замѣтила какого-то лысаго господина въ вицъ-мундирномъ фракѣ.

— Пожалуйста, батюшка, Петръ Семеновичъ! — крикнулъ ему князь, пропустилъ его къ двери, а самъ остановился и ждалъ, пока Софи подавали ей шубку.

Когда онъ возвращался въ кабинетъ, по его тонкимъ губамъ блуждала усмѣшка.

— Вотъ-съ, батюшка Петръ Семеновичъ, — шутливо объяснилъ онъ господину въ вицъ-мундирѣ, стоявшему передъ его письменнымъ столомъ: — на старость лѣтъ дамы молодья навѣщать меня стали, о здоровьѣ моемъ беспокоятся... вотъ мы теперь какъ!

— Какъ себя изволите чувствовать, ваше сіятельство?

— Благодарствуйте, Петръ Семеновичъ, понемножку, понемножку, батюшка... присядьте... Что у васъ нынче?

Господинъ въ вицъ-мундирѣ помѣстился въ кресло, на которомъ передъ тѣмъ сидѣла Софи, и сталъ выбирать изъ портфеля бумаги.

XIV.

Послѣ концерта.

Въ этотъ разъ Груня пѣла удивительно.

На нее нашло особенное оживленіе, нѣчто какъ-бы лихорадочное. Хороша она была въ этотъ вечеръ необыкновенно. А къ концу ее охватило просто вдохновеніе — она пѣла, ничего не сознавая, всецѣло уйдя въ міръ звуковъ.

Успѣхъ ея былъ полный. Огромная зала дрожала отъ рукоплесканій... Наконецъ, Груня уже оказалась не въ силахъ выходить на вызовы. У нея кружилась голова. Она просто шаталась, Владиміръ ее почти снесъ въ карету. Она граціознымъ дви-

женіемъ простилась съ толпой провожающихъ ее знакомыхъ и полузнакомыхъ мужчинъ, и шепнула Владиміру:

— Садитесь скорѣе!

Но онъ медилъ.

— Мнѣ что-то нехорошо,—громко сказала она.

Тогда онъ вскочилъ въ карету, захлопнулъ за собою дверцу. Лунная морозная ночь глядѣла въ покрывшіяся легкимъ узоромъ каретныя окна. Застоявшіяся лошади быстро мчались.

Груня крѣпко запахнулась въ пушистую ротонду и тяжело дышала.

— Груня, что вы?—съ нѣкоторымъ безпокойствомъ спросилъ Владиміръ.

— Ничего, теперь прошло, — отвѣчала она, взглянувъ на него горящими глазами.—У меня сильно голова закружилась... и потомъ—я ужасно устала... я не могла говорить съ этими господами. Теперь хорошо!

Она прислонилась головою къ подушкамъ кареты.

— Хорошо я нынче пѣла?—спросила она черезъ нѣсколько мгновений.

— Лишній вопросъ,—вы сами знаете... съ каждымъ разомъ вы поете лучше и лучше. Каждый разъ я въ вашемъ пѣніи нахожу все новое и новое.

— Что-же новаго нашли вы сегодня?

— Много, такъ много, что и у меня голова кружилась, можетъ еще больше, чѣмъ у васъ. На вашихъ концертахъ я живу одной жизнью съ вами.

— А, вѣдь, вы не хотѣли ѣхать со мною! Если-бы я не сказала, что мнѣ дурно, вы такъ-бы меня и оставили.

— Конечно. Я поѣхалъ-бы за вами, я-бы вошелъ къ вамъ, если-бы вы меня пустили. Но ѣхать вмѣстѣ, садиться къ вамъ въ карету передъ этой толпою, мнѣ это было непріятно.

— Да... моя репутація!..—съ полунасмѣшкой и въ то-же время будто печально протянула Груня.—Вы о ней все заботитесь!

— Я думаю, въ этой заботѣ, во всякомъ случаѣ, нѣтъ ничего дурного.

— Поздняя забота, другъ мой... Репутація пѣвицы! Да если-бы я была совсѣмъ святою или если-бы я была совсѣмъ послѣдней грѣшницей—репутація моя осталась-бы все одна и та-же. Никто, а ужъ тѣмъ менѣе вы, не можете защитить ее.

— Я далеко не согласенъ съ вами!

— Ну и хорошо, довольно объ этомъ!—вдругъ какъ-бы разсердясь воскликнула Груня.

Они замолчали, и молчали такъ всю небольшую дорогу до Троицкаго переулка.

Карета остановилась. Прежде чѣмъ Владиміръ успѣлъ подержать Груню, она уже въ одинъ легкій прыжокъ была у подъѣзда. Луна освѣщала ея высокую, закутанную въ бархатъ фигуру. Изъ-подъ пушистаго мѣха, въ который она спрятала лицо свое, глядѣли только ея огромные черные глаза и блестяли въ лунномъ свѣтѣ.

— Къ вамъ?!—тревожно, мучительно, почти желая, чтобы она отвѣтила «нѣтъ», спросилъ Владиміръ.

— Ко мнѣ,—прошептала она.

Двери растворились. Когда они поднялись въ третій этажъ, Катя уже встрѣчала ихъ со свѣчею.

Она окинула и Груню и, главное, Владиміра веселымъ, ласковымъ взглядомъ и объявила, что самоваръ кипитъ и что все приготовлено.

— Гдѣ будете чай кушать, въ столовой или въ будуарѣ?

— Принеси туда! Да, и вотъ что, пожалуйста, никого не принимай!

Груня обратилась къ Владиміру:

— Я увѣрена, что кто-нибудь изъ этихъ господъ непременно явится, тѣмъ болѣе, что, вѣдь, еще довольно рано.

Они прошли въ комнату-бонбоньерку, которая теперь, вечеромъ, озаренная мягкимъ свѣтомъ фонарика и зажженной Катей лампой подъ абажуромъ, потеряла свой пошлый характеръ и глядѣла очень заманчиво и уютно.

Скоро Катя внесла и поставила на столикъ подносъ съ миниатюрнымъ серебрянымъ самоварчикомъ, сэндвичами и печеньемъ.

— Прикажете разлить?

— Налей.

Катя разлила чай въ двѣ маленькія прозрачныя чашечки, а затѣмъ, съ особенно скромнымъ видомъ, неслышно удалилась.

Владиміръ глядѣлъ на Груню. Она въ усталой позѣ откинулась на низенькомъ креслѣ.

— До того устала, что даже нѣтъ силъ пойти и переодѣться!—выговорила она.

Она была передъ нимъ въ черномъ бархатномъ, покрытымъ кружевами платьѣ; съ ея обнаженной шеи соскользнула легкая накидка; она уронила на колѣни свои полныя, казавшіяся теперь даже черезчуръ бѣлыми, будто фарфоровыми, руки...

И опять, какъ и въ каретѣ, они молчали, молчали долго и совсѣмъ не замѣчали своего молчанія.

Наконецъ Груня протянула было руку къ чашкѣ съ чаемъ, но сейчасъ-же и позабыла объ этомъ своемъ движеніи. Она только привела въ порядокъ спустившуюся накидку и граціозно въ нее спряталась.

— Такъ что-же такое вы нашли сегодня въ моемъ пѣніи, вы мнѣ не сказали?—спросила она.—Я хочу знать.

— Разсказать это довольно трудно. Прежде всего мнѣ почему-то показалось, что сегодня для васъ, Груня, какой-то особенный день. Я не знаю, что это можетъ быть.... какія-нибудь воспоминанія... не знаю.

— Да, сегодня для меня особенный день!—медленно, слово за словомъ выговорила Груня.—А потомъ что-же?

— Потомъ... потомъ... ужъ это прямо ко мнѣ относится, это уже мое собственное, совсѣмъ глупое ощущеніе... не слѣдовало-бы даже и говорить... мнѣ показалось, что вы вторую арію пѣли для меня... Видите, какого я о себѣ мнѣнія!

— Вы угадали!—воскликнула Груня.—Я ее пѣла только для васъ, для васъ одного. Да и нее одну... сегодня весь вечеръ для васъ пѣла...

Съ ея плечъ снова упала накидка и она этого не замѣтила. Лицо ея преобразилось, щеки вспыхнули, померкшіе было глаза загорѣлись. Она съ выраженіемъ чего-то невыносимаго и неизбѣжнаго схватила рукой за голову, потомъ быстрымъ, порывистымъ движеніемъ привлекла къ себѣ Владиміра и крѣпко держала его, будто боялась, что вотъ онъ вырвется и исчезнетъ.

— Слышите, для васъ, для васъ одного!... Я вамъ тамъ, передъ этой толпой сказала все!.. Вы были недовольны мною... вы на меня сердились—я молчала... потомъ я хотѣла говорить—намъ помѣшали... сегодня я вамъ сказала все... поняли вы меня, или нѣтъ? Поняли?

Его охватилъ туманъ, его сердце замерло отъ счастья, онъ хотѣлъ сказать что-то—и не могъ, языкъ не слушался. Онъ глядѣлъ на Груню, не отрываясь, съ восторгомъ, съ обожаніемъ, почти безумно.

А она шептала:

— Я иначе говорить не умѣю, я молчала, потому что мнѣ казалось, что такъ лучше, да и теперь я думаю, что можетъ быть такъ было-бы лучше... Но нѣтъ, зачѣмъ разсуждать! Это ни къ чему... и бороться напрасно... не надо... такъ должно быть!.. Понялъ-ли ты все, что я тебѣ сказала? Понялъ-ли, что я люблю тебя... и какъ люблю?.. Что ты для меня все? Не понимая этого, я любила тебя всегда. Ты, можетъ быть, ни разу, ни разу не думалъ обо мнѣ, забылъ, что я и существую на свѣтѣ... Теперь я съ тобою... возьми меня.

— Груня!

Онъ покрывалъ безумными поцѣлуями ея лицо, ея руки, ея похолодѣвшія плечи. Тихія слезы одна за другою катились изъ

ей глазъ. Она прижималась къ нему, крѣпко обвила его руками и задыхающимся голосомъ шептала:

— Володя, помнишь... въ Знаменскомъ... мы были дѣти... но, вѣдь, мы и тогда любили другъ друга.. вспомни, вспомни!..

— Развѣ я не зналъ этого?—наконецъ едва слышно выговорилъ онъ.—Я зналъ это давно, почти уже тогда... Боже мой!—вдругъ съ отчаяніемъ воскликнулъ онъ. Зачѣмъ мы встрѣтились такъ поздно?

Но это было мгновенно, онъ сейчасъ-же и позабылъ и слова свои, и мучительное чувство, ихъ вызвавшее. А Груня и совсѣмъ не замѣтила словъ этихъ.

Все исчезло. Раздвинулись, какъ декорація, обтянутыя блѣдной матеріей стѣны съ венеціанскими зеркалами; умчался и скрылся потолокъ съ фонарикомъ. Надъ ихъ головами тихо шумѣли и качались вѣковыя сосны. У ногъ ихъ растилалась густая, мягкая трава, пестрѣвшая цвѣтами... Высоко, тамъ, надъ темными вѣтвями сосенъ, синѣло лѣтнее небо... Перекликались птицы... Гдѣ-то вблизи, тихо журча, катился съ камня на камень лѣсной ручеекъ.

И они, странныя мечтательныя дѣти, крѣпко обнявшись, брели въ этой травѣ, среди этихъ цвѣтовъ, среди теплаго дыханія природы, повѣряя другъ другу свои яркія, чудныя мечты, свои дѣтскія грезы.

Но вотъ и это все исчезло... безумный мигъ унесъ ихъ въ ту невѣдомую даль, гдѣ нѣтъ ни времени, ни пространства, ни прошлаго, ни будущаго, гдѣ царить одно настоящее и блещетъ всѣми ослѣпительными красками, звучитъ всѣми дивными головами... Унесла ихъ роковая сила туда, гдѣ ничто не напоминаетъ о томъ, что этотъ мигъ исчезнетъ, краски поблекнутъ, чудные голоса замолчатъ—и останется одно смутное воспоминаніе, быть можетъ съ вѣчнымъ упрекомъ, съ изумленіемъ и тоскою.

Въ сосѣдней комнатѣ часы на каминѣ пробили два.

Владиміръ вышелъ растерянный. Груня его остановила. Гостиная была темна, только луна протянула отъ высокихъ оконъ свои голубыя, длинныя полосы свѣта.

Онъ обернулся, Груня еще разъ припала къ нему на грудь и взглянула ему въ глаза, совсѣмъ уже новымъ взглядомъ. Теперь въ этомъ взглядѣ не было ничего загадочнаго, ничего жуткаго. Это былъ тихій и нѣжный, ничего не скрывающій взглядъ любящей женщины.

Но Владиміръ все-же не могъ его вынести.

— Груня!—прошепталъ онъ:—какъ я безумно виноватъ передъ тобою!

— Чѣмъ? Почему? Ты не имѣешь права говорить такъ... я тебѣ запрещаю...

— Не теперь, нѣтъ... не теперь... а прежде...

— Я ничего не понимаю!

— И не надо... завтра... до завтра... Груня, дорогая моя, прощай!

Но долго они не могли разстаться.

Наконецъ, она провела его въ переднюю и заперла за нимъ двери. Она медленно вернулась назадъ, въ освѣщенную фонарикомъ комнату, гдѣ на столикѣ стояли двѣ нетронутыя чашки.

Она упала въ кресло и вдругъ зарыдала. Но эти слезы не были слезами горя и она ихъ не замѣчала. Все существо ея было полно счастьемъ и свѣтомъ, безумной, освободившейся отъ своихъ оковъ любовью, любовью безъ упрековъ, безъ сожалѣній, безъ мысли о будущемъ.

XV.

Писатель.

Князь Янычевъ, получивъ согласіе дочери, немедленно-же одѣлся и вышелъ изъ дому... Онъ направился по Знаменской, потомъ завернулъ на Лиговку, прошелъ къ Греческой церкви и скоро очутился въ одной изъ улицъ Песковъ, среди тишины, изрѣдка нарушаемой скрипомъ извозчичьихъ санокъ.

Если глядѣть на князя сзади—онъ имѣлъ видъ важнаго и степеннаго барина. Его тучную фигуру облекало длинное мѣховое пальто съ дорогимъ бобровымъ воротникомъ. На головѣ была высокая бобровая-же шапка; въ рукѣ толстая камышевая трость съ массивнымъ серебрянымъ набалдашникомъ и острымъ наконечникомъ, которымъ онъ по временамъ постукивалъ о заледѣвшій тротуаръ, боясь поскользнуться. Посмотрѣть спереди—покрытый синими жилами толстый носъ и вытаращенные страшные глаза не ладили съ первымъ впечатлѣніемъ.

Но все-же князь былъ важенъ и казался человѣкомъ довольнымъ, богатымъ, беззаботнымъ, вышедшимъ ради здоровья на утреннюю прогулку. Но онъ о своемъ здоровьѣ въ настоящую минуту думалъ меньше всего. Его голова была полна самой горячей работой.

Онъ остановился у маленькаго деревяннаго домика, глядѣвшаго на пустынную улицу тремя заледѣвшими окошками; вошелъ въ калитку, очутился среди грязнаго дворика, поднялся на крылечко и сталъ звонить. Ему отворила дверь толстая и вдо-

бабокъ еще, очевидно, распухшая старуха, довольно неопрятная, съ сѣдыми растрепанными и въ нѣсколькихъ мѣстахъ совсѣмъ вылѣзшими волосами, съ лицомъ подозрительнымъ и довольно непріятнымъ. Все это объяснялось ея званіемъ вдовы коллежскаго регистратора, гадающей на кофейной гущѣ.

— Вы къ Никанору Петровичу?—спросила она.

— А то къ кому-же, или не узнали?

Старуха приглядѣлась.

— Простите, князь, и то не узнала, рѣдко жалуете!

— Дома онъ?

— У себя, третій день не встаетъ съ мѣста—пишетъ комедію, все пишетъ... Вчера вечеромъ битыхъ два часа мнѣ читалъ, да я, признаться, не разобрала хорошенько, да и сонъ меня нынче по вечерамъ одолѣваетъ. Какъ стемнѣетъ, ну вотъ такъ и клонить, такъ и клонить! А ужъ отъ чтенья этого и того больше. Вздремнула я, а онъ и осердился. Ну, да не впервой это у насъ съ Никаноромъ Петровичемъ: что ни вечеръ, то ссора, что ни утро, то миръ!

Она хрипло засмѣялась и отворила скрипучую, разохшуюся низенькую дверь. Князь очутился въ крохотномъ темномъ уголочкѣ, изображавшемъ собою переднюю, снялъ и повѣсилъ шубу на большой гвоздь, вбитый въ стѣну для этой цѣли и, очевидно, ему уже извѣстный. Затѣмъ онъ прошелъ въ комнату, наполненную табачнымъ дымомъ, съ закоптѣлымъ, будто висящимъ и того жди готовымъ обрушиться потолкомъ... Засаленныя стѣны, разнокалиберная мебель... У одного изъ двухъ окошекъ, за столомъ сидѣлъ, скрючившись и пуская клубы дыма изъ толстой папиросы, человекъ въ старомъ драповомъ халатѣ, погруженный въ писанье. Перо его такъ и бѣгало по листу бумаги.

— Кто тамъ?—хрипло крикнулъ онъ, не обертываясь.

— Кто! Оглянись, такъ увидишь!

Писавшій рѣшилъ оставить работу и поднялся со стула.

— А, это ты, князь!—воскликнулъ онъ.—Милости просимъ, не ждалъ, радъ видѣть!

Они пожали другъ другу руки...

Никаноръ Петровичъ Зацѣпинъ былъ именно тѣмъ самымъ стариннымъ пріателемъ князя, который когда-то разыгралъ роль его душеприказчика въ знаменитой продѣлкѣ съ восковой куклой.

По наружности между пріятелями не было ровно ничего общаго. Въ противоположность князю, Зацѣпинъ оказывался сумымъ, что ни на есть, худощавымъ человекомъ, съ глазами блѣдными, будто совсѣмъ выцвѣтшими. У него былъ тонкій горбикомъ носъ; длинные сѣдоватые усы прикрывали его поч-

совсѣмъ беззубый ротъ. Желтоватыя съ небольшою просѣдою волосы были зачесаны назадъ и спускались на шею рѣдкими космами. Онъ брилъ щеки и подбородокъ; лицо его выражало какъ-бы навсегда застывшее изумленіе и при этомъ онъ все какъ-будто къ чему-то прислушивался.

Зацѣпина судьба тоже не побаловала и онъ оказался наклонѣ жизни въ положеніи довольно странномъ и неожиданнымъ. Онъ вышелъ въ отставку изъ военной службы почти одновременно съ княземъ, былъ, какъ и онъ, вдовецъ, прокутилъ и проигралъ свое состояніе. У него была единственная дочь, которая, по счастью, удачно вышла замужъ и жила теперь, уже нѣсколько лѣтъ, въ Симбирской губерніи, гдѣ ея мужъ занималъ довольно видное служебное положеніе.

Дочь и зять предложили было Никанору Петровичу поселиться у нихъ; но онъ наотрѣзъ отказался, объявивъ, что теперь провинціальный городъ—«не его сфера», что онъ непременно долженъ жить въ Петербургѣ. Въ сущности, зять былъ этимъ даже доволенъ и сталъ высылать Зацѣпину небольшое содержаніе.

Никаноръ Петровичъ, получая эти деньги и извѣщая дочь объ ихъ полученіи, неизмѣнно прибавлялъ: «надѣюсь—недолго уже буду вамъ въ тягость. Черезъ мѣсяцъ-другой моя новая драма (или тамъ комедія, поэма или повѣсть) будетъ напечатана и я заживу припѣваючи, достигнувъ должнаго какъ и въ смыслѣ моральнаго удовлетворенія, такъ и съ пункта зрѣнія финансовъ».

А пока «пунктъ зрѣнія финансовъ» не выяснился—онъ жилъ въ двухъ этихъ маленькихъ комнаткахъ у «гадалки на гушѣ» и платилъ ей за полный пенсіонъ, то-есть квартиру, обѣдъ, чай и даже «фрыштыкъ»—сорокъ рублей въ мѣсяцъ...

Какимъ образомъ изъ лихого офицера, думавшаго только о разныхъ шуткахъ и попойкахъ, онъ превратился въ «писателя»—это былъ вопросъ, надъ которымъ онъ никогда не задумывался. Онъ просто въ тотъ годъ, когда отъ его состоянія уже совсѣмъ ничего не осталось, а дочь вышла замужъ, взялъ да и «сдѣлался» писателемъ. Въ одинъ прекрасный день его какъ-бы осянуло—онъ вдругъ убѣдился, что до сихъ поръ не исполнялъ своего истиннаго призванія, что онъ созданъ для того именно, чтобы писать во всевозможныхъ родахъ литературы.

Съ каждымъ днемъ это убѣжденіе въ немъ крѣпло и теперь, вотъ ужъ лѣтъ шесть, живя на Пескахъ, онъ только и дѣлалъ, что писалъ и ходилъ по редакціямъ всѣхъ петербургскихъ газетъ и журналовъ.

Онъ писалъ все: лирическія стихотворенія, поэмы, идилліи,

драмы въ стихахъ и прозѣ, водевили, повѣсти и даже написаль большой романъ въ четырехъ частяхъ подъ заглавіемъ «Перепелки».

Когда его домохозяйка, бывшая его постоянной слушательницей, спрашивала:

— Да гдѣ-же тутъ, батюшка, перепелки-то?

Онъ съ сожалѣніемъ на нее взглядывалъ и отвѣчалъ:

— Какъ вы несообразительны, Матрена Ильинишна!.. Конечно, никакихъ перепелокъ-птицъ нѣтъ, не можетъ быть... это иносказательно!

Матрена Ильинишна замолкала, да и хорошо дѣлала, такъ какъ онъ самъ не зналъ, что именно, какую «иносказательность» хотѣлъ высказать этимъ страннымъ заглавіемъ «Перепелки...» Просто оно ему нравилось, онъ находилъ, что оно непременно должно произвести фуроръ.

Каковы были его писанія — довольно трудно себѣ представить, ибо кромѣ Матрены Ильинишны никто съ ними не былъ знакомъ. Редакторы газетъ и журналовъ, къ которымъ онъ отправлялся со своими манускриптами, обыкновенно, взглянувъ на первую страницу, натыкались на такую смѣлость въ оборотахъ рѣчи и на такія неожиданныя нововведенія въ правила орфографіи, что сейчасъ-же и бросали тетрадь, иногда даже съ неособенно лестнымъ эпитетомъ по адресу отсутствовавшего автора.

Впрочемъ, нашелся одинъ веселый редакторъ, въ свободную минуту прочитавшій его небольшую повѣсть, носившую заглавіе: «Мартышкины очки». Онъ хохоталъ до-упаду, и даже пожелалъ познакомиться съ авторомъ. Когда Никаноръ Петровичъ пришелъ въ редакцію за отвѣтомъ, этотъ редакторъ принялъ его до крайности любезно, извинился, что не можетъ напечатать повѣсти, такъ какъ она не подходитъ къ направленію журнала, и посоветовалъ ему обратиться въ другую редакцію, увѣряя, что тамъ напечатаютъ непременно.

Цѣлыхъ полчаса редакторъ былъ очень доволенъ своимъ посѣтителемъ; но Никаноръ Петровичъ испортилъ это настроеніе: онъ не уходилъ и принялся упорно доказывать, что его «Мартышкины очки» именно «подходятъ» къ направленію этого журнала, ибо «либеральны, хотя и безъ патріотизма».

— Да вы извольте въ смыслъ вникнуть!—объяснялъ онъ,— тутъ у меня, можно сказать, въ каждой строчкѣ есть свой особенный, потаенный смыслъ... и въ этомъ, смѣю васъ увѣрить, и заключаются особые достоинства «Мартышкиныхъ очковъ»... Вѣдь, вотъ—вещь небольшая! А сколько трудовъ мнѣ стоилъ этотъ тайный смыслъ... Это, я вамъ скажу-съ, работа!..

Редакторъ, сердясь на самого себя, пробовалъ отъ него отдѣ-

латься, не измѣняя любезнаго тона; но, наконецъ, такъ озлился, что почти его вытолкалъ.

— Ну какъ это такихъ людей однихъ по улицѣ пускаютъ?! Вѣдь, это изъ желтаго дома! Совсѣмъ, какъ есть, настоящий сумасшедшій!—говорилъ онъ своимъ сотрудникамъ.

Но онъ увлекался: Никанора Петровича никакъ нельзя было посадить въ желтый домъ и лѣчить его было незачѣмъ. Онъ былъ самый скромный и мирный человѣкъ и, пока дѣло не касалось какихъ-нибудь «Маргышкиныхъ очковъ» или «Перепелокъ», въ немъ нельзя было замѣтить никакихъ признаковъ умопомѣшательства.

Несмотря на шестилѣтнюю неудачу, Никаноръ Петровичъ не падалъ духомъ, не терялъ терпѣнія и твердо вѣрилъ, что рано или поздно добьется своего; что «Перепелки» будутъ напечатаны, произведутъ фуроръ, и ихъ тайный смыслъ окажется для всѣхъ явнымъ...

Приходу князя Зацѣпинъ очевидно обрадовался, несмотря на то, что тотъ прервалъ его занятіе.

— Рѣдкій госты!—говорилъ онъ.—Садись, князь, что новаго? Какъ дѣла?

— Объ дѣлѣ вотъ и пришелъ поговорить, дружище!

— Къ твоимъ услугамъ! А я вотъ, братецъ, новую комедію оканчиваю, сенсаціонное заглавіе: «Зарѣзали!», въ трехъ дѣйствіяхъ и пяти картинахъ. Это ужъ непременно возьмутъ и одобрятъ въ театральномъ комитетѣ... А что это такое будетъ при первомъ представленіи! Вотъ увидишь!.. Да постой-ка, дай я прочту тебѣ, посмотримъ, какъ это тебѣ покажется...

Онъ уже было направился къ столу, но князь остановилъ его.

— Въ другой разъ, дружище, когда кончишь, терпѣть я не могу слушать вещи безъ конца... А теперь я по дѣлу... дѣло спѣшное, къ тебѣ за помощью, какъ къ старому другу... Да, братъ Зацѣпинъ, стариной тряхнуть надо. Помнишь какъ мы, бывало, съ тобою разныя экстренныя дѣла обдѣлывали? Или ужъ ты совсѣмъ въ писачку превратился и весь прежній огонекъ потухъ и вышелъ?..

Но у Никанора Петровича въ его изумленномъ и прислушивающемся лицѣ что-то дрогнуло,—князь затронулъ старыя воспоминанія.

— Что такое?!—живо сказалъ онъ.—Писаніе мое ничему не мѣшаетъ. Если что живое, интересное, и если тебѣ, дружище, нужна моя помощь—я въ грязь лицомъ не ударю.

— Ну, такъ слушай!

Князь поднялся, подошелъ къ двери, заглянулъ въ нее, убѣдился что гадалки нѣтъ, что его никто не подслушиваетъ.

— Mais avant tout, mon cher, ta parole d'honneur... офицерское слово, чтобы это между нами?!

— Можешь говорить и безъ такихъ предисловіи, не первый годъ мы друзья съ тобою!—даже нѣсколько обиженно замѣтилъ Зацѣпинъ.

— Оттого и пришелъ къ тебѣ, что только тебѣ одному и вѣрю!—сказалъ князь.—Слушай: княжну мою, Леночку, замужъ выдавать хочу.

— Дѣло хорошее!—отозвался пріятель.

— Да не въ томъ, а вотъ видишь-ли—свадьбу надо такъ устроить, чтобы все шито и крыто... Свадьба-то у насъ должна быть съ увозомъ...

Зацѣпинъ взглянулъ изумленно.

— Зачѣмъ-же ее увозить, когда ты самъ желаешь этой свадьбы? Я что-то не понимаю.

— Не ее увозить—жениха мы должны увозить... вотъ что!!

Зацѣпинъ раскрылъ свой беззубый ротъ и весь превратился во вниманіе. Онъ совсѣмъ забылъ о своей комедіи «Зарѣзали», въ немъ заговорили только старыя струны, онъ почуялъ нѣчто необыкновенное, одну изъ прежнихъ легендарныхъ выдумокъ князя.

Тотъ мало-по-малу объяснилъ ему въ чемъ дѣло. Зацѣпинъ задумался.

А ты это навѣрно знаешь,—наконецъ сказалъ онъ,—что женихъ твой пользуется всѣми правами?

— За кого ты меня считаешь? Что-жъ уголовщину, что-ли, я самъ себѣ на шею навяжу?

— Да... ну въ такомъ случаѣ отлично! Съ чего-же начать?

— А съ того, что надо найти священника, который-бы обвинялъ безъ всякихъ препятствій. Всѣ нужные документы будутъ налицо, такъ что и священнику нечего бояться. Но, конечно, такъ какъ мы очень спѣшимъ, то дѣло должно быть безъ всякихъ проволочекъ. Есть у тебя такой священникъ знакомый?

Зацѣпинъ подумалъ.

— Есть!—вдругъ радостно сказалъ онъ.—Отецъ Семенъ отъ Воскресенья. Это и глушь изрядная, почище нашей песковской, да и попикъ—человѣкъ либеральный... Сдеретъ изрядно; но обвиняетъ безъ всякаго празднаго любопытства. Я сегодня-же къ нему отправлюсь и все устрою.

— Вотъ и спасибо, голубчикъ!

— Да не за что, тутъ ничего нѣтъ труднаго. Что-же еще?

— А еще, чтобы ты былъ свидѣтелемъ и другого свидѣтеля подыскалъ подходящаго. Безъ тебя я обойтись никакъ не могу, ты будешь нуженъ каждый часъ и каждую минуту.

— Весь къ твоимъ услугамъ, весы!—весело заговорилъ Зацѣпинъ,—какъ и въ прежніе годы, такъ и теперь. Ну, поздравляю, дружище, поздравляю... Это ты хорошо придумалъ... За что, въ самомъ дѣлѣ, такая богатая родня, да воспользуется его состояніемъ, пусть лучше княжна твоя имъ пользуется... И ты говоришь—злые они люди, мучаютъ, изводятъ молодого человѣка?

— Да ужъ такъ, братецъ, что со стороны смотрѣть жалко!—со вздохомъ отвѣчалъ князь.—Вотъ они каковы, почтенныя наши знатныя семейства! Эхъ, да что только дѣлается тамъ?

Онъ махнулъ рукою.

— Леночка моя такъ жалѣетъ бѣднаго Николая Сергѣевича, сколько разъ плакала, слушая его рассказы о томъ, какъ его притѣсняютъ дома... Добрая она у меня, славная она... его жалѣть, беречь будетъ.

— Да... да... да!—повторилъ Зацѣпинъ.—Да, молодого человѣка спасти надо, а имъ всѣмъ ножку подставить,* пускай поскользнутся... Я такому доброму дѣлу вотъ какъ радъ помочь!.. Сегодня-же, сейчасъ вотъ, если хочешь, поѣду къ отцу Семену.

— Прекрасно! Такъ выйдемъ вмѣстѣ.

Зацѣпинъ прошелъ было въ сосѣдную комнату, бывшую его спальней, но взглянулъ на столъ, на свою рукопись и остановился.

— Да, знаешь что,—сказалъ онъ, подходя къ князю,—это моя комедія въ трехъ дѣйствіяхъ и пяти картинахъ «Зарѣзали» должна имѣть успѣхъ непременно... Я надѣюсь, твердо надѣюсь... Но, вѣдь, театральныи комитетъ, вѣдь, это такіе люди! Можетъ и тутъ опять неудача, такъ я рѣшилъ—если съ комедіей ничего не выйдетъ, у меня есть планъ... Я, братецъ, тебѣ только по дружбѣ сообщу. У меня въ головѣ готовъ уже цѣлый проектъ... Этимъ я сразу себя поставлю на ноги... Да, помяни мое слово, не пройдетъ двухъ, трехъ мѣсяцевъ—и весь Петербургъ заговоритъ обо мнѣ. Да и не одинъ Петербургъ... всѣ, какъ есть всѣ... Проектъ въ головѣ уже совсѣмъ готовъ, только изложить надо... Но за этимъ дѣломъ не станеть, изложу въ недѣлю, даже и переписать успѣю...

— Что-жъ, мы вмѣстѣ выходимъ?—замѣтилъ князь.

— Сейчасъ, сейчасъ, я мигомъ одѣнусь. Да ты послушай... Мой проектъ—это спасеніе Россіи! Я изложу самый легкій, математически, слышишь—ма-те-матически вѣрный способъ извести всѣхъ нигилистовъ безъ остатка, и предложу вѣрнѣйшія и простѣйшія средства устроить русское государство ко всеобщему благу, преуспѣянію и полному развитію всѣхъ промышленныхъ и иныхъ заведеній... И все это такъ просто, такъ ясно!.. Мнѣ вчера это пришло въ голову... Теперь только одинъ пунктъ, но я съ нимъ справлюсь... Прежде надо кончить комедію...

— Иду, иду, мигомъ готовъ!—быстро прибавилъ онъ, замѣтя въ лицѣ и движеніяхъ князя признаки нетерпѣнія.

— А о проектѣ мы потолкуемъ!—хрипѣлъ онъ изъ спаленки.— И я докажу тебѣ, что это не фразы, не утопія, а вещь самая практичная, самая простая и, главное математически, слышишь—ма-те-матически вѣрная! Я докажу тебѣ...

— Хорошо! хорошо!—отозвался князь.—Только прежде помоги мнѣ въ моемъ дѣлѣ.

— Сейчасъ... вотъ я и готовъ, видишь. Идемъ, дружище!

Онъ появился въ старенькомъ вытертомъ сюртучкѣ, въ пуховой шляпѣ и на-ходу надѣвалъ рыжую енотовую шубу.

XVI.

Г е р о й.

Князь Янычевъ понялъ, что московскій «дурачекъ» обладаетъ самымъ важнымъ и необходимымъ въ настоящихъ обстоятельствахъ качествомъ, а именно хитростью. Кокушка хитритъ былъ большой мастеръ. Конечно, его хитрость была очень наивна, но именно своей наивностью она и достигала своей цѣли. Онъ хитрилъ какъ ребенокъ или, вѣрнѣе, какъ звѣрь.

Окончательно подготовленный и запуганный княземъ, рѣшившійся во что бы ни стало провести родныхъ и жениться на княжнѣ, Кокушка узналъ, между прочимъ, отъ своего соблазнителя, что ему необходимо достать всѣ документы и деньги. Онъ зналъ, что все это находится у Владиміра и заперто въ портфель съ его собственнымъ, Кокушкинымъ, вензелемъ. Ключъ отъ этого портфеля былъ всегда у самого Кокушки и онъ не иначе носилъ его какъ на часовой цѣпочкѣ.

Со времени смерти дѣда и послѣ подписанія всѣхъ необходимыхъ по наслѣдству бумагъ, Кокушка вдругъ почувствовалъ желаніе имѣть при себѣ ключъ отъ своего имущества—это было для него равносильно, такъ сказать, фактическому обладанію всѣмъ, ему принадлежащимъ. Это придавало ему важность. Храненіе-же портфеля онъ самъ поручилъ Владиміру. Время отъ времени онъ приходилъ къ брату и требовалъ у него «штокъ процентовъ», но всегда небольшими суммами: онъ былъ скупъ, а на себя ему тратить много не приходилось.

Тутъ заключалась нѣкоторая странность. Когда князь спросилъ Кокушку—отчего онъ поручилъ все брату, отчего отдалъ ему деньги и документы?—онъ въ первую минуту растерялся и не зналъ что отвѣтить. Дѣло въ томъ, что онъ такъ поступилъ

безсознательно, инстинктивно, чувствуя, что иначе быть не может, а почему не может—не зналъ.

Но князь настаивалъ на отвѣтѣ.

— Да, вѣдь, ключъ у меня!—наконецъ крикнуть Кокушка.

— Такъ что-жъ, что ключъ у тебя! А ни денегъ, ни бумагъ—ничего нѣтъ... ты самъ, другъ ты мой любезный, отдался имъ въ руки! Развѣ ты не можешь, какъ и всѣ, держать при себѣ все твое?..

— Не-не могу...—растерянно сказалъ Кокушка.

— Почему?

— Не-не жнаю... не могу, да и вше тутъ!.. Оштавъ ты меня въ по-покоѣ!

Онъ даже совсѣмъ разсердился и такъ князь ничего отъ него не могъ добиться.

Узнавъ, что безъ документовъ никакъ нельзя, Кокушка пришелъ въ отчаянье.

— Такъ что-жъ я бу-буду дѣлать?—кричалъ онъ, бѣгая по комнатѣ.—Онъ мнѣ не дастъ, ни-ни жа что не да-дашты!

— Конечно, не дастъ,—усмѣхнулся князь.

Кокушка остановился, закусилъ ноготь и вдругъ торжествующе взвизгнулъ:

— Такъ я жнаю что! Я у не-него ихъ украду!

— Свое не крадутъ, а берутъ,—замѣтилъ князь.

— Да, да... вѣдь, оно мое... я имѣю пра-право... и я шдѣлаю это... то-только тихонько... про-проведу его... дудки!

— Смотри только—не попадись! Тогда бѣда, если попадешься—сейчасъ-же горячая рубашка—и конецъ! и ужъ никогда ни я, ни Леночка тебя не увидимъ...

— Не-не-попадушы!

Глаза Кокушки забѣгали, онъ весь покраснѣлъ. Въ немъ теперь, благодаря князю, были только съ одной стороны—страхъ горячей рубашки, съ другой—желаніе вырваться изъ дому и провести всѣхъ ихъ, а затѣмъ посмѣяться надъ ними: «что вжя-вжяли! дудки!»

Онъ даже, среди этихъ, наполнявшихъ его ощущеній, забылъ совсѣмъ свою невѣсту, онъ не видѣлъ ее уже нѣсколько дней и объ ней не спрашивалъ.

На слѣдующее утро послѣ Грунинаго концерта Владиміръ собирался выѣхать изъ дому. Онъ уже прошелъ въ швейцарскую, разсѣянный, задумчивый... Кокушка нагналъ его.

— Во-володя! оштановишь... по-пошлушай!

Владиміръ даже вздрогнулъ, такъ его мысли были далеки.

— Что тебѣ, Кокушка, что, говори скорѣй?

— А вотъ видишь!

Онъ показалъ ему какую-то бумагу.

Если-бы Владиміръ былъ менѣе разсѣянъ, то замѣтилъ-бы въ лицѣ Кокушки что-то крайне странное и подозрительное. Но онъ и не взглянулъ на него.

— Это па-патентъ!

— Какой патентъ?

— На орденъ Нины! Я до-долженъ положить его вмѣстѣ со всѣми моими бумагами... Гдѣ мой портфель?

— Ахъ, да отстань, Кокушка, видишь—мнѣ некогда, я слѣшу... успѣешь!

Но Кокушка не отставалъ и махалъ передъ собою «патентомъ».

— Нѣтъ, пожалуйста... я долженъ шейчасъ, не-непремѣнно долженъ... вернишь на минутку... пойдемъ!

— Отстань, мнѣ некогда! Дай мнѣ эту бумагу, когда вернусь, я положу ее въ портфель.

— Нѣ-нѣ-нѣтъ, я шамъ долженъ ее положить...

Владиміръ сердито разстегнулъ сюртукъ, вынулъ изъ кармана колечко съ ключами, отдѣлилъ изъ нихъ одинъ ключъ и подаль его Кокушкѣ.

— Твой портфель въ моемъ столѣ, въ третьемъ ящикѣ, съ правой стороны. Вотъ отъ него ключъ. Положи бумагу, запири потомъ ящикъ и ключъ отдай мнѣ сегодня-же. Смотри, только не потеряй—слышишь?!

Онъ поспѣшно вышелъ на крыльцо. Швейцаръ запиралъ за нимъ дверь, а потому и не видѣлъ какъ Кокушка, съ ключомъ въ рукѣ, соорилъ самую звѣрскую и въ то-же время уморительную физиономію.

— Во-вотъ дуракъ!—прошепталъ онъ,—шамъ отдалъ, шамъ!

Онъ какъ угорѣлый помчался въ кабинетъ Владиміра.

Дрожащей рукой отперъ онъ указанный ему братомъ ящикъ. Въ ящикѣ этомъ ничего не находилось, кромѣ его портфеля.

Первымъ движеніемъ Кокушки было схватить портфель и убѣжать съ нимъ.

Но вдругъ онъ остановился, засопѣлъ и хитро засмѣялся:

«Нѣ-нѣтъ, я его перехитрю!»

Онъ отперъ своимъ ключикомъ портфель, вынулъ всѣ за-ключавшіяся въ немъ бумаги, потомъ, съ тутъ-же неподалеку стоявшаго стола, взялъ нѣсколько газетныхъ листовъ, сложилъ ихъ, уложилъ въ портфель, заперъ ящикъ на ключъ, и съ бумагами умчался къ себѣ.

Кокушка поторопился поѣхать къ князю.

— Во-во-вотъ!—торжественно влетѣлъ онъ къ нему, потрясая передъ собою сверткомъ бумагъ.—Во-во-вотъ, вше тутъ...

вше изъ портфеля... а по-по-портфель оштавилъ на мѣштѣ и на-на-навалилъ въ него гажеть... Что, князь, хитеръ я? Перехитрилъ, меня не проведешь... дудки!

Князь даже побагровѣлъ отъ удовольствія. Онъ провелъ безсонную ночь, не зная, благополучно-ли Кокушка все это обдѣлаетъ и невольно думая:

«Хитеръ онъ, хитеръ и подготовленъ довольно, а все-же, вѣдь, идиотъ, развѣ можно на него положиться!?»

— Теперь онъ съ жадностью принялся разбирать бумаги. Пересчиталъ всѣ билеты, при чемъ у него даже дрогнула рука.

— А вотъ и еще деньги,—торжественно сказалъ Кокушка, вынимая изъ кармана пачку сторублевыхъ бумажекъ.—Вожьми, шпрячь.

Князь взялъ, пересчиталъ—шесть тысячъ. Шесть тысячъ наличными,—это теперь какъ разъ кстати. Вѣдь, ихъ легко могло и не быть, а мѣнять какой-нибудь билетъ было пока болѣе чѣмъ затруднительно. Князь вотъ уже три дня какъ обдумывалъ, гдѣ-же онъ достанетъ денегъ на устройство свадьбы, на всѣ необходимые расходы и на самое первое время—а тутъ эти шесть тысячъ! За глаза довольно.

— К-к-когда-же швадьба?—вдругъ спросилъ Кокушка.

— Завтра!—отвѣтилъ князь.

— Ка-какъ жавтра?!

— А такъ, слѣдовало-бы сегодня, да никакъ не успѣемъ, а завтра непремѣнно.

— У Ишакія?—спросилъ Кокушка.

— У какого Исакия?

— Я хочу въ шоборѣ.

— Не хочешь-ли ты съ музыкой и съ процессіей по Невскому?—сердито крикнулъ князь и такъ взглянулъ на Кокушку своими вытаращенными глазами, что тотъ растерялся, смутился и даже сталъ дрожать.

— Ка-какже это? Неужели я буду вѣнчаться бежъ вшыкой пышности?

— Я вотъ что тебѣ посовѣтую, умница: садись и пиши приглашенія всѣмъ своимъ роднымъ, всѣмъ своимъ знакомымъ, да скорѣе, потому что къ вечеру будешь въ сумасшедшемъ домѣ!

Онъ обстоятельно, какъ объясняютъ ребенкѣ, сталъ доказывать Кокушкѣ, что свадьба должна быть тайкомъ, не то родные помѣшаютъ.

— Да неужели ты самъ этого до сихъ поръ не понялъ?

— По-понимаю... Только какъ-же это?!

Онъ грустно опустилъ голову. Онъ всегда мечталъ о томъ,

что его свадьба будетъ настоящимъ торжествомъ, о которомъ долго всѣ стануть потомъ говорить.

— Что-же это я бу-буду вѣнчаться, ка-какъ какой-нибудь мѣщанинъ!—отчаянно завопилъ онъ.

— Ты будешь вѣнчаться, какъ герой романа!—сказалъ князь.

Онъ сталъ объяснять ему, что такая свадьба, таинственная,— это еще лучше всѣхъ торжествъ, что такъ вѣнчались многіе самые знатные люди, даже короли, что о такой свадьбѣ во всѣхъ газетахъ напишутъ.

Мало-по-малу отчаяніе Кокушки стихло, и даже лицо его засіяло блаженствомъ.

— А по-пошлѣ швадьбы мы куда-же?

— Сюда, ко мнѣ покуда, а потомъ вы поѣдете за-границу.

— Жа-границу?—это хорошо! А ша-шампанское, надѣюсь, будетъ?

— Сколько хочешь!—засмѣялся князь.

— И го-гошти будутъ какіе-нибудь?

— Будутъ! Успокойся, все будетъ, останешься доволенъ.

— Ну, отлично! Гдѣ-же Ле-Леночка?—наконецъ вспомнилъ Кокушка.

— Она у себя, если хочешь видѣть ее—пойди.

Кокушка кинулся въ комнату княжны. Дверь была не заперта. Онъ влетѣлъ къ ней. Она сидѣла у себя передъ столомъ и что-то писала. Лицо ея за эти дни сильно поблѣднѣло, глаза смотрѣли устало и, видимо, были заплаканы.

— Ждраштуйте, не-невѣшта!—крикнулъ Кокушка, подбѣгая къ ней и хватая ея руку.

Она вздрогнула, но не отняла руки. Кокушка чмокнулъ.

— Жнаете... вѣдь, жавтра швадьба наша... Я-я бра-брата надуль, меня не проведешь... дудки!.. Жавтра швадьба тайкомъ, тайкомъ—какъ въ романѣ... Такъ даже короли вѣнчаются.

Княжна сидѣла, опустивъ голову, не говоря ни слова.

— Что-же вы молчите... ражвѣ вы не-недовольны, Ле-Леночка? По-поцѣлуйте меня... это мо-можно теперь... Я тебѣ буду говорить «ты» и ты мнѣ говори тоже. Поцѣлуй меня, Ле-Леночка!

Она не шевелилась. Онъ ее обнялъ и сталъ цѣловать своими мокрыми губами. Лицо его все краснѣло, онъ все цѣловалъ... Наконецъ она вскрикнула, оттолкнула его, схватилась за голову и убѣжала. Онъ погнался за нею. Князь остановилъ его.

— Что такое? Что?—спросилъ онъ.

— Не-не жнаю... я ее цѣловалъ, вѣдь, я имѣю право, а она молчитъ какъ рыба и вдругъ убѣжала, бу-будто я укушилъ ее... я не кушаюшы! Что-же шъ княжной, шпраши ее?

— А вотъ что, другъ мой, подожди цѣловаться—женись прежде, а потомъ успѣешь! Поѣзжай къ себѣ, будь уменъ и остороженъ, а завтра ровно въ два часа, слышишь, ровно въ два часа сюда и не въ своемъ экипажѣ, а на извозчикѣ...

— По-понимаю!

Онъ схватился за шляпу; но вдругъ остановился.

— Въ чемъ-же я буду вѣнчаться—въ мундирѣ, надѣюсь?

— Нѣтъ, во фракѣ, въ мундирахъ теперь не принято...

— Ты навѣрно это знаешь?

— Говорю тебѣ, навѣрно! И потомъ—мундиръ—вѣдь, это опять обратитъ вниманіе... понимаешь: тайна!

Да, да!—задумчиво прошепталъ Кокушка. Такъ я, значить, во фракѣ прямо приѣду къ тебѣ въ два часа?

— Прямо во фракѣ и приѣзжай, а главное осторожнѣе, чтобы на фракъ твой не обратили вниманія.

Такъ я его вѣужелокъ... скажу, что къ Шарра вежу передѣлаты! Кокушка уѣхалъ. Передъ обѣдомъ, встрѣтятся съ братомъ, онъ какъ ни въ чемъ не бывало, съ самой скромной фізіономіей и только нѣсколько бѣгая глазами подалъ ему ключъ.

— Во-вотъ твой ключъ, вожьми?!

— Какой ключъ?

Владиміръ даже забылъ совсѣмъ—такъ онъ былъ въ этотъ день разсѣянъ.

— Ключъ отъ ящика!

— Ахъ да, хорошо!

Кокушка быстро вынулъ изъ кармана платокъ, закрылъ имъ себѣ лицо и сталъ сморкаться. Но дѣло въ томъ, что онъ, въ сущности не сморкался, а фыркалъ. Его такъ и разбиралъ смѣхъ и онъ про себя думалъ и повторялъ:

«Провелъ дурака, провелъ, а меня не проведешь, дудки!.. Что-то ты жавтра скажешь!?»

Послѣ обѣда онъ ушелъ къ себѣ и весь вечеръ сидѣлъ, раскрашивая какія-то картинки. Богъ вѣсть, о чемъ онъ думалъ, но только очевидно думалъ о многомъ, такъ какъ по временамъ бросалъ кисточку, начиналъ сопѣть, а потомъ улыбался.

XVII.

Все готово.

Все было рѣшено, приготовлено и устроено. Князь сначала думалъ поступить совсѣмъ иначе. По первому его проекту молодые сейчасъ послѣ вѣнца должны были проѣхать на станцію

желѣзной дороги и отправиться за-границу. Но эту мысль онъ давно оставилъ. Онъ находилъ теперь, что нѣзачѣмъ подвергаться излишнимъ тратамъ, что нисколько не слѣдуетъ скрываться, прятаться, бѣжать. Вѣдь, все дѣло въ томъ, чтобы ихъ обвинчать. А разъ они обвинчаны—то и все сдѣлано, видимой противозаконности никакой.

Конечно, если-бы Горбатовы вздумали затѣять дѣло, то ему не избѣгнуть нѣкоторыхъ непріятностей; но онъ всегда можетъ вывернуться, а главное—вѣдь, они никогда не затѣютъ дѣла.

Онъ до послѣдней минуты не вѣрилъ въ возможность получить до свадьбы Кокушкины деньги. Онъ предполагалъ, что ему предстоятъ длинные переговоры и непріятныя объясненія. Но вотъ всѣ эти цѣнныя бумаги, болѣе чѣмъ на пятьсотъ тысячъ, въ его бюро.

По отъѣздѣ Кокушки онъ позвалъ дочь, отперъ при ней бюро и показалъ ей эти бумаги.

— Вотъ вся твоя будущность! — сказалъ онъ ей. — Это Кокушкино состояніе! Вѣдь, я говорилъ тебѣ—напрасно ты его за дурачка считаешь, нѣтъ, я тебѣ скажу, онъ ловкій малый. Сказалъ: добуду всѣ мои деньги—и добылъ.

Княжна еще не пришла въ себя отъ Кокушкиныхъ поцѣлуевъ, но все-же она съ невольнымъ любопытствомъ подошла къ бюро.

Сколько-же здѣсь?—растерянно спросила она.

— Много, Леночка, много! Если будешь благоразумна—на всю жизнь хватитъ, а и не на всю жизнь такъ ничего... У него впереди отъ отца наслѣдство... А отецъ человѣкъ совсѣмъ больной, проживетъ недолго. Говорятъ, долговъ много, да все-же, вѣдь, и состояніе громадное, что-нибудь да останется... вѣдь, у нихъ какія имѣнія!..

— Какъ-же теперь эти деньги?—опять спросила княжна.

— А такъ, пока все не кончится будутъ здѣсь у меня въ бюро лежать въ полной сохранности.

— Не бойся, не пропадутъ и я васъ не ограблю,—прибавилъ онъ.—Да, вотъ что самое лучшее, вотъ видишь—я запру, а ключъ возьми ты.

Онъ вспомнилъ, что, на всякій случай, у него есть второй ключъ отъ этого ящика.

— Видишь, ключикъ маленькій, хорошенькій, надѣнь его себѣ пока на шейную цѣпочку, такъ будетъ вѣрнѣе... Пойди-ка сюда!

Она машинально подошла къ нему. Онъ запустилъ ей свои толстые пальцы за воротничекъ, вытянулъ тоненькую золотую цѣпочку съ крестомъ; разстегнулъ замочекъ, надѣлъ ключъ.

— Вотъ такъ! А теперь, Леночка, совѣтую тебѣ успокоиться и завтра быть молодцомъ... Подумай, вѣдь, необходимо, чтобы все

сошло гладко. А ты что-же такое? Ну, зачѣмъ ты это сегодня такой крикъ подняла?.. что онъ цѣловаться сталъ—велика важность!..

Она, наконецъ, подняла на отца глаза. Въ ея взглядѣ сверкнула злоба.

— Да ужъ пошла на все это,—проговорила она,—такъ назадъ нечего возвращаться. Я сама на себя сержусь, что сейчасъ вотъ не выдержала. Этого больше не будетъ.

— Ну и молодецъ!

— А какъ-же Нетти?—вдругъ спросила княжна.

Нетти была эту зиму помѣщена въ пансіонѣ, гдѣ она жила всю недѣлю, но на праздники ее брали домой и она должна была придти именно въ этотъ вечеръ.

— Я заѣду въ пансіонъ, свезу ей всякихъ лакомствъ и попрошу, чтобы ее оставили на этотъ разъ. А черезъ недѣлю она можетъ вернуться, къ тому времени, надѣюсь, у насъ все будетъ устроено.

Онъ такъ и сдѣлалъ. Еще наканунѣ, нарочно придравшись къ какому-то вздору, онъ раскричался на горничную, которая, по его мнѣнію, была при теперешнихъ обстоятельствахъ излишней и могла, пожалуй, оказаться даже очень вредной. Онъ такъ разсердилъ ее, что она сама отказалась отъ мѣста и уже вечеромъ уѣхала со своими пожитками.

Въ домѣ оставались всего только: его вѣрный хохолъ, бывший деньщикъ, повѣренный всѣхъ продѣлокъ барина, да на кухнѣ старуха-кухарка, женщина совсѣмъ глупая, жившая въ домѣ всего недѣли двѣ и даже и ходу-то почти не знавшая въ господскія комнаты...

«Да, да, такъ будетъ гораздо лучше, думалъ князь, возвращаясь домой изъ пансіона,—даже и въ случаѣ поисковъ... Еслибы Горбатовы вздумали начать скандалъ, или тамъ что-нибудь, нѣсколько дней поишутъ, подумаютъ навѣрно, что они далеко, а они тутъ себѣ, преспокойно на Знаменской, да и я глазъ съ него не спущу».

Вернувшись домой, онъ наскоро пообѣдалъ, а затѣмъ призывалъ своего хохла и объявилъ ему, что надо устроить комнату для молодыхъ. Весь вечеръ онъ съ хохломъ занимался этимъ дѣломъ.

Въ комнату для молодыхъ была превращена его собственная спальня, изъ которой онъ перебрался въ кабинетъ. Хохолъ переташилъ сюда все, что было въ домѣ подходящаго, побольше ковровъ, занавѣсокъ. Двѣ сдвинутыя кровати покрыли огромнымъ шелковымъ стеганымъ одѣяломъ блѣдно-розоваго цвѣта, какимъ-то чудомъ сохранившимся отъ прежняго времени. По-

среди комнаты повѣсили розовый фонарикъ. И. хохолъ, и самъ князь остались очень довольны убранствомъ комнаты.

Когда все было готово, князь принесъ и разложилъ на столѣ купленные имъ въ этотъ день флеръ-д'оранжевыя гирлянды для невѣсты и длинную вуаль. Это было неизбежно, такъ какъ онъ хорошо зналъ, что Кокушка безъ флеръ-д'оранжевъ вѣнчаться ни за что не станетъ.

Было далеко за полночь, когда князь рѣшилъ, что дѣлать на сегодня ужъ нечего, и что можно ложиться спать. Но прежде чѣмъ идти въ кабинетъ, онъ заглянулъ къ дочери.

Она лежала на кровати одѣтая, возлѣ, на маленькомъ столикѣ догорала свѣчка.

— Леночка!

Она ничего не отвѣтила. Онъ подошелъ, взглянула на нее. Глаза открыты, но глядятъ такъ странно, безжизненно, неподвижно. Ему даже стало страшно.

— Леночка! да что-же ты не отвѣчаешь? Что съ тобою? Встань!

Она спустила съ кровати ногу, потомъ другую и встала передъ нимъ.

— Больна ты, что-ли?

Она глядѣла ему прямо въ глаза неподвижнымъ, бессмысленнымъ взглядомъ.

— Что съ тобой?—повторилъ онъ еще разъ, беря и трясая ее за руку.

— Ничего!—прошептала она.

Онъ оставилъ ее руку. Рука эта не опустилась, а какъ-бы застыла въ томъ положеніи, какъ онъ ее оставилъ.

Онъ не обратилъ на это вниманія.

— Раздѣвайся и ложись спать, пора! затуши свѣчку... Ну хорошо, что я вошелъ, вѣдь, ты спала съ зажженной свѣчкой... Ты пожаръ могла-бы сдѣлать. Раздѣвайся—слышишь!

— Хорошо!—покорно прошептала она.

Онъ вышелъ. Онъ былъ очень утомленъ за весь этотъ день, поспѣшно раздѣлся и заснулъ.

Княжна по его уходѣ тоже раздѣлась, затушила свѣчу, легла въ кровать. Но все это она сдѣлала какъ кукла какая-нибудь, совсѣмъ машинально.

Утромъ, проснувшись, она не помнила, что было съ нею вчера, какъ она раздѣлась и заснула.

Ровно въ часъ хохолъ накрылъ въ столовой для завтрака, разставилъ всевозможныя закуски.

Зацѣпивъ не заставилъ себя ждать. Онъ явился во фракѣ какъ-бы съ чужого плеча, но все-же вполнѣ приличнымъ. На

его шеѣ, подъ бѣлымъ галстукомъ, приготовленнымъ и повязаннымъ его домохозяйкой Матреной Ильинишной, красовался орденъ Анны. На отворотѣ фрака, у верхней петли, была прикрѣплена сабелька съ болтавшимися на ней миниатюрными орденами и медалями. Желтые волосы его были сильно напомажены и прилизаны, лицо нѣсколько даже потеряло изумленное выраженіе. Онъ, видимо, находился въ самомъ прекрасномъ настроеніи духа.

Онъ вошелъ въ кабинетъ князя съ «клакомъ» въ рукѣ и въ бѣлыхъ перчаткахъ.

— Вотъ и я!—весело прохрипѣлъ онъ,—все готово, черезъ часъ прїѣдутъ карегы, самъ осмотрѣлъ—лошади такы, что мигомъ домчатъ куда угодно. Съ отцомъ Семеномъ все устроено... только пятьсотъ рублей ему надо въ руки до вѣнчанья.

— Вотъ онѣ, вотъ... бери, за этимъ дѣло не станеть.

Князь выложилъ изъ портфеля и передалъ Зацѣпину пять сотенныхъ бумажекъ. Тотъ сунулъ ихъ въ карманъ.

— Ну, а кого-же ты нашель?—спросилъ князь.

— А старый знакомый поднернулся... Я, признаться, «немъ и не думалъ, да вдругъ вчера встрѣтилъ.

— Кто-же это?

— А нашъ съ тобой старинный прїатель и сослуживецъ Колымъ-Бадаевъ.

— Какъ, эта киргизятина еще жива?

— Какъ-же, живъ, онъ тутъ въ Петербургѣ уже третій годъ... бѣдствуетъ тоже изрядно. Разговорились мы съ нимъ... Спрашиваетъ онъ меня: куда я. А я и говорю: вотъ къ одному знакомому, просить хочу быть свидѣтелемъ на свадьбѣ. А самъ думаю: да чего-же лучше—наша киргизятина! Вѣдь, человѣкъ совсѣмъ безобидный!

— Это точно, совсѣмъ безобидный! — подумавъ, произнесъ князь.

— Ну, и кончилось тѣмъ, что мы съ нимъ поладили. Онъ для тебя готовъ не только что свидѣтелемъ, а что угодно. Только вотъ, видишь-ли, князь, ужъ и ты ему окажи услугу.

Князь усмѣхнулся.

— Само собою! Вѣдь, это только ты, старая ворона, зада-ромъ на стѣну готовъ лѣзть!

— А что-же мнѣ съ тебя деньгами брать за услугу, что-ли?—вспыхнувъ, прохрипѣлъ Зацѣпинъ.—Да и киргизятина тоже... я думаю... вѣдь, и онъ нашъ старый товарищъ, каковъ ни на есть, а все-же офицеръ былъ русской службы... только вотъ дѣла его сильно плохи, до зарѣзу ему шестьсотъ рублей надо... И я подумалъ, что ты, можетъ быть, его выручишь и ему, признаться, намекнулъ объ этомъ...

— Дамъ я ему шестьсотъ рублей... за услугу услугой! Ты, вѣдь, меня знаешь...

У князя въ карманѣ были Кокушкины шесть тысячъ, а когда у него въ карманѣ оказались деньги, онъ ихъ не считалъ и не скупился. Въ теченіе всей своей безпутной жизни онъ много разъ выручалъ пріятелей. Эта его широкая щедрость какъ-то совсѣмъ естественно и просто уживалась съ отсутствіемъ всякихъ нравственныхъ понятій. Она его главнымъ образомъ и привела къ гибели и въ то-же время теперь оставалась въ немъ можетъ быть единственной хорошей чертою.

— Дамъ я ему шестьсотъ рублей!—повторилъ онъ.—Отчего не выручить, когда можно!.. Да что-же онъ не идетъ?

— Сейчасъ, вѣрно, будетъ, не бойся, не опоздаетъ...

Дѣйствительно, черезъ нѣсколько минутъ послышался звонокъ и въ кабинетъ вошелъ Колымъ-Бадаевъ, маленькій, приземистый уродецъ, съ глазами такими крошечными, что ихъ почти совсѣмъ не было видно; съ такими скулами, что онъ казались на щекахъ двумя огромными шишками, съ носомъ въ видѣ пуговицы и съ рѣденькой прямой и жесткой, какъ конскій волосъ, бородкой.

Онъ тоже былъ во фракѣ, съ Станиславомъ на шеѣ и медалями въ петлицѣ. И еще больше, чѣмъ у Зацѣпина, его фракъ казался съ чужого плеча. Онъ былъ ему черезчуръ узокъ и черезчуръ длиненъ.

Колымъ-Бадаевъ пошелъ навстрѣчу князю съ протянутыми руками, троекратно съ нимъ облобызался и заговорилъ:

— Кнззъ, кнззъ, сколько лѣтъ, сколько зимъ! Радъ тѣбѣ видѣть, а еще болшѣ по такой случай...

— И я радъ тебя видѣть!—отвѣчалъ князь. — И благодарю тебя, что взялся помочь...

— Нэ за что! Ми съ тобой, кнззъ, старый другъ... Помнишь, мало что-ль водка умѣстѣ выпыли?

— Много, братъ, много!

— То-то-же...

Колымъ-Бадаевъ ударилъ себя руками по бокамъ и весь затрясся отъ смѣху...

— Хорошэ врѣмя было, ошенно хорошэ! Тѣпэръ трудно врѣмя, ошенно трудно.

Зацѣпинъ подошелъ къ нему.

— Я говорилъ князю про твое затрудненіе,—сказалъ онъ.

— Съ удовольствіемъ тебя выручу!—перебилъ князь.

Колымъ-Бадаевъ покраснѣлъ, глаза его совсѣмъ скрылись.

— Вотъ, бачка, спасибо, большое спасибо... изъ бѣды выручишь, та-акой бѣды!..

Онъ окончательно развеселился.

— Пойдемте въ столовую закусить! — пригласилъ князь и, взглянувъ на часы, прибавилъ:

— Теперь и женихъ нашъ съ минуты на минуту прѣхать долженъ.

Онъ уже не въ первый разъ посматривалъ на часы. Какъ ни былъ онъ смѣлъ, какъ ни былъ самонадѣянъ, а все-же съ самаго утра ему было какъ-то не по себѣ. Онъ даже раскаявался, что не заставилъ Кокушку прѣхать какъ можно раньше.

«А вдругъ тамъ что-нибудь случилось? А вдругъ все дѣло рухнуло?..»

Деньги здѣсь... и въ сущности, вѣдь, это такого рода деньги, которыя можно такъ вотъ взять, да и оставить совсѣмъ у себя, даже если-бы Кокушка и пропала на-вѣки.

Но къ чести князя все-же надо сказать, что до этого онъ еще не дошелъ, эта мысль и не пришла ему въ голову. Деньги Кокушкины онъ считалъ почти своими, но только въ томъ случаѣ, если вмѣстѣ съ ними онъ получитъ и Кокушку. Если-бы кто-нибудь высказалъ передъ нимъ мысль, что онъ можетъ завладѣть этими деньгами и безъ Кокушки, онъ-бы, конечно, накинулся на такого человѣка и избилъ его, — развѣ онъ на это способенъ? За кого-же его почитаютъ?..

Но вотъ уже два часа, а Кокушки нѣтъ!

Они прошли въ столовую, и Зацѣпинъ и Колымъ-Бадаевъ съ видимымъ удовольствіемъ приступили къ закускѣ. Князь-же ничего не ѣлъ и все прислушивался.

— А гдѣ-же, князь, твоя дочка?— спросилъ Колымъ-Бадаевъ.

— Она у себя, постой, увидишь... Эхъ, что-же это женихъ не ѣдетъ!—не вытерпѣвъ, крикнулъ онъ.

Въ это время изо всей силы кто-то дернулъ звонокъ и, прежде чѣмъ хохолъ успѣлъ пробѣжать въ переднюю, опять зазвонили еще и еще, съ какимъ-то остервенѣніемъ.

Колымъ-Бадаевъ и Зацѣпинъ даже безпокойно взглянули на князя.

— Что это? Кто можетъ такъ звонить?

Князь засмѣялся.

— Это онъ, онъ всегда такъ звонить!..

Черезъ нѣсколько секундъ въ столовую влетѣлъ Кокушка, завитой барашкомъ, съ удивительно закрученными усами; во фракѣ, въ бѣломъ галстукѣ, съ орденомъ Нины.

Онъ не обратилъ никакого вниманія на незнакомыя ему лица, подбѣжалъ прямо къ князю и затрещалъ:

— Я... я... не могъ шкажать, что вежу фракъ къ Шарра... ма-магазинъ-то, вѣдь, жапертъ нынче... Мы и не шоображали съ тобою!.. Да ты не бойша, я во-вотъ что ждѣлалъ: ве-велѣлъ

принести шебѣ шубу въ спальню, надѣлъ фракъ, на него шубу... жакеталшя и вышелъ... никто не видѣлъ... Что это? Жавтракъ? Я голоденъ... отлично!..

— Позволь тебѣ представить, Николай Сергѣевичъ, моихъ друзей! — нисколько не смущаясь, важно и спокойно сказалъ князь.

— О-очень радъ!—крикнулъ Кокушка. И вдругъ подскочилъ къ Зацѣпину и, нагнувшись къ его сабелькѣ, спросилъ:

— Это какой у вашъ орденъ?

Тотъ отвѣтилъ.

Затѣмъ Кокушка покосился на Колымъ-Бадаева.

— Ка-какое лицо!—какъ-бы про себя сказалъ онъ.

А потомъ, ужъ прямо обратясь къ киргизу, спросилъ его:

— Вы... вы китаецъ?

— Нѣтъ, зачѣмъ китаецъ, — видимо нѣсколько обиженно отвѣчалъ тотъ.

Князь вмѣшался.

— Мой старый сослуживецъ и другъ, господинъ Колымъ-Бадаевъ, киргизскаго происхожденія. Его отецъ былъ султаномъ всѣхъ киргизовъ, понимаешь, и онъ самъ тоже султанъ.

— Шу-лтанъ!—протянулъ Кокушка.—Это, это только у ту-рокъ шултанъ!.. Не надусьшъ... дудки!..

— Нѣтъ, другъ мой, и у киргизовъ султанъ, а если ты не знаешь, такъ тебѣ-же хуже... я вовсе не шучу!

Кокушка нѣсколько опѣшилъ.

— Пра... правда, что вы шултанъ? — спросилъ онъ Колымъ-Бадаева.

— Да, ыстинная правда!—важно отвѣчалъ тотъ.

Кокушка повѣрилъ, и съ этой минуты выказывалъ Колымъ-Бадаеву, несмотря на его, невольно смущавшее его лицо, видимое почтеніе.

— А Ле-Леночка!—крикнулъ онъ, окончивъ завтракъ.—Что же ея нѣтъ—можно мнѣ къ ней?

— Никакъ нельзя! — строго сказалъ князь, — развѣ ты не знаешь, что женихъ не долженъ видѣть невѣсту передъ вѣнчаніемъ... увидишься съ нею въ церкви.

Кокушкѣ очень хотѣлось пойти къ княжнѣ для того, чтобы, какъ вчера, цѣловать ее; но онъ чтилъ обычаи и потому на слова князя сказалъ:

— Да... да, это правда... Когда-же мы ѣдемъ?

— А вотъ сейчасъ... Вѣдь, ждать нечего—не такъ-ли?

Колымъ-Бадаевъ и Зацѣпинъ съ нимъ согласились.

— Такъ мы вотъ какъ! Я поѣду съ женихомъ, а вы сопровождаютъ невѣсту... Я сейчасъ...

Онъ направился въ комнату дочери. Она была уже готова. Она сдѣлала все, какъ приказалъ отецъ. На ней было бѣлое шелковое платье, которое она подобрала, а сверхъ него надѣла длинную ротонду. Цвѣты и вуаль были уложены въ картонку. На головѣ у нея была шляпка.

— Такимъ образомъ она могла выйти на подъѣздъ и ѣхать, не обратя на себя ничьего вниманія.

Она казалась спокойной, даже черезчуръ спокойной.

— Я готова,—произнесла она, увидѣвъ входившаго отца.

— И мы готовы, сейчасъ ѣдемъ... я съ Кокушкой... а съ тобой поѣдетъ Зацѣпинъ и Колымъ-Бадаевъ.

— Кто такой Колымъ-Бадаевъ?

— Тоже мой старый товарищъ; да, вѣдь, ты его не знаешь! Ну, это все равно...

Она медленно поднялась съ кресла, захватила картонку.

— Подожди немножко... минуты двѣ! остановилъ ее князь,—дай намъ сначала выѣхать съ Кокушкой.

Онъ еще разъ взглянулъ на нее, потомъ какъ будто что-то вспомнилъ, подошелъ къ ней.

— Леночка!—сказалъ онъ, и голосъ его дрогнулъ.

— Что, папа?—спросила она.

— Леночка, конечно, свадьба эта у насъ немного странная, но... (онъ сдѣлалъ рукою выразительный жестъ)—что ужъ тутъ!.. Знай одно, что я отъ всего моего сердца желаю тебѣ счастья.

Она съ изумленіемъ на него взглянула и еще съ большимъ изумленіемъ увидѣла, какъ изъ вытаращенныхъ его глазъ вдругъ закапали слезы.

— Леночка!—прошепталъ онъ такимъ голосомъ, какого она еще никогда у него не слыхала.

Онъ привлекъ ее къ себѣ, крѣпко поцѣловалъ, а затѣмъ сталъ крестить. Она не шевелилась. Она глядѣла на него почти совсѣмъ безсмысленно.

— Ну, съ Богомъ!—крикнулъ онъ, вынулъ платокъ, быстро вытеръ имъ глаза, и ушелъ.

Черезъ минуту онъ сѣлся съ Кокушкой въ карету.

Княжна подождала немного и вышла изъ своей комнаты прямо въ переднюю.

Зацѣпинъ поздоровался съ нею и представилъ ей Колымъ-Бадаева. Она кивнула головою, не промолвивъ ни слова, даже не подняла глазъ на своихъ спутниковъ.

Хохолъ отперъ дверь. Она медленно спустилась съ лѣстницы, держась за перила, затѣмъ порывисто бросилась въ уголъ кареты, закрывъ себѣ лицо воротникомъ ротонды. Зацѣпинъ поѣхалъ рядомъ съ нею, Колымъ-Бадаевъ напротивъ.

XVIII.

Кокушкина свадьба.

Князь счелъ нужнымъ преподать Кокушкѣ нѣкоторые совѣты, какъ слѣдуетъ ему держаться въ церкви. Но женихъ его слушалъ разсѣянно.

— Да ты слышишь, любезный другъ, что я тебѣ говорю?

— Шлышу... шлышу, отвяжишь, князь!

— Не отвяжись, а то, если ты себѣ что-нибудь такое позволишь, такъ, вѣдь, священникъ остановитъ вѣнчанье...—что тогда будетъ?;

— А я безъ тебя ж-знаю, какъ мнѣ держать шебя, не тебѣ меня учить... дудки!..—сердито объявилъ Кокушка и принялъ такой важный видъ, что князь съ невольной улыбкой глядѣлъ на него. Съ каждой минутой онъ, очевидно, проникался все больше и больше торжественностью и важностью своего положенія.

Во всю продолжительную дорогу онъ упорно молчалъ и только время отъ времени разглаживалъ себѣ на рукахъ перчатки. Всего разъ, во время этого занятія, онъ измѣнилъ своей торжественности.

— Ло-лопнула!—вдругъ завопилъ онъ.

Князь, тоже ушедшій въ различныя мысли, даже вздрогнулъ.

— Что такое, что?

— Ло-лопнула, проклятая!—повторялъ Кокушка, ерзая на мѣстѣ и показывая свою перчатку.—Ка-какъ я теперь буду?..

— Ничего, это незамѣтно!—успокоилъ его князь.

Тогда женихъ снова погрузился въ торжественное молчаніе и неподвижность, только иногда искоса взглядывалъ на перчатку. Подъ конецъ она стала неудержимо притягивать его вниманіе. Онъ разглядывалъ лопнувшее мѣсто, вытягивалъ его, разглаживалъ, вертѣлъ по немъ пальцемъ и кончилъ тѣмъ, что провертѣлъ огромную дырку.

Наконецъ карета остановилась среди глухого, почти уже загороднаго захолустья, у церковной ограды.

Кокушка въ сопровожденіи князя важно направился на паперть. Ихъ уже ждали. Церковь была открыта; на встрѣчу имъ вышелъ маленькій старичекъ въ длинномъ пальто съ собачьимъ воротникомъ.

Кокушка видѣлъ, какъ князь ему сказалъ что-то, и старичекъ, согнувшись, рысцою побѣжалъ черезъ дворъ, по густо выпавшему и хрустѣвшему снѣгу. Князь и Кокушка вошли въ пустую, холодную, нѣсколько мрачную церковь.

— Хо-хо-хороша встрѣча!—обиженно и грустно проговорилъ Кокушка.—На шамыхъ бѣдныхъ швадьбахъ и то бывають пѣвчіе!

— А за то посмотри какое освѣщеніе!—сказалъ князь, показывая ему иконостасъ.

Кокушка взглянуть: свѣчей зажжено было много и онъ нѣсколько успокоился.

Вотъ стукнули двери—это пріѣхала княжна со свидѣтелями. Она опиралась на руку Зацѣпина. Женихъ взглянулъ на нее и такъ и замеръ.

«Въ шляпкѣ, вся въ черномъ—что-же это такое?—подумалъ онъ.—Невѣста безъ флеръ-д'оранжевъ, безъ вуали, не въ бѣломъ платьѣ!..»

Онъ соглашался на все, примирялся со всѣмъ, но съ этимъ примириться не могъ. Онъ подошелъ къ князю и отчаяннымъ, но рѣшительнымъ шепотомъ объявилъ ему:

— Я шъ че-черной вѣнчаться не стану!

— Да ты взгляни хорошенько!

Зацѣпинъ снялъ длинную ротонду княжны. Колымъ-Бадаевъ открылъ картонку—княжна превратилась въ настоящую невѣсту съ флеръ д'оранжами, вуалемъ, въ бѣломъ платьѣ.

Женихъ просіялъ, отошелъ въ сторону, вытянулся и принялъ самый горделивый, важный видъ. Если-бы не чересчуръ уже круто завитые волосы и не странные глаза, онъ сошелъ-бы за очень исправнаго жениха. Несмотря на слишкомъ короткую фигуру, въ немъ была извѣстная доля представительности, черты его лица, особенно въ профиль, были красивы.

Появился священникъ съ причтомъ. Кокушка не измѣнялъ своей торжественной позы. Пристально взглянувъ на него, а потомъ на дочь, князь долженъ былъ убѣдиться, что все обстоитъ благополучно.

Теперь единственная вещь смущала жениха—а вдругъ какъ не будетъ розоваго атласа имъ подъ ноги? Розовый атласъ оказался. Онъ самъ видѣлъ, какъ причетникъ принесъ его. Тогда онъ совсѣмъ успокоился, по временамъ только немножко обдергивался и искоса поглядывая на «Ле-Леночку».

Но она на него не смотрѣла. Она глядѣла прямо передъ собою своими большими черными, широко раскрытыми глазами. Ея короткая верхняя губка съ усиками по временамъ вздрагивала. Она была очень хороша, и Кокушка начиналъ чувствовать себя на седьмомъ небѣ. Онъ ждалъ той минуты, когда при всѣхъ ее поцѣлуетъ.

«Во-во-вотъ,—думалъ онъ:—шмѣялишь вшѣ, го-говорили, что у меня жена будетъ штарая баба, а она вотъ какая крашавица—меня не проведешь—дудки!»

Взошли на клирость и расписались въ церковныхъ книгахъ. Все обошлось въ глубочайшей тишинѣ и полномъ спокойствіи.

Наконецъ изъ алтаря показался священникъ, пожилой, блѣднолицый человѣкъ съ коротко обстриженной бородою; глядѣвшій совсѣмъ безучастно и каждымъ своимъ движеніемъ показывавшій, что ему ни до кого нѣтъ дѣла, что онъ собственно никого даже и не видитъ.

Вотъ уже аналой поставленъ посреди церкви, зажжены свѣчи, разостланъ розовый атласъ.

Кокушка вытянулся, выпятилъ впередъ грудь, мѣрнымъ церемональнымъ шагомъ подошелъ къ невѣстѣ и сталъ рядомъ съ нею. Началось вѣнчаніе. Княжна, все также не мигая, смотрѣла передъ собою и если-бы не дрожавшая въ ея рукѣ и оплывавшая свѣчка, если-бы не нервное дыханіе ея высокой груди—можно было почесть ее за статую, такъ она была блѣдна, такъ неподвижна.

Кокушка, все больше и больше выпячивая впередъ грудь, слѣдилъ за тѣмъ, чтобы его свѣчка не оплывала, былъ поглощенъ желаніемъ непременно первому стать на розовый атласъ. Затѣмъ онъ вдругъ вспомнилъ о дыркѣ на своей перчаткѣ и то и дѣло старался скрывать ее. Онъ бойко и громко проговорилъ вслѣдъ за священникомъ все, что ему сказать слѣдовало. Словъ княжны нельзя было разслышать, у нея только беззвучно шевелились губы.

Вѣнчанье подходило къ концу. Наконецъ настала такъ ожидаемая Кокушкой минута и онъ нисколько не измѣнилъ своей важности и торжественности, и на всю церковь чмокнулъ «Леленочку».

Они обвѣнчаны... Его поздравляютъ.

— Теперь я по-поѣду шъ нею,—сказалъ онъ князю.

— Нѣтъ, мы опять съ тобой поѣдемъ, кто-нибудь можетъ встрѣтиться...

— Такъ ужъ те-теперь вше равно, ужъ кончено! кончено! теперь ужъ дудки!

Но князь его уговорилъ и сѣлъ съ нимъ въ карету. На возвратномъ пути Кокушка оказался другимъ: его сдержанность и важность какъ рукой сняло, онъ чувствовалъ себя освобожденнымъ отъ страха, испытываемаго имъ, благодаря князю, все это послѣднее время. Теперь онъ уже не боялся «сумасшедшаго дома» и горячей рубашки. Онъ кричалъ и визжалъ, торжествуя, что всѣхъ провелъ, что никого не боится.

— Покажишь только теперь, братъ!—кричалъ онъ.—Вше, вше выложу... шпашибо, голубчикъ!.. А, вѣдь, я ему вѣрилъ, думалъ, что онъ меня любитъ, такимъ добренькимъ прикинулся—хи-хитрецъ—а я же вотъ его и перехитрилъ!..

— Однако, ты не кричи!—урезонивалъ его князь:—подожди, дай прїѣхать, а то, вѣдь, ты такъ кричишь, подумаютъ, что я тебя рѣжу въ каретѣ...

И вотъ новобрачные дома. Хохолъ разноситъ пѣнящіеся бокалы шампанскаго. Кокушка выпилъ сразу три бокала и пришелъ совсѣмъ въ восторженное настроеніе.

Новобрачная было исчезла, она хотѣла переодѣться, поскорѣе снять съ себя это платье,—ей было въ немъ такъ тяжело, такъ совѣстно передъ самой собой. Но онъ побѣждалъ за нею, опять цѣловалъ ее мокрыми губами и требовалъ, чтобы она непременно «такъ» осталась, мало того, чтобы она опять надѣла вуаль и флеръ д'оранжи.

Чтобы только избавиться отъ этого пристаиванья, отъ этихъ криковъ, она исполнила его желаніе.

За обѣдомъ Кокушка ѣлъ за двоихъ и пилъ изрядно, такъ что скоро у него совсѣмъ стало шумѣть въ головѣ. Впрочемъ, пилъ не онъ одинъ. Князь и оба его старые сослуживцы пили еще больше. Подъ конецъ обѣда начала пить и «Ле-Леночка». Щеки ея разгорѣлись, глаза затуманились и, наконецъ, она стала то и дѣло хохотать безсмысленно и неудержимо, глядя на ораторствовавшего и блаженного своего «мужа».

Мужы! Нѣтъ, она не представляла себѣ, не понимала, совсѣмъ не понимала, что Кокушка дѣйствительно мужъ ея...

Послѣ обѣда всѣ перешли въ кабинетъ князя. Кокушка подружился съ Колымъ-Бадаевымъ, былъ съ нимъ уже на «ты», и не иначе называлъ его какъ «шултаномъ».

— А отчего ты, шултанъ, не возвращаешься въ свои владѣнія?—кричалъ онъ.—Чего ждѣшь торчишь?..

— Я и вѣрнусь!—отвѣчалъ ему пьянымъ голосомъ Колымъ-Бадаевъ.—Скоро вѣрнусь.

— Такъ я къ те-тебѣ въ го-гошти прїѣду шъ Ле-Леночкой, пошмотрѣть на твоихъ жонъ... Вѣдь, у тебя ихъ много?

— Много, много!—хихикалъ Колымъ-Бадаевъ, пряча свои глаза за скулы.—Прїѣзжай, бачка, милосты просымы!

Зацѣпинъ ни на шагъ не отпускалъ князя, совсѣмъ прилипъ къ нему. Глаза его осоловѣли, языкъ путался и онъ своимъ хриплымъ голосомъ толковалъ:

— Нѣтъ, ты пойми, князь, пойми только: проектъ о полномъ переустройствѣ Россіи!.. Кто до этого додумался? Вѣдь, въ этомъ весь вопросъ... существенный... наисущественный... суть самая... а я дошелъ вдругъ и просто, какъ дважды-два-четыре!.. Ну, скажи самъ, вѣдь, ужъ это-то нельзя такъ, какъ вотъ мои «Мартышкины очки» отбросить — къ направленію-де не подходитъ!.. Тутъ уже никакое направленіе, тутъ благоденствіе ото-

чества... Вѣдь, такъ? Вѣдь, такъ? Ну, скажи, князь, вѣдь, такъ?

— Ну, такъ! Ну, что-же тебѣ въ томъ проку?—отвѣчалъ князь.

Онъ ровно ничего не слышалъ изъ того, что говорилъ пріятель. Хотя и совсѣмъ пьяный, но онъ все думалъ о только-что совершенномъ имъ геніальномъ *сoup d'état* и соображалъ—нѣтъ-ли какой прорухи. «Нѣтъ, теперь кончено, теперь все въ порядкѣ!»! самодовольно рѣшилъ онъ.

— Какъ, что мнѣ проку?—съ ожесточеніемъ кричалъ Зацѣпинъ—да послѣ этого какъ ни верти, а меня нельзя миновать... Тутъ, я такъ думаю, ты самъ понимаешь... я человѣкъ скромный, самъ о многомъ не мечтаю... Но все-жъ, какъ ты тамъ хочешь, а тутъ министерствомъ пахнетъ... И какъ это только мысль эта раньше не пришла мнѣ въ голову—удивляюсь!..

Но языкъ его съ каждой минутой путался все больше и больше, и онъ кончилъ тѣмъ, что задремалъ.

Между тѣмъ рюмочки ликеру то и дѣло наполнялись. За тѣмъ опять, по требованію Кокушки, хохолъ принесъ ша панскаго. Къ одиннадцати часамъ всѣ были совсѣмъ пьяны.

Тогда хохолъ рѣшилъ, что гостей слѣдуетъ выпроводить. И Зацѣпинъ и Колымъ-Бадаевъ были его старыми пріятелями. Онъ надѣлъ на нихъ шубы. Сначала свелъ одного подъ руки съ лѣстницы и посадилъ въ карету, потомъ вернулся за другимъ. Захлопнувъ дверцу кареты, онъ крикнулъ кучеру:

— Съ Богомъ! Да полегоньку—не растрясипановъ!

Когда хохолъ вернулся, чтобы тушить лампы и свѣчи, князь храпѣлъ непробудно на диванѣ. Новобрачные исчезли.

Нѣсколько минутъ въ квартирѣ все было тихо. Но вдругъ хохолъ разслышалъ сначала стукъ, а потомъ и отчаянный голосъ Кокушки:

— Ле-Леночка! Ну-пушти, гдѣ ты! Жачѣмъ жаперлашь?

Хохолъ остановился, прислушался, покачалъ головою, потомъ пошелъ на крикъ, отвелъ Кокушку отъ двери комнаты Елены, ни слова не говоря, взявъ его подъ мышки, почти снесъ въ спальню.

— Прилягты, панычъ, прилягты!—убѣдительнымъ тономъ совѣтовалъ онъ ему.

— А княжна?.. То-то-ешть же-жена моя?—взвизгнулъ Кокушка.

— Бувайты спокойны, прилягты!..—еще убѣдительнѣе повторилъ хохолъ.

Кокушка какъ снопъ, не раздѣваясь, повалился на кровать.

— То-тошнитъ,—прошепталъ онъ, но черезъ минуту захрапѣлъ.

Тогда хохоль осторожно вышелъ изъ комнаты и заперъ двери...

Кокушка проснулся поздно, съ всклокоченной головою, съ красными, опухшими глазами. Онъ вскочилъ съ кровати и нѣсколько минутъ стоялъ неподвижно, ничего не понимая, безсмысленно озираясь.

Онъ былъ одѣтъ во фракъ отъ Сарра, залитый шампанскимъ, въ измятой рубашкѣ, съ орденомъ «Нины». Кровать, покрытая розовымъ атласнымъ одѣяломъ, была несмята. Во рту у Кокушки пересохло, языкъ какъ деревянный, голова тяжела...

— Что-же это такое?!—вдругъ завопилъ онъ и кинулся изъ комнаты.

XIX.

Переполюхъ.

Въ десятомъ часу утра, когда Владиміръ только-что успѣлъ встать и умыться, у двери его спальни послышался голосъ Маши.

— Володя, ты всталъ? Если нѣтъ, такъ вставай скорѣе и выйди ко мнѣ...

Владиміръ очень изумился, въ ея голосѣ слышались тревога и нетерпѣніе.

«Что случилось?—подумалъ онъ.—Ужъ не телеграмма-ли?.. Отецъ?!»

Онъ не зналъ, что и подумать.

— Сейчасъ, Маша, сейчасъ!

Онъ быстро надѣлъ на себя первое, что попало подъ руку, и вышелъ къ сестрѣ.

— Что такое?

— Кокушка пропала!

Онъ сразу не понялъ.

— Какъ пропала? Что ты говоришь такое?

— Вчера весь день его не было... не вернулся и вечеромъ... совсѣмъ не вернулся... я сейчасъ только узнала.

Владиміръ перетревожился не на шутку. Конечно, въ этомъ извѣстїи пока еще не было ничего особенно ужаснаго, и первое, что пришло ему въ голову, это, что Кокушка свелъ какое-нибудь нехорошее знакомство, что онъ наканунѣ кутнулъ и навѣрное скоро вернется.

Онъ передалъ свое предположеніе Машѣ.

— Можетъ быть и такъ,—сказала она,—но, вѣдь, это ни кто другой—это Кокушка!..

Владиміръ покраснѣлъ. Конечно, виноватъ во всемъ онъ самъ,—вѣдь, онъ-же взялся заботиться о братѣ, охранять его, а между тѣмъ, въ послѣднее время даже почти забылъ о немъ.

— Однако, нужно разузнать,—тревожно говорилъ онъ:—спросить его кучера...

— Кучеръ ничего не знаетъ, онъ вчера никуда не возилъ его,—отвѣтила Маша.—Я посылала узнавать Анну Яковлевну.

Анна Яковлевна была старушка экономка, пріѣхавшая съ Горбатовыми изъ Москвы и уже не мало лѣтъ прожившая тамъ у нихъ въ домѣ.

— А все-же я долженъ самъ поговорить съ кучеромъ. Распорядись, милая, чтобы его позвали сюда, ко мнѣ.

Кучеръ скоро явился. Но изъ его словъ Владиміръ не узналъ ровно ничего. Кучеръ этотъ, молодой малый, петербургскій, нанялся недавно—кто его знаетъ, можетъ быть онъ и хитрилъ—но только стоялъ на томъ, что знаетъ ничего не знаетъ:

— Ъздили съ молодымъ бариномъ по всему городу...

— Гдѣ онъ всего чаще бывалъ въ послѣднее время?—спрашивалъ Владиміръ.

— А какъ вамъ сказать, сударь, вездѣ мы бывали... и въ Милліонной, и на Сергіевской, и въ Коломнѣ, на Англійскомъ проспектѣ... То туда, то сюда братецъ ѣздили... По магазинамъ вотъ тоже часто... такъ себѣ, вдоль Невскаго и Морской, ради прогулки... Къ Лѣтнему саду иной разъ возилъ я ихъ... Велятъ остановиться, выйдутъ прогуляться немного, да и опять поѣдемъ вдоль по набережной, мимо дворца Зимняго. А то вотъ на Знаменскую я тоже ихъ нерѣдко возилъ.

Онъ сказалъ номеръ дома.

На Знаменскую?... Кто-же тамъ живетъ? Къ кому онъ ѣздитъ?

— А этого не могу вамъ доложить, сударь, не полюбопытствовалъ... Знаю, что князь какой-то тамъ, а фамилію не упомянулъ.

«Князь, князь!—думалъ Владиміръ:—на Знаменской... да это Янычевъ!»

— Не Янычевъ-ли?—спросилъ онъ кучера.

Тотъ подумалъ.

— Можетъ и такъ, сударь!—Да, пожалуй, что оно и такъ... точно что въ этомъ родѣ фамилія.

— И часто, ты говоришь, онъ туда ѣздитъ?

— Одно время частенько, сударь, а потомъ перестали. Да и доложу я вамъ, вотъ уже съ недѣли три они, вѣдь, рѣдко вовсе стали ѣздить. Я даже камердинера ихняго не одинъ разъ спрашивалъ... А и третьяго дня и вчера такъ совсѣмъ и не закладывалъ.

— Ну, хорошо, ступай!

Владиміръ призвалъ Кокушкинаго камердинера. Тотъ появился, нѣсколько смущенный и какъ-бы даже перетрусивъ.

Изъ его словъ Владиміръ узналъ, что вчера Кокушка не пошелъ завтракать, а приказалъ принести себѣ въ комнату шубу, потомъ, надѣвъ шубу у себя въ комнатѣ, вышелъ изъ дому.

— И потомъ вотъ, сударь, какъ сталъ я прибирать, такъ и вижу, что все платье ихъ осталось, кромѣ фракной пары. Во фракѣ они вышли, и въ бѣломъ галстукѣ, и въ бѣлыхъ перчаткахъ.

«Во фракѣ, въ бѣломъ галстукѣ и въ бѣлыхъ перчаткахъ!» Владиміръ не могъ на это не обратить вниманія.

— Получалъ Николай Сергѣевичъ эти дни письма?—спросилъ онъ.

— Никакъ нѣтъ-съ, на этой недѣлѣ ни одного письма не получили.

Владиміръ отправился въ комнаты Кокушки, осмотрѣлъ; но ничего подозрительнаго или интереснаго не нашелъ. Скоро къ нему присоединилась Маша.

— Вотъ уже одиннадцать часовъ,—говорила она:—а его все нѣтъ! Ну хоть что-нибудь узналъ ты?

Владиміръ передалъ ей слова кучера и камердинера.

— Что-же это значитъ? Зачѣмъ-бы это онъ такъ во фракѣ, утромъ?

— Да, это очень странно! Мало-ли что могло придти ему въ голову, мало-ли какихъ глупостей онъ могъ надѣлать! Пожалуй, вдругъ вздумалъ ѣхать кому-нибудь представляться... Но, вѣдь, вотъ его нѣтъ до сихъ поръ. Что, онъ не ночевалъ дома въ Москвѣ? Съ нимъ случалось это иногда?

— Никогда!

— И потомъ это, вѣдь, совсѣмъ не въ его понятіяхъ. Тутъ одно меня смущаетъ — Знаменская, этотъ князь Янычевъ... Ты знаешь, какой это человѣкъ. Я простить себѣ не могу, что не слѣдилъ за нимъ, что допустилъ такое знакомство. И потомъ, вотъ кучеръ говоритъ, что въ послѣднее время онъ не ѣздилъ на своихъ лошадяхъ, а ты знаешь, что онъ пѣшкомъ ходитъ или кататься на извозчикахъ не охотникъ.

— Такъ что-же ты думаешь дѣлать, Володя?

— Подожду до завтрака. Если онъ къ завтраку не вернется, я прежде всего поѣду къ этому Янычеву.

— Ну, а если ты тамъ ничего не узнаешь?

— Тогда, тогда придется, дѣлать нечего, съѣздить къ Трепову, съ нимъ посоветоваться.

Владиміръ сталъ тревожно ходить по комнатѣ.

— И я, я во всемъ виноватъ, я его совсѣмъ упустилъ изъ виду!

— Не вини себя!—замѣтила Маша.—Что-же ты съ нимъ могъ сдѣлать? И прежде-то онъ былъ на свободѣ, а теперь какъ-же убережешь его! Много-ли у него было, по крайней мѣрѣ, денегъ въ эти дни? Это ты долженъ знать.

— То-то и есть, что у него почти совсѣмъ не было денегъ—я ждалъ, что онъ придетъ и спросить... И вообще теперь я начинаю припоминать, соображать, вѣдь, онъ въ послѣднее время какъ-то особенно притихъ... Его не было ни видно, ни слышно.

— И я тоже это замѣтила!

Владиміръ никуда не отправился и проговорилъ съ сестрой до завтрака, все еще надѣясь, что вотъ-вотъ явится Кокушка. Но Кокушка не явился къ завтраку. Тогда Владиміръ велѣлъ скорѣе заложить сани, Кокушкины сани, съ его кучеромъ и поѣхалъ на Знаменскую.

Какъ нарочно въ домѣ, гдѣ жилъ князь, хотя и новомъ, а швейцара не оказалось. Прежняго швейцара прогнали за непорядное пьянство, а новаго какъ-то до сихъ поръ не наняли. Домохозяинъ на требованія жильцовъ ограничивался общаніями, что непременно и въ скоромъ времени швейцаръ будетъ. Старшаго дворника Владиміръ тоже не нашелъ. Какая-то старушка объяснила, что дворникъ «ушедши въ участокъ», но она, въ концѣ концовъ, указала Владиміру, что князь Янычевъ живетъ по парадной лѣстницѣ въ третьемъ этажѣ, въ шестомъ номерѣ.

Владиміру пришлось звонить нѣсколько разъ, пока, наконецъ, дверь не отворилась и передъ нимъ не показалась фигура хохла. Князь ожидалъ этого посѣщенія, а потому всѣ мѣры были приняты. Князь находилъ, что, во всякомъ случаѣ, слѣдуетъ по возможности затянуть время. Хохоль сдѣлалъ такое глупое лицо, какого отъ природы у него никогда не бывало, и на вопросъ Владиміра:—дома-ли князь?—отвѣтилъ, что «князь ушедши».

— А княжна дома?

— Якая княжна?

Когда Владиміръ объяснилъ—какая, хохоль сказалъ ему, что княжна больна, лежитъ и никого принять не можетъ. Оставалось сдѣлать третій вопросъ относительно того, не былъ-ли въ гостяхъ у князя вчера или сегодня Николай Сергѣевичъ Горбатовъ. Но уже задавая этотъ вопросъ, Владиміръ понялъ, почему у хохла такое глупое лицо, почему онъ-то и дѣло клуетъ носомъ—хохоль былъ совсѣмъ пьянъ. Вмѣсто того, чтобы отвѣтить на третій вопросъ гостя, онъ понесъ такую околесную, что

не было возможности ничего разобрать... Когда князь вернется—хохолъ, конечно, не зналъ.

Владиміру пришлось уѣхать. Онъ рѣшилъ, что въ тотъ-же день опять возвратится къ Янычеву, что непременно добьется съ нимъ разговора, если Кокушки еще нѣтъ дома.

Возвращаясь домой, Владиміръ не утерпѣлъ и заѣхалъ въ Троицкій переулокъ къ Грунѣ, подѣлиться съ нею своей бѣдой и сказать, чтобы она не ждала его вечеромъ. Но Груню онъ не засталъ.

Кокушка не возвращался. Всѣ въ домѣ были очень встревожены. Даже Николай Владиміровичъ вышелъ изъ своей безучастности. Выслушавъ Владиміра, онъ сказалъ ему.

— Ты напалъ на настоящій слѣдъ—онъ тамъ, на Знаменской... то-есть я не знаю, тамъ-ли онъ, но, во всякомъ случаѣ, это должно быть не безъ участія Янычева.

— Почему вы такъ думаете, дядя?

Николай Владиміровичъ остановилъ на племянникѣ свой загадочный взглядъ.

— Я не имѣю понятія объ этомъ Янычевѣ, я что-то слышалъ о немъ дурное, мнѣ просто кажется, что тутъ—онъ... Это мое внутреннее убѣжденіе, такъ-же, какъ и твое.

— Что-же намъ дѣлать?

— Дѣлать—такъ, какъ ты рѣшилъ: подождемъ еще день. Если онъ не вернется, завтра отправляйся къ Трепову.

— А если мы только потеряемъ время?

— Не думаю!—спокойно и серьезно проговорилъ Николай Владиміровичъ.—Ты видишь—я спокоенъ, потому что увѣренъ—это дѣло окончится благополучно и надо постараться избѣгнуть огласки. Совсѣмъ, конечно, этого нельзя.

— Да, а сегодня необходимо побывать у всѣхъ его знакомыхъ,—сказалъ Владиміръ.—Можетъ быть, его гдѣ-нибудь и видѣли.

Онъ объѣздилъ этихъ знакомыхъ. Спрашивать прямо, конечно, онъ не могъ. Но ему легко было узнать, что Кокушку въ послѣднее время никто не видѣлъ.

Весь день прошелъ все въ болѣе и болѣе возрастающей тревогѣ. Даже Софи волновалась, волновалась шумнѣе прочихъ.

Ей не было никакого дѣла до того, что собственно съ Кокушкой, но она предвидѣла скандалъ, скандалъ уже начался—и это не могло не выводить ее изъ всякаго терпѣнія.

Вечеръ прошелъ. Вотъ уже полночь. Владиміръ велѣлъ постлать себѣ на диванѣ въ Кокушкиной комнатѣ, все еще питая слабую надежду, что, быть можетъ, тотъ вернется. А если вернется, то, конечно, пройдетъ прямо сюда.

Владимиръ раздѣлся, но спать не могъ. Только что начнетъ забываться, ему послышится какъ-будто шумъ, будто гдѣ-то недалеко отворяются двери—и онъ вскакиваетъ, прислушивается... Но нѣтъ, все тихо. Уже два часа. Сонъ одолеваетъ мало-помалу, тревожный, лихорадочный сонъ, полный яркихъ, орывочныхъ, мѣняющихся сновидѣній.

Онъ видитъ брата—тотъ будто стоитъ передъ нимъ въ мундирѣ, въ треуголкѣ и при шпагѣ, показываетъ ему какой-то необыкновенный орденъ и говоритъ: «я уѣзжаю въ Америку, меня выбрали въ президенты Шѣверо-Американскихъ Штатовъ».

Потомъ является Груня. Она склоняется надъ нимъ, онъ чувствуетъ ея дыханіе. Его наполняетъ ощущеніе безумной страсти... и онъ опять просыпается—весь полный трепетомъ...

Эти дни, эти вечера,—вѣдь, все это сонъ волшебный, радужный и въ то-же время, тревожный. Вѣдь, вотъ Кокушка оторвалъ его, вернулъ къ жизни... Но онъ забываетъ и Кокушку, забываетъ все, онъ опять уходитъ въ свою собственную жизнь.

И передъ нимъ, среди ночной тишины, въ странной обстановкѣ этого «кабинета», говорящей о разнообразныхъ и неожиданныхъ вкусахъ и занятіяхъ будущаго дипломата, — яснѣетъ и яснѣетъ мысль:

«Однако, вѣдь, долженъ я очнуться... все это надо рѣшить скорѣе, какъ можно скорѣе!.. Зачѣмъ она заставляетъ меня молчать... зачѣмъ она не хочетъ говорить о будущемъ?.. Нельзя, надо скорѣе, какъ можно скорѣе придти къ этому будущему... я не оставляю ее въ настоящемъ—ни за что... Груня...»

Откуда-то раздается ея могучій, звонкій голосъ, весь дышащій нѣгой и страстью, переносащій въ міръ грезъ, въ міръ вдохновеній...

«Для тебя... для тебя одного!»—повторяются ея-же слова...

«Для меня одного и должно быть... для меня одного ты и будешь...»—въ порывѣ ревливой и страстной любви шепчетъ Владимиръ...

Наконецъ блѣднѣетъ и образъ Груни... Часы медленно бьютъ пять—уже утро скоро...

Владимиръ заснулъ. Онъ проснулся поздно. Кто-то теребитъ его за рукавъ.

— Во-Володя... проспиши!..

Онъ открылъ глаза — передъ нимъ Кокушка, растрепанный, красный, во фракѣ, весь дрожитъ, глаза такъ бѣгаютъ.

Владимиръ вскочилъ и сразу очнулся.

XX.

В ы р в а л с я.

— Откуда ты? Гдѣ ты былъ? Что съ тобою случилось?—воскликнулъ Владиміръ, чувствуя только одно, будто огромная, давящая тяжесть спала у него съ плечъ. И за этимъ облегченіемъ забывая все остальное.

Но Кокушка, влетѣвшій въ свой «кабинетъ» какъ стрѣла, разбудившій брата съ большою поспѣшностью и вообще въ первую минуту имѣвшій, несмотря на свою растерянность и восторженность, почти торжествующій видъ, вдругъ при этомъ спросѣ притихъ, робко взглянулъ на брата, потомъ, ни слова не говоря, подошелъ къ креслу, упалъ въ него и заплакалъ. Онъ плакалъ, какъ плачутъ маленькія дѣти, сильно обиженныя, плакалъ навзрыдъ; безнадежно, всѣмъ существомъ своимъ. Рыданія потрясали его. Онъ ничего не слышалъ, не понималъ.

Владиміръ не зналъ, что съ нимъ и дѣлать; наконецъ, онъ заставилъ его выпить воды. Тогда рыданія Кокушки стали понемногу стихать.

— Да успокойся-же, успокойся!—говорилъ ему ласково Владиміръ:—успокойся... вѣдь, ты живъ, здоровъ, ты дома! Расскажи мнѣ по порядку, гдѣ ты пропадалъ?

— Во-Володя!—крикнулъ Кокушка, остановивъ свои слезы:—дай мнѣ честное шлово рушскаго дворянина... дай!

— Въ чемъ? Въ чемъ?

— Дай... дай!..

— Ну, даю—изволь... говори-же!

— Ты меня не хо-хотѣлъ пошадить въ шумашедшій домъ? Ты не хо-хотѣлъ надѣть го-горячечную рубашку?.. Не-не хотѣлъ отнять у меня мои деньги, честное шлово, скажи?

Владиміръ не зналъ, что и подумать.

— Да что ты? Очнись, что ты такое говоришь?.. Развѣ ты можешь думать обо мнѣ такое? Развѣ ты когда-нибудь отъ меня дурное видѣлъ?

Кокушка бѣгалъ глазами и сопѣлъ.

— Нѣ-нѣтъ, только вше-же дай... дай шлово!

— Конечно, даю, что и въ помышленіяхъ у меня не было ничего подобнаго.

Кокушка вскочилъ съ кресла, задрожалъ, затопоталъ на мѣстѣ и съ искаженнымъ лицомъ закричалъ:

— Я та-такъ и подумалъ!.. Я догадался, онъ об-обманулъ

меня, ме-мержавецъ!.. Онъ увѣрялъ меня, что ты и вѣдь вы меня ижвѣшти хотите...

Владиміръ изо всѣхъ силъ вслушивался. Неясная мысль вдругъ мелькнула въ головѣ его.

— Кто, кто? Кто тебя увѣрялъ?

— Онъ, онъ... князь Янычевъ.

— Что я?!

— Ну-да, ну-да... тештюшка!.. Хорошъ тештюшка, нечего шкажаты!..

И онъ вдругъ прибавилъ почти шепотомъ:

— Во-володя... вѣдь, я женился...

Владиміръ поблѣднѣлъ.

— Какъ женился?.. Это все вздоръ, шутки...

Онъ еще надѣялся.

Но Кокушка снова покраснѣлъ и разсердился.

— Го-говорю—не шутки, не шутки, говорю—обвѣнчалишь въ церкви... швидѣтели... вше какъ шлѣдуетъ... третьяго дня... женать...

У Владиміра почти захватило дыханіе. Но онъ сдержалъ волнованшія его чувства, сталъ опять просить Кокушку успокоиться и, наконецъ, добился отъ него болѣе или менѣе связнаго разсказа.

Хотя, конечно, разсказъ этотъ то и дѣло прерывался посторонними вещами и хотя въ немъ совсѣмъ не подобающее мѣсто занималъ «шу-шултанъ, настоящій киргизскій шултанъ», у котораго много женъ и къ которому Кокушка намѣренъ ѣхать въ гости въ степи; — но все-же мало-по-малу всѣ обстоятельства этого грубаго, почти безумнаго по своей дерзости и, такъ сказать, простотѣ плана, исполненнаго Янычевъ, выяснились передъ Владиміромъ. Онъ хорошо зналъ всѣ свойства Кокушки и долженъ былъ согласиться, что и князь этотъ также хорошо узналъ ихъ, и что съ Кокушкой именно и можно было устроить все только такъ, какъ оно и было устроено. Но, вѣдь, это гнусное, грязное преступленіе!.. А между тѣмъ вотъ Кокушка женать... дѣло сдѣлано...

Кокушка продолжалъ свой разсказъ:

— И она давно, вѣдь, уже была моей невѣштой... Вѣдь, я тебѣ еще въ Мошквѣ тогда говорилъ...

Только теперь вспомнилъ Владиміръ, что Кокушка дѣйствительно говорилъ ему это.

— И она увѣряла меня въ швоей любви... и была та-такая лашковая... и такъ меня ревновала... и она такая кра-крашавица!.. И вдругъ, вдругъ какъ мы обвѣнчалишь—я ее два дня не вижу, не вы-выходитъ ижъ швоей комнаты! Меня не пушкаеть!.. Вѣдь, я мужъ... ка-какъ она меня шмѣеть не пушкаты... я одинъ...

— Да, конечно, ихъ слѣдовало-бы арестовать! — замѣтилъ онъ. — Только, вѣдь, это такіе люди, вѣдь, они, конечно, отпрутятся и скажутъ, что у нихъ никакихъ денегъ нѣтъ. Это, знаете, гораздо сложнѣе, чѣмъ, можетъ быть, кажется съ перваго раза.

Николай Владиміровичъ, молчавшій до сей минуты, взглянулъ на сына и сказалъ.

— Гриша, приведи его, пожалуйста!

Скоро явился Кокушка. Его бѣшенство теперь совсѣмъ утихло. Онъ присмирѣлъ, имѣлъ жалкій и грустный видъ. Вошелъ, опустивъ глаза; но когда онъ ихъ поднялъ, то прямо встрѣтился со взглядомъ Софи. Незвѣстно, что прочелъ онъ въ лицѣ сестры, только его всего вдругъ будто перевернуло.

— Вше... вше ижъ-жа тебя, принцешша! — закричалъ онъ, срываясь съ мѣста и подбѣгая къ ней.

Гриша удержалъ его за руку.

— Это силъ нѣтъ никакихъ вынести! — объявила Софи и поспѣшно вышла изъ библіотеки.

— Пойди сюда, Коля! — сказалъ Николай Владиміровичъ. — Посмотри на меня.

Кокушка взглянулъ и сразу-же остылъ, спокойно подошелъ къ дядѣ и сѣлъ рядомъ съ нимъ.

— Теперь Расскажи намъ, только безъ криковъ, — все, какъ было, это необходимо для тебя-же.

Кокушка заговорилъ совсѣмъ иначе, чѣмъ говорилъ съ Владиміромъ. Время отъ времени Николай Владиміровичъ задавалъ ему вопросы и онъ отвѣчалъ на нихъ очень спокойно и даже толково, что съ нимъ очень рѣдко случалось. Всего одинъ разъ хотѣлъ было онъ распространиться «о шу-шултанѣ», но и тутъ сейчасъ-же и позабылъ о немъ.

Николай Владиміровичъ слушалъ внимательно и почти глазъ не спуская глядѣлъ на Кокушку. Этотъ допросъ затянулся, и Владиміръ даже съ досадою сталъ замѣчать, что дядя, вмѣсто того, чтобы толковать о томъ, что теперь надо дѣлать и скорѣе, не откладывая, рѣшить этотъ вопросъ, просто-на-просто какъ-бы забавляется совсѣмъ ни къ чему не идущими, не нужными подробностями.

Онъ замѣтилъ также, что дядю интересуетъ не князь, а именно Кокушкина «жена», что онъ какъ-бы хочетъ изучить ее со словъ Кокушки, заставляетъ его передавать о ней мельчайшія подробности. Этого мало — онъ, оставивъ Кокушку, обратился къ Владиміру.

— Ты ее знаешь? — спросилъ онъ.

— Да, знаю, я рѣдко съ нею встрѣчался, но все-же встрѣчался и здѣсь, и въ Москвѣ.

— И ты, Гриша?

— И я ее знаю, и никогда-бы не подумалъ, что она способна на такія вещи... Прехорошенькая!—отозвался Гриша.

— Какъ-же!—выходя изъ своего спокойствія крикнулъ Кокушка:—а уши? а жаячья губа? а глажа какъ плюшки?! Уродъ... уродъ!

Николай Владиміровичъ успокоилъ его взглядомъ, а затѣмъ снова обратился къ сыну и племяннику.

— Опишите мнѣ, пожалуйста, подробно ея наружность и впечатлѣніе, которое она на васъ производила,—сказалъ онъ.—Володя, начни ты!

Владиміръ не удержался.

— Мнѣ кажется, дядя, что это совсѣмъ излишне! — съ досадой замѣтилъ онъ.

Николай Владиміровичъ улыбнулся своей тихой улыбкой.

— Увѣряю тебя, что это совсѣмъ не лишнее и ты самъ скоро увидишь, что я правъ, а теперь повѣрь мнѣ на слово.

Марья Александровна молчала. Она видѣла, что «чернокнижникъ» что-то задумалъ и знала, что изъ задуманнаго имъ выйdetъ нѣчто серьезное.

— Повѣрь мнѣ на слово,—повторилъ Николай Владиміровичъ.

Владиміръ пожалъ плечами, но исполнилъ желаніе дяди. При этомъ его досада и раздраженіе внезапно прошли: онъ описывалъ «Ле-Леночку» не только съ обстоятельностью, но какъ-бы съ увлеченіемъ.

То-же самое сдѣлалъ вслѣдъ за нимъ и Гриша.

Когда онъ замолчалъ, Николай Владиміровичъ обратился къ Кокушкѣ.

— Успокойся, мой другъ,—сказалъ онъ:—пойди теперь къ себѣ, переодѣнься, приведи себя въ порядокъ.

Онъ взялъ его за руку.

— Мы тебя въ обиду не дадимъ; и деньги свои, и бумаги ты получишь. А впередъ, надѣюсь, такихъ глупостей не станешь дѣлать?

— Нѣ-нѣтъ! — объявилъ Кокушка:—теперь меня никакой княжной не надуешь... дудки!

Онъ уже подошелъ было къ двери библіотеки, но затѣмъ вернулся.

— Та-такъ, значить, я могу ѣхать кататься сегодня?

Николай Владиміровичъ печально усмѣхнулся.

— Совѣтовалъ бы сегодня и завтра еще подождать... Посиди дома, займись чѣмъ-нибудь, а послѣзавтра и кататься можешь.

— Хо-хорошо! — покорно отвѣтилъ Кокушка и вышелъ.

Досада снова вернулась къ Владимиру.

— Однако, что-же намъ дѣлать?—сказаль онъ.—Вѣдь, Гриша, пожалуй, правъ, да и конечно правъ—эти люди просто-на-просто украли Кокушкины полъмилліона и ото всего отопрутся.

— Эти люди!—выговориль Николай Владиміровичъ.—Отца и дочь нельзя смѣшивать: мнѣ кажется, что она совсѣмъ тутъ не такъ преступна, какъ можно подумать сразу.

Онъ опустилъ голову на руки и говорилъ медленно, слово за словомъ.

— Конечно, можно начать дѣло,—говориль онъ, и арестовать ихъ, и что угодно... Но прежде всего это сдѣлаетъ нашу семью сказкой города... И такъ будутъ говорить; но все-же можно избѣгнуть излишняго шума, непріятностей, хлопотъ...

— Развѣ вы нашли такой способъ?—съ недовѣріемъ въ голосъ замѣтилъ Владиміръ.

— Мнѣ кажется, нашель... Я беру на себя это дѣло. Я сейчасъ-же самъ поѣду къ Янычевымъ, а вернувшись скажу вамъ—удалось мнѣ или нѣтъ. Согласенъ ты мнѣ это поручить, Володя?

Владиміръ былъ несогласенъ. Онъ былъ совершенно увѣренъ, что этотъ странный, полупомѣшанный и таинственный дядя только все испортить. Но нельзя-же было ему это высказать, нельзя было его обидѣть.

— Дѣлайте, какъ угодно!—сказаль онъ.

Николай Владиміровичъ поднялся со своего кресла, подошелъ къ племяннику, положилъ ему руку на плечо и шепнулъ:

— Странный, полупомѣшанный человѣкъ именно такое дѣло и можетъ легко устроить!

Владиміръ невольно вздрогнулъ.

— Что вы сказали, дядя, я не понимаю?—запинаясь, растерянно прошепталъ онъ.

— Завтра поймешь, мой другъ.

— Гриша, вели заложить мнѣ карету!—обратился онъ къ сыну и затѣмъ ушелъ въ свою спальню одѣваться.

Уходя изъ бібліотеки, Марья Александровна взяла подъ руку Владиміра и, остановясь съ нимъ въ одной изъ комнатъ, спросила его:

— Что тебѣ сказалъ дядя? Отчего ты послѣ его словъ сталъ вдругъ такимъ страннымъ? Будь такъ добръ, скажи мнѣ!

— Увѣряю васъ, ма tante, ничего, я даже не разслышаль хорошенько... я не понялъ.

— И я не разслышала, но поняла, догадалась и скажу тебѣ. Онъ сказалъ тебѣ твою мысль.

Владиміръ растерянно глядѣлъ на нее.

— Да? вѣдь, я угадала? и отъ себя прибавлю: мнѣ кажется, что онъ устроить это дѣло.

Изъ того какъ она говорила, изъ ея тона, можно было замѣтить, что въ ней уже не было прежнихъ страховъ. Владиміръ ничего не понималъ.

Однако, теперь не время было разбираться во всѣхъ этихъ таинственностяхъ.

Николай Владиміровичъ сейчасъ уѣдетъ, навѣрно вернется ни съ чѣмъ... Надо будетъ ѣхать къ Трепову, все это объяснить... Завтра весь Петербургъ будетъ толковать объ ихъ дѣлѣ, потѣшаться надъ Кокушкой.

Николай Владиміровичъ уѣхалъ и вернулся менѣе чѣмъ черезъ два часа. Онъ прошелъ къ Владиміру.

— Что-жъ, вы уладили что-нибудь, дядя?—спросилъ тотъ.

— Да, уладилъ!

— Какъ-же? Какъ?

— Завтра ровно въ одиннадцать часовъ утромъ Кокушкина жена сама принесетъ сюда всѣ его деньги и бумаги. Ты, конечно, этому можешь не вѣрить... Но, Володя, я серьезно и убѣдительно прошу тебя подождать до завтрашняго дня, до одиннадцати часовъ... Прошу тебя не ѣздить къ Трепову... убѣдительно прошу... слышишь...

И Николай Владиміровичъ поспѣшно вышелъ отъ племянника.

«Да, вѣдь, онъ, въ самомъ дѣлѣ, помѣшанный, совсѣмъ, совсѣмъ помѣшанный!.. Что-же это значить?»—думалъ Владиміръ.

Но почему-то, самъ себѣ не отдавалъ въ томъ отчета—почему онъ къ Трепову не поѣхалъ.

XXI.

Не вымыселъ.

Какъ-же помѣшанный дядя все это сдѣлалъ? Еслибъ спросить его—онъ-бы отвѣтилъ: «Все сдѣлалось очень просто, очень естественно и только по счастливой случайности скорѣе и удачнѣе, чѣмъ можно было ожидать».

Если-бы на его разсказъ возразили, что онъ выдумываетъ небылицу, сказку—онъ только улыбнулся-бы своей загадочной улыбкой и пожалъ плечами.

Можно назвать какъ угодно, но такъ оно было. Планъ дѣйствій, конечно, сначала только въ общихъ чертахъ, явился въ его головѣ уже съ первой минуты, какъ онъ узналъ о томъ, что Кокушкино состояніе находится въ рукахъ Янычева. Раз-

спросивъ о княжнѣ Кокушку, Владиміра и своего сына, онъ, по нѣкоторымъ даннымъ, ему одному извѣстнымъ и понятнымъ, убѣдился, что если только онъ увидитъ княжну, эту законную жену Кокушки, онъ достигнетъ своей цѣли.

Когда онъ подъѣзжалъ къ Знаменской, для него весь вопросъ заключался въ томъ: дома князь Янычевъ или нѣтъ. Если онъ дома, это, конечно, усложнитъ дѣло, можетъ быть нѣсколько затянетъ его, но все-же не испортитъ. Ему только нужно быть въ ихъ квартирѣ и увидѣть княжну... и то, и другое онъ сдѣлаетъ.

Онъ соображалъ и склонялся къ тому, что князя врядъ-ли застанетъ! Послѣ того какъ Кокушка убѣждалъ, этотъ его «тешюшка» врядъ-ли останется сидѣть сложа руки, навѣрно онъ что-нибудь предприметъ, сдѣлаетъ какой-нибудь шагъ, съ кѣмъ-нибудь повидается.

Такъ оно и случилось. Кокушка ничего не преувеличилъ, рассказывая, что онъ оттолкнулъ отъ себя князя такъ, что тотъ «отлетѣлъ» и сразу не могъ придти въ себя. Когда-же онъ очнулся отъ этого неожиданнаго богатырскаго толчка, Кокушка уже сбѣжалъ съ лѣстницы и вырвался изъ дома. Гнаться за нимъ по улицѣ не представлялось, конечно, никакой возможности. Князь пришелъ въ бѣшенство и кинулся къ дочери, сидѣвшей запершись въ спальнѣ. Онъ едва дождался, пока она отперла ему дверь и появился передъ нею весь багровый, съ налитыми кровью, вытаращенными глазами, почти будучи не въ силахъ выговорить слова. Онъ былъ такъ страшенъ, что Елена съ ужасомъ вскрикнула.

Ей показалось, что произошло убійство. Она слышала крикъ и взвизгиванья Кокушки. Теперь онъ не подаетъ голоса... Отецъ въ такомъ видѣ.

— Господи! — простонала она. — Что случилось? Вы его... убили?!

— Дура! — гаркнулъ князь. — Ты вотъ и себя и меня убиваешь!.. Вѣдь, онъ убѣждалъ, убѣждалъ изъ дому... что ты надѣлала!..

— Убѣжалъ! слава Богу! — выговорила она.

Онъ схватилъ ее за плечи и, самъ не помня ужъ что дѣлаетъ, сталъ трясти ее изо всей силы.

— Да что ты... что ты?! — задыхаясь хрипѣлъ онъ. — Зачѣмъ-же ты соглашалась?.. Зачѣмъ ты вѣнчалась, если намѣрена была такъ поступать?.. Зачѣмъ ты цѣлый день вчера и сегодня, вотъ теперь, его не впустила?.. Ну сказала-бы ему нѣсколько словъ, уговорила его... и онъ-бы успокоился... остался... Что ты теперь надѣлала?..

— Ну, такъ что-же! Ну, убейте меня!

Онъ оставилъ ея плечи.

— Сиди теперь и не выходи изъ дому, — сказалъ онъ, нѣсколько утихая. — Я долженъ сейчасъ-же ѣхать къ священнику, взять свидѣтельство. Ты безъ меня не впускай никого; не выходи — слышишь?!

— Куда-же я выйду? — закрывъ лицо руками, прошептала она. — Мнѣ и изъ этой комнаты выдти совѣстно...

И она зарыдала.

Князь хлопнулъ дверью, поспѣшно одѣлся и уѣхалъ.

Когда Николай Владиміровичъ звонилъ у его квартиры, онъ еще не возвращался. Отворившій двери хохолъ, увидя незнакомое лицо, сразу, не дожидаясь вопроса, объявилъ, что никого нѣтъ дома. Онъ уже хотѣлъ безъ всякихъ объясненій захлопнуть дверь, но вдругъ, самъ не понимая какъ, отъ нея отшатнулся, и незнакомый блѣдный господинъ вошелъ въ переднюю.

— Да, вѣдь, я-же говорю — дома никого нѣтъ! — почему-то совсѣмъ растерявшись, чего съ нимъ вообще никогда не бывало, воскликнулъ хохолъ.

— Я буду ждать! — сказалъ Николай Владиміровичъ. — Запри дверь!

Хохолъ, какъ-бы удивляясь самъ на себя, машинально заперъ дверь.

— Возьми, повѣсь мою шубу! — также спокойно приказалъ ему Николай Владиміровичъ, а самъ вошелъ въ гостиную.

Хохолъ повѣсилъ шубу и остался въ передней.

Николай Владиміровичъ остановился на нѣсколько секундъ среди гостиной, потомъ, будто у себя дома, безъ всякаго стѣсненія, заглянулъ въ столовую, въ кабинетъ... Потомъ онъ опять вернулся въ столовую и остановился передъ запертою дверью. Эта дверь была въ спальню Елены.

Почему онъ остановился передъ этой дверью, опять-таки, еслибъ его спросить, — онъ отвѣтилъ-бы: «потому что за этой дверью есть кто-то и этотъ кто-то, конечно, она, та самая, которую мнѣ надо».

Онъ стоялъ и глядѣлъ пристально на дверь. Нѣсколько разъ поднялись и опустились его руки.

Елена въ это время лежала на кровати, вся какъ-бы разбитая, совсѣмъ измученная. Мысли безпорядочно и неясно бродили въ головѣ ея. Она глубоко всѣмъ существомъ своимъ раскаявалась въ томъ, что сдалась, подчиняясь увѣщаніямъ отца, а главное, она безъ отвращенія не могла теперь подумать о Кокушкѣ. Послѣ вѣнчанья, послѣ того какъ она стала его законной женою, отрезваясь, она почувствовала къ нему именно то

непреодолимое физическое отвращеніе, которое заставляло ее содрогаться всѣми нервами при одной о немъ мысли.

Она совсѣмъ не понимала и не могла себѣ представить, что-же теперь будетъ? То ей хотѣлось убѣжать скорѣе отсюда, въ Москву, къ теткѣ. Но развѣ та приметъ ее послѣ такого поступка? Нужно бѣжать... бѣжать за-границу, подальше... Но какъ-же это сдѣлать?.. Вѣдь, ей никто не поможетъ, не дастъ совѣта... да и на какія средства бѣжать?.. О Кокушкиныхъ деньгахъ она не подумала... И снова страшная мысль мелькнула въ головѣ ея: да, вѣдь, онъ все-же законный мужъ, онъ имѣетъ на нее право!

Она совсѣмъ путалась, терялась, ничего не понимала. Она не слышала, какъ въ передней звонили, не слышала шаговъ Николая Владиміровича въ столовой.

Но вдругъ она вздрогнула всѣмъ тѣломъ, подняла голову съ подушки, потомъ спустила ноги на полъ... сѣла на кровать... Черезъ минуту, не отдавая себѣ отчета въ томъ, что дѣлаетъ, она подошла къ двери, отперла ее и вошла въ столовую. Увидя передъ собою незнакомаго человѣка, она хотѣла сейчасъ опять скрыться, уже сдѣлала было движеніе назадъ, но потомъ, оставивъ дверную ручку, пошла къ этому незнакомому человѣку... Онъ пристально глядѣлъ на нее блестящими глазами... Быстрымъ движеніемъ онъ поставилъ ей стулъ, на который она упала.

Между ними не было произнесено ни слова. Она продолжала глядѣть на него, только выраженіе ея глазъ измѣнилось.

Онъ подошелъ къ ней, поднялъ руку, приложилъ ее ей ко лбу,—она оставалась неподвижной—ни изумленія, ни страха, ни смущенія не изобразилось на лицѣ ея.

Онъ быстро сдѣлалъ передъ нею нѣсколько движеній руками, затѣмъ взялъ другой стулъ, сѣлъ на него и заговорилъ:

— Вы меня видите?

— Вижу!—отвѣчала она.

— Слышите?

— Слышу.

— Можете отвѣчать на мои вопросы?

— Да, могу.

— Вы знаете кто я?

— Нѣтъ еще.

— Но, вѣдь, вы меня не боитесь?..

— Нѣтъ, нисколько!—твердо, но не своимъ, а какимъ-то страннымъ голосомъ, будто произнося заученныя слова, отвѣтила она.

— Елена, зачѣмъ вы согласились... вы рассказываете въ этомъ?

— Да, о какъ я раскаяваюсь! Какъ я мучаюсь!

Она стала дрожать всѣмъ тѣломъ. Онъ положилъ ей руку на плечо и произнесъ:

— Успокойтесь!

Ея дрожь мгновенно прекратилась.

— Знаете-ли вы, о чемъ я хочу спросить васъ?

Она отвѣчала не сразъ, прошло нѣсколько секундъ. Но вотъ губы ея съ усиленіемъ шевельнулись и она едва слышно произнесла.

— Знаю. Вы хотите знать, гдѣ деньги и бумаги... Здѣсь-ли онѣ... Онѣ здѣсь.

— А завтра утромъ здѣсь будутъ?

— Да.

Онъ подошелъ къ дверямъ столовой, заглянулъ—никого нѣтъ, хохолъ продолжалъ сидѣть въ передней. Тогда онъ тихо притворилъ за собою дверь и вернулся къ Еленѣ.

— Гдѣ эти деньги?

— У отца въ кабинетѣ...

Онъ подумалъ нѣсколько мгновений и потомъ едва замѣтно улыбнулся.

«Нѣтъ, пусть лучше такъ, все равно не пропадутъ...»

Затѣмъ онъ опять обратился къ Еленѣ, наклонился надъ нею и шепотомъ, у самаго ея почти уха, медленно сказалъ.

— Сегодня ночью вы возьмете эти деньги и завтра, ровно въ одиннадцать часовъ, будете съ ними у меня, на Мойкѣ, въ домѣ Горбатовыхъ, въ моей библіотекѣ. Вы сдѣлаете это непременно!

— Непременно сдѣлаю!—произнесла она.

— А теперь забудьте все, что сейчасъ было.

— Хорошо,—прошептали ея губы.

Онъ дунулъ ей въ лицо. Она подняла свои опустившія вѣки...

Что это? Она въ столовой... передъ нею незнакомый человѣкъ. Скорѣй, скорѣй назадъ! Она быстро вернулась къ себѣ въ спальню и заперла за собою дверь.

Все время—отъ того мгновенья когда она выглянула изъ спальни и до того какъ она въ нее вернулась—для нея не существовало.

Въ передней раздался громкій звонокъ. Николай Владиміровичъ быстро перешелъ въ гостиную и когда спѣшной походкой изъ передней въ нее влетѣлъ князь,—онъ уже сидѣлъ на диванѣ, въ позѣ ожидающаго челоѣка. Онъ приподнялся и поклонился князю.

— Съ кѣмъ имѣю удовольствіе?—сердитымъ тономъ спросилъ тотъ.

— Николай Владиміровичъ Горбатовъ!

Князь уже успѣлъ во время своей поѣздки къ вѣнчавшему Кокушку священнику и обратно совсѣмъ успокоиться; все обду-

мать и рѣшить. Но все-же онъ нѣсколько опѣшилъ. Взглядъ Николая Владиміровича производилъ на него непріятное впечатлѣніе.

Однако онъ справился съ собою, даже вызвалъ на своемъ лицѣ улыбку и пробасилъ:

— Очень пріятно познакомиться, прошу васъ—садитесь, Николай Владиміровичъ.

Тотъ сѣлъ и заговорилъ спокойнымъ, ровнымъ голосомъ.

— Князь, я пріѣхалъ спросить васъ объяснить мнѣ, что такое случилось съ моимъ племянникомъ? Онъ пропалъ изъ дома на двое сутокъ, перепугалъ насъ всѣхъ ужасно... теперь вернулся и говорить, что женился на вашей дочери. Правда-ли это?

— Истинная правда!—безъ запинки и, повидимому, совсѣмъ хладнокровно отвѣчалъ князь.

— Въ такомъ случаѣ я спрошу васъ: развѣ этого нельзя было сдѣлать нѣсколько иначе?

Князь не ожидалъ такого вопроса и такого невозмутимо спокойнаго тона.

— Со словъ Николая Сергѣевича, насколько я понимаю его положеніе въ семьѣ, иначе было нельзя; вы-бы не допустили этого. Но онъ совершеннолѣтній, правоспособный и могъ поступать, какъ ему вздумается... Насильно никто его не могъ заставить вѣнчаться, все произошло самымъ законнымъ порядкомъ... Если его выборъ вамъ не нравится—очень жаль... но я не судья въ этомъ...

Николай Владиміровичъ улыбнулся...

— Зачѣмъ мы будемъ такъ говорить?—произнесъ онъ.—Я пріѣхалъ вовсе не для того, чтобы съ вами пререкался... Я пріѣхалъ съ вашихъ словъ провѣрить рассказъ племянника, а за тѣмъ рѣшить съ вами сообща все, что требуетъ рѣшенія. Съ вашей дочерью я еще не знакомъ; но я объ ней слышалъ и ничего не могу имѣть противъ выбора моего племянника... Да и, наконецъ, вы сами сказали, что онъ совершеннолѣтній и правоспособный... Его отецъ, а мой братъ, заграницей, такъ, такъ что я... я...—сторона... а главное—они обвинены.

Князь окончательно сталъ успокоиваться.

«Вотъ онъ какимъ тономъ говорить!.. Очень благоразумный... а, вѣдь, его помѣшаннымъ считаютъ... Любопытно, знаетъ-ли онъ про деньги? Вѣдь, навѣрно знаетъ, тотъ, я думаю, это прежде всего сказалъ»...

Николай Владиміровичъ продолжалъ:

— И теперь, прежде всего, я попрошу васъ представить меня вашей дочери, а моей новой родственницѣ.

— Съ большимъ удовольствіемъ!

Князь поспѣшно прошелъ къ Еленѣ и сталъ убѣждать ее, что она должна непременно выдти къ гостю и быть любезной.

— Тамъ, видимо, не хотѣтъ никакого скандала,—говоритъ онъ:—какъ я думалъ, такъ все и вышло, все обойдется, только будь-же ты хоть немного благоразумна, выйди, слышишь, непременно выйди!

Но Елена объявила:

— Ни зачто не выйду, хоть убейте меня здѣсь на мѣстѣ—не выйду.

Князь побагровѣлъ, но сдержался.

— Елена, идемъ!

Онъ взялъ ее за руку. Но она внѣ себя стала вырывать руку.

— Пустите!—разслышалъ онъ ея шопотъ:—пустите—или я кричать буду!

Онъ бѣшено взглянулъ на нее, махнулъ рукою и вернулся въ гостиную.

— Извините, Николай Владиміровичъ,—сказалъ онъ:—моя дочь чувствуетъ себя очень не хорошо и никакъ не можетъ выйти, боюсь, какъ-бы она не разболѣлась... сейчасъ пошлю за докторомъ.

— Въ такомъ случаѣ я не стану мѣшать вамъ...

Съ этими словами Николай Владиміровичъ всталъ, поклонился и вышелъ. Князь проводилъ его въ переднюю до самой двери. А потомъ остановился и думалъ:

«Однако, все-же... Какъ у насъ будетъ? Вонъ онъ пріѣзжалъ... а зачѣмъ собственно пріѣзжалъ? Только взглянуть на Елену?.. И что-же мой зятекъ—вернется онъ? Надо ждать, какъ-нибудь все это, вѣдь, развяжется... и главное мнѣ нечего бояться, со-всѣмъ нечего. Только вотъ эта дура—что съ нею? Всегда была такая послушная»...

Онъ рѣшилъ, что лучше ее теперь оставить въ покоѣ, а затѣмъ, ну завтра, что-ли, поговорить съ нею тихонько, благоразумно, вотъ какъ тогда, когда онъ убѣдилъ ее согласиться на вѣнчаніе...

XXII.

Чужая воля.

Князь крѣпко спалъ на диванѣ своего кабинета, спалъ, какъ спитъ человѣкъ послѣ дѣятельно проведеннаго и тревожнаго дня, когда, однако, тревога уже затихла и уступила мѣсто душевному спокойствію.

Передъ сномъ князь окончательно рѣшилъ, что ему нечего бояться какихъ-нибудь неприятностей и осложнений со стороны Горбатовыхъ. Разъ что Кокушка ускользнула,—то-есть не онъ, а его деньги,—вѣдь, они, въ сущности, даже должны быть рады избавиться отъ такой обузы и сдать ее ему на руки. Дочь онъ уговорить, конечно. Она напишетъ Кокушкѣ ласковую записку, позоветъ его—и онъ явится. Затѣмъ самое лучшее—имъ всѣмъ ѣхать за границу.

Нетти останется въ пансіонѣ, сыновей, которые довольно плохо учились въ военной гимназіи, онъ поручить одному изъ тамошнихъ воспитателей, у него они и будутъ проводить все свободное время, а онъ станетъ слѣдить за ихъ ученіемъ, репетировать ихъ уроки. Теперь такой расходъ возможенъ и, вѣдь, слѣдуетъ-же позаботиться о дѣтяхъ.

Все это легко устроить въ два, три дня—и скорѣе за границу съ Еленой и Кокушкой. Пора отдохнуть... Князь уже начиналъ чувствовать первые приступы старости. Эта старость приходила въ видѣ переменъ вкусовъ. Теперь его уже не привлекало то, что привлекало прежде: уже онъ не засматривался на хорошенькихъ женщинъ—насмотрѣлся въ жизни довольно. Къ вину, послѣ лѣснаго клопа, его не тянуло. Оставилъ карты—да и то, вѣдь, онъ вотъ уже мѣсяца три какъ не бралъ ихъ въ руки...

Ну тамъ, за границей, конечно, гдѣ-нибудь можно будетъ испытывать счастье. А главное, его манила эта поѣздка въ пріятныя и прекрасныя мѣста, гдѣ онъ можетъ, наконецъ, благодаря средствамъ Кокушки, играть блестящую роль. Онъ—князь, настоящій князь, не выдуманный для заграничной поѣздки... Онъ будетъ жить *grand seigneur* омъ... Появится гдѣ-нибудь на водахъ, на морскомъ купаньи... въ сопровожденіи красивой дочери—и будетъ центромъ самаго изысканнаго, блестящаго общества. Правда, его французскій «прононсъ» значительно испортился вслѣдствіе долготѣйшей отвычки... Но ничего, сойдетъ—нѣсколько недѣль практики—и только...

А главное онъ полѣчится на водахъ. Ну вотъ хоть-бы въ Карлсбадѣ, ему это очень, очень не мѣшаетъ. Потомъ *Nachkuhr* гдѣ-нибудь въ Тиролѣ, въ живительномъ воздухѣ... Осень на берегу океана, въ Биаррицѣ... Десять лѣтъ спадетъ съ плечъ, онъ помолодѣетъ, отдохнетъ, соберется съ новыми силами... Пора, усталъ..

А если Кокушка черезчуръ ужъ надоѣдать будетъ, вѣдь, его можно помѣстить въ какое-нибудь самое лучшее заведеніе, гдѣ ему будетъ хорошо, гдѣ о немъ станутъ заботиться за хорошія деньги. Конечно, жаль его... Но что-же дѣлать!.. Это семейное несчастье, со всякимъ можетъ случиться. И, нако-

нецъ, все будетъ зависѣть отъ самого Кокушки. Можетъ быть, и безъ заведенія можно будетъ обойтись...

Рѣшено, завтра-же онъ поговорить съ дочерью, успокоить ее и урезонить... Черезъ какія-нибудь недѣли двѣ они уже помчатся на Западъ...

Всѣ эти пріятныя мечты, какъ звуки тихой музыки, какъ сладкая пѣсенка, убаюкали князя. И онъ спалъ крѣпко и сладко, безъ сновидѣній...

Спала и Елена... Но вотъ она проснулась, поспѣшно зажгла свѣчку и сѣла на кровать. «Да, пора, пора!—шептала она.—Теперь ночь... бумаги отца въ кабинетъ... въ бюро... Онъ спитъ, не услышитъ... ключъ».

Она схватилась за свою шейную цѣпочку. Ключъ на ней. Она разстегнула замочекъ, сняла ключъ, крѣпко зажала его въ руку. Потомъ осторожно вышла изъ спальни.

Она стала пробираться въ темнотѣ, останавливаясь на каждомъ шагѣ, вздрагивая при малѣйшемъ скрипѣ паркета подъ ногами. Вотъ она уже у дверей кабинета. Все тихо... Она осторожно взялась за дверную ручку, повернула ее. Дверь скрипнула. Она вся застыла отъ страха и простояла такъ нѣсколько мгновений, затаивъ дыханіе. Потомъ опять дернула дверь, дернула такъ быстро, что та не успѣла и скрипнуть... довольно, можно пройти...

Елена прислушалась... Разслышала мѣрное дыханіе отца. Проскользнула въ кабинетъ...

Слабый свѣтъ съ улицы едва озарялъ предметы, но послѣ темнаго корридора ей показалось здѣсь даже слишкомъ свѣтло. Вотъ отецъ на диванѣ. Она ясно видитъ передъ собою его всклокоченную бороду. Его широкая грудь поднимается и опускается подъ одѣяломъ.

«А что, если онъ проснется?»

Она стояла, не шевелясь, и все слушала. Онъ дышалъ мѣрно. Она отвела отъ него глаза, взглянула на бюро и, внезапно рѣшившись, быстро, быстро, едва дотрогиваясь ногами до паркета, подошла, наклонилась, отперла своимъ ключикомъ ящикъ, взяла всѣ эти уже видѣнные ею бумаги, всѣ до послѣдней, потомъ заперла ящикъ опять и выскользнула изъ кабинета, какъ тѣнь.

Дверь опять скрипнула, когда она ее заперала... Но князь не проснулся, не шевельнулся даже.

Елена опять у себя. Она заперлась на ключъ. Она сложила бумаги на кровать и стала ихъ разглядывать одну за другою, считала, считала, пересчитывала... Тридцать... шестьдесятъ, двѣсти тысячь... пятьсотъ... Глаза ея горѣли... она тяжело дышала.

Она вертѣла въ рукахъ эти цвѣтныя бумаги, вертѣла ихъ и перевертывала, оставляла и брала снова...

— Здѣсь все... все!—наконецъ прошептала она.—Тамъ ничего больше нѣтъ... Но было еще шесть... шесть... Она не знала чего шесть, не понимала, откуда у нея эта тревога, почему она знаетъ, что было еще, и что именно шесть...

Наконецъ, она нѣсколько успокоилась, аккуратно сложила бумаги такъ, чтобы они занимали какъ можно меньше мѣста. Потомъ подошла къ комоду, вынула изъ него носовой платокъ, завернула въ этотъ платокъ бумаги, положила узелокъ себѣ подъ подушку, потушила свѣчу и скоро заснула.

Она проснулась въ девять часовъ и спѣшно, спѣшно, будто опоздала, будто боялась пропустить минуту, умылась и одѣлась. Она нѣсколько разъ подходила къ своей кровати, оглядывала подушку, ощупывала узелокъ... Вотъ она готова. Она надѣла шляпку, надѣла потомъ свою длинную бархатную ротонду, ту самую, въ которой ѣхала вѣнчаться, взяла узелокъ съ бумагами, запахнулась и вышла въ столовую.

Все было тихо. День у нихъ начинался всегда очень поздно. Князь, если не было особеннаго дѣла, если ему не надо было куда-нибудь рано ѣхать или идти, спалъ иной разъ до одиннадцати, иногда до двѣнадцати часовъ. Да и сама Елена вставала всегда очень поздно. Хохоль, лѣнивый по своей хохлацкой природѣ и, вдобавокъ, зная привычки господъ, вылѣзалъ изъ своей комнаты обыкновенно не раньше десяти часовъ.

Такъ было и теперь. И князь, и хохоль еще крѣпко спали. Елена прошла въ переднюю, тихонько отворила наружную дверь и вышла изъ квартиры. Но она все-же какъ будто боялась погони. Она бѣжала по Знаменской, то и дѣло тревожно оглядываясь назадъ и успокоилась только тогда, когда очутилась на Невскомъ.

Она шла, шла не останавливалась. Повернула на Мойку. Вотъ передъ нею домъ Горбатовыхъ. Она его давно уже знала, хотя ни разу въ жизни не была въ немъ. Она прошла мимо подъѣзда, но не остановилась. Было пять минутъ одиннадцатаго. Хотя кругомъ не было нигдѣ часовъ и Елена не могла знать времени, но она подумала: «еще рано»—и пошла дальше, глядя прямо передъ собою и не замѣчала окружающаго. Въ ней не было никакихъ мыслей. Она совсѣмъ ни о чемъ не думала, только чувство нетерпѣнія, неяснаго безпокойства наполняло ее. Пройдя довольно далеко, она вернулась и опять приблизилась къ дому Горбатовыхъ, и опять прошло мимо, подумавъ:

«Еще рано!»

Минуты шли за минутами. Вдругъ она повернула, ускорила

шагъ и торопливо позвонила у Горбатовскаго подъѣзда. Толстый старый швейцаръ, съ великолѣпными сѣдыми бакенбардами, съ видомъ представительнаго дипломата, отворилъ ей двери и молча пропустилъ ее. Она ничего ему не сказала, и онъ не спросилъ ее, зачѣмъ она, къ кому, чего ей надо.

За часъ передъ тѣмъ Николай Владиміровичъ самъ сошелъ въ швейцарскую и сказалъ швейцару, что въ одиннадцать часовъ придетъ молодая дама и чтобы онъ просто впустилъ ее.

— То-есть, какъ-же это-съ?

Швейцаръ не совсѣмъ понялъ.

— А такъ, просто, отвори дверь и больше ничего, ни слова не говори ей, она сама знаетъ, куда ей идти.

— Слушаю-съ!

Швейцаръ даже не выразилъ изумленія. Онъ принадлежалъ къ породѣ, уже совсѣмъ исчезающей, старыхъ, важныхъ швейцаровъ, которые должны исполнять свои прямые обязанности и не смѣютъ изумляться ничему, что исходитъ отъ господъ. Къ тому-же къ нѣкоторымъ странностямъ Николай Владиміровича онъ уже привыкъ.

Онъ заперъ вслѣдъ за Еленой двери и затѣмъ, молча, стоялъ, глядя, какъ эта красивая блѣдная дамочка не сняла даже шубу, быстро взбирается по широкой мраморной лѣстницѣ. Елена остановилась на верхней площадкѣ совсѣмъ незнакомаго ей стариннаго дома. Но, очевидно, она не задумалась, куда ей идти. Она повернула направо, очутилась въ обширной пріемной. Затѣмъ прошла въ огромную залу, гдѣ гулко раздавались ея шаги. Затѣмъ, мимо нея стали мелькать разныя нарядныя комнаты. Она все шла не останавливаясь, ни на что не глядя.

Вдругъ она услышала, какъ возлѣ нея, на высокомъ каминѣ, часы стали бить разъ, два, три... одиннадцать! Она взялась за ручку бывшей передъ нею двери и отворила ее съ послѣднимъ ударомъ часовъ.

На совсемъ обычномъ мѣстѣ, въ высокомъ креслѣ, сидѣлъ Николай Владиміровичъ; вокругъ того-же стола, заваленнаго книгами, помѣщались Марья Александровна, Владиміръ и Маша. Больше никого не было.

Маша невольно вскрикнула, поднявшись со своего мѣста и такъ и застыла, устремивъ свой взглядъ на Елену.

Да, это она, вѣдь, она ее знаетъ, она ее много разъ видѣла у общихъ знакомыхъ!..

Владиміръ тоже внѣ себя отъ изумленія глядѣлъ на вошедшую.

Дядя заставилъ его и сестру перейти къ одиннадцати часамъ въ библіотеку. И вотъ сейчасъ, за минуту передъ тѣмъ, сказалъ,

что Кокушкина жена явится ровно въ одиннадцать. Но Владимиръ этому не вѣрилъ. Могло быть все, что угодно и если даже предположить невѣроятное, то-есть то, что ее обвинчали силой, или что она раскаялась въ своемъ поступкѣ—она могла написать, могла сдѣлать что угодно, но только не явиться къ нимъ въ домъ... А вотъ она передъ нимъ, ровно въ одиннадцать часовъ, какъ увѣрялъ дядя.

Марья Александровна хотѣла было даже перекреститься, но затѣмъ остановилась и бросила на Владимира торжествующій взглядъ:

«Вѣдь, я тебѣ сказала вчера, что такъ и будетъ»...

Николай Владиміровичъ глядѣлъ спокойно. Онъ поднялся съ кресла и сдѣлалъ нѣсколько шаговъ на встрѣчу Еленѣ. Она остановилась передъ нимъ, глядя ему прямо въ глаза, потомъ быстро распахнула свою ротонду, и, подавая ему узелокъ съ бумагами, произнесла:

— Вотъ здѣсь все, что было въ бюро... все, что я нашла... и что я прежде видѣла... возьмите скорѣе...

Онъ взялъ узелокъ, положилъ его на столъ, а затѣмъ протянулъ руку Еленѣ и пододвинулъ ей кресло... Внезапно все ея лицо измѣнилось, глаза какъ-то померкли, на щекахъ вспыхнула и сейчасъ-же исчезла краска. Она обвела кругомъ себя быстрый и изумленный взглядъ, перевела его на Владимира, Машу и Марью Александровну, слабо вскрикнула, пошатнулась и, прежде чѣмъ Николай Владиміровичъ успѣлъ поддержать ее, безъ чувствъ упала на полъ.

Всѣ бросились къ ней. Она лежала въ глубокомъ обморокѣ. Не раньше какъ черезъ полчаса удалось привести ее въ чувство. Но она еще долго ничего не понимала. Она глядѣла, ничего не видя, не зная, гдѣ она и кто съ нею.

Николай Владиміровичъ попросилъ и жену, и Владимира, и Машу удалиться и велѣтъ заложить карету.

— Я ее успокою!—шепнулъ онъ Марьѣ Александровнѣ.

— А карету зачѣмъ? Неужели ты думаешь ее везти обратно къ отцу, вѣдь, это извергъ! Я вижу теперь, что ты былъ правъ, говоря, что она вовсе ужъ не такъ виновата...

— Да, конечно,—замѣтила Маша:—конечно... мнѣ ужасно жаль ее... вѣдь, этотъ ея поступокъ, то, что она могла сюда придти... вѣдь, для этого много надо!..

Владимиръ былъ тоже согласенъ съ этимъ.

— Но что-же, вѣдь, не оставлять-же ее здѣсь у насъ, да и сама она не захочетъ,—прошепталъ онъ.

— Поэтому я и говорю—велите заложить карету, дайте мнѣ поговорить съ нею...

Всѣ вышли изъ бібліотеки, а онъ подошелъ къ Еленѣ. Черезъ нѣсколько минутъ она уже все понимала; неудержимыя слезы стыда и ужаса полились изъ ея глазъ. Она закрыла лицо руками... Она слышала надъ собою ласковый и спокойный голосъ этого человѣка. Она, конечно, знала кто онъ и она видѣла его мелькомъ наканунѣ, выйдя изъ своей спальни и сейчасъ-же опять въ нее скрывшись. Но ей почему-то казалось, что она его давно, давно знаетъ и что онъ имѣетъ какую-то власть надъ нею.

— Пустите меня ради Бога! — наконецъ прошептала она. — Дайте мнѣ возможность уйти... пощадите меня!..

Николаю Владиміровичу стало ее очень жалко; но въ немъ говорило и другое чувство, невольное, и съ которымъ онъ не могъ бороться, — чувство ученаго изслѣдователя, производящаго интересный опытъ. Онъ положилъ ей руку на плечо, и это прикосновеніе пронизало ее всю какъ-бы тепломъ. Въ этомъ прикосновеніи было что-то какъ-бы электрическое и въ то-же время успокоивающее.

— Скажите мнѣ, — спросилъ онъ: — знаете-ли вы, что вы такое сдѣлали?

— Я принесла вамъ его бумаги и деньги! — едва слышно, сквозь сдерживаемыя рыданія отвѣчала она.

— Откуда вы ихъ взяли?

— Я взяла ихъ сегодня ночью изъ бюро отца...

— Зачѣмъ вы это сдѣлали?

Голова ея была какъ въ туманѣ. Она припоминала и сообщала...

— Я должна была такъ сдѣлать! — наконецъ шепнула она.

— Почему должны? Вамъ кто-нибудь посовѣтовалъ это? Какъ вы пришли сюда... какъ вы нашли эту комнату? Вѣдь, вы никогда не бывали у насъ въ домѣ?

На это она ничего не могла ему отвѣтить. Она сама не знала, какимъ образомъ все это случилось. Но онъ ждалъ отвѣта:

— Я... я сообщала! — наконецъ, запинаясь, произнесла она.

И вдругъ слезы ея снова хлынули неудержимо, и она съ мученіемъ повторяла:

— Ради Бога, выпустите меня... Я не могу здѣсь больше оставаться!..

— Куда-же вы хотите? Неужели опять домой, къ отцу?..

— Да, да... туда, къ нему, только туда мнѣ и можно!

Потомъ что-то мгновенное произошло съ нею, ее охватила рѣшимость, въ ней поднялась даже злоба. Она остановила свои слезы и взглянула на Николая Владиміровича.

— Пустите меня! — почти крикнула она. — Вы не имѣете права меня держать...

— Я и не держу!—отвѣтилъ онъ. — Но я хотѣлъ-бы, чтобы вы къ вашему отцу больше не возвращались... вамъ не слѣдуетъ жить съ нимъ...

Она взрогнула и нерѣшительно проговорила:

— Развѣ вы можете спасти меня отъ него? Развѣ вы захотите, да и зачѣмъ?.. Если онъ убьетъ меня—тѣмъ лучше...

Онъ опять положилъ ей на плечо руку, и опять успокоительная теплота пробѣжала по ея жиламъ.

— Оставайтесь здѣсь!—сказалъ онъ.—Поговорите съ моей женой... она добрая женщина. Мы не можемъ хотѣть вамъ зла, мы постараемся устроить вашу жизнь какъ можно лучше. А я сейчасъ поѣду къ вашему отцу и поговорю съ нимъ.

Елена стояла, опустивъ руки. На хорошенькомъ поблѣднѣвшемъ лицѣ ея изобразилось мученіе и безнадежность.

— Дѣлайте со мной что хотите!—растерянно произнесла она и безсильно опустилась въ кресло...

Черезъ нѣсколько минутъ Николай Владиміровичъ оставилъ ее съ Марьей Александровной, а самъ поѣхалъ къ князю. Но на этотъ разъ хохолъ не хитрилъ, сказавъ ему, что никого нѣтъ дома.

Вслѣдъ за уходомъ Елены князь проснулся, прошелъ въ столовую, увидѣлъ дверь въ комнату дочери отпертою, спросилъ хохла—гдѣ она. Тотъ отвѣчалъ, что ушла, когда они еще спали, потому что наружная дверь открыта.

Князь въ первую минуту ничего не понялъ, не могъ сообразить, куда-же это могла она исчезнуть.

«Вернется!» успокоилъ онъ себя и сталъ одѣваться. Затѣмъ онъ вспомнилъ, что шесть тысячъ почти всѣ уже истрачены. Онъ нашелъ необходимымъ посмотрѣть Кокушкины билеты и сообразить, какъ-же теперь поступить надо.

Своимъ вторымъ ключомъ онъ отперъ бюро и увидѣлъ, что отъ билетовъ и документовъ и слѣда не осталось. Нѣсколько минутъ простоялъ онъ, глядя въ ящикъ безсмысленными, вытаращенными глазами.

Затѣмъ, самъ хорошенько не понимая что дѣлаетъ, онъ схватилъ шапку и выбѣжалъ изъ дому. Онъ имѣлъ видъ совсѣмъ сумасшедшаго, бѣжалъ по Знаменской, будто догоняя кого-то. «Что-же это?—повторялъ онъ себѣ.—Кто-же могъ это сдѣлать, кромѣ нея? Она, она украла... Гдѣ она?»

Онъ кинулся на Пески, къ Зацѣпину,—ему нужно было кого-нибудь видѣть, съ кѣмъ-нибудь поговорить, услышать чей-нибудь голосъ...

XXIII.

У Г р у н и.

Вечеромъ Владиміръ поѣхалъ къ Грунѣ. Она была на этотъ разъ дома, свободна, ждала его. Она приказала Катѣ никого не принимать. Цѣлый счастливый вечеръ передъ нею!.. Она все еще была какъ въ туманѣ, не замѣчала дѣйствительности и въ то-же время чувствовала себя въ первый разъ въ жизни безконечно счастливой. Весь міръ вдругъ измѣнился для нея, все, что ее окружало, каждая вещица, ей теперь нравилось, казалось интереснымъ. Въ ея лицѣ появилось новое выраженіе, что-то дѣтское, мягкое и доброе, чего прежде въ немъ не было.

Она сидѣла въ своей комнаткѣ съ маленькими часиками въ рукахъ и, какъ ребенокъ, считала минуты... Вотъ звонять... Онъ или не онъ?

— Это онъ. Она слышитъ его шагъ. Она поднялась ему на встрѣчу и черезъ мгновеніе была въ его объятіяхъ. Она глядѣла ему въ глаза... И отъ этого взгляда онъ готовъ былъ забыть все, всѣ мысли свои, всѣ вопросы, желаніемъ разрѣшить которые былъ теперь полонъ.

— Подумай,—говорила она ему:—вѣдь, два дня, цѣлыхъ два дня мы не видѣлись!

— Ты получила вчера письмо мое?

— Да, что у васъ дѣлается! Но, вѣдь, онъ вернулся... ты такъ написалъ... я многого не поняла, расскажи, пожалуйста... Вѣдь, это ужасная исторія!

Онъ ей передалъ все, что у нихъ дѣлалось дома за эти дни—исторію женитьбы Кокушки и, наконецъ, сегодняшнее происшествіе.

— Гдѣ-же она теперь?—спросила Груня про Елену.

— Она у насъ, хотя Кокушка и не знаетъ объ этомъ... ее отъ него будутъ прятать... Она дѣйствительно очень жалка. Вонъ Маша даже боится, чтобы она не сошла съ ума. Ее такъ нельзя выпустить. Если оправится, успокоится, такъ черезъ нѣсколько дней она уѣдетъ въ Москву къ своей теткѣ. Такъ, по крайней мѣрѣ, пока рѣшено.

Груня слушала очень внимательно и особенно заинтересовалъ ее рассказъ о дѣйствіяхъ Николая Владиміровича.

— Послушай,—сказала она, когда Владиміръ замолчалъ:—неужели тебя не удивляетъ твой дядя? Какъ онъ все это сдѣлалъ—вѣдь, это похоже на сказку, неправда-ли?

— Да, это человѣкъ интересный и удивительный,—отвѣтилъ

Владиміръ. И сразу похоже на сказку, но уже не такъ это непонятно. Ему все очень удалось, да. Онъ засталъ ее одну, заговорилъ съ нею, затронулъ въ ней все, что въ ней осталось неиспорченнаго и хорошаго... Когда онъ выходитъ изъ своей странной холодности и отчужденности, когда начинаетъ говорить съ жаромъ, то всегда очень увлекателенъ. Онъ побѣдилъ ее совѣмъ и естественно, что она рѣшилась на такой, ну, скажемъ, мужественный поступокъ.

— Да,—перебила Груня съ легкой усмѣшкой:—и появилась передъ вами именно какъ онъ заранѣе сказалъ, въ одиннадцать часовъ?. Володя, дорогой мой, милый, ты путаешь!

— Какъ путаю?

Но онъ ужъ и самъ чувствовалъ, что его объясненія не совѣмъ ясны. Однако, что-же ему было дѣлать? Конечно, все это должно было произойти самымъ простымъ способомъ. Вѣдь, не могъ-же онъ, въ самомъ дѣлѣ, предполагать, какъ; видимо, предполагала его тетка, что Николай Владиміровичъ почерпнулъ въ своей кабалистикѣ или вынесъ изъ своего давняго путешествія въ невѣдомыя страны какую-то волшебную силу?!

Вѣдь, онъ самъ, Владиміръ, въ годы дѣтства и отрочества мечталъ о разныхъ волшебствахъ и вѣрилъ въ ихъ существованіе. Но теперь не можетъ-же онъ вѣрить разному вздору.

— Какъ путаю?—переспросилъ онъ Груню.

— А такъ, твой дядя подѣйствовалъ на нее совѣмъ иначе, чѣмъ ты думаешь.

— Да, какимъ-нибудь волшебствомъ—такъ, что-ли?

— Волшебствомъ? Нѣтъ, но особеннымъ способомъ... Онъ магнетизеръ, твой дядя... Магнетизеръ, да еще какой! Изъ твоего разсказа я вижу, что онъ знаетъ очень многое такое, чего пока еще мало кто знаетъ.

Владиміръ невольно заинтересовался и совѣмъ оживился.

— Да ты то откуда все это знаешь, Груня... и что ты такое знаешь?

— Знаю случайно и очень поражена тѣмъ, что мнѣ пришлось видѣть. Я много обо всемъ этомъ думала и думаю. И давно даже хотѣла поговорить съ тобою... А тутъ вотъ твой дядя... Онъ, должно быть, интересный человѣкъ.

— Конечно, онъ интересенъ, какъ и всякій человѣкъ, живущій не какъ другіе и что-то про себя таящій; но къ нему никакъ не подступишься—онъ аскетъ, пустынный, хотя и живетъ съ нами... его иногда по цѣлымъ недѣлямъ никто не видитъ.

— Господи, какъ это интересно!—воскликнула Груня.—Ему-бы въ Парижъ къ моему знакомому, Берто... Они-бы хорошо поняли другъ друга.

— Берто? Кто это такой?

— Это въ Парижѣ старичекъ такой, докторъ... Прошлой зимою, послѣ катастрофы съ моимъ горломъ, я пріѣхала въ Парижъ и мнѣ посовѣтовали къ нему обратиться. И вотъ я съ нимъ познакомилась. Онъ меня не вылѣчилъ, какъ тебѣ извѣстно; но все-же помогъ, облегчилъ, а главное я съ нимъ подружилась... Очень, очень интересный старичекъ, мы много вечеровъ провели вмѣстѣ, и онъ почувствовалъ ко мнѣ такую симпатію, что, несмотря на свою сдержанность, показалъ мнѣ изумительные опыты, которые держалъ въ секретѣ. Онъ магнетизеръ, былъ близокъ съ извѣстнымъ барономъ дю-Потэ... Онъ увѣрялъ меня, что теперь не онъ одинъ, что ужъ нѣкоторые молодые французскіе ученые уже начинали заниматься этимъ.

— Чѣмъ этимъ?

— А вотъ этимъ самымъ... это гипнотизмъ... новое слово... У Берто былъ, какъ онъ называлъ—*sujet*: молодая дѣвушка, Paulette, нервная, страдающая истерикой, сенситивная. Она живетъ у него въ домѣ; онъ увѣряетъ, и я ему вѣрю, что она была почти безнадежно больна. Благодаря его лѣчению ей стало лучше. Съ нею онъ и дѣлалъ опыты... Я сама видѣла, сама своими глазами... Попроветъ онъ ее въ кабинетъ—она является, спрашиваетъ—чего ему угодно... Берто подходитъ къ ней, глядитъ ей пристально въ глаза и вдругъ повелительнымъ голосомъ говоритъ: «*dormez!*» Впрочемъ, онъ не всегда глядитъ ей въ глаза, иной разъ заставляетъ ее смотрѣть на какой-нибудь блестящій предметъ... и все-же происходитъ то-же самое. Въ одно мгновеніе съ нею дѣлается что-то непостижимое: глаза ея открыты, но совсѣмъ неподвижны. Ей поднимаютъ, на примѣръ, руку—и рука такъ и остается, ей придаютъ какую угодно позу—и она остается неподвижная, какъ статуя. Но тутъ всего интереснѣе вотъ что: представь себѣ, на примѣръ, подносятъ руку къ губамъ—какъ будто она посылаетъ воздушный поцѣлуй... И вдругъ, все лицо ея начинаетъ улыбаться нѣжной улыбкой... Сожметъ ея руку въ кулакъ, какъ-будто она грозитъ, — и въ лицѣ сейчасъ дѣлается выраженіе гнѣва и угрозы... Затѣмъ Берто закрываетъ ей глаза, беретъ иголку, начинаетъ втыкать ей въ руки. Она ничего не чувствуетъ. Потомъ поколетъ онъ въ одномъ мѣстѣ,—вдругъ начинаетъ сводить одинъ палецъ, въ другомъ мѣстѣ—сводитъ другой. Но мнѣ было противно глядѣть на такія истязанія...

— Все это, конечно, очень интересно,—перебилъ Владиміръ:—и можетъ быть, очень важно, но какое-же это имѣетъ отношеніе, къ дядѣ Николаю, къ его таинственнымъ познаніямъ?

— Постой! погоди!—горячо отвѣчала Груня, крѣпко сжимая

его руку.—Постой, я тебѣ сейчасъ разскажу самое интересное, что я видѣла. Одинъ разъ Берто привелъ эту дѣвушку въ такое особенное состояніе и сталъ говорить съ нею, а она ему отвѣчала. Потомъ онъ ей сказалъ: «посмотрите, что это такое вокругъ васъ? Какіе чудесные цвѣты!» Она опустила глаза на полъ, улыбнулась и шепчетъ: «да, цвѣты! чудные цвѣты! Какія душистыя розы?» Наклоняется, нюхаетъ, потомъ набираетъ, рветъ эти цвѣты. Всякій малѣйшій жестъ такъ натураленъ, вотъ будто у ней букетъ... Вдругъ докторъ говоритъ: «Осторожнее! Развѣ вы не видите: изъ-за куста змѣя выползаетъ!» Она въ ужасѣ отскочила, бросила свой незримый букетъ, вскрикнула... Ахъ, надо все это видѣть дѣйствительно, чтобы такъ вскрикнуть... Змѣя ушла... Докторъ говоритъ: «глядите наверхъ, смотрите хорошенько, что вы видите на небѣ? Она смотритъ, смотритъ—вдругъ по ея лицу разливается благоговѣйное выраженіе. Она робко шепчетъ: «я вижу... вижу ангеловъ... да, это ангелы!» Она падаетъ на колѣни и начинаетъ молиться. Такимъ образомъ Берто обращалъ ея вниманіе то на одно, то на другое. — И она видѣла именно то, что онъ ей приказывалъ видѣть. Никакая актриса не можетъ такъ тонко разыграть эту сцену... Въ другой разъ Берто подошелъ къ ней и велѣлъ ей смотрѣть ему въ глаза. Она смотритъ пристально, страннымъ взглядомъ. Онъ спрашиваетъ: «Вы видите то, о чемъ я думаю?»—«Вижу!»—«Вы все это сдѣлаете?»—«Да.» — А передъ тѣмъ онъ сговорился со мною, что заставить ее, когда она уже придетъ въ нормальное состояніе, идти въ сосѣдную комнату и вдругъ, тамъ увидѣть свою подругу, которой въ дѣйствительности, конечно, нѣтъ. Она должна съ нею говорить, потомъ проститься... Я сама все это придумала и назначила, и Paulette никакъ не могла слышать моего разговора съ Берто... Потомъ я съ нихъ не спускала глазъ... Такъ вотъ, когда она отвѣтила, «да»—онъ дунулъ ей въ лицо... Она пришла въ себя, это сейчасъ; вѣдь, по лицу видно... Онъ объявилъ ей, что она можетъ уйти. Она намъ поклонилась, выходитъ, вдругъ, останавливается посерединѣ сосѣдней комнаты, именно на томъ самомъ мѣстѣ, которое я назначила. Я прошла за нею и вижу. Она глядитъ передъ собою изумленными глазами.

— «Tiens, mais c'est toi, Lucie! D'où viens tu?.. Bonjour, Lucie!» Она обнимаетъ пустое пространство. Она начинаетъ разговоръ со своей подругой и очевидно, слышитъ, ея отвѣты, слышитъ ея вопросы, потому что на нихъ отвѣчаетъ... Потомъ она прощается съ этой незримой Lucie, возвращается опять назадъ и съ изумленіемъ глядитъ вокругъ себя. Этого мало! Послушай, если-бы я не видѣла все своими глазами, я ни за что-бы не повѣрила,—въ этомъ странномъ состояніи докторъ велитъ ей

черезъ часъ что-нибудь сдѣлать, потомъ дуетъ ей въ лицо—она очнулась, она уходитъ. И ровно черезъ часъ, какъ ей было приказано, возвращается и дѣлаетъ именно то, что надо. Ее спрашиваютъ, зачѣмъ она это сдѣлала? И она не знаетъ, что отвѣчать. Она сама не понимаетъ зачѣмъ сдѣлала...

— Груня, ты меня дурачишь!—воскликнулъ Владиміръ.

— Увѣряю тебя, что нѣтъ! Говорю тебѣ: все видѣла своими глазами. И слушай, еще болѣе, я чуть съума не сошла отъ этихъ опытовъ. Онъ, вѣдь, и изъ меня хотѣлъ сдѣлать «sujet»... Одинъ разъ упросилъ... что было со мною—я не помню.

— Какъ-же ты могла согласиться? Вѣдь, это Богъ знаетъ что такое!

— Я тебѣ говорю, онъ меня совсѣмъ съ ума свелъ... Но это было всего одинъ разъ—и больше ужъ онъ меня ничѣмъ не могъ упросить... А за то, что онъ мнѣ показалъ, я все-же ему благодарна. Онъ все это пока держитъ въ секретѣ и говоритъ, что это только начало, азбука... Онъ надѣется дойти до изумительныхъ результатовъ... Онъ увѣрялъ меня, что уже другіе доктора, молодые, принадлежащіе къ новой школѣ, и вмѣстѣ съ ними специалистъ по нервнымъ болѣзнямъ, Шарко, начинаютъ додумываться до того, до чего додумался онъ... Онъ приходитъ въ экстазъ, когда говоритъ объ этомъ. По его словамъ, для науки откроется новая эра, когда будутъ признаны за дѣйствительность явленія магнетизма—и онъ вѣритъ, что не пройдетъ и пяти лѣтъ, какъ это совершится. Онъ говорилъ мнѣ: «Тамъ эти молодые доктора думаютъ, что они первые открываютъ какіе-то законы, какую-то силу. А все это давно уже извѣстно было нѣкоторымъ, только иначе называлось»...

Груня остановилась, а потомъ прибавила:

— Я тогда невольно много, много обо всемъ этомъ думала и пришла къ тому, что всѣ старыя сказки—все это правда. Волшебство теперь становится наукой... Вотъ и твой дядя! Въ Парижѣ доктора понемножку открываютъ вещи, которыя онъ уже давно знаетъ, и неужели ты не видишь теперь, что онъ съ этой особой сдѣлалъ какъ разъ то-же самое, что Берто на моихъ глазахъ дѣлалъ съ парижской Полеттой!!

Владиміръ былъ изумленъ и сильно заинтересованъ.

— Да,—сказалъ онъ, соображая:—конечно, конечно, это то-же самое. Но, послушай, вѣдь, если это такъ, хоть трудно этому вѣрится, то это Богъ знаетъ чѣмъ можетъ кончиться! Вѣдь, нервныхъ людей въ наше время сколько угодно, а ужъ нервныхъ дѣвушекъ и молодыхъ женщинъ—тѣмъ болѣе, такъ это какой-нибудь негодяй, знающій эти новооткрытые секреты, придетъ, повертитъ передъ тобою чѣмъ-нибудь блестящимъ, какъ

ты говоришь, и затѣмъ ты въ его власти,—ты его вещь. Онъ можетъ тобою распоряжаться...

— Конечно!

— Да, вѣдь, приводя человѣка въ такое состояніе,—продолжалъ Владиміръ:—можно заставить его совершить преступленіе... все что угодно!.. И онъ сдѣлается преступникомъ, воромъ, убійцей, отравителемъ—безсознательно.

— Я думаю, что это уже и бывало, даже навѣрное и не рѣдко...

— Мало-ли что бывало, и что можетъ быть на свѣтѣ,—проговорила въ раздумьи Груня.

Она все еще держала руку Владиміра. Комната-бонбоньерка была погружена въ розовый полусвѣтъ фонарика. Разставленные всюду цвѣты наполняли теплый, неподвижный воздухъ своимъ все будто усиливающимся прянымъ, раздражающимъ запахомъ.

XXIV.

Чего онъ требуетъ.

Владиміръ тряхнулъ головою, будто этимъ движеніемъ хотѣлъ отогнать отъ себя новыя мысли, вызванныя неожиданнымъ и долгимъ раздумьемъ Груни.

— Да,—сказалъ онъ:—все это очень, очень интересно, можетъ быть даже гораздо интереснѣе и важнѣе, чѣмъ кажется сразу. И, конечно, мы объ этомъ еще много разъ потолкуемъ съ тобой, Груня, и съ дядей я буду говорить объ этомъ непременно. Но теперь довольно. Будемъ говорить о другомъ. Мнѣ очень надо говорить съ тобою, Груня.

Онъ привлекъ ее къ себѣ и крѣпко обнялъ.

— Милый, говори о чемъ хочешь, я буду тебя слушать!—прошептала она, отдаваясь его ласкѣ.

— Когда наша свадьба, Груня?—спросилъ онъ.

Она вдругъ отшатнулась отъ него, взглянула на него изумленными, широко раскрывшимися глазами.

— Что? Что ты такое говоришь? Я тебя не понимаю,—прошептала она.

— Я спрашиваю тебя: когда наша свадьба?

Она продолжала все такъ-же изумленно глядѣть на него, пока, наконецъ, не увидѣла, по выраженію его лица, что онъ нетерпѣливо ждетъ отвѣта.

— Я никогда не буду твоею женою!—твердо и спокойно сказала она.—Я думала, что ты понимаешь это и никакъ не ждала отъ тебя такого страннаго вопроса...

— Какъ понимаю?! Какъ страннаго вопроса?—воскликнулъ онъ.—Что это значить? Что-же все это было, развѣ ты меня обманываешь? Развѣ ты меня не любишь?

— Какъ я люблю тебя—я объяснять этого не стану и потому что не могу объяснить, да и не нужно, это ты самъ можешь видѣть... я никого никогда не любила, кромѣ тебя и никогда не буду... Вѣдь, ты знаешь... Но не обижай меня, не считай меня способной на то, на что я неспособна... Во мнѣ, конечно, много дурного, но я все-же не такая... Я люблю тебя... я твоя... я не уйду отъ тебя, пока ты самъ этого не захочешь... но быть твоей женой... эта мысль не приходила мнѣ въ голову, и я никогда не способна допустить ее... Я не могу быть твоей женой и знаю это...

— А я тебя опять спрашиваю: когда наша свадьба?—перебилъ ее Владиміръ.

— Никогда и никогда!..

— Груня, да что съ тобой, наконецъ? Я тебя не понимаю. ты просто меня оскорбляешь... Если ты меня любишь, то должна была меня понять... ты должна была знать, что теперь я не иначе могу приходить къ тебѣ, какъ твоимъ женихомъ... и я не успокоюсь до тѣхъ поръ, пока мы не обвѣнчаемся.

Груня встала и сдѣлала нѣсколько шаговъ по комнатѣ. Лицо ея было грустно. Она молчала.

— Что-же ты не говоришь ничего? За что ты меня оскорбляешь?

Она остановилась передъ нимъ все съ тѣмъ-же грустнымъ лицомъ и тихо качнула головою.

— Ахъ, Володя, какъ ты еще молодъ!.. Володя!

Она порывистымъ движеніемъ опустила на колѣни и къ нему прижалась.

— Но если ты еще такъ молодъ, если ты еще такой фантазеръ—я уже не такъ молода... я уже немного понимаю жизнь и не допущу тебя до черезчуръ большихъ глупостей... Зачѣмъ-же ты хочешь заставить меня мучиться и страдать всю жизнь?

— Какъ? будучи женой моей, мучиться и страдать?—Спасибо, Груня!

— Не перебивай меня! Мучиться и страдать, видя какъ я тебѣ испортила всю жизнь, какъ я выбила тебя изъ колеи...

Онъ серьезно разсердился.

— Ты не имѣешь права такъ говорить со мною... Какъ можешь ты мнѣ испортить жизнь? Да и знаешь-ли ты, какъ я смотрю на жизнь и чего я отъ нея желаю?

— Фантазіи... фантазіи, Володя!

И говоря это, она его горячо цѣловала.

— Да и, наконецъ, я о себѣ думаю: я—Груня, и до тѣхъ поръ только могу спокойно жить, пока остаюсь Груней. Моя жизнь, если только ты не перестанешь любить меня, можетъ быть очень, очень счастливой и блестящей, и многія мнѣ позавидуютъ... Но садиться не на свое мѣсто, очутиться въ обществѣ, съ которымъ у меня нѣтъ и не можетъ быть ничего общаго...

— Мнѣ кажется,—перебилъ ее Владиміръ:—что прежде всего общаго у тебя съ нимъ—я.

— Совсѣмъ не то...—и она опять его поцѣловала.—Не лови меня на словахъ, а лучше слушай, что я тебѣ говорю. Пойми, что это очень серьезно, пойми, я не могу, я не хочу сѣсть не на свое мѣсто, я не хочу быть вороной въ павлиньихъ перьяхъ. Я слишкомъ самолюбива... Ты меня еще мало знаешь...

— Но пойми и ты! — воскликнулъ онъ, даже отстраняя ее отъ себя рѣзкимъ движеніемъ.—Пойми и ты, что теперь ты можешь быть только моею женою... и если ты этого не понимаешь... если ты отказываешься, такъ знай, что ты отравила меня. Ты меня считаешь ребенкомъ... ты меня считаешь какой-то свѣтской дрянью, однимъ изъ этихъ господчиковъ, которые каждый день звонятъ у дверей твоихъ!.. Я думалъ, Груня, что ты поняла меня... а если и не поняла, то хоть почувствовала, по крайней мѣрѣ... Я думалъ, что мнѣ не придется объяснять тебѣ себя, а вотъ приходится... ну, такъ знай, что я требую... слышишь—требую отъ тебя окончательнаго отвѣта — когда наша свадьба?.. Или ты хочешь, чтобы я подумалъ, что я въ тебѣ обманулся, что я тебя не такъ понялъ... Что-нибудь одно: или ты меня дѣйствительно любишь, или это... это счастье, которое ты мнѣ подарила, только капризъ съ твоей стороны...

Глаза ея блеснули. Она такъ стиснула себѣ руки, что хрустнули пальцы.

Онъ продолжалъ все горячѣе и горячѣе:

— Если ты меня дѣйствительно любишь, я долженъ быть для тебя все... слышишь, все... другой любви мнѣ не надо... Я не хочу тебя раздѣлять ни съ кѣмъ и ни съ чѣмъ! Нѣсколько дней тому назадъ, я не имѣлъ на тебя никакого права... Я не смѣлъ вмѣшиваться въ твою жизнь и долженъ былъ выносить все, хотя про то я знаю, чего мнѣ это стоило... Теперь ты дала мнѣ надъ собою всѣ права, дала сама и я говорю тебѣ — этой жизни больше не должно быть! Ты ошибаешься, думая, что это твоя настоящая жизнь, что ты къ ней предназначена... ошибаешься... тебѣ предстоитъ совсѣмъ другое. Ты должна быть

женщиной, которую-бы всякій уважалъ... Къ тебѣ никто не долженъ смѣть подойти съ такимъ взглядомъ, съ какимъ теперь подходятъ эти господа... Ты сдѣлаешься тѣмъ, чѣмъ должна быть, чѣмъ быть имѣешь право...

— А прошлое? Вѣдь, его не сотрешь...—прошептала Груня.

— Груня, дорогая моя!—воскликнулъ онъ, сжимая ея руки.—Этимъ-то прошлымъ ты и доказала—кто ты... Другая на твоёмъ мѣстѣ, среди этой грязи, одна, безъ поддержки, окунулась-бы въ эту грязь... а ты осталась среди нея чистой... И послѣ этого ты смѣешь отказываться идти за мною! Дѣлить мою жизнь! Я не хочу больше слышать этихъ звонковъ... я не хочу видѣть этихъ лицъ, эту комнату съ цвѣтами, этихъ присылаемыхъ тебѣ букетовъ, записочекъ, этой твоей Кати...

— Такъ ты хочешь невозможнаго!.. Вѣдь, я пѣвица...

— Да, ты пѣвица и останешься ею... Но, вѣдь, ты мнѣ сказала, что въ этотъ послѣдній концертъ ты пѣла для одного меня... Я не намѣренъ запираить тебя въ комнату и только одинъ слушать твой чудный голосъ, пусть его слушаютъ всѣ, кто захочетъ и можетъ придти къ намъ... Но не надо этихъ подмостковъ... не надо сцены!.. Что-нибудь одно—или я, или все это.

Груня стояла совсѣмъ растерянная и съ изумленіемъ на него глядѣла. Конечно, она никогда не могла себѣ представить, что онъ будетъ такъ говорить. Она видѣла, что совсѣмъ его не знала.

— Да, вѣдь, это что-же... это, наконецъ... деспотизмъ!—готовая не то улыбнуться, не то заплакать, прошептала она.

Между тѣмъ, онъ совсѣмъ уже владѣлъ собою.

— Если хочешь—деспотизмъ!—спокойнымъ и твердымъ голосомъ сказалъ онъ.—Я проклиная себя за свою слабость, еще болѣе проклиная себя за мою вину передъ тобою, за то, что я допустилъ въ себѣ несправедливыя относительно тебя мысли, что я вопреки тому, что чувствовалъ на тебя глядя, съ ужасомъ и страхомъ представлялъ себѣ твое прошлое... Но я постараюсь всей моей жизнью, если ты меня любишь, искупить эту мою вину... Да, если ты меня любишь: въ этомъ весь теперь вопросъ, и ты должна мнѣ отвѣтить.

— Ты хочешь, чтобы я отказалась отъ сцены и концертовъ... да? Такъ я тебя понимаю?

— Да,—сказалъ онъ:—это необходимо.

— Но, вѣдь, это жестокость съ твоей стороны... Сцена—мое призваніе, цѣль моей жизни!

Мрачное выраженіе скользнуло по его лицу.

— Цѣль твоей жизни—что? Искусство или собирающаяся вокругъ тебя толпа?.. Отъ искусства я не отдаляю тебя, оно

будетъ отрадой нашей жизни. Но между толпой и мною ты должна выбирать...

— Ты требуешь отъ меня такой жертвы, что я... я сомнѣваюсь совсѣмъ въ любви твоей...

— Я требую отъ тебя жертвы, большой, серьезной жертвы. Мое требованіе кажется тебѣ жестокимъ, эгоистичнымъ, безсмысленнымъ... все, что угодно... Если твоя любовь ко мнѣ — капризъ, вспышка пламени, который долженъ скоро потухнуть — ты права. А если твое чувство не капризъ, не вспышка, если оно для тебя все и на всю жизнь, — тогда эта жертва тебѣ должна казаться легкой и ты мнѣ принесешь ее... Ты говоришь: я ребенокъ — это неправда! Если-бы я былъ ребенкомъ, ты изъ меня могла-бы сдѣлать все, что хочешь и ужъ, конечно, я-бы теперь не ушелъ отъ тебя, потому что каждая минута, когда ты не со мною, для меня теперь тягость, потому что вся душа моя къ тебѣ рвется, Груня!

Онъ прижалъ ее къ груди своей, онъ покрывалъ лицо ея поцѣлуями; но вдругъ оторвался отъ нея и опять заговорилъ:

— А теперь, прощай! Я уйду и не вернусь къ тебѣ до тѣхъ поръ, пока ты не рѣшишь моего вопроса...

— Сумасшедшій! — воскликнула Груня: — да что это, въ самомъ дѣлѣ, съ тобою? Успокойся!

— Я спокоенъ!

Она засмѣялась.

— Это и видно!

— Я спокоенъ, по крайней мѣрѣ, настолько, чтобы знать, чего мнѣ надо... Я не могу быть иначе, какъ твоимъ мужемъ... слышишь, не могу... не способенъ... Или все... или ничего!..

И съ этими словами, несмотря на всѣ ея просьбы остаться, онъ простился съ нею и уѣхалъ.

Она долго не могла придти въ себя. Онъ поразилъ ее, разстроилъ. Онъ поднялъ въ ней самый трудный вопросъ, задалъ ей большую загадку — что это? Вспышка или нѣтъ. Она должна его успокоить, вѣдь, это все безуміе — о чемъ онъ говорить, чего онъ требуетъ. Развѣ мало она думала обо всемъ этомъ? Не можетъ она испортить ни его, ни своей жизни... Но, вѣдь, въ словахъ его много правды. Однако, какое-же право имѣетъ онъ требовать, чтобы она отказалась отъ сцены, отъ своего голоса, отъ цѣли своей жизни. Что-же она безъ этой сцены, безъ этихъ успѣховъ? Нѣтъ, это вспышка, ревнивая вспышка, и ничего больше. Да, это только ревность, но она успокоить его, онъ образумится, увидитъ, что требуетъ невозможнаго...

«А если нѣтъ — что тогда?» На это она не могла себѣ отвѣтить.

Она даже негодовала на него. Она сердилась, ее возмущала

этотъ быстрый отъѣздъ его... Но она чувствовала одно, что любить его всѣмъ существомъ своимъ, любить до обожанія...

XXV.

Кризисъ.

Прошло двѣ недѣли. За это время Груня еще разъ принимала участіе въ концертѣ и съ неменьшимъ противъ прежняго успѣхомъ.

Ея жизнь, повидимому, нисколько не измѣнилась, по крайней мѣрѣ времяпровожденіе было все то-же. Съ утра раздавались звонки, являлись неизбѣжныя лица. Два раза пріѣзжалъ къ ней тотъ самый старикъ, отъ котораго, главнымъ образомъ, зависѣло ея поступленіе на оперную сцену.

Этотъ вопросъ уже былъ почти рѣшенъ. Старикъ оказался совсѣмъ ею очарованнымъ, хотя она и держала себя съ нимъ очень осторожно. Ей казалось даже, что она держитъ себя черезчуръ холодно и строго. Но дѣло въ томъ, что ея понятія о холодности и дѣловитости—были понятія артистки. Они установились годами ея скитальческой жизни, постоянныхъ столкновений съ назойливыми посѣтителями; что было-бы для женщины, не имѣющей никакого отношенія къ сценѣ, даже черезчуръ большою любезностью, то Грунѣ казалась холоднымъ обращеніемъ. Владиміръ понималъ это, но она еще понять не могла.

Съ Владиміромъ она видѣлась за это время всего три раза, не считая встрѣчи въ концертѣ. Онъ пріѣзжалъ къ ней нарочно въ такой часъ, когда былъ увѣренъ, что встрѣтитъ у нея кого-нибудь. Ей не удалось съ нимъ сказать почти ни одного слова наединѣ. Она писала ему, и онъ отвѣчалъ ей. Въ его письмахъ можно было найти большую нѣжность; но въ то-же время эту нѣжность заслонялъ сдержанный тонъ. Онъ продолжалъ стоять на своемъ. Онъ требовалъ отъ нея окончательнаго отвѣта на заданные имъ вопросы.

Всѣ ея попытки образумить его пока ни къ чему не приводили. Она крѣпилась, не показывала вида, но въ то-же время мучилась и волновалась. Она прошла черезъ всѣ фазы надежды, недоумѣнія и негодованія, почти отчаянья.

Что-же это значитъ? Или онъ ее не любитъ? Онъ не дожить ей?! Его нѣтъ, его не влечетъ къ ней!.. Да, онъ ею пренебрегаетъ... Такъ можетъ поступать и въ такое

время, въ первые дни побѣдившей страсти, только челоѣкъ, который не любитъ... Что-же это было?! Значить, она въ немъ обманулась?..

Она то и дѣло пересчитывала два, три коротенькихъ, полученныхъ отъ него письмеца, гдѣ онъ такъ рѣзко стоялъ на своемъ, и объявлялъ ей, что ни за что не прїѣдетъ къ ней со своей любовью иначе, какъ получивъ ея согласіе на ихъ бракъ и на всѣ условія, какія онъ соединилъ съ этимъ.

«Значить, онъ меня не любитъ!» — трепеща отъ негодованія и ужаса, говорила себѣ Груня.

Но тутъ-же, въ этихъ рѣзкихъ письмахъ, она находила два, три слова, которыя шли прямо къ ея сердцу и громко, явственно говорили, что онъ ее любитъ.

Эти два, три слова, невольно вырвавшіяся изъ подъ его пера, не могли лгать. Онъ былъ полонъ ею. Въ ней заключалось теперь для него все, весь смыслъ жизни. Молодая страсть была въ немъ ключемъ. Онъ рвался къ ней, онъ ходилъ цѣлый день разсѣянный.

Какъ нарочно въ это время ему была поручена большая служебная работа и онъ долженъ былъ напрячь всѣ свои силы, чтобы заняться. Онъ достигъ своего — окончилъ работу къ назначенному сроку, но когда послѣднее слово было имъ написано, онъ сейчасъ-же и забылъ то, чѣмъ занимался. Груня выполняла его опять всецѣло. Почти каждый день вечеромъ, когда онъ зналъ, что Груня одна, что она ждетъ его, его можно было видѣть вблизи отъ Троицкаго переулка. Онъ шелъ къ ней или ѣхалъ. Онъ доѣзжалъ или доходилъ до самаго ея дома. Но каждый разъ пересиливалъ себя—и возвращался.

Это было въ немъ не упрямство. Онъ никогда не отличался упрямствомъ. Но въ немъ теперь выказывалась одна изъ основныхъ чертъ его характера, которую можно было подмѣтить у него еще въ раннемъ дѣтствѣ. Онъ рѣшилъ, что долженъ такъ поступить, что долженъ непременно добиться своего, чувствовалъ, что правъ, таково было его убѣжденіе. А разъ у него являлось какое-нибудь убѣжденіе — его можно было измучить, истерзать, подвергнуть какой угодно пыткѣ, испортить всю его жизнь—и все-же онъ не былъ въ состояніи сдаться. Онъ не могъ поступить вопреки этому, сложившемуся въ немъ убѣженію.

Если-бы всѣ подозрѣнія и мучительныя, ревнивыя мысли, отъ которыхъ онъ не могъ избавиться со времени встрѣчи съ Груней и до памятнаго ему на всю жизнь вечера послѣ ея концерта, оказались основательными, если-бы въ ея прошломъ были увлеченія, какая-нибудь серьезная любовь, связь—онъ, конечно, думалъ-бы и чувствовалъ теперь иначе. Онъ былъ-бы несчастливъ,

[illegible][illegible]

Они жили такъ, конечно, иначе, жили самодержавными властителями; но тѣ времена исчезли. Наступило время новое, и надо будетъ жить по-новому, будетъ жить работникомъ.

Ему уже представлялась широкая, здоровая и разумная деятельность... Его разстроено, все залужено; отъ прежняго громаднаго богатства предковъ у него остаются только крохи. Но крохи все же остаются, и онѣ могутъ помочь ему понемногу, конечно съ большимъ трудомъ, съ большими усиліями, поддержать старое, приходящее въ крайнее разрушеніе гнѣздо. Конечно, никогда оно не разростется въ прежнемъ величіи; но онъ все же можетъ, хотя и въ иномъ совсѣмъ видѣ, хотя и въ скромнѣйшихъ размѣрахъ, но заново его устроить, на твердой почвѣ,

оградить его отъ бурь и грозъ переходнаго непостояннаго времени, положить основу твердому и незыблемому благосостоянію будущихъ поколѣній его рода... Бояринъ Горбатовъ, сильный и могучій своими наслѣдственными правами, своею властью, исчезъ на-вѣки; но должны создаваться новые Горбатовы и должны они создавать себя уже не въ силу какихъ-нибудь правъ, а своей собственной неустанной работой, согласно съ новыми условіями жизни. На новыхъ основаніяхъ должны созрѣвать ихъ значеніе и вліяніе—и если созрѣютъ, то ужъ ничто не пошатнетъ ихъ...

Старое, широко вѣтвистое дерево рухнуло, но еще вопросъ—сохранились-ли его корни, и надо доказать, что корни живы, надо доказать, что изъ этихъ живыхъ корней могутъ выйти новые и роскошные побѣги...

Земля, брошенная съ пренебреженіемъ или съ отчаяніемъ разореннымъ сословіемъ, одна только можетъ снова собрать, сплотить это упавшее сословіе, превратить его изъ чего-то жалкаго, забитаго, прсниженнаго, какъ-бы даже незаконнаго — въ гордую и живую илу...

Владиміръ изумлялся, какъ это до сихъ поръ не приходили ему въ голову всѣ эти мысли. Зачѣмъ онъ понапрасну потерялъ столько дорогого времени! Зачѣмъ томился здѣсь нѣсколько лѣтъ во вредной ему атмосферѣ, отдавая свои силы дѣду; въ пользу котораго самъ не вѣрилъ... Онъ не могъ еще сообразить, что эти мысли, желаніе и рѣшеніе явились у него вовсе не вдругъ, что они мало-по-малу и неслышно, но уже давно въ немъ назрѣвали, и что теперь, вслѣдствіе внутренняго, происшедшаго въ немъ кризиса, онъ только вышли наружу и объяснились.

«Вотъ цѣль, вотъ задача, вотъ смыслъ моей жизни!» — думалъ онъ.

И эта жизнь, да еще съ любимой женщиной, представлялась ему въ самыхъ заманчивыхъ краскахъ. Вся его молодая сила, вся его страстность рвалась теперь къ этой жизни...

Онъ задумывался и надъ тѣмъ, не дѣйствительно-ли жестоко отрывать Груню отъ сцены, отъ успѣховъ. Но, вѣдь, онъ зналъ, чего, въ сущности, стоятъ эти успѣхи—нѣсколько лѣтъ—и затѣмъ—что-же останется отъ этихъ чарующихъ звуковъ, имѣющихъ только смыслъ, пока они льются. Вѣдь, вотъ-же пришла какая-то болѣзнь горла—и чуть само-собою все не рушилось. Кто можетъ поручиться, что болѣзнь эта не вернется снова?!

Къ тому-же для него было ясно, что взамѣнъ этой блестящей, тревожной и нездоровой жизни онъ дастъ Грунѣ гораздо больше, дастъ жизнь именно здоровую. Вѣдь, она сама—существо, оторванное отъ почвы, вѣдь, въ ней самой много связующихъ нитей съ землею, съ русской землею, съ русской деревней. Эта родная

земля, когда она къ ней вернется, только дастъ ей новыя, живыя силы. Пройдетъ немного лѣтъ—сама-же Груня будетъ ему благодарна. Да и, наконецъ, вѣдь, это дѣйствительно вопросъ ея любви къ нему. Если любовь сильна—она побѣдитъ, не онъ заставитъ ее рѣшиться—ея собственное сердце заставитъ. А если это не та любовь, какую онъ ждетъ отъ нея, на какую рассчитывается, тогда что-же? Имѣеть-ли право онъ ее бросить, бросить послѣ всего, что случилось?!

Но ему казалось яснымъ, что въ такомъ случаѣ не онъ ее броситъ, а она сама заставитъ его уйти. И онъ уйдетъ съ разбитымъ сердцемъ. Потому что (онъ твердо былъ увѣренъ въ этомъ) не можетъ онъ разлюбить ее ни въ какомъ случаѣ. А главное, онъ зналъ, что играть ту роль, какую она его играть какъ-бы заставляетъ, онъ не въ силахъ и не долженъ. Онъ, свободный, ничѣмъ не связанный человѣкъ, онъ любитъ Груню, онъ ей довѣряетъ и по всему этому онъ не можетъ, что-бы тамъ ни было, поступать иначе, какъ поступаетъ. Но онъ старался выдти побѣдителемъ изъ этой борьбы. Онъ вѣрилъ, молодой и смѣлой вѣрой, въ то, что Груня его по-настоящему любить, что она легко перенесетъ ради этой любви всѣ жертвы, какія онъ отъ нея требуетъ. А потомъ, эти жертвы превратятся въ счастье, настоящее и прочное.

Онъ рѣшилъ, что весь вопросъ во времени, и какъ ни было тяжело, онъ выдерживалъ, представляя ей самой во всемъ разобратся. И когда по вечерамъ, дѣлая надъ собою послѣднія усилія и отходя отъ ея подъѣзда, онъ готовъ былъ почестъ себя самымъ несчастнымъ человѣкомъ, когда томленіе, тоска, неудовлетворенность, страстная потребность ея присутствія, ея ласки туманили ему голову,—онъ все-же находилъ въ себѣ силу успокоить себя такой мыслью:

«Когда-нибудь ты поймешь, чего мнѣ все это стоило, когда-нибудь скажешь мнѣ спасибо за то, что и тебя, и себя я такъ мучилъ—вѣдь, для тебя-же»!

Софья Сергѣевна дошла до послѣдней степени негодованія: она узнала, что подъ однимъ кровомъ съ нею находится «эта преступница, *cette horrible et dégoûtante personne*», то-есть Елена. Вмѣсто того, чтобы ее сейчасъ-же выгнать и немедленно, вмѣстѣ съ ея негодяемъ отцомъ, сослать въ Сибирь (Софья Сергѣевна думала, что это очень легко сдѣлать), ее оставили въ домѣ. Тетка и сестра ухаживаютъ за этой отвратительной интриганткой—до чего-же это дошло! Ей даже начинало казаться, что все это дѣлается просто нарочно, ей на зло...

Она заперлась въ своихъ комнатахъ, ее никто не видѣлъ, пока Елена находилась въ домѣ.

Между тѣмъ относительно «Кокушкиной жены» все было устроено. Николай Владиміровичъ, какъ старшій, находящійся на лицо представитель семьи, написалъ Кашиной въ Москву, объяснилъ ей случившееся, спрашивая ея совѣта. Въ этомъ письмѣ онъ не пожалѣлъ князя, но пожалѣлъ Елену, сдѣлавъ все, чтобы выставить ее жалкой, нуждающейся въ помощи жертвой.

Кашина не замедлила отвѣтомъ. Она писала и Николаю Владиміровичу, и самой Еленѣ. Она, видимо, была поражена, сильно негодовала, не была склонна такъ легко и сразу оправдать племянницу. Но все-же она находила, что въ настоящихъ обстоятельствахъ, и уже во всякомъ случаѣ на первое время, Еленѣ лучше всего пріѣхать къ ней, да и не одной, а съ маленькой Нетти, которую никакъ нельзя оставить въ Петербургѣ, пока тамъ ея отецъ.

Послѣ этихъ писемъ, поѣздка Елены была рѣшена. Николай Владиміровичъ съѣздилъ съ нею въ пансіонъ, Нетти взяли оттуда безъ всякихъ особенныхъ объясненій и затрудненій.

Между тѣмъ сама Елена оправилась гораздо скорѣе, чѣмъ можно было предположить. Этому способствовалъ Николай Владиміровичъ, больше его Марья Александровна, а больше ихъ всѣхъ Маша. Ея природная доброта выразилась въ эти дни съ особенной силой. Она ни на шагъ не отходила отъ Елены, бесѣдовала съ нею по цѣлымъ часамъ, избавила ее отъ очаянья и чувства стыда передъ самой собою, отъ ощущенія полного одиночества и безпомощности...

XXVI.

Новый благотворитель.

Маша рѣшила, что «мужественный» поступокъ Елены, то-есть ея появленіе у нихъ съ Кокушкиными деньгами, забранными ея отцомъ, снимаетъ съ несчастной, забитой и запуганной, такой еще молоденькой и мало развитой дѣвушки, всякую отвѣтственность. Она готова была почти считать ее героиней *en herbe* и совсѣмъ увлекалась ею. Къ этому присоединилась безпомощность Елены, болѣзненное и странное состояніе, въ которомъ она теперь была, наконецъ, ея оригинальная красота, ея великолѣпные глаза, въ первые два дня такіе дикіе, а теперь глядѣвшіе на Машу почти съ обожаніемъ.

Кончилось тѣмъ, что она просто полюбила «Кокушкину

жену». Елена-же такъ и ухватилась за нее всѣмъ своимъ существомъ. Для нея эта Маша, которую она прежде, при рѣдкихъ встрѣчахъ, считала почему-то очень гордой, была теперь олицетвореніемъ всѣхъ совершенствъ, была божествомъ.

Когда Елена и Нетти уѣзжали въ Москву и Маша съ Марьей Александровной ихъ провожали, новыя пріятельницы едва могли оторваться другъ отъ друга и обѣ неудержимо плакали. Елена общала писать подробно обо всемъ, о томъ, какъ ей будетъ житься у тетки, а Маша ей шептала:

— Если тебѣ будетъ очень нехорошо, тяжело, не скрывай отъ меня ничего и знай, что я всегда, всегда, что-бы тамъ ни было, готова помочь тебѣ!

И онѣ опять плакали и цѣловались. Глядя на подобные проводы, конечно, никто-бы не повѣрилъ, какого рода обстоятельства сблизили этихъ двухъ молодыхъ и красивыхъ особъ и что одна изъ нихъ преступница.

О князѣ Янычевѣ не было ни слуху, ни духу. Кто проѣзжалъ по Знаменской, могъ видѣть въ окнахъ квартиры наклеенные билетики. Квартира освободилась и отдавалась въ наемъ. Всю мебель уже куда-то вывезли. А князь ютился со своимъ хохломъ въ двухъ пыльныхъ и закоптѣлыхъ комнатахъ одной изъ второстепенныхъ петербургскихъ гостинницъ.

Николай Владиміровичъ, не заставъ его въ день появленія Елены съ деньгами, написалъ ему нѣсколько строкъ, изъ которыхъ посторонніе, конечно, ничего-бы не поняли. Но князю стало ясно, что Горбатовы не желали никакой огласки и даже готовы подать ему милостыню, какъ онъ про себя выразился, съ тѣмъ только, чтобы онъ исчезъ изъ Петербурга.

Исчезнуть изъ Петербурга ему самому хотѣлось; но онъ самъ не зналъ и не могъ себѣ представить, куда и какъ теперь исчезнуть, почти безъ денегъ. Вмѣстѣ съ этимъ въ немъ было такое смѣшеніе понятій, что прочтя письма и понявъ намекъ относительно «милостыни», онъ пришелъ въ бѣшенство, разорвалъ письмо въ клочки. Чтобы онъ, князь Янычевъ, пошелъ на такія сдѣлки! Чтобы онъ принялъ отъ нихъ подаеніе—и это послѣ его радужныхъ мечтаній о поѣздкѣ за границу на воды, на морскія купанья, о разыгрываніи роли *grand seigneur*! all! Ни за что!

Дочь!—онъ старался о ней не думать. Онъ даже былъ радъ, что она теперь исчезла, что онъ ее, во всякомъ случаѣ, долго не увидитъ. Онъ чувствовалъ, что попадись она ему теперь на глаза, онъ просто убьетъ ее...

Не думалъ онъ также и обѣ остальныхъ дѣтяхъ, не заглянулъ ни въ военную гимназію, ни въ пансіонъ Нетти, ни въ

институтъ. Онъ даже не зналъ, что Нетти уже въ Москвѣ вмѣстѣ съ Еленой

Чувствовалъ онъ себя съ каждымъ днемъ все хуже и хуже. Голова такъ тяжела, что иной разъ ее и поднять трудно, въ правомъ боку такъ и жжетъ, будто тамъ кипитъ что-то... Лицо его приняло темножелтый оттѣнокъ, какого прежде въ немъ не было.

Хохолъ не разъ тревожно поглядывалъ на своего пана, но утѣшалъ себя мыслью, что это не впервые. Придумаетъ что-нибудь панъ новое и поправится, станетъ здоровымъ.

Но какъ ни бился князь, какъ ни раскидывалъ мыслями, а придумать новаго ему ничего не удавалось. Между тѣмъ дни шли и вмѣстѣ съ ними выходили послѣдніе деньгѣ.

Князь теперь по цѣлымъ днямъ почти не вставалъ, лежалъ на желѣзной, не особенно чистой кровати своего номера.

Наконецъ, онъ самъ испугался.

«Что-же это со мною, никакъ мнѣ и въ самомъ плохо? Неужели умирать?.. Нѣтъ, ни за что!»

Онъ всегда боялся смерти, онъ всегда любилъ жизнь, какова-бы ни была она, и рассуждалъ такъ, что если она ужъ очень гадка, все-же остается возможность, что въ одинъ день, въ одинъ часъ, иногда въ одну минуту обстоятельства измѣнятся къ лучшему. «Хоть въ тюрьмѣ, лишь-бы только жить!—говорилъ онъ:—изъ тюрьмы можно выбраться, а изъ могилы уже не выберешься никакимъ образомъ!»

Явившаяся теперь мысль о возможности смерти подняла въ немъ послѣдній остатокъ силъ и энергіи. Онъ рѣшилъ немедленно, сейчасъ-же ѣхать въ Москву. Тамъ все-же совсѣмъ другое, тамъ все-же есть кой-какая родня, пріятели, люди богатые, со значеніемъ, авось кто-нибудь поддержитъ, авось что-нибудь мелькнетъ, выяснится. Вѣдь, это ужъ не въ первый разъ, что онъ является въ Москву безъ денегъ, въ безвыходномъ, повидимому, положеніи, и всегда что-нибудь устраивалось. Положимъ, никогда такихъ обстоятельствъ, какъ теперь, не бывало... но значитъ тѣмъ болѣе надо спастись.

На слѣдующее-же утро, въ сопровожденіи хохла, онъ ѣхалъ по Николаевской желѣзной дорогѣ...

Между тѣмъ Маша, проводивъ Елену, сейчасъ-же и почувствовала себя скучной и одинокой. Съ этой ея protégée дни проходили такъ быстро, незамѣтно, полные неожиданнымъ интересомъ. Теперь-же она опять одна съ вопросомъ объ устройствѣ собственной жизни... Она вспомнила о позабытомъ ею изъ-за Елены о своемъ другѣ Барбасовѣ. Ей даже стало передъ собою стыдно за то, что она такъ ему измѣнила. Она уже собралась

было побывать у всѣхъ тѣхъ своихъ знакомыхъ, гдѣ могла его встрѣтить, но онъ предупредилъ ее. Онъ явился самъ.

Маша какъ-то зашла въ гостиную тетки и, къ изумленію своему и радости, увидѣла Барбасова, оживленно бесѣдовавшаго съ Марьей Александровной. Изъ нѣсколькихъ фразъ она поняла въ чемъ дѣло.

Барбасовъ поступилъ въ одно изъ благотворительныхъ обществъ Марьи Александровны и теперь развивалъ передъ нею свои взгляды на дѣло благотворительности, объяснялъ способы къ примѣненію этихъ взглядовъ на практикѣ. Развивая свои планы, онъ говорилъ съ воодушевленіемъ и увлекательно, даже изрѣдка забывался и начиналъ шлепать губами, но тутъ-же спохватывался и поджималъ губы. Онъ дѣлалъ большія усилія, чтобы не давать воли своимъ рукамъ, то и дѣло порывавшимся жестикулировать.

Марья Александровна слушала его внимательно и повидимому съ большимъ удовольствіемъ. Она даже вынула изъ кармана свою записную книжку въ переплетѣ изъ слоновой кости, съ вырѣзаннымъ на ней гербомъ, и записывала золотымъ карандашикомъ все, что особенно ее поражало въ словахъ Барбасова.

Наконецъ, онъ остановился, истощивъ запасъ своего краснорѣчія и вдохновенія.

— Я былъ-бы очень счастливъ услышать ваше мнѣніе, Марья Александровна, обо всемъ этомъ? — сказалъ онъ, скромно склонивъ голову. — Это мои завѣтныя мысли, это давно уже мнѣ представлялось и я только искалъ случая подвергнуть мой планъ на усмотрѣніе болѣе чѣмъ я, компетентнаго человѣка... А кто-же компетентнѣе васъ можетъ быть въ этихъ вопросахъ, Марья Александровна...

— О! вы слишкомъ многое мнѣ приписываете, *monsieur* Барбасовъ! — замѣтила хозяйка.

— Во всякомъ случаѣ не я, а весь Петербургъ, все общественное мнѣніе... да я и въ Москвѣ уже былъ очень хорошо знакомъ съ вашей дѣятельностью...

Марья Александровна не остановилась на этомъ, а даже особенно поспѣшно проговорила:

— Вы меня очень, очень заинтересовали, *monsieur* Барбасовъ! Я вамъ выскажу откровенно все, что думаю. Мнѣ кажется вы нѣсколько увлекаетесь, вы не совсѣмъ знакомы съ практической стороной этого дѣла... если разбирать логически—*tout paraît très simple*, а на дѣлѣ совсѣмъ не то... Ахъ, Боже мой, да намъ каждый день приходится связываться съ такими затрудненіями!.. Я тоже въ первое время увлекалась, мнѣ казалось все легко... Но пятнадцать лѣтъ занимаясь этимъ дѣломъ, я поневолѣ должна была приучиться къ нему, понять его... *et maintenant je vois*

clair... pas d'illusions... Вы меня извините, что я говорю такъ прямо...

— Помилуйте!—подбирая губы и въ то-же время обмѣниваясь быстрымъ взглядомъ съ Машей, сказалъ Барбасовъ. — Je ne suis qu'un écolier. Я это очень хорошо понимаю, поэтому и прошу васъ принять меня въ науку... Я могу очень ошибаться; но я всегда радъ сознаться въ своихъ ошибкахъ... и будьте увѣрены только въ одномъ: если чѣмъ-нибудь я могу быть полезенъ — располагайте мною...

Марья Александровна ласково на него взглянула.

— Вы не дали мнѣ досказать, monsieur Барбасовъ, я сказала что вы немного увлекаетесь... Но въ вашихъ планахъ, мнѣ кажется, нѣтъ, не кажется, а я увѣрена, есть новыя и замѣчательныя мысли; многимъ можно воспользоваться, очень многимъ! Если бы вы были такъ добры доставить маленькую записку... вкратцѣ, въ главныхъ чертахъ изложите въ ней то, что сейчасъ мнѣ говорили, пожалуйста!

— Съ большимъ удовольствіемъ!—воскликнулъ Барбасовъ:— тѣмъ болѣе, что такая записка у меня уже готова... только она нѣсколько пространна.

— Если готова, то чѣмъ пространнѣе, тѣмъ лучше.

— Такъ я завтра-же ее вамъ и доставлю..

И Барбасовъ опять взглянулъ на Машу.

— А послѣзавтра у меня засѣданіе общества, — сказала Марья Александровна: — и я попрошу васъ прочесть вашу записку. Вы сами увидите какое она произведетъ впечатлѣніе. Наконецъ вѣроятно найдется кто-нибудь и возразить вамъ на нѣкоторые пункты... Однимъ словомъ, ваши мысли подвергнутся подробному обсужденію... Alors c'est décidé?

— C'est décidé, madame!—поклонился Барбасовъ.

— Но только все-же я просила-бы васъ доставить мнѣ записку до засѣданія... мнѣ-бы такъ хотѣлось раньше прочесть ее.

— Завтра-же, завтра-же привезу ее вамъ...

— Въ это время, около пяти часовъ, я каждый день дома...

— А теперь я васъ не смѣю задерживать,—проговорилъ Барбасовъ и всталъ.

— Нѣтъ, вы еще останетесь немного!—вдругъ сказала Маша. — Мы съ вами такъ давно не видались, Алексѣй Ивановичъ... что новаго? Говорите... я все это время сидѣла дома, ничего не знаю...

Марья Александровна съ нѣкоторымъ изумленіемъ взглянула на племянницу. Но она вспомнила что Маша уже не разъ говорила ей о Барбасовѣ.

Однако, Барбасовъ все-же не засидѣлся. Онъ перекинулся съ Машей нѣсколькими фразами, а затѣмъ рѣшительно всталъ и уѣхалъ.

— Ты давно его знаешь?—спросила Марья Александровна.

— Конечно давно!—весело улыбаясь отвѣтила Маша.

Два года рѣдкихъ встрѣчъ въ Москвѣ ей вдругъ показались чуть-ли не вѣчностью.

— Мы большіе пріатели съ Барбасовымъ, ma tante! — прибавила она.—И я очень рада, если онъ вамъ нравится... Онъ замѣчательный человѣкъ!

— Конечно нравится!—сказала Марья Александровна.—Я не про наружность говорю, наружность у него нѣсколько странная...

Маша даже обиженно взглянула на тетку, но ничего не сказала.

— А что онъ замѣчательно умный и энергичный человѣкъ—это видно! Жаль, Маша, ты вошла слишкомъ поздно, онъ высказывалъ много интереснаго... Да вотъ, послѣзавтра, если хочешь присутствовать на засѣданіи, сама услышишь... И, вѣдь, онъ такъ недавно появился... прежде о немъ ничего не было слышно...

— Какъ не было слышно, ma tante?—вся вспыхнувъ воскликнула Маша.—Какъ не было слышно? Да, вѣдь, онъ былъ однимъ изъ самыхъ замѣчательныхъ адвокатовъ въ Москвѣ, о немъ во всѣхъ газетахъ кричали, наконецъ, онъ писалъ, его статьи производятъ всегда впечатлѣніе.

— Такъ онъ былъ адвокатомъ?! — не безъ изумленія проговорила Марья Александровна.—Je ne le savais pas... Однако, мнѣ его хвалили и графъ Ерзень, и Петръ Владиміровичъ... Ну-да какъ-бы то ни было я очень рада, что онъ вступилъ въ наше общество, такой способный человѣкъ... Онъ можетъ много принести пользы. А то, вѣдь, у насъ все только такъ, сидятъ въ засѣданіяхъ и молчатъ, а то и дремлютъ даже... Мнѣ необходимо помощникъ именно по этому обществу...

— Увидите, что вы въ Алексѣѣ Ивановичѣ такого помощника и будете имѣть!—съ жаромъ сказала Маша.

— Ты, ma chère amie, за него совсѣмъ горою... Алексѣй Ивановичъ—такъ его зовутъ?... Алексѣй Ивановичъ. (Она записала въ своей книжкѣ). Вы, кажется, съ нимъ не на шутку друзья?..

— Я этого и не скрываю,—весело сказала Маша.

XXVII.

Въ засѣданіи.

Съ этого дня Маша видѣла Барбасова очень часто, и для того, чтобы съ нимъ встрѣтиться ей уже не надо было искать его въ ей-нибудь чужой гостиной. Да и онъ съ своей стороны не

придумывалъ теперь разныхъ хитрыхъ и не хитрыхъ способовъ встрѣчаться съ нею, не караулить ее въ Эрмитажѣ или на улицѣ.

Прочитанная имъ въ горбатовской залѣ на засѣданіи записка произвела фуроръ, хотя, конечно, главнымъ образомъ потому, что Марья Александровна еще до открытія засѣданія, въ разговорѣ съ самыми вліятельными членами общества, горячо расхваливала и записку эту и ея автора. Къ тому-же Барбасовъ прочелъ великолѣпно, съ тѣмъ увлеченіемъ и мастерствомъ, съ какимъ обыкновенно произносилъ свои побѣдоносныя защитительныя рѣчи.

Даже тѣ изъ почетныхъ и дѣйствительныхъ членовъ общества какъ мужчины, такъ и дамы, которые имѣли обыкновеніе на засѣданіяхъ дремать, на этотъ разъ отказались отъ своей привычки. Не вдумываясь въ смыслъ того, что читалъ Барбасовъ и въ сущности вовсе не интересуясь этимъ, они слѣдили за его чтеніемъ, какъ за игрой актера. Съ этой знакомой имъ каведры до сихъ поръ никто такъ не говорилъ. Здѣсь обыкновенно читались самые однообразные отчеты—и только. А тутъ вдругъ, этотъ незнакомый, странный и некрасивый господинъ говоритъ звучнымъ, громкимъ голосомъ, безъ малѣйшаго смущенія и съ необыкновеннымъ апломбомъ!..

Барбасовъ даже отошелъ отъ своей записки; онъ вспомнилъ лекцію своего стараго московскаго профессора Никиты Крылова, и, подобно ему, въ подтвержденіе одного изъ своихъ выводовъ, пустился, такъ сказать, въ беллетристику — разыгралъ передъ благотворительнымъ обществомъ цѣлую сцену изъ дѣйствительной жизни, разыгралъ ее въ лицахъ. Онъ представилъ бѣдное семейство и поочередно превращался то въ одного, то въ другого изъ членовъ этого семейства, выказавъ при этомъ недюжинныя актерскія способности. Такая неожиданная выходка сначала всѣхъ поразила, но подъ конецъ имѣла успѣхъ.

Когда засѣданіе было закрыто, Марья Александровнѣ пришлось его представить почти всѣмъ дамамъ. Мужчины подходили къ нему, знакомились, поздравляли его, объявляли ему на разные лады, что его записка замѣчательна, что онъ затронулъ самые существенные и важные вопросы—и такъ далѣе.

Барбасовъ раскланивался и отвѣчалъ скромно и съ достоинствомъ...

Не прошло и недѣли, какъ онъ былъ выбранъ почти единогласно въ секретари общества и, такимъ образомъ, сдѣлался постояннымъ и близкимъ сотрудникомъ Марьи Александровны. Онъ просто разрывался на части, повсюду поспѣвая. Служебныя дѣла его шли самымъ блестящимъ образомъ. Вмѣстѣ съ этимъ онъ заводилъ нужныя и полезныя знакомства.

Между прочимъ, черезъ Марью Александровну, познакомился онъ и съ Бородинымъ и на него произвелъ хорошее впечатлѣніе, такъ какъ сразу доказалъ ему, что смыслить кое-что въ дѣлахъ и не новичекъ въ биржевыхъ спекуляціяхъ.

Къ тому-же Михаилъ Ивановичъ намѣчалъ для себя по всѣмъ вѣдомствамъ и министерствамъ подходящихъ полезныхъ людей и, найдя такого человѣка, имѣлъ обыкновеніе его приласкать, приголубить, оказать ему, при случаѣ нѣкоторыя услуги, въ полной увѣренности, что эти услуги не пропадутъ даромъ и вернутся къ нему съ большими процентами.

Въ число подобныхъ людей онъ сразу включилъ и Барбасова. Онъ даже представилъ его женѣ и дочери, позвалъ обѣдать и, при встрѣчахъ съ нимъ, былъ къ нему очень внимателенъ и крѣпко жалъ его руку...

Все свободное время, оставшееся отъ службы и поддерживанія полезныхъ знакомствъ, Барбасовъ проводилъ теперь у Марьи Александровны, работая съ нею по дѣламъ не только того общества, гдѣ былъ секретаремъ, но и цѣлыхъ трехъ обществъ. Такъ какъ онъ дѣйствительно былъ очень способенъ и находчивъ, и дѣло у него въ рукахъ кипѣло, а Марья Александровнѣ всегда приходилось возиться съ очень неудачными секретарями, то она была отъ него безъ ума и, при всякомъ удобномъ случаѣ, расхваливала его своему кузену и другу, князю Сицкому, такъ расхваливала, что тотъ даже имъ заинтересовался. Онъ навелъ кой-какія справки и, въ слѣдующій разъ, когда Марья Александровна опять стала хвастаться своимъ секретаремъ, замѣтилъ ей:

— А, вѣдь, онъ красненькій, совсѣмъ красненькій, матушка!.. Не только изъ нынѣшнихъ, а, такъ сказать, изъ завтрашнихъ.

Если-бы князь сказалъ это про кого-нибудь другого, то совсѣмъ уронилъ-бы такого человѣка во мнѣніи кузины. Но за Алексѣя Ивановича, (онъ уже былъ для нея теперь не *monsieur* Барбасовъ, а «нашъ Алексѣй Ивановичъ»), она заступилась и заступилась горячо.

— *Vous-vous trompez, mon ami, vous-vous trompez positivement!*— воскликнула она.— Тебѣ сказалъ кто-нибудь, да, и, конечно, изъ зависти!.. Я за моего секретаря ручаюсь, это самый благонамѣренный человѣкъ, *je vous assure—il est tout-à-fait dans nos idées...* Я давно собираюсь, а ужъ теперь непременно тебѣ его представлю—и тогда самъ увидишь...

Князь усмѣхнулся кончиками своихъ тонкихъ губъ и сказалъ, что радъ познакомиться съ такимъ рѣдкимъ явленіемъ, какъ протеже Марьи Александровны—рѣдкимъ явленіемъ, такъ какъ до сихъ поръ она никому не протежировала.

Барбасовъ былъ представленъ князю и имѣлъ честь бесѣ-

довать съ нимъ около часу. Князь любезничать, выкрикивалъ, видимо заинтересовался Барбасовымъ. Когда тотъ сталъ прощаться, князь безъ конца жалъ ему руку, отвѣшивалъ низкіе поклоны и довелъ его своей любезностью до того, что Алексѣй Ивановичъ, несмотря на свое самообладаніе, совсѣмъ растерялся и выскочилъ изъ гостиной весь красный, съ такимъ выраженіемъ въ лицѣ, какъ будто его высѣкли.

— Что-же ты скажешь, князь, о моемъ секретарѣ?—спросила Марья Александровна.

— Прекрасный, прекрасный молодой человѣкъ!—крикнулъ князь, изо всѣхъ силъ потирая свои руки,—*tout-à-fait dans mes idées...*

— Если не надуваетъ,—вдругъ прибавилъ онъ шепотомъ.

Марья Александровна опять разсердилась.

— Однако, ты становишься черезчуръ подозрительнымъ, это ужъ даже просто болѣзнь!—замѣтила она.

— Что дѣлать, что дѣлать!—отозвался князь, кривя ротъ въ усмѣшку и перемѣняя разговоръ...

Барбасовъ-же сталъ тщательно избѣгать князя и почувствовалъ къ нему глубокую ненависть, такую, какой вообще никогда и ни къ кому не чувствовалъ. Онъ понялъ, что князь его проникъ насквозь, и вдобавокъ передъ этимъ комичнымъ и страннымъ, даже болѣе комичнымъ, чѣмъ онъ самъ, человѣкомъ, онъ почувствовалъ себя, можетъ быть въ первый разъ въ жизни, вдругъ доведеннымъ до очень миниатюрныхъ размѣровъ. А съ такимъ превращеніемъ своей фигуры онъ никакъ не могъ помириться. Но князь ни словомъ, ни дѣломъ не повредилъ Барбасову.—Онъ просто, среди своей обширной дѣятельности, позабылъ о немъ, а Марья Александровна не напоминала больше...

По счастью Барбасова князь не принадлежалъ ни къ одному изъ обществъ Марьи Александровны, и потому онъ не встрѣчался съ нимъ на засѣданіяхъ. За то онъ постоянно, и на засѣданіяхъ, и внѣ ихъ, встрѣчался съ Машей. Она теперь тоже оказалась помощницей тетки, чѣмъ-то вродѣ неофициальнаго втораго секретаря, и у нея съ Барбасовымъ была всегда общая работа. Они сходились все ближе и ближе. Барбасовъ уже совсѣмъ былъ влюбленъ въ нее, насколько могъ, то-есть онъ окончательно отождествилъ ее со всѣмъ, что ее окружало и что должно было теперь скоро, какъ онъ надѣялся, принадлежать ему вмѣстѣ съ нею.

Она все еще не опредѣляла себѣ своего къ нему чувства. Ей прежде было съ нимъ хорошо, привольно и весело. Все что онъ говорилъ—ей нравилось. Она считала его самымъ замѣчательнымъ человѣкомъ, дѣятелемъ будущаго и радовалась, что онъ на всѣхъ производитъ хорошее впечатлѣніе, что имъ интересуются. Теперь

ея жизнь была полна и въ этой полнотѣ безспорно самое большое мѣсто занималъ Барбасовъ.

Но вотъ она стала замѣчать, это было въ концѣ великаго поста, что ея Алексѣй Ивановичъ какъ будто измѣнился. Онъ вовсе не такъ веселъ, даже иногда казался ей мрачнымъ. Иной разъ говоритъ, говоритъ—и вдругъ остановится будто поглощенный какою-то мыслью, не имѣющей ничего общаго съ предметомъ разговора. И такъ продолжается недѣлю, другую. Она растревожилась.

«Что съ нимъ такое? Можетъ быть у него какая-нибудь неприятность, какое-нибудь горе? Зачѣмъ онъ ей ничего не скажетъ? Онъ былъ всегда такъ откровененъ съ нею, повѣрялъ ей свои «завѣтные мысли». Она считаетъ его своимъ другомъ—и вотъ онъ отъ нея скрывается.

Эта мысль тревожила ее больше и больше и наконецъ она рѣшилась непременно узнать въ чемъ дѣло, заставить его откровенно ей признаться. Нѣсколько дней ей все не удавалось спокойно поговорить съ нимъ безъ постороннихъ. Наконецъ они какъ-то вечеромъ очутились рядомъ во время засѣданія одного изъ обществъ, не того, въ которомъ онъ былъ секретаремъ.

Они сидѣли въ большой залѣ нѣсколько поодаль ото всѣхъ, у колонны. Вокругъ нихъ было много незанятыхъ стульевъ. Дальше рисовались обычныя фигуры: два старика въ парикахъ и со звѣздами, нѣсколько юношей, сидѣвшихъ съ вытянутыми физиономіями, то и дѣло подносившихъ руку ко рту какъ-бы для того, чтобы покрутить усики, но въ сущности съ цѣлью скрыть невольный зѣвокъ. Какая-то старая дѣвица, вся высохшая и дряблая, съ длинной шеей, съ совсѣмъ плоской грудью, что-то такое записывала въ маленькую тетрадку, задавая этимъ неразрѣшимый вопросъ, что такое она могла записывать, такъ какъ впереди, за зеленымъ большимъ столомъ, гдѣ важно засѣдали члены совѣта, читался отчетъ, состоявшій изъ цифръ, фамилій вновь поступившихъ членовъ и жертвователей.

Далѣе виднѣлись двѣ некрасивыя молодая дѣвицы съ очень толстой дамой. Дѣвицы сидѣли чинно, вытянувшись въ струнку. Но ихъ маменька давно уже дремала, и когда она начинала уже совсѣмъ раскачиваться и клевать носомъ, тогда одна изъ дочекъ ее тихонько дергала за рукавъ. Маменька, широко раскрывая глаза, бессмысленно поводила ими вокругъ себя, а потомъ открывала лорнетку и глядѣла въ нее по направленію къ зеленому столу и членамъ совѣта.

Все было тихо, только раздавался однозвучный гнусливый голосъ секретаря, читавшаго отчетъ. Но вотъ что-то упало. Всѣ даже взоргнули и оглянулись. Это одинъ изъ старичковъ со

звѣздою мирно заснулъ и уронилъ шляпу. Онъ не проснулся и отъ паденія шляпы, а продолжалъ тихонько всхрапывать, сложивъ на толстенькомъ брюшкѣ руки и неимоვნно выпятивъ нижнюю губу...

Однимъ словомъ обстановка была самая удобная для откровенной бесѣды вполголоса и Маша этимъ воспользовалась.

— Алексѣй Ивановичъ,—сказала она,—придвиньтесь поближе и будемте говорить! Или, можетъ быть, вы интересуетесь тѣмъ, что тамъ читаютъ?

— Необыкновенно!—шепнулъ онъ, осторожно приподнявъ свой стулъ и придвинулся ближе къ Машѣ.

— Алексѣй Ивановичъ, знаете, вѣдь, вы себя очень нехорошо ведете!—тихонько говорила она.

— Я, нехорошо себя веду? Марья Сергѣевна, вы меня пугаете!

Онъ сдѣлалъ испуганную фізіономію.

— Я вовсе не шучу, я давно собиралась спросить васъ, что такое дѣлается съ вами?.. Вы въ послѣднее время измѣнились... Не скрывайтесь, и не вывертывайтесь, будьте достойны участія, которое вамъ выказываютъ... Скажите мнѣ, что такое съ вами случилось. Непріятность большая, какое-нибудь горе?! Я хочу знать...

Въ его глазкахъ, прикрытыхъ очками, засвѣтилась радость...

— Увѣряю васъ—со мною ровно ничего... никакого горя, никакой непріятности... Напротивъ, мои дѣла идутъ очень хорошо, до сихъ поръ, удачно...

Она нетерпѣливо и тихонько ударила ногой объ полъ.

— Вѣдь, я знаю... я вижу, что у васъ есть что-то особенное... Но если не хотите быть откровеннымъ—Богъ съ вами... извините мнѣ мою навязчивость...

— Марья Сергѣевна!—его голосъ дрогнулъ:—я не знаю, какъ благодарить васъ за это участіе! Хорошо, я буду совсѣмъ откровененъ съ вами... У меня нѣтъ ни горя, ни непріятностей, но нѣтъ и счастья... И вотъ, если хотите, я тоскую по счастью.

— А кто-же счастливъ? Да и что такое счастье?—проговорила она.—Ваша жизнь полна, вы живете не даромъ, вы энергичны, дѣятельны, поставили передъ собою прекрасныя, разумныя цѣли и стремитесь къ ихъ достиженію, чего-же вамъ еще надо?

— Но вы забываете,—сказалъ онъ, и ей показалось, что въ тонѣ его шопота прозвучала грустная нота:—вы забываете, что я ужасно одинъ, Марья Сергѣевна! Съ дѣтства, съ тѣхъ поръ какъ себя помню... безъ родныхъ, безъ близкихъ людей...

«И я, вѣдь, одна, подумала Маша, и въ этомъ мы можемъ подать другъ другу руку».

Но она ему ничего не сказала.

А онъ продолжалъ

— Прежде я ничего не замѣчалъ этого... Это меня не пора-
жало, мое одиночество казалось мнѣ естественнымъ, казалось,
что такъ и надо, иного я не зналъ. Но теперь, среди этой дѣ-
тельности, про которую вы говорите, среди нѣкоторыхъ успѣ-
ховъ, я начинаю мучительно чувствовать свое одиночество, а
впереди оно мнѣ кажется просто страшнымъ... Я такъ одинокъ,
что боюсь, какъ-бы это не заставило меня когда-нибудь вдругъ
опустить руки...

— Боже васъ избави! Вѣдь, вы знаете, что энергія и неустан-
ная работа для васъ—все!—проговорила она.—И, вѣдь, вы знаете,
что вы живете для пользы другихъ... Не противорѣчьте-же сами
себѣ!

— Все это такъ,—тоскливо отвѣчалъ онъ:—но, вѣдь, есть что-
то такое, что называется—сердцемъ... и у этого сердца есть права...

— И приходитъ время, когда оно ихъ заявляетъ...

— Кто-же вамъ мѣшаетъ?—Она тихонько улыбнулась.—Пусть
сердце говоритъ, а вы его слушайте... Вамъ нужна семейная
жизнь, если я понимаю... Такъ женитесь, Алексѣй Ивановичъ.

Она искоса на него взглянула.

— Женитесь,—повторилъ онъ.—Легко сказать!

И вдругъ у него, будто противъ воли, вырвалось:

— А если единственное существо, которое можетъ спасти
меня отъ одиночества и дать мнѣ возможное счастье, для меня
недостижимо?

— Значить, есть такое существо?—быстро спросила Маша.

Онъ ничего не отвѣтилъ, то-есть, отвѣтилъ ясно этимъ мол-
чаніемъ.

— Почему-же недостижимо?

Онъ, видимо, рѣшился. Его рука, державшая шляпу, дрогнула,
и онъ едва слышно прошепталъ:

— Потому что мы рождены въ различныхъ условіяхъ. Я чело-
вѣкъ безъ имени, безъ роду, безъ племени, просто работникъ...
а она... однимъ словомъ, мы не пара...

— Вы слишкомъ несправедливы къ себѣ, Алексѣй Ивановичъ!—
сказала Маша—и какъ-то оборвалась...

Она сама испугалась своихъ словъ. Она вдругъ поняла ихъ
смыслъ, поняла и то, что говорилъ Барбасовъ. Ея щеки вспых-
нули, она стала глядѣть въ сторону и уже не продолжала раз-
говора. Замолчалъ и онъ...

По окончаніи засѣданія, когда они прощались, она опять на
него не глядѣла. Она была разсѣянна, смущена, и онъ почувство-
валъ, какъ при пожатіи ея рука дрогнула въ рукѣ его.

«Скоро, скоро!—повторилось въ его мысляхъ.—Самое страшное осталось назади, самое трудное пройдено, скоро!»

Онъ едва скрылъ нахлынувшую на него радость, подходя къ Марьѣ Александровнѣ и съ трудомъ вслушиваясь въ то, что она говорила.

XXVIII.

Тѣнь прошлаго.

День свадьбы Григорія Николаевича Горбатова и Елизаветы Михайловны Бородиной былъ назначенъ. Бракосочетаніе должно было совершиться въ одной изъ домовыхъ и «модныхъ» церквей Петербурга.

Михаилъ Ивановичъ находился въ отличномъ настроеніи духа. Онъ самъ обо всемъ заботился и всѣмъ распоряжался. Разослано было множество приглашеній.

Изъ церкви новобрачные и всѣ гости проѣдутъ въ домъ Бородиныхъ, затѣмъ молодые проведутъ ночь тамъ-же, въ заново отдѣланномъ для нихъ помѣщеніи, а на слѣдующее утро уѣдутъ за границу.

Женихъ и невѣста имѣли самый счастливый видъ. Даже Надежда Николаевна Бородина, и та, подъ вліяніемъ счастливыхъ лицъ, ее окружавшихъ, забыла всѣ свои сомнѣнія и безпокойства и радостно хлопотала.

Даже въ домѣ Горбатовыхъ по случаю Гришиной свадьбы повѣяло непривычнымъ воздухомъ оживленія и веселья. Все приняло какой-то особенно праздничный видъ, прислуга ходила съ новыми торжественными лицами, и важный швейцаръ особенно величественно распахивалъ двери посѣтителемъ.

Но вдругъ въ старомъ горбатовскомъ домѣ появилась унылая фигура, видъ которой совсѣмъ не согласовался съ этими свѣтлыми днями. И появилась эта фигура какъ разъ за день до свадьбы Гриши. Это былъ никто иной, какъ самый старшій изъ находившихся въ живыхъ жильцовъ горбатовскаго дома, Степанъ, неизмѣнный спутникъ, слуга и другъ покойнаго Бориса Сергѣевича Горбатова.

Онъ еще въ январѣ мѣсяцѣ сильно затосковалъ и отпросился у Владиміра съѣздить въ Горбатовское, на могилку барина. Конечно, Владиміръ не сталъ прекословить и отправилъ старика въ сопровожденіи надежнаго человѣка, тоже изъ горбатовскихъ. Степанъ долженъ былъ вернуться черезъ мѣсяцъ, но въ Горбатовскомъ онъ разболѣлся и пріѣхалъ только теперь съ первыми весенними днями.

Владиміръ даже испугался, взглянувъ на старика, такъ онъ измѣнился за эти три мѣсяца. Онъ совсѣмъ съежился, спорбился. Голова трясется, глаза мутные. Владиміръ расцѣловалъ его и сталъ участливо спрашивать.

— Голубчикъ, что съ тобою, садись, милый, ты вѣрно очень усталъ съ дороги?

Степанъ сѣлъ въ кресло, вытеръ себѣ лицо платкомъ и съ любовной старческой улыбкой глядѣлъ на Владиміра.

— Да чего ты встревожился, золотой мой?—заговорилъ онъ.— Ничего со мною, живъ, видишь дотащился поглядѣть на тебя. Въ Горбатовскомъ, это точно, скружило меня сильно, думалъ, что ужъ и не встану... А вотъ, какъ солнышко повернуло на весну, ну и мнѣ легче сдѣлалось... Старъ я очень только, Володичка, вотъ что, да и сердце сосетъ...

— Какъ сосетъ?

— А такъ, сосетъ по покойничкѣ нашемъ... на его могилкѣ еще ничего—все будто съ нимъ, чувствую вотъ его около себя... а нѣтъ его по близости, и тошно становится, все къ нему тянется... Пора, давно пора... Да и не хорошо стало на свѣтѣ...

— Что такъ? Что-же особенно нехорошаго?

— А то, сударь Володичка, Горбатовское-то наше... не глядѣли-бы глаза мои!.. Домъ какъ есть въ разрушеніи, паркъ запущенъ... Ну, такъ вотъ сказать надо, камня на камнѣ не осталось, все пошло прахомъ... А народъ сталъ!

Онъ махнулъ рукою.

— И не думать лучше! Нѣтъ, нельзя намъ жить теперь, старымъ людямъ, видали мы другія времена... вотъ кто не видалъ ихъ, тому ничего, а намъ глядѣть на все нынѣшнее тошнехонько!

— Подожди умирать, Степанъ,—сказалъ Владиміръ:—потерпи немного, обѣщаю тебѣ, не въ шутку говорю, скоро мы съ тобою уѣдемъ въ Горбатовское, совсѣмъ уѣдемъ и оживетъ оно, какъ прежде...

— Хорошо-бы было!—съ глубокимъ вздохомъ проговорилъ Степанъ.

Но онъ не вѣрилъ словамъ Владиміра. Онъ зналъ навѣрное, что прошлое, то прошлое, которое было ему такъ дорого, не можетъ вернуться.

— А что это?—вдругъ спросилъ онъ.—Вѣдь, у насъ свадьба въ домѣ, Гришенька женится?

— А ты и не зналъ? Да, завтра свадьба.

— На Бородинской барышнѣ?

— Ну да!

Степанъ покачалъ головою.

— Чтс-же это ты такъ? Или ты недоволенъ Гришиной свадьбой?

— Недоволенъ—ишь что сказалъ!—шепнулъ Степанъ:—да развѣ мое это дѣло?

Но Владиміръ замѣтилъ, какъ лицо старика сдѣлалось совсѣмъ мрачнымъ, даже сердитымъ.

Степанъ поднялся съ кресла и, сгорбленный, видимо съ трудомъ передвигая ноги, вышелъ отъ Владиміра. Онъ прошелъ къ себѣ въ комнатку и долго сидѣлъ тамъ, обдумывая что-то.

«Нѣтъ, не смолчу!—вдругъ прошепталъ онъ, принявъ какое-то твердое рѣшеніе.—Не унесу я этой тайны въ могилу, да и барину я зарокъ не далъ»...

Передъ нимъ встало какъ живое давно, давно прошедшее время. Этотъ самый домъ, эта самая комната,—въ ней онъ и тогда еще жилъ. Господи Создатель, какъ давно это было, а вотъ будто теперь, сейчасъ! Сергѣй Борисовичъ,—барыня Татьяна Владиміровна, и молодые господа... Братъ отъ зависти погубилъ брата... Въ честную, знаменитую семью вошла измѣна, вошло преступленіе... барыня-злодѣйка Катерина Михайловна направила гнѣвъ Божій на этотъ домъ... Не пощадила она его славы, его вѣковой чистоты и величія... отъ нея все и пошло. И вотъ теперь, въ этомъ самомъ домѣ, въ библіотекѣ настоящаго барина, Сергѣя Борисовича, живетъ другой баринъ, внукомъ его считается—Николай Владиміровичъ Горбатовъ! А что въ немъ Горбатовскаго? «Нѣтъ, не могу, не унесу съ собой тайны!—шепчетъ Степанъ въ старческомъ негодованіи и ужасѣ за прошлое.

Старая голова его, на которую нависли, которую давятъ всѣ эти годы, уже не въ силахъ ясно мыслить, туманъ въ ней. И застѣла одна только мысль.

«Не унесу съ собою тайны!»

«Кому-же ее повѣдать?! Не ему, не этому барину, живущему въ библіотекѣ,—Богъ съ нимъ совсѣмъ! Онъ и такъ чудной и странный... Принесъ онъ другимъ горе, да и самъ живетъ несчастливцемъ... И за что это любилъ такъ его Борисъ Сергѣевичъ?! Кому-же повѣдать тайну? А вотъ кому—господину Бородину! Этого жалѣтъ нечего, хоть въ немъ и горбатовская кровь, что его жалѣтъ—экое, вѣдь, ему счастье привалило... Такъ нѣтъ, мало, на грѣхъ онъ пошелъ... поправить старое хочетъ... судьбу обмануть задумалъ—дочку за Горбатова выдаетъ.. Завтра свадьба... Кровнымъ родствомъ не смутился, лишь-бы передъ цѣлымъ свѣтомъ породниться съ Горбатовымъ... грѣховодникъ!»

«Завтра свадьба... А грѣха-то вотъ и нѣтъ никакого, не за Горбатова выдаешь дочку... вотъ и знай!»

Старикъ весь затрясся и, глядя на него, уже не оставалось никакого сомнѣнія въ томъ, что голова его нездорова.

Такъ онъ и просидѣлъ у себя въ комнаткѣ вплоть до вечера. А вечеромъ вдругъ одѣлся, взявъ въ руки толстую палку съ серебрянымъ набалдашникомъ,—подарокъ покойнаго Бориса Сергѣевича и, крѣпко на нее опираясь, вышелъ изъ дому. Онъ крикнулъ извозчика и велѣлъ везти себя на набережную...

Михаилъ Ивановичъ, веселый и довольный, сидѣлъ передъ своимъ огромнымъ письменнымъ столомъ, подписывая какія-то бумаги, когда его камердинеръ доложилъ ему, что Степанъ отъ Горбатовыхъ пришелъ и его спрашиваетъ.

«Степанъ, такъ онъ еще живъ, пріѣхалъ!»—подумалъ Михаилъ Ивановичъ и велѣлъ провести къ себѣ старика.

Михаилъ Ивановичъ хорошо зналъ Степана, зналъ его отношенія къ покойному Борису Сергѣевичу, зналъ, что онъ былъ повѣренный всей его жизни, что онъ, такъ сказать, живая хроника семьи Горбатовыхъ. Зналъ онъ также, что этотъ Степанъ принималъ дѣятельное участіе въ разыскиваніи пропавшаго мальчика, незаконнаго сына Владиміра Горбатова, то-есть, его самаго, Михаила Ивановича.

Онъ встрѣтилъ теперь старика со всѣми знаками почтенія, протянулъ ему даже руку, усадилъ его въ кресло.

— Радъ васъ видѣть, почтеннѣйшій, очень радъ! Я полагалъ, что васъ въ Петербургѣ нѣтъ.

— Нынче утромъ пріѣхалъ, сударь!—прошамкалъ Степанъ своимъ беззубымъ ртомъ, нѣсколько дико глядя на хозяина.

— И вотъ осмѣлился явиться къ вашей милости,—продолжалъ онъ:—поздравить съ семейной радостью!

— Спасибо, спасибо!—сказалъ Михаилъ Ивановичъ.

А Степанъ опять заговорилъ.

— Да коли соблаговолите меня выслушать, мнѣ кое-что и сказать вамъ надо, сударь.

— Что такое? Говорите, почтеннѣйшій...

— Только такъ, чтобы никто нашего разговора не слышалъ!—докончилъ старикъ.

«Это еще что такое?»—подумалъ Бородинъ, заперъ дверь и вернулся на свое мѣсто.

— Никто не услышитъ и не помѣшаетъ... Я слушаю.

Степанъ сидѣлъ спиной къ свѣту, и Михаилъ Ивановичъ не могъ хорошенько видѣть лица его, а то онъ навѣрное смутился-бы, увидя это дикое, какъ-бы злорадное выраженіе.

— Ушамъ я своимъ не повѣрилъ, какъ услышалъ, что вы, сударь, дочку свою выдаете за Григорія Николаевича.

— Почему-же это?—съ усмѣшкой спросилъ Михаилъ Ивановичъ.

— А какъ вамъ сказать, потому самому удивительно мнѣ стало, что вы грѣха не изволили побояться...

Какъ ни былъ хорошо настроенъ Бородинъ и какъ ни расположенъ онъ былъ, въ память покойнаго Бориса Сергѣевича и по своимъ личнымъ воспоминаніямъ, терпѣть странности этого старичка, но тутъ онъ не выдержалъ.

— Ну, ужъ это мое дѣло,—рѣзко сказалъ онъ:—и объ этомъ разговаривать намъ нѣчего...

— Та-акъ-съ!—протянулъ Степанъ:—такъ-съ точно, и съ моей стороны оно какъ-бы вашей милости дерзостью выходитъ... Я это очень понимаю... но извольте до конца выслушать... нешто осмѣлился-бы я придти къ вамъ, сударь, такъ сказать, съ упреками... Нѣтъ-съ... я хочу васъ успокоить... снять съ вашей души грѣхъ, чтобы онъ не лежалъ у васъ на совѣсти.

Глаза его блеснули, онъ задрожалъ и быстро проговорилъ.

— Богъ милостивъ, грѣха нѣтъ-съ... Григорій-то Николаевичъ по имени только Горбатовъ... и горбатовской крови въ немъ нѣтъ ни капельки...

— Что!?—не помня себя, вскрикнулъ Михаилъ Ивановичъ:—что такое за вздоръ еще?

Между тѣмъ Степанъ поднялся съ кресла и сталъ страшный съ помутившимися глазами, съ трясущейся головою.

— Не извольте такъ тревожиться... Что-же тутъ такого?... Кабы живъ былъ Борисъ Сергѣевичъ, они-бы сами при такомъ случаѣ вамъ сказали... А теперь вотъ я одинъ это дѣло знаю... съ собою-бы и унесъ на тотъ свѣтъ... да васъ, сударь, вотъ, захотѣлось успокоить... если въ случаѣ потомъ...

Михаилъ Ивановичъ перебилъ его:

— Говорите яснѣе, я ничего не понимаю...

— Старый грѣхъ... старый грѣхъ!—повторялъ Степанъ все съ тѣмъ-же злорадствомъ.—Извините, сударь, мужицкую грубую поговорку: «паршивая овца все стадо портитъ», вотъ что-съ... И въ горбатовскомъ честномъ родѣ такая овца завелась, все и испортила. Покойница Катерина Михайловна... сынокъ ея Николай Владиміровичъ, да не Горбатовъ, а коли хотите доподлинно знать кто онъ, то-есть отъ кого... графа Щапскаго, фамилію слышали?... Ну такъ вотъ-съ...

— Да это клевета! Это низкая сплетня и больше ничего!—воскликнулъ Михаилъ Ивановичъ.

— Я-бы такой клеветы и такой сплетни на моихъ господъ не принесъ къ вамъ... и напрасно вы меня обижаете... Да и знать должны, кажется, по прошлому, что мнѣ-то уже все, до семьи господской касающееся, хорошо извѣстно...

Но Михаилъ Ивановичъ уже владѣлъ собою. Онъ заставилъ Степана сѣсть.

— Такъ разскажете мнѣ подробно, ничего не выпуская, все, что знаете,—прошепталъ онъ.

Степанъ исполнилъ его желаніе, и его разсказъ, наполненный дѣйствительно мельчайшими подробностями, какъ всякій разсказъ старика о давно прошедшемъ времени, не могъ оставить въ Бородинѣ никакого сомнѣнія.

— Вотъ-съ какъ было дѣло!—заключилъ Степанъ съ глубокимъ вздохомъ, впадая послѣ неестественнаго, замѣчавшагося въ немъ возбужденія, въ большую старческую усталость:—вотъ-съ какъ было дѣло... все вамъ теперь извѣстно...

— Вы увѣрены, что никто, кромѣ васъ, объ этомъ не знаетъ?—собираясь съ мыслями, спросилъ Михаилъ Ивановичъ.

— Кому-же знать?—прошамкалъ Степанъ.—Покойникъ баринъ держалъ это въ тайнѣ, никто того не знаетъ. Я вотъ помру не нынче завтра, такъ только одни вы на всемъ свѣтѣ и знать будете... А теперь, сударь, извольте-ка приказать провести меня, притомился я, совсѣмъ притомился... да и въ покояхъ вашихъ заплутаюсь...

Михаилъ Ивановичъ нетвердой рукой придавилъ пуговку электрическаго звонка. Онъ приказалъ явившемуся человѣку проводить Степана, я самъ, по его уходѣ, сталъ быстрыми шагами ходить по комнатѣ.

«Никто не знаетъ! — шепталъ онъ, хмуря брови.—Нѣтъ, онъ знаетъ, конечно, знаетъ и въ этомъ объясненіе многому».

Онъ вспоминалъ, соображалъ. Онъ былъ теперь увѣренъ, что семейная тайна извѣстна Николаю Владиміровичу. Отъ этого вся странная перемѣна, въ немъ происшедшая, тутъ не одна несчастная любовь къ покойной женѣ Сергѣя... Тутъ именно эта открывшаяся тайна... Потому онъ и сталъ такой, почти помѣшанный... Поэтому онъ живетъ отшельникомъ, нелюдимымъ. Оттого-то онъ съ такой радостью и согласился на эту свадьбу...

Михаилъ Ивановичъ остановился, и мучительная усмѣшка скривила его губы.

«Да,—думалъ онъ,—вотъ въ чемъ дѣло!.. И онъ тамъ, въ старомъ родовомъ гнѣздѣ... онъ—Горбатовъ, а я»...

Онъ опустилъ голову.

«Какъ посмѣялась судьба и какъ теперь, теперь еще смѣется надо мною! Что я сдѣлалъ!.. Помогъ ему—и только. Мы сошлись на одной мысли... Чего я искалъ тамъ, того-же онъ искалъ здѣсь... Онъ нашель, а я все теряю и уже непоправимо!»

Несмотря на все свое самообладаніе, на всю твердость, онъ почувствовалъ, что слабѣетъ. Онъ схватился за голову и упалъ въ кресло.

Онъ думалъ теперь о томъ, что, вѣдь, могъ онъ остановить свой выборъ на другомъ молодомъ человѣкѣ, на Владимірѣ Горбатовѣ. Зачѣмъ-же онъ этого не сдѣлалъ, зачѣмъ онъ выбралъ Гришу? Чѣмъ тотъ хуже? Онъ немного страненъ, разсѣянъ, не практиченъ, плохо служить. Но, вѣдь, онъ еще молодъ, все можно было-бы поправить. Этого получить, конечно, было легче, онъ самъ напрашивался; но развѣ нельзя было и съ тѣмъ поладить, надо было только хорошенько взяться... И онъ—Горбатовъ настоящий, послѣдній Горбатовъ, который-бы исправилъ все, который-бо привелъ его къ намѣченной имъ пѣли... а этого!..»

Было мгновеніе, когда онъ даже сказалъ себѣ:

«Однако, вѣдь, еще свадьбы не было...»

Но онъ сейчасъ-же и понялъ, что все конечно, что идти назадъ невозможно, что уже черезчуръ поздно... Онъ хотѣлъ было успокоить себя тѣмъ, что, вѣдь, все-же Гриша въ глазахъ всѣхъ Горбатовъ. Этотъ полоумный старикъ Степанъ умереть, и никто ничего не будетъ знать. Но развѣ ему отъ этого легче! Вѣдь, ~~она~~-то знаетъ... Онъ былъ такъ спокоенъ, у него было такъ хорошо на душѣ, безумный старикъ пришелъ и отравилъ его... Да и наконецъ, почему, знать: онъ ничего никогда не слышалъ, ему никто не сказалъ, не намекнулъ, а можетъ быть много въ Петербургѣ знаютъ эту тайну. Развѣ можно поручиться, что этотъ графъ Щапскій, давно умершій, не выдалъ ее изъ ненависти къ семьѣ Горбатовыхъ, изъ ненависти, можетъ быть, даже къ своему сыну. Да, конечно, такъ оно и было, конечно, есть люди, которые это знаютъ, а если и позабыли, такъ вспомнить хотя-бы даже по случаю завтрашней свадьбы.

— Папа, можно войти?—послышался у двери голосъ Лизы.

— Нѣтъ, нельзя!—крикнулъ Михаилъ Ивановичъ.

Потомъ онъ всталъ, заперъ дверь на ключъ и до поздняго вечера сидѣлъ, не вставая съ мѣста, мрачный, въ сознаніи своего безсилія...

XXIX.

На свадьбѣ Гриши.

Теплый лунный вечеръ надъ Петербургомъ. Нева уже со-
всѣмъ очистилась ото льда и блеститъ своей широкой гладью,
по которой скользятъ ялики и время отъ времени, попыхивая
дымомъ и оставляя за собой расплывающійся слѣдъ, проходятъ
пароходы.

Воздухъ чистъ и прозраченъ. Каждый звукъ въ немъ получаетъ особенную ясность. Длинной извивающейся лентой, сливаясь и уходя въ даль, блестятъ газовой фонари. На западѣ еще свѣтло, мракъ ночи не въ силахъ одолѣть весенняго сѣвернаго неба... Еще будутъ не разъ холода и бури, еще не разъ появятся ладожскія льдины и, обгоняя другъ друга, пройдутъ мимо набережной... Еще посыплется снѣгъ, пожалуй, съ сѣраго, свинцоваго неба. Но теперь тепло и ясно, будто и не бывало никогда ненастья, будто весна твердою ногою стала на этихъ гранитныхъ берегахъ...

Къ дому Бородининыхъ, одна за другою, подъѣзжаютъ кареты. Весь домъ залитъ свѣтомъ. Оживленныя молодыя женскія лица показываются въ дверцахъ каретъ. Мигъ—и изящно обутая ножка ужъ на красномъ сукнѣ наряднаго подъѣзда... Веселыя дѣвушки, солидныя важныя дамы въ блестящихъ, только что прилетѣвшихъ изъ Парижа нарядахъ, важные сановники въ звѣздахъ и лентахъ, молодежь въ блестящихъ мундирахъ... Одни за другими, среди цвѣтушихъ кустовъ и мраморныхъ статуй, поднимаются гости по широкой лѣстницѣ. Оживленіе, улыбки, сдерживаемый молодой смѣхъ, отрывистыя фразы, французскій говоръ...

Всѣ собираются въ большую залу, залитую яркимъ огнемъ, слѣпительную въ своемъ роскошномъ и душистомъ убранствѣ. Гдѣ же молодые? Вотъ и они.

Гриша—красивый и изящный, лицо довольное, но въ то-же время полное спокойнымъ достоинствомъ. Лиза прелестна въ своемъ подвѣчномъ нарядѣ. Глаза ея такъ и горятъ, такъ и искрятся. Она чувствуетъ себя сосредоточіемъ всѣхъ взглядовъ, но не смущается этимъ. Она отвѣчаетъ милыми улыбками, любезными словцами на обращенныя къ ней привѣтствія знакомыхъ и полузнакомыхъ, подходящихъ къ ней съ бокаломъ шампанскаго.

Надежда Николаевна тоже оживлена и тоже находитъ любезные отвѣты на каждое привѣтствіе. Но въ ея лицѣ время отъ времени пробѣгаетъ что-то тревожное.

Она все кого-то ищетъ, какъ-будто глазами, въ окружающей ее толпѣ. Она ищетъ глазами своего мужа. Она не понимаетъ, что съ нимъ. Онъ совсѣмъ не тотъ, какимъ былъ въ послѣднее время. Онъ мраченъ, что-то скрываетъ... Но что можетъ онъ скрывать и что могло случиться?

Она терзается въ догадкахъ, ничего не находитъ и тревожится больше и больше. Вотъ она сейчасъ его замѣтила—какое у него лицо! Да онъ просто нездоровъ! Да, онъ боленъ! Въ этомъ яркомъ освѣщеніи она хорошо замѣтила его блѣдность. Онъ ей

показался даже постарѣвшимъ со вчерашняго дня. Онъ смѣется, хочетъ казаться спокойнымъ и довольнымъ, всѣмъ пожимаетъ руки. Никто въ немъ ничего не замѣтитъ, но ее-то, вѣдь, онъ не обманетъ... Что съ нимъ такое?!

И вся полная этихъ мыслей, она все-же продолжаетъ неустанно играть роль любезной хозяйки.

Вотъ къ ней подлетаетъ съ бокаломъ въ рукахъ сіяющій, расфранченный, съ лихо закрученными усиками Кокушка.

— По-поздравляю вашъ!—взвизгиваетъ онъ, громко чмокаетъ ея руку и расплескиваетъ на ея платье свое шампанское, а затѣмъ сейчасъ-же отлетаетъ въ сторону и кричитъ кому-то:

— А по-пошлушай, гра-графъ, поштой, погоди!

Кокушка счастливъ. Онъ уже выпилъ нѣсколько бокаловъ, пріятная теплота теперь разливается по его тѣлу...

Между тѣмъ менѣе часу тому назадъ въ церкви можно было замѣтить, какъ онъ вдругъ насупился и засопѣлъ. Онъ вспомнилъ свое собственное вѣнчанье.

«Вотъ это та-такъ швадьба!—думалъ онъ.—А меня какъ этотъ чортъ обвѣнчалъ! Штыдно и штрафъ только! Я го-говорилъ: ражвѣ когда-нибудь отъ такой бѣдной швадьбы, какъ моя, можетъ прокъ выйти... Вотъ теперь что шо мною шдѣлали! Же-женатъ, а гдѣ... гдѣ жена?»

Онъ покраснѣлъ и засопѣлъ еще больше.

«Уро-родъ, губа какъ у жайца!»

Ему изо всѣхъ силъ захотѣлось, чтобы его вотъ точно такъ обвѣнчали. Вдругъ лицо его просіяло, счастливая мысль пришла ему въ голову.

«Я ражведушь и опять женюшь и ждѣлаю точно такую швадьбу!.. Я им-имѣю право!..»

«А что вжялъ... чо-чортъ!—послалъ онъ мысленный привѣтъ своему тестю:—дудки!..»

Эта новая мысль совсѣмъ его успокоила, и онъ теперь былъ полонъ ею.

По пріѣздѣ изъ церкви онъ отыскалъ брата и сообщилъ ему о своемъ рѣшеніи.

— Во-Володя, вѣдь, это можно?

— Можно, конечно, только пожалуйста ты не проболтайся, не говори никому, вѣдь, никто и не знаетъ, что ты женатъ. А то если проболтаешься, то самъ себѣ все испортишь, будь-же благодаразуменъ!

— Ша-шамо шобою!—быстро проговорилъ Кокушка.—Что я жа ду-дуракъ, штану шрамитьша... А, вѣдь, хо-хороша швадьба? То-только моя еще лучше будетъ...

И онъ, съ новымъ бокаломъ въ рукѣ, помчался поздравить новобрачныхъ.

Владиміръ, бывший у двоюроднаго брата шаферомъ, такъ и сіялъ въ этотъ вечеръ. Никто не видалъ его никогда такимъ веселымъ. Дѣло объяснилось просто: онъ побѣдилъ Груню.

Музыкальный міръ Петербурга и поклонники пѣвицы съ изумленіемъ узнали, что прелестная Фіорини не будетъ пѣть ни въ итальянской, ни въ русской оперѣ.

«Да что-же это значитъ?.. Вѣдь, все было рѣшено почти... У нея такой чудный голосъ, она имѣла всю зиму такой успѣхъ.»

Кто-то сказалъ, что красавица-пѣвица совсѣмъ оставляетъ сцену, что она выходитъ замужъ.

— Неужели замужъ? За кого-же?

Но этого никто не зналъ, на-обумъ называли то одного, то другого. Однако, все было правдоподобно... Черезъ недѣлю, черезъ другую уже будутъ знать, за кого прелестная пѣвица выходитъ замужъ. Будутъ много говорить объ этой свадьбѣ, вырастутъ сплетни, клеветы, походятъ, походятъ эти сплетни по городу, да и заглохнутъ. Кому какое дѣло! Все въ этомъ городѣ забывается скоро, его ничѣмъ не удивишь, ни на чемъ долго не остановишь его вниманія...

А Владимиръ счастливъ! Онъ чувствуетъ себя совсѣмъ другимъ, новымъ человѣкомъ. Въ немъ нѣтъ ужъ той неловкости, неувѣренности, которую онъ всегда болѣзненно чувствовалъ, особенно въ многолюдномъ, шумномъ обществѣ. Въ первый разъ въ жизни онъ чувствуетъ подъ собой твердую почву, ясно и отчетливо все видитъ передъ собою. Еще мѣсяць-другой, и начнется настоящая жизнь. Онъ простится съ этими людьми, съ этими залами, съ этимъ холоднымъ, нелюбимымъ городомъ.

Въ Горбатовское! Въ Горбатовское! съ нею, съ Груней. Она согласна... Онъ въ ней не ошибся. Она его любитъ. Она уже не говоритъ ему теперь, что онъ требуетъ отъ нея чрезмѣрныхъ жертвъ, что онъ эгоистъ, деспотъ... Онъ увлекъ ее и теперь она сама ждетъ не дождется, когда очутится снова въ деревнѣ. Среди полей и лѣса, подъ здоровымъ дыханіемъ родной почвы, изъ которой она выглянула на свѣтъ и отъ которой чуть было навсегда не оказалась оторванной.

Въ деревню! Въ родную деревню! Подъ вѣчные своды и лѣса!..

И Владимиръ счастливъ. И широкое, наполняющее его чувство заставляетъ его теперь весело и любовно относиться ко всему и ко всѣмъ, къ этимъ людямъ, съ которыми у него нѣтъ ничего общаго, которые до сихъ поръ ему были и скучны, и просто неприятны... Вѣдь, онъ прощается съ ними.

Вотъ онъ замѣтилъ среди мелькающихъ лицъ сестру Софи и невольно взглянулъ въ лицо ея.

Отчего она такая!! Отчего она такъ блѣдна, съ такимъ усталымъ и въ то-же время безпокойнымъ и злымъ выраженіемъ.

Онъ только теперь обратилъ вниманіе на то, что это уже не прежняя Соня. Когда-же она такъ измѣнилась? Когда-же она такъ постарѣла?! Ему стало ее глубоко жаль. Онъ подошелъ къ ней, заговорилъ съ нею. Боже, какъ она блѣдна!

— Софи, ты кажется очень устала?—онъ предложилъ ей руку.—Я проведу тебя, отдохни!

Она оперлась на его руку.

— Да, я устала и тутъ такъ душно, такая толпа, у меня голова кружится...

Онъ вышелъ съ нею въ одну изъ дверей залы. Они очутились въ зимнемъ саду. Надъ ними со всѣхъ сторонъ склонялись, какъ восточныя опахала, огромные пальмовыя листья... Полусвѣтъ, шедшій неизвѣстно откуда, таинственно озарялъ усыпанную темно-желтымъ пескомъ дорожку.

Софи едва дошла до маленькаго диванчика и почти на него упала.

— Une goutte d'eau si c'est possible!—прошептала она.

Владиміръ поспѣшилъ за водою. У нея дѣйствительно кружилась голова и сердце болѣзненно сжималось. Безнадежная тоска охватывала ее. На нее мучительно дѣйствовало это оживленіе, веселье; эти молодыя и счастливыя лица, эта свадьба, видъ красивой и довольной юной невѣсты. Она просто не могла выносить этого. Ея собственныя дѣла шли какъ нельзя хуже! Ея послѣдніе планы рушились...

Она не могла не замѣтить, что съ того самаго дня, какъ она навѣстила больного князя Сицкаго и говорила съ нимъ объ его одиночествѣ, онъ какъ-то къ ней измѣнился. Въ чемъ заключалась эта перемѣна—сразу нельзя было сказать, но она существовала.

Онъ продолжалъ, по обыкновенію, навѣщать Марью Александровну. Съ ней, съ Софи, онъ попрежнему былъ любезенъ. Но что-то такое произошло неувимое, что, однако, съ каждымъ его посѣщеніемъ она начинала больше и больше чувствовать. Можетъ быть, это нѣчто заключалось въ томъ, что онъ еще нѣлѣпѣе раскланивался и расшаркивался передъ нею и говорилъ ей всякіе комплименты. Онъ столько разъ и такъ усиленно благодарилъ ее за то, что она тогда навѣстила его, больного старика, такъ часто возвращался къ этому, что она, наконецъ, возненавидѣла свой собственный поступокъ, сама почла его неприличнымъ и вмѣстѣ съ этимъ возненавидѣла она и князя. Въ по-

слѣднее время она уже начинала избѣгать его. Теперь, вотъ сейчасъ въ залѣ, онъ подошелъ къ ней и подъ его любезностью, подъ его ужимками и гримасами она ясно, ясно прочла насмѣшку, насмѣшку надъ нею... и она не вынесла.

Ее терзала безсильная злоба, ее давила тоска, ей дышать было нечѣмъ.

«Что-же онъ пропалъ! Воды, воды!»—съ мученіемъ думала она...—Вотъ чьи-то шаги неподалеку. Но это не онъ. Въ зимній садъ вошелъ высокаго, даже черезчуръ высокаго роста мужчина подъ руку съ дамой. Они о чемъ-то оживленно говорили:

Софи вглядѣлась—и стиснула зубы.

Да, вѣдь, это сестра, Мари, подъ руку съ уродомъ Барбасовымъ! Онъ и здѣсь... онъ теперь всюду!

Они ее не замѣтили.

Показался Владиміръ съ водою. Она жадно выпила и нѣсколько мгновеній сидѣла, переводя дыханіе.

— Софи, милая, если тебѣ дурно, уѣдемъ, я отвезу тебя домой!—сказалъ Владиміръ.

Она уже была готова согласиться, ей такъ хотѣлось уйти куда-нибудь, скрыться, дать волю душившимся ее слезамъ, душившей ее злобѣ. Но она сейчасъ-же и очнулась.

— Нѣтъ,—отвѣтила она брату,—merci, je me sens mieux... иди, оставь меня... иди-же, иди... съ какой стати обращать на себя вниманіе!..

Онъ прошелъ въ залу. Она остановилась, собираясь съ мыслями. Въ ней поднялась вся ея гордость, все ея самолюбіе. Еще не доставало, чтобы кто-нибудь замѣтилъ ея тоску, ея отчаяніе.

«Я больна,—думала она,—и въ самомъ дѣлѣ больна!.. Мнѣ надо полѣчиться, надо освѣжиться отъ всего этого... Я уѣду за границу, теперь самое время... кого-нибудь возьму съ собой, найду... Да вотъ напишу нашей гувернанткѣ-баронессѣ... Она свободна, она съ радостью поѣдетъ со мною. А тамъ, можетъ быть, что-нибудь еще и встрѣтится!»..

И, впустивъ въ себя этотъ тонкій лучъ надежды, она гордо подняла голову. Вдругъ, сзади нея, за широкими листьями тропическихъ растений, раздался голосъ Маши:

— Развѣ я говорю нѣтъ... я говорю только: не торопитесь... Развѣ вы не согласны со мною?

— Марья Сергѣевна, я такъ счастливъ, я согласенъ на все... Но видите, мнѣ кажется, я брежу, мнѣ не вѣрится этому счастью,—говорилъ Барбасовъ.

Они очутились передъ Софи и оба растерянно и испуганно на нее взглянули. Она не сказала имъ ни слова, смѣрила ихъ презрительнымъ взглядомъ и, гордо поднявъ голову, вышла изъ

зимняго сада. Они стояли нѣсколько мгновений смущенные, какъ пойманные дѣти. Но вдругъ взглянули другъ на друга и весело, громко разсмѣялись...

А въ залѣ толпа оживленно, но сдержанно шумѣла, подобно пчелиному рою. И среди этой толпы выдѣлялось своей странностью блѣдное и прекрасное лицо Николая Владиміровича. Онъ одинъ не принималъ никакого участія въ общемъ оживленіи. Онъ былъ всѣмъ чужой и отъ него полупочтительно сторонились. Самъ онъ чувствовалъ себя въ этой толпѣ очень нехорошо. Она для него имѣла иной смыслъ, чѣмъ для каждаго изъ составлявшихъ ее. Онъ видѣлъ здѣсь не только собраніе людей, незнакомыхъ ему и не интересныхъ людей, а *чувствовалъ* каждаго изъ нихъ, каждый представлялся ему окруженнымъ своей собственной атмосферой и нѣкоторыя изъ этихъ атмосферъ, когда онъ къ нимъ приближался, производили на него болѣзненное впечатлѣніе... Такъ ему, по крайней мѣрѣ, казалось... Глядя на челоуѣка, онъ видѣлъ въ немъ нѣчто особенное, чего не видѣли другіе. Онъ читалъ его мысли, понималъ его ощущенія... Такъ ему, по крайней мѣрѣ, казалось... И эти разнородныя, безконечно различныя атмосферы, мелькавшія передъ нимъ, и эти читаемыя имъ мысли и чувства время отъ времени заставляли его вздрагивать; сдвигали его губы въ презрительную усмѣшку. По временамъ онъ, взглянувъ на кого-нибудь, тихонько вздыхалъ...

Съ каждой минутой ему становилось тяжелѣе и тяжелѣе.

«И это люди!—думалъ онъ:—и это люди!»

— Дядя!—раздался у его уха таинственный шепотъ.—В-вамъ-то я могу скажать, я рѣшилъ, я ражведушъ и шдѣлаю швадьбу еще лучше этой!

— Хорошо, Коля!—съ печальной улыбкой отвѣтилъ Николай Владиміровичъ.

Онъ уже не въ силахъ былъ здѣсь оставаться. Онъ отыскалъ новобрачныхъ, простился съ ними и уѣхалъ.

XXX.

Что осталось.

Неизвѣстно, привела-ли-бы Софи въ исполненіе свое намѣреніе «совсѣмъ уѣхать», если-бы не заставили ее окончательно рѣшиться на это два «позорныхъ» обстоятельства. Первое изъ нихъ—была женитьба Владиміра на Грунѣ.

Онъ вышелъ въ отставку, женился и уѣхалъ въ Горбатовъ.

ское. Но все-же у него нашлось еще настолько совѣсти, по мнѣнію Софи, чтобъ не настаивать на разныхъ несообразностяхъ, не требовать, чтобы она, Софи, унижалась.

«Cette créature», забравшая его въ руки и совсѣмъ погубившая, не показала у нихъ въ домѣ. Они обвинялись тихонько и уѣхали. Конечно, отъ этого не было легче, «позоръ» оставался тѣмъ-же; но все-таки Софи казалось, что братъ, ея хотя и совсѣмъ тряпка, хотя и никакого нѣтъ извиненія его ужасному поступку, но онъ, очевидно, сознаетъ себя виноватымъ, сознаетъ, что этой créature не мѣсто подъ однимъ кровомъ съ его сестрою, съ его теткой.

А вотъ у Маши, такъ ужъ совсѣмъ не оказалось никакой совѣсти. Она безъ всякаго стыда объявила во всеуслышаніе, что «этотъ неприличный Барбасовъ» сдѣлалъ ей предложеніе и она приняла его. Возмутительнѣе-же всего было то, что никто даже и не поразился ея выборомъ—никто, и меньше всего Марья Александровна. Она сама была безъ ума отъ этого уroda и отнеслась къ рѣшенію Маши съ полной благосклонностью, какъ будто такъ должно и быть. Но не могла-же Софья Сергѣевна присутствовать на этой постыдной свадьбѣ.

Со свадьбой не спѣшили, но Барбасовъ бывалъ въ домѣ въ качествѣ жениха. И Софья Сергѣевна, быстро собравшись, спланировала со своей бывшей гувернанткой, уѣхала въ Москву и съ нею вмѣстѣ отправилась въ заграничное путешествіе...

Однако, и ей въ голову не пришло провѣдать отца, отъ котораго недавно было получено извѣстіе, что онъ все лѣто проведетъ въ Гаштейнѣ. Она поѣхала въ Парижъ и кончила тѣмъ, что поселилась тамъ почти на постоянное жительство. Съ родными она прекратила всѣ сношенія и вернулась въ Россію на короткое время только черезъ два года, по случаю смерти Сергѣя Владиміровича.

Онъ такъ и умеръ заграницей, въ Ментонѣ. Владиміръ, извѣщенный о томъ, что ему очень плохо, пріѣхалъ въ Ментону за нѣсколько лишь дней до его смерти и затѣмъ привезъ въ Россію его тѣло...

Софья Сергѣевна рассчитывала на большое наслѣдство послѣ отца, но ей пришлось сильно разочароваться въ своихъ надеждахъ. Несмѣтные долги поглотили огромную часть Горбатовскаго состоянія. На каждое имѣніе приходилось столько долгу, что онъ почти покрывалъ его стоимость.

Московскій домъ пришлось продать, такъ какъ никто изъ наслѣдниковъ не могъ принять на себя его содержаніе. Петербургскій домъ остался во владѣніи Николая Владиміровича. Горбатовское, еще при жизни отца, получилъ Владиміръ, заплативъ

одинъ изъ отцовскихъ долговъ въ триста тысячъ. Знаменское совѣмъ не существовало, оно было распродано по частямъ, перешло въ руки крестьянъ, кулаковъ. Отъ него осталось только воспоминаніе.

На долю Софи пришлось Саратовская вотчина, превосходное имѣніе. Она могла продать половину земли для выплаты лежащаго на имѣніи долга. Остающаяся половина, при устроенномъ хозяйствѣ, все-же принесла-бы достаточный доходъ.

Владиміръ, превратившійся въ настоящаго сельскаго хозяина и совѣмъ одичавшій, какъ объявляла Софи, совѣтовалъ ей именно такъ и поступить. Но она рѣшила иначе. Она продала все имѣніе, продала поспѣшно и не выгодно, забрала съ собою деньги, вернулась въ Парижъ, купила себѣ тамъ хорошенькій небольшой отель въ кварталѣ Елисейскихъ полей и превратилась въ настоящую парижанку.

Она не теряла еще надежды выдти замужъ и то и дѣло останавливала свое вниманіе то на одномъ, то на другомъ изъ представителей старинной французской аристократіи.

Но годы шли, а на ея визитныхъ карточкахъ все еще красовалось: «*Sophie de Gorbatoff, demoiselle d'honneur*», и такъ дѣлѣ. Она вращалась въ Парижѣ въ самомъ избранномъ обществѣ, сдѣлалась отчаянной легитимисткой... При этомъ съ каждымъ годомъ все болѣе и болѣе проникалась она презрѣніемъ къ Россіи и даже въ рѣдкихъ случаяхъ, когда ей приходилось говорить по-русски, дѣлала нарочно самыя грубыя ошибки. Встрѣчая иной разъ француза, интересовавшагося Россіей, она изумленно на него взглядывала и объявляла, что, право, этой страной не стоитъ заниматься, что въ Россіи такой смрадъ, такой мракъ, среди которыхъ ни одинъ порядочный человѣкъ жить не можетъ...

Какъ-то навѣстивъ одну изъ своихъ парижскихъ пріятельницъ, очень остроумную и игривую маркизу, неустанно, хотя и безплодно, агитирующую въ пользу «трехъ лилій», Софи замѣтила у нея на столикѣ визитную карточку и съ изумленіемъ прочла: «*Madame de Gorbatoff, née princesse Janicheff*».

— Это что такое?—едва владѣя собой, спросила она маркизу.

Та съ изумленіемъ на нее взглянула.

— Я думала, что эта карточка вамъ доставитъ удовольствіе, *ma bonne amie*, вѣдь, эта ваша родственница... Мы недавно познакомились... Это прелестная женщина...

— Какъ познакомились?

Софи была внѣ себя. Этого еще не доставало! Она даже совѣмъ забыла думать о томъ, что существуетъ «*madame de Gorbatoff*», считала ее навсегда исчезнувшей, и вдругъ она здѣсь, носитъ ея имя, втерлась въ общество, ее находятъ «*femme char-*

mante»—эту пройдоху и негодяйку! Она даже вспомнила такія чисто-русскія слова. Ее нужно сейчасъ-же стереть съ лица земли...

И она краснорѣчиво передала маркизѣ исторію своей belle-sœur.

Но эта ужасная исторія не произвела на француженку желаемого дѣйствія.

— Очень жалы!—повторила маркиза. — Elle a l'air d'une personne tout-à-fait comme il faut... и она очень хорошо принята у принцессы Берты... наша герцогиня отъ нея въ восторгѣ... Она только что пріѣхала въ Парижъ изъ Ниццы, гдѣ эти дамы и по-знакомились съ нею...

— Но, вѣдь, теперь, когда вы знаете, какая это особа, надѣюсь, ей покажутъ ея настоящее мѣсто!

— Очень жаль, очень жалы!—вмѣсто отвѣта повторяла маркиза.

Софи, какъ ни билась, а не могла вытѣснить Елену. Ей пришлось съ нею не разъ встрѣтиться...

Отъ прежней Елены теперь ничего не осталось. Она превратилась въ пышную, красивую женщину, самоувѣренную и ловкую. Она была всегда окружена толпой поклонниковъ и въ то-же время умѣла нравиться и женщинамъ. Подобно Софи и она отказалась отъ Россіи—ей гораздо веселѣе жилось въ такихъ мѣстахъ, какъ Ницца, Біаррицъ и Парижъ. Цѣлыхъ два года выдержала она скучную жизнь въ Москвѣ, въ домѣ тетки Кашиной. Ея отецъ поправился отъ нанесеннаго ему судьбой удара, кто-то изъ родственниковъ поддержалъ его... А затѣмъ, если-бы Софи побольше интересовалась своими домашними, то она узнала-бы отъ Владиміра, что онъ изъ Кокушкиныхъ денегъ высылаетъ его женѣ ежегодно достаточную сумму...

Князь Янычевъ измѣнилъ свой взглядъ на «милостыню» и пользовался этими деньгами... Выждавъ достаточное время, онъ появился снова у кузины Кашиной. Елена сначала всячески избѣгала отца, но скоро его странное вліяніе на нее вернулось. Его взглядъ приводилъ ее въ трепетъ и въ то-же время порабощалъ ее..

Князь легко замѣтилъ, что дочь не знаетъ куда дѣваться отъ скуки подъ надзоромъ строгой тетки, что она просто изнываетъ, и онъ мало-по-малу сталъ соблазнять ее возможностью иной жизни, рисовалъ ей самыми блестящими красками поѣздку за границу. Елена отбивалась все слабѣе и слабѣе. Одна только Марья Сергѣевна могла-бы поддержать ее; но Марья Сергѣевна Барбасова была далеко, даже переписка между ними мало-помалу какъ-то прекратилась. Кончилось тѣмъ, что Елена съ отцомъ уѣхала за границу. Онъ сдержалъ свои обѣщанія, жизнь Елены теперь превратилась въ нескончаемый праздникъ: всюду,

гдѣ ни являлась она съ отцомъ, ее такъ и облѣпляли со всѣхъ сторонъ, какъ мошки свѣчку, всякіе интересные и неинтересные мужчины.

Черезъ годъ такой жизни она была неузнаваема. У нея появились «друзья»; сначала одинъ, потомъ другой, затѣмъ третій. Теперь князь умеръ, некому было вліять на нее и ее портить, но уже не оказывалось въ этомъ надобности. Она была совсѣмъ испорчена, развратилась до послѣдней степени. Вмѣстѣ съ этимъ въ ней развилося умѣніе очень ловко устраивать свои дѣла и держаться въ обществѣ. Откуда у нея средства, на какія деньги она ведетъ свою роскошную жизнь, до этого никому не было дѣла, про то знала она и ея «друзья», которыхъ она выбирала съ большимъ искусствомъ.

Изъ числа этихъ друзей одно время считался и молодой русский дипломатъ, Иванъ Михайловичъ Бородинъ. Впрочемъ онъ отсталъ отъ нея скоро, рѣшивъ, что она «стоитъ дороже, чѣмъ стоитъ». Къ тому-же онъ, *par principe*, не допускалъ долгой дружбы съ хорошенькой женщиной: чѣмъ короче, тѣмъ лучше. Для него прежде всего была его карьера, и въ ней онъ подвизался съ замѣтнымъ отличіемъ, къ полному удовольствію своего какъ-то быстро начавшаго старѣть, но игравшаго по-прежнему крупную роль и нажившаго милліоны, отца...

Недавно, въ одной изъ парижскихъ залъ, производились опыты снаряда, названнаго микрофономъ. Это усовершенствованный телефонъ и усовершенствованіе заключается въ томъ, что каждый изъ присутствующихъ уже не долженъ подходить къ трубочкѣ, чтобы что-нибудь услышать. Всѣ собравшіеся въ залъ размѣстились, какъ имъ было угодно и, не трогаясь съ мѣста, прослушали оперу, дававшуюся въ тотъ вечеръ. Опытъ удался какъ нельзя лучше. И изобрѣтатель объявилъ, что это только начало, что въ скоромъ времени онъ дастъ возможность не только слышать, но и видѣть сцену какого угодно изъ парижскихъ театровъ...

Отчего-же и намъ не воспользоваться этими сегодняшними и завтрашними открытіями и не перенестись, съ помощью этого новаго способа, въ Горбатовское... Старый домъ все въ томъ-же печальномъ видѣ, въ какомъ былъ шесть лѣтъ тому назадъ, когда я разбиралъ въ одной изъ его комнатъ старыя тетрадки, исписанныя почеркомъ Сергѣя Горбатова и относившіяся къ концу восемнадцатаго вѣка.

Новый хозяинъ, Владиміръ Сергѣевичъ, несмотря на то, что

уже болѣе десяти лѣтъ почти безвыѣздно живетъ здѣсь, еще не въ силахъ перестроить и отдѣлать заново царственное жилище своихъ предковъ. Онъ помѣщается съ женою, съ дѣтьми и Кокушкой въ одномъ изъ крыльевъ стараго громаднаго зданія. Большинство-же комнатъ остаются пустыми и заколоченными.

О широтѣ жизни и роскоши Горбатовъ не заботился. Но старый горбатовскій паркъ съ каждымъ годомъ оживаетъ, какъ-бы молодѣетъ, принимаетъ свой прежній образъ. Его аллеи расчищаются, бесѣдки и кіоски возобновлены, статуи, насколько возможно, приведены въ порядокъ. Передъ домомъ по-старому разбиты цвѣтники и куртины, пестрѣющія цвѣтами.

Обо всемъ этомъ заботится хозяйка. Этотъ паркъ — ея слабость.

Владиміръ Сергѣевичъ вовсе не одичалъ, по выраженію его парижской сестрицы, но, конечно, онъ не похожъ на петербургскаго франта. Онъ много измѣнился за эти годы. Изъ блѣднаго юноши онъ превратился въ крѣпкаго, зрѣлаго мужа.

Его дѣятельность оказалась удачной. Онъ не только познакомился съ новыми условіями сельскаго хозяйства, но сдѣлался и знатокомъ его, настоящимъ землевладѣльцемъ. Онъ твердо и неустанно идетъ къ своей цѣли.

Онъ принялъ хозяйство запущенное и разоренное, доведенное до самаго жалкаго положенія. Денежныхъ средствъ было мало и пришлось пережить время, когда онъ даже готовъ былъ сознаться, что никогда не въ силахъ будетъ достигнуть имъ задуманнаго.

Но это трудное время осталось далеко позади. Владиміръ Сергѣевичъ изъ разореннаго помѣщика мало-по-малу превращается въ очень богатаго человѣка. Ему уже удалось, пользуясь случаемъ, купить многія свои родовыя земли. Ему пришлось, за эти десять лѣтъ, пройти тяжелую школу. Онъ очутился сначала среди населенія ему враждебнаго. Бывшіе крѣпостные его предковъ явились ему врагами, главнымъ образомъ благодаря неизвѣстно откуда выползавшимъ подстрекателямъ...

Но теперь совсѣмъ уже не то. На много верстъ кругомъ онъ имѣетъ первенствующее вліяніе, — за нимъ признана сила. Его уважаютъ поневолѣ, знаютъ, что надуть Владиміра Сергѣевича нѣтъ возможности, что бороться съ нимъ никому не подъ силу. А въ добрыхъ отношеніяхъ съ нимъ быть очень полезно, тѣмъ болѣе, что онъ человѣкъ справедливый... Но побѣдивъ крестьянъ и ставъ съ ними въ нормальныя, выгодныя для обѣихъ сторонъ отношенія, Владиміръ Сергѣевичъ этимъ не ограничился. Его вліяніе распространялось выше и дальше. Онъ теперь играетъ первенствующую роль въ губерніи и недавно выбранъ губернскимъ предводителемъ дворянства.

Тихій лѣтній вечеръ. Солнце озаряетъ цвѣтники прощальными лучами. У старинной террасы, среди цвѣтовъ, накрытъ столъ. На столѣ кипитъ самоваръ. За этимъ столомъ помѣстился Владиміръ Сергѣевичъ. Онъ только что вернулся домой, онъ усталъ, но здоровой усталостью послѣ здоровой дѣятельности. Онъ снялъ съ головы соломенную шляпу и положилъ ее рядомъ съ собой на столъ.

Его бѣлый высокій лобъ, съ нѣсколькими порѣдѣвшими у висковъ волосами, представляетъ яркую противоположность загорѣлому лицу, обросшему бородою. Но этотъ сильный загаръ и этотъ бѣлый лобъ очень идутъ къ нему.

Съ террасы, въ бѣломъ легкомъ платьѣ, обшитомъ кружевами, спѣшитъ Груня. Она сильно пополнѣла, но ея прелестная фигура не утратила отъ этого своей граціи, десятокъ лѣтъ положили неизбѣжные слѣды на лицо ея, но положили осторожно, не спѣша. И всякій, взглянувъ на нее теперь, невольно скажетъ: «какая красавица»!

— Владиміръ, прости, ради Бога,—говоритъ она:—быстро подходя къ мужу и крѣпко цѣлуя его въ бѣлый лобъ.—Я заставила тебя ждать, а ты усталъ! Съ дѣтьми возилась, представь—въ разговоръ вступили! Не хотимъ спать, да и только, насилу уложила. Ну, что, все благополучно?

— Благополучно... Не томи, дай чаю!

Груня стала хлопотать у самовара.

Въ это время появился человѣкъ, съ привезенными съ почты газетами и письмами. Пока Груня заваривала и наливала чай, Владиміръ пробѣждалъ письма.

— Что, есть что-нибудь интересное?

— И даже очень!—отвѣтилъ онъ.—Во-первыхъ, дядя Николай пишетъ... представь, мы скоро увидимъ его и тетю здѣсь, въ Горбатовскомъ. Онъ ѣдетъ къ Гришѣ и проѣздомъ будутъ у насъ.

— А! ѣдутъ къ Григорію Николаевичу!—задумчиво сказала Груня:—это очень хорошо!

— Отчего хорошо? Немного радостей тамъ увидятъ... Лизавета Михайловна ихъ не порадуетъ... Я очень, очень боюсь, что все это кончится разводомъ.

— Поэтому-то я и довольна, что дядя твой къ нимъ ѣдетъ, можегъ быть, онъ сумѣетъ повліять на прелестную губернаторшу.

— Ну, милая моя, гипнотизмомъ врядъ-ли на нее повліяешь.

— Какъ знаты! А у меня много, много вопросовъ набралось для Николая Владиміровича. Согласись, что я всегда была права относительно него, и что я одна видѣла въ немъ то, чего другіе

не хотѣли видѣть, онъ опредѣлилъ всѣхъ нашихъ новѣйшихъ открывателей тайнъ природы...

— Да, пожалуй, ты и права!

— Конечно, права! Какъ я рада, что его увижу!..

Между тѣмъ Владиміръ, прихлебывая чай, просматривалъ газеты.

— А вотъ и еще новость!—вдругъ сказалъ онъ.—Нашъ превосходительный Алексѣй Ивановичъ Барбасовъ получилъ назначеніе. Вотъ — читай!... Теперь ему одинъ только шагъ — и сенаторъ...

— Въ этомъ нѣтъ ничего удивительнаго!—замѣтила Груня. Онъ пойдетъ и дальше.

— Конечно пойдетъ, хотя не знаю—хорошо это, или дурно... Вѣдь, у него какъ есть нѣтъ никакихъ убѣжденій—сегодня одно, завтра другое—по вѣтру.

— Какъ и всѣ, мой другъ, какъ и всѣ!—сказала Груня.—А это что? Письмо Маши.

Она прочла письмо.

— Это еще до назначенія,—замѣтила она.—А письмо какое—отъ него такъ и вѣетъ здоровьемъ и счастьемъ.

— Да, удивительное дѣло,—проговорилъ Владиміръ:—вѣдь она—и ея мужъ... Я прежде считалъ ихъ совсѣмъ различными людьми и, признаюсь, мнѣ этотъ бракъ очень не нравился. Теперь же я вижу, что ошибся, десять лѣтъ доказали. Они совсѣмъ довольны другъ другомъ. Маша безъ ума отъ мужа. Выдумала его себѣ совсѣмъ не такимъ, каковъ онъ есть, и ничего знать не хочетъ. Дѣтей обожаетъ...

— Во-володя! — вдругъ раздался съ террасы пронзительный голосъ.

И Кокушка, толстый, красный, расфранченный, появился передъ чайнымъ столомъ.

— По-пошлушай, я жавтра уѣжжаю въ городъ.

— Зачѣмъ?

— Жо-жовутъ, вотъ письмо получилъ, отъ Вороншикихъ, Варвары Николаевны тамъ, я ей жавтра буду предложеніе дѣлать... И теперь ужъ какъ жнаешь, а кончено—я ражведушъ цѣ моей благовѣрной и женюшъ, непремѣнно. По-пора, давно пора... что мнѣ такъ оштаватышя... дудки...

— Садись лучше и пей чай! — сказала Груня, подавая ему чашку.

Кокушка помѣстился рядомъ съ нею и занялся намазываніемъ масла на хлѣбъ...

Скоро совсѣмъ уже стемнѣло. Луна вышла изъ-за деревьевъ и прорисовала въ свѣтѣ темную аллею.

Груня взяла подъ руку мужа.

— Пройдемся немного,—сказала она.—Смотри, какой вечеръ!

Они направились тихимъ шагомъ въ глубь парка. Все было тихо въ безвѣтряномъ тепломъ воздухѣ. Луна ярче и ярче свѣтила.

Груня остановилась, подняла глаза къ безоблачному небу, и вотъ изъ ея груди полились чистые, могучіе звуки.

«Casta diva» пѣла она, и горячая вдохновенная мелодія наполняла заснувшую аллею, дрожала подъ каждымъ листомъ и уносилась, медленно замирая, въ безпредѣльную высь...

Владиміръ слушалъ, затаивъ дыханіе, сжимая руку жены своей сильной рукою...

А вокругъ, въ этомъ древнемъ паркѣ, въ этой безконечной дубовой аллеѣ, среди цвѣтниковъ, незримо и неслышно скользили тѣни невозвратнаго прошлаго...

1885 г.

К о н е ц ъ.

СТАРЫЯ БЫЛИ.

| Date | Description | Amount | Balance |
|----------|-----------------|--------|---------|
| 1/1/20 | Opening Balance | 100.00 | 100.00 |
| 1/15/20 | Deposit | 50.00 | 150.00 |
| 2/1/20 | Withdrawal | 25.00 | 125.00 |
| 2/15/20 | Deposit | 75.00 | 200.00 |
| 3/1/20 | Withdrawal | 100.00 | 100.00 |
| 3/15/20 | Deposit | 30.00 | 130.00 |
| 4/1/20 | Withdrawal | 40.00 | 90.00 |
| 4/15/20 | Deposit | 60.00 | 150.00 |
| 5/1/20 | Withdrawal | 20.00 | 130.00 |
| 5/15/20 | Deposit | 80.00 | 210.00 |
| 6/1/20 | Withdrawal | 50.00 | 160.00 |
| 6/15/20 | Deposit | 90.00 | 250.00 |
| 7/1/20 | Withdrawal | 30.00 | 220.00 |
| 7/15/20 | Deposit | 70.00 | 290.00 |
| 8/1/20 | Withdrawal | 10.00 | 280.00 |
| 8/15/20 | Deposit | 60.00 | 340.00 |
| 9/1/20 | Withdrawal | 20.00 | 320.00 |
| 9/15/20 | Deposit | 80.00 | 400.00 |
| 10/1/20 | Withdrawal | 15.00 | 385.00 |
| 10/15/20 | Deposit | 55.00 | 440.00 |
| 11/1/20 | Withdrawal | 35.00 | 405.00 |
| 11/15/20 | Deposit | 75.00 | 480.00 |
| 12/1/20 | Withdrawal | 25.00 | 455.00 |
| 12/15/20 | Deposit | 65.00 | 520.00 |
| 1/1/21 | Closing Balance | 520.00 | 520.00 |

ВОСКРЕСЕНЬЕ.

Одно изъ лучшихъ воспоминаній моего дѣтства—воскресенье. Начать съ того, что въ этотъ день я не долженъ былъ рано вставать и садиться за повтореніе уроковъ, очень часто плохо приготовленныхъ съ вечера. Я могъ подремать лишній часъ-другой, и въ этой утренней дремотѣ являлись всегда такія радужныя и блаженныя видѣнія.

Потомъ мало-по-малу видѣнія эти блѣднѣли, все больше и больше перепутываясь съ окружавшей обстановкой и, наконецъ, совсѣмъ переходили въ дѣйствительность. Я раскрывалъ глаза, выглядывалъ изъ-за полога моей кровати, вспоминалъ, что сегодня воскресенье—и радостное, широкое чувство наполняло меня.

Я снова скрывался за занавѣской и наблюдалъ: наша крѣпостная няня, Анна Тимофеевна, только что вынула изъ кровати моего младшаго брата и съ хорошо знакомымъ мнѣ хохлацкимъ ворчаніемъ (она была изъ Малороссіи) натягивала чулки на его маленькія толстыя ноги. Онъ барахтался, брыкался, и, очевидно, никакъ не могъ совсѣмъ разгуляться; большіе сѣрые глаза его то раскрывались во всю ширину, то опять смыкались; выраженіе круглой какъ шарикъ мордочки было самое утомительное.

Хорошенькая нянина дочка, Ариша, въ дальнемъ углу нашей большой дѣтской, умывала черненькую, худенькую сестру мою; а другая сестра, толстая, бѣлая, румяная дѣвочка, стояла уже совсѣмъ готовая, въ пышно накрахмаленныхъ юбкахъ, въ нарядномъ платьѣ, и тщательно и кокетливо причесывала передъ зеркаломъ свои бѣлокурые волосы.

Насмотрѣвшись на все это и чувствуя съ каждой секундой возростающій приливъ радости и любви ко всѣмъ и ко всему, я вскакивалъ съ кровати, не дожидаясь няни начиналъ самъ поспѣшно одѣваться, переговариваясь и пересмѣиваясь съ сестрами и братомъ.

Вотъ и я готовъ, и спѣшу въ столовую, гдѣ за чаемъ, очевидно уже давно, сидятъ отецъ и мать. Крѣпко и громко цѣлую я бѣлую и нѣжную руку отца. Спокойный взглядъ его ясныхъ голубыхъ глазъ нѣсколько сдерживаетъ мою рѣзвость, но на губахъ его я подмѣчаю добродушную улыбку. Онъ слегка

хлопаетъ меня по плечу, а потомъ поднимается съ кресла и надѣваетъ очки: признакъ, что сейчасъ выйдетъ изъ дому.

Я подбѣгаю къ матери и начинаю цѣловать ее въ руки, губы, глаза; она говоритъ что-то о томъ, что я растреплю ее и сомну, но въ то же время сама крѣпко обнимаетъ меня и цѣлуетъ. Я замѣчаю на блестящихъ черныхъ волосахъ ея нарядную наколку, замѣчаю ея шелковое, стального цвѣта, въ розовыхъ букетахъ платье и накиннутую поверхъ него мѣховую мантилью.

— Что это, какъ дѣти запаздываютъ, вѣдь, ужъ пора бы вамъ и ѣхать!—обращается къ матери отецъ, беретъ шляпу и уходитъ.

Мы быстро выпиваемъ свой чай, молоко, съѣдаемъ булки и бѣжимъ вслѣдъ за матерью въ переднюю.

Та же няня Анна, та же Ариша и лакей Николай, въ сѣрой ливреѣ съ собачьимъ воротникомъ, закутываютъ насъ въ зимніе кафтанчики и салопчики. Какъ-то особенно весело распахиваются двери; себя не помня мы слетаемъ съ лѣстницы.

У подъѣзда дожидается наша просторная низенькая карета, внутри обитая яркожелтымъ бархатомъ, съ козелъ которой, ласково ухмыляясь и подмигивая, глядитъ на насъ, и въ особенности на меня, другой Николай, нашъ кучеръ, закадычный мой другъ и пріятель. Я отвѣчаю ему такими же улыбками и подмигиваніями, и въ то время какъ усаживаются мать и сестры, въ то время какъ лакей на рукахъ подноситъ къ каретѣ маленькаго брата, я сосредоточиваю все свое вниманіе на лошадахъ: на Копчикѣ и Пайкѣ, изъ которыхъ послѣдній, несмотря на свое прозвище, ведетъ себя не особенно прилично. Онъ все какъ-то дергаетъ и то силится приподняться на дабы, то тянется укусить за ухо товарища.

— Шалишь!—отрываясь отъ перемигиванія со мною, грознымъ голосомъ восклицаетъ Николай и бьетъ его возжею.

Пайка успокоивается, лакей подсаживаетъ меня въ карету, захлопываетъ дверцы и, подобравъ полы своей длинной ливреи, вскакиваетъ на козлы. Слышится веселый скрипъ колесъ по твердому снѣгу, лошади трогаются—мы ѣдемъ въ церковь.

Обѣдня уже началась. Отецъ, пріѣхавшій гораздо раньше насъ, стоитъ на своемъ обычномъ мѣстѣ у клироса; на лицѣ его благоговѣйное вниманіе, время отъ времени онъ закрываетъ глаза и медленно крестится. Сначала я стараюсь подражать ему, тоже вслѣдъ за нимъ закрываю глаза и крещусь, повторяю про себя то, что говорится и поется.

Но скоро вниманіе мое начинаетъ развлекаться, слова священнослужителей и хора исчезаютъ, не достигая моего слуха; я разглядываю знакомые лики иконостаса, потомъ переносу свои наблюденія на окружающихъ меня, по преимуществу дамъ и дѣ-

тей, и стараюсь угадать, что въ эту минуту думаетъ вотъ этотъ прилизанный, затянутый въ гимназическій мундиръ мальчикъ, вотъ эта завитая нарядная дѣвочка, которая то и дѣло смотритъ на кончики своихъ свѣтлосѣрыхъ ботинокъ, вотъ эта толстая дама, занявшая своимъ кринолиномъ чуть не квадратную сажень. Наконецъ, я обращаю вниманіе на стоящаго передо мною младшаго брата и начинаю дуть ему въ маковку. Онъ оборачивается ко мнѣ, улыбается, а потомъ вдругъ опускается на колѣни на коврикъ. Но я хорошо вижу, что онъ всталъ вовсе не на колѣни, не для того, чтобы молиться, а присѣлъ отъ усталости и черезъ минуту даже покачнулся и совсѣмъ задремалъ. Я тихонько подталкиваю его сзади, онъ вскакиваетъ и начинаетъ креститься. Я стараюсь снова сосредоточить все вниманіе на службѣ и въ то же время чувствую въ ногахъ и во всемъ тѣлѣ не то усталость, не то томленіе, хочется походить, немного размяться; кажется, что обѣдня какъ-то особенно на этотъ разъ тянется. Я опять отвлекаюсь, ухожу въ свои мысли, а мысли перескакиваютъ съ одного предмета на другой, перегоняютъ другъ друга, мелькаютъ отрывочно, беспорядочно. Я едва поспѣваю за этой бѣготней ихъ, совсѣмъ ужъ не сознаю окружающаго, и только прикосновеніе матери заставляетъ меня очнуться.

«Благочестивѣйшаго, самодержавнѣйшаго...» раздается по церкви. Томленья и усталости какъ не бывало. Бодро и радостно прикладываюсь я ко кресту и выхожу вслѣдъ за своими.

Мы отправляемся къ дѣдушкѣ и бабушкѣ.

Много лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ; я совсѣмъ позабылъ многія мѣстности, многіе дома, гдѣ проводилъ и веселыя и скучныя минуты своей жизни; но каждый малѣйшій завитокъ на обояхъ дѣдушкина дома, каждый узоръ тюлевыхъ занавѣсокъ на его окнахъ, мнѣ памятенъ.

Это былъ такой домъ, какихъ теперь мнѣ ужъ никогда не приходится видѣть. Онъ былъ далеко не обширенъ и крайне простъ въ своемъ убранствѣ. Вся прелесть его заключалась, главнымъ образомъ, въ необыкновенной чистотѣ и какомъ-то странномъ, никогда потомъ не слыханномъ мною, ароматѣ, носившемся по всѣмъ его комнатамъ.

Полы всюду были некрашенные, но гладкіе и блестящіе какъ слоновая кость; веселенькіе обои съ кой-гдѣ развѣшанными портретами и старинными гравюрами; по угламъ большія иконы съ зажженными лампадками; въ залѣ красныя кумачныя шторы, старыя зеркала съ массивными подзеркальниками красного дерева, такіе же массивные ломберные столы и рядъ стульевъ съ прямыми квадратными спинками, съ мягкими красными подушками, привязанными къ ихъ сидѣньяма.

Въ гостиной опять тяжеловѣсная неуклюжая мебель красного

дерева съ голубой обивкой бѣлыми разводами, подъ овальнымъ столомъ большой коверъ работы прабабушки; у оконъ зеленя горки со всевозможными цвѣтами и растеніями, изъ которыхъ особенно я помню одно: внутренняя сторона листьевъ была ярко-красная, наружная—блѣднозеленая съ разсыпанными по ней совершенно серебряными правильными кружочками.

Столовая была не велика и вовсе не приспособлена къ большимъ и параднымъ обѣдамъ; но это была самая комната въ домѣ, потому милая что въ ней уничтожались такія кулебяки и прочія кушанья, какими потомъ меня ужъ нигдѣ и никогда не кормили. Бабушка была величайшая мастерица во всѣхъ дѣлахъ хозяйственныхъ, а дѣдушка былъ такой человѣкъ, о которомъ начать рѣчь слѣдовало бы вовсе не по поводу кулебякъ; но если ужъ такъ пришлось, то бѣда не велика, тѣмъ болѣе, что до кулебякъ и вообще вкусныхъ обѣдовъ онъ былъ охотникъ, хотя никогда не позволялъ себѣ никакихъ излишествъ.

Дѣдушку въ свое время знали въ Москвѣ очень многіе, да и теперь, вѣроятно, его еще несовсѣмъ забыли. Это былъ человѣкъ, много учившійся, много читавшій, размышлявшій и въ то же время человѣкъ съ дѣтски чистымъ сердцемъ, которое никогда не могло примириться съ житейскою злобою и неправдой, никогда не могло допустить даже ихъ существованія.

Если же ему приходилось натолкнуться на какое-нибудь проявленіе безнравственности, или злобы человѣческой, то онъ долго отказывался повѣрить свидѣтельству собственныхъ чувствъ своихъ, старался все объяснить какой-нибудь ошибкой, недоразумѣніемъ; а если этого никакъ нельзя было сдѣлать, тогда онъ начиналъ жалѣть погибшаго человѣка, но ужъ не искалъ ему оправданія, не являлся его защитникомъ передъ людьми, а замолкалъ, глубоко потрясенный и взволнованный. При первой возможности онъ уходилъ куда нибудь, гдѣ думалъ, что его никто не увидитъ, и начиналъ горячо и со слезами молиться.

Дѣти вообще наблюдательны, а я въ дѣтствѣ былъ еще болѣе наблюдателенъ, чѣмъ впослѣдствіи; я очень хорошо понималъ почти все меня окружавшее, а за дѣдушкой слѣдилъ постоянно. потому что онъ возбуждалъ во мнѣ благоговѣйное чувство, и я много разъ былъ притаившимся свидѣтелемъ его молитвы, послѣ которой онъ обыкновенно появлялся какъ-то особенно просвѣтленнымъ. И я тогда, затаивая въ себѣ благоговѣйный трепетъ, всегда сравнивалъ его съ Моисеемъ на старой гравюрѣ, съ Моисеемъ, сходящимъ къ народу, послѣ бесѣды съ Богомъ.

Мое живое, дѣтское воображеніе работало быстро; я всегда былъ увѣренъ, что и дѣдушка бесѣдовалъ съ Богомъ, что самъ Богъ говорилъ ему. Да и не одинъ я, маленькій мечтательный мальчикъ, смотрѣлъ на дѣдушку, какъ на особеннаго человѣка,

способнаго лицомъ къ лицу бесѣдовать съ Богомъ — такъ на него смотрѣли многіе, и въ особенности женщины: разныя московскія благочестивыя дамы, которыя обращались къ нему во всѣхъ затруднительныхъ обстоятельствахъ своей жизни за совѣтами и нравственной помощью, считая его и святымъ и разумнымъ человѣкомъ. Онъ всегда бывалъ готовъ всѣмъ помочь, во всѣхъ принять участіе; и кажется, вся тайна той помощи, какую въ немъ находили, заключалась именно въ томъ, что онъ дѣйствительно во всѣхъ принималъ участіе.

Достаточно было взглянуть на его прекрасное старческое лицо, обрамленное длинной шелковистой бѣлой бородой, на его ярко-голубые глаза, до послѣднихъ дней жизни сохранившіе чистоту и ясность; достаточно было увидѣть его дѣтски добродушную улыбку, услышать ласковый голосъ, чтобы сразу понять, что передъ этимъ человѣкомъ нечего скрываться, что онъ имѣетъ право войти какъ другъ и совѣтникъ въ чѣмъ либо смущенную душу ближняго. И что въ немъ было особенно мило и дорого, — это, рядомъ съ серьезными качествами ума и сердца, неизмѣнная веселость нрава, шутливость, умѣнье радоваться жизнью и брать отъ нея полной чашею всѣ невинныя удовольствія, какія только можетъ дать она. Дѣдушка, этотъ молитвенникъ и совѣтникъ, одинаково любилъ и отвлеченную бесѣду, и серьезную книгу, и стихи, и музыку, и шутливый разговоръ, пересыпаемый громкимъ смѣхомъ и остроумными выходками, и вкусный обильный обѣдъ, приготовленный подъ верховнымъ наблюденіемъ бабушки, и игру съ нами, дѣтьми. Очень часто, расшалившись, мы обступали этого патріарха этого Моисея, лазили къ нему на колѣни, на спину, на плечи и кричали: дѣдушка, полай! «дѣдушка, будь медвѣдемъ!».

И дѣдушка начиналъ удивительно подражать всевозможному собачьему лаю, и превращался въ медвѣдя; а мы съ визгомъ и крикомъ разсыпались отъ него во всѣ стороны.

Не менѣе игръ съ нами, внучатами, любилъ онъ веселое общество молодежи. Юноши и молоденькія дѣвушки несли къ нему свои альбомы, бывшіе тогда еще въ большой модѣ. Юношамъ онъ вписывалъ твердымъ, красивымъ почеркомъ изреченія изъ латинскихъ и греческихъ классиковъ, которыхъ зналъ чуть-ли не наизусть, и тутъ же заставлялъ переводить имъ написанное.

Бывало, юноша начинаетъ переводить бойко, но вдругъ спотыкается, путается, краснѣетъ. Добродушная, лукавая усмѣшка играетъ на губахъ дѣдушки.

— А зачѣмъ же альбомъ подставляешь, — говоритъ онъ: — если понять не можешь того, что тебѣ пишутъ?!. Поучись, голубчикъ, поучись хорошенько, а я вотъ тебѣ и задачу задамъ...

И онъ снова беретъ перо и выписываетъ такую фразу, кото-

рая ужъ совсѣмъ непонятна для смущеннаго и робко заглядывающаго черезъ его плечо владѣльца альбома.

Если же юноша оказывался знатокомъ древнихъ языковъ, то дѣдушка оставался очень доволенъ, называлъ его умницей и молодцомъ и вступалъ съ нимъ въ разговоръ на древне-греческомъ или латинскомъ языкѣ. До этихъ разговоровъ онъ былъ большой охотникъ, только, конечно, черезчуръ рѣдко ему удавалось вести ихъ. Молоденькимъ дѣвушкамъ дѣдушка обыкновенно вписывалъ въ альбомъ французскія четверостишія, чрезвычайно граціозныя и невинныя, и всегда заключавшія въ себѣ намеки на обязанности доброй дочери, жены или матери. Вообще, въ своихъ сношеніяхъ съ женщинами, и по преимуществу молодыми, дѣдушка любилъ щегольнуть знаніемъ самыхъ изящныхъ и правильныхъ оборотовъ французской рѣчи.

Была въ дѣдушкѣ и одна странность, которая очень изумляла и забавляла меня, ребенка: въ отроцествѣ онъ былъ какъ-то напуганъ мышью и съ тѣхъ поръ до конца жизни слово «мышь» производило на него самое болѣзненное впечатлѣніе. Если при немъ кто нибудь выговаривалъ это слово, онъ мгновенно блѣднѣлъ, начиналъ трястись всѣмъ тѣломъ и, несмотря на свои годы и значительную полноту, стремительно выбѣгалъ изъ комнаты. И странно то, что названіе «мышь» на него дѣйствовало гораздо больше, чѣмъ само это животное. Мыши водились въ его домѣ и иногда изрядно скреблись подъ поломъ и за обоями, особенно во время тихихъ зимнихъ вечеровъ. Тогда дѣдушка становился посреди комнаты и начиналъ топтать.

— Дѣдушка!—съ видомъ наивности, но въ сущности очень ехидно спрашивалъ я въ такихъ случаяхъ:—что это ты такое дѣлаешь?

— Таракановъ пугаю!—отвѣчалъ онъ и продолжалъ еще громче топтать, пока мыши не умолкали...

Но, увлекшись воспоминаніемъ о дѣдушкѣ, я не могу обойти молчаніемъ и мою бабушку, которую тоже я очень любилъ.

Дѣдушка былъ большого роста и отличался красотой,—бабушка была мала и дурна собою; впрочемъ, ничего непріятнаго не было въ ея наружности, напротивъ, ея дурнота скоро забывалась. Въ ея небольшихъ сѣрыхъ глазахъ свѣтилось всегда столько ума и проницательности; она иногда такъ ласково и привѣтливо улыбалась, она держала себя съ такимъ чувствомъ собственного достоинства, была о себѣ такого высокаго мнѣнія и такъ умѣла всѣхъ осаживать (ея любимое выраженіе), что внушала къ себѣ уваженіе, заставляла людей очень осторожно и предупредительно къ себѣ относиться.

Она была безспорно хорошей женой и матерью; но, можетъ быть, одна изъ всѣхъ, знавшихъ дѣдушку, не чувствовала къ нему благоговѣйнаго уваженія, не признавала его замѣчатель-

ныхъ достоинствъ,—ихъ натуры поражали своей противоположностью и никогда не могли сойтись и понять другъ друга.

Бабушка вышла замужъ чуть-ли не четырнадцати-лѣтней дѣвочкой, по приказу своихъ старшихъ родственниковъ. Она рассказывала, какъ и многія старушки, что въ числѣ ея приданого находились и любимыя ея куклы, которыми она продолжала играть послѣ свадьбы. Получить хорошаго образованія ей не было времени до замужества, а въ первые годы семейной жизни, вѣроятно, не было охоты,—ей никогда не приходило въ голову, что для замѣчательно образованнаго и даже ученаго мужа необразованная жена можетъ показаться скучной; этой мысли она допустить не могла, ибо мужъ представлялся ей, несмотря на всю свою ученость и способности, не практическимъ и черезчуръ простымъ, несмыслящимъ очень многого въ жизни.

Ну, а она въ жизни все очень хорошо смыслила, не учителя и не книжки обучили ее, — сама жизнь обучила. Ея практическому уму, мѣткости и вѣрности ея сужденій, удивлялись многіе. Мужъ оставался до семидесяти лѣтъ чистымъ ребенкомъ, упорно отстаивая свою вѣру во все прекрасное и благородное,—жена видѣла обратную сторону жизни, подмѣчала всѣ слабости, всѣ грѣхи своихъ ближнихъ и являлась ихъ строгимъ судьей, ядовито краснорѣчивымъ сатирикомъ. Ничто достойное осужденія не укрывалось отъ ея наблюдательности.

Она любила нѣкоторыхъ родныхъ своихъ, любила и даже почитала своего сына, отца моего, любила и баловала внучатъ; но чужихъ людей, вообще людей, за весьма немногими исключеніями, была склонна не любить и не уважать. Ея разговоры, ея разсужденія, беспощадная ясность ея выводовъ, способны были довести до отчаянія всякаго энтузіаста и человѣколюбца, всякаго искателя правды и свѣта на землѣ, среди земныхъ созданій.

Но съ ея характеромъ и взглядами, съ ея яснымъ и холоднымъ умомъ, я познакомился гораздо позже, въ послѣдніе годы ея жизни, когда она, послѣ смерти дѣдушки, жила съ нами. Тогда же, въ тѣ блаженные воскресенья моего дѣтства, я зналъ ее только какъ бабушку-баловницу, какъ добрую хозяйку, у которой все въ домѣ шло какъ по маслѣ.

Мнѣ было такъ уютно и привольно подъ ея крылышкомъ, я помню нѣжныя ласки этого строгаго судьи и сатирика, помню ея разсказы, по длиннымъ зимнимъ вечерамъ, объ ея дѣтствѣ, о двѣнадцатомъ годѣ (первомъ годѣ ея супружества), о холерѣ, во время которой на долю дѣдушки выпала большая и самоотверженная дѣятельность; объ ея первыхъ внучатахъ—умершихъ дѣтяхъ ея любимой умершей дочери. Я помню душистые цвѣтки жасмина въ ея красивой табакеркѣ, помню тщательно перемыаемыя ею старинныя чашечки, изъ которыхъ она поила меня

чаемъ съ жирными сливками и съ теплыми сдобными булками; помню ея пироги и паштеты, ея вкусныя пирожныя.

Я любилъ съ утра слѣдить за ея хозяйской дѣятельностью, хорошо зная, какія наслажденія готовятъ мнѣ результаты этой дѣятельности. Я находилъ вполнѣ естественнымъ и должнымъ даже и то, что она иногда разъ по десяти въ день умывалась и въ особенности каждый разъ возвращаясь изъ кухни, что она доводила свою чистоплотность даже до того, что, желая отворить дверь, сначала обертывала руку въ свою черную шелковую мантилью или турецкій платокъ, а потомъ уже, обернутой рукою, прикасалась къ дверной ручкѣ...

Рядомъ съ дѣдушкой и бабушкой мнѣ вспоминаются и другія лица, съ которыми я встрѣчался по воскресеньямъ въ ихъ домѣ. Это было самое разнообразное общество, начиная съ тонныхъ московскихъ барынь и кончая старомодными старичками и старушками. Моя память хранить цѣлую коллекцію курьезныхъ типовъ, нынѣ совсѣмъ исчезнувшихъ остатковъ старины московской. Но одна постоянная гостья дѣдушкинаго дома мнѣ чаще всѣхъ вспоминается и о ней то я думалъ, когда заговорилъ про воскресенья моего дѣтства, про дѣдушку и бабушку и ихъ чистенькій домикъ.

Эта гостья была тоже старушка и звали ее Марьей Семеновной. Ей было далеко за семьдесятъ, но она еще сохраняла и бодрость и живость, полную силу разсудка. Маленькая, съ блѣднымъ и нѣжнымъ личикомъ, съ темными кроткими глазами, она одѣвалась всегда въ черное, носила на головѣ кружевной чепчикъ съ черными лентами, изъ подъ котораго виднѣлись сѣдыя булки старинной прически.

Она пріѣзжала послѣ обѣдни въ огромной неуклюжей каретѣ, запряженной старыми откормленными лошадьми, съ сѣдобородымъ кучеромъ на козлахъ и сгорбленнымъ, но все еще представительнымъ лакеемъ на-запяткахъ.

Когда въ дверяхъ залы появлялась маленькая фигурка Марьи Семеновны, я даже забывалъ о бабушкиной кулебякѣ и стремительно бросался ей навстрѣчу. Она входила, привѣтливо раскланиваясь и здороваясь со всѣми, усаживалась въ голубой гостиной постоянно на одно и то же мѣсто, а я прятался за спинкой ея кресла и наблюдалъ.

Вотъ она кладетъ къ себѣ на колѣни неизмѣнный вышитый ридикюль, тихонько снимаетъ перчатки со своихъ крошечныхъ сухихъ рукъ, сверкающихъ дорогими кольцами, бережно укладываетъ перчатки въ ридикюль, а изъ него вынимаетъ вышиванье. Я замираю отъ восторга—это значитъ, что Марья Семеновна пріѣхала не съ короткимъ визитомъ, а останется, пожалуй, и обѣдать, это значитъ, что вотъ скоро, скоро начнутся ея рассказы.

И дѣйствительно, проходить нѣсколько минутъ, въ гостиной ведется оживленный разговоръ; но вотъ чье нибудь слово, чье нибудь сообщеніе, новость дня или слухъ, наводятъ Марью Семеновну на какое нибудь воспоминаніе, и она ужъ рассказываетъ. Разговоръ стихаетъ, всѣ ее слушаютъ. Умѣнье рассказывать, завладѣвая всеобщимъ вниманіемъ—это особый талантъ, и такимъ талантомъ Марья Семеновна обладала въ высшей степени. Не отрываясь отъ своей работы, отъ какой то вѣчной прошивки, и только изрѣдка поднимая спокойные темные глаза на окружающихъ, она тихимъ, пріятнымъ голосомъ начинала обыкновенно не съ самаго происшествія, а съ его обстановки, объясняла характеры дѣйствующихъ лицъ, рисовала цѣльную картину, въ которой всѣ малѣйшія подробности были на своемъ мѣстѣ и являлись полными интереса.

Если-бы записывать за Марьей Семеновной, то это вышли бы прекрасные художественные рассказы; если бы Марья Семеновна вздумала писать сама то, что рассказывала, и писала бы такъ же хорошо, какъ рассказывала, то она, конечно, оставила бы по себѣ большое литературное имя, но она, насколько я знаю, никогда ничего не писала; да и вообще замѣчательные рассказчики въ большинствѣ случаевъ бываютъ плохими писателями. И что очень важно, и что большая рѣдкость—Марья Семеновна никогда не повторялась,—ея память хранила въ себѣ неисчерпаемый запасъ всевозможныхъ эпизодовъ, приключеній; это была живая хроника старой русской жизни конца XVIII и начала XIX столѣтій.

Марья Семеновна принадлежала къ старому роду, членовъ котораго и теперь можно встрѣтить во всевозможныхъ углахъ Россіи; ея жизнь была разнообразна въ высшей степени, разнообразна и печальна. Она пережила мужа, всѣхъ дѣтей, внучатъ, и осталась одна въ своемъ старомъ московскомъ домѣ.

Постоянное горе, тяжкія сердечныя утраты, не сломили ея крѣпкаго здоровья; но что онѣ имѣли на нее огромное вліяніе—это несомнѣнно. Только искренняя вѣра, только дѣйствительное искреннее смиреніе, помогли ей примириться съ тяжелой жизнью. Оставшись одна, она посвятила себя молитвѣ и добрымъ дѣламъ и вотъ тутъ-то близко сошлась съ дѣдушкой, который былъ ея руководителемъ и совѣтникомъ. Но, тратя всѣ свои средства на ближнихъ, она никогда ни однимъ словомъ не заикалась о томъ постороннимъ; молясь неустанно, она никогда не выставлялась своимъ благочестіемъ. Ее знали и встрѣчали не какъ извѣстную богомолку и благотѣльницу, а какъ милую и интересную старушку—и только.

Никто даже не жалѣлъ ее за понесенныя ею утраты, за ея одиночество; многіе и совсѣмъ не знали объ обстоятельствахъ

ея жизни, потому что она тщательно ото всѣхъ ихъ скрывала, потому что, говоря обо всемъ и обо всѣхъ, трогательно передавая чужія несчастія, чужія приключенія,—она ни словомъ не заикалась о своихъ несчастіяхъ, о своихъ собственныхъ приключеніяхъ. Въ разнообразныхъ разсказахъ, передаваемыхъ ею, она никогда не являлась дѣятельнымъ дѣйствующимъ лицомъ, а проходила только простою зрительницею.

Ея тяжело прожитая жизнь, ея горькое горе и утраты были для нея слишкомъ священнымъ крестомъ, и этотъ крестъ она рѣшительно и твердо ото всѣхъ скрывала и всегда умѣла такъ держать себя, что никто не рѣшался прикоснуться къ ея святынь... Давно умерла Марья Семеновна, какъ и очень многія изъ тѣхъ кто такъ мирно и весело бесѣдовалъ съ нею и внимательно слушалъ ея разнообразные разсказы въ голубой гостиной дѣдушкинаго дома. Когда ее хоронили, за ея гробомъ не тянулся длинный рядъ экипажей, не много свѣтскихъ знакомыхъ проводило добрую и интересную старушку въ послѣднее жилище; но вся улица буквально запружена была другого рода знакомыми, никому неизвѣстными ея друзьями, которые вдругъ объявились.

Эти друзья, пѣшіе и плохо обутые, заливались горькими слезами, прощаясь со своей скромной благодѣтельницей, и тутъ только стало извѣстно тѣмъ, кто интересовался подобными дѣлами, все добро, какое успѣла совершить въ жизни одинокая старушка... Но ужъ и это добро, видно, позабылось. Уныло стоитъ и кривится на сторону небогатый памятникъ, поставленный надъ ея могилой; никто не приносить свѣжихъ вѣнковъ, не осыпаетъ его цвѣтами, мало-по-малу стираются буквы ея имени...

Только не умерла она и совсѣмъ живая сохранилась въ памяти одного изъ ея слушателей. Будто сейчасъ я ее вижу, будто слышу еще ея тихій и ласковый голосъ. Не записывалъ я тогда своими дѣтскими каракулями ея разсказовъ; но они мнѣ и такъ хорошо памяты. Конечно, не сумѣю я передать ихъ съ той оригинальной живостью, съ какою, бывало, разсказывала Марья Семеновна, забылись и многія подробности, такъ что придется пополнять ихъ по другимъ источникамъ; но ужъ и одно содержаніе этихъ разсказовъ само по себѣ интересно.

Задумавъ воспроизвести нѣкоторые изъ этихъ памятныхъ мнѣ разсказовъ, я невольно вспомнилъ о самой разсказчицѣ и той обстановкѣ, среди которой съ нею познакомился; я вспомнилъ манеру старушки—начинать съ самаго начала, начинать издалека, а потому, вмѣсто предисловія къ моимъ разсказамъ, позволилъ себѣ эту страничку дѣтскихъ воспоминаній.

I.

НЕЖДАННОЕ БОГАТСТВО.

II.

МОНАХЪ ПОНЕВОЛЪ.

III.

ДВѢ ЖЕРТВЫ.

(СТАРЫЯ БЫЛИ).



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

ИЗДАНИЕ Н. О. МЕРТЦА.

1903.

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 8 марта 1903 г.

Типографія «В. С. Балашевъ и К°». С.-Петербургъ, Фонтанка 95.

I.

Нежданное богатство.

I.

«Одна голова не бѣдна, а и бѣдна—такъ одна»; но плохо той головѣ, за которой, при крайней бѣдности, стоитъ еще двадцать три головы! Эту печальную истину пришлось слишкомъ хорошо узнать Степану Егоровичу Кильдѣеву. Потомокъ стараго рода, ведшаго свое происхожденіе отъ одного изъ князей татарскихъ и когда-то владѣвшаго огромными помѣстьями по берегамъ Волги, Степанъ Егоровичъ получилъ въ наслѣдство послѣ родителей своихъ всего-на-всего маленькую деревушку въ Симбирской губерніи. Въ первой молодости, еще при императорицѣ Елизаветѣ, служилъ онъ въ гвардіи, но дальше сержантскаго чина не пошелъ, такъ какъ смерть родителей заставила его выйти въ отставку и заняться хозяйствомъ—безъ хозяйскаго глаза и постоянной работы маленькое имѣніице не приносило никакого дохода.

Очнулся Степанъ Егоровичъ, въ своемъ гвардейскомъ мундирѣ и пышной прическѣ, среди родного Симбирскаго убожества и долго вздыхалъ по прекрасному «парадизу», то есть Петербургу. Однако, заботы и нужда заставляли забывать о покинутыхъ радостяхъ, заставляли измѣнить всѣ привычки и начать новую жизнь. Оказалось, что старики Кильдѣевы, не желая отказывать сыну и надѣясь на его будущіе успѣхи въ столицѣ, продали часть имѣніица, да еще и сосѣду помѣщику задолжали. Молодому сержанту пришлось совсѣмъ круто; но онъ не сталъ унывать, принялся за работу—и года черезъ два отъ петербургскаго франта и слѣда не осталось. Степанъ Егоровичъ превратился въ дѣльнаго хозяина, часто отказывая себѣ въ необходимомъ, выплатилъ долгъ сосѣду и совсѣмъ позабылъ о «парадизѣ».

Небольшая и довольно ветхая усадьба требовала починокъ: Степанъ Егоровичъ, съ помощью двухъ своихъ крестьянъ, самъ исправилъ усадьбу—оказался не только хозяиномъ, но и плотникомъ хорошимъ. Пришла зима; въ горницахъ уже не дуло, тепло и уютно стало въ старомъ родительскомъ домикѣ; но особенно зимою, въ долгіе вечера, при затишьи хозяйской работы, тоска-скука начала нападать на Степана Егоровича, да и мысль одна не давала покою: больно жалко ему было старой, съ дѣтства памятной роши, проданной родителями. Выкупить ее не было никакой возможности. Но у сосѣда помѣщика, купившаго Кильдѣевскую рошу, оказалась дочка, Анна Ивановна, дѣвушка лѣтъ семнадцати, и собой даже не дурная. Задумалъ Степанъ Егоровичъ посватать Анну Ивановну, но только съ тѣмъ, чтобы въ приданое за нее получить рошу. Задумано—исполнено: не успѣла весна стать, какъ Степанъ Егоровичъ оказался обладателемъ и Анны Ивановны, и своей любимой роши.

Имѣннице снова округлено, въ длинные зимніе вечера не предвидится больше одиночества и скуки. Хорошо было въ первое время женитьбы на душѣ у Степана Егоровича: молоденькая жена пришлась ему совсѣмъ по нраву—скромная и тихая, не бѣлоручка, а такая-же работница, какъ и онъ. Съ ея появленіемъ въ Кильдѣевской усадьбѣ все пошло по новому: какъ хорошо устроилъ свое мужское хозяйство Степанъ Егоровичъ, точно такъ-же хорошо устроила и Анна Ивановна женское хозяйство, которое было очень запущено послѣ смерти старухи Кильдѣевой. Въ маленькомъ домикѣ все чисто и исправно, на скотномъ дворѣ и коровы, и овцы, и птицы всякой домашней — тоже не мало. Степанъ Егоровичъ время отъ времени посылаетъ въ городъ на продажу и яйца, и масло, и битую птицу, гораздо въ большемъ количествѣ, чѣмъ прежде. Доходъ прибавляется,—радуется сердце хозяйское. А тутъ еще и другая радость: въ усадьбѣ—жилища новая; какъ разъ черезъ девять мѣсяцевъ послѣ свадьбы даровалъ Господь Кильдѣевымъ дочку Аришеньку. Жизнь ключемъ бьетъ, совсѣмъ молодцомъ сталъ Степанъ Егоровичъ: даже со стороны смотрѣть весело, полное довольство въ лицѣ свѣтится. бодрости и силы на двоихъ хватить,—есть для кого работать. есть о комъ заботиться; все идетъ какъ по маслу...

Такъ счастливо и благополучно началась семейная жизнь Степана Егоровича; но скоро все стало измѣняться въ Кильдѣевской усадьбѣ. Анна Ивановна, оставаясь примѣрной женой и хозяйкой, оказалась въ то-же время и замѣчательной матерью: уже на второмъ году супружества, и менѣе чѣмъ черезъ годъ послѣ рожденія Аришеньки, она снова родила,—и на этотъ разъ, ко всеобщему изумленію сосѣдей,—родила тройней: двухъ мальчиковъ и

одну дѣвочку. И всѣ трое не только остались живы, но оказались такъ-же крѣпкими и здоровыми, какъ и ихъ сестрица Аришенька. Родственники и сосѣди, присутствовавшіе на крестинахъ, поздравляли Кильдѣвыхъ съ такимъ особливимъ знакомъ Божьяго благословенія. Степанъ Егоровичъ, принимая поздравленія, улыбался, но въ то-же время ему было какъ-то неловко, какъ-будто даже нѣсколько совѣстно. Къ тому-же скоро стали оказываться для него нѣкоторыя домашнія неудобства: домикъ-то маленкій, дѣти пищать въ четыре голоса, молодая мать сама троихъ выкормить, какъ слѣдуетъ, не можетъ—изъ деревни мамку взяли, тѣсноты отъ этого въ домикѣ прибавилось: нѣтъ уже прежняго отдыха послѣ работы, прежняго спокойствія.

Прошло полтора года—еще ребенокъ, да такъ и пошло... Не успѣли посѣдѣть волосы на головѣ Степана Егоровича, не успѣла потерять своей миловидности всегда здоровая и дѣятельная Анна Ивановна, какъ у нихъ оказалось двадцать два человѣка дѣтей—и всѣ дѣти были живы и здоровы, на удивленіе цѣлой Симбирской губерніи. Имя Кильдѣва, человѣка незнатнаго и небогатаго, стало извѣстно всѣмъ и каждому на сотни верстъ въ окружности, единственно благодаря необыкновенной многочисленности его семейства.

«Это другіе Кильдѣвы!» говорили про тѣхъ, у кого дѣтей было много.

Когда Степанъ Егоровичъ пріѣзжалъ по дѣламъ своимъ въ Симбирскъ, то всѣ высшіе начальствующіе люди зазывали его къ себѣ, обходились съ нимъ ласково и милостиво, и непременно каждый разъ заставляли его рассказывать, когда и какой изъ дѣтей его родился и какъ ихъ всѣхъ зовутъ. Степанъ Егоровичъ иногда путался въ своихъ отвѣтахъ и это доставляло большое удовольствіе его собесѣдникамъ.

II.

Интересно было теперь заглянуть въ Кильдѣвку. Усадьба была неузнаваема: къ прежнему домику было сдѣлано нѣсколько пристроекъ по мѣрѣ надобности. Онъ являлся теперь съ виду до крайности страннымъ зданіемъ, откуда вѣчно неслись разнообразные голоса, гдѣ происходила вѣчная возня.

Возвращаясь, бывало, съ ранней хозяйской прогулки, Степанъ Егоровичъ остановится, поглядитъ на свою усадьбу, улыбнется не то насмѣшливо, не то печально—и покачаетъ головой.

— Ну, заужужжалъ ужъ мой улей, повысыпали пчелы!

А пчелы бѣгутъ ему навстрѣчу—мальчики и дѣвочки, большіе и маленькіе, обсыпаютъ его со всѣхъ сторонъ, здороваются;

каждый спѣшитъ сообщить что-нибудь папенькѣ, ввести его въ мірокъ своихъ интересовъ. Иногда Степанъ Егоровичъ не въ духѣ, заботы разныя не даютъ покою, да взглянетъ на своихъ пчелокъ, радостно и довѣрчиво жужжащихъ,—и умилятся духомъ, каждаго и каждую приласкаетъ, по головкѣ погладитъ, старается никого не обидѣть.

«Охъ, умучился я совѣмъ», думалось ему: «передъ каждымъ-то кланяйся, каждаго ублажай, бейся какъ рыба объ ледъ, о своемъ спокойствіи и не подумай—и все-то для нихъ, чтобы имъ было тепло и сытно!.. Да они-то чѣмъ виноваты? не просились, вѣдь, на свѣтъ Божій, на этакую-то горькую долю!.. такъ какъ же объ нихъ не позаботиться... Но вотъ коли всѣхъ нашихъ заботъ не попомнятъ, тогда другое дѣло, тогда грѣхъ имъ будетъ великій»...

И вдругъ жалко станетъ ему своихъ пчелокъ, подумается о томъ, какъ живутъ другія дѣти — богатыхъ родителей, и еще ласковѣе глядитъ онъ на нихъ, и еще внимательнѣе выслушиваетъ ихъ рассказы. Въ домъ войдетъ—тамъ жена съ старшими дочерьми по хозяйству возится, приготовленіями къ скудному обѣду распоряжается, на всякіе недостатки плачется. Исъкаждымъ годомъ все болѣе и болѣе эти недостатки зоркому хозяйскому глазу представляются. Съ большими средствами, съ изряднымъ богатствомъ, такъ и то, вѣдь, не легко прокормить такое семейство, а Кильдѣевскіе доходы всѣмъ извѣстны; еще на удивленіе, что голодомъ не сидятъ. Ну, а ужъ о дворянскомъ воспитаніи гдѣ думать—вонъ отецъ Матвѣй еле-еле согласился обучать дѣтишекъ грамотѣ; пристроить старшихъ сыновей въ заведеніе казенное хотѣлось-бы, да какъ выбратъ въ столицу? на поѣздку деньги большія нужны, времени тоже не мало потерять придется, а время—охъ, какъ дорого!

Нашлись, однако, въ Симбирскѣ благодѣтели — пристроили двухъ старшихъ Кильдѣевскихъ мальчиковъ. Возблагодарили Господа Степанъ Егоровичъ и Анна Ивановна: «хоть эти, авось, въ люди выйдутъ! А ужъ о дочкахъ старшихъ лучше и не думать—гдѣ ихъ пристроить съ такими недостатками; безъ приданаго кто возьметъ невѣсту. Вдобавокъ же Аришенька, хоть и умница она и первая помощница матери, только собой вышла некрасивой и плечо одно выше другого—въ дѣтствѣ не углядѣли, свалилась она какъ-то съ вышки, да съ тѣхъ поръ и не выпрямилась. Оленька, вторая дочка, собою хороша, да вотъ къ шестнадцати годамъ стала что-то прихварывать, блѣдная такая, худенькая. Третья—Машенька, и хороша и здорова, да на что, при такой бѣдности, пригодится красота ея? Дай только, Господи, чтобы не на погибель ей была красота эта... Остальныя дѣти еще

подрастають, что-то изъ нихъ будетъ? Охъ, что-то будетъ съ ними со всѣми?!»

Этотъ вопросъ днемъ и ночью стоитъ передъ Степаномъ Егоровичемъ и Анной Ивановной; съ этимъ вопросомъ они нерѣдко обращаются другъ къ другу, но отвѣта на него дать не могутъ. Лучше ужъ и не думать—и помимо этихъ думъ тяжелыхъ каждый день приноситъ свою заботу. Весь-то улей обшить, одѣть, обути и накормить надо, и такъ вонъ дѣти въ лѣтнюю пору босикомъ бѣгаютъ, потому что рѣдко на всѣхъ обуви хватаетъ; платишки тоже, какъ ни бейся, драныя. Поповскія дочери то и дѣло надъ Кильдѣевскими барышнями смѣются, такъ «босоногими барышнями» ихъ и называютъ.

III.

Среди такихъ бѣдъ и заботъ Кильдѣевыхъ застало новое великое бѣдствіе, охватившее всѣ приволжскія страны. Прикащикъ Степана Егоровича и самый довѣренный его человѣкъ, Наумъ, какъ-то ѣздилъ въ городъ для продажи деревенскихъ продуктовъ и закупки всего нужнаго по хозяйству. Вернувшись и представивъ господину отчетъ въ возложенныхъ на него порученіяхъ, Наумъ не уходилъ, мялъ шапку въ рукахъ, очевидно собирався сообщить что-то важное.

Степанъ Егоровичъ замѣтилъ это.

— Что ты, Наумушка?—озабоченно спросилъ онъ:—али не ладное что случилось? такъ говори, не мнись, ради Бога!

Наумъ таинственно повелъ глазами на присутствовавшихъ въ комнаткѣ трехъ дочерей и двухъ сыновей Кильдѣева и, наклонясь къ самому уху господина, прошепталъ:

— А прикажи-ка ты, батюшка Степанъ Егоровичъ, барчатамъ-то выйти, такое, вишь ты, дѣло, что негоже при нихъ рассказывать—испугаются...

Кильдѣевъ зналъ своего Наума за мужика разумнаго и степеннаго; коли такъ пугаетъ—видно и впрямь бѣда какая стряслась. Онъ велѣлъ дѣтямъ выйти и заперся самъ-другъ съ прикащикомъ.

— Да говори, не томи, язва, что ли какая, черная смерть у насъ показалась?

Наумъ перекрестился.

— Нѣту, батюшка, отъ этого горя Богъ миловалъ; а слышалъ я въ городѣ про другое: за Волгою неладное творится... Царь Петръ Ѳедоровичъ живъ объявился, съ большущимъ войскомъ идетъ, много тамъ крѣпостей да городовъ забралъ, царицыныхъ генераловъ на-голову разбилъ, и чудное про него баютъ:

баръ, вишь ты, всѣхъ вѣшаетъ, да съ живыхъ кожу сдираетъ; а крестьянство не трогаеъ, мало того—вольную всѣмъ даетъ, землями надѣляетъ. Народъ къ нему валомъ валить, и опять тоже съ нимъ и нехристи: башкирцы, калмыки и мордва—видимо ихъ невидимо, бають...

Степанъ Егоровичъ слушалъ, широко раскрывъ глаза, и въ первую минуту даже никакъ не могъ повѣрить такому дѣлу.

— Да отъ кого ты слышалъ, кто это болтаетъ?! Какойнибудь разбойникъ вздорную сказку пустилъ, другой повторилъ, а ты и уши развѣсилъ!

— Нѣтъ, батюшка, нѣтъ, Степанъ Егоровичъ,—съ убѣжденнымъ и важнымъ видомъ проговорилъ Наумъ: — то не сказка, весь городъ знаетъ, да и войско царицыно, вишь ты, идетъ ужъ. Начальство толкуетъ—то не царь Петръ Ѳедорычъ, то, молъ, бѣглый казакъ Емелька Пугачевъ...

Степанъ Егоровичъ опустилсѣ на стулъ и совсѣмъ растерянно глядѣлъ на Наума. Онъ все еще никакъ не могъ взять въ толкъ невѣроятную и страшную новость.

— Да, вѣдь, государь Петръ Ѳедоровичъ померъ, кто-же того не знаетъ?!—проговорилъ онъ.

Наумъ какъ-то загадочно ухмыльнулся.

— Это точно,—сказалъ онъ:—да, вишь ты, тотъ, Емелька-то, самозванчикъ, вишь ты, онъ крестьянству волю сулитъ, да землю...

И замолчалъ. Степанъ Егоровичъ, наконецъ, все понялъ. Онъ чувствовалъ какъ блѣднѣетъ, какъ морозъ подираетъ его по кожѣ. Наумъ заговорилъ опять:

— Меня-то не обманеешь, мнѣ воли да земли не надо, я за твоею милостью, батюшка ты нашъ, живу какъ у Господа за пазухой (при этихъ словахъ онъ почти земно поклонился Степану Егоровичу). Ну, а самъ тоже, вѣдь, знаешь, иные-то господа съ нашимъ братомъ что дѣлаютъ. Вонъ, хошь Юрловскихъ взять для примѣра: все село волкомъ воетъ, разорились въ конецъ, чуть съ голода не помираютъ, а тутъ баринъ съ нагайкой да съ охотничками своими по избамъ рыщетъ; дѣвки-то по амбарахъ, да по хлѣбамъ прячутся, да не спрячешься, гдѣ ужъ тутъ... всѣхъ какъ есть на барскій дворъ гонять... всѣхъ перепортилъ... страсть! Такъ не токмо что Емелька, а самъ чортъ, прости Господи, приди къ нимъ, да скажи про волю, такъ они и чорта царемъ величать учнутъ...

Долго толковалъ Степанъ Егоровичъ со своимъ разумнымъ прикащикомъ и тяжело было у него на сердцѣ. Однако, заботы да работы скоро ослабили впечатлѣніе страшной новости, забылись многозначительныя слова Наума, все стало представляться

въ иномъ свѣтѣ. Казаки взбунтовались за Волгой, бѣглый Емелька шайку набралъ! И прежде то-же бывало. Придетъ царицыно войско, переловятъ воровъ—бунтъ утихнетъ; да и далеко, вѣдь, это, за Волгой. Совсѣмъ было успокоился Степанъ Егоровичъ, только ненадолго: пріѣхалъ сосѣдь-помѣщикъ, да и опять про Емельку такія страсти рассказываетъ, что не дай Богъ.

И пошло день ото дня все хуже и хуже. На всѣхъ страхъ такой напалъ, всѣ съ вытянутыми лицами. Говорятъ уже не про одного Емельку: то тамъ, то здѣсь мужики бунтоваться начинаютъ. Въ городѣ полная тревога: начальство не знаетъ, что дѣлать, одни кабатчики торжествуютъ, народъ пьянствуетъ какъ никогда, по улицамъ безобразіе, крики, драки, и то тамъ, то здѣсь раздаются фразы: «вотъ постоитъ, подождите малость, наѣдетъ батюшка Петръ Ѳедорычъ, пожалуетъ намъ волюшку, а съ господъ живьемъ кожу сдеретъ себѣ на барабаны!»

Ходитъ Степанъ Егоровичъ съ опущенной головою, тошно жить становится; въ домѣ, среди женскаго населенія, да между дѣтьми, только и разговоръ, что про Емельку. И откуда это только разныя новости являются, совсѣмъ непонятно, а каждый день что-нибудь новое приходится слышать. Дѣти жмутся другъ къ другу и толкуютъ о томъ, какъ Емелька поймалъ десять генераловъ, повѣсилъ ихъ всѣхъ на одной висѣлицѣ, потомъ содралъ съ нихъ кожу, кожу эту набилъ соломой, сдѣлалъ чучелы, одѣлъ въ мундиры и отправилъ прямо къ царицѣ.

Кильдѣевскіе крестьяне хоть и не бунтуютъ и не грозятся, но все уже не тѣ, что были. Замѣчаетъ Степанъ Егоровичъ, что и работа идетъ вяло, и почтенія прежняго къ нему нѣтъ; слышитъ онъ разговоры о томъ, какъ царя батюшку Петра Ѳедорыча встрѣчаетъ людъ православный съ хлѣбомъ да солью.

— Ну что, Наумъ?—спрашиваетъ Кильдѣевъ прикащика и со страхомъ ждетъ его отвѣта.

Наумъ медленно качаетъ головой.

— А то, батюшка, что коли онъ теперечи черезъ Волгу перемахнетъ, такъ и пиши пропало, того только и ждутъ, окаянные... ждутъ—не дождутся!..

IV.

Стояло лѣто 1774 года. Пугачевъ, совсѣмъ было загнанный и раздавленный, послѣ погрома Казани, Михельсономъ, вдругъ переправился на западную сторону Волги. Народъ, давно его поджидавшій, взбунтовался и валилъ къ нему со всѣхъ сторонъ. Воеводы покидали свои мѣста и бѣжали, дворяне прятались, кто

куда могъ; но Пугачевская сволочь ловила ихъ и умерщвляла звѣрскимъ образомъ. Путь самозванца обозначался висѣлицами, разграбленными и сожженными деревнями и селами; города одинъ за другимъ падали; духовенство и купечество выходили навстрѣчу безобразной ордѣ съ крестами и хоругвями, съ хлѣбомъ и солью. Сообщение между Нижнимъ и Казанью было прервано, Москва трепетала, въ Петербургѣ принимались послѣднія мѣры. Наконецъ, одного Пугачева стало мало: собирались безчисленныя шайки и во главѣ каждой оказывался свой Пугачевъ, свой императоръ Петръ Ѳеодорычъ.

Вокругъ Кильдѣевки пылали церкви и барскія усадьбы. Почти всѣ помѣщики бѣжали со своими семьями по направленію къ Москвѣ, но рѣдко кому удавалось спастись: почти всѣ сдѣлались жертвами или собственныхъ крестьянъ, или всюду рыскавшихъ разбойничьихъ шакъ. Одинъ Степанъ Егоровичъ не трогался съ мѣста и терпѣливо ожидалъ своей участи. Наумъ чуть не каждый часъ приносилъ ужасныя вѣсти, и послѣдняя его вѣсть была самая страшная: родной братъ Анны Ивановны Кильдѣевой, жившій верстахъ въ четырнадцати, былъ умерщвленъ крестьянами у себя въ домѣ. Онъ былъ вдовъ и жилъ съ взрослой дочерью. Убивъ отца и разграбивъ всю усадьбу, злодѣи схватили дочь, безбожно надругались надъ нею, а такъ какъ она пробовала защищаться и выказала много смѣлости и силы, то они связали ее и удавили.

Кильдѣевскіе крестьяне еще не нападали на Степана Егоровича; но, конечно, всѣ работы уже давно были брошены и деревня почти вся опустѣла: мужики ушли къ Фирскѣ, одному изъ Пугачевыхъ, или «пугачей», какъ тогда называли этихъ второстепенныхъ самозванцевъ. Фирска въ то время уже набралъ себѣ большую шайку и успѣлъ ограбить и выжечь два уѣзда...

Въ первыхъ числахъ іюля, въ послѣобѣденную пору, Анна Ивановна, страшно постарѣвшая и измѣнившаяся въ послѣднее время, съ помощью дрожащихъ, заплаканныхъ дочерей и оставшейся въ домѣ женской прислуги, собирала кой-какіе цѣнные пожитки въ узелки; младшія дѣти кричали и метались изъ угла въ уголъ какъ полоумныя. Степанъ Егоровичъ, съ потемнѣвшимъ, осунувшимся лицомъ, сидѣлъ, не сходя съ мѣста, на крылечкѣ своего дома. Вдругъ, замѣтивъ жену, несшую какіе-то узелки, онъ закричалъ ей:

— Анна, чего ты?! сейчасъ все развяжи... Куда укладываешься?.. все, слышь ты, все поставь, гдѣ стояло... ничего не прячь!..

Онъ вошелъ было въ домъ, но при видѣ перепуганныхъ, полураздѣтыхъ дѣтей, едва удержался отъ рыданій и выбѣжалъ снова на крыльцо, а оттуда черезъ огородъ къ церкви. Церковь

была отперта. Степанъ Егоровичъ вошелъ въ нее; онъ увидѣлъ отца Матвѣя съ дьячкомъ: они вынимали въ алтарѣ изъ шкафа праздничныя ризы.

— Батюшка, ты что-же дѣлаешь?—спросилъ Кильдѣевъ, обращаясь къ священнику:—али церковное добро прятать хочешь отъ разбойниковъ, да гдѣ спрячешь, всюду розыщутъ?!

Отецъ Матвѣй, очень сухо поклонившись Кильдѣеву, какъ-то странно и недоброжелательно взглянулъ на него.

— О какихъ разбойникахъ изволишь говорить, Степанъ Егоровичъ?—сказалъ онъ.—А вотъ не нынче-завтра я государя Петра Федоровича ожидаю, такъ приготовляюсь достойно встрѣтить его.

Кильдѣевъ хотѣлъ было говорить, но вдругъ замолчалъ и быстро вышелъ изъ церкви.

«Петръ Федоровичъ», думалось ему: «это Фирска-то, можетъ, бѣглый холопъ какой, а то и того хуже—колодникъ, душегубецъ!.. это его-то онъ будетъ встрѣчать облекшись въ ризы, съ крестомъ... Ну, а мнѣ какъ его встрѣтить?»

Онъ вспомнилъ всѣ рассказы, одинъ другого страшнѣе, одинъ другого безобразнѣе; вспомнилъ, какъ изверги пытаются дворянъ, сдираютъ съ живыхъ кожу, безчестятъ дочерей на глазахъ у родителей. Ему ярко, ярко представилось, что вотъ, можетъ, черезъ нѣсколько часовъ, можетъ, сейчасъ и съ нимъ будетъ то-же самое. Онъ схватилъ себя за голову и побѣжалъ домой. На порогѣ стояла его третья дочь, красивая Маша. Онъ взглянулъ на ея поблѣднѣвшее, заплаканное милое лицо, обнялъ ее крѣпко, будто ужъ ее у него вырывали, и зашепталъ прерывающимся хриплымъ голосомъ:

— Машуня, пойдѣ, пойдѣ съ сестрами въ кладовую... спрячь-тись... не выходите... молитесь!..

Она громко взвизгнула. Сбѣжались другія дѣти, поднялся вопль во всемъ домѣ. Степанъ Егоровичъ стоялъ совсѣмъ растерявшійся, всѣ мысли вдругъ пошли врознь, и онъ никакъ не могъ собрать ихъ.

А въ это время къ крыльцу со всѣхъ ногъ бѣжалъ Наумъ и издали махалъ руками. Степанъ Егоровичъ взглянулъ на него и сразу все понялъ.

— Подходятъ!—крикнулъ Наумъ: — и конные, и пѣшіе... и наши съ ними... ужъ въ рошѣ... самъ видѣлъ...

Анна Ивановна, взрослая дочери и всѣ дѣти страшно заголосили, но вдругъ замолкли и, тѣсняясь и толкаясь, бросились во внутренніе покои. Степанъ Егоровичъ опустился на ступеньки крылечка и сидѣлъ неподвижно, съ искаженнымъ лицомъ, съ трясущимися руками. Наумъ стоялъ подлѣ своего господина спокойно и серьезно.

Ясный июльскій закатъ заливалъ горячимъ свѣтомъ весь дворъ, огородъ и старую любимую Кильдѣевскую рошу, изъ которой доносились крики и дикіе раскаты нестройной пѣсни.

V.

Не прошло и десяти минутъ, какъ во дворъ нахлынула полупьяная толпа, состоявшая изъ самаго разнообразнаго люда, одѣтаго во всевозможные костюмы. Здѣсь были и крестьяне, и бѣглецы дворовые, и городскіе приказные, и купцы, и какіе-то проходимцы, прежнее званіе которыхъ опредѣлить было очень трудно. Всякій былъ одѣтъ въ награбленное платье; на сиволапой мужицкой фигурѣ виднѣлась богатая шапка, небритый пьяный лакей оказывался въ бархатномъ расшитомъ камзолѣ. Вооруженье тоже было самое разнообразное: виднѣлись ружья, пистолеты, но все больше топоры да дубины. И вся эта разнородная толпа кричала и ругалась. По дорогѣ она разбила два кабака и многіе были уже совсѣмъ пьяны. Какой-то приземистый, несовсѣмъ твердый на ногахъ старикашка, въ собольей шапкѣ и длинномъ плащѣ, кричалъ и махалъ руками больше всѣхъ. Его называли полковникомъ. Онъ выдѣлился изъ толпы и подошелъ, то и дѣло пугаясь въ своемъ плащѣ, къ крылечку.

— Эй, кто тутъ хозяинъ?

Степанъ Егоровичъ поднялъ на него сухіе горящіе глаза и, не тронувшись съ мѣста, не шевельнувшись, глухимъ голосомъ проговорилъ:

— Я хозяинъ.

— Ну, такъ чего-же ты, господинъ честной, такой неласковый. Вставай, встрѣчай гостей; видишь, царское войско къ тебѣ пожаловало, да и самъ государь Петръ Ѳедоровичъ сейчасъ будетъ.

Степанъ Егоровичъ хотѣлъ было встать, да и опять опустился на ступеньки. Наумъ, все попрежнему спокойный и серьезный, снялъ шапку и низко поклонился говорившему. Старикашка не обратилъ на него никакого вниманія и опять заговорилъ Кильдѣеву:

— Да, постой-ка, голубчикъ, сперва-на-перво скажи-ка ты мнѣ: кому вѣруешь—Петру Ѳедоровичу или Екатеринѣ Алексѣевнѣ?

Вдругъ страшная злоба подступила къ сердцу Степана Егоровича; его руки невольно сжались въ кулаки; ему безумно захотѣлось на мѣстѣ уложить этого плюгаваго старикашку; ему захотѣлось громко прокричать имя императрицы, а этого Петра Ѳедоровича обозвать его настоящимъ именемъ. Но мысль о томъ, что тамъ, сзади, въ комнатахъ, жена и огромное семейство,

дѣти малъ-мала-меньше, эта мысль удержала его. Однако, увѣровать въ «Петра Ѳедоровича» онъ все-же не могъ и продолжалъ упорно молчать, глядя на кривлявшагося передъ нимъ старикашку.

— Эй да ты, видно, упрямецъ!— ухмыляясь, произнесъ «полковникъ».— Ну, тамъ государь самъ тебя разберетъ, передъ нимъ не отомлчишься. А теперь пока подавай-ка свою казну, да смотри, ничего не утаивать—хуже будетъ!

— Нѣтъ у меня казны,—тихо проговорилъ Степанъ Егоровичъ.—Вонъ мои крестьяне тутъ съ вами... такъ спросите ихъ, какая у меня казна...

И замолчалъ.

— Чего съ нимъ разговаривать,—крикнулъ старикашка:—эй, въ домъ, на осмотръ, а его вяжите!

Мигомъ нѣсколько человѣкъ кинулись на Степана Егоровича. Онъ не сопротивлялся. Ему связали руки назадъ веревкой. Онъ видѣлъ, какъ толпа разбойниковъ бросилась въ домъ; онъ чутко прислушивался почти съ остановившимся сердцемъ,—женскихъ и дѣтскихъ визговъ не было слышно, видно, всѣ успѣли выбраться изъ дома, попрятаться. Но, вѣдь, гдѣ бы ни спрятались, всюду найдутъ разбойники, послѣдній часъ пришелъ.

Между тѣмъ, Наумъ, увидя, что Степана Егоровича вяжутъ, не бросился защищать его, а отошелъ тихонько, замѣшался въ толпу и переговаривался то съ тѣмъ, то съ другимъ мужикомъ.

— Вѣстимо, обидѣ отъ него не было,—говорили ему въ отвѣтъ:—да и взять съ него нечего, семья его одолѣла... ну, а все-жъ-таки баринъ онъ, да и не наша тутъ воля...

Въ это время гдѣ-то вблизи раздался звонъ бубенчиковъ, и вотъ лихая тройка въѣхала во дворъ. Въ покойной и дорогой коляскѣ, очевидно недавно еще принадлежавшей какому-нибудь богатому помѣщику, сидѣлъ развальный высокій и плотный человѣкъ лѣтъ сорока пяти, въ треуголкѣ на головѣ, въ бархатномъ камзолѣ и длинныхъ ботфортахъ. Въ толпѣ произошло движеніе, нѣкоторые сняли шапки.

— А вотъ и самъ государь! — прошамкалъ «полковникъ», приближаясь къ коляскѣ.

Сидѣвшій въ ней человѣкъ проворно выскочилъ безъ посторонней помощи и обратился къ «полковнику».

— Гдѣ-же хозяинъ?—спросилъ онъ.

— Здѣсь, государь-батюшка, да больно плохъ хозяинъ, дорогихъ гостей встрѣчать не умѣетъ.

Пріѣхавшій пристально вглядѣлся въ Степана Егоровича; какая-то неуловимая улыбка мелькнула на красномъ, когда-то видно красивомъ, но теперь уже обрюзгшемъ лицѣ его. И Степанъ

Егоровичъ взглянулъ на него, но тотчасъ-же отвелъ глаза свои въ сторону.

«Это Фирска, это тотъ самый злодѣй, который жжетъ, грабить и вѣшаетъ... значить, теперь уже скоро»...

Между тѣмъ старикашка «полковникъ» наклонился къ Фирскѣ и шепталъ ему:

— Тутъ невелика пожива, вѣдь, я говорилъ—бѣднякъ онъ какъ есть, дѣтей народилъ на удивленье всей губерніи, двадцать два человѣка. Развѣ что твоей милости, али изъ насъ кому, дѣвчонки его приглянутся, ну, такъ можно будетъ забрать съ собой, а съ нимъ и толковать нечего, коли что, такъ вздернуть, и вся недолга.

Фирска повелъ на полковника своими большими, воспаленными глазами.

— Это тамъ видно будетъ,—сказалъ онъ:—я самъ съ нимъ потолкую, а нашимъ кому бы на деревню идти, кому тутъ остаться, да въ погребахъ пошарить, можетъ, что хмѣльное и найдется; только чуръ, безъ моего приказа и вѣдома никого не обижать и не трогать, самъ учиню и судъ и расправу! Веди меня въ домъ, да и хозяина за мною.

Скоро въ маленькомъ покойчикѣ Степана Егоровича, передъ столомъ, на которомъ уже красовалась закуска и водка, неизвестно откуда добытая, сидѣлъ Фирска, а передъ нимъ стоялъ приведенный двумя мужиками Кильдѣевъ.

— Развяжите ему руки,—приказалъ Фирска:—да ступайте, я самъ съ него допросъ сниму.

Совсѣмъ почти безчувственное состояніе нашло на Степана Егоровича; онъ ясно видѣлъ все и всѣхъ, только какъ-то пересталъ соображать. Когда его развязали и оставили одного съ Фирской, онъ почти упалъ на стулъ, опустилъ голову и остался неподвижнымъ. Фирска приперъ дверь, подошелъ къ нему и грубымъ, нѣсколько охрипшимъ голосомъ повторилъ вопросъ старикашки:

— Кому вѣруешь, Петру Ѳедоровичу или Екатеринѣ Алексѣевнѣ?

Степанъ Егоровичъ задрожалъ всѣмъ тѣломъ, его снова охватило бѣшенство отчаянія. Онъ рванулъ со стула и крѣпко схватилъ за плечи Фирску.

— Это ты-то Петръ Ѳедоровичъ?.. это тебѣ-то вѣровать?—крикнулъ онъ:—разбойникъ проклятый!

Фирска отстранилъ его своими сильными руками.

— Тише, хозяинъ, тише, неравно услышатъ, тогда будетъ плохо, да и ничего еще не видя, и не слѣдъ ругаться. А ты лучше поспокойся, да посмотри на меня попристальнѣе, можетъ, и признаешь?.

Степанъ Егоровичъ никакъ не ожидалъ подобной рѣчи; въ голосѣ разбойника прозвучала какая-то мягкая, ласковая нота. Съ изумленіемъ онъ взглянулъ на него, и вотъ красное и пьяное лицо этого Фирски, этого страшилища, наводившаго ужасъ на всю окрестность, ему дѣйствительно показалось знакомымъ. Онъ глядѣлъ, глядѣлъ, припоминалъ что-то...

— Али не признаешь, Степанъ Егоровичъ, али ужъ такъ я измѣнился? Да и не мудрено, лѣтъ болѣе двадцати не видались. Я самъ бы тебя не призналъ, кабы невѣдомо мнѣ было, къ кому въ гости ѣду.

И говоря это, онъ улыбался. На его лицо изъ окошка падали послѣдніе отблески заката. Степанъ Егоровичъ вздрогнулъ, отшатнулся и вдругъ крикнулъ:

— Фирсъ Иванычъ, ты ли?! можно-ли быть тому?!

— Ну, вотъ и призналъ, старый пріятель... такъ-то лучше, теперь и потолкуемъ.

Степану Егоровичу казалось, что онъ спитъ и грезитъ; но ему некогда было изумляться, одна мысль, одно чувство наполнили его всего. Онъ кинулся къ разбойнику, слезы выступили на глазахъ его:

— Фирсъ Иванычъ! — захлебываясь, говорилъ онъ:—тамъ у меня жена, дѣти, дочери спрятались... ихъ сейчасъ сыщутъ твои люди... погубятъ... защити... помилуй!..

Это страшилище, этотъ извергъ, упивавшійся кровью, былъ для Степана Егоровича теперь уже не страшилищемъ и не извергомъ, на него была одна надежда, онъ являлся единственнымъ заступникомъ и спасителемъ.

— Будь спокоенъ, пріятель, никто твоихъ не тронетъ—я ужъ распорядился. А теперь пойдемъ, покажи мнѣ, гдѣ онѣ спрятались—познакомь съ женой, съ дочками, пускай сюда вернутся въ домъ... нечего имъ прятаться, я караулъ у дверей поставлю и, пока я твой гость, никто и пальцемъ тебя и твоихъ не тронетъ.

Фирсъ отворилъ дверь и вышелъ, обнявъ и увлекая за собою шатающагося, будто совсѣмъ пьянаго хозяина.

VI.

Двадцать пять лѣтъ передъ тѣмъ, конечно, никому изъ товарищей и однополчанъ Фирса Ивановича не могло прійти въ голову, что онъ когда-нибудь будетъ фигурировать въ роли атамана разбойничьей шайки, что его имя будетъ повторяться съ ужасомъ тысячами народа и останется заклеяннымъ самими

звѣрскими злодѣйствами. Тогда это былъ красавецъ юноша, милый и добрый товарищъ, шалунъ, всегда готовый на самыя смѣлыя выходки, часто попадавшійся и охотно выручаемый товарищами. Дружнѣ всѣхъ онъ былъ съ Кильдѣевымъ, жили они душа въ душу, и даже на одной квартирѣ. Фирсъ былъ года на два — на три моложе Кильдѣева, а потому тотъ относился къ нему, какъ старшій братъ, выручалъ его всячески, дѣлился съ нимъ послѣдней копѣйкой. Выйдя въ отставку и переселившись въ симбирскую глушь, Кильдѣевъ очень горевалъ о пріятелѣ, но сношенія ихъ прекратились; переписка тогда, въ особенности между молодыми офицерами, была дѣломъ непривычнымъ. Года черезъ два, при случайной встрѣчѣ съ однимъ изъ петербургскихъ знакомыхъ, Кильдѣевъ первымъ долгомъ спросилъ про Фирса и тутъ узналъ, что Фирсъ пропалъ безъ вѣсти. Случилась у него драка съ кѣмъ-то изъ товарищей; Фирсъ обладалъ громадной силой и въ бѣшенствѣ себя не помнилъ, — драка окончилась нечаяннымъ убійствомъ. Исторія выходила скверная, молодому сержанту приходилось тяжело расплачиваться — и вотъ онъ бѣжалъ изъ Петербурга, и никто не зналъ, гдѣ онъ и что съ нимъ. Конечно, не будь этой пьяной драки, не будь шального удара, попавшаго прямо въ високъ товарищу, можетъ быть, Фирсъ, красивый и ловкій, любимый всѣми, сумѣлъ бы достичь въ войскѣ большого чина и теперь, пожалуй, былъ бы однимъ изъ военачальниковъ, высланныхъ противъ самозванца.

Но шальной ударъ рѣшилъ иначе. Молодой сержантъ, превратившійся въ бродягу, безъ всякихъ средствъ, обязанный скрывать свое имя, принужденный сходиться съ людьми темными и бѣжать отъ общества, къ которому принадлежалъ и по происхожденію, и по воспитанію, при этомъ обладая легкомысленнымъ, увлекающимъ характеромъ, безъ силы воли, безъ нравственныхъ понятій, онъ съ каждымъ годомъ падалъ все ниже и ниже. Гдѣ только, гдѣ въ эти двадцать пять лѣтъ не прожигалъ онъ жизнь свою; вся Россія вдоль и поперекъ была ему знакома; и въ особенности знакомы были ему степи приволжскія, куда онъ не разъ уходилъ скрываться послѣ какой-нибудь крупной исторіи. Исторій-же у него было много: гдѣ ярмарка, тамъ ужъ и Фирсъ — маклачить, обманываетъ.

Не разъ набиралъ онъ шайку и задумывалъ и исполнялъ очень смѣлые грабежи. Съ прошлымъ своимъ онъ давно уже покончилъ, у него ничего не осталось отъ прежнихъ склонностей и привычекъ: это былъ настоящій типъ разбойничьяго атамана, который ни передъ чѣмъ не останавливался, который думалъ только объ удовлетвореніи страстей своихъ, продолжавшихъ кипѣть въ немъ, несмотря на немолодые годы, несмотря на тревожную и рас-

путную жизнь, немогшую, однако, никакъ сломить его крѣпкаго организма.

Такой человѣкъ, какъ Фирсъ, не могъ, конечно, пропустить Пугачевского времени, не могъ не сыграть своей роли, къ которой онъ былъ такъ хорошо подготовленъ. Онъ не присоединился къ самозванцу, потому что не терпѣлъ никакого подчиненія. Ему стоило только перемолвиться съ двумя-тремя подходящими людьми, стоило только съ ними показаться въ первомъ большомъ селѣ и назвать себя Петромъ Федоровичемъ, какъ за нимъ повалила толпа народа.

У Фирса были административныя способности и даже нѣкоторый военный талантъ, благодаря которому, со своей отрепанной, разношерстной шайкой, онъ уже побѣдоносно выдержалъ стычку съ небольшимъ отрядомъ. Онъ переходилъ съ мѣста на мѣсто, грабя все по пути и съ каждымъ днемъ увеличивая свое войско, главныя силы котораго, вмѣстѣ съ большимъ обозомъ награбленнаго добра, расположены были теперь въ глухомъ лѣсу, въ нѣсколькихъ верстахъ отъ Кильдѣвки.

Фирсъ не заглядывалъ ни въ далекое, ни даже въ близкое будущее, какъ не заглядывалъ въ него и въ теченіе всей своей жизни. Онъ жилъ настоящимъ днемъ — «день мой—вѣкъ мой!» говорилъ онъ, какъ и всѣ ему подобные люди. Но у него было свое самолюбіе—ему теперь уже мало было этихъ грабежей по беззащитнымъ усадьбамъ, этой награбленной добычи; удачная стычка съ отрядомъ настоящаго войска его раззадорила, онъ замышлялъ идти на Симбирскъ, а потому подготовлялся, посылалъ въ Симбирскъ шпионовъ, заготовлялъ запасы оружія, подучалъ свое войско. Его посланные рыскали во всѣ стороны, поднимая окрестныхъ крестьянъ и приводя ихъ къ нему въ ставку десятками.

Такъ, нѣсколько дней тому назадъ, были приведены и нѣкоторые изъ кильдѣвскихъ мужиковъ, которые и рассказали Фирсу о житьѣ-бытьѣ его стараго пріятеля.

Задумался Фирсъ, вспомнилась молодость и закадычный другъ, «старшій братецъ», какъ онъ тогда называлъ его. Можетъ быть, воспоминаніе этой искренней молодой дружбы было единственное; что сохранилось въ сердцѣ Фирса отъ прежняго времени, отъ свѣжей и чистой когда-то юности—не все, вѣдь, умираетъ въ человѣческомъ сердцѣ. Захотѣлось страшному «пугачу» повидать Степана Егоровича и быть ему полезнымъ въ такое тяжелое время; да и всѣ обстоятельства такъ сложились, что оба они другъ другу могли пригодиться. Въ лѣсу стоянка была неудобная, а укомная усадьба, съ селеніемъ подъ бокомъ, при рѣчкѣ, среди рощъ и лѣсовъ, была куда лучше. Въ этой усадьбѣ

безъ большихъ хлопотъ и построекъ можно было сдѣлать и складъ награбленныхъ богатствъ, однимъ словомъ, устроить свою резиденцію, да еще и съ единственнымъ другомъ пожить послѣ такой долгой разлуки. Такая мысль пришла вдругъ въ голову Фирсу, а разъ ему приходила какая-нибудь мысль, онъ имѣлъ обычай тотчасъ-же и исполнять ее.

Отрядивъ нѣсколько десятковъ человѣкъ изъ своей шайки со старымъ приказнымъ, переименованнымъ въ «полковника», онъ приказалъ имъ идти въ Кильдѣвку, но ничего не грабить и отнюдь никого не трогать до его прибытія. Онъ не удержался, чтобы не устроить маленькой комедіи, чтобы не пошутить, не поугаать пріятеля, конечно, не соображая, что такія шутки иногда очень плохо кончаются. Бѣдный Степанъ Егоровичъ чуть съ ума не сошелъ отъ пріятельской шутки; но когда нѣсколько успокоился, когда убѣдился, что пьяная шайка хотя относится къ Фирсу и не какъ къ государю Петру Ѳедоровичу, но все же находится у него въ полномъ повиновеніи — почувствовалъ себя почти всѣмъ счастливымъ. Вѣдь, ужъ такъ и считалъ, что всѣмъ смертный часъ пришелъ, а тутъ вдругъ всѣ живы остались и близкой опасности не предвидится, такъ какъ-же не радоваться, какъ-же не благодарить Бога. О дальнѣйшемъ-же, конечно, еще не было времени подумать.

Странное явилось тоже у Степана Егоровича отношеніе къ Фирсу; онъ хорошо сознавалъ, что это разбойникъ, убійца, погибшій и страшный человѣкъ, но въ то-же время онъ не могъ не видѣть въ немъ и прежняго друга Фирса, не могъ не быть ему благодарнымъ за сегодняшнее спасеніе его семейства. Вѣдь, не явился самъ Фирсъ, не сдѣлай должныхъ распоряженій—люди его шайки сами собой нагрянули бы не сегодня, такъ завтра, и всѣхъ бы перебили. Но къ этому чувству благодарности присоединилось все-таки и сознаніе, что съ разбойникомъ и самозванцемъ Фирской нужно держать себя иначе, чѣмъ съ другомъ Фирсомъ Ивановичемъ.

«Кто его знаетъ, каковъ онъ теперь,—вотъ про старое вспоминаетъ, а вдругъ что-нибудь не по нраву ему покажется, и вмѣсто благодѣтеля сдѣлается убійцей».

Тяжело, странно, неловко становилось Степану Егоровичу; но мысль о спасеніи своихъ близкихъ, кровныхъ, своего дорогого «улья», царіла надъ всѣми другими мыслями и ощущеніями и заставляла его бережно относиться къ Фирсу, всячески стараться ничѣмъ не раздражать его.

Съ сердечнымъ замираніемъ указалъ онъ своему другу-разбойнику то мѣсто, гдѣ скрывались Анна Ивановна и дѣти. Перепуганныя и измученныя, онѣ, по приказу отца, стали мало-

по-малу выходить изъ своей засады. Анна Ивановна, чуть не помѣшавшаяся отъ страха и отчаянія, какъ увидала, что ихъ не хотятъ казнить, что Степанъ Егоровичъ не боится очевидно страшнаго атамана и обращается съ нимъ довольно свободно, даже не задумалась надъ тѣмъ, что все это значитъ. Она кинулась Фирсу въ ноги и стала умолять его сжалиться надъ ея дѣтьми и не давать ихъ въ обиду. Фирсъ собралъ всю любезность, на какую былъ еще способенъ, увѣрилъ ее, что ей нечего бояться; и въ свою очередь просилъ ее быть доброй хозяйкой, не гнать незваныхъ гостей. Она нѣсколько успокоилась, но въ то-же время ослабѣла и сидѣла, какъ-то бессмысленно смотря передъ собою и по временамъ вздрагивая.

Глядя на нее, Фирсъ прямо почелъ ее душой и, конечно, не сообразилъ того, что это его пріятельская шутка ее душой сдѣлала.

Фирсъ былъ въ отличномъ настроеніи духа. Онъ съ интересомъ разглядывалъ всѣхъ дѣтей Степана Егоровича.

— Вотъ ужъ и видно, что тебѣ благодать! ооооо!—обратился онъ къ хозяину.—Сказывали мнѣ твои мужики, что у тебя дѣтокъ двадцать два человѣка, да я было имъ не повѣрилъ. А дочки-то, вѣдь, уже невѣсты... да и какая у тебя эта красавица, братецъ... Какъ зовутъ-то?—прибавилъ онъ, указывая на Машеньку, бывшую посмѣлку прочихъ и хотя съ большимъ страхомъ, но и не безъ интереса на него посматривавшую.

— Марьей зовутъ,—отвѣтилъ Степанъ Егоровичъ дрогнувшимъ голосомъ.

У него явилось новое опасеніе:

«А ну какъ пріятель захочетъ воспользоваться своею силой?! вѣдь, говорятъ про него, что онъ отовсюду дѣвокъ къ себѣ въ ставку таскаетъ».

А пріятель въ это время подходилъ уже къ Машенькѣ, которая трусливо пятилась отъ него, пока не наткнулась на стѣну.

— Не пугайся меня, сударыня Марья Степановна,—проговорилъ Фирсъ, стараясь изобразить на своемъ красномъ, но все еще красивомъ лицѣ, ласковую улыбку:—прошу любить да жаловать.

Онъ вспомнилъ совсѣмъ почти позабытое имъ петербургское обращеніе и звонко поцѣловалъ у Машеньки руку. Она вскрикнула и бросилась бѣжать изъ комнаты.

Фирсъ смѣялся.

— Неужто я такой страшный, Степанъ Егоровичъ, что красныя дѣвицы отъ меня бѣгаютъ? Ну, да вотъ постойте, познакомимся поближе, тогда авось Марья Степановна перестанетъ меня бояться.

Защемило сердце у Степана Егоровича. Въ это время вошелъ разбойничій «полковникъ» и съ видимымъ изумленіемъ и подозрительно оглядѣлъ всѣхъ и каждого. Онъ не былъ посвященъ въ тайну Фирсовой шутки и не могъ понять, что все это значить, какимъ образомъ помѣщичьему семейству удалось избѣгнуть казни и почему свирѣпый Фирска въ такомъ благодушномъ и веселомъ настроеніи духа. Онъ нашелъ нужнымъ продолжать свою роль и, низко поклонившись атаману, хриплымъ и дребезжающимъ голосомъ, произнесъ:

— Какое приказаніе изволишь дать, государь?

— А это вотъ нужно потолковать съ хозяиномъ да съ хозяйкой, — отвѣтилъ Фирсъ: — и какъ они укажутъ, такъ намъ и размѣститься.

VII.

Черезъ недѣлю невозможно было и узнать Кильдѣвскую усадьбу. Совсѣмъ новая дѣятельность закипѣла въ «ульѣ» Степана Егоровича. Появился новый шмель — шумливый, грубый и страшный и заставилъ пріумолкнуть и попрытаться прежнихъ маленькихъ пчелокъ. Фирсъ остался вѣренъ внезапно пришедшей ему мысли. Кильдѣвка пришлась ему по нраву.

На просторномъ, заросшемъ густою травой дворѣ Степана Егоровича появились плотники изъ шайки «пугача», навезли бревенъ и стали строить разные сараи и вышки. Работа кипѣла и, по мѣрѣ того какъ поспѣвала та или другая постройка, изъ глухого лѣса, изъ прежней стоянки, появлялись обозъ за обозомъ. Приходили эти обозы по большей части ночью, а Степанъ Егоровичъ не зналъ, что именно привозится и складывается въ сараи; но хорошо все-таки зналъ, что это добро, награбленное шайкой Фирса.

Положеніе Степана Егоровича было таково, что онъ не могъ рѣшить, слѣдуетъ ли ему благодарить Бога за свое спасеніе, или ожидать, безъ всякой вины съ своей стороны, скорой кары.

«Не можетъ-же это безъ конца продолжаться, — думалъ онъ: — не вѣчно-же будутъ торжествовать разбойники. Вышлетъ государыня большое войско, переловятъ всѣхъ, начиная съ атамана, узнаютъ, конечно, гдѣ его ставка... выслѣдятъ... придутъ сюда, въ усадьбу, и тогда что-же? Улики будутъ на лицо, кто повѣрить, что онъ, Степанъ Егоровичъ, тутъ непричемъ. Онъ будетъ уличенъ по меньшей мѣрѣ въ близкихъ отношеніяхъ къ

самозванцу-разбойнику, въ укывательствѣ его и добра, имъ награбленнаго. Но что-же ему дѣлать? Еслибы можно было убѣжать съ семействомъ куда-нибудь, конечно, онъ воспользовался бы первой минутой, но бѣжать ему некуда. Вонъ Фирсъ уже прямо въ первый-же день сказалъ ему:

— Ты, братъ, не подумай, что я выживать тебя съ семьею нагрянулъ, говорю—будь покоенъ... За мною да за моими людьми всѣ вы въ охранѣ. А кабы до моего прихода, либо теперь съ глупаго страха, который, сдается мнѣ, сидитъ въ тебѣ, да вздумалъ ты бѣжать, то тутъ бы и была твоя погибель. Ты вотъ сидишь здѣсь у себя и ничего не знаешь, а я, братъ, хорошо знаю, что на свѣтѣ нонѣ дѣлается; бѣжать нынче некуда—кругомъ верстъ на пятьдесятъ мои владѣнія, а дальше другіе орудукуютъ. Нигдѣ нельзя тебѣ будетъ пробраться, задаромъ только погубишь и себя и дѣтокъ.

Степанъ Егоровичъ хорошо зналъ, что Фирсъ говоритъ правду, и на возможность побѣга не разсчитывалъ. Единственное его утѣшеніе было въ первый день, когда Фирсъ отправился со своими въ набѣги, это бесѣда съ Наумомъ. Въ противоположность своему господину, Наумъ нисколько не тревожился и былъ въ самомъ лучшемъ настроеніи. Когда Степанъ Егоровичъ повѣрялъ ему свой страхъ относительно предстоящей кары за укывательство разбойничьей шайки, онъ покачивалъ головою и улыбался.

— За что-же это ты отвѣчать будешь, батюшка Степанъ Егоровичъ?—говорилъ онъ ему.—Ужъ коли разбойникъ и душегубецъ, и то свою правду имѣетъ, такъ неужто царскаго войска бояться? Какой ты укыватель, а тягаться съ этакой аравой гдѣ-же! Нишкни только, молчи, не супротивничай Фирскѣ, то бишь Петру Ѳедоровичу, да Господа Бога благодари, что это такъ повернулось... страху-то что было, страху, а теперечи нечего гнѣвить Господа, совсѣмъ отлегло! А вотъ что лучше, батюшка Степанъ Егоровичъ, нонѣ-то они всѣ схлынули, всѣ какъ есть, самъ-то призывалъ меня и говоритъ: «раньше трехъ дней назадъ не буду, такъ ужъ ты береги мои сараи, коли что, такъ съ тебя и отвѣтъ.» А въ новый-то сарай вчерашней ночью, примѣтилъ я, много добра понавезли—пойдемъ-ка, сударь батюшка, обойдемъ дворъ-то, можетъ, не все позаперли.

Степанъ Егоровичъ бралъ шапку и отправлялся съ Наумомъ на осмотръ.

Однако, разбойники, оставляя Кильдѣвку, имѣли обыкновеніе все запираетъ крѣпкими засовами да замками, и Степану Егоровичу съ Наумомъ не приходилось разсмотрѣть добра, ко-

торое теперь вмѣщала въ себѣ испоконъ вѣковъ бѣдная Кильдѣвка.

— Эхъ, да кабы ихъ переловили, а добро бы это тебѣ осталось!—весело ухмыляясь, говорилъ Наумъ.

Онъ и всегда-то былъ почти за-панибрата съ своимъ невзыскательнымъ, не менѣе его самого работавшимъ всякую не барскую работу господиномъ, а ужъ теперь они окончательно позабыли разницу своего положенія. Господинъ и крѣпостной слуга были друзьями, да еще слуга имѣлъ очевидно перевѣсъ надъ господиномъ, имѣлъ на него вліяніе, ободрялъ его и успокоивалъ. Не будь Наума, Степанъ Егоровичъ, конечно, несравненно больше мучился бы душою; да, пожалуй, съ этихъ мученій рѣшился бы на какой-нибудь шагъ необдуманной, въ которомъ потомъ пришлось бы горько раскаяваться. И не на одного Степана Егоровича дѣйствовалъ Наумъ успокоивающимъ образомъ, ободрялъ онъ и Анну Ивановну, и молодыхъ барышень, и малыхъ дѣтокъ.

Анна Ивановна очень измѣнилась за это послѣднее время, какъ-то вдругъ осунулась и состарѣлась. Тяжелые дни Пугачевщины, а главнымъ образомъ шутка Фирски, не прошли ей даромъ; роль хозяйки разбойничьяго гнѣзда была ей тяжела; она не могла не дрожать денно и ночно за молоденькихъ дочерей своихъ. Степанъ Егоровичъ не въ силахъ былъ успокоить ее, потому что раздѣлялъ ея страхи, а Наумъ успокаивалъ, онъ отвлекалъ ея мысли отъ всего мрачнаго, толковалъ о скоромъ избавленіи отъ всей этой оравы.

— Вотъ постой, матушка барыня,—убѣжденнымъ тономъ повторялъ онъ:—схлынетъ эта негодница, и заживемъ мы какъ у Христа за пазухой, а пока пускай себѣ у насъ напиваются да нажираются, вари имъ щей, наливай имъ водку, пеки блины да пироги, жарь поросятъ да телятъ, благо всего этого добра у насъ теперь вдоволь.

Добра было, дѣйствительно, вдоволь: возвращаясь со своихъ набѣговъ, Фирсъ волочилъ за собою въ Кильдѣвку всякую провизію и сдавалъ все это на руки Аннѣ Ивановнѣ. Старой стряпухѣ Кильдѣвской, да и самой Аннѣ Ивановнѣ съ дочками, была въ кухнѣ теперь большая работа.

Вообще благосостояніе усадьбы росло съ каждымъ днемъ. Фирсъ, конечно, сразу замѣтилъ бѣдность своего стараго друга, замѣтилъ, что многочисленныя дѣтки его, и въ томъ числѣ хорошенькая Машенька, были очень плохо одѣты и обуты. Послѣ первой-же отлучки своей изъ Кильдѣвки, онъ навезъ всему семейству разныхъ нарядовъ и требовалъ, чтобы дѣти и дѣвицы тотчасъ-же нарядились въ обновки. Младшія дѣти, уже

переставшія бояться Фирса, обрадовались несказанно; но старшія дочки Степана Егоровича, какъ и онъ самъ съ женою, Богъ знаетъ сколько дали бы, чтобы избавиться отъ любезностей и подарковъ своего безцеремоннаго гостя. Всѣ они хорошо знали, до какой степени возмутительны эти подарки и до какой степени они страшны: вѣдь, всѣ эти наряды награблены по богатымъ барскимъ усадьбамъ, эти наряды принадлежали несчастнымъ жертвамъ разбойниковъ. Но съ Фирской толковать нечего, онъ требуетъ, и его требованіе должно быть исполнено. Кильдѣевскія барышни-босоножки разрядились франтихами, а сами дрожали—имъ казалось, что на платьяхъ ихъ кровь.

VIII.

И такъ, Степанъ Егоровичъ и по собственному пониманію, и по совѣтамъ Наума, положилъ всячески ублажать своего страшнаго друга и ни въ чемъ ему не перечить. Но было, однако, обстоятельство, гдѣ онъ рѣшился пойти наперекоръ Фирсу.

Проживъ около недѣли въ Кильдѣевкѣ послѣ послѣдняго набѣга, Фирсъ какъ-то получилъ благопріятное извѣстіе и рѣшился снова «выступить въ походъ», какъ онъ выражался. Онъ сдѣлалъ смотръ своимъ главнымъ силамъ, расположеннымъ по избамъ въ деревнѣ (въ домѣ Кильдѣева жилъ только самъ онъ со своимъ деньщикомъ, очень глупымъ, но необыкновенно сильнымъ малымъ изъ башкирцевъ, да въ людскихъ и на дворѣ, въ одномъ изъ новопостроенныхъ сараевъ, помѣщалось десятка полтора его людей; старый подъячій, «полковникъ», помѣщался на деревнѣ, въ избѣ Наума, гдѣ онъ ужъ завелъ для себя извѣстнаго рода комфортъ). Вернувшись со смотра, Фирсъ вдругъ объявилъ Степану Егоровичу:

— А вотъ, что я надумалъ—поѣдемъ-ка, братецъ, съ нами, что ты все тутъ киснешь, мы съ тобой славно попируемъ... Знаешь, чай, село Кирсаново, вѣдь, это всего верстъ тридцать отсюда. Сидитъ тамъ старый воронъ въ своихъ каменныхъ палатахъ, добра, баютъ люди, видимо невидимо, ну такъ этого стараго ворона мы спихнемъ и знатно попируемъ... Ыдемъ, братъ, ѣдемъ тутъ и толковать нечего...

Степанъ Егоровичъ поблѣднѣлъ, но все-же твердымъ голосомъ отвѣчалъ Фирсу:

— Никуда я съ тобой не поѣду.

Фирсъ поморщился и какъ-то криво усмѣхнулся.

— Зачѣмъ такъ?—проговорилъ онъ.

— А затѣмъ, что не подобаеѣ мнѣ съ тобой ѣздить... Я тебѣ не указчикъ и не судья—Богъ тебѣ судьей будетъ, передъ нимъ ты и отвѣтишь. Я вотъ смерти отъ тебя себѣ и своимъ ожидалъ, ты насъ въ живыхъ оставилъ, зла намъ не сдѣлалъ, ну, и спасибо тебѣ великое... Полюбилась тебѣ Кильдѣвка—и живи въ ней, дѣлай, что знаешь. А душу мою не трожь... оставь: въ твоей власти убить меня, это такъ... кликни, коли хочешь, башкирца своего, прикажи ему связать меня по рукамъ и по ногамъ и тащи меня куда знаешь, а доброй волей никуда я съ тобой не поѣду.

Степанъ Егоровичъ замолчалъ, тяжело переводя дыханіе и быстро шагая по маленькой комнаткѣ, своей прежней рабочей комнаткѣ, теперь превращенной въ обиталище «Петра Федоровича», устланной и обвѣшанной дорогими коврами, наполненной всякимъ оружіемъ и вещами.

— И это твое послѣднее слово? Такъ-таки и не поѣдешь?

— Не поѣду, хоть сейчасъ-же на висѣлицу тащи, не поѣду!..

— Зачѣмъ на висѣлицу, а что стараго друга потѣшить не хочешь, это неладно. Ну, да что съ тобой дѣлать, коли нѣтъ—такъ нѣтъ!

Видимо раздраженный, Фирсъ вышелъ изъ комнатки, на весь домъ гаркнулъ, чтобы ему запрягали его коляску, и скоро уѣхалъ, не простившись съ хозяиномъ.

Всѣ въ домѣ вздохнули свободно, барышни сняли съ себя даренные наряды, надѣли свои старенькія платица и вышли на крылечко, дѣти разсыпались по огороду. Степанъ Егоровичъ тоже вышелъ изъ дому и пошелъ отыскивать своего Наума, безъ котораго не могъ теперь прожить часу. А Наумъ и самъ идетъ къ нему навстрѣчу.

— Улетѣли вороны!—въ одинъ голосъ сказали другъ другу и господинъ и приказчикъ.

Степанъ Егоровичъ, конечно, сейчасъ-же повѣдалъ Науму о своемъ разговорѣ съ Фирсомъ. Наумъ нѣсколько заинтересовался.

— Ну, и что-же онъ, не неволилъ?

— Нѣтъ, только непонутру это ему было.

— Вотъ это ладно, сударь, что съ нимъ не поѣхалъ—это не слѣдъ, да нонѣ и опасно. А я къ твоей милости шелъ—хошь диковинку покажу? Тутъ недалече—пойдемъ-ка!

— Что такое?

— А вотъ самъ увидишь, потерпи малость.

Степанъ Егоровичъ послѣдовалъ за Наумомъ. Они вышли со двора и направились въ маленькую рощу, которая доходила до самой церкви. Наумъ велъ Степана Егоровича по тропинкѣ, нѣсколько разъ останавливался, прислушиваясь; но ничего не было

слышно, тишина окрестъ стояла невозмутимая. Тропинка заворачивала и выходила въ поле, а на самомъ ея поворотѣ стоялъ старый дубъ. Наумъ вдругъ остановился и указалъ на этотъ дубъ рукою.

— Глянька-сы!—сказалъ онъ.

Степанъ Егоровичъ глянулъ, да такъ и обмеръ: на дубѣ, на толстомъ суку виситъ человѣкъ. Онъ сдѣлалъ нѣсколько шаговъ, взглянулъ и крикнулъ:

— Господи! да это отецъ Матвѣй... это его они, разбойники, повѣсили... и не шелохнется... померъ!..

Ужасъ охватилъ Степана Егоровича при этомъ, никогда еще не виданномъ имъ, зрѣлищѣ. Онъ перекрестился и стоялъ не шевелясь, невольно глазъ не отрывая отъ страшнаго дерева.

— Да когда-же это было? Неужто Фирсъ?!

— А на зарѣ еще,—отвѣчалъ Наумъ:—и Фирсъ, надо сказать, тутъ непричемъ, а это башкирцы да татарва проклятая. Много, вѣдь, у него этихъ нехристей въ шайкѣ—и страсть они поповъ не любятъ. Какъ тамъ отецъ Матвѣй ни увивался передъ ними, какъ ни ублажалъ ихъ—не могъ потрафить. Домишко-то его они начисто ограбили. Еще намереди на деревнѣ слышалъ я, галдѣли промежъ собой: «доберемся до попа, вздернемъ». Ну, вотъ и вздернули... Подобрались они это ночью, выволокли его, сердечнаго, никто и не слыхалъ; а дочекъ, поповенъ-то, обѣихъ связали, платки въ ротъ, чтобы въ усадьбу крику не слышно было, да на деревню. Онѣ и посейчасъ тамъ воютъ—ажно смотреть жалко... и ужъ надругались-же надъ ними разбойники, охъ, горькаго сраму!..

Наумъ замолчалъ. Молчалъ и Степанъ Егоровичъ, опустивъ голову и чувствуя, какъ на глаза набѣгаютъ слезы.

«Вотъ и отецъ Матвѣй,—думалось ему:—съ крестомъ да хоругвями встрѣтилъ «Петра Ѳедоровича» и только грѣхъ взялъ на душу, а не избѣгъ погибели, а дѣвочки, чѣмъ-же онѣ-то виноваты? Старшая вонъ и невѣстой ужъ была».

— Ну, что-же теперь, Наумъ?—очнувшись сказалъ онъ:—вѣдь, благо нѣту разбойниковъ, отца то Матвѣя съ честью похоронить надо бы!

— Затѣмъ и привелъ тебя, сударь. Какъ теперь прикажешь?

Степанъ Егоровичъ съ тяжелымъ чувствомъ распорядился похоронами, а самъ поспѣшилъ на деревню, чтобы поскорѣе увести несчастныхъ поповенъ къ себѣ и сдать ихъ на попеченіе Анны Ивановны и дочекъ. На бѣдныхъ дѣвушекъ безъ тоски глядѣть было невозможно. Онѣ ужъ знали объ участи, постигшей отца ихъ, но отца онѣ не особенно горячо любили, у нихъ было

другое, болѣе тяжкое горе: ихъ юность была поругана самымъ жестокимъ, самымъ отвратительнымъ образомъ.

Весь этотъ день въ кильдѣевскомъ домикъ слышались стоны и рыданія.

IX.

Фирсъ на этотъ разъ пробылъ въ отлучкѣ двѣ недѣли и вернулся окруженный своей ватагой, съ шумомъ и гамомъ, на лихой тройкѣ, изукрашенной лентами и бубенчиками. Онъ былъ уже полупьянъ, очень веселъ, и очевидно совсѣмъ позабылъ раз-молвку, происшедшую между нимъ и Степаномъ Егоровичемъ передъ отъѣздомъ. Онъ шумно съ нимъ расцѣловался, объявилъ Аннѣ Ивановнѣ и домочадцамъ, что все это время скучалъ по нимъ и теперь радъ отдохнуть въ тишинѣ и съ милыми людьми.

— А вы, ребята, что смотрите?—обратился онъ къ дѣтямъ:— думаете, съ пустыми я руками?—Анъ нѣтъ, всѣмъ гостинцевъ навезъ, никого не забылъ. Теперь вотъ поздно, поужинать да и спать пора, а подождите, завтра утромъ увидите...

Онъ пристально, пристально взглянулъ на Машеньку, такъ что она вся раскраснѣлась подъ его взглядомъ и не знала, куда дѣваться. Ужъ не въ первый разъ такъ глядитъ онъ на нее и ей неловко, ей страшно, а теперь, послѣ всѣхъ ужасовъ съ дочерью отца Матвѣя, она сама не своя, жметъ къ матери. Но Фирсъ повидимому не обратилъ никакого вниманія на ея смущеніе и продолжалъ, разговаривая со Степаномъ Егоровичемъ, время отъ времени на нее поглядывать. Послѣ ужина, за которымъ Фирсъ выпилъ изрядно вина и окончательно развеселился, рассказывая подвиги своей шайки, всѣ разошлись спать. Фирсъ затворился въ своей комнатѣ, а Машенька, думая, что она въ безопасности отъ его страшныхъ взглядовъ, вышла на крылечко немного подышать воздухомъ. Но не успѣла она полюбоваться на темное звѣздное небо, съ котораго то и дѣло отрывались и скатывались падучія звѣзды, какъ вдругъ почувствовала возлѣ себя чье-то дыханіе. Она обернулась. Въ полусумракѣ передъ нею обрисовалась фигура Фирса. Она хотѣла крикнуть, но будто онѣмѣла, будто окаменѣла отъ страха и стояла неподвижно, какъ несчастный звѣрекъ, заколдованный присутствіемъ страшнаго, громаднаго врага, приготовляющагося проглотить его.

— Это ты, Машенька?—у самого уха ея раздался голосъ Фирса. Она не отвѣчала.

— Ну, и хорошо, голубушка,—продолжалъ онъ:—что мы еще встрѣтились нынче, а то я совсѣмъ запамятовалъ, вѣдь, у меня

въ карманѣ подарочекъ тебѣ припасенъ, миленькая ты моя! На вотъ, возьми, жемчугъ это, ожерельеце... славный жемчугъ, крупныя такія зерна, одно къ одному...

Машенька дрожала всѣмъ тѣломъ, но не шевелилась, будто приросла къ мѣсту. А онъ продолжалъ.

— Да постой-ка, я самъ на твою шейку его надѣну.

Своей крѣпкой, будто желѣзной рукой онъ охватилъ ея станъ. Она почувствовала прикосновеніе чего-то будто холоднаго къ своей шеѣ. Ей подумалось, что это ножъ, либо топоръ, что вотъ сейчасъ онъ зарубитъ ее. У нея начинала голова кружиться, въ глазахъ ходили какіе-то красныя круги, но не было силъ вырваться, убѣжать. Онъ крѣпко, крѣпко ее обнялъ, прижалъ къ своей груди и сталъ осыпать горячими поцѣлуями ея помертвѣвшее, похолодѣвшее лицо. Тутъ только она слабо вскрикнула и стала отъ него отбиваться.

— Пусти, пусти!—отчаянно прошептала она и зарыдала.

Онъ нѣсколько изумился и выпустилъ ее.

— Ахъ, Машенька! Да какая-же ты еще дурочка!—проговорилъ онъ и пошатываясь прошелъ въ свою комнату.

А она съ громкими рыданіями кинулась къ матери и сестрамъ.

Фирсъ растянулся на постели, хмель еще не совсѣмъ разобралъ его, встрѣча съ Машенькой прогнала его сонливость. Онъ лежалъ и мечталъ:

«Чортъ возьми! Славная дѣвка, давно такая не подвертывалась».

Машенька съ перваго дня его появленія въ Кильдѣевкѣ произвела на него сильное впечатлѣніе, и если онъ до сихъ поръ сдерживался, то единственно потому, что она была дочерью Степана Егоровича и что отнестись къ ней такъ, какъ онъ всегда относился къ встрѣчавшимся ему женщинамъ, ему все-же было неловко. Но чѣмъ онъ больше себя сдерживалъ, тѣмъ, естественно, Машенька казалась ему привлекательнѣе. Въ эти послѣднія двѣ недѣли, несмотря на все буйство и развратъ, которому онъ предавался, онъ то и дѣло вспоминалъ о ней. Онъ привезъ ей прекрасный жемчугъ, добытый при разгромѣ богатаго помѣстья въ укладкѣ старой боярыни, онъ рассчитывалъ на дѣйствіе этого жемчуга; но теперь, несмотря на свое опьянѣніе, не могъ не замѣтить, что внушаетъ Машенькѣ большой страхъ.

«Э-эхъ, дурочка!» самъ себѣ улыбаясь, прошепталъ онъ. «Ну, да перестанетъ бояться, и ужъ какъ тамъ ни на есть, а завтра же это дѣло надо будетъ кончить, ужъ я ее не выпущу...»

И съ этимъ рѣшеніемъ онъ захрапѣлъ.

Х.

Кильдѣвы проснулись рано на слѣдующее утро, да и всю ночь имъ плохо спалось. Разсказъ перепуганной Машеньки произвелъ на всѣхъ ужасное впечатлѣніе. Какъ теперь быть? Что дѣлать? Первою мыслью было спрятать Машеньку, удалить куда-нибудь изъ дому; но тутъ-же сейчасъ всѣ и поняли, что это немыслимо.

— Но не отдавать-же ее на погибель?!—ломаая руки и плача, повторяла Анна Ивановна.

— Авось я какъ-нибудь удержу его, авось въ немъ хоть настолько совѣсти осталось!—мрачно говорилъ Степанъ Егоровичъ.— А ты, жена, ни на шагъ не отпускай ее отъ себя.

Только что Фирсъ проснулся, какъ Степанъ Егоровичъ уже былъ передъ нимъ и держалъ въ рукѣ жемчужное ожерелье. Фирсъ изумленно взглянулъ на мрачное лицо стараго пріятеля, потомъ перевелъ взглядъ на жемчугъ и усмѣхнулся.

— Это ты что-же, Степушка, никакъ мой подарокъ назадъ мнѣ тащишь? этакъ-то, вѣдь, не годится... этакъ мнѣ въ обиду будетъ. Я для твоей доченьки самъ его выбралъ, хотѣлъ побаловать... съ чего-же это ты?..

— Моя дочь не привыкла къ такимъ подаркамъ,—отвѣтилъ Степанъ Егоровичъ и горькая тоска изобразилась на лицѣ его.— Ты знаешь, мы бѣдные люди... были бы сыты и за то благодарны Богу... Моимъ дочерямъ не носить жемчужновъ, мы съ женой въ страхѣ Божиємъ, да въ чистотѣ ихъ вырастили, такъ грѣхъ тебѣ такъ порочить моего ребенка...

— Да развѣ я что-нибудь... развѣ я...—перебилъ его Фирсъ.

— Да ты тоже побаловать ее вздумалъ и своимъ поцѣлуями!.. А еще про нашу старую дружбу говорилъ мнѣ... Э-эхъ, мало тебѣ, что ли, другихъ? моя дочка понадобилась... на вѣки опозорить всѣхъ насъ хочешь... другъ тоже... надумайся, будь человѣкомъ, а не звѣремъ... ну, вотъ, ну, хочешь, я на колѣняхъ буду молить тебя... не губи моего дѣтища!..

Фирсъ поднялся съ мѣста и сверкнулъ глазами; но вдругъ опять улыбка набѣжала на лицо его.

— Степушка, чего ты причитаешь, какъ баба? не къ лицу это старому солдату... съ чего ты взялъ, что я позорить тебя хочу, стараго друга? у меня и въ мысляхъ того не было, а что я дочку твою вчера подъ хмѣлькомъ поцѣловалъ, въ этомъ еще бѣды большой нѣту. Будемъ говорить напрямикъ, полюбила мнѣ твоя дочка... ну, самъ знаю, не молодъ я, да, вѣдь, и не старъ еще... за себя постою... Ты думаешь, я что? такъ, для баловства? анъ нѣтъ, ты мнѣ отдай свою Марью Степановну въ

законное супружество, пусть попъ насъ обвинчаетъ, справимъ мы свадебку на славу. Это не ты мнѣ, а я тебѣ въ ножки поклонюсь, да Аннѣ Ивановнѣ... Такъ какъ-же, отдаешь?.. по рукамъ, что ли, дружище?

Къ такой развязкѣ Степанъ Егоровичъ совсѣмъ не былъ приготовленъ. Но она нисколько не прекращала его муки: дѣло запутывалось. «Фирсъ—женихъ, мужъ Машеньки! разбойникъ, котораго вотъ-вотъ схватятъ и повѣсятъ, и честный, старый Кильдѣевскій родъ будетъ на вѣки опозоренъ. А между тѣмъ, отказать ему—онъ оскорбится, онъ изъ себя выйдетъ. Теперь онъ еще нѣтъ-нѣтъ да и прежнимъ Фирсомъ кажется, а тогда ужъ Фирса совсѣмъ не станетъ, останется только злодѣй и убійца, и онъ не пощадить... никого не пощадить».

Степанъ Егоровичъ молчалъ. А между тѣмъ Фирсъ стоялъ и ждалъ отвѣта.

— Такъ какъ-же, —наконецъ, сказалъ онъ:—или ты мнѣ отказываешь? Видно, плохой я женихъ... почище кого-нибудь надо. Да ты слушай-ка, разбери по ряду, ты, можетъ, думаешь, что я такую жизнь всегда буду вести? нѣтъ, братъ, мнѣ вотъ только до Симбирска добратся, и тогда я забастую. У меня ужъ и мѣстечко есть на примѣтѣ, куда на первое время скрыться можно будетъ. Пожди только, еще какъ заживемъ-то, всему міру на удивленіе! Жена-то моя, хоть я и не Петръ Ѳедоровичъ, а не хуже заправской царицы роскошествовать будетъ. Эхъ, Степушка, не отказывай мнѣ, не наноси кровной обиды—боюсь, не снесу!..

И Степанъ Егоровичъ видѣлъ, что онъ, дѣйствительно, не снесетъ, видѣлъ еще разъ, что этому человѣку нельзя перечить. Тамъ, что еще будетъ, можетъ, Господь спасетъ, а теперь, на словахъ, нужно согласиться, вѣдь, не сейчасъ-же свадьба, не сейчасъ вѣнчанье, можетъ, удастся протянуть время, можетъ, придетъ помощь.

— Чего-же мнѣ тебѣ отказывать,—сказалъ Степанъ Егоровичъ:—только, вѣдь, никакъ я не ждалъ этого. Дай мнѣ придти въ себя, дай оглядѣться, такое дѣло нельзя въ одну минуту покончить. Пускай все будетъ по-человѣчески, дай приготовить дѣвку... молода, вѣдь, почти ребенокъ... ее вразумить надо.

Фирсъ подумалъ съ минуту.

— Ну, ладно, Степушка, дѣлай, какъ знаешь. Только чуръ, не долго тяни ты, говорю, больно мнѣ полюбилась Марья Степановна, такъ ждать-то, да тянуть мнѣ совсѣмъ неохота.

XI.

Хотя Степанъ Егоровичъ и выпросилъ у Фирса отсрочку для того, чтобы приготовить Машеньку, но это приготовленіе было довольно странное: Анна Ивановна заперлась съ дочкой въ своей комнаткѣ, крѣпко обняла ее и, заливаясь слезами, причитала, но тихонько, чтобы Фирсъ или его башкирецъ какъ-нибудь не подслушали:

— Лучше въ гробъ всѣмъ намъ лечь, чѣмъ тебя, золотое наше дитятко, выдать замужъ за разбойника!

Отъ такихъ уговариваній Машенька дошла до полного отчаянія, и если она до сихъ поръ боялась Фирса, то теперь онъ представлялся ей ужъ истымъ страшилищемъ. Хорошо еще, что Фирсъ былъ занятъ у себя какими-то переговорами со своимъ «полковникомъ» и пока не имѣлъ времени выразить желанія видѣть невѣсту.

Наумъ крѣпко раздумался, когда Степанъ Егоровичъ, уловивъ удобную минуту, повѣдалъ ему о своемъ горѣ.

— Ишь, вѣдь, разбойникъ, что выдумалъ,—сказалъ онъ:—ишь, до чего добирается! Нагрязнулъ незванный-непрошенный, напугалъ всѣхъ до смерти, все въ домѣ вверхъ дномъ поставилъ, живетъ себѣ и въ усъ не дуетъ, словно такъ и быть должно... Такъ вишь ты, ему еще и барышня понадобилась... Это чтобы нашей барышнѣ-красавицѣ да выйти за разбойника, нѣтъ, того не можетъ статься! Правда, теперь его воля, да сдается мнѣ, ненадолго, и какъ ни на-есть, а его перехитрить надоть.

— Самъ я это знаю, — отвѣчалъ Степанъ Егоровичъ:—да какая тутъ хитрость, никакой хитрости не придумаешь, только и можно, что тянуть время.

— А какой-же попъ ихъ вѣнчать станетъ?—вдругъ оживившись, спросилъ Наумъ. — Отца-то Матвѣя вонъ вздернули. Изъ ближнихъ сель, про то я доподлинно знаю, ни одного попа не уцѣлѣло. Ну, вотъ это—разъ будетъ, пускай еще попа отыщеть, а попъ найдется, такъ у насъ Марья Степановна прихворнеть изрядно, это—два будетъ. Хоть годочковъ ей и немного, а барышня она смышленная; чай, ради своего спасенія, сумѣетъ хворою прикинуться. Такъ мы пока и оттянемъ время, а тамъ, что Богъ дастъ.

Отлегло немного у Степана Егоровича отъ сердца при этихъ словахъ разумнаго приказчика.

— Золотой ты человѣкъ, Наумъ,—сказалъ онъ и потрепалъ его по плечу. — Коли живы останемся, никогда я этой службы твоей во все это тяжелое время не забуду.

Наумъ поклонился въ поясъ господину.

— Эхъ, сударь-батюшка Степанъ Егоровичъ, не велика моя служба, да кому-же мнѣ служить, какъ не тебѣ, ты нашъ кормилецъ. А ужъ чувствуетъ, чувствуетъ мое сердце, что всѣ бѣды да напасти отойдутъ отъ насъ и будетъ на нашей улицѣ праздникъ... — не даромъ говорится: сердце вѣщунъ! Я своему сердцу вѣрю и вѣрю каждому-то днемъ мнѣ спокойнѣе и спокойнѣе становится: не спроста это говорю: быть на нашей улицѣ празднику!..

Все такъ и сбѣлалось, по совѣту разумнаго Наума. Покричалъ, побурлилъ «Петръ Ѳедоровичъ», узнавъ, что вздернули безъ его приказа отца Матвѣя; но дѣлать было нечего, да и не могъ-же онъ очень взыскивать со своихъ башкирцевъ да киргизовъ: раздражать ихъ, особливо теперь, передъ задуманнымъ походомъ на Симбирскъ, никакъ не приходилось. Оставалось искать попа. И для этого Фирсъ отрядилъ нѣсколько человѣкъ и разослалъ ихъ въ разныя стороны.

Однако прошло съ недѣлю, а попъ не являлся. Страстный женихъ долженъ былъ ограничиваться свиданьями съ невѣстой при постороннихъ, при Аннѣ Ивановнѣ и сестрахъ, отъ которыхъ Машенька не отходила. Фирсъ немного утѣшался тѣмъ, что, по крайней мѣрѣ, прежняго страха онъ не видитъ въ невѣстѣ, что съ каждымъ днемъ она становится спокойнѣе, даже улыбается иной разъ, видимо привыкаетъ къ мысли о предстоящей свадьбѣ.

Дѣйствительно, въ Машенькѣ была замѣтна большая перемена. Наумъ успокоилъ Степана Егоровича, а Степанъ Егоровичъ въ свою очередь успокоилъ домашнихъ, уговорилъ Машеньку, объяснилъ ей все. сказалъ, что отъ ея поступковъ зависить не только ея, но и всѣхъ ихъ спасеніе. И Машенька хорошо поняла это и выказала гораздо больше присутствія духа и сообразительности, чѣмъ даже можно было ожидать. А когда, наконецъ, притащили откуда-то священника, то она сыграла свою роль больной, какъ нельзя лучше. Фирсъ сначала совсѣмъ не повѣрилъ ея болѣзни, но, взглянувъ на нее, онъ не могъ не убѣдиться въ дѣйствительности ея страданій.

— Эхъ ты, горе какое!—говорилъ онъ:—времени-то сколько ушло. А ось болѣзнь не Богъ вѣсть какая, денька три-четыре, и поправится Машенька, да со свадьбой теперь поневолѣ подождать надо, послѣ завтра въ походъ выступаемъ, такого удобнаго времени никакъ упустить невозможно. Ну, дѣлать нечего, потерплю недѣльку другую и ужъ привезу-же я моей государынѣ-невѣстѣ подарочекъ, поклонюсь я ей городомъ Симбирскомъ.

XII.

Вѣсть о выступленіи Фирса въ походъ была принята у Кильдѣвыхъ съ несказанной радостью, только конечно всѣ тщательно скрывали эту радость отъ разбойника. А Машенька, все еще окутанная, обязанная и лежавшая въ постели, такъ даже съ радости особенно ласково съ нимъ попрощалась, позволила поцѣловать себя и пожелала ему добраго пути.

— Только чуръ, когда вернусь, чтобы ужъ никакихъ отговорокъ не было,—сказаль Фирсъ:—свадьбу ни на одинъ день нельзя будетъ больше откладывать.

Лихая тройка уже позвякивала бубенчиками, вся шайка была въ сборѣ, всѣ нужныя распоряженія сдѣланы. Фирсъ встрепенулся.

— Прощайте, прощайте... Пора! Прощай, Степушка...

И вдругъ онъ запнулся и даже какъ-будто вздрогнулъ.

— Ну, а коли неладное что со мною случится, коли не вернусь... не поминайте лихомъ!

Онъ еще разъ взглянулъ на Машеньку, улыбнулся ей и быстро вышелъ. Въ немъ заговорила другая страсть, которая увлекала его теперь въ самое рискованное предпріятіе. Онъ чувствовалъ, какъ каждая жилка въ немъ заиграла. Впередъ, впередъ съ безшабашными удалцами—нагрянуть на богатый городъ, расхитить все, захлебнуться, охмѣлѣть въ горячей схваткѣ съ неприятелями, заставить всѣхъ разбѣжаться или склониться передъ собою и потѣшить свою волю, исполнить всякое безумство, какое только придетъ въ охмѣлѣвшую голову. А что будетъ дальше—о томъ нѣтъ и мысли. Пусть будетъ, что будетъ.

И лихая тройка вынесла его на мягкую, пыльную дорогу. За нимъ неслась разношерстная конница, изъ лѣсу приставали къ нему поджидавшія его тамъ сотни, а впереди, по дорогѣ къ Симбирску, въ каждомъ селѣ, черезъ которое будетъ проѣзжать онъ, его грозное воинство станетъ пополняться еще десятками и сотнями новаго люду, точно такъ-же, какъ и онъ, жаждущаго похмѣлья и крови, добычи и дикой воли...

Уѣхаль Фирсъ, и снова оживилась Кильдѣвка. Поднялась съ постели Машенька, сбросила повязки съ головы и оказалась здоровою. Наумъ торжествовалъ—хитрость, имъ придуманная, удалась какъ нельзя лучше, да, видно, и Господь Богъ смилостивился.

— Такъ-то такъ,—говорилъ Степанъ Егоровичъ:—только дальше-то что будетъ? не впервой, вѣдь, уѣзжаетъ и опять возвращается. Пройдетъ недѣля-другая—вернется, тогда отъ него ужъ не отвертишься.

— Не вернется,—упрямо повторялъ Наумъ.—Не попуститъ Господь такого дѣла. Тоже, вѣдь, разсудить надо, сколько онъ

зла понадѣлалъ, сколько крови пролилъ—не вѣкъ-же такъ будетъ. Куда онъ до сей поры метался-то?—все по селамъ, да барскимъ усадьбамъ... Ну, оно и немудрено, что ему удавалось—некому его удержать было. А теперь не то. Видно, Господь Богъ у него разумъ попуталъ—ишь, вѣдь, легко сказать!—на Симбирскъ идетъ, а про то не знаетъ, что царицынаго войска видимо-невидимо подходить стало—вѣрные люди мнѣ говорили; да и посмотрѣлъ я на его-то воинство. Оно, конечно, коли грабить, да убивать, на висѣлицы вздергивать—годится; ну, а въ битву выступить—это еще бабушка на-двое сказала. Я такъ думаю, что коли зарядить пушку, да навести ее на Фирсовскихъ, такъ она еще не выпалитъ, а они ужъ дадутъ тягу.

Такъ разсуждалъ Наумъ и оставался совершенно спокойнымъ. Проходили дни, долгіе дни ожиданій и тревоги для Степана Егоровича и его семейства; прошла недѣля, другая—о Фирсѣ ни слуху, ни духу, прошелъ почти мѣсяцъ, а женихъ все не подаетъ о себѣ вѣсточки. Тогда Степанъ Егоровичъ призвалъ Наума и далъ ему такое порученіе:

— Отправляйся-ка ты по дорогѣ къ Симбирску, да узнай, что и какъ. Тебѣ опасаться нечего—ни за дворянина, ни за попа тебя не примутъ, а коли и наткнешься на кого, тебя не учить stata—самъ изъ бѣды выпутаешься.

Наумъ почесалъ въ затылкѣ и усмѣхнулся.

— Вотъ, вѣдь, оно дѣло какое,—сказалъ онъ.—Я-то и самъ ужъ давно объ этомъ думаю и все собирался отпроситься у твоей милости. Оно, конечно, неладно мнѣ въ такія времена оставлять Кильдѣевку, да Богъ милостивъ, ничего безъ меня не случится. А ужъ ждать у моря погоды больно надоѣло. Дозволь, батюшка, Степанъ Егоровичъ, взять Гнѣдка съ конюшни, онъ лошадь добрая, сильная, устали ему нѣту, съ нимъ я живо это дѣло обдѣлаю и вернусь съ вѣрнымъ извѣстіемъ.

— Бери Гнѣдка,—отвѣтилъ ему Степанъ Егоровичъ:—да и не мѣшкай, замаялись мы тутъ всѣ, дожидаясь. Вонъ Анну Ивановну не узнать просто, совсѣмъ ее наше горькое горе изсушило.

Наумъ отправился и черезъ нѣсколько дней вернулся веселый, сіяющій.

— Чтò я говорилъ! не обмануло вѣщунъ-сердце, кончились наши бѣды, слава тебѣ, Господи!

Всѣ кинулись къ нему, окружили его, въ ротъ ему смотрѣли, какъ и чтò онъ говорить будетъ.

И онъ повѣдалъ о многихъ важныхъ событіяхъ.

Оказалось, что Наумъ составилъ себѣ несовсѣмъ вѣрное понятіе о шайкѣ Фирса. Въ первое время эта шайка большихъ

бѣдѣ надѣлала. Подошелъ Фирсъ къ самому Симбирску. Полковникъ Рычковъ, вышедшій противъ него съ гарнизономъ, завязалъ сраженіе, но фирсовцы не испугались выстрѣловъ и кончилось это дѣло, какъ обыкновенно въ тѣ времена оканчивались приступы Пугачева и его сподвижниковъ: симбирскій гарнизонъ измѣнилъ; Фирсъ изъ своихъ рукъ убилъ полковника Рычкова и ужъ торжественно вступалъ въ Симбирскъ. Но тутъ совсѣмъ неожиданно дѣло приняло иной оборотъ. На защиту Симбирска подоспѣлъ полковникъ Обернибѣсовъ. Завязалась отчаянная рѣзня; передавшійся на сторону Фирса симбирскій гарнизонъ, увидя, что перевѣсъ на сторонѣ новоприбывшаго полковника, тоже ударилъ на разбойниковъ. Они не устояли и побѣжали. Разсказывали, что Фирсъ выказалъ чудеса храбрости. Окруженный со всѣхъ сторонъ и уже раненый, онъ отбивался, какъ чортъ, и крошилъ всѣхъ къ нему подступавшихъ. Но вотъ прогвистѣла пуля и ударила ему въ голову; онъ пошатнулся, опустил руки и рухнулъ на трупы убитыхъ имъ солдатъ...

— Нѣтъ больше Фирса, да и могилы его нѣту!—проговорилъ Наумъ:—миновало наше горе, свободна наша барышня...

Нѣсколько минутъ никто не могъ произнести слова, не могъ пошевелиться. Наконецъ, всѣ, какъ одинъ человекъ, даже старшія изъ дѣтей, набожно перекрестились. Всѣ невольно забыли многое страшное и вспомнили только то, что этотъ человекъ такъ долго былъ съ ними, что онъ по своему ко всѣмъ былъ ласковъ, что попадись они въ руки не къ нему, а къ комунибудь другому, то навѣрно теперь всѣхъ ихъ не было-бы на свѣтѣ. Тяжело стало на душѣ Степана Егоровича, онъ больше всѣхъ другихъ забылъ разбойника Фирску, страшнаго «пугача», и думая теперь о немъ, думалъ о Фирсѣ Ивановичѣ—старомъ другѣ далекой молодости.

Но извѣстіемъ о гибели Фирса не кончились новости, привезенныя Наумомъ. Онъ сообщилъ слухъ о томъ, что «самъ», то есть, настоящій Пугачевъ, схваченъ...

— Да вѣрно ли?—спросилъ Степанъ Егоровичъ.

— Надо полагать, вѣрно,—отвѣтилъ Наумъ.—Я дорогой-то приглядывался: у всѣхъ что-то совсѣмъ другія лица, и глядятъ и говорятъ по новому. Нѣтъ, должно вѣрно... А коли и не схваченъ еще, такъ ужъ теперь скоро ему карачунъ, по всему, какъ есть по всему видно.

Этотъ день въ Кильдѣевкѣ былъ какъ-то особенно тихъ и торжественъ. Шумной радости никто не выражалъ, даже дѣти присмирѣли, а старшіе сидѣли задумавшись. Задуматься было о чемъ, много пережилось въ послѣднее время; въ эти два-три мѣсяца будто десятокъ лѣтъ прошелъ. Вонъ, Машенька, сидѣла,

сидѣла, да вдругъ кинулась къ матери, крѣпко обвила ея шею руками и заплакала.

— О чемъ ты, о чемъ?—спрашивала Анна Ивановна.—Теперь, Богъ дастъ, плакать ужъ не будемъ.

— Да сама не знаю,—сквозь рыданія преговорила Машенька:—какъ-то страшно мнѣ, и чудится, будто сама не узнаю себя, будто стала совсѣмъ другая, все другое, ничего прежняго, и прежнее будто далеко, далеко, такъ что даже трудно вспомнить, когда оно было...

XIII.

На слѣдующее утро раннимъ-рано вышелъ Степанъ Егоровичъ изъ дому, кликнулъ Наума и сказалъ ему:

— Ну, теперь надо намъ обойти сараи и посмотрѣть, что тамъ сложено.

Наумъ, себя не помня отъ радости, сбѣгалъ за нужными инструментами. Подошли они къ самому большому сараю. Живо выломали двери. Почти весь сарай полонъ наваленными другъ на друга тюками, узлами. Каждый тюкъ, каждый узелъ завязанъ толстыми веревками. Развязали они первый попавшійся узелъ, да такъ и ахнули—тамъ было нѣсколько иконъ въ драгоценныхъ окладахъ, серебряныя чаши, дароносицы, кадила и всякая утварь церковная.

— Ахъ, разбойники, разбойники! это они по церквамъ да по монастырямъ нагнали,—проворчалъ Наумъ.—Какъ у нихъ только руки не протсохли, какъ ихъ Господь Богъ не убилъ на мѣстѣ? Вотъ, батюшка баринъ, нонѣ времена какія, люди-то хуже звѣрей стали...

— Да, тяжкія времена,—печально отвѣтилъ Степанъ Егоровичъ:—не скоро тѣ бѣды забудутся, что Емелька Пугачевъ натворилъ... Сирыхъ-то сколько, горемычныхъ!.. Да ужъ что теперь толковать объ этомъ, завязывай-ка опять бережно узелъ, да тащи другой—все пересмотрѣть нужно.

Въ другомъ узлѣ оказалось еще больше иконъ и церковной утвари. Въ третьемъ были связаны мѣха дорогіе: собольи, куньи, горностаевые; бархатъ, наряды богатые. Чѣмъ дольше разглядывали Степанъ Егоровичъ съ Наумомъ, тѣмъ больше изумлялись, глаза у нихъ разбѣгались отъ никогда невиданнаго богатства.

Разглядѣвъ все въ большомъ сараѣ и заперевъ его, пошли они по остальнымъ клѣтушкамъ и ужъ глазамъ своимъ не вѣрили—столько тамъ было всякаго оружія, серебряной посуды. Стояло тамъ также нѣсколько большихъ боченковъ.

— Это что-же? И вино они тутъ-же вмѣстѣ съ серебромъ прятать вздумали! — сказалъ Наумъ. — Нѣтъ, это не вино, — продолжалъ онъ, открывая одинъ изъ боченковъ: — глянъ-ка, сударь, деньги!.. Да, такъ и есть, деньги, полный боченокъ!.. серебряныя деньги!..

Но Степанъ Егоровичъ не слышалъ Наума. Онъ самъ открылъ другой боченокъ и, пораженный, пересыпалъ въ немъ червонцами.

Наконецъ, очнувшись, онъ проговорилъ:

— О! да тутъ у насъ въ Кильдѣевкѣ такое богатство, такое богатство, что и счесть его трудно. На это богатство болѣе сотни Кильдѣевовъ купить можно... Какъ-же теперь быть со всѣмъ этимъ, чье все это, кто хозяева?

— Чье, кто хозяева?! — повторилъ Наумъ: — извѣстно кто — ты, сударь, твое все это теперичи! Видно, Господь не безъ милости. Ну, не говорилъ я, что и на нашей улицѣ будетъ праздникъ... Вотъ такъ когда пожить можно будетъ, батюшка Степанъ Егоровичъ! Да и то сказать, натерпѣлся ты въ жизни. Нужды-то твои да заботы намъ вѣдомы, иной разъ такъ жалостно было смотрѣть, какъ ты маешься... вотъ и миновало горе. Помнится, какъ-то жалился, что дѣтокъ больно много, какъ вскормить ихъ, вырастить, какъ жить будутъ? А я, по своему холопьюму разуму, отвѣчалъ тебѣ: Господь даровалъ ихъ — Господь о нихъ и промыслитъ, ну, вотъ, оно такъ и случилось. Теперечи хотъ еще столько дѣтокъ, на всѣхъ ихъ хватить... Э-эхъ!..

Вдругъ голосъ Наума оборвался, на глазахъ его показались слезы. И этотъ спокойный, разсудительный человѣкъ, весь въ волненіи и радости, сталъ цѣловать руки своего господина.

Но Степанъ Егоровичъ стоялъ смущенный.

— Не мое, не мое! — повторялъ онъ: — воротить надо хозяевамъ... Утаю воровское богатство — въ прокъ не пойдетъ... это, можетъ, Господь испытаніе посылаетъ. Нѣтъ, Наумъ, не смущай ты мою душу, выйдемъ отсюда, скроемъ все до времени; пусть оно лежитъ, какъ было, а тамъ, какъ утихнеть народъ, такъ ужъ, конечно, начальство распорядится. Въ Симбирскъ-бы нужно ѣхать да объявить, что у меня награбленное добро оказалось...

— Степанъ Егоровичъ, господинъ ты мой милостивый, послушай моего холопьяго слова, — перебилъ его Наумъ. — Не ѣзди въ Симбирскъ, нишкни, время-то теперь не такое, неравно еще безъ вины въ бѣду попадешь. А что скрывать все это пока, это точно надобно. Боченки мы тихомолкомъ въ домъ перенесемъ, въ твой покойникъ, гдѣ жилъ Фирсъ, и держи ты тотъ покойникъ на запорѣ; а тюки всѣ мы въ одномъ большомъ сараѣ сложимъ, мѣста тамъ довольно, да и запремъ хорошенько. Тамъ по времени видно будетъ... Вѣстимо, коли хозяинъ своему добру

объявится доподлинный — вернуть будетъ надо; да гдѣ тѣ хозяева? въ сырой землѣ давно. Фирсъ-то со своими людьми не больно щадилъ, можетъ, теперь до самаго Симбирска ни одной и усадьбы цѣлой нѣту, ни одного барина; развѣ которые въ Питерѣ да въ Москвѣ проживаютъ...

Степанъ Егоровичъ послушался Наума, съ мнѣніемъ котораго оказалась согласной и Анна Ивановна; въ Симбирскѣ онъ не поѣхалъ, боченки съ золотомъ и серебромъ перенесли въ домъ, тюки всѣ сложили въ сарай и крѣпко заперли. Старшія дѣти знали, что въ сараѣ этомъ добро разное, но сколько его и какое оно, про то имъ не говорили; а младшія дѣти глядѣли на этотъ сарай съ ужасомъ, зная, что въ немъ разбойники что-то спрятали и что это что-то—очень страшное.

XIV.

Между тѣмъ вотъ и ноябрь наступилъ, снѣгу навалило, установилась санныя дорога. Собрался Степанъ Егоровичъ въ Симбирскъ узнать о томъ, что на свѣтѣ дѣлается: казнили-ли Емельку Пугачева, смирно-ли за Волгой, а главное, хотѣлось ему провѣдать, не говорятъ-ли чего о разбойничьихъ награбленныхъ богатствахъ, не приказано-ли чего относительно этихъ богатствъ, въ случаѣ еслибы они гдѣ оказались.

Тревога душевная не прекратилась для Степана Егоровича съ освобожденіемъ Кильдѣевки отъ владычества Фирса и его шайки; правда, теперешняя тревога была далеко не прежняго свойства, но все настолько сильна, что Степанъ Егоровичъ по цѣлымъ ночамъ не спалъ, все свои думы думалъ.

«Вѣдь вотъ они тутъ подъ бокомъ, эти боченки съ золотомъ и серебромъ, а въ сараѣ десятки пудовъ посуды серебряной, мѣха дорогіе, оружіе, двѣ большія укладки съ камнями самоцвѣтными... Тутъ все это, и никто пока про то не знаетъ. Въ рукахъ богатства неисчислимыя, какія и во снѣ никогда не грезились, а бѣдность въ домѣ попрежнему — все разорено, съ крестьянъ взять нечего, почти весь скотъ домашній уничтоженъ разбойниками».

Не разъ входилъ Степанъ Егоровичъ въ запертой покойникъ, не разъ открывалъ боченки; сильно хотѣлось ему попользоваться хоть горстью денегъ, но ни разу онъ не рѣшился на это, онъ боялся и отвѣтственности, и страшными казались ему эти деньги, добытыя грабежомъ и убійствомъ. А между тѣмъ, такъ и тянуло, такъ и тянуло къ этимъ проклятымъ деньгамъ, да и Наумъ въ искusstелѣ превратился: почти каждый день толкуетъ, что еще

потерпѣть немного, да и заживетъ Степанъ Егоровичъ всей губерніи на удивленіе и зависть. Нѣтъ-нѣтъ, да и начинаютъ рисоваться Кильдѣеву самыя соблазнительныя картины:

«Вся-то жизнь въ черной работѣ прошла, въ нуждѣ, да заботахъ, ужасы всякіе пережиты... охъ, кабы отдохнуть! Вѣдь, на эти деньги теперь кругомъ всѣ имѣнья закупить можно... всѣ раззорены, всѣмъ деньги нужны... слышно, продаютъ за безцѣнокъ... Дочки невѣсты, вѣдь, только узнаютъ,—лучшіе женихи въ губерніи явятся, отбою не будетъ, выбирай любого!»

Даже дрожь пробираетъ Степана Егоровича, но онъ все крѣпится.

Что-то вотъ въ Симбирскѣ скажутъ?

А въ Симбирскѣ, въ канцеляріи, говорятъ ему, что отъ правительства указъ вышелъ: все оставленное бунтовщиками и разбойниками въ тѣхъ имѣніяхъ, гдѣ они притоны свои держали и склады имѣли, все это поступаетъ въ собственность владѣльцевъ имѣній.

У Степана Егоровича шибко забилося сердце.

— Да точно-ли это, заправду-ли есть такой указъ?—запинаясь, спрашивалъ онъ всѣхъ и каждаго.

Нѣкоторые изъ чиновниковъ были ему и прежде того знакомы: они окружили его, принесли бумагу, прочитали. Но онъ все еще не вѣрилъ, пока самъ, своими глазами не прочелъ той бумаги, а какъ прочелъ, то бросился всѣхъ обнимать, руки трясутся, на глазахъ слезы, самъ крестится.

— Да что, или у тебя, Степанъ Егоровичъ, въ Кильдѣевкѣ много воровского осталось?

— Много, государи мои, много!..

— Какъ? что?

— Всего много, и вещами дорогими, и деньгами... боченки съ деньгами... сколько—не знаю еще доподлинно, не считалъ, а не меньше, какъ тысячъ на триста, четыреста будетъ.

— Вотъ такъ счастье!.. Кому горе, раззореніе... а вотъ людямъ такое счастье!..

Вѣсть о томъ, что у Кильдѣева оказалось громадное богатство, мигомъ облетѣла всю канцелярію и пошла дальше по городу. Люди, до сихъ поръ относившіеся къ Степану Егоровичу высокомерно и съ пренебреженіемъ, вдругъ стали показывать ему знаки искренней дружбы и почтенія; незнакомые съ нимъ спѣшили познакомиться, наговорили ему кучу пріятныхъ вещей. Всѣ его разспрашивали, тормошили, завидовали ему и злословили. Но онъ, съ копѣй драгоцѣннаго указа, спѣшилъ скорѣе домой, въ Кильдѣевку.

XV.

Можно себѣ представить, какъ принята была въ Кильдѣвскомъ «ульѣ» привезенная Степаномъ Егоровичемъ новость. Одинъ только Наумъ оставался торжественно спокойнымъ, онъ давно уже ожидалъ всего этого, давно приготовился къ наступающей переменѣ.

Счастливыи и словно помолодѣвшій, принялся теперь Степанъ Егоровичъ за окончательный осмотръ такъ чудесно доставшихся ему сокровищъ. Сталъ считать и пересчитывать свои богатства, и оказалось, что у него не на триста, не на четыреста тысячъ рублей, а на цѣлыхъ семсотъ хватить,—сумма въ то дешевое время огромная.

Но у Анны Ивановны вырвалась фраза:

— Охъ, боюсь я, боюсь, пойдеть-ли намъ въ прокъ воровское богатство?!

Услышавъ эти слова вѣрной жены своей, бывшія только повтореніемъ того, что и самому нѣтъ-нѣтъ, да и приходило въ голову, Степанъ Егоровичъ снова крѣпко задумался. Однако, онъ скоро нашелъ способъ успокоить свою совѣсть, избавиться отъ опасенія за будущее и въ то же время воспользоваться счастливымъ настоящимъ.

Онъ тотчасъ-же сталъ разузнавать по окрестнымъ монастырямъ да церквамъ, гдѣ и что было похищено, и все это возвратилъ по принадлежности. Затѣмъ принялся скупать имѣнія, переселился въ просторныя каменные хоромы, верстахъ въ десяти отъ Кильдѣвки, и началъ строить церковь, съ тѣмъ, чтобы пожертвовать въ нее все церковное имущество, какое у него еще осталось и происхожденіе котораго ему было неизвѣстно.

Прошло нѣсколько лѣтъ, и конечно теперь въ Степанѣ Егоровичѣ никто-бы не узналъ прежняго скромнаго труженика: совсѣмъ другой видъ у него, совсѣмъ другія манеры. Да и все кругомъ него измѣнилось, не одно счастье привалило, пережилось немало и горя. Начать съ того, что Степанъ Егоровичъ лишился своей Анны Ивановны; прежде такая здоровая и бодрая, она, послѣ всѣхъ приключеній Фирсова нашествія, стала хирѣть и года черезъ два умерла. Хвораю Оленька и нѣкоторыя изъ младшихъ дѣтей тоже умерли, несмотря на то, что теперь уходъ за ними былъ не прежній, что они ужъ не бѣгали босоножками по двору.

Машенька вышла замужъ за богатаго сосѣда, но за нею долго еще сохранилось въ Симбирскѣ прозвище «разбойничьей невѣсты».

Старшіе сыновья уже служили въ Петербургѣ въ гвардейскихъ

полкахъ. Дома подростали новыя невѣсты. Заправляла всѣмъ старшая, горбатенькая Аришенька. Несмотря на свой печальный недостатокъ и некрасивое лицо, она вышла такой разумной, веселой и доброй, что вполнѣ замѣнила покойницу мать и была истинной матерью для своихъ младшихъ сестеръ и братьевъ.

Она хорошо понимала, что ея жизнь должна принадлежать другимъ, что для себя самой ей нечего мечтать о счастья, и величайшимъ удовольствіемъ ея было устраивать всякія свадьбы. Такъ, успѣла она выдать замужъ за хорошихъ людей и двухъ несчастныхъ дочекъ отца Матвѣя, которыя жили у нихъ въ домѣ. Степанъ Егоровичъ далъ имъ порядочное приданое.

Наумъ, въ качествѣ главнаго управителя и совѣтника Степана Егоровича, благоденствовалъ со всею семьею. Онъ давно уже получилъ вольную и при этомъ Степанъ Егоровичъ пожаловалъ ему цѣлыхъ десять тысячъ. Ни отъ вольной, ни отъ десяти тысячъ Наумъ не сталъ отказываться, но для себя не хотѣлъ ничѣмъ воспользоваться. Оставшись у Степана Егоровича, онъ до конца считалъ себя его крѣпостнымъ слугою, но за то всѣ усилія употреблялъ, чтобы образовать и вывести въ люди дѣтей своихъ.

Его дѣти воспитывались вмѣстѣ съ младшими дѣтьми Степана Егоровича и одинъ изъ нихъ впослѣдствіи перещеголялъ всѣхъ Кильдѣевыхъ, дослужился до большихъ чиновъ и сталъ въ ряду видныхъ дѣятелей позднѣйшаго времени.

Виктор

21.10.1909

II.

Монахъ поневолю.

I.

Въ послѣдніе годы царствованія Екатерины II однимъ изъ любимѣйшихъ пріютовъ богатой петербургской молодежи былъ трактиръ «Очаковъ». Да и не одну только молодежь манилъ къ себѣ пріютъ этотъ: здѣсь можно было встрѣтить очень часто и людей почтенныхъ и почтеннаго ранга. Многие были рады вырваться изъ домашней прискучившей обстановки и, словно по мановенію волшебнаго жезла, перенестись на нѣсколько часовъ въ преддверіе Магометова рая. А что трактиръ «Очаковъ» былъ именно «преддверіемъ Магометова рая», въ этомъ нельзя было сомнѣваться. Отворивъ извнѣ ничѣмъ незамѣчательную и даже грязноватую дверь и взобравшись по плохо освѣщенной лѣстницѣ, посѣтитель былъ встрѣчаемъ дюжиной длиннородыхъ молодцовъ въ яркихъ восточныхъ костюмахъ и съ чалмами на головахъ.

Молодцы эти, хоть и на чистомъ русскомъ языкѣ тверского произношенія, но все-же съ глубочайшими восточными поклонами спѣшили снять съ гостя верхнее платье, распахивали передъ нимъ двери, и онъ вступалъ въ таинственный полусвѣтъ кіоска, озареннаго матовыми, полосатыми фонариками. За кіоскомъ слѣдовалъ цѣлый рядъ тоже болѣе или менѣе «турецкихъ», только уже ярко освѣщенныхъ комнатъ, уставленныхъ низкими и мягкими софами и диванами.

По стѣнамъ, для пущей вѣрности колорита, были намалеваны мечети и минареты, а не то такъ семейныя сцены въ видѣ чалмоноснаго турка, важно сидящаго съ кальяномъ, скрестивъ ноги, пускающаго кольца ярко голубого дыма, и съ прильнувшей къ нему обольстительной турчанкой въ перинообразныхъ шальварахъ и въ крошечныхъ туфелькахъ съ загнутыми носками.

За исключеніемъ раннихъ утреннихъ часовъ «турецкія» комнаты были всегда биткомъ набиты посѣтителеми. Тверскіе турки едва поспѣвали исполнять требованія нетерпѣливыхъ и взыскательныхъ гостей, то и дѣло шмыгали по истертымъ коврамъ, разнося кушанья и вина. И чѣмъ позднѣе былъ часъ, тѣмъ «Очаковъ» становился оживленнѣе. Въ дальнихъ комнатахъ раскрывались столы, начиналась модная игра макао и гаммонъ, поднимались иногда крики и ссоры довольно крупныхъ размѣровъ.

А въ потаенномъ, таинственномъ отдѣленіи, куда допускался далеко не всякій, раздавались звуки клавикордъ и арфы, раздавались трели женскихъ голосовъ, и, заслышавъ ихъ, избранники бросали карты и споры и спѣшили изъ «преддверія рая» въ самый «рай», въ общество гурій.

Но кромѣ винъ и картъ, кромѣ таинственныхъ гурій, играющихъ на клавикордахъ и арфѣ, въ «Очаковѣ» была еще одна диковинка и приманка, «настоящій турка, изъ настоящаго Очакова», какъ его рекомендовали тверскіе турки. Этотъ «турка» время отъ времени торжественнымъ и мѣрнымъ шагомъ расхаживалъ по комнатамъ, и когда онъ проходилъ, головы всѣхъ обращались къ нему, почти всѣ глаза слѣдили за нимъ съ любопытствомъ.

Люди солидные и въ особенности провинціалы, наѣзжавшіе въ Петербургъ по дѣламъ и считавшіе необходимою осмотрѣть на ряду съ Кунсткамерой и Академіей Художествъ и «Очаковъ», относились къ «туркѣ» не совсѣмъ благосклонно, даже отплевывались. Но привычные посѣтителы, главнымъ образомъ, молодые военные и штатскіе люди, подзывали «турку», угощали его, заводили съ нимъ бесѣду.

Турка отъ угощенья всегда отказывался, бесѣду-же поддерживалъ охотно: онъ садился на мягкій диванъ, поджималъ подъ себя ноги и начиналъ говорить по турецки. Поднимался хохотъ и кончалось всегда тѣмъ, что и турка, и его собесѣдники устанавливали между собою выразительный языкъ тѣлодвиженій и всевозможныхъ гримасъ, на которомъ отлично понимали другъ друга.

II.

Въ морозный и вѣтряный зимній вечеръ извозищныя санки подѣхали къ «Очакову». Изъ нихъ вышелъ высокій мужчина, закутанный въ шубу и вдобавокъ съ длинной муфтой въ рукахъ. Взобравшись по лѣстницѣ и отворивъ дверь въ теплыя сѣни, онъ сбросилъ шубу на руки первому подбѣжавшему къ нему

турку и сталъ оправляться передъ трюмо, обставленнымъ очень жидкими и чахлыми, но все-же тропическими растеніями.

Трюмо отразило молодцеватую, красивую фигуру, одѣтую довольно тщательно и богато, но все-же не по послѣдней петербургской модѣ.

Молодой человѣкъ не успѣлъ еще поправить прическу и вытереть тонкимъ надушеннымъ платкомъ свое мокрое отъ снѣгу лицо, какъ къ нему, съ низкими поклонами, подошелъ борода-тый тверской турокъ.

— Батюшка, Петръ Григорьевичъ, вы-лиэто?!—радостно осклабясь, заговорилъ турокъ.—А я было и не призналъ... давненько, сударь, къ намъ не жаловали!..

Молодой человѣкъ обернулся.

— А! это ты, Сидоръ,—сказалъ онъ:—узналъ, помнишь?..

— Васъ-то, сударь, да и не помнить!.. такихъ господъ, да чтобы забыть!.. Въ добромъ ли все здоровьи?.. чай, вѣдь, годика два, а то и поболѣе, какъ изъ Питера...

Турокъ поймалъ и громко чмокнулъ руку молодого человѣка и быстро началъ оправлять фалды его камзола.

— Ну, хорошо, хорошо, довольно!.. А вотъ скажи ты мнѣ, господинъ Алабинъ здѣсь, или нѣтъ его?

— Какъ-же, сударь, здѣсь они, часа съ два времени, какъ здѣсь!..

— Ну, такъ веди.

Турокъ кинулся отпирать двери кіоска и проводилъ молодого человѣка въ одну изъ дальнихъ комнатъ, гдѣ сидѣла за игрою веселая компанія молодежи.

— Елецкій! онъ, онъ!.. вотъ такъ негаданно!—раздались привѣтствія.

Почти всѣ игроки, побросавъ карты, встали навстрѣчу новоприбывшему. Онъ быстро отвѣтилъ на дружескія рукопожатія и черезъ мгновеніе крѣпко обнималъ и цѣловалъ такого-же молодого и красиваго, какъ и онъ самъ, Алабина.

— Какъ-же это ты?—смущенно и радостно говорилъ тотъ:—цѣлую недѣлю я ждалъ тебя по письму твоему и ужъ не чаялъ тебя видѣть. Когда пріѣхалъ? И надѣюсь, прямо ко мнѣ? У меня остановился?

— А то гдѣ-же?! Въ полдень мы вѣхали въ сію Пальмиру, ну, да я немного замѣшкался... долженъ былъ тутъ проводить своихъ попутчицъ, такъ къ тебѣ попалъ часу въ третьемъ. А тебя и нѣту—вылетѣла пташка изъ клѣтки! Твой Ефимъ накормилъ да напоилъ меня съ дороги, ждалъ я ждалъ, выпался даже, а все тебя нѣту. Я Ефима спрашиваю: куда это, молъ, баринъ дѣлся? А онъ мнѣ въ отвѣтъ: «Доподлинно сіе неизвѣстно, а надо быть въ «Очаковѣ» они». Тутъ и я на себя диву дался,

что дорогою память отшибло—и съ Ефимомъ нечего было совѣтовать—гдѣ же тебя сыщешь, коди не въ «Очаковѣ»! Вотъ и пріѣхалъ... Да покажись, Андрюша, легко ли!—поболѣе двухъ съ половиною лѣтъ не видались... и никакой-то въ тебѣ перемѣны!.. только это что-же? гвардіи офицеръ, а въ штатскомъ платѣ! Неужто отставку взялъ? Вѣдь, ты мнѣ о томъ въ письмахъ ни слова.

— Зачѣмъ отставку,—отвѣтилъ Алабинъ:—а такъ свободнѣе. У насъ нынѣ и генералы, и офицеры зачастую мундиры только на службу и надѣваютъ. Съ насъ за это никакого взыску нѣтъ. Однако, что-же это мы!.. Эй, турки!—крикнулъ Алабинъ:—шипучаго, скорѣе! Выпить надо ради друга потеряннаго и вновь обрѣтеннаго!

— Еще бы!—разомъ отозвались нѣкоторые изъ присутствовавшихъ.

— Вѣдь, ты опять къ намъ, Елецкій, на службу? Давно пора деревню-то бросать. Здѣсь у насъ нонѣ жизнь вольная, еще вольнѣе прежняго. А мы и доселѣ твои шутки вспоминаемъ. Всѣ наши Гебы и Афродиты по тебѣ стосковались и уже въ поминанья записали «удалого Петрушу»: порѣшили, что не вернешься... запалъ совсѣмъ...

— Э, други, не тотъ ужъ я сталъ что-то: словно, какъ во снѣ та жизнь была, не влекутъ больше тѣ забавы...

— Ну, ты тамбовскимъ тетушкамъ сіи сказки сказывай, а насъ не проведешь ими!—засмѣялись пріятели:—мы тебя разомъ отъ меланхоліи вылечимъ—и къ Ерофеичу *) нечего будетъ навѣдываться, безъ его травъ обойдемся...

Вино было принесено: Елецкій познакомился съ тѣми изъ компаніи, кого еще не зналъ. Разстроенная игра снова началась. Вечеръ проходилъ незамѣтно. Но около полуночи Елецкій объявилъ Алабину, что съ дороги чувствуетъ себя нѣсколько усталымъ.

— А и то,—сказалъ Алабинъ:—играть я больше не буду, поѣдемъ домой да потолкуемъ.

Пріятели хотѣли ихъ удержать, соблазняя гуріями и клавирами, но они настояли на своемъ и уѣхали.

*) Знаменитый въ то время цѣлитель-самоучка. О его чудодѣйственномъ леченіи всевозможныхъ болѣзней сохранилось много устныхъ и письменныхъ разсказовъ. Теперь единственное, что напоминаетъ о немъ—это настойка, приготовляемая по его рецепту и носящая его имя.

III.

Алабинъ съ Елецкимъ были въ родствѣ,—приходились троюродными,—и дѣтство провели вмѣстѣ въ Тамбовской губерніи, гдѣ родовыя имѣнія ихъ отцовъ находились межа съ межою. И у того и у другого было хорошее состояніе и кой-какія связи въ Петербургѣ. Ихъ отцы еще до рожденія сыновей получили на нихъ полковыя свидѣтельства, такъ что Алабинъ и Елецкій, не появившись еще на свѣтъ Божій, числились уже въ Преображенскомъ полку солдатами. Будучи еще дѣтьми и не выѣзжая изъ отцовскихъ вотчинъ, они дослужились до сержантскаго чина, а потомъ, когда совсѣмъ подросли и отцы привезли ихъ въ Петербургъ, они явились въ Преображенскій полкъ уже офицерами.

Юноши, плохо обученные и воспитанные, привыкшіе въ деревнѣ только къ охотѣ да къ подобострастному подчиненію своихъ подданныхъ, въ Петербургѣ они очутились среди совсѣмъ новой жизни, о которой до сихъ поръ не имѣли никакого понятія. У родителей ихъ была возможность выдавать имъ очень значительное содержаніе и они не скупились на это, такъ какъ вліятельные петербургскіе друзья и родичи убѣдили ихъ, что молодой гвардейскій офицеръ долженъ непременно жить хорошо и много тратить для того, чтобы сдѣлать блестящую карьеру. Такимъ образомъ Алабинъ и Елецкій попали въ кружокъ модныхъ петиметровъ и совсѣмъ завертѣлись въ омутъ столичной жизни.

Все общество послѣднихъ годовъ царствованія Екатерины утопало въ роскоши; прежняя простота и дешевизна жизни совсѣмъ позабылись. Торговцы и магазинщики то и дѣло надбавляли цѣны на свои товары. Серебро въ громадномъ количествѣ передѣлывалось на сервизы, такъ какъ становилось неприличнымъ ѣсть иначе какъ на серебрѣ.

Моды мѣнялись чуть-ли не ежемѣсячно. Отъ порядочнаго чловѣка требовалась прежде всего изящная внѣшность, прическа и одежда, и бѣднѣйшій изъ гвардейскихъ офицеровъ считалъ своей обязанностью дѣлать себѣ въ годъ по нѣскольку мундировъ, а мундиръ тогда обходился не менѣе 120 рублей.

Гвардейскіе офицеры все болѣе и болѣе отучались отъ какихъ бы то ни было обязанностей и совсѣмъ забывали, что они находятся на дѣйствительной службѣ. Да и что это была за служба! Караульныхъ офицеровъ иногда можно было встрѣтить спокойно разгуливавшихъ и собиравшихъ грибы по-домашнему, то-есть, въ халатахъ. Извѣстны случаи, когда залѣнившійся и закутившій

офицеръ отправлялъ вмѣсто себя на службу свою жену. Жена надѣвала мужнинъ мундиръ и являлась офицеромъ.

Кутежи и всякіе дебоши петербургской молодежи принимали громадныя размѣры. Ежедневно въ городѣ рассказывали о самыхъ разнообразныхъ скандалахъ: о выбитыхъ окнахъ, до полусмерти напуганныхъ офицерами купчихахъ, въ дребезги разнесенныхъ трактирахъ и другихъ увеселительныхъ заведеніяхъ, похищенныхъ дѣвушкахъ и такъ далѣе.

Всѣ эти рассказы о гвардейскихъ безчинствахъ, иногда, конечно, еще болѣе разукрашенные воображеніемъ передававшихъ ихъ, доносились въ гатчинскую тишину. Великій князь Павелъ Петровичъ выслушивалъ ихъ съ презрительной усмѣшкой, то пожимая плечами, то мрачно нахмуривъ брови, и часто говаривалъ своимъ приближеннымъ:

— Смотрите, не отдавайте своихъ дѣтей въ гвардію, если не хотите, чтобы они совсѣмъ развратились... при себѣ держите, не пускайте въ Петербургъ, тамъ зараза.

Алабинъ и Елецкій до излишества вкусили отъ чаши петербургскихъ наслажденій. Ихъ имена часто встрѣчались въ исторіи самыхъ крупныхъ скандаловъ. Многія ихъ безцеремонныя и грязныя выходки, считавшіяся тогда только молодецкими, сдѣлали имъ репутацію. Въ порядочныхъ и скромныхъ семействахъ ихъ какъ огня боялись.

Но Елецкому скоро пришлось разстаться съ вольной столичной жизнью; онъ получилъ извѣстіе изъ деревни о смерти своего отца, и ради устройства дѣлъ своихъ долженъ былъ уѣхать изъ Петербурга.

Прощался онъ съ товарищами и знакомыми не надолго, а пропалъ почти на три года. Что съ нимъ было за это время, гдѣ онъ скрывался—никто того не зналъ. Алабинъ получалъ отъ него рѣдкія письма, то изъ деревни, то изъ разныхъ городовъ Южной Россіи.

Но вотъ онъ вернулся, и хорошо знавшіе его товарищи, проводившіе съ нимъ нѣсколько часовъ въ «Очаковѣ», а тѣмъ болѣе Алабинъ, были поражены происшедшей въ немъ перемѣной.

Объ этой-то перемѣнѣ спѣшилъ съ нимъ поговорить Алабинъ. И только что вернулись они домой, онъ завелъ разговоръ на эту тему.

— Скажи-ка, братецъ, что это нонѣ съ тобой—хмурый ты сталъ какой-то. Кабы горе большое было, али дѣла шли плохо, я бы про то былъ извѣстенъ. Батюшка мнѣ еще недавно отписывалъ, что у тебя въ вотчинахъ все обстоитъ наиблагополучнѣйшимъ образомъ. Что-же это съ тобой, расскажи на милость. Коли не ладно что, такъ ты посоветуй со старымъ другомъ.

Елецкій медленно поднялъ на Алабина свои черные, красивые, хотя нѣсколько воспаленные глаза; грустная усмѣшка шевельнула его губы и онъ покачалъ головою.

— Что это тебѣ такъ почудилось, братецъ,—сказалъ онъ.— Я все тотъ-же, а видно и взаправду усталъ съ дороги, такъ и кажусь тебѣ хмурымъ.

Но Алабинъ ясно видѣлъ, что тутъ вовсе не усталость, и что другъ отъ него нѣчто скрываетъ. Вдругъ новая мысль мелькнула въ головѣ его.

— Да! а про какихъ это попутчицъ ты сказывалъ? Кто такія?

У Елецкаго при этихъ словахъ опять въ лицѣ что-то дрогнуло.

— А это я въ Москвѣ, у Синявиныхъ въ домѣ познакомился съ Промзиной старухой, да съ дочкой ея, Вѣрой Андреевной... онѣ тульскія, можетъ, слыхалъ, люди богатые. Самъ Промзинъ бригадиръ въ отставкѣ, безъ ногъ теперь почти, живетъ въ деревнѣ безвыѣздно. Всего у нихъ дѣтей двѣ дочери, старшую года съ два тому замужъ выдали, осталась на рукахъ младшая, лѣтъ ей ужъ девятнадцать никакъ, такъ вотъ ее старуха-то и привезла въ Петербургъ; жениховъ искать пора, вишь, а въ деревнѣ видно подходящихъ не нашлось. Ну, съ ними мы изъ Москвы вмѣстѣ и ѣхали. Старуха просила меня не оставлять ихъ однѣхъ въ дорогѣ: труситъ, всюду ей разбойники чудятся.

Алабинъ усмѣхнулся.

— Вижу, что старуха сія тебѣ не больно по нраву, и, стало, не въ ней дѣло. А вотъ, братецъ, не будетъ ли вашей милости рассказать подробнѣйшимъ образомъ о дѣвицѣ, какова она дѣвица изъ себя, какъ она вамъ показалась—заранѣе знаю, что хороша!..

И онъ опять засмѣялся.

Алабинъ покраснѣлъ и даже не особенно дружелюбно взглянулъ на «братца».

— Смѣяться нечего,—проговорилъ онъ.— Дѣвица Промзина не такова, чтобы надъ нею смѣяться. Такихъ вы, можетъ, и во снѣ-то въ Петербургѣ не видывали, отмѣнная красота! Какъ взглянулъ я впервой на нее, и руки опустились: ужъ и гдѣ-же такая красота уродилась?! Отца не знаю, да и Богъ съ нимъ, а мать ровно бочка сороковая, врядъ ли и въ молодости было въ ней что путное. А Вѣра Андреевна... Эхъ, что тутъ рассказывать, словъ нѣту, нужно ее видѣть!

Алабинъ ужъ не смѣялся. Онъ подошелъ къ пріятелю и положилъ ему на плечи руки.

— Вотъ и разгадка. Теперь во мнѣ нѣтъ уже никакого сумнительства, вижу, стрѣла Амура пронзила твое сердце. Ну, это еще не велико горе, ему помочь можно. Какова ни была бы сія

Вѣра Андреевна, не устоитъ она передъ моимъ милымъ братцемъ, какъ разъ сдаться. Тому не мало примѣровъ было, мы, вѣдь, не забыли вашихъ проказъ амурныхъ... И вѣчно-то съ благородными дѣвицами вяжется... чужихъ невѣсть портить... охота!.. А, вѣдь, я было испугался, думалъ, что поважнѣе! такого-же горя хоть еще подавай столько же, справимся!..

— Не такъ-то легко справишься!—страннымъ, какимъ-то загадочнымъ тономъ проговорилъ Елецкій.

Онъ замолчалъ и вышелъ въ сосѣдную комнату, гдѣ Ефимъ давно уже приготовилъ ему постель.

IV.

Елецкій имѣлъ достаточное основаніе быть недовольнымъ старухой Промзиной. Познакомясь съ нимъ въ Москвѣ и узнавъ, что онъ собирается въ Петербургъ, она воспользовалась этимъ случаемъ, заставила его отложить поѣздку до того дня, когда ей самой вздумалось выѣхать. Во всю дорогу распоряжалась имъ какъ своею собственностью, замучила его капризами непривыкшей къ передвиженію и какой-либо дѣятельности, разбалованной, лѣнливой и тучной женщины; дозволила ему, по пріѣздѣ въ Петербургъ, проводить ихъ на заранѣе нанятую ими квартиру въ Измайловскомъ полку и тутъ-же, не давъ ему вздохнуть, навязала ему нѣсколько неинтересныхъ порученій. Онъ долженъ былъ, не переодѣвшись съ дороги, обѣгать чуть ли не всѣ лавки Гостиного двора. Онъ возвратился нагруженный всякими покупками и въ благодарность услышалъ только:

— Ну, теперь я васъ не задерживаю, чай устали, а вотъ денька черезъ три-четыре, какъ мы тутъ управимся да оглядимся, навѣстите насъ.

Денька черезъ три, четыре! Такъ и сказала. Слѣдовательно, явиться раньше было невозможно. А между тѣмъ Елецкому эти три дня (четвертаго онъ совсѣмъ даже не допускалъ) показались необыкновенно долгими. Тщетно Алабинъ и со всѣхъ сторонъ нахлынувшіе въ его квартиру старые пріатели старались увлечь Елецкаго въ водоворотъ петербургскихъ удовольствій, онъ отъ всего отказался, съѣздивъ только къ портному заказать мундиръ гвардейскій, да побывалъ кой у кого изъ нужныхъ ему людей. Алабинъ не зналъ, что ему дѣлать съ братцемъ. Но вотъ три запретныхъ дня кончились. Елецкій проснулся рано, тщательно занялся своимъ туалетомъ и вплоть до второго часа пополудни только и дѣлалъ, что ходилъ взадъ и впередъ по комнатѣ въ

видимомъ волненіи. Алабинъ еще спалъ. Онъ вернулся домой часовъ въ семь утра, что часто съ нимъ случалось. Наконецъ, Елецкій рѣшилъ, что пора ѣхать. Сѣренькій рысачекъ уже ждалъ у подъѣзда и мигомъ домчалъ съ Садовой въ Измайловскій полкъ.

Промзины остановились въ одномъ изъ тѣхъ новыхъ, большихъ каменныхъ домовъ, которые въ то время уже начинали воздвигаться въ Петербургѣ. Дома эти строились не такъ какъ прежде, не для себя, а для жильцовъ; строились этажа въ три, а то такъ и въ четыре, разбивались на нѣсколько квартиръ, большихъ и малыхъ. Квартиры почти всегда отдавались въ наемъ съ мебелью и со всей обстановкой. Промзины занимали просторное и во всѣхъ отношеніяхъ приличное ихъ рангу помѣщеніе. Изъ деревни онѣ навезли съ собою достаточное число прислуги.

Съ сердечнымъ замираніемъ освѣдомился Елецкій у отворившаго ему двери стараго и ворчливаго деревенскаго буфетчика—дома-ли Марья Степановна. Буфетчикъ, почтительно поклонившись, объявилъ что дома и провелъ его въ гостиную, довольно пестро и безвкусно, хотя и съ претензіей на нѣкоторую роскошь, отдѣланную. Дверь во внутреннія комнаты скрипнула, отворилась и пропустила Марью Степановну.

Елецкій хотя и грубо, но совершенно вѣрно сравнилъ ее съ сороковой бочкой. Она была тучна, грузна, ходила съ перевалкой и отдувалась, причемъ красное, совсѣмъ заплывшее лицо ея краснѣло еще больше. Несмотря на то, во всей фигурѣ Марьи Степановны сразу замѣчалось нѣчто властное и характерное; видно было, что она не изъ податливыхъ, что съ нею нужно считаться.

— Ахъ, сударь, Петръ Григорьевичъ,—начала она:—спасибо, батюшка, что заглянули... Присядьте, да и я отдохну съ вами, совсѣмъ замучилась... Людишки треклятые ни до чего своимъ умомъ дойти не могутъ, все то имъ растолкуй, покажи, всюду свой глазъ нуженъ. Легко ли, три дня маюсь, а еще многое въ безпорядкѣ.

Елецкій выразилъ свое соболѣзнованіе и спросилъ про Вѣру Андреевну.

— Да что она,—отвѣчала махнувъ рукою Марья Степановна:—за нее мать мучается, а она себѣ спить да наряды примѣрять... извѣстно—дѣло дѣвичье... баловницы, вѣдь, всѣ онѣ... Вѣрушка, поди сюда!—крикнула она въ сосѣдную комнату. Вѣра Андреевна не заставила долго ждать себя и въ то-же мгновеніе показалась у дверей, разодѣтая въ свѣжее новомодное платье, хитро причесанная въ видѣ классической богини. Хороша была она,—Елецкій въ этомъ не заблуждался, — хороша замѣчательно: высокая и стройная, темноволосая, съ большими, нѣжными и почти чер-

ными глазами. Она очень мило зарумянилась, здороваясь съ Елецкимъ и протягивая ему руку.

Но это что же? — Вслѣдъ за нею въ гостиную выплыла какая-то женщина неопредѣленныхъ лѣтъ, въ огромномъ чепцѣ съ яркими лентами. Эта женщина такъ и впилась своими маленькими, быстро бѣгающими глазками въ гостя. Онъ не успѣлъ перемолвиться двумя, тремя фразами съ Вѣрой, какъ ужъ невѣдомая женщина подсѣла къ нему и заговорила на ломаномъ русскомъ языкѣ.

— А вы, господинъ молодой, здѣшній будете?

Елецкій изумленно взглянулъ на нее, а потомъ на хозяйку.

— Это Каролина Карловна,—объяснила Промзина, и больше ничего не прибавила.

Ему оставалось только отвѣчать на многочисленные и разнообразныя, такъ и сыпавшіяся на него вопросы таинственной Каролины Карловны; и онъ отвѣчалъ, хотя очень неохотно. Онъ начиналъ соображать кой-что. Ему съ каждой минутой становилась все противнѣе и противнѣе эта навязчивая, картавящая женщина.

Наконецъ, судьба ему улыбнулась: Каролина Карловна стала прощаться, объявила, что непременно еще зайдетъ вечеромъ—и исчезла. Вслѣдъ за нею вызвали по хозяйству и Марью Степановну. Елецкій остался наединѣ съ Вѣрой. Онъ быстро осмотрѣлся, убѣдился, что никто ихъ не можетъ видѣть, схватилъ руку красавицы и сталъ покрывать ее поцѣлуями. Она не отнимала руки. Румянецъ то потухалъ, то еще ярче вспыхивалъ на щекахъ ея.

— Вѣра, я едва дожилъ до этой минуты, я чуть съ ума не сошелъ тебя не видя... что ты со мной сдѣлала!—страстно шепталъ Елецкій.

Она ничего не говорила, только глаза ея становились нѣжнѣе и нѣжнѣе.

— Вѣра,—продолжалъ онъ:—скажи мнѣ, что-же это у васъ такое? Я чую недоброе. Кто сія Каролина Карловна? Зачѣмъ она? Откуда?

— Она — сваха,—тихо и грустно отвѣтила Вѣра. — Какъ только пріѣхали, матушка въ тотъ-же часъ за нею послала; раза по три на день она пріѣзжаетъ, и все онъ шепчутся. А вотъ сегодня съ ранняго утра она у насъ, и видъ такой противный у нея... «Какого, говорить, я вамъ жениха нашла: богатый, говорить, знатный». Много что-то тамъ матушкѣ расписывала, я и слушать не захотѣла—ушла... Одно только и слышала, какъ матушка ей сказала, что этого человѣка давно она для меня примѣтила, давно его знаетъ.

Вѣра замолчала. На ея глазахъ навернулись слезы и она стала еще милѣе. Елецкій поблѣднѣлъ, грудь его тяжело дышала.

— Что-же это такое ты говоришь мнѣ, Вѣра! развѣ то возможно? Или тамъ, вечеромъ, въ Твери обманула меня, насмѣялась... не любишь?!

— Петръ Григорьевичъ, вы-то зачѣмъ еще меня мучаете? и такъ, вѣдь, тошно! Вы матушку не знаете, а я ее знаю—коли что на умъ ей взбрело, на томъ и поставить... захочетъ за кого меня выдать, такъ и спрашивать не станеть—силою выдастъ... такъ она и съ сестрою Анютою сдѣлала... вѣкъ не забуду, какъ сестрица тогда убивалась... Я-то васъ не обманула и хотъ почитай силою вы отъ меня то слово вырвали, а все-же разъ сказала, что люблю тебя, такъ это значить не въ шутку, а навѣки.

И вдругъ она сама быстрымъ движеніемъ припала на грудь его и вся трепетная шепнула ему:

— Голубчикъ, Петръ Григорьевичъ, коли любите, то времени терять нечего. Сговорится матушка съ Каролиной Карловной, прѣдетъ женихъ, порѣшати—тогда поздно будетъ.

— Да, времени терять нечего.—горячо отвѣчалъ Елецкій, цѣлуя ее.—Скажи одно слово, скажи, что согласна, и будемъ неразлучны, навѣки... Сегодня-же вечеромъ я увезу тебя, да такъ спрячу, что никто на свѣтѣ не сыщеть.

Вѣра отшатнулась и взглянула на него испуганными, изумленными глазами.

— Петръ Григорьевичъ, что вы такое говорите? Какъ мнѣ понять сіи слова? неужели вы и подлинно можете думать, что я способна, забывъ всякій стыдъ, бѣжать изъ дому. И видно совсѣмъ вы меня не любите, коли такъ говорите!.. Нѣтъ, лучше горе, лучше муки на всю жизнь, чѣмъ позоръ — да и зачѣмъ?! Просите руки моей, можетъ, она согласится... просите сегодня... сейчасъ

Елецкій хотѣлъ говорить и не могъ. Онъ только глядѣлъ на Вѣру, глядѣлъ какъ-то мрачно, такъ что ей жутко становилось отъ его взгляда.

Въ сосѣдней комнатѣ слышались тяжелые шаги Марьи Степановны. Молодые люди постарались оправиться.

Елецкій просидѣлъ еще нѣсколько минутъ. Вѣра надѣялась, что онъ будетъ просить ея руки и нарочно вышла изъ комнаты. Но онъ не сказалъ ни слова объ этомъ Марьѣ Степановнѣ и, совсѣмъ растерянный, уѣхалъ.

V.

Алабинъ только что проснулся. Онъ лежалъ, потягиваясь на кровати, и вспоминалъ нѣкоторыя подробности кутежа прошедшей ночи, когда къ нему въ спальню вошелъ вернувшійся отъ Промзиныхъ Елецкій. Онъ даже привскочилъ на кровати, взглянувъ въ лицо «братца», такъ оно было блѣдно и разстроено.

— Что съ тобою? ты на себя не похожъ. Говори сейчасъ все безъ утайки!—крикнулъ онъ.—Ужели это тульская невѣста такъ тебя разогорчила, стыдись, право!

Елецкій остановился передъ нимъ и началъ прерывающимся отъ волненія голосомъ:

— Говорю тебѣ еще разъ, смѣшки и шутки теперь не у мѣста. А коли точно ты другъ мнѣ, то слушай... Полюбилась мнѣ Вѣра какъ никто еще доселѣ, и съ тѣхъ поръ я самъ не свой, не успокоюсь, пока не будетъ она моею.

— Такъ что-же, все это въ порядкѣ вещей... все на тебя похоже. Да ты мнѣ одно скажи: была у васъ декларация?

— Была, еще дорогой, въ Твери.

— Чего-же лучше! Теперь, видно, за мною дѣло стало, скрасть ее нужно, такъ, что-ли? Что-же, я готовъ. Только обдумай хорошенько... Самъ ты говорилъ—родня у нихъ большая, пожалуй, наживешь еще такихъ неприятностей, что и жизни не радъ будешь. Да и знаю я тебя, сегодня пылаешь, а завтра, только добился своего, и другой предметъ въ сердцѣ у тебя поселится.

— Ну, нѣтъ, это не то, что другія,—возразилъ Елецкій.—Говорю тебѣ—люблю ее, люблю, жить безъ нея не могу... вотъ что!.. Выкрасть, увести!—на это не пойдетъ, она, я ужъ пробоваъ...

И онъ разсказалъ пріятелю въ подробностяхъ все, что было передъ тѣмъ у Промзиныхъ.

— Не глупа дѣвица,—проговорилъ Алабинъ:—такъ тебѣ и слѣдуетъ, попался бычекъ на веревочку! Да, можетъ, оно и лучше, нужно-же когда-нибудь жениться... Ну, и женись, коли такъ любишь и такъ хороша она... партія подходящая, да и приданое, я чаю, за ней дадутъ не малое, сыновей, вѣдь, ты говорилъ, нѣту.

— А ужели ты думаешь, что я бы не женился, коли бы могъ?—отчаяннымъ голосомъ почти простоналъ Елецкій.—Не могу я этого... не могу!

— Почему не можешь? Тебя не разберешь, право... И люблю, и женился бы, и не могу...

— Не могу... я женатъ!

Алабинъ вытаращилъ глаза, разинулъ ротъ, да такъ и остался нѣсколько мгновений.

— Женатъ!—наконецъ проговорилъ онъ:—да ты шутишь, что ли? Никто о семъ не знаетъ, и мнѣ ни слова... Когда? какъ? Гдѣ женатъ? Что такое?

— А: ужъ почти два года,—грустнымъ голосомъ и мѣряя комнату большими шагами, началъ Елецкій.—Да, сдѣлалъ сію глупость! Поѣхалъ я въ Кіевъ по дѣлу, приглянулась мнѣ дочка того самаго стряпчаго, что дѣло мое обдѣлывалъ, приволокнута за нею. Совсѣмъ было сманилъ ее бѣжать; хотѣлъ свезти съ собой въ деревню, а тутъ отецъ ея, сутяга, сушій аспидъ, жадный крючкотворецъ, и накрылъ насъ... Эхъ, скверная исторія! Конечно, можно было вывернуться, да глупость напала,—въ чувствахъ сердца своего обманулся. И что въ ней хорошаго тогда находилъ! даже дивлюсь на себя. Обвѣнчали, братецъ, обвѣнчали, и по сіе время она въ Кіевѣ живетъ, да и не одна, а съ мальчишкой, въ твою честь и Андреемъ его назвалъ... Только такъ она мнѣ опыстѣла, что и подумать о ней тошно, а ужъ теперь, какъ узналъ да полюбилъ Вѣру... Эхъ, ну, что тутъ дѣлать... ну говори... посоветуй!.. а у меня самого мысли совсѣмъ спутались...

— Что же тутъ совѣтовать! одинъ мой тебѣ згадъ—забуди ты, забудь дѣвицу Промзину, будто и не зналъ ее никогда, а я тебѣ нынѣшнимъ-же вечеромъ такую красотку покажу, какой ты и отродясь не видывалъ.

— Глупый человѣкъ! пойми ты, что я не могу жить безъ нея,—горячо перебилъ его Елецкій.—Или она, или пулю въ лобъ!

— Ну, ну, поди! чай тоже самое и про супругу передъ вѣнцомъ сказывалъ.

— Нѣтъ, эта не таковская...

Алабинъ задумался.

Вдругъ плутовская улыбка мелькнула на лицѣ его.

— А въ такомъ разѣ что-же!.. брата выручать надо... и выручимъ, славную штуку я придумалъ!

VI.

Узнавъ, въ чемъ состояла штука, придуманная «братцемъ», Елецкій значительно успокоился. Охваченный припадкомъ страсти, съ которою онъ никогда не умѣлъ, да и не видѣлъ до сихъ поръ необходимости бороться, онъ еще минуту тому назадъ

считалъ положеніе свое безвыходнымъ—и вдругъ находчивость лихого пріятеля дала ему надежду на достиженіе цѣли, представлявшейся черезчуръ заманчивой. Онъ даже и думать не хотѣлъ о томъ, что все-же остается еще много препятствій,—все это преодолѣть можно: лазейка найдена, а съ остальнымъ такъ или иначе онъ справится.

Въ этотъ день, конечно, невозможно было возвратиться къ Промзинымъ, но на слѣдующее-же утро онъ поѣхалъ къ нимъ.

Алабинъ, провожая его, говорилъ:

— Смотри, самъ не подгадь дѣла. Коли все не рѣшится сегодня, коли затянешь, да возбудишь подозрѣніе въ Вѣрѣ, тогда что мы подѣлаемъ?!

— Не бойся,—отвѣчалъ Елецкій:—заранѣе толковать нечего, тамъ видно будетъ...

Но онъ, конечно, и не воображалъ, что ему удастся такъ легко уладить дѣло, какъ это случилось—ему все на этотъ разъ благопріятствовало. Онъ засталъ старуху Промзину въ гостиной и сразу по лицу ея убѣдился, что за время его отсутствія произошло что-то особенное.

Ему недолго пришлось ждать разгадки. Промзина встрѣтила его довольно вѣжливо, но съ видимой холодностью. Она, конечно, не могла не замѣтить впечатлѣнія, произведеннаго на него Вѣрой; но совсѣмъ не хотѣла смотрѣть на него какъ на жениха. Она ѣхала изъ деревни въ Петербургъ уже съ опредѣленнымъ и окончательно принятымъ намѣреніемъ.

Заранѣе, черезъ посредство своей родственницы, а также давно знакомой ей свахи Королины Карловны, она высмотрѣла настоящаго жениха для дочки и именно такого, какой ей былъ нуженъ. Елецкій-же былъ для нея полезнымъ и даже необходимымъ попутчикомъ, и только. Она его не опасалась, несмотря на его молодость и красивую наружность, такъ какъ твердо была увѣрена, что на глазахъ у нея ничего не можетъ случиться, и что Вѣра изъ повиновенія не выйдетъ.

Однако, хотя всю дорогу она очень зорко наблюдала и за Елецкимъ, и за Вѣрой, но расчеты ея, какъ и всегда почти бываетъ въ такихъ случаяхъ, оказались ненадежными: она утомлялась и засыпала, а молодые люди не дремали.

По пріѣздѣ въ Петербургъ она не стала откладывать своего дѣла въ долгій ящикъ. Женихъ, человѣкъ уже не молодой, но въ чинахъ, со связями и достаточнымъ состояніемъ, былъ заранѣе предупрежденъ. Онъ видѣлъ Вѣру года три тому назадъ, проѣздомъ черезъ Тульскую губернію, и тогда еще плѣнился ея красотою. Узнавъ отъ Каролины Карловны, что Промзины пріѣхали, онъ поспѣшилъ къ нимъ явиться.

Это было наканунѣ, послѣ визита Елецкаго. И солидный женихъ, и опытная и практическая мать въ два часа времени все порѣшили между собою. Вѣра, по настоятельному требованію Марьи Степановны, вышла къ гостю, а черезъ нѣсколько минутъ, несмотря на грозные взгляды матери, убѣжала въ спальню и заперлась тамъ.

Но больше ничего и не требовалось, женихъ увидѣлъ невесту, убѣдился, что она не только не подурнѣла, но, напротивъ, значительно даже похорошѣла въ эти три года. О томъ-же впечатлѣніи, какое онъ самъ произвелъ на нее, никто, конечно, не думалъ.

Бѣдная Вѣра заливалась горькими слезами. Она уже успѣла совершенно плѣниться Елецкимъ, молодымъ, красивымъ и смѣлымъ, который съ обаятельною дерзостью вырвалъ первое признаніе и первый поцѣлуй. Немолодой и некрасивый женихъ показался ей отвратительнымъ. Она боялась матери, зная ея характеръ. Она ждала Елецкаго и въ то-же время сознавала, что все теперь потеряно, что мать за него ее не выдастъ.

Она хотѣла писать ему, но не знала съ кѣмъ отослать письмо и по какому адресу. И ждала, ждала, не спала всю ночь, плакала, а утромъ Марья Степановна объявила ей, что если пріѣдетъ Елецкій, то чтобы она къ нему выходить не смѣла.

Елецкій пріѣхалъ. Вѣра узнала это, но не рѣшалась ослушаться матери. Однако, вѣдь, ей необходимо было его видѣть. И вотъ она рѣшилась на послѣднее средство. Она сговорилась со своей горничной, надѣла шубку, незамѣтно вышла чернымъ ходомъ изъ квартиры и, обойдя домъ, стала ждать выхода Елецкаго.

А между тѣмъ Марья Степановна оканчивала свой разговоръ съ надоедливымъ гостемъ. Она положила ничего не скрывать отъ него: «авось, отъѣдетъ по добру по здорову; ну, а коли не поможетъ, то пускай самъ на себя пеняетъ—принимать не стану».

— А я вамъ свою радость скажу, Петръ Григорьевичъ,—послѣ первыхъ-же фразъ начала она:—вѣдь, Вѣрушку-то я просватала!

Сказавъ это, она пристально-пристально стала вглядываться въ лицо его. Елецкій не поразился. Онъ ждалъ этого извѣстія, и оно даже было ему на руку; поэтому ему не представило большого затрудненія самымъ любезнымъ тономъ отвѣчать ей:

— Вотъ какъ! Ну, что-жъ, дѣло хорошее... Позвольте васъ поздравить съ симъ важнымъ и радостнымъ для вашего материнскаго сердца событіемъ. А Вѣрѣ Андреевнѣ могу я принести свои поздравленія?

Промзина изумленно смотрѣла. Совсѣмъ не такого эффекта ждала она отъ своихъ словъ.

— Спасибо вамъ, батюшка,—проговорила она:—Вѣрѣ сегодня что-то нездоровится, голова что-ль тамъ, прилегла она, заснула... ну, да что-же, ничего, въ другой разъ поздравите.

Елецкій смутился, дѣло начинало портиться. По тону ея голоса и нѣсколько уже зная ея характеръ, онъ видѣлъ, что теперь, на этотъ разъ по крайней мѣрѣ, ничего не добьется, что Вѣру она отъ него спрятала и ни за что не покажетъ. Неужто уходить съ пустыми руками! конечно, черезъ прислугу можно будетъ ей доставить цидулку—дѣло не новое, давно знакомое; но хлопоты, проволоочки! Между тѣмъ непремѣнно. вѣдь, ему нужно нынче-же видѣть Вѣру. Какъ-же тутъ быть? Спорить со старухой нечего и думать!..

Онъ пробовалъ было остаться, надѣясь, что Вѣра какъ-нибудь найдетъ возможность выйти въ гостиную. Но Промзина не церемонилась и прямо объявила ему, что хотѣла бы оставить его обѣдать, да нынче-де у нея хлопотъ по горло и она надѣется, что онъ на сей разъ извинитъ ее.

Едва скрывая свое раздраженіе, Елецкій всталъ и простился. Онъ вышелъ на улицу и раздумывалъ, что бы такое теперь предпринять, какъ вдругъ передъ нимъ очутилась Вѣра.

— Радость моя! ты ли?! о, да какая-же ты умница!—чуть было громко не крикнулъ онъ.

— Скорѣе, времени нѣтъ, я заперла мою комнату... будетъ стучаться... подумаетъ, что сплю; но я должна спѣшить... Ну что, что она тебѣ говорила?...—почти задыхаясь, шептала Вѣра.

— Да что?!..—съ хорошо сыграннымъ отчаяніемъ проговорилъ онъ.—Я пріѣхалъ просить руки твоей, но не успѣлъ и заикнуться о семъ, какъ твоя мать объявила мнѣ о твоей помолвкѣ... Вѣра!.. неужто все кончено?.. ужели я долженъ разстаться съ тобою на вѣки?..

— Что-же дѣлать!?!—едва сдерживая рыданія, проговорила она.

— Бѣжимъ, теперь-же... сію минуту...

Она пошатнулась, она чуть не упала и схватила себя за голову.

— Нѣтъ, никогда... лучше смерть...

— Никогда!.. Вѣра, одумайся!.. ты и себя, и меня губишь. Не на позоръ я зову тебя! ты знаешь, что мать твоя непреклонна... бѣжимъ, и если не сейчасъ, такъ нынче же вечеромъ... я все приготовлю. Мы обвѣнчаемся здѣсь, въ Петербургѣ, а потомъ, эту-же ночью, будемъ уже далеко...

Вѣра схватила его за руку; быстро освѣтилось лицо ея новымъ выраженіемъ и въ выраженіи этомъ уже не было прежняго ужаса, горя и муки.

— Правду ли говоришь ты? можешь-ли поклясться, что меня не обманешь? что нынче-же мы будемъ обвѣнчаны?

— Такъ ты, значить, считаешь меня обманщикомъ, не вѣришь?!.
— Нѣтъ, вѣрю, вѣрю! Ахъ, что-же мнѣ дѣлать?.. я не виновата... за что она хочетъ погубить меня... Милый, я согласна!

Радостно взглянула она на Елецкаго. Въ этомъ порывѣ до-
вѣрчивой любви Вѣра была прелестна.

— Ровно въ десять часовъ я буду ждать тебя здѣсь, у этого
угла, все будетъ готово, не обмани же...

Она кивнула ему головой, еще разъ взглянула, улыбаясь
сквозь слезы, и быстро исчезла въ воротахъ дома.

Ея предположеніе оправдалось. Марья Степановна, въ своей
близорукой самоувѣренности, ничего не подозрѣвала. Убѣдившись,
что дверь въ спальню дочери заперта и что Вѣра не подаетъ
голосу, она ушла на другую половину квартиры.

«Всю ночь и все утро ревѣла, видно, заснула; ну, и пускай
спитъ, успокоится... Эхъ, глупость-то дѣвичья! потомъ сама же
спасибо скажетъ, знаю же, вѣдь, я, что дѣлаю», подумала, какъ
и всегда довольная собою, Марья Степановна.

Довѣренная горничная поджидала Вѣру—все шло благополучно.

VII.

Если-бы Марья Степановна была наблюдательнѣе, да не была
на этотъ разъ такъ поглощена всякими хозяйственными заботами
и соображеніями, она, конечно, замѣтила бы то странное состояніе,
въ которомъ находилась Вѣра. Не отчаяніе то было, не горе, а
волненіе и беспокойство. Вѣра не знала, куда дѣваться, металась
изъ комнаты въ комнату, поминутно подходила къ часамъ; лицо
ея то блѣднѣло, то краснѣло, глаза очень часто останавливались
на матери не то съ упрекомъ, не то съ мольбою.

Наконецъ, она не вытерпѣла, у нея мелькнула слабая надежда,
что можетъ быть мать сжалится надъ нею, не принудитъ рѣ-
шиться на крайній шагъ, казавшійся ей страшнымъ и въ то-же
время неизбѣжнымъ. Она кинулась на шею Марьѣ Степановнѣ
и залилась слезами.

— Матушка, пожалѣй меня—проговорила она прерывающимся,
молящимъ голосомъ:—не выдавай замужъ... женихъ мнѣ не по
сердцу... я не могу... не хочу его... да и зачѣмъ ты спѣшишь
такъ? Вѣдь, какъ ѣхали сюда, говорила, что ѣдемъ веселиться,
людей увидимъ, всю зиму проживемъ... Зачѣмъ-же такъ, сейчасъ
же... едва пріѣхали?... Матушка, пожалѣй меня... вѣдь, я самая
несчастливая за нимъ буду, коли мнѣ противенъ... Пожди, об-

живемся, знакомства сдѣлаемъ... можетъ кто и тебѣ по нраву придется... найдешь лучшаго, матушка!...

Марья Степановна оттолкнула дочь и грозно на нее взглянула.

— Ахъ, ты глупая, глупая, — качала она головою:—вѣдь, ужъ не подростокъ, двадцать лѣтъ скоро, можно было-бы быть поумнѣе... Отъ добра добра не ищутъ, и, видно, знаю я, что дѣлаю. Лучше этого жениха вѣкъ будемъ искать, не найдемъ. А что-же, мнѣ тебя въ перестаркахъ оставлять, что ли? О противности его ты мнѣ и не говори лучше, это все пустое, вы дѣвки глупыя, особливо если засидитесь, въ мечтаніяхъ себѣ и ни вѣсть что представляете. Лицарей вамъ да героевъ подавай, а такихъ вотъ, вишь ты, и на свѣтѣ-то нѣту! Да и всѣ-то ваши лица, вонъ что въ епанчахъ да въ красныхъ камзолахъ по улицамъ какъ угорѣлые мчатся, народъ давятъ, всѣ, вѣдь, мошенники они, безбожники, альбо въ долгихъ сидятъ по уши. Такъ за такимъ ты счастливей, что-ли, будешь? Нѣтъ, мать моя, лучше помолчи; не твоего ума это дѣло, меня не переспоришь, только сердце вскипятишь мнѣ. Коли я что говорю, такъ тому и быть значитъ, и вотъ тебѣ мой згадъ—не ревѣть, не запираяться, отъ жениха не отвертываться, не доводить меня, тебѣ-же, вѣдь, хуже будетъ...

Вѣра отерла свои слезы, сѣла въ креслице у окошка и долго такъ сидѣла, будто каменная, смотря въ одну точку и ничего передъ собою не видя.

«Нѣтъ, суждено!» думала она: «не погибать-же мнѣ на всю жизнь мою, и авось Господь милостивъ, не обманетъ Петруша, не насмѣется надо мною. Онъ меня любитъ, да, любитъ!...»

Она сама любила его, а потому, хоть и знала его безъ году недѣлю, не могла ему не вѣрить.

Между тѣмъ страшный часъ приближался. Вотъ и девять пробило. Марья Степановна, всю жизнь живя въ деревнѣ, привыкла ложиться рано, и въ половинѣ десятаго ушла къ себѣ въ спальню.

Мало-по-малу все затихло въ квартирѣ. Вѣра бросилась на колѣни передъ образами, горячо помолилась, накинула на себя шубку и неслышно проскользнула въ корридоръ. а потомъ и въ сѣни, къ выходной парадной двери. Въ двухъ шагахъ отъ нея на ларѣ сидѣлъ буфетчикъ. Онъ еще не ложился, но, видно, присѣлъ тутъ. да и задремалъ. Она разслышала его мѣрное дыханіе. Маленькая лампа освѣщала сѣни.

«Что, если онъ проснется, увидитъ? какъ открыть дверь? И дверь скрипнетъ, и замокъ щелкнетъ. Господи, помоги!...»

Она перекрестилась, быстро отперла дверь, захлопнула ее за собою и не оглядываясь, себя не помня, спустилась съ лѣстницы.

Еще мигъ—она на улицѣ. Морозная лунная ночь, далекій и близкій говоръ, скрипъ полозьевъ...

— Вѣра!!

Сильныя руки схватили ее. Дверца низенькой кареты на полозьяхъ захлопнулась, лошади тронули и помчались по уличнымъ ухабамъ.

Вѣра открыла глаза. Онъ, онъ рядомъ съ нею въ тѣсной каретѣ—все кончено! Радость и тоска въ одно и то-же время охватили ее, она заплакала. Онъ цѣловаль ея руки, заглядываль въ полутьмѣ въ глаза ея. Его успокаивающій нѣжный голосъ шепталъ ей:

— Не плачь, моя золотая, зачѣмъ слезы... я не хочу ихъ, я беру тебя на радость, а не на горѣ...

— Но куда мы ѣдемъ? ты обѣщаль мнѣ, что тотчасъ-же обвѣнчаемся, въ какой-же церкви?

— Въ церкви?!. Неужели ты не знаешь, что это невозможно? или хочешь ты, чтобы насъ накрыли, чтобы не дали убѣжать намъ. Можетъ, тебя ужъ хватились. Я упросилъ знакомаго попа вѣнчать насъ дома. Онъ ужъ ждетъ...

— Какъ дома?!.—съ прежнимъ страхомъ переспросила она.— Развѣ на дому бываютъ свадьбы? Я того никогда не слыхала.

— Можетъ, и не слыхала, можетъ, въ Тулѣ и не бывало такихъ вѣнчаній,—спокойно отвѣчалъ онъ:—но здѣсь у насъ зачастую на дому вѣнецъ бываетъ, когда нужно, чтобы все было тайно.

Она замолчала. Его спокойный, увѣренный голосъ на нее подѣйствовалъ.

VIII.

Наконецъ, карета остановилась. Елецкій, крѣпко держа Вѣру за руку, провелъ ее въ квартиру Алабина. Она вся дрожала, но молча и покорно слѣдовала за своимъ путеводителемъ. Ефимъ отворилъ двери и на вопросъ Елецкаго, все ли готово, съ почтительнымъ поклономъ, обращеннымъ къ Вѣрѣ, отвѣтилъ, что «батюшка» давно дожидается.

Дѣйствительно, въ сосѣдней, ярко освѣщенной комнатѣ Вѣра увидѣла наложъ съ крестомъ и евангеліемъ. Въ сторонѣ, у стола, покрытаго длинною скатертью, на которомъ лежали восковыя свѣчи и два вѣнца, священникъ въ полномъ облаченіи внимательно читаль какую-то книгу. При входѣ жениха и невѣсты онъ обернулся, и Вѣра увидѣла красивое лицо, обрамленное густою черною бородой. Священникъ серьезно и съ достоинствомъ поклонился, и Вѣра не замѣтила, какимъ многозначительнымъ взглядомъ онъ обмѣнялся съ Елецкимъ.

Въ это время въ комнату вошелъ Ефимъ и заперъ двери. Онъ зажегъ свѣчи, пошептался съ священникомъ, и черезъ двѣ три минуты началось вѣнчаніе. Ефимъ держалъ вѣнцы надъ женихомъ и невѣстой. Въ своемъ волненіи Вѣра не замѣчала, что священникъ иногда путался въ молитвахъ, говорилъ совсѣмъ не то, что обыкновенно говорится при вѣнчаніи. Онъ иногда, отходя отъ наложія, подходилъ къ столу и заглядывалъ въ книгу, иногда же просто бралъ ее въ руки и читалъ по ней. Бѣдная Вѣра усердно молилась; вѣнчальная свѣча дрожала и оплывала въ рукѣ ея. Вотъ вѣнчаніе окончено; священникъ поздравилъ новобрачныхъ. Елецкій, не смущаясь его присутствіемъ, страстно обнялъ и сталъ цѣловать Вѣру.

— Теперь мѣшкать нечего,—говорилъ онъ:—тройка уже готова, къ утру мы должны быть далеко отъ Петербурга. Вѣрушка милая, я тутъ приготовилъ тебѣ все, что нужно для дороги, только не знаю, хорошо ли, можетъ, забыть что; осмотри сама. Потомъ мы все это уложимъ въ сундукъ и—съ Богомъ въ дорогу!

Онъ провелъ ее въ небольшую комнату рядомъ, гдѣ стоялъ открытый дорожный сундукъ, а на большомъ турецкомъ диванѣ были разложены необходимыя для дороги вещи и въ томъ числѣ прекрасная соболья шуба, которая должна была замѣнить легкую шубку Вѣры. Новобрачная, какъ во снѣ, стала перебирать вещи. А Елецкій между тѣмъ вышелъ, заперъ за собою дверь и бросился на шею къ священнику.

— Спасибо, братецъ:—сказалъ онъ:—дѣло сдѣлано, я теперь счастливъ и тебѣ обязанъ симъ счастіемъ...

— Тише, тише,—перебилъ его священникъ—Алабинъ, поддерживая свою наклеиную бороду.—Вѣдь, едва держится! того и ждаль, что во время вѣнчанія отвалится. Цирюльникъ проклятый мучилъ, мучилъ, а все-же путемъ наклеить не сумѣлъ... Вотъ отъ какой наипустѣйшей вещи иной разъ все зависить! Ну, что бы случилось, еслибы борода моя да отвалилась?.. А ты, братецъ, и взаправду счастливчикъ,—весело прибавилъ онъ:—не ждалъ я, что такую красавицу-женушку себѣ подцѣпишь. Я чуть было не забыть свою роль, на нее залюбовавшись... Ну, съ Богомъ... я пока скроюсь... Тройка, слышишь, готова, позвякиваетъ. Смотри же, изъ Царскаго села безпремѣнно съ Ефимомъ пришли цидулку, да не попадись какъ нибудь, а я тутъ всячески слѣды замечать стану...

— Прощай, братецъ, спасибо, во вѣкъ не забуду твоей услуги...

Пріятели еще разъ обнялись. Священникъ ушелъ въ спальню переодѣваться и отклеивать бороду, а Елецкій вернулся къ Вѣрѣ. Меньше чѣмъ черезъ часъ дорожная карета, запряженная тройкою сильныхъ коней, выѣхала изъ города по царскосельской дорогѣ.

На козлахъ, рядомъ съ кучеромъ, сидѣлъ Ефимъ, кутаясь въ тулупъ и весело ухмылясь.

«Вотъ такъ лихіе господа,» думалъ онъ: «много было у насъ дѣловъ разныхъ, а такого еще не случалось! И все-то имъ съ рукъ сходить... Не токмо что людей, а и Господа Бога обманываютъ, не боятся!.. А она-то, бѣдняжка, ничего-то, ничего не примѣтила... Что-то будетъ съ нею?...»

Онъ пересталъ улыбаться и задумался.

IX.

Прошло два года. Скончалась Екатерина, царствовалъ Павелъ. Петербургъ былъ неизнаваемъ. Еще такъ недавно привольная роскошная жизнь кипѣла въ немъ, общество жило въ свое удовольствие, ничѣмъ не стѣсняясь; роскошь достигала баснословныхъ размѣровъ. День начинался поздно, ночь превращалась въ день и почти до самаго разсвѣта по улицамъ было большое движеніе—разъѣзжали кареты, развозя съ баловъ по домамъ нарядныхъ женщинъ, мчались на рыскахъ военные и статскіе франты.

Теперь печать тишины и какой-то запуганности легла на весь городъ.

Павелъ Петровичъ, въ своемъ гатчинскомъ уединеніи, слишкомъ долго слушалъ рассказы объ испорченности петербургскихъ нравовъ, слишкомъ накупѣло во время длинныхъ лѣтъ невольнаго бездѣйствія его горячее сердце. Съ первыхъ-же дней царствованія онъ рѣшилъ положить конецъ «всѣмъ симъ вреднымъ порядкамъ и дебошамъ».

Онъ началъ съ распушенной гвардіи и сталъ вводить въ ней свою строгую гатчинскую дисциплину. Офицеры должны были забыть и думать о штатскомъ платьѣ, шубахъ и муфтахъ. Дорогіе, роскошные мундиры смѣнились самыми простыми. За малѣйшее послабленіе, невнимательность къ своимъ обязанностямъ, слѣдовало строгое наказаніе.

Караульные офицеры уже не расхаживали въ халатахъ за грибами, не выставляли женъ своихъ въ мундирахъ передъ солдатами. Императоръ самолично производилъ ежедневно разводъ полкамъ, и всѣ полки должны были постоянно быть наготовѣ, собираться по первому сигналу тревоги.

И не объ одномъ только войскѣ заботился Павелъ Петровичъ; заботился онъ обо всемъ обществѣ. Онъ всѣми мѣрами изгонялъ роскошь, самъ лично уговаривалъ купцовъ сбавить высокія цѣны на товары.

«Какъ я живу, такъ пусть и всѣ живутъ», говаривалъ онъ. И самъ жилъ просто и экономно. Расходы двора, огромные въ Екатеринино царствованіе, сразу значительно сократились. Всѣмъ дворцовымъ подрядчикамъ было отказано, и припасы во дворцѣ покупались на рынкѣ по рыночнымъ цѣнамъ. О прежнихъ роскошныхъ дворцовыхъ балахъ забыли и думать. Царское семейство вело скромную семейную жизнь.

Императоръ вставалъ ровно въ пять часовъ утра, а въ шесть у него уже начинались доклады. Изнѣженные сановники должны были поневолѣ передѣлать весь строй своей жизни, а кто не могъ этого, тотъ долженъ былъ считать свою дѣятельность оконченною.

Въ восемь часовъ утра, послѣ доклада, императора уже можно было встрѣтить на петербургскихъ улицахъ, и къ этому времени городская жизнь должна была начинаться, спать никому не приходилось.

Послѣ вечерней прогулки и чая, къ которому собиралось все царское семейство, и который разливала императрица Марія Ѳеодоровна, государь ровно въ восемь часовъ ложился спать и вмѣстѣ съ нимъ долженъ былъ засыпать весь городъ. Фонари на улицахъ тушились, движеніе прекращалось; кому не хотѣлось спать и казалось неудобнымъ сидѣть впотьмахъ, тотъ долженъ былъ тщательно занавѣшивать окна, чтобы снаружи не видно было свѣту.

Съ каждымъ днемъ слухи о паденіи то того, то другого вельможи, о ссылкахъ и высылкахъ изъ города разносились всюду и тревожили общество. Новые, еще вчера совсѣмъ ничтожные люди быстро возвышались, но иногда такъ же быстро и падали при первомъ невѣрномъ, неловкомъ шагѣ. Почти все общество, не успѣвшее еще очнуться и понять хорошенько дѣйствительность, преувеличивало свои бѣды и напасти, и смущалось, пугалось, перешептывалось и негодовало. Кто могъ, тотъ выѣзжалъ изъ Петербурга, но многіе не могли этого и только дрожали отъ страха...

Было ясное весеннее утро. Императоръ окончилъ свою прогулку и верхомъ, въ сопровожденіи своихъ любимцевъ: Кутайсова, Кушелева и Аракчеева, подъѣзжалъ ко дворцу. Вдругъ онъ увидѣлъ въ нѣсколькихъ шагахъ отъ себя молодую, очень красивую женщину, скромно, но прилично одѣтую и съ маленькимъ ребенкомъ на рукахъ. Она видимо хотѣла говорить что-то, но языкъ ея не слушался. Она молча опустила на колѣни и застилавшимися отъ слезъ глазами глядѣла на императора. Онъ осадилъ лошадь и ласково обратился къ молодой женщинѣ.

— У васъ ко мнѣ просьба? успокойтесь и говорите, я васъ слушаю.

— Государь!—произнесла она:—защитите ради моего несчастнаго ребенка... вотъ мое прошеніе!

Она поднялась, невѣрными шагами подошла къ Павлу Петровичу и протянула ему бумагу.

— Сейчасъ прочту,—сказалъ онъ:—и ежели дѣло ваше правое, то будьте безъ сумнѣнія, что найдете во мнѣ защиту. Войдите во дворецъ, я прикажу, чтобы васъ пропустили.

Онъ пробѣжалъ впередъ. Молодая женщина, нѣсколько оправившись, немедленно пошла къ дворцовому подъѣзду.

Войдя въ свой кабинетъ, государь тотчасъ-же вскрылъ и началъ читать поданную ему бумагу.

Это было прошеніе дочери умершаго бригадира Вѣры Андреевны Промзиной, которая подробно и откровенно рассказывала о томъ, какъ, пользуясь ея молодостью и неопытностью, гвардіи капитанъ Елецкій соблазнилъ ее и заставилъ бѣжать съ нимъ изъ дому; какъ онъ, будучи женатъ и имѣя отъ законной жены сына, вѣнчался съ нею на дому, причемъ роль священника разыгралъ его троюродный братъ и также капитанъ гвардіи, Алабинъ; какъ въ теченіе болѣе года Елецкій жилъ съ нею у себя въ деревнѣ, въ Тамбовской губерніи, пока у нея не родилась дочь. Затѣмъ онъ ее бросилъ и скрылся, а потомъ въ деревню пріѣхала его законная жена съ сыномъ, и весь обманъ обнаружился. Объ женщины выслѣдили обманщика, узнали, что онъ снова въ Петербургѣ, на службѣ въ полку своемъ, узнали и объ участіи Алабина въ обманѣ и въ кошунственной комедіи. Старый слуга, Алабина, бывшій всему свидѣтелемъ, не захотѣлъ болѣе выносить беззаконій, чинимыхъ его господиномъ, готовъ принять наказаніе за свое долгое молчаніе и во всякое время обязался подтвердить все вышеизложенное.

Описавъ свою плачевную исторію, Вѣра Промзина обращалась къ милосердію и справедливости государя, и умоляла спасти ее и ея ребенка, десятилѣтнюю дочь, отъ позора.

Государь внимательно прочелъ прошеніе и задумался.

«Вотъ до чего довели, вотъ до чего распустили!.. столь грязныя и беззаконныя дѣла творились среди бѣлаго дня и оставались безнаказанными... и они, виновники сего гнуснаго дѣла, не почитали себя преступниками... для нихъ то была забава и шутка!.. ну, такъ и съ ними пошутить надо!..»

Онъ приказалъ проводить Вѣру Промзину къ императрицѣ и самъ пошелъ туда же.

Въ семейномъ царскомъ кругу, уже собравшемся къ обѣду, который подавался ровно въ полдень, обласканная и успокоенная

Вѣра во всѣхъ подробностяхъ разсказала свою исторію и вышла изъ дворца съ твердой надеждою на лучшее будущее. Ея поху-дѣвшее, блѣдное и измученное лицо стало спокойнѣе. Она страстно прижимала къ груди своей тихо заснувшую дѣвочку и шептала:

«Спи спокойно, справедливый государь не дастъ тебя въ обиду злымъ людямъ и не будешь ты краснѣть за мать свою!.. Есть правда на свѣтѣ! И коли государь и государыня назвали меня невиновною, то, Богъ дастъ, смягчится и сердце матушки»...

Совсѣмъ неузнаваемая, будто возрожденная, вернулась Вѣра въ домъ замужней сестры своей, которая въ то время жила въ Петербургѣ и пріютила ее у себя, несмотря на проклятія и угрозы не хотѣвшей ничего слышать и ничего соображать Марьи Степановны.

Х.

Елецкій съ Алабинымъ уже нѣсколько мѣсяцевъ жили снова вмѣстѣ. Елецкій, возвратясь въ Петербургъ, очень спокойно объявилъ «братцу», что Вѣра ему надоѣла и что онъ оставилъ ее съ новорожденной плаксою-дѣвчонкой въ деревнѣ.

— Нѣтъ, видно не судьба мнѣ быть женатымъ человѣкомъ, — сказалъ онъ: — больше году никакая любовь во мнѣ не держится. Не даромъ видно піиты наименовали Амура проказникомъ. вѣчно-то онъ проказы творить надо мною... вонъ старики толкуютъ, будто съ рожденіемъ ребенка супружеская любовь утверждается, а я какъ заслышу пискъ, такъ хоть въ петлю... противно мнѣ все сіе...

— И зачѣмъ было огородъ городить.

И зачѣмъ было капусту садить?!.. —

— пропѣлъ Алабинъ.

— Къ чему тутъ разсужденіе! зачѣмъ да почему? «Довлѣтъ дневи злоба его», и ты, отче, по своему духовному сану, долженъ знать сіе и поступать согласно сему...

Проговоривъ это, Елецкій засмѣялся, вслѣдъ за нимъ и Алабинъ. Разговоръ о прошломъ и о Вѣрѣ былъ конченъ; пріятели зажили развеселой жизнью.

Но съ воцареніемъ императора Павла этой жизни былъ положенъ предѣлъ. Новые порядки показались «братцамъ» жестокими и «неудобоносимыми». Присмирѣвъ и сдержавши себя мѣсяцъ, другой, они рѣшили, что въ столь тяжелыя времена для

нихъ рсталось одно: выйти въ отставку, уѣхать въ деревню и постараться найти себѣ тамъ удовольствія и наслажденія нѣсколько иного рода.

Однако, пока еще отставка не была получена, они обязаны были нести службу.

На слѣдующій день послѣ разговора Вѣры съ государемъ Елецкій и Алабинъ присутствовали на разводѣ. Они на себя были не похожи въ новыхъ мундирахъ, въ огромныхъ сапогахъ и перчаткахъ, въ букляхъ и косахъ. Они грустно перемигивались съ товарищами и съ затаенной злобой и презрѣнiемъ посматривали на «гатчинцевъ», надъ которыми до сихъ поръ всегда такъ подсмѣивались и которыхъ теперь должны были слушаться, какъ опытныхъ наставниковъ.

Показался государь, окруженный свитой. Все примолкло, подтянулось, вытянулось въ струнку. Многіе читали про себя молитву, каждый боялся шевельнуться, чтобы какимъ-нибудь незначительнымъ, но неформеннымъ движеніемъ не навлечь на себя гнѣва.

Впрочемъ на этотъ разъ государь былъ, повидимому, въ хорошемъ расположеніи духа; онъ остался доволенъ и солдатами и офицерами и весело разговаривалъ съ окружающими.

Разводъ былъ оконченъ. Всѣ чувствовали, что гора свалилась съ плечъ—такой счастливый день былъ въ диковинку. Вдругъ государь, обернувшись и оглядывая всѣхъ офицеровъ, громкимъ голосомъ спросилъ:

— Капитаны Елецкій и Алабинъ здѣсь?

Произошло движеніе; у всѣхъ упало сердце. Елецкій и Алабинъ, ни живы, ни мертвы, вышли изъ рядовъ и приблизились къ государю.

— Вы?—произнесъ онъ, кивнувъ Елецкому.

Тотъ сначала не сообразилъ, но затѣмъ понялъ вопросъ и, заикаясь, назвалъ себя.

Брови императора сдвинулись, на губахъ мелькнула презрительная усмѣшка.

— Ступайте домой!—грозно сказалъ онъ и удалился.

Алабинъ и Елецкій стояли, какъ обезумѣвшіе. Но приказъ государя слѣдовало исполнить какъ можно скорѣе. Они поспѣшили домой и, едва вошли въ свою квартиру, какъ были арестованы...

На слѣдующій-же день стала извѣстна резолюція императора на прошеніе Вѣры Промзиной. Она гласила: «Похитителя дочери бригадира Вѣры Промзиной, капитана Елецкаго, не медля разжаловать и сослать куда будетъ указано. Вѣру Промзину, наравнѣ съ ея законною женою, признавать имѣющею право на ноше-

ніе, буде она пожелаетъ, фамиліи соблазнителя, равно какъ и дочь ея, прижитую съ онимъ, считать законною. Что-же касается до вѣнчавшаго ихъ капитана Алабина, то такъ какъ онъ имѣетъ склонность къ духовной жизни, послать его въ монастырь и постричь въ монахи».

Въ двадцатыхъ годахъ, въ Александрo-Невской Лаврѣ обращалъ на себя вниманіе пожилой монахъ необыкновенно красивой наружности. Онъ отличался смиреніемъ и строгостью жизни. Къ нему стекались со всѣхъ сторонъ за совѣтомъ и утѣшеніемъ, и приходившіе возвращались отъ него съ облегченнымъ сердцемъ. Нуждавшимся въ примѣрѣ онъ рассказывалъ, какъ долгое время самъ погрязалъ въ грѣхахъ и распутствѣ, какъ, насилно постриженный, былъ полонъ проклятiями и хулою и какъ, наконецъ, черезъ нѣсколько безумныхъ лѣтъ Господь очистилъ его сердце и просвѣтилъ его разумъ.

— Други мои,—говорилъ старецъ вдохновеннымъ голосомъ и радостно блестя глазами:—только здѣсь, въ этой обители, я позналъ величайшее счастье, какого ни на мгновеніе не испыталъ въ моей свѣтской, грѣховной жизни. Велико милосердіе Божіе, коли мнѣ, презрѣннѣйшему изъ грѣшниковъ, Онъ далъ вкусить сіе счастье!..

Этотъ «святой старецъ», какъ его всѣ называли, былъ Алабинъ.

III.

Двѣ жертвы.

I.

Берега Дона въ Воронежской губерніи и до сихъ поръ мѣстами очень живописны. Кой-гдѣ и до сихъ поръ встрѣчаются старые густые лѣса, поросшіе на значительныхъ крутизнахъ и какъ бы висящіе надъ водою. Однако такихъ дикихъ и красивыхъ мѣстъ съ каждымъ годомъ становится все меньше и меньше. Лѣса безпощадно вырубаются, дикая и живописная красота исчезаетъ.

Но въ прежнее время, около ста лѣтъ тому назадъ, вѣсковые лѣса стояли нетронутыми и среди нихъ кой-гдѣ возвышались палаты тогдашнихъ русскихъ баръ, жившихъ въ своихъ помѣстьяхъ широкой и полной жизнью, о которой до насъ доходятъ только легенды и смутныя воспоминанія.

Въ тѣ далекіе годы чуть ли не самымъ красивымъ помѣстьемъ въ Воронежской губерніи было село Высокое, принадлежавшее графу Михаилу Петровичу Девіеру. Графъ Михаилъ былъ вторымъ сыномъ генераль-аншефа и дѣйствительнаго камергера графа Петра Антоновича и внукомъ Антона Девіера, одного изъ иностранцевъ, пріютившихся въ Россіи въ эпоху преобразованій, женившася на сестрѣ всеильнаго Меншикова, Аннѣ Даниловнѣ, бывшаго полиціймейстеромъ Петербурга, сосланнаго послѣ кончины Екатерины I и возвращеннаго въ Петербургъ передъ самой смертью своей, въ 1743 году.

Внуки Антона Девіера успѣли уже позабыть свое происхождение и исторію дѣда и бабки. Русскіе графы, владѣтели огромныхъ богатствъ,—они считали себя исконными русскими барамы и были во второй половинѣ XVIII вѣка крупными представителями всѣхъ темныхъ сторонъ тогдашняго барства. Сынъ Антона Девіера еще чувствовалъ крѣпкую связь съ той средою, которая выдвинула отца его. Онъ былъ еще созданіемъ Петровскаго Пе-

Такъ оно бы все и случилось, да, по счастью, въ ту самую пору проѣзжалъ сосѣдъ со своими людьми. Отбили они старушку и добро ея.

Вздумала она жаловаться на Николая Петровича — и только время потеряла: всѣхъ онъ въ рукахъ держалъ, на всѣхъ страхъ нагналъ — некому было жаловаться. Онъ продолжалъ свои беззаконія, да еще и грозить сталъ сосѣдкѣ такъ, что она со страху разболѣлась и умерла скоро.

Второй братъ, Михаилъ Петровичъ, тоже пользовался очень завидной репутаціей. Но пока о немъ и о его жизни говорилось какъ-то глухо; его просто инстинктивно боялись сосѣди и въ то-же время съ радостью собирались къ нему въ Высокое, гдѣ шли пиры за пирами, гдѣ было разливанное море всякаго барскаго веселья.

Высокое, какъ уже сказано, расположилось по нагорному берегу Дона. Село было большое, многолюдное и стояло значительно въ сторонѣ отъ барской усадьбы. Усадьбу-же себѣ графъ Михаилъ выстроилъ среди густого, почти непроходимаго лѣса, на красивомъ обрывѣ, круто нависшемъ надъ широкой, многоводной рѣкою.

И что это была за усадьба! Не пожалѣлъ графъ на нее денегъ, смастерилъ себѣ истинно царскія палаты. Всѣ строенія были каменные, массивныя, и если можетъ быть и оставляли кой-чего желать въ архитектурномъ отношеніи, то, по крайней мѣрѣ, широко удовлетворяли барскимъ потребностямъ. Комнатъ въ домѣ было безчисленное множество, корридоры, галереи, лѣстницы, ходы да переходы. Домъ стоялъ на каменныхъ сводахъ; стѣны такой толщины, что и пушками не прошибешь ихъ. Службы, конюшни, псарня и прочія по тому времени необходимыя постройки помѣщались на огромномъ мощеномъ дворѣ, обнесенномъ высокой каменной стѣною, за которой сразу начиналась гущина лѣса.

Незнакомому съ мѣстностью человѣку даже трудно было добраться до графской усадьбы, а доберется—словно въ сказачное царство какое вступаетъ, въ заколдованный замокъ.

II.

Графъ Михаилъ еще въ Петербургѣ, совсѣмъ почти мальчикомъ, лѣтъ девятнадцати, женился на богатой невѣстѣ, Софьѣ Адамовнѣ Олсуфьевой. Бракъ этотъ совершился по желанію родительскому и, повидимому, носилъ въ себѣ всѣ задатки для се-

мейнаго счастья. Молодая графиня, принадлежавшая къ родовому русскому дому, была прекрасно для того времени воспитана, отличалась здоровьемъ и красотою. Въ первые-же два года своего замужества она родила графу двухъ 'сыновей, и казалась всѣмъ знавшимъ ее—олицетвореніемъ счастья и семейныхъ добродѣтелей. Молодой мужъ тоже, по всеобщимъ наблюденіямъ, сильно любилъ ее.

Одно только показалось всѣмъ очень страннымъ: вдругъ онъ, безо всякой осязательной причины, бросилъ Петербургъ и переехалъ въ свое воронежское помѣстье, въ село Высокое, гдѣ только-что въ то время отстроились на-диво всѣмъ сосѣдямъ его палаты.

Двадцатилѣтній подполковникъ, красивый, богатый и тароватый, заблесталъ яркой звѣздой среди глухого провинціального общества. Графиня, влюбленная въ мужа и на все глядѣвшая его глазами, ничего не имѣла противъ переселенія въ деревню. Она обворожила сосѣдей своей лаской и простотою.

Но такъ шло не долго: не кончилось и года, какъ неясный, постепенно усиливавшійся шопотъ начался на десятки и даже сотни верстъ кругомъ Высокаго. Большую перемену стали замѣчать и въ графѣ, и въ графинѣ.

Въ роскошныхъ лѣсныхъ палатахъ попрежнему собиралось еще шумное общество, по прежнему шли пированья; но это было совсѣмъ уже не то. Графъ какъ-то разошелся съ самыми почтенными и уважающимися въ той мѣстности семействами, завелъ себѣ новую компанію, набирая ее невѣсть откуда. Графиня все рѣже и рѣже показывалась между гостями; все рѣже и рѣже объѣзжала сосѣдокъ и, наконецъ, совсѣмъ засѣла за своими каменными стѣнами.

Прошелъ еще годъ, начался третій, и шопотъ окрестныхъ жителей превратился въ ропотъ. Впрочемъ, открыто и ясно никто ничего не говорилъ:—богатство и столичныя связи графа заставляли всѣхъ прикусить языкъ во-время. Да и никакихъ опредѣленныхъ обвиненій еще ни у кого не было, передавалось только на ухо другъ другу, что молодой графъ ведетъ разгульную жизнь, что онъ очень падокъ до женщинъ, и въ Высокомъ завелось не мало всякихъ соблазновъ, что графиня очень несчастна въ супружествѣ.

Жалѣли графиню, въ особенности женщины, охали да ахали, но дальше не шли. Многимъ смертельно хотѣлось пробраться въ Высокое, разглядѣть и разузнать все поближе, однако, этого не удавалось ни одной изъ сосѣдокъ-помѣщицъ. Графиня никого не принимала. Судили, рядили, толковали, рассказывали небылицы, но, наконецъ, это надоѣло; нашлись новыя сплетни, новые интересы, и графиня Девіеръ была позабыта.

Вскорѣ, однако, ея имя оказалось опять у всѣхъ на устахъ, и случилось это самымъ неожиданнымъ и печальнымъ образомъ. Изъ Высокаго пришло извѣстіе, что графиня Софья Адамовна скончалась...

Какъ такъ? какимъ образомъ? отъ какой болѣзни? Она была такъ молода, пользовалась такимъ цвѣтущимъ здоровьемъ! Что таится подъ этой ранней, внезапной кончиной?!.. Быть можетъ, преступленіе!..

— Навѣрное, это онъ, злодѣй, извелъ ее! — если и не подсыпалъ зелья, такъ извелъ дурнымъ обращеніемъ, обидами, пожалуй, побоями... Отъ этакого изверга все станется...

— Вонъ, вѣдь, у него тамъ, ровно у салтана турецкаго, гаремъ цѣлый, безстыжихъ дѣвокъ со всѣхъ сторонъ нагнано, камедь представляютъ, пляшутъ передъ пьяной компаніей... Срамота такая, что и слушать то уши вянутъ!..

— Такъ, такъ!.. вѣрно это... и ужъ гдѣ-же ей, голубушкѣ, въ страхъ Божіемъ воспитанной, да и любившей его, изверга, такое было вынести?!..

Такъ разсуждали сосѣди и сосѣдки. Но большинство было того мнѣнія, что графъ просто-на-просто чего-нибудь ей подсыпалъ.

— Вѣдь, у нея тамъ, въ Питерѣ, родныхъ много, люди большіе, съ вѣсомъ. Вынося такое мученіе и безчестіе, она всегда могла найти способъ снестись съ этими родными, тѣ бы ее выручили, вырвали бы изъ этого омуты. А подсыпалъ — и кончено. Скончалась и — нѣтъ улики. Теперь онъ свободенъ, будетъ жить какъ знаетъ, безъ помѣхи. Дѣточекъ вотъ больно жаль, двое маленькихъ мальчиковъ осталось; что съ ними станется при такомъ отцѣ?!..

Но подсыпалъ или не подсыпалъ, были-ли эти разсужденія просто клеветою, на которую такъ падки языки людскіе, или графъ Михаилъ Петровичъ, дѣйствительно, оказывался причѣмъ нибудь въ смерти жены, — она умерла, и сосѣди-помѣщики получили приглашеніе на ея похороны.

Похороны графини Девіеръ были обставлены такою пышностью, какую еще никто и никогда не видалъ въ тѣхъ мѣстахъ. Самъ графъ казался опечаленнымъ, велъ себя съ большимъ достоинствомъ и не замѣчалъ или дѣлалъ видъ, что не замѣчаетъ шопота, косыхъ взглядовъ, перемигиваній. Слышали даже, какъ онъ просто и естественно жаловался, что вотъ, молъ, въ такихъ молодыхъ лѣтахъ остался безъ хозяйки и подруги съ двумя младенцами-сиротами.

Кинулись сосѣди, а главнымъ образомъ, сосѣдки, взглянуть на покойницу.

— Какова-то она, сердечная, давно, вѣдь, никто не видалъ ее—чай и не узнаешь!..

Но и теперь не пришлось увидѣть. Близкіе къ графу люди толковали, что ему все не вѣрилось, точно ли умерла она, не обморокъ-ли съ нею такой долгій приключился, все ждалъ онъ: быть можетъ, очнется и встанетъ, примѣры тому не разъ бывали.

— И точно,—разсказывали эти люди, невѣдомо откуда взявшіеся, никому изъ сосѣдей неизвѣстные:—четыре дня лежала въ гробу графиня, будто уснувшая, ничутьне измѣнилась, а на пятое утро за ночь почернѣла вся, распухла и духъ отъ нея такой пошелъ, что вынести было невозможно, такъ вотъ и пришлось заколотить крышку гроба...

Многіе качали головами, подозрительно переглядывались, и рѣшились изслѣдовать поближе справедливость разсказа. Но подъ конецъ все-же приходилось поневолѣ допустить возможность сообщеннаго, тѣмъ болѣе, что крышка гроба была не совсѣмъ плотно заколочена и изъ маленькой щели на нѣсколько шаговъ кругомъ ощущался сильный запахъ разложенія. Однако, нѣкоторые все-же никакъ не могли успокоиться, шептали:

— Можетъ, изуродована вся, бѣдная, такъ что и лика чело-вѣческаго на ней нѣту, вотъ и заколотили крышку. А что попортилась, такъ тутъ нѣтъ ничего мудренаго: нарочно, видно, пять день продержали!..

Но духовенство не возвышало голоса; все было соблюдено, какъ слѣдуетъ, придаться ни къ чему нельзя было и пришлось помалкивать... Похоронили молодую графиню, посудили, порядили и каждый занялся своими дѣлами.

Девьеръ скоро уѣхалъ къ брату, прожилъ у него нѣсколько мѣсяцевъ, потомъ возвратился ненадолго въ Высокое, потомъ опять уѣхалъ. Куда онъ ѣздилъ, что дѣлалъ—никому не было извѣстно. Двое маленькихъ его сыновей выросли за крѣпкими стѣнами, подъ надзоромъ цѣлаго штата нянекъ. Изъ постороннихъ никто къ нимъ не допускался.

III.

Уже больше году прошло со смерти графини. Молодой двадцатилѣтній вдовецъ въ одну изъ своихъ поѣздокъ, цѣль которыхъ для всѣхъ попрежнему оставалась тайной, очутился въ Полтавѣ. Онъ былъ страстный любитель лошадей. Въ Полтавѣ ему очень приглянулись два кровныхъ жеребца, принадле-

жавшихъ Григорію Ивановичу Горленкѣ, Прилуцкаго полка подкоморному.

Горленко былъ человѣкъ богатый, родовитый малороссъ, имѣвшій прекрасныя помѣстья въ Полтавской губерніи и временно проживавшій тогда съ семейю своею въ Полтавѣ. Заслалъ къ нему Девіеръ узнать, не продастъ ли онъ ему жеребцовъ. Горленко объявилъ, что жеребцы, непродажные. Но у графа Михаила коли загорится что, онъ ужъ не отстанетъ. Отправился онъ самъ къ Григорію Ивановичу со всякими любезностями, обворожилъ его совѣмъ, уговорилъ продать коней, и такимъ образомъ завязалось знакомство.

У Горленки оказалась семнадцатилѣтняя дочка, Анна Григорьевна, писаная красавица. Сразу она приглянулась молодому вдовцу. Только о ней онъ и думалъ послѣ перваго свиданія. И зачастилъ онъ къ Горленкамъ. Анна Григорьевна была совѣмъ еще ребенокъ, выросла въ деревнѣ, людей не видала, распѣвала какъ птишка вольная, выдумывала себѣ дѣтскія игры и забавы, и не вѣдала, не примѣчала, что расцвѣла красота ея дѣвичья, не задумывалась еще о своемъ суженомъ, о своей женской долѣ. Графъ Девіеръ былъ первый мужчина, привлечшій къ себѣ ея вниманіе. Недѣли въ двѣ онъ сумѣлъ очаровать ея родителей, отъ которыхъ, конечно, не могло ускользнуть впечатлѣніе, произведенное на него ихъ дочерью.

— Вотъ такъ женихъ,—думали и толковали между собою старые Горленки:—лучше намъ не сыскать для нашей Ганнуси. Одно не ладно, что вдовецъ онъ и двое дѣтей у него, а Ганнуса еще и сама дитя неразумное!.. Ну, да ужъ знать такова воля Божья,—отъ судьбы своей не уйдешь... Посмотримъ, поглядимъ, тамъ видно будетъ. А не принимать такого важнаго челоуѣка нельзя. Нельзя ему не показывать вниманія. Да и хлопецъ онъ куда какой хорошій!..

Замѣчали старые Горленки, что съ появленіемъ Девіера и Ганнуса ихъ словно другая стала, на себя непохожа. То задумчива, молчалива, слова отъ нея не добиться, то вдругъ радость ее такая охватить, поетъ, смѣется, до слезъ смѣется! И румянецъ рдѣетъ, разгорается на щекахъ ея, и глаза сверкають...

Да, Ганнуса въ нѣсколько дней стала другая; въ нѣсколько дней ушло неозвратно куда-то ея дѣтство и счастливая безпечность. Сама она не понимала, что творится съ нею; но ужъ понимала, что всему виною этотъ ласковый и страшный красавецъ, который къ нимъ повадился, который заворожилъ ее и мучаетъ ея душу, и днемъ и ночью мучаетъ. Съ первой минуты какъ появился, съ первой минуты какъ она встрѣтилась съ его смѣлымъ, жгучимъ и властнымъ взглядомъ, она почувствовала и трепетъ, и

муку, и сладкую истому. Она почувствовала, что этотъ чловѣкъ имѣетъ надъ нею власть и что она безсильна передъ его властью, что она должна ему подчиниться волей или нѣволей, безъ размысленій... что хочетъ онъ, то съ нею и сдѣлаетъ...

И онъ самъ отлично понималъ это. Не долго тянулъ онъ, меньше двухъ недѣль бывалъ у нихъ въ домѣ, и вотъ разъ наѣхалъ рано утромъ. Самого Горленки не было дома, да и старуха тоже пошла къ обѣднѣ. Ганнуса провела ночь безсонную, тревожную и сказала нездоровой, будто предчувствовала, что должна остаться.

Время было весеннее, теплынь стояла. Вышла Ганнуса въ садикъ; деревья уже опушились свѣжей зеленью, уже распутившаяся сирень наполняла садикъ своимъ сладкимъ, прянымъ запахомъ, а между вѣтвей древесныхъ звонко и немолчно перекликались веселыя птицы. Ганнуса побродила по узкимъ тропинкамъ и въ нѣгѣ какой-то и истомѣ упала на сочную траву, въ тѣни старой липы и замерла, задумалась.

Она слышала какъ стучить ея сердце, она чувствовала какъ кровь то приливаетъ къ лицу, то отливаетъ. Она ждала чего-то, ждала вопросительно, съ мученіемъ и тревогой.

И дождалась.

Вотъ онъ передъ нею—ея властелинъ, ея мучитель. Что онъ несетъ ей: смерть или жизнь?

Она приподнялась, слабо вскрикнула, боязливо взглянула на него, вспыхнула вся румянцемъ, опустила глаза и схватила за сердце. А онъ стоялъ и любовался ея красотой и смущеніемъ. Да, она была хороша! Черная густая коса, вся переплетенная цвѣтными лентами, блестя какъ мягкій шелкъ. Длинные опущенныя рѣсницы бросали тѣни на горячій румянецъ нѣжныхъ, смуглыхъ щекъ. Влажныя пунцовыя губы красиваго рта были полуоткрыты, и изъ-за нихъ виднѣлся рядъ ровныхъ, мелкихъ и бѣлыхъ зубовъ. Крѣпкая молодая грудь высоко дышала. Она была хороша, какъ только можетъ быть хороша на волѣ выросшая дочь Украйны, которую впервые коснулось дуновение страсти.

Долго любовался ею графъ Михайль. Наконецъ, онъ склонился на траву рядомъ съ нею, взялъ ея обезсилѣвшія, похолодѣвшія руки, крѣпко сжалъ ихъ, и сказалъ своимъ властнымъ голосомъ:

— Ганнуса, я люблю тебя, ты будешь моею!

Онъ не спросилъ ее—любить ли она его, хочетъ ли она принадлежать ему. Онъ сказалъ только: «ты будешь моею». Ему незачѣмъ было ее спрашивать; онъ зналъ, что она въ его власти.

Она еще разъ слабо вскрикнула, слезы брызнули изъ глубокихъ, темныхъ глазъ ея, и она безъ силъ, безъ воли упала въ его объятія. И онъ цѣловалъ ее, жегъ и томилъ ее своими поцѣлуями.

Надъ ними раздался голосъ стараго Горленки:

— Что-же это, графъ? Развѣ такъ дѣлають добрые люди? За что ты позоришь мою дочку?!

Графъ Михаилъ очнулся и объяснилъ, что позора нѣтъ никакого, что онъ любитъ Анну Григорьевну, и будетъ счастливъ назвать ее своей женою.

— Прости, Григорій Ивановичъ, что тебя впередъ не спросился, затѣмъ къ тебѣ и ѣхалъ. Да сказали—тебя нѣту, остался поджидать, вышелъ въ садикъ, а тутъ сама Анна Григорьевна... Ну, и... прости... не стерпѣлъ, собой не владѣю! Благословляешь, что-ли, Григорій Ивановичъ?!

Горленко стоялъ и качалъ головою.

— Что ужъ,—вымолвилъ онъ, наконецъ:—не ладно такъ-то, да Богъ съ тобою, бери Ганнусю и будьте счастливы...

IV.

Свадьбой не стали мѣшкать.

Ганнуса была какъ въ туманѣ и сама не могла рѣшить, чего въ ней больше: радости и счастья, или тоски и страха. Она стояла передъ неизвѣстной будущностью, о которой до того времени никогда не думала. Она переживала быстрое превращеніе изъ ребенка въ женщину.

Женихъ съ большимъ трудомъ и неохотой подчинялся требованіямъ приличія и исконныхъ обычаевъ; ему хотѣлось бы ни на минуту не отпускать отъ себя невѣсту. Въ первые дни онъ изумлялъ, смущалъ и страшилъ ее своими страстными порывами. Но вотъ мало-по-малу она стала понимать его, онъ успѣлъ и въ ней зажечь пламя страсти, которое разгоралось съ каждой минутой...

Утомительный день свадьбы, наконецъ, прошелъ.

Молодые переночевали въ домѣ Горленки и на слѣдующее-же утро имъ подана была огромная, неуклюжая, но отлично приспособленная къ дальнему путешествію колымага, въ которой они и тронулись въ путь, въ невѣдомыя Ганнусѣ страны.

Окрестности Высокаго огласились неожиданнымъ слухомъ: въ графскихъ палатахъ новая хозяйка, новая графиня. Узнали, кто она, откуда, а между тѣмъ никто еще не видалъ ее. Обѣдетъ ли она семейные дома по сосѣдству, получатся ли приглашенія въ Высокое? Прошло два-три мѣсяца—приглашеній нѣтъ, графиня нигдѣ не бывала. Новая пища для разныхъ догадокъ.

«Прячетъ жену! И этой скоро не станетъ... развѣ ему на-

долго! Вернется опять къ своимъ плясуньямъ: онѣ и теперь, говорятъ, все тамъ-же, въ Высокомъ, только на время переведены въ дальній флигель...»

Графиня, дѣйствительно, все лѣто не выѣзжала изъ-за каменной ограды, изъ заколдованнаго замка. Но это происходило не оттого, что мужъ деспотически къ ней относился и запиралъ ее. Нѣтъ, она сама никуда не хотѣла, ей ничего не нужно, лишь бы съ нею былъ онъ, ея властелинъ, ея сокровище, ея счастье. Она ужъ больше не боялась его, и ея прежніе, неясные страхи казались ей смѣшными, ребяческими.

Его бояться! Онъ далъ ей такое блаженство, онъ превратилъ ея жизнь въ такой нескончаемый сладкій сонъ. Какъ онъ ее любить, какъ онъ ласковъ, веселъ! День начинается, день кончается—и не видишь какъ идетъ время; одна мысль, одно желанье,—чтобы такъ всегда продолжалось, чтобы никогда, до самой смерти, не прерывался этотъ чудный сонъ.

Они почти всегда вмѣстѣ; только раза два въ недѣлю отлучается графъ куда-то на нѣсколько часовъ. Куда? Она было и спросила его; но онъ отвѣтилъ ей только однимъ словомъ: «нужно». И она не интересовалась больше. Она знала, что дѣйствительно, видно, нужно, если онъ ее оставляетъ.

Тогда она вся отдавалась его дѣтямъ, двумъ милымъ мальчикамъ, которыхъ полюбила сердечно, будто они были ея собственныя дѣти. Она забавлялась съ ними, ласкала ихъ и баловала, наряжала какъ куколъ. Онъ ей въ этомъ не перечилъ, онъ и самъ былъ, повидимому, нѣжнымъ отцомъ, и нѣсколько разъ говорилъ ей:

— Какъ я счастливъ, что ты ихъ любишь! Мнѣ такъ тяжело было, что они безъ матери. Да и самъ я долженъ былъ отлучаться надолго изъ дому... и потомъ это не мужское дѣло ребячь растить. Спасибо тебѣ, будь имъ родной матерью!

Просить ее объ этомъ было нечего. Она была такъ молода, такъ добра; она еще не знала, что такое горе, что такое злоба; она жила полной и счастливой жизнью. И въ такомъ состояніи она, конечно, никому не могла дать ничего, кромѣ ласки, любви и участія. Она всегда любила дѣтей, а ужъ его-то дѣтей—какъ ей не любить ихъ... И вдобавокъ оба они на него похожи...

Проходило лѣто, наступала осень; но жизнь Ганнуса не измѣнялась: туманъ счастья все еще стоялъ вокругъ нея. И сквозь этотъ туманъ она многого не замѣчала. Не замѣчала она, что въ ихъ огромномъ домѣ какъ-то все не совсѣмъ по-людски. Да и самъ домъ этотъ какой-то странный. Она до сихъ поръ не могла изучить его и путалась въ корридорахъ и переходахъ. Прислуги видимо-невидимо и всѣ мелькаютъ словно тѣни, всѣ молчаливы, сумрачны, ни отъ кого не добьешься живого слова.

Въ домѣ по временамъ появляются невѣдомо откуда какіе-то странные, таинственные люди. Никого изъ нихъ графъ и не знакомилъ съ молодой женою. Наѣдутъ эти странные люди, запрется съ ними графъ, толкуетъ о чемъ-то, потомъ уѣдутъ вмѣстѣ.

Странно! Но какое-же ей дѣло до всего этого? И вѣрно такъ нужно...

Въ началѣ осени она почувствовала, что будетъ матерью, и чуть съ ума не сошла отъ радости. Но, къ ея величайшему изумленію, графъ вовсе не такъ обрадовался, какъ она этого ожидала.

— Да что же ты, неужто не радъ?! Пойми, у насъ будетъ ребенокъ! *нашъ* ребенокъ! Пойми, какое счастье! Ты молчишь?! Отчего ты глядишь такъ странно?! Ахъ, Боже мой, я понимаю: ты, можетъ, думаешь, что отъ этого я буду меньше любить Володю и Мишу?! Какъ тебѣ не стыдно! на всѣхъ моей любви хватить... я только стану еще счастливѣе!..

— Да я радъ, я радъ,—отвѣчалъ графъ Михаилъ:—только я невольно думаю о твоёмъ здоровьи... ты такъ еще молода!..

Но она его не понимала, она ничего не боялась. Она восторженно цѣловала его и отъ него бѣжала къ дѣтямъ, и ихъ цѣловала, и смѣялась, и сияла своей южной, горячей красотой, которая пышно развернулась за эти блаженные мѣсяцы.

А вокругъ нея, вокругъ этого счастливаго лучезарнаго созданія, все было такъ мрачно, такъ уныло и таинственно. Вѣковыя деревья роняли свои желтѣющіе листья. Осенній вѣтеръ стучался въ окна. Потемнѣли и глухо ворчали волны Дона. Тишина стояла въ огромномъ мрачномъ домѣ, и только по каменнымъ коридорамъ гулко раздавались шаги молчаливой, подозрительно глядящей прислуги.

V.

Прошло еще нѣсколько мѣсяцевъ. Повидимому не было никакой переменъ, только графъ вѣрно или самъ услышалъ гдѣ нибудь, или ему передали о неблагопріятныхъ толкахъ между сосѣдями. Онъ уговорилъ жену объѣздить съ нимъ нѣкоторыя изъ самыхъ почетныхъ семействъ. Она, конечно, согласилась: — его слово было для нея закономъ.

Но эти новыя знакомства не доставляли ей никакого удовольствія. Она была такъ далека отъ интересовъ, которыми жило это общество; она вся ушла въ свою внутреннюю жизнь, въ свое счастье. Какое ей было дѣло до чужой жизни, до пересудовъ и сплетенъ.

Однако, ея природная доброта и ласковость заставили ее ко всѣмъ отнести какъ можно милѣе и любезнѣе. Ея сверкающая красота и молодость тоже должны были говорить въ ея пользу, должны были всѣхъ сразу расположить къ ней.

А между тѣмъ, несмотря на всю свою разсѣянность, она не могла не замѣтить странность въ обхожденіи съ нею. Ее принимали съ большимъ почетомъ, не знали куда усадить, чѣмъ угостить, но въ то-же время съ нею всѣмъ было какъ-то особенно неловко. Она подмѣтила нѣсколько странныхъ, непонятныхъ взглядовъ, разслышала нѣсколько, шопотомъ произнесенныхъ, фразъ, очевидно, относившихся къ ней и выражавшихъ не то какой-то ужасъ, не то сожалѣніе.

Чему ужасаться? Кого сожалѣть? Что все это значить?

Но, можетъ быть, ей только показалось. Во всякомъ случаѣ, она скоро позабыла и эти взгляды, и этотъ шопоть.

Она приглашала новыхъ знакомыхъ къ себѣ въ Высокое, извиняясь и придумывала предлоги, объясняя, почему до сихъ поръ не сдѣлала этого.

Ея приглашеніями воспользовались. Въ мрачный лѣсной домъ нѣсколько разъ наѣзжали гости, нѣсколько пировъ задавъ графъ Михайлъ. И пиры эти отличались прежнимъ великолѣпіемъ, но веселья не было. Да и сама молодая хозяйка сильно скучала:

«Зачѣмъ все это? Къ чему этотъ шумъ, эта толкотня и хлопоты?»

Ей было жаль прежняго уединенія. Она боялась, что эти люди своимъ разговоромъ, своимъ присутствіемъ разрушатъ блаженное очарованіе, въ которомъ она такъ долго находилась.

И она была права,—очарованіе начинало разрушаться, туманъ мало-по-малу разсѣялся.

Какъ это случилось? когда? въ чемъ собственно состояла переменѣна? Повидимому, все было по-старому. Графъ такъ-же любилъ, такъ-же ласкалъ ее, а между тѣмъ прежней жизни не стало. Ей не хотѣлось уже, какъ прежде, цѣлый день смѣяться или плакать отъ счастья. На нее нападала не то тоска, не то задумчивость. Она часто думала о томъ, что ее ожидаетъ. Скоро она будетъ матерью. Мысль эта, доставлявшая ей въ первое время такую радость, теперь какъ-будто иногда даже пугала ее. Графъ не разъ заставлялъ ее, послѣ своихъ нѣсколько участвовавшихъ отлучекъ, въ слезахъ, съ опущенной головою.

— Милая, что съ тобой?—спрашивалъ онъ, беря ее за руки и нѣжно цѣлуя.

— Ничего, такъ, взгрустнулось!—отвѣчала она.—Гдѣ ты былъ? Ты такъ часто теперь уѣзжаешь изъ дому, я тебя совсѣмъ почти не вижу!

Она преувеличивала, она упрекала.

Онъ морщился и опять ссыался на обязанности.

Но, наконецъ, эти упреки стали раздражать его; онъ вдругъ заговорилъ съ ней такимъ тономъ, какого она прежде отъ него никогда не слыхала.

— Неужели ты думаешь,—говорилъ онъ:—что можно всю жизнь прожить, цѣлуясь и не отходя другъ отъ друга? И потомъ—твои слезы, твои упреки?.. Знай разъ навсегда,—я не люблю ни слезъ, ни упрековъ. Я люблю смѣхъ, улыбки, я полюбилъ тебя за твою улыбку, она такъ идетъ къ тебѣ. Посмотри!..

Онъ поднесъ къ ней зеркало.

— Да посмотри-же на себя: на что ты стала похожа?

Она видѣла въ стеклѣ свои заплаканные глаза, свое поблѣднѣвшее лицо, которое отъ слезъ, отъ блѣдности было еще прелестнѣе, передъ которымъ должно было стихнуть всякое раздраженіе. Но онъ продолжалъ:

— Я не люблю такихъ лицъ. Слезы тебя не красятъ, слезливая женщина... да, вѣдь, хуже этого быть ничего не можетъ! Смотри, берегись, Ганнуся, очнись во-время, не то тебѣ и впрямь придется заплакать!!

«Что это? Онъ уже грозитъ ей!»

Да, въ его голосѣ вдругъ прозвучало что-то, что-то злое, холодное, страшное!

Она съ ужасомъ взглянула на него.

«Онъ-ли это? Онъ-ли ея милый, ея добрый и ласковый!?»

Прежній, совсѣмъ было забытый страхъ ея къ нему вдругъ снова хватилъ ее за душу. Но это было одно мгновеніе. Онъ, повидимому, понялъ, что зашелъ немного далеко, и успокоилъ ее ласковымъ словомъ и поцѣлуями. И она улыбнулась ему, засмѣялась и прогнала свою тоску, свои неясные страхи.

Однако, ненадолго. Прошелъ день-другой —и опять неспокойна Ганнуся.

— Да что-же это съ тобой, наконецъ, случилось?—говорилъ ей мужъ.

— Сама не знаю, милый, сама понять не могу что со мною. Но только иной разъ такъ мнѣ тяжело, мнѣ кажется, что я умру скоро...

— Ну, знаешь ли, наконецъ-то я понялъ! это такъ, причуды, это бываетъ въ твоёмъ положеніи... Подожди вотъ немного—и все пройдетъ, и все какъ рукой сниметь...

Ждать приходилось недолго: у Ганнуса скоро родился здоровый мальчикъ. Новая жизнь началась для нея, новое чувство вспыхнуло въ ней и охватило ее разомъ. Она опять повеселѣла, она не могла наглядѣться на своего ребенка.

И графъ былъ очень доволенъ; онъ ужъ не слыхалъ упрековъ. Онъ могъ теперь, не стѣсняясь, уѣзжать изъ дому и долго не возвращаться: она такъ занята своимъ сыномъ, она почти не отходитъ отъ его колыбели.

Но онъ заблуждался. Новое чувство, какъ ни велико было оно, не отняло мѣста у стараго чувства въ сердцѣ Ганнуси. Она очень скоро замѣтила эти непривычныя, долгія отлучки. Болѣе того, она стала замѣчать многое, чего прежде совсѣмъ не замѣчала. Она начинала наблюдать, прислушиваясь. Она сама еще не знала, что наблюдаетъ и къ чему прислушивается; но уже вся была на-сторожѣ, вся въ тревогѣ.

VI.

Она вдругъ возненавидѣла этотъ странный мрачный домъ, еще такъ недавно казавшійся ей заколдованнымъ замкомъ, полнымъ самыхъ прелестныхъ и свѣтлыхъ видѣній. И въ то-же время ей захотѣлось, наконецъ, ознакомиться, какъ слѣдуетъ, съ этимъ домомъ, обойти всѣ закоулки.

Во время отсутствія мужа, когда ея новорожденный ребенокъ засыпалъ, а старшія дѣти весело играли съ няньками, она начинала свои изслѣдованія. Она бродила по длиннымъ корридорамъ, отворяла всѣ двери, всюду заглядывала. Но многія двери оказались запертыми на крѣпкіе замки. Она звала прислугу, спрашивала, что тутъ такое? Ей отвѣчали, что тутъ кладовыя, или ходы на обширные чердаки или ходы въ погребъ.

— Отворите, я хочу взглянуть.

Но отворить было невозможно: ключи у его сіятельства. Мужъ возвращался. Она обращалась къ нему съ просьбой показать ей и кладовыя, и чердаки, и погребъ, и подвалы. Онъ удивлялся, зачѣмъ ей это, что тамъ интереснаго.

— Въ погребъ-то я тебя не пушу, ни за что не пушу, какъ ты тамъ хочешь. Смотрѣть въ нихъ совсѣмъ нечего. Старыя бочки съ виномъ для тебя не могутъ быть интересными, а сырость такая, что того и жди разболѣешься. Охъ, ужъ этотъ мнѣ домъ! кажется, и хорошо построень, а видно все-же какая-нибудь ошибка, или это донская вода дѣйствуетъ, что сырость такая завелась въ подвалахъ и погребахъ!..

— А все-же-таки мнѣ хотѣлось бы взглянуть. Пойдемъ, пожалуйста, покажи. А то, что-же это: хозяйка я, и не знаю устройства нашего дома.

Графъ качалъ головою и улыбался.

— Ну, а до сихъ поръ-то что-же не справлялась? ишь, вѣдь, когда спохватилась! Да пойдѣмъ, пожалуй, коли ужъ тебѣ такая охота. Въ подвалы и погреба, сказалъ, не сведу, а кладовыя и чердаки осмотримъ; это можно...

И они отправлялись нѣсколько разъ все осматривать. Графъ приказывалъ принести фонарь, самъ отпиралъ двери. Крѣпкіе замки звучно щелкали; потомъ раздавался скрипъ желѣзныхъ засововъ. Тяжелыя, дубовыя двери распахивались—и мгновенно охватывалъ графиню сырой, затхлый воздухъ. Свѣтъ фонаря озарялъ обширныя помѣщенія, въ которыхъ хранилось много всякаго добра.

Ганнуса все разглядывала и изумлялась. Чего только не было въ этихъ кладовыхъ и на этихъ чердакахъ! Тутъ и мѣха дорогіе, и вещи серебряныя, и много всякой всячины, и все-то такое красивое, дорогое...

— Милый мой,—говорила она:—такъ вотъ ты что тутъ подъ замками держишь, вотъ что отъ меня скрываешь! Не знала я, что ты такой скупой да жадный. Вотъ, вѣдь, чтобы женѣ хорошій подарокъ сдѣлать, а онъ подъ запоромъ все держитъ!

Графъ начиналъ смѣяться, такъ непринужденно и весело отшучивался; но въ то-же время поспѣшно выбиралъ какую-нибудь цѣнную вещь и дарилъ ее женѣ.

— На вотъ... на, отвяжись только, да отпусти душу на покаяніе. Ну, чего мы тутъ стоимъ! уйдемъ, пожалуйста, а то у меня уже першить въ горлѣ начинается.

Они выходили. И опять съ визгомъ захлопывались дубовыя двери, и опять щелкали замки.

Ганнуса несла къ себѣ новый подарокъ. Мужъ шутилъ и смѣялся; а на сердцѣ у нея все-же было какъ-то неспокойно. Все ей казалось, что вокругъ нея есть какая-то тайна, какая-то мучительная, страшная тайна, что отъ нея всѣ что-то скрываютъ, а главное—онъ, онъ отъ нея что-то скрываетъ...

VII.

Опять лѣто было въ полномъ разгарѣ; но уже не прежнее лѣто. Ни о чемъ прежнемъ не было и помину. Графъ уѣзжалъ изъ дому иногда дня на два, на три. Завелись у него дѣла какія-то, по крайней мѣрѣ, на вопросъ жены онъ всегда отвѣчалъ односложно:

— Дѣла, дѣла!!

Прежде она удовлетворялась такими отвѣтами; теперь она и хотѣла бы разспросить подробно, да уже знала, что съ му-

жемъ не сладишь; что коли онъ разъ замолчалъ, такъ ужъ ничего отъ него не добьешься.

— Какія дѣла?! Ишь ты, бабье любопытство! Ну что ты въ нашемъ мужскомъ дѣлѣ смыслишь! Ёду—значить, нужно ѣхать. Вернусь, какъ только все справлю, привезу тебѣ обновку, а ты жди меня, за дѣтьми присматривай, да встрѣть меня веселѣй: такъ-то вотъ и ладно будетъ!

Онъ цѣловалъ, обнималъ ее. Но ей казалось, что это уже не прежніе поцѣлуи и ласки.

Онъ уѣзжалъ. Она оставалась одна со своею думой, со своими неясными подозрѣніями. Она часто сходила съ высокой террасы дома и бродила по густому парку, доходившему до самаго крутого донского берега. Этотъ паркъ влекъ ее теперь къ себѣ неудержимо. Она полюбила его тѣнь, его прохладу, его извилистыя дорожки. Ей казалось, что здѣсь, именно въ этомъ паркѣ, какой-нибудь неожиданный голосъ откроетъ ей непонятную тайну, лишившую ее покоя. Но пока еще не прозвучалъ этотъ голосъ, она бродила погруженная въ свои мысли и тревожныя грезы. Бродила иногда, не сознавая гдѣ она, куда идетъ и сколько времени продолжается ея прогулка.

Въ особенности она любила этотъ паркъ вечеромъ послѣ солнечнаго заката, когда послѣдніе отблески зари постепенно блѣднѣли на верхушкахъ деревьевъ, когда мало-по-малу въ темнѣющей синевѣ небесной загорались одна за другой частыя звѣзды и вдругъ выбравшійся изъ-за лѣса полный мѣсяцъ озарялъ все своимъ тихимъ свѣтомъ и мѣнялъ очертанія предметовъ.

Тогда Ганнуса выходила на широкую аллею, по которой все ярче и ярче ложились серебряныя полосы, и спѣшила дальше и дальше, къ маленькой каменной бесѣдкѣ, выстроенной на уступѣ высокаго берега.

Отсюда передъ нею открывалась широкая картина. У самыхъ ногъ тихій Донъ катилъ свои волны, едва слышно плескавшіяся о берегъ. Дальше, на луговой сторонѣ, мелькали, покрытыя легкимъ туманомъ, безбрежныя поля, однообразіе которыхъ кой-гдѣ нарушалось далекими деревеньками и полосками лѣсовъ.

Ганнуса садилась на каменную скамью бесѣдки и отдавалась очарованію влажной ночи, и подолгу, подолгу глядѣла на звѣзды, глядѣла въ туманную даль и мечтала и плакала о невѣдомо почему потерянномъ счастьѣ, и отгоняла страшныя грезы о непонятныхъ грядущихъ бѣдахъ.

Но эти грезы не уходили. Съ каждымъ днемъ въ ней крѣпла увѣренность, что надъ нею должно стрястись что-то ужасное. И она вѣрила въ это предчувствіе души своей, и ждала съ сердечнымъ замираніемъ роковаго удара.

Очнется она на мгновение, отгонить мрачныя грезы, и сама на себя дивится:

«Да что-же это такое? Изъ-за чего я так мучаюсь? Чего я жду? Откуда взялось все это? Ужъ не больна-ли я? Чего мнѣ бояться...и кого-же бояться?—его?—Вѣдь, это грѣхъ тяжкій, грѣхъ мой передъ нимъ. Это искушеніе, это навожденіе дьявольское!..»

Она твердо рѣшалась побѣдить въ себѣ глупые страхи и быть по прежнему счастливой и довольной. Но этой рѣшимости хватало не надолго. Странное предчувствіе не покидало ея, и боролся съ нимъ она не была въ силахъ.

И вотъ, въ одинъ изъ такихъ теплыхъ и лунныхъ вечеровъ, сидѣла она въ бесѣдкѣ, погруженная въ полузабытѣе, и не замѣчала какъ шло время, какъ приближался часъ поздній. Ей некуда было торопиться:—дѣти спали, мужъ съ утра уѣхалъ и сказалъ, что не вернется дня два, а, можетъ, и больше. Сидѣла она окруженная тишиною и даже дремота начинала ее охватывать, какъ вдругъ странные и неожиданные звуки заставили ее очнуться. Она вздрогнула, поднялась съ каменной скамьи и стала чутко прислушиваться.

Что это? Подъ землю, подъ самой бесѣдкой, идетъ какой-то гулъ, будто раскаты грома. А потомъ еще страннѣе, еще непонятнѣе, будто гдѣ-то ржаты кони. Но никогда еще въ жизни не слыхала она такого гулкого ржанья.

Она оглядывалась во всѣ стороны. Кругомъ было достаточно свѣтло отъ луннаго сіянія,—ничего особеннаго не было видно. Знакомые кусты стояли неподвижно. Внизу тихо плескались серебристыя волны. На противоположномъ берегу тоже ни малѣйшаго движенія—вся природа спала.

Между тѣмъ странные звуки, и топотъ, и ржанье слышались все сильнѣе. Вотъ они еще и еще слышнѣе. Подземный гулъ вдругъ замеръ и смѣнился болѣе ясными звуками. Теперь уже не можетъ быть никакого сомнѣнія, слышится тихій говоръ человѣческихъ голосовъ, ржанье лошадей. Подъ самой бесѣдкой плеснула вода.

Уфъ!!

Что-то грузное будто упало въ рѣку и поплыло.

Ганнуся прижалась къ каменной колоннѣ, слегка наклонилась надъ высокими перилами, взглянула внизъ и увидала въ водѣ плывущую лошадь, вотъ еще другая, третья, десятокъ, больше десятка лошадей. Нѣсколько человѣкъ конюховъ купаютъ ихъ и моютъ, тихо переговариваясь между собою.

Она спряталась за колонну и ждала. Болѣе получаса слышался людской говоръ, храпъ и ржанье лошадей. Затѣмъ эти звуки опять смѣнились другими, то есть перешли съ чистаго воздуха подъ гулкіе подземные своды.

Ганнуся вышла изъ бесѣдки и направилась къ дому полная неудомѣнія:

«Здѣсь подземный ходъ, цѣлая галлерей, черезъ которую можно выводить лошадей къ рѣкѣ, а я не знала этого, никогда о томъ не слыхала, мужъ никогда ничего не говорилъ... И потомъ эти лошади? Какія это лошади?!»

Она очень любила лошадей и знала всѣхъ, бывшихъ у нихъ на конюшняхъ.

«Это не наши кони,—съ изумленіемъ думала она:—я ихъ хорошо разглядѣла. И потомъ, сколько ихъ! Какъ много! Что все это значить!?»

Ей стало такъ тяжело, такъ тоскливо.

«Вотъ... начинается!—подумала она:—тутъ тайна какая-то и все это неспроста!»

Но какъ-же узнать ей, что это значить?! Спросить мужа, спросить прислугу; но, вѣдь, если это тайна, никто ничего не скажетъ... скроютъ истину, только будутъ слѣдить за нею, только помѣшаютъ ей добраться до правды. Нѣтъ, она ни у кого ничего не спроситъ. Она ни слова не скажетъ мужу ни про коней этихъ, ни про подземную галлерей. Она только будетъ наблюдать, будетъ искать...

VIII.

Она рѣшилась молчать и осторожно слѣдить, а между тѣмъ за нею самой уже слѣдили. Но это былъ не мужъ и не приставленный имъ шпіонъ.

Въ то время, какъ она, счастливая и отуманенная первой страстной любовью, пріѣхала въ Высокое и увидала своихъ маленькихъ пасынковъ, она замѣтила въ числѣ ихъ нянекъ старушку, которую называли Петровной. Обратила она на нее вниманіе потому, что эта Петровна была очень стара, очень безобразна и въ то-же время въ ея сморщенномъ, обвисшемъ лицѣ свѣтилось присутствіе чего-то особеннаго. Маленькіе черные глаза, несмотря на дряхлость и, вѣроятно, очень большіе годы старухи, глядѣли такъ зорко, такъ живо и останавливались на молодой новой хозяйкѣ съ пытливымъ вопросомъ.

Старушка постоянно жевала беззубымъ ртомъ и что-то шептала сама съ собою. Но что—разобрать было невозможно. При этомъ Ганнуся замѣтила, что Петровна особенно нѣжно обращается съ дѣтьми и что дѣти ее любятъ болѣе чѣмъ другихъ нянекъ.

Черезъ мѣсяцъ - другой вдругъ оказалось, что Петровны уже нѣтъ въ дѣтскихъ комнатахъ.

— Гдѣ она? - спросила Ганнуся.

Ей отвѣтили, что Петровна захворала.

Она стала о ней навѣдываться. Петровна выздоровѣла, а все же ея нѣтъ въ дѣтскихъ. Графиня спросила мужа, отчего нѣтъ Петровны. Онъ отвѣтилъ, что она очень стара, что ей пора на покой.

Она не стала больше разспрашивать и скоро почти забыла Петровну: не до того ей тогда было.

Между тѣмъ, старушка время отъ времени попадалась ей на глаза въ какомъ-нибудь дальнемъ корридорѣ огромнаго дома или во дворѣ.

— Какъ поживаешь, Петровна, здорова ли?—ласково спрашивала она.

Старушка низко кланялась, жевала губами и шамкала.

— Спасибо, сударыня, спасибо на ласковомъ словѣ, живу вотъ, таскаю ноги, жду не дожусь, когда Господь приберетъ меня...

— И, что ты, полно, зачѣмъ умирать, поживешь еще!—съ тихой улыбкой говорила Ганнуся и проходила мимо.

А старушка долго еще стояла на мѣстѣ, глядѣла ей вслѣдъ своими черными, живыми глазками,—все съ тѣмъ-же вопросительнымъ выраженіемъ, и шептала что-то блѣдными, сморщенными губами.

Въ самое послѣднее время Ганнуся почему-то все чаще и чаще встрѣчалась съ Петровной. Не разъ замѣчала она ее и въ паркѣ, во время своихъ уединенныхъ прогулокъ: бродить себѣ старушка, шепчетъ; жуесть, поглядываетъ. И вотъ уже нѣсколько разъ показалось графинѣ, что старушка какъ-будто даже ей что-то сказать хочетъ.

— Не надо-ли тебѣ чего, Петровна? не обидѣлъ ли тебя кто?—какъ-то спросила она ее:—скажи, не бойся.

— Нѣтъ, сударыня, нѣтъ. Кто меня обидитъ, чего мнѣ, старой, нужно,—ничего не нужно!

А сама глядитъ пристально и вопросительно.

Даже жутко стало Ганнусѣ, и она начала избѣгать встрѣчъ съ нею. А та какъ нарочно чуть не каждый день на глаза попадается.

Вотъ и теперь, въ то время какъ Ганнуся, смущенная и тоскливая, спѣшила отъ каменной бесѣдки вдоль по ярко озаренной луною аллеѣ, изъ темноты древесныхъ вѣтокъ мелькнула и стала передъ нею эта странная старушка. Она даже вздрогнула отъ неожиданности и испуга, и чуть не вскрикнула.

Старушка остановилась, низко кланяется, а потомъ взяла да и пошла рядомъ съ нею. Та спѣшить, а за нею и старушка поспѣваетъ.

— Чего тебѣ надо, Петровна? Зачѣмъ не спишь,—ужь поздно.

А голосъ дрожить: что-то она отвѣтитъ, неспроста, неспроста это!

— Слышала лошадокъ, сударушка?—прошамкала вдругъ старуха.

— Слышала,—упавшимъ голосомъ отвѣтила Ганнуса.

— Подземныя лошадки, изъ-подъ земли выходятъ!!

— Петровна, ради Бога, ты знаешь что-нибудь!.. скажи мнѣ все, что знаешь... Какія это лошади, откуда? Откуда это идетъ этотъ подземный ходъ? какъ пройти туда? Я не знала, что у насъ подъ домомъ ходъ сдѣланъ...

— Сударушка, безталанная ты моя, мало ли ты чего не знаешь, что у насъ тутъ есть и что у насъ дѣлается!

Ганнуса схватила за сердце: такъ оно у нея стучалось.

«Ну вотъ, вотъ тайна открывается!»

Ужась охватила ее, а Петровна продолжала:

— Пора узнать, пора узнать, пришло время... все расскажу, все покажу... потерпи малость...

Въ ея голосѣ звучала особенная торжественность, которая сразу показывала Ганнуся, что эта старуха дѣйствительно все знаетъ.

— Такъ не томи-же, говори... показывай. Силушки моей нѣту, измаялась я. Давно ужь чуяло мое сердце недоброе что-то, а что такое—невдогадъ мнѣ... не понимаю! Не томи-же, говори скорѣй!!

— Пожди малость—все узнаешь!—упрямо твердила старуха. — Бѣдная ты, горемычная! Да скажи ты мнѣ одно, сударушка, можешь ли ты до времени таиться, что бы ни услышала, что бы ни увидала? можешь ли сдержать себя, не пикнуть, глазомъ не сморгнуть: есть ли въ тебѣ силушка?

— Есть, Петровна, есть!—прошептала она, и почувствовала, что, точно, хватить у нея силъ молчать до времени, не пикнуть, глазомъ не моргнуть, хоть бы адъ самъ вдругъ разверзся передъ нею.

Она схватила Петровну за руку и повлекла ее за собой въ сторону отъ большой аллеи, по узкой дорожкѣ. Вотъ передъ ними въ темнотѣ густыхъ кустовъ деревянная скамейка; графиня опустилась на эту скамейку, усадила рядомъ съ собою старуху и, все не выпуская руки ея, глухимъ голосомъ щепнула ей:

— Говори, здѣсь никто не услышитъ насъ.

IX.

— Охъ, матушка! охъ, сударыня!—начала старуха:—много грѣха, много окаянства, какъ еще громъ небесный не разразился, какъ молнія Божья не убила злодѣя!... Жаль мнѣ тебя, голубушка; долго молчала, а вотъ и не могу, будто велитъ кто все тебѣ повѣдать... Страшно оно, да крѣпись, Богъ не безъ милости. Слушай, безталанная.. графъ-то твой... любишь ты его, знаю, что любишь, а онъ тебя обманываетъ... Онъ злой чело-вѣкъ, страшный чело-вѣкъ, всю жизнь недобрыми дѣлами, разбоемъ да душегубствомъ занимается. Кони-то,—тѣ, что въ Дону купались,—ворованные кони, ихъ то и дѣло ночью порою его разбойники пригоняють, выдержатъ въ подземельи, потомъ тихомолкомъ лѣсомъ угоняють подальше да и продадутъ на сторонѣ... Я-то все знаю, все вывѣдала, про всѣ ихъ разбои слыхала... Не однихъ коней крадутъ,—по дорогамъ грабятъ казну чужую, вещи дорогія съ собою привозятъ...

Ганнуса сжала голову руками.

«Такъ вотъ его дѣла!.. Вотъ куда онъ уѣзжаетъ!.. Боже мой, его и теперь нѣтъ дома... онъ и теперь, можетъ быть, гдѣ нибудь на дорогѣ грабитъ... Разбойникъ... онъ разбойникъ!..»

— Гдѣ онъ теперь... гдѣ?! — безсознательно проговорила она. — «Да нѣтъ, не можетъ того быть, — выдумала все злая старуха!..»

— Не вѣрю я тебѣ, не вѣрю,—вдругъ крикнула Ганнуса, отстраняясь отъ Петровны, и потомъ кинулась опять къ ней схватила ее за старья, костлявыя плечи и стала трясти изо всей силы.— Не вѣрю, говори сейчасъ, что ты меня обманула... что на-гала, что все сама выдумала!.. Развѣ онъ можетъ быть разбойникомъ? Зачѣмъ ему быть разбойникомъ—онъ графъ, онъ богатъ...

Нѣ, въ то-же время, сердце ея чуяло, что тутъ нѣтъ обмана, что старуха говоритъ правду. Она выпустила ее плечи, безсознательно упала на скамейку и залилась слезами.

— Солгала я!.. охъ, кабы солгала!—проговорила Петровна, оправляясь послѣ неожиданнаго порыва Ганнуса.— Сама увидишь каковъ онъ. Ты думаешь, онъ нынче-то уѣхалъ и далеко гдѣ-нибудь теперь?!.. Анъ нѣтъ—недалече. Хочешь я тебѣ покажу его...

— Веди-же, веди скорѣе!!

— Ладно, сударыня, только сдержись, не крикни, не то все пропало, даромъ только и себя и меня загубишь, а пути изъ того никакого не выйдетъ... на другое надо тебѣ поберечь себя...

— Петровна, я, вѣдь, сказала уже, что силы у меня хватить... Веди ради Бога... Только дай я оправлюсь...

Она замолчала и сидѣла нѣсколько мгновений неподвижная. Она уже не плакала, сердце у нея какъ-будто застыло. Она такъ давно ждала чего-нибудь ужаснаго, ждала разъясненія томившей ее тайны. Вотъ разъясненіе явилось—и поразило ее, какъ-будто она никогда не ждала ничего, какъ будто, чего она ждала, не должно было относиться къ нему, ея мужу.

И вспомнилось ей вдругъ первое время ихъ знакомства, тотъ страхъ, который она испытывала къ этому человѣку. Не напрасень былъ тотъ страхъ: сердце правду чуяло, чуяло свою горькую долю.

Но куда-же зоветъ ее старуха, что она ей покажетъ? Она собрала всѣ свои силы, поднялась совсѣмъ даже спокойная съ виду и проговорила:

— Куда идти? веди меня, веди скорѣе... ты видишь, я спокойна!

Петровна пошла передъ нею, направляясь въ глубину парка. Черезъ нѣсколько минутъ онѣ дошли до каменной ограды.

— Куда-же теперь?—въ изумленіи спросила Ганнуса:—здѣсь нѣтъ прохода!

— Есть проходъ,—шепнула старуха:—только ты, сударыня, тутъ никогда не бывала.

Она раздвинула руками густыя вѣтки, и онѣ стали пробираться вдоль ограды.

По временамъ старуха останавливалась, прислушивалась и пробиралась дальше. Ганнуса шла по пятамъ за нею. Вдругъ, старуха остановилась.

— Здѣсь,—сказала она:—вотъ дверца! Видишь ты... ея и не видно и всегда была заперта, а нынче и запереть позабыли, третью ночь стоитъ отпертая... я ужъ выслѣдила...

И, говоря это, старуха дернула своими дрожащими руками за маленькую скобку. Открылась узенькая, закрашенная подъ камень дверца. Старушка прошла въ нее. Ганнуса послѣдовала за нею. Она уже не задавала себѣ никакихъ вопросовъ. Она ни о чемъ не думала, ничего не чувствовала. Все въ ней какъ-будто остановилось. Теперь единственное стараніе ея было идти какъ можно осторожнѣе, какъ можно меньше шумѣть; она вся превратилась въ слухъ и зрѣніе.

Онѣ очутились въ какомъ-то узкомъ, темномъ проходѣ между двумя каменными стѣнами. Высоко надъ головою мигали звѣзды, луна озаряла только самую верхушку бѣлыхъ стѣнъ, а внизу было совсѣмъ темно и сыро. Онѣ прошли шаговъ триста. Петровна остановилась, шепнула едва слышно:

— Тише, притаись!—и показала рукой передъ собою.

Ганнуса взглянула: разстояніе между двумя стѣнами расши-

рялось, проходъ оканчивался небольшимъ крылечкомъ, ведущимъ въ одно-этажное каменное зданіе. Оставивъ крылечко вправо, можно было пройти дальше, между стѣной, которая шла вокругъ всего парка, и стѣною этого зданія. Тутъ былъ узенькій проходъ, и въ этотъ-то проходъ повела Петровна Ганнусю.

— Слушай!!

Ганнуся уже и безъ того слушала. Она слышала людской говоръ, раздававшійся изъ этого неизвѣстнаго, никогда невиданнаго ею каменнаго домика. И видѣла она передъ собою полосу свѣта, ударявшую прямо въ стѣну. Этотъ свѣтъ долженъ былъ идти изъ окна. Вотъ и окно. Затаивъ дыханіе, Ганнуся мгновенно подкралась къ нему и взглянула. Окно занавѣшено, но не плотно, изъ праваго угла стекло выбито. Все видно, все слышно, все въ двухъ шагахъ... Она не дышетъ, не шелохнется, смотритъ въ небольшую щель изъ-за занавѣски. Ей видна часть комнаты, ярко озаренная...

Вся эта комната убрана дорогими коврами, по стѣнамъ на полкахъ разставлена массивная серебряная посуда. Но Ганнуся не замѣчала этого убранства; она не мигая глядѣла на другое: передъ нею мелькали человѣческія фигуры; она отчетливо могла разсмотрѣть всѣ лица. Нѣкоторыя изъ этихъ лицъ ей знакомы:—она видѣла ихъ тамъ, въ большомъ домѣ, у себя, за своимъ столомъ,—эти невѣдомые внезапно появлявшіеся и исчезавшіе пріатели ея мужа. Но они не одни здѣсь. Вотъ передъ нею мелькаютъ женщины, молодыя и красивыя женщины... только въ какомъ онѣ видѣ!.. Какой стыдъ!.. Онѣ пляшутъ, онѣ поютъ...

И вотъ,—у нея почти остановилось сердце,—вотъ онъ, ея мужъ. Онъ мелькнулъ передъ нею, обнявшись съ красивой, громко смѣявшейся женщиной. Да онъ ли это, полно?!.. лицо красное, налитые кровью глаза... Онъ кричитъ что-то, еле на ногахъ держится. Да и всѣ видно пьяны... Безобразная оргія въ полномъ разгарѣ...

Ганнуся закрыла глаза, отшатнулась отъ окошка и, держась за стѣну, сама шатаясь, точно пьяная, направилась назадъ, по прежней дорогѣ. Старуха осторожно пробиралась за нею. Онѣ вышли, наконецъ, изъ узкаго прохода.

Ганнуся позабыла о Петровнѣ и, какъ безумная, кинулась сквозь кусты по дорожкамъ и тропинкамъ парка къ дому. Она бѣжала, будто за нею гналась цѣлая стая отвратительныхъ привидѣній.

Но вдругъ силы ее покинули, она со слабымъ крикомъ упала на землю и потеряла сознаніе.

Х.

Не мало прошло времени, пока Ганнуса, очнувшись на сырой травѣ парка, собралась съ силами и добрела до дому. Страшную ночь провела она, а на слѣдующее утро поднялась съ постели, на которой почти не смыкала глазъ, совсѣмъ другою, совсѣмъ новою.

Она сама себя не узнавала. Несмотря на всѣ тревоги и тоску, она все-же до этого дня оставалась почти ребенкомъ, существомъ, не знавшимъ жизни, у котораго все еще было впереди:— теперь это была женщина, у которой все назади осталось. Она чувствовала себя старой, уставшей. И жизнь, и все показалось ей такимъ ненужнымъ, такимъ отвратительнымъ.

Она пошла къ своему ребенку, страстно прижалась къ нему, облила его слезами. Малютка смѣшно улыбался ей, выставляя впередъ губки и, что-то бормоча, тянулся къ ней крохотными рученками. Но онъ не вызвалъ въ лицѣ ея отвѣтной улыбки, не заставилъ радостно дрогнуть материнское сердце. Она еще горьче заплакала, любуясь имъ; потомъ ея слезы вдругъ остановились,— безмолвная тоска сдавила ей грудь, и она только шептала:

— Зачѣмъ ты родился, несчастный? Лучше бы тебѣ не родиться!

Прибѣжали дѣти, ея дѣти; но она не нашла въ себѣ для нихъ ласки. Ихъ сходство съ нимъ заставило ее вздрогнуть. Она ушла изъ дѣтскихъ комнатъ и заперлась у себя въ спальнѣ. Но здѣсь ей было еще тяжелѣе, еще страшнѣе. Эта комната столько напоминала, и воспоминанія были ужасны. Здѣсь все казалось насмѣшкой, жестокой, отвратительной насмѣшкой. Эти часы счастья, часы любви... это супружеское ложе. Все говорило о немъ, о его ласкахъ. Вѣдь, она любила его такъ безумно!.. но теперь, что въ ней осталось? любви нѣтъ и слѣда, какъ-будто никогда и не бывало. Одинъ ужасъ, одно отвращеніе, одна ненависть.

Она оказалась не изъ тѣхъ женщинъ, которыхъ можно безнаказанно оскорблять и обманывать. Какъ беззавѣтно внезапно она полюбила его, такъ-же внезапно и возненавидѣла. И потомъ она чувствовала, что онъ разомъ разбилъ ея душу. Какъ она теперь съ нимъ встрѣтится, какъ на него взглянетъ?

Но, по счастью, онъ не возвращался. Она весь день ходила какъ въ туманѣ. Она ждала вечера, ждала Петровны; знала, что та ее непременно будетъ дожидаться, тамъ въ паркѣ, на вчерашней скамейкѣ.

И едва зашло солнце, едва тихій вечеръ наложилъ тѣни на вѣковыя деревья, она сошла съ высокой террасы и углубилась

въ древесную чашу. Она шла спокойная, холодная; въ лицѣ ея не было ни кровинки, даже глаза ея, горячіе южные глаза, вдругъ померкли подъ густыми черными рѣсницами.

Она казалась привидѣніемъ, призракомъ, вставшимъ изъ гроба. Да и въ дѣйствительности, вѣдь, она умерла:—жизни нѣтъ и не будетъ больше...

Она дошла до знакомой скамейки, и не ошиблась: Петровна уже тамъ сидитъ, ее дожидается.

Но если Ганнуся казалась мертвой, странная полумертвая старуха вдругъ какъ-будто помолодѣла, глаза такъ и горятъ, дряхлости какъ не бывало.

Едва Ганнуся подошла къ ней, старуха вскочила со скамейки и кинулась ей въ ноги.

— Матушка, сударыня!—заговорила она прерывающимся голосомъ, и слезы дрожали въ этомъ голосѣ, и слезы текли по дряблымъ щекамъ ея.—Прости ты меня, растравила я твою душу, погубила твою молодость! Ужъ и плакала я, и Господу Богу молилась, думала, можетъ быть, мнѣ не слѣдъ было все тебѣ рассказывать да показывать... Прожила бы ты ничего не вѣдая, прожила бы въ спокойствіи. Думаю я это такъ, а мнѣ будто кто и шепчетъ: «нѣтъ, надо такъ было, непременно надо!..»

— Да, надо,—отвѣтила ей Ганнуся.—И одно ты дурно сдѣлала, что не открылась мнѣ раньше. Зачѣмъ ты раньше не открылась; вѣдь, ты знала, все это и прежде было? Зачѣмъ-же ты не сказала мнѣ, какъ только я сюда пріѣхала?

— Зачѣмъ не сказала?! Да какъ-же сказать было? Выслушай ты меня, сударыня. Вотъ я стара и всю жизнь прожила на графской службѣ, еще матушку ихъ, покойницу, царствіе ей небесное, вынянчила, ихъ всѣхъ, изверговъ, вынянчила. Многого я на своемъ вѣку навидалась... Въ Питерѣ жила, такъ чего-чего тамъ тоже не было, а все же николи не думала, что на старости лѣтъ такіе грѣхи придется увидеть... Здѣсь-то я, въ Высокомъ, лѣтъ пять какъ живу, а допрежъ того жила у старшаго его брата, у Николая Петровича. Злодѣй онъ тоже и разбойникъ, и нашего съ пути сбиль попервоначалу. Вѣдь, это ты вотъ, можетъ, ничего не знаешь, ничего не слыхала, а на сотни верстъ спроси, кого хочешь, про Николая Петровича, всякій тебѣ скажетъ, что разбойникъ. Онъ воровствомъ и душегубствомъ промышляетъ, онъ уже не скрывается, никто съ нимъ ничего подѣлать не можетъ: всѣ его боятся. Тутъ хоть, по крайности, тихо да съ опаской, а онъ все открыто. Въ домѣ срамоты не оберешься, на моихъ глазахъ что было!.. Не втерпѣжъ мнѣ стало глядѣть, взмолилась я графу Михаилу Петровичу: «возьми, молъ, твою мамку къ себѣ въ Высокое, за твоими дѣтками ходить

буду, твоей графинюшкѣ угождать стану!» Ну, и взялъ онъ меня, и попала я изъ одного омута въ другой...

Ганнуса слушала старуху, не прерывая ее, но и безучастно. Только вдругъ она нѣсколько оживилась.

— Петровна, скажи мнѣ про первую жену его... Знала ли она все? отчего умерла она, бѣдная? съ горя видно? говори-же!..

— О ней-то, сударыня, и я пришла говорить съ тобою,— отвѣтила старуха какимъ-то совсѣмъ новымъ и страннымъ голосомъ:—про нее, горемычную, тебѣ и знать надо...

XI.

Старуха обошла вокругъ скамейки, заглянула за кусты, чутко прислушалась на всѣ стороны. Но все было тихо, она не могла слышать никакого подозрительнаго звука, только высоко въ древесныхъ вѣткахъ время отъ времени вздрагивала съ просоны какая-то птица и тихо шуршали задѣтые ея крыльями листья.

Ганнуса сидѣла не шевелясь ни однимъ членомъ, опутивъ руки на колѣни, уныло склонивъ голову, будто мраморное изваяніе. Старуха снова подошла къ ней, присѣла рядомъ съ нею и начала шептать почти на ухо:

— Слушай, матушка, — вотъ какъ пріѣхала я въ Высокое, ажно душа во мнѣ встрепенулась отъ радости: графиня молодая, красавица, да добрая и ласковая; дѣточки словно ангельчики. Меня, старуху, даромъ, что раба я и старая да глупая, а полюбила сразу какъ родную, всякую ласку мнѣ оказывала. Ну, и я въ ней души не чаяла, только о томъ и была моя забота, какъ бы угодить ей, да лучше присмотрѣть за дѣточками. Радовалась я и на графа, думала: ну какъ съ такой женой добрымъ человекомъ не сдѣлаться. И все-то на первыхъ порахъ казалось мнѣ у нихъ тихо да гладко. Только не надолго: не пробыла я здѣсь и двухъ мѣсяцевъ, какъ стала замѣчать то то, то другое. Графинюшка иной разъ вся въ слезахъ къ дѣточкамъ выйдетъ, хоть и пробуетъ скрывать свое горе, свои слезы, да не можетъ. Я къ ней. Матушка, говорю я, золотая моя, о чемъ плачешь, повѣдай мнѣ свое горе, будь милостива! Крѣпилась она, крѣпилась, да и повѣдала: «Какъ мнѣ, Петровна, не плакать, какъ не горевать. Шла я замужъ, думала счастливѣе меня нѣтъ на свѣтѣ, жила первое время какъ въ раю, — да не надолго того райскаго житья хватило»...

«То же, что и со мною! — подумала Ганнуса: — не я первая; но

развѣ отъ этого легче?! одна погибла, такъ и другую погубить надо!..»

Петровна продолжала:

— Да въ чемъ, спрашиваю, горе твое? кажись, у насъ ладно, вонъ, вишь, дѣточки-то какія здоровыя, славныя; аль муженекъ чѣмъ обидѣлъ? «Ахъ, говоритъ, кабы обидѣлъ разъ, я бы его простила, и другой, и третій разъ простила бы, а, вѣдь, онъ всегда, кажинный день обижаетъ. Прежде для него лучше да краше меня никого на свѣтѣ не было,—теперь все не ладно. Одна я про то знаю, что выносить мнѣ приходится! Опостыла я ему, Петровна!»

...Какъ сказала она мнѣ это, такъ у меня сердце и упало. Гляжу я на нее, писаная красавица, ровно лебедь бѣлая, кабы про другого сказала, не повѣрила бы, а его знаю, всѣ они таковы! Потѣшился вволю да и прочъ пошелъ: ему новаго надобно. Ну, вотъ призналась это она мнѣ, вырвалось у нея то слово ненарокомъ, а потомъ и замѣчала, даже будто совѣстно ей и глядѣть на меня. Придетъ если, такъ притворяется веселой, съ дѣточками играетъ. Вижу я все это, а заговорить ужъ и не смѣю. Только день-ото-дня хуже у насъ становится. Графъ, ровно какъ вотъ и теперь, съ путными людьми не знается, всѣхъ отъ дома отвадилъ. Наѣзжаютъ къ нему озорники только да разбойники, и съ ними онъ изъ дома на долгое время пропадаетъ. Срамоту эту завелъ, комедіантокъ, и графини совсѣмъ пересталъ стыдиться, даже не скрывается, ее-же, бѣдную, смотрѣть эту мерзость заставляетъ, при ней пьянствуютъ да разбойничаютъ. Ужъ чего, она, сердечная ни дѣлала, чтобы его урезонить,—только никакого прока изъ того не вышло. Стали подниматься между ними свары; крикъ, бывало, идетъ такой по дому, что хоть святыхъ вонъ выноси. Не разъ заставала я ее, горемычную, всю въ синякахъ, избитую. Терпѣла, терпѣла, ради дѣтокъ терпѣла, да и опять думала: можетъ, это онъ временно такъ, а послѣ и образумится. Только, видитъ, наконецъ, что все хуже и хуже; думала она, думала и рѣшилась, говорить ему: «Отпусти ты меня, ради Бога, съ дѣтками въ Питеръ къ роднымъ, а самъ дѣлай здѣсь, что хочешь,—я тебѣ мѣшать не стану».—«Не отпущу!» это онъ кричитъ, «ты тамъ всѣмъ наговоришь на меня, срамить меня учнешь... и чтобы я тебя отпустилъ! николи не отпущу.» Она ему кланется всѣми святыми: «Молчать, молъ, стану, никому слова не пророню, что прикажешь, то и говорить буду—зачѣмъ отсюда уѣхала».—«Пустое, пустое, не отпущу!»—На томъ сталъ и ни съ мѣста!

— Писать она думала своимъ сродственникамъ, такъ онъ письмо-то перехватилъ, а мужика, съ которымъ она письмо-то

въ городъ отослать надумала, выпороли на конюшнѣ, да такъ, что онъ, бѣдный, и пошевелиться не могъ, дней черезъ пять, не то шесть, Богу душу отдалъ. Приставилъ онъ къ ней людишекъ своихъ: слѣдомъ за ней по пятамъ ходятъ, глазъ не спускаютъ, о каждомъ ея шагѣ, о каждомъ словѣ ему докладываютъ... И такое подъ конецъ пошло, что и рассказывать не гоже...

— Боже мой!—отчаянно проговорила Ганнуся:— и на такихъ людей ни суда, ни правды?! Какъ-же умерла она, несчастная? своей ли смертью, отъ болѣзни какой, или, пожалуй, онъ убилъ ее? Все говори мнѣ, говори правду!

— Кто умеръ?—еще тише, еще таинственнѣе зашептала Петровна:—графинюшка-то жива, она, слышь ты, жива-живехонька, по сей день жива.

Ганнуся вскочила со скамейки, какъ сумашедшая.

— Что ты! какъ жива!? Очнись, не морочь меня... Кто живъ?!

— Графинюшка жива, какъ передъ Истиннымъ! вотъ-ти Христосъ! Да развѣ я шутки ради говорю съ тобою. Жива она, горемычная... да лучше было бы, кабы мертва была!

Ганнуся схватила за голову, глядѣла остановившимися страшными глазами на Петровну. Ей казалось, что она съ ума сходитъ. Она ничего не могла сообразить.

— Какъ жива? что-же это? Нѣтъ, такого не бываетъ? Гдѣ же она?!

— Здѣсь, матушка, въ подземельи, въ темницѣ кромѣшной, вотъ уже сколько времени свѣта Божьяго не видитъ.

Ганнуся отшатнулась отъ страха, въ негодованіи.

— Лжешь ты, старая вѣдьма, издѣваешься надо мною... морочишь! И чего я, глупая, тебя слушаю!?

Дрожа всѣмъ тѣломъ, она кинулась прочь отъ злобной вѣдьмы. Но старуха за нею, догнала ее, схватила за платье, не пускаетъ.

— Куда ты, родимая, куда? Остановись, дослушай! Покажу я тебѣ ее, хоть и знаю, что тутъ моя погибель. Обѣщался онъ, что коли я одно слово вымолвлю, тутъ-же велитъ меня запытать до смерти, и такъ сдѣлаетъ. Да что мнѣ? не втерпежъ уже, да и умереть пора, такъ или иначе. Можетъ, за лютую смерть такую Господь грѣхи помилуетъ. Покажу я тебѣ ее, проберемся мы къ ней, пожди только малость.

XII.

Ганнуся машинально опять подошла къ скамейкѣ, опустилась на нее и долго оставалась неподвижной. Она уже пережила

самое страшное потрясеніе и не могла ожидать новаго. Она полагала, что ей придется услышать въ этотъ вечеръ отъ Петровны многое. Приготовилась къ разсказамъ о всевозможныхъ преступленіяхъ, совершенныхъ и совершаемыхъ ею мужемъ, но не могла ожидать того, что теперь услышала.

Жива! Но, вѣдь, это невозможно! А между тѣмъ старухѣ нельзя не вѣрить.

Бѣдная Ганнуся долго боролась, долго искала выхода. Сначала ей казалось, что она просто не понимаетъ того, что говорить ей Петровна; но она должна была покинуть эту спасительную мысль, и тотчасъ-же ухватилась за другую.

Ночь темна, какъ-то странно вокругъ, какъ-то необычно свѣтитъ луна, и все будто новое, особенное. Да и Петровна совсѣмъ не та Петровна, которую она всегда знала: та дряхлая старуха, а эта вонъ какая живая, какая бодрая, какъ говорить, какъ въ темнотѣ блестятъ глаза ея. Конечно, это сонъ и нѣтъ ничего такого, ни этой ночи, ни луны, ни этихъ странныхъ деревьевъ, ни Петровны, все только грезится!.. Боже, нѣтъ, это не сонъ!

Ганнуся хватала себя руками, хватала Петровну, и должна была убѣдиться, что не спитъ, не грезить, что явь, самая дѣйствительная, самая неумолимая передъ нею. Но она все-же еще не сдавалась, она вглядывалась въ Петровну.

Да, она не шутитъ, она думаетъ сама, что говорить правду, но ей самой это только такъ представляется, она сошла съ ума, бѣдная старуха! Однако-же. вотъ, вѣдь, и вчера можно было почесть ее за безумную, а между тѣмъ она тотчасъ-же доказала ужасную истину словъ своихъ!

— Петровна!—наконецъ, отчаяннымъ голосомъ крикнула Ганнуся: — такъ что-же это ты мнѣ не разсказала всѣхъ этихъ ужасовъ, когда я пріѣхала? какъ могла ты это скрывать отъ меня?

Старуха задрожала и повалилась въ ноги передъ нею.

— Матушка, горемычная моя, чувствую я всю мою вину передъ тобою. Грѣхъ, тяжкій грѣхъ взяла на душу, и все дѣточекъ неповинныхъ жалѣючи и ее, графинюшку, жалѣючи! Вѣдь, онъ что мнѣ сказалъ, я сдуру-то тогда въ ноги ему кинулась, молила его. А онъ мнѣ въ отвѣтъ: «Нишкни, говорить, старая! коли слово единое отъ тебя еще услышу, коли ты кому ни на есть заикнешься про что, — такъ, право, я, право, всѣхъ этихъ щенятъ передавлю». И вотъ, какъ передъ Истиннымъ, могъ онъ, могъ это сдѣлать!

— Господи!—простонала Ганнуся:—да за что-же мнѣ все это? за что такъ надругались надо мною? за что погубили?

— Матушка, болѣзная моя,—шептала Петровна:—и меня-то ты истомила. Какъ пріѣхала ты тогда, думаю: какую онъ еще

тамъ привезъ... и взглянуть-то на тебя не хотѣлось за графинюшку. А какъ глянула—вижу ты ровно дитя—добрая да ласковая, ко всѣмъ привѣтливая. Смѣхомъ заливаешься, дѣточекъ его ласкаешь, на него такъ смотришь любовно, думаешь на жизнь счастливую да радостную пріѣхала. Такъ и упало мое сердце, а сказать ничего не смѣю. Графинею, *графинею* тебя величаютъ, а я то знаю, что графинюшка наша въ подвалѣ за замками, а ты... какая же ты графиня?!—ты полюбовница его, разбойника, а не графиня...

Ганнуся дико вскрикнула и онѣмѣла.

Петровна сказала правду. Но, несмотря на весь ужасъ этихъ неожиданныхъ открытій, на извѣстіе о томъ, что первая жена графа жива, до этого мгновенія Ганнуся все-же не думала объ этой ужасной правдѣ.

— Нѣтъ, нѣтъ! — задыхаясь выговорила она, наконецъ, отчаянно протягивая руки и будто что-то отъ себя отстраняя:— нѣтъ, я все-же жена его, повѣнчанная, законная жена, насъ въ церкви вѣнчали... я жена его!..

— Да отъ живой жены развѣ вѣнчаютъ?—а коли обманно и повѣнчаютъ, такъ все одно, что и не было этого вѣнчанья,—тихо, проговорила Петровна.

Ганнуся упала на скамью въ полномъ безсиліи. Теперь она уже ясно понимала, что у нея отнято все, и ничего ей не осталось, что даже ребенокъ ея несчастный—незаконное дитя, безъ правъ, безъ имени. Она схватилась за голову, будто стараясь припомнить что-то, что то сообразить, но ничего не могла придумать: голова ея была пуста—ни одной мысли! Тупое отчаяніе охватило ее, а сердце—то билось съ такой никогда неизвѣданной болью, то вдругъ замирало, будто совсѣмъ останавливаясь. Всю грудь ея жгло, какъ огнемъ, и въ то-же время ей было холодно, нестерпимо холодно.

— Гдѣ же она? Веди меня къ ней! Покажи мнѣ ее... графиню!—прошептала, наконецъ, Ганнуся.

— За замками въ подвалѣ бѣдная графинюшка, и не видитъ она свѣта Божьяго, не слышитъ она голоса человѣческаго. Молила я его, изверга, дозволить мнѣ носить ей пищу,—долго не соглашался, почитай полгода не видала я ее. Опять кинулась просить его—дозволилъ, только клятву страшную взялъ съ меня, да наказалъ одному изъ своихъ разбойниковъ провожать меня, чтобы я не засиживалась. И минуточки не даютъ побыть съ нею. Да что — вотъ ужъ теперича она, бѣдная, почитай что и не узнаетъ меня, и на человѣка почти непохожа стала — разума лишилась...

— Веди меня къ ней, я должна ее видѣть!—хватая за плечи

старуху, безумно повторяла Ганнуся:—веди меня къ ней! Пока сама не увижу, не повѣрю тебѣ, не можетъ того быть, нѣтъ, она умерла, всѣ про то знаютъ!

— Всѣ про то знаютъ! А тѣ, кто связанную ее, по рукамъ да по ногамъ, да съ платкомъ во рту, чтобы не кричала, понесли въ подвалъ—тѣ-то, небось, знаютъ жива ли она или нѣтъ. А тѣ, кто, прости Господи, въ гробъ-то вмѣсто покойницы дохлую, смердящую собаку укладывали, тѣ тоже, небось, знаютъ, кого въ томъ гробу похоронили!

— Веди меня къ ней!—твердила Ганнуся.—Не вѣрю, лжешь ты, старуха!

— И проведу, матушка,—проговорила Петровна:—ужъ теперь чего-же мнѣ—проведу, и пусть онъ; злодѣй, казнить всѣхъ насъ. Да, нѣтъ, сударушка, сдержи ты свое сердце, о Богѣ подумай, о младенцѣ своемъ подумай; пожалѣй ты, коли себя не жалѣешь, и ту безвинную душу, что въ подвалѣ за замками спрятана. Проведу я тебя тихомолкомъ—крѣпись только, улучу время какъ одна пойду безъ разбойника, что за мною ходить приставленъ, благо лѣнивъ онъ нынѣ сталъ, иной разъ меня и одну отпускаетъ. Погляди на нее, да удержи свое сердце, ободришь, сударушка...

И то, что Петровна не успѣла договорить, было уже ясно для Ганнуси. Внезапная рѣшимость охватила ее, она вдругъ позабыла всѣ свои муки, весь ужасъ своего положенія. Она поднялась со скамьи.

— Веди меня... погляжу на нее я... А потомъ, Петровна, если только не солгала ты, я должна вырваться отсюда, я убѣгу, я доберусь до города, я все раскрою... найду судъ и правду!..

— Матушка, родная, дай-то Господи!.. Крѣпись только... А на зарѣ выйди сюда опять на это-же мѣсто, пожди меня... Можеть, я и устрою. На зарѣ я пишу-то ей ношу, пожди меня тутъ до солнечнаго восхода. Не приду я—знай—тогда ждать надо.

Съ этими словами Петровна исчезла.

Ганнуся пошла домой. И уже не шаталась она со стороны въ сторону, не чувствовала слабости, не чувствовала боли въ сердцѣ. Она думала только о своемъ рѣшеніи, и въ этомъ рѣшеніи почерпала силу. Глядя на нее теперь, на ея спокойное застывшее лицо, никто не могъ подумать какія страшныя минуты пережила она. Только въ ней не осталось ничего отъ прежней Ганнуси; мужъ не узналъ бы ее, еслибъ встрѣтилъ, но его не было дома, онъ еще не возвращался.

XIII.

Темно и тихо; только издалека едва слышно доносится не плескъ, не то шорохъ; то волны донскія ударяются о берегъ, разсыпаются бѣлой пѣной. Это почти единственный, но зато вѣчный, неизмѣнный звукъ, который, то усиливаясь, то почти замирая, достигаетъ до темнаго подземелья.

Въ яркій солнечный день въ подземелье проникаетъ слабый лучъ свѣта изъ маленькаго оконца. Но прежде, чѣмъ дойти сюда, лучъ этотъ долженъ совершить большой путь: онъ спускается по цилиндрическому отверстію, продѣланному въ массивной каменной стѣнѣ. Не будь этого отверстія—подземелье потонуло бы во мракѣ и въ немъ можно было бы задохнуться отъ почти полного отсутствія воздуха. И теперь здѣсь душно и сыро...

Темно и тихо... Но вотъ, въ углу что-то шевельнулось; поднялась съ легкимъ стономъ человѣческая фигура и опять опустилась на свое ложе. И снова все тихо.

Но если освѣтить подземелье, изумленнымъ глазамъ представится странная картина: въ углу, у сырой стѣны, поставлена желѣзная кровать, на кровати перина, подушки, шелковое стеганное одѣяло; рядомъ, на широкомъ креслѣ, брошена мѣховая женская шуба; столъ, кувшинъ съ водою, потомъ еще другое кресло, коврикъ у кровати. И всѣ эти вещи—роскошныя, дорогія, вынесенныя изъ богатыхъ верхнихъ покоевъ; но въ какомъ онѣ видѣ? Все запылено, загрязнено, бѣлье давнымъ-давно не перемѣнялось на кровати. И на этомъ грязномъ бѣльѣ лежитъ, вытянувшись своими изсохшими членами, существо человѣческое, женщина, одѣтая въ какое-то подобіе когда-то богатаго шелковаго платья, отъ котораго остались теперь только одни лохмотья. Длинные русые волосы не чесаны, не заплетены въ косы, беспорядочно разметались по грязной подушкѣ. Лицо женщины, зеленовато-блѣдное, осунулось, и трудно въ немъ уже постигнуть слѣды прежней, недавней красоты и молодости.

А между тѣмъ, года три тому назадъ, эта женщина (молодой красавицей, сильной и здоровой, у которой во всю щиграль румянецъ, прекрасные глаза которой свѣтились умомъ и добротою...

Эта женщина—похороненная торжественнымъ образомъ, всѣмъ позабытая графиня Девіеръ.

Не солгала Петровна. Она жива, если только можно назвать жизнью ея теперешнее существованіе. Она жива, хотя смерть давно борется съ ея крѣпкой, здоровой натурой: побѣда смерти можетъ быть, уже близка, но все-же еще не совершилась.

Сколько разъ несчастная графиня звала смерть; сколько разъ

молила Бога сжалиться надъ нею и послать ей успокоеніе. Но теперь уже давно она перестала молиться и звать смерть. Давно она проводитъ дни и ночи безъ мыслей, безъ чувствъ, безъ всякаго сознанія.

Рѣдко приходитъ она въ себя; тогда все снова проясняется передъ нею, снова 'отчаяніе охватываетъ ее и она бьется о каменные стѣны своей темницы, рыдаетъ и проклинаетъ... Но проклятья скоро смолкаютъ, она дѣлаетъ надъ собою страшное усиліе, начинаетъ молиться и незамѣтно, среди этой молитвы, нападаетъ на нее забытье. И опять она ходитъ, не замѣчая окружающаго, садится или ложится и говорить сама съ собою, а о чемъ, того не знаетъ.

Она чувствуетъ только холодъ и голодъ. Когда ей холодно, она надѣваетъ свою шубу; когда голодна, слушаетъ, чутко прислушивается... и вотъ раздаются шаги, глухо повторяясь по корридорамъ... ближе, ближе... щелкаетъ замокъ, со скрипомъ отворяется дверь, входитъ Петровна, приноситъ ей пищу. Она ѣстъ жадно и поспѣшно, а потомъ, насытаясь, или ложится и засыпаетъ, или говоритъ опять сама съ собою и ужъ не замѣчаетъ присутствія Петровны, не слышитъ ея вопросовъ, не понимаетъ ее, не видитъ, какъ Петровна иной разъ перемѣняетъ бѣлье на ея кровати, какъ иной разъ своими дрожащими, старческими руками причесываетъ ей голову.

При наступленіи осени Петровна, въ сопровожденіи молчаливаго и мрачнаго человѣка, переводитъ графиню въ другое подземелье, гдѣ есть печка, которую этотъ-же мрачный, молчаливый человѣкъ обязанъ топить, чтобы графинѣ не было холодно. Но онъ часто забываетъ свою обязанность, и холодъ и сырость насквозь пронизываютъ несчастную, и она кутается въ свою шубу.

Проходятъ дни и ночи, недѣли, мѣсяцы, годъ, другой, третій, а графиня все жива, только совсѣмъ высохла, только совсѣмъ потеряла свой прежній образъ. Она—скелетъ, обтянутый кожей, призракъ, появленіе котораго способно испугать самаго храбраго человѣка.

Но и среди этихъ перемежающихся порывовъ отчаянія, безумія и забытья, все-же иной разъ мелькаютъ для графини минуты и даже часы счастья. Случается, что по долгу сидитъ она неподвижно на своей грязной кровати, устремленные во мглу глаза ея блестятъ, на сухихъ, увядшихъ губахъ мелькаетъ улыбка. Она позабыла весь ужасъ своего существованія, всю безнадежность. Она всецѣло перенеслась въ прошлое и живетъ имъ. На яву ей снятся свѣтлые дни, ей чудится, что прошлое снова вернулось. Она молода, здорова, счастлива, окружена родными, окружена шумомъ и блескомъ столичной жизни. Ей слышатся весе

лые звуки музыки. Передъ нею мелькають нарядные кавалеры и дамы, со всѣхъ сторонъ раздается гулъ веселящейся толпы.

Вотъ склоняется передъ нею молодой красавецъ, приглашая ее на танецъ. Она протягиваетъ ему руку, выступаетъ впередъ. Веселые звуки, то замедляясь, удаляясь будто, то вдругъ приближаясь, захватываютъ ее и она граціозно повертывается и вправо и влево, машинально выдѣлываетъ хитрые па и поклоны менуэта.

Вотъ надъ самымъ почти ея ухомъ раздается голосъ... Одно за другимъ прямо въ сердце ей вливаются дорогія слова, отъ которыхъ такъ ярко вспыхиваютъ ея щеки. И сердце сладко замираетъ. То слова любви, первая слова любви, обещающей еще неизвѣданное счастье.

Какъ непохожимъ на всѣхъ остальныхъ кажется ей человѣкъ этотъ, какъ онъ выше всѣхъ, всѣхъ умнѣе и краше, и какъ она въ него вѣритъ!..

Онъ становится ея женихомъ, ея мужемъ. Она вспоминаетъ свое первое счастливое время, рожденіе перваго ребенка, вспоминаетъ все, что было до того самаго дня, когда ужасная дѣйствительность открылась передъ нею во всемъ своемъ безобразіи; когда не оставалось уже никакихъ сомнѣній. Но она не хочетъ вспоминать и переживать снова этихъ страшныхъ дней, вмѣстѣ съ которыми ушли ея счастье, ея молодость. Она гонитъ отъ себя новый, ужасный, отвратительный образъ, который замѣнилъ собою милаго и любимаго человѣка. Она не хочетъ знать его. Передъ нею не онъ, какимъ пришлось узнать его впоследствии...

И сидитъ она, несчастная, заживо погребенная, и ея блѣдныя губы шепчутъ слова любви, нѣжно шепчутъ имя злодѣя, ее погубившаго.

Но проходятъ минуты очарованія, исчезаютъ, рассыпаются призраки прошлого... Свѣтъ смѣняется тьмою... Графиня вздрагиваетъ всѣмъ своимъ изсохшимъ тѣломъ и, послѣ этихъ минутъ счастья, еще ужаснѣе сознаніе дѣйствительности, еще невыносимѣе безвыходное отчаяніе...

«Дѣти! дѣти!»—стонетъ она, ломая руки.

Безуміе начинается одолѣвать ее и спутываетъ ей мысли.

XIV.

Несчастная графиня очнулась отъ тяжелаго забытья. Она открыла глаза и безучастно взглянула на привычную, уже давно переставшую ужасать ее обстановку темницы. Слабый свѣтъ, проникавшій въ небольшое отверстіе посреди сводчатаго низкаго потолка, извѣстилъ ее, что тамъ, въ далекомъ отъ нея мірѣ, съ которымъ она давно и навѣки потеряла всякую связь, кончи-

лась ночь, что тамъ начался день, быть можетъ, ясный, солнечный день. Но ей было все равно: ночь ли, день ли.

Она приподнялась со своей постели, спустила на старый, пыльный коверъ исхудалыя ноги. Ей стало холодно, и она снова улеглась, закутываясь въ одѣяло. Она была голодна: ей хотѣлось пить, только она врядъ ли сознавала это.

Гулкіе шаги раздалились въ отдаленіи, потомъ стали приближаться. Щелкнулъ замокъ у двери, дверь пріотворилась и на порогѣ душной кельи показалась фигура старухи.

Графиня не шевельнулась. Она знала, что это Петровна, которая каждое утро приносила ей пищу. Иногда она узнавала ее, иногда нѣтъ. Прежде, когда узнавала, то радовалась ея появленію, кидалась ей навстрѣчу, спрашивала ее о дѣтяхъ; но въ послѣднее время, хотъ и узнаетъ иной разъ, но ужъ не радуется, ни о чемъ не спрашиваетъ. Узнаетъ Петровну, а о дѣтяхъ забудетъ, не знаетъ, что здѣсь по близости ея дѣти, что старуха, быть можетъ, видала ихъ недавно. Вспомнить про дѣтей, но не узнаетъ старуху, не видитъ, что она передъ нею, не слышитъ того, что она говоритъ ей.

Но кто-же это сегодня пришелъ вмѣстѣ съ Петровной? Вотъ у двери изъ-за старухи выглядываетъ другая человѣческая фигура.

Графиня приподнялась, смотритъ: женщина молодая, красивая; но съ такимъ блѣднымъ лицомъ, какъ-будто она не живой человѣкъ, а привидѣніе. Только глаза черные такъ и горятъ, такъ и впились въ нее, въ графиню.

Ей стало страшно. Она отвернулась, но и отвернувшись она чувствовала этотъ невыносимый, ужасный взглядъ.

И она взглянула снова. Она подумала, что ошиблась, что никого нѣтъ съ Петровной. Но блѣдная женщина не исчезаетъ, а беззвучно приближается къ ней.

Графиня вскочила съ кровати и, почему-то дрожа всѣмъ тѣломъ, остановилась передъ блѣдной женщиной.

— Кто это? кто это?—шептала она.

И нѣсколько мгновеній стояли онѣ другъ передъ другомъ, обѣ пораженныя, обѣ дрожащія.

Ганнуся хотѣла говорить—и не могла. Она только изо всѣхъ силъ инстинктивно сдвигала руками сердце, которое шибко и мучительно билось въ груди ея. Наконецъ, она произнесла, едва выговаривая слова, едва ворочая языкомъ, стуча зубами:

— Кто вы? ради Бога не обманывайте меня, скажите правду!..

Графиня разслышала ея вопросъ, вопросъ, который еще никто никогда не задавалъ ей. И она поняла этотъ вопросъ, къ ней вернулось сознаніе, и она отвѣтила:

— Я—графиня Девіеръ...

Ганнуся схватилась за голову и пошатнулась.

— Поклянитесь мнѣ Богомъ, что вы его законная жена, жена Михаила Девіера!..

— Такъ кто-же я иначе?!—изумленно сказала графиня.— Зачѣмъ вы меня спрашиваете? Чего вамъ отъ меня надо? Зачѣмъ вы пришли сюда?..

Мысли ея снова начинали спутываться. Она вернулась къ своей кровати, сѣла на нее и опустила голову.

Ганнуся слабо вскрикнула. Петровна поспѣшила къ ней и шепнула:

— Матушка, ради Создателя крѣпись... о ребеночкѣ подумай!.. поспѣшимъ, не то насъ застанутъ, тогда все пропало!..

Въ эту минуту желѣзная дверь, въ которую вошли онѣ, съ шумомъ распахнулась и въ темницу вбѣжалъ Девіеръ. Онъ остановился на мгновение, оглядѣлъ всѣхъ и, не произнося ни слова, со всего размаху, своимъ сильнымъ кулакомъ, ударилъ по головѣ Петровну.

Та тихонько и какъ-то странно ахнула и повалилась на полъ.

Графиня сидѣла на кровати, бессмысленно глядя передъ собою и ничего не понимая.

Ганнуся даже не замѣтила, не видѣла какъ графъ ударилъ Петровну, какъ та повалилась. Она видѣла только его страшное, искаженное лицо. Она ступила къ нему и задыхаясь, указывая на графиню, проговорила:

— Правда-ли, что она—жена твоя?

Онъ стиснулъ зубы. Онъ хотѣлъ-было броситься на нее, но вдругъ остановился.

— Правда!—крикнулъ онъ.

— А я... я...

— А ты—моя любовница, которая мнѣ надоѣла и которую за шпіонство я проучу какъ слѣдуетъ!

Ганнуся кинулась было къ двери, но онъ отстранилъ ее.

— Назадъ!—крикнулъ онъ.—Ты пришла познакомиться съ этой женщиной... ну, и прекрасно, и оставайся теперь съ нею...

Вдругъ онъ замолчалъ. Несмотря на свое бѣшенство, несмотря на полумракъ, царившій въ подземельи, онъ увидалъ, что съ Ганнусей дѣлается что-то странное: одной рукой она держалась за сердце, другую простирала впередъ, будто ища что-то передъ собою...

Вотъ она покачнулась и со всего размаху грохнулась на полъ.

— Пустое, очнешься!—проворчалъ Девіеръ, вышелъ изъ темницы и съ проклятіемъ заперъ за собою дверь.

XV.

Но Ганнуся не очнулась. Когда черезъ нѣсколько часовъ, по приказу Девіера, двое изъ самыхъ преданныхъ ему разбойниковъ

его шайки вошли въ темницу, они нашли въ ней безумную графиню, сидѣвшую на полу передъ двумя безжизненными тѣлами. При входѣ ихъ графиня отошла отъ труповъ, легла на кровать и закуталась одѣяломъ.

— Счастливыя!—шептала она:—имъ хорошо! просила, просила... не хотятъ меня взять съ собою!..

Петровна не вынесла удара разсвирѣпѣвшаго Девіера, этотъ ударъ пришелся ей прямо по виску и уложилъ на мѣстѣ дряхлую старуху. Ганнуса не вынесла пытки послѣднихъ дней и ея наболѣвшее сердце разбилось въ ту самую минуту, когда ее началъ покидать разумъ.

Черезъ два дня въ Высокомъ пышно справлялись похороны. На этотъ разъ съѣхавшіеся сосѣди могли видѣть лицо покойницы. Въ этомъ блѣдномъ страдальческомъ лицѣ трудно было узнать красавицу Ганнусю; но все-же это была она. Это ея длинныя черныя рѣсницы оттѣняли прозрачныя, будто восковыя щеки, это ея роскошныя волосы чернѣлись изъ-подъ цвѣтовъ и легкаго газа...

— Умерла! и эту уморилъ... такъ тому и быть слѣдовало!..—шептали въ толпѣ, окружавшей гробъ.

Но какимъ-то образомъ, неизвѣстно откуда, скоро по губерніи начали распространяться слухи, что первая жена графа жива, что съ держитъ ее подъ замками, въ подземельи, и что Анна Григорьевна умерла отъ огорченія, узнавъ про это. Говорили, но никто не рѣшался провѣрить этихъ слуховъ. Графъ Михаилъ по прежнему нагонялъ на всѣхъ страхъ, а самъ никого не боялся.

Онъ продолжалъ свою преступную, разгульную жизнь и черезъ три года, въ 1780 году женился снова, на дочери маіора, Марѣ Яковлевнѣ Ревякиной.

Намъ неизвѣстна жизнь и судьба этой третьей жены его, извѣстно только, что отъ нея у него было четверо дѣтей—сынъ и три дочери. Извѣстно также, что и этотъ бракъ былъ незаконный, такъ какъ во время его совершенія несчастная графиня все еще томила въ своей темницѣ. Смерть долго не приходила къ ней на помощь. Она умерла только въ самомъ концѣ 1786 года.

Ея смерть огласилась и тайна подземелья окончательно перестала быть тайной. Но общество не возвышало голоса, власти бездѣйствовали, графъ Михаилъ Девіеръ оставался на свободѣ, продолжая свои разбои. Всѣ эти обстоятельства всплыли на поверхность только черезъ долгіе годы, когда его дѣти стали отстаивать законность своего рожденія въ виду жалобъ, поданныхъ въ сенатъ и сунодъ родственниками отца ихъ.

Конецъ карьеры графа Михаила Девіера, по сохранившимся свѣдѣніямъ, носить на себѣ такой-же легендарный характеръ, какъ и вся жизнь его. Въ послѣдніе годы XVIII вѣка съ нимъ

случилась исторія, схожая съ исторіей его брата Николая, только послѣдствія были иныя.

Какъ-то разъ обѣдалъ онъ у богатаго помѣщика, жившаго верстъ за сто отъ Высокаго. Онъ плѣнился великолѣпной серебряной посудой, которую подавали за обѣдомъ и рѣшилъ во что бы то ни стало завладѣть ею. Онъ подкупилъ дворецкаго, который укралъ для него эту посуду и явился съ нею въ Высокое.

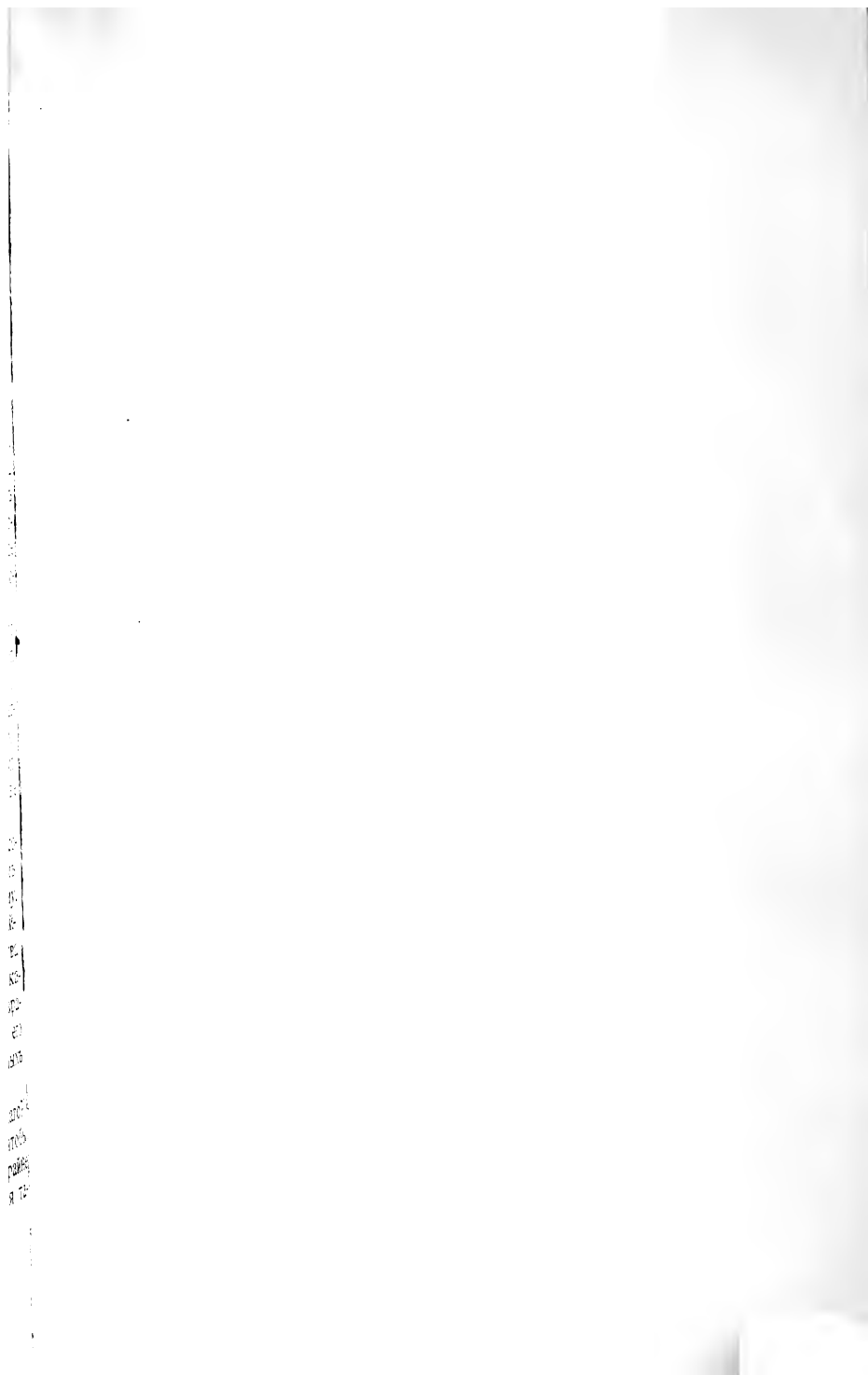
Девіеръ обѣщалъ ему дать «вольную», показавъ его своимъ крѣпостнымъ, но, конечно, не намѣренъ былъ исполнить этого. Получивъ посуду, онъ пожелалъ избавиться отъ опаснаго свидѣтеля. Онъ удержалъ его у себя, обращался съ нимъ ласково, оказывалъ ему знаки довѣрія и, когда наступила зима и Донъ покрылся льдомъ, далъ ему какое-то порученіе въ уѣздный городъ.

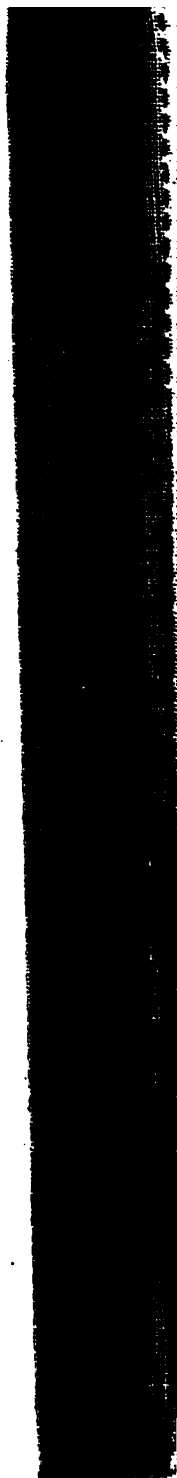
Между тѣмъ кучеру было приказано дорогою убить его, а трупъ бросить въ прорубь. Такъ все и совершилось. Но трупъ какъ-то выплылъ. его вытащили, узнали дворецкаго и въ карманѣ его платья нашли зашитое въ кожу собственноручное письмо Девіера, въ которомъ онъ уговаривалъ его украсть посуду и обѣщалъ за это пристанище, деньги и «вольную».

Обворованный помѣщикъ имѣлъ большія связи и рѣшился возбудить дѣло. Девіеру приходилось плохо: онъ могъ кончить ссылкой въ Сибирь. Тогда онъ, не долго думая, повторилъ комедію, ужъ разъ ему удавшуюся. Онъ, какъ и относительно первой жены своей, распустилъ вѣсть о своей смерти, устроилъ свои похороны, а самъ преспокойно продолжалъ жить въ Высокомъ, щедрыми подарками обезпечивая себѣ молчаніе и бездѣйствіе мѣстныхъ властей.

Несмотря на существующіе документы и свидѣтельства современниковъ, сразу даже не вѣрится подобнымъ исторіямъ, относящимся къ нашему, сравнительно недавнему, прошлому. Поражаютъ не изверги, въ родѣ Девіеровъ—такіе изверги найдутся вездѣ и во всѣ времена—поражаетъ состояніе общества, при которомъ могутъ завѣдомо, открыто оставаться безнаказанными самыя страшныя злодѣянія, и не знаешь, кто отвратительнѣе: безнаказанный-ли извергъ, или общество, которое его покрывало и держало въ средѣ своей изъ-за самыхъ позорныхъ побужденій.

Но зачѣмъ поражаться этими былями нашего прошлаго?! Стоить только попристальнѣе поглядѣть вокругъ себя, чтобы ясно увидѣть, что общество раззывается и улучшается крайне медленно, что подъ новой выложенной оболочкой скрывается та же преступная слабость, тѣ-же позорные инстинкты.





3 6105 015 013 977

34
.S
v.

DATE DUE

SPRING 1981

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
STANFORD, CALIFORNIA
94305

